

Борис Зайцев
УЛИЦА СВЯТОГО НИКОЛАЯ



БОРИС ЗАЙЦЕВ



СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

УЛИЦА СВЯТОГО НИКОЛАЯ



ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ

Москва
«РУССКАЯ КНИГА»
1999

УДК 882
ББК 84Р7
З-17

Составитель, автор вступительной статьи и примечаний
Т. Ф. Прокопов

Издание осуществляется при участии дочери писателя
Н. Б. Зайцевой-Соллогуб

Разработка оформления
Ю. Ф. Алексеевой

Шрифтовое оформление
В. К. Серебрякова

Зайцев Б. К.

З-17 Собрание сочинений: В 5 т. Т. 2. Улица святого Николая: Повести. Рассказы.— М.: Русская книга, 1999.— 544 с., 1 л. портр.

Второй том собрания сочинений классика Серебряного века Бориса Зайцева (1881—1972) представляет произведения рубежного периода — те, что были созданы в канун социальных потрясений в России 1917 г, и те, что составили его первые книги в изгнании после 1922 г Время «тихих зорь» и надмирного счастья людей, взорванное войнами и кровавыми переворотами,— вот главная тема размышлений писателя в таких шедеврах, как повесть «Голубая звезда», рассказы-поэмы «Улица св. Николая», «Уединение», «Белый свет», трагичные новеллы «Странное путешествие», «Авдотья-смерть», «Николай Калифорнийский» В приложениях публикуются мемуарные очерки писателя и статья «поэта критики» Ю. И. Айхенвальда — лучшая из всего написанного о Зайцеве

ISBN5-268-00426-3 (т. 2) УДК 882
ISBN5-268-00402-6 ББК 84Р7

«ВСЕ НАПИСАННОЕ МНОЮ ЛИШЬ РОССИЕЙ И ДЫШИТ...»

Борис Зайцев в эмиграции

Если возможно счастье, видение рая
на земле,— грядет оно лишь из России
Б Зайцев. Дневник писателя. Счастье

Однажды в канун Нового года я получил из Парижа нежданный и бесценный рождественский подарок: Наталья Борисовна Зайцева-Соллогуб прислала книги отца, вышедшие за рубежом, вырезки из газет и журналов, ксерокопии его многочисленных дневниковых и мемуарных публикаций, еще неведомых нам, россиянам. Этот дар был ответом на посланную весть о том, что в наших издательствах после семи десятилетий замалчиваний и запретов вышли первые книги выдающегося мастера лирической прозы, появились первые статьи о нем. Многое из парижской посылки вошло затем в новые книги, которые были мной подготовлены и изданы. Они открыли нам писателя, достигшего в скорбных условиях изгнания высот художнической зрелости. Они открыли нам также человека чести, гражданской мудрости и мужества, сумевшего не только противостоять всем лишениям и невзгодам, выпавшим на его долю, но и при этом не озлобиться, сохранить в душе доброту и милосердность, любовь к людям, нежность к суровой своей Родине. Последнее особенно важно отметить: став изгнанником, он как самое святое сберегал в сердце глубокое чувство русского патриота, до последнего вздоха ревностно следил за всем, что свершалось в России, искренне желая добра и счастья своей земле. «Разлюбить Россию не могу, так же как не мог бы разлюбить и мать,— написал Борис Константинович незадолго до кончины.— Да оба эти образа для меня и сливаются, оба во мне и уйти не могут». Может быть, именно то, что Россия на всю его большую жизнь осталась в сердце, придавало ему сил во все времена, помогало стоически нести тяжкий крест изгнанничества. А еще — позволило сберечь в чистоте и силе свой талант. Более того, развить и обогатить новыми красками светлый дар поэта прозы. И это в итоге дало ему возможность создать на чужбине произведения, превзошедшие все то, что им было сделано прежде. Он стал в русской культуре зарубежья подвижнической личностью, ее объединителем, одинаково авторитетным и для великих своих современников (как Бунин, Шмелев, Ремизов, Мережковский, А. Белый), так и для тех, чей путь в эмигрантской литературе еще только открывался.

Не радостно, не светло, а скорее, трагично складывалась судьба замечательного русского писателя и человека в годы, последовавшие за большевистским переворотом и гражданской войной в России. Напомним веховые события, приведшие его к добровольно-принудительному решению покинуть Россию.

К 1917 году Зайцев — маститый прозаик, один из зачинателей «нового реализма», автор двух десятков книг, классик Серебряного века. Высокая писательская репутация подкреплена еще и благородством чисто человеческим. Неудивительно, что именно на него (а не на Горького, как замышлялось власть имущими) пал выбор, когда российские писатели решали, кого хотели бы они видеть во главе только что созданного ими профессионального Союза. (Кстати, и в дальнейшем — уже в изгнании — и в Берлине, и в Париже ему оказывалось это высокое доверие сподвижников по труду). Однако так счастливо-безоблачно начинавшееся служение на ответственном поприще в новых условиях, когда только что отгремели революционные грозы, неожиданно прервано было грубым актом произвола: весь президиум писательского Союза оказался в подвалах Лубянки. Правда, для Зайцева сидение это было недолгим, через несколько дней его освободили, но вышел из «кровавой слякоти отверженного места» уже другой человек, для которого одного пути вместе с Лениными, Сталиными, Троцкими, Каменевыми уже не было. «Скорби, ужасы войны и особенно жестокости революции «сдернули завесу с ума» и болью сердца осветили душу»,— вспоминал он в одном из писем.

* * *

Как рубежные вошли в историю русской культуры 1922—1923 годы — в эту пору завершился начатый в семнадцатом ее раскол на две — увы, неравнозначные — части: бóльшая и, главное, лучшая ее доля оказалась выброшенной разбойничьим штормом на чужие берега. «Высылка эта,— вспоминал Зайцев,— была делом рук Троцкого. За нее высланные должны быть ему благодарны: это дало им возможность дожить свои жизни в условиях свободы и культуры».

«Для поправки здоровья...» — сперва с такой формулировкой отправлялись-высылались за рубежи России те, кто по каким-либо причинам оказывался неугодным новой власти. С осени же 1922 года — просто предписывалось незамедлительно выехать во избежание худшего. «Да, я не думал, что это навсегда,— говорил Борис Константинович в интервью Рене Герра.— А дочь моя, десятилетняя Наташа, когда поезд переходил границу, задумчиво бросила на русскую почву цветочек — прощальный. «Папа, мы никогда не вернемся в Россию». А мы с женой думали — временное отсутствие».

В безвозвратном изгнании оказались почти все, кем еще совсем

недавно гордилась русская литература, кто составлял ее цвет и славу. Вот лишь некоторые из этого большого списка поистине замечательных имен, только нашим возрожденческим временем возвращаемых русской культуре: А. Аверченко, Г. Адамович, Ю. Айхенвальд, А. Амфитеатров, М. Арцыбашев, К. Бальмонт, А. Белый, Н. Бердяев, П. Боборыкин, И. Бунин, Д. Бурлюк, З. Гиппиус, Г. Гребенщиков, Дон-Аминадо, О. Дымов, Вяч. Иванов, Г. Иванов, И. Ильин, Н. Лосский, Д. Мережковский, П. Муратов, В. Набоков, И. Наживин, Вас. Немирович-Данченко, М. Осоргин, Н. Оцуп, А. Ремизов, И. Северянин, И. Сургучев, Н. Тэффи, А. Федоров, В. Ходасевич, М. Цветаева, С. Черный, Е. Чириков, Л. Шестов, И. Шмелев, С. Юшкевич... «Правда,— уточняет этот список Глеб Струве,— входящие в него поэты не перевешивают оставшихся в России Блока, Ахматовой, Гумилева, Соллогуба, Кузмина, Пастернака, Мандельштама»[1]. Слабое, безрадостное утешение, если учесть, какая горестная судьба постигла и книги, и жизни каждого из оставшихся.

Как и для большинства русских изгнанников, эмигрантские скитания Зайцева начались с Берлина, где он вместе с женой Верой Алексеевной и десятилетней дочерью Натальей поселился в июне 1922 года. Любопытное свидетельство о столице Германии той поры приводит Глеб Струве: «Русское население Берлина, особенно в его западных кварталах, было в эти годы так велико, что, согласно одному популярному в то время анекдоту, какой-то бедный немец повесился с тоски по родине, слыша вокруг себя на Курфюрстендамме только русскую речь»[2].

Колония литераторов из России обустраивалась здесь основательно и, казалось, надолго. Возрождались былые петербургско-петроградские и московские формы общения — Дом искусств, Клуб писателей, литературные вечера в кафе. Возникали газеты и журналы русских: в разные годы в Берлине их издавалось около шестидесяти. Главные из них — «Руль», «Голос России», «Дни», еженедельник «Время», монархическая «Грядущая Россия», сменовеховская «Накануне». Огромные партии книг отправляли в Россию, испытывавшую острейший бумажный голод, берлинские (русские) издательства З. И. Гржебина, «Слово», «Эпоха», «Геликон», «Грани», «Русское творчество», «Университетское издательство», «Мысль».

Зайцев энергично включается в общественную жизнь русского Берлина. Он участвует в литературных вечерах вместе с Айхенвальдом, Белым, Бердяевым, Муратовым, Осоргиным, Пастернаком, Ремизовым, Ходасевичем, Цветаевой, Шмелевым, Шкловским, Эренбургом... Появляются первые его публикации в зарубежной прессе — в ежедневной газете А. Ф. Керенского «Дни», в журналах «Жар-птица», «Воля

---

[1] Струве Г. Русская литература в изгнании. Париж, 1984. С. 19.
[2] Там же. С. 25.

России», «Звено». Старинный его друг и сподвижник по издательству и альманаху «Шиповник» З. И. Гржебин великодушно предлагает ему спешно подготовить собрание своих сочинений. И вот всего за несколько месяцев — завидные темпы! — читатели получают шеститомник Зайцева. Одновременно «Слово» издает его роман «Дальний край» и сборник рассказов «Улица св. Николая» (тот, что планировался, да не вышел в Москве). На русском и немецком языках выходят его новеллы и сцены «Рафаэль», «Дон Жуан», «Карл V» и «Души чистилища».

В марте 1923 года Борис Константинович избирается вице-президентом Союза русских писателей и журналистов в Берлине. Отныне каждая суббота отдается им организации и проведению еженедельных писательских встреч. Лето он проводит на Балтийском море — в Прерове, близ Штральзунда. «В одном этаже С. Л. Франк с семьей, в другом Бердяев с Лидией Юдифовной, в нижнем я с женой и дочерью,— вспоминал Зайцев.— Так что над головами у нас гнездились звезды философии. С этими звездами жили мы вполне мирно и дружески. С Николаем Александровичем (Бердяевым.— *Т. П.*) ходили иногда в курзал, я пил пиво, а Бердяев с моей женой разглядывали танцующих немцев, немок, хохотали, веселились — не помню уж из-за чего. (Странная вещь: Бердяев вспоминается очень часто веселым!) Наверху сочинялись философии, внизу я готовил чтение о русской литературе...» Последняя фраза говорит о важном событии, к которому готовились крупнейшие представители русского зарубежья: все они получили приглашение итальянского профессора-слависта Этторе Ло Гатто принять участие в конференции, организуемой в Риме итальянским комитетом помощи русским интеллигентам. «Это был как бы съезд русских,— рассказывал впоследствии Зайцев.— Вышеславцев, Осоргин, Муратов, Чупров (младший, сын профессора, тоже экономист), Бердяев, Франк, я — каждый выступал перед публикой римской по своей части. (По-французски и по-итальянски.)».

В самый канун нового, 1924 года Зайцев приехал в Париж (после неоднократных приглашений друзей, в том числе Бунина, убеждавших, что здешняя жизнь для эмигранта устроенней, теплее и дешевле берлинской). «А вот здесь, на rue Jean Bologne,— вспоминал Зайцев,— прожили мы первые две недели эмигрантской жизни в Париже у Михаила Андреевича Осоргина, приятеля молодых лет». Вскоре у Зайцевых появляется и своя квартира, в которой они теперь уже надолго «раскинули свой добротный быт, бедный, но прочный, где при бедности были не только гордость и легкость, но даже какая-то веселая сила»[1],— свидетельствует Н. Н. Берберова, близко знавшая семью Зайцевых на протяжении полувека. В книге воспоминаний

---

[1] Берберова Н. Н. Курсив мой. Нью-Йорк, 1983.

«Курсив мой» Нина Николаевна посвящает немало сердечных страниц Вере Алексеевне Зайцевой, энергией, любовью и самоотверженностью которой крепилась эта семья. «И Вера, и Наташа,— пишет Берберова,— приблизили к нему мир: он оказался не стоящим на месте, а текучим и летучим. И все это было сделано через любовь. Вообще самое главное, что было в доме (в маленькой квартире, где они жили более тридцати лет),— это не вещи, не предметы — здесь не было ни радио, ни пишущей машинки, ни электрических приспособлений, ни музыкальных инструментов, ни картин, ни ковров — самое главное, единственно главное — здесь была любовь».

Это нежное чувство двух замечательных людей подвергалось многим житейским испытаниям и выдержало их, сохранив свою чистоту и красоту. И когда восьмидесятилетнюю Веру Алексеевну разбил паралич, она прожила еще восемь лет, согреваемая не только заботами самого близкого ей человека, но и тем высоким чувством, которое так возвышенно и ярко воспел в своих книгах Борис Константинович и которое пламенно горело в его сердце всю жизнь. «Посвящается В. А. Зайцевой» — эта надпись стоит на многих его произведениях как дань признательности своему другу и помощнику в работе. Кроме того, Вера Алексеевна — одна из главных героинь большинства его книг, в том числе первого романа «Дальний край» и тетралогии «Путешествие Глеба».

* * *

Казалось бы, благодатно и легко складывалась жизнь Зайцева на чужбине. Утихали горести, заживлялись раны, нанесенные недавними кровавыми годами, в которые погибли многие из его семьи. Если судить по внешнему бытоустройству (к коему он не был так щепетильно требователен, как Бунин, например), то да, жизнь новая налаживалась. Но во всем том, что писал в эти годы Зайцев, прорывалась, по его словам, «острота и мука революции — отсюда и переход к усиленной религиозности», точнее — к поиску духовно-нравственных опор, без которых устоять становилось все труднее. Зайцев в первый свой парижский год напряженно работает над вторым романом «Золотой узор», а также завершает агиографическое, житийное повествование «Преподобный Сергий Радонежский», публикуя главы из этих произведений в газетах «Дни» и «Последние новости», в журнале «Современные записки».

Выход книги о Сергии в 1925 году стал приметным явлением. Выдающийся мастер лирической прозы предстал перед читателями в неожиданном свете. Его стилистика, во всех других вещах поэтически изысканная, обретает в новой повести аскетическую простоту, которая сродни классическим работам русских иконописцев.

В повести о древнерусском патриоте Зайцев предпринял попытку пересказать языком художника широко известную историю трудов и дней и доныне одного из самых популярных в народе не только церковного, но и политического деятеля Древней Руси.

Прочитав книгу Зайцева, и мыслью, и сердцем соглашаешься с его утверждением о том, что действительно «Сергий велик для всякого. Подвиг его всечеловечен. Но для русского в нем есть как раз и нас волнующее: глубокое созвучие народу, великая типичность — сочетание в одном рассеянных черт русских. Отсюда та особая любовь и поклонение ему в России, безмолвная канонизация в народного святого, что навряд ли выпала другому».

На первый взгляд, далеки друг от друга два этих произведения — «Сергий» и роман «Золотой узор»,— писавшиеся Зайцевым одновременно. Однако Зайцев неспроста прервал работу над романом и обратился к жизнеописанию Сергия. В деяниях и образе жизни Сергия Радонежского писатель нашел ответы на многие вопросы, возникшие перед ним в процессе размышлений над судьбами героев «Золотого узора».

Роман «Золотой узор» автобиографичен. В нем явственно узнаются реальные события, происходившие с самим писателем и его близкими. Революция разметала, переворошила судьбы людей. Свершавшаяся, казалось бы, во имя людского счастья, она принесла человеку неслыханные страдания. Героиня романа, от лица которой ведется рассказ, проходит горький путь, чтобы понять истину, добытую еще шестьсот лет тому назад Сергием Радонежским: «Удалися от зла, сотвори благо». Повествование о Сергии писатель завершает словами, имеющими значение высокого урока:

«В тяжелые времена крови, насилия, свирепости, предательств, подлости — неземной облик Сергия утоляет и поддерживает. Не оставив по себе писаний, Сергий будто бы ничему не учит. Но он учит именно всем обликом своим: одним он утешение и освежение, другим — немой укор. Безмолвно Сергий учит самому простому: правде, прямоте, мужественности, труду, благоговению и вере».

И заключительные страницы романа «Золотой узор», отданные письму-размышлению Маркела, одного из главных его героев, перекликаются с тем, чем итожится житийная повесть о преподобном Сергии. «Истина, Наташа,— пишет Маркел,— все неколебимее и тверже входит в меня. Если б я жил в древности, наверно, я ушел бы в монастырь, оттуда бы, молитвою, помогал миру, глубоко погрязшему. То, что произошло с Россией, с нами,— не случайно. Поистине, и мы, и все пожали лишь свое, нами же и посеянное. Россия несет кару искупления так же, как и мы с тобой. Ее дитя убили — небреженное русское дитя распинают и сейчас. Не надо жалеть о прошедшем. Столько грешного и недостойного в нем!.. <...>

...Светлый друг! Я знаю всю горячую и страстную твою природу, и я видел все узоры твоей жизни — воздушные, и золотистые, и страшные. Да продолжают быть — яблонька цветущая и ветер покровителями для тебя, но от моей дальней, и мужниной любви желаю лишь тебе сияние Вечного Солнца над путем... ну, ты поймешь».

* * *

В декабре 1926 года русская общественность Парижа торжественно отметила 25-летие литературной деятельности Бориса Константиновича Зайцева. Были статьи в журналах и газетах, были многочисленные поздравления друзей, были речи на юбилейном банкете. Все как полагается в таких случаях. Ирине Владимировне Одоевцевой банкет запомнился тем, что на нем главенствовал Бунин. А сам юбиляр «был как-то совсем по-особенному тихо-ласков и прост, аристократической, высокой простотой, дающейся только избранным». И далее она отмечает: «Но странно — чем дольше я глядела на них, тем яснее мне становилось, что не Бунин, а Зайцев здесь центр. Бунин, несмотря на то, что он явно старался играть первую роль, как-то начинал отступать на задний план, стушевываться перед спокойным, ласково улыбающимся Зайцевым»[1].

Наблюдательная Одоевцева в книге «На берегах Сены» дает немало удивительно ярких и точных характеристик Зайцева в жизни, в общении с людьми. Вот пример.

Идет очередное «воскресенье» у Мережковских — «это было особенно бурное собрание, похожее на стихийно взбунтовавшийся океан». Яростно спорили ораторы, стараясь перекричать друг друга. Особенно неистовствовал Мережковский. «И в эту минуту наивысшего нервного напряжения в столовую вошел, в сопровождении Злобина, Борис Константинович. Вошел удивительно тихо и скромно, стараясь не прерывать Мережковского, ласково поклонился всем общим поклоном, поцеловал грациозно протянутую ему руку Зинаиды Николаевны и сел рядом с Мережковским на спешно уступленное ему одним из молодых участников дискуссии место... Тогда это меня поразило! Зайцев одним своим присутствием внес покой в мысли и сердца сидевших за столом». «При нем как будто невозможно было ссориться и даже страстно спорить»[2],— эту особенность личности Зайцева отмечали многие близко его знавшие.

И все-таки при внешнем спокойствии, даже благообразии Борис Константинович был человеком деятельным, неуемным. Уже упоминалось, что он с первых же дней на чужбине энергично включился в

---

[1] Одоевцева И. На берегах Сены. М., 1989. С. 214.
[2] Там же. С. 215.

общественную жизнь берлинской эмиграции. Переехав в Париж, он и здесь без промедлений начинает активно сотрудничать в газетах и журналах, участвует в мероприятиях, организуемых парижским Союзом русских писателей и журналистов, выступает на литературных вечерах, посещает собрания «Зеленой лампы» Мережковского и Гиппиус, встречается с молодыми русскими прозаиками и поэтами.

Страсть к путешествиям увлекает его в паломничество к греческим берегам — на Афон, где он в мае 1927 года провел «семнадцать незабываемых дней... живя в монастырях, странствуя по полуострову на муле, пешком, плывя вдоль берегов его на лодке, читая о нем книги...». Такое же путешествие он совершит вместе с женой Верой Алексеевной в июле—октябре 1935 года в русский монастырь на Валааме, тогда находившийся на территории Финляндии. О том, какой была поездка, можно узнать из писем Веры Алексеевны Зайцевой Вере Николаевне Буниной-Муромцевой. «3-й день на Валааме — нет у меня сил все выразить. Все как в сказке. От «переживания» ходим как оголтелые». А вот «встреча» с родиной: «Против нас Кронштадт. Были два раза у границы. Солдат нам закричал: «Весело вам?». Мы ответили: «Очень!» Он нам нос показал, а я перекрестилась несколько раз. Очень все странно и тяжко, что так близко Россия, а попасть нельзя. Но люди здесь очень, очень свои. Вообще Россию чувствуешь прежнюю. Теперь уже как-то привыкла, что так близко, а первое время странно было». «Я тебе пишу и плачу от умиления. Разговоры тоже писать не буду — расскажу, если Бог приведет увидеться. Во мне говорит не истерия (верно, Иван скажет: «У, истеричка!» Целуй его от меня). Наоборот, никогда так покойно и хорошо не чувствовала себя».

Книгу «Валаам» Борис Константинович написал быстро, так глубоки были и его впечатления от этого странствия, написал страстно, во всю силу своего поэтического дара. Насколько значима была эта поездка для него, говорят завершающие книгу лирические строки прощания с Валаамом:

«По небу громоздились бело-синие облака, крупными, тяжелыми клубами. В некоторых они были почти грозны — не сверкнет ли оттуда молния? В других белые их пелены свивались таинственно. Отсвет их на крестцах овса, на еловом лесу был не без мрачного величия. Все это, конечно, необычайно русское. И как-то связано с нами, с нашими судьбами. Увидишь ли еще все это на родной земле, или в последний раз, перед последним путешествием, дано взглянуть на облик Родины со стороны, из уголка чужого...

Этого мы не знаем. Но за все должны быть благодарны».

И к Афону, и к Валааму Зайцев не относится как к неким загадкам, как к чему-то трудно постигаемому. Нет, он сразу и безоговорочно приемлет этот особый уклад русской жизни как данность и описывает его нам так, чтобы и мы могли и понять, и проникнуться этим суровым

подвигом людей, отказавшихся от мирских утех и треволнений, всецело посвятивших себя Богу, то есть совершенствованию своего духа.

Автобиографические книги странствий Зайцева «Италия», «Афон» и «Валаам», как и дневниково-мемуарные «Москва» и «Далекое», занимают в его творчестве не главное, но и далеко не второстепенное место. Без них нельзя, думается, по-настоящему понять, чем движим он был как художник, почему во всех его произведениях возникают темы то итальянские, то афоно-валаамские.

На это обстоятельство обратил внимание Г. Адамович в книге «Одиночество и свобода» (Нью-Йорк, 1955): «Съездил он (Зайцев.— *Т. П.*) однажды на о. Валаам и, кажется, почувствовал себя там больше дома, чем где бы то ни было: сосны, прохлада, зори, тишина,— чего и желать другого? Или Италия, страна ленивая и блаженная, вечно-обаятельная для всех северян: Италия, как неизгладимое воспоминание, почти всегда присутствует в зайцевских писаниях, и от Арбата или каких-нибудь Крутицких ворот не так у него далеко до тосканских равнин». И еще одно ценное для нас наблюдение Адамовича, подводящее читателя к глубинному пониманию зайцевского творчества: «Зайцев, как никто другой в нашей новейшей литературе, чувствителен к эстетической стороне монастырей, монашества, отшельничества. Ничуть не собираясь «бежать из мира», можно ведь признать, что есть у такого бегства своеобразная, неотразимая эстетическая прельстительность... Люди спорят о религиозной или моральной ценности монастырского уединения... Бесспорно, однако, то, что как поэзия, как поэтический стиль, как поэтический порыв,— это одно из чистейших созданий человеческого духа». Вот почему Г. Адамович склонен считать «Валаам» книгой ключевой: «Это одна из книг наиболее для него показательных. По самому характеру своего слова, по ритму своего творчества Зайцев в описании далекого, уединенного северного монастыря оказался в сфере, его вдохновляющей».

* * *

В двадцатые годы у Зайцева выходят одна-две книги ежегодно, но гонорары за них были столь малы, что их едва хватало на жизнь. Писатели-изгнанники бедствовали все. Об этом свидетельствуют дневники и письма И. А. Бунина и И. С. Шмелева, М. И. Цветаевой и З. Н. Гиппиус, многих и многих других. «Все мы живем главным образом подаянием,— пишет Вера Николаевна Бунина.— Книг никому не нужно. А писателей все же поддерживать нужно, так как без них у эмиграции совсем не было бы никакого оправдания». «Насчет денег у нас,— шутливо вторит подруге Вера Алексеевна Зайцева,— чтобы нет, так да, и наоборот. Думаю, продержимся кое-как».

В Париже обычным явлением стали благотворительные вечера и

балы в пользу нуждающихся писателей. В числе организаторов таких выступлений были Зайцев и его жена. «Дорогие Борис Константинович и Вера Алексеевна,— пишет Марина Цветаева, посылая очередное прошение о помощи.— Во-первых — с Новым годом, во-вторых — с новым Наташиным счастьем (если только правда[1]),— а в-третьих, милый Борис Константинович, похлопочите, как всегда, о выдаче мне пособия с писательского вечера. Наши дела *ужасные*». Таких обращений бедствующих литераторов к Зайцеву десятки, и на каждое он отзывался сердечно и благожелательно, добиваясь для них всяческой помощи у меценатов, у издателей, у Союза писателей. В то же время и сам он жил не лучше многих из тех, о ком так бескорыстно хлопотал. Работа, работа и работа — только в этом видел он и счастье, и залог хотя бы минимального достатка.

В сентябре 1928 года произошло важное в жизни эмиграции событие — первый (и единственный) всеэмигрантский съезд русских писателей и журналистов, созванный в Белграде по инициативе короля Югославии Александра I (в юности он учился в Петербурге, хорошо знал и высоко ценил русскую культуру). На средства, отпущенные правительством, началось издание «Русской библиотеки» и «Детской библиотеки». В этих сериях вышли книги Бунина, Куприна, Шмелева, Зайцева, Ремизова, Мережковского, Гиппиус, Бальмонта, Амфитеатрова, Тэффи, Чирикова, Северянина, Саши Черного... Для старейших русских писателей Вас. Немировича-Данченко и Е. Чирикова были учреждены стипендии. Многих писателей король наградил орденами св. Саввы — покровителя культуры. «Съезд прошел весьма пышно,— вспоминал Зайцев.— Мережковский сказал мне в Белграде: «Первый раз чувствую себя в эмиграции не последним, кому-то нужным». Да, сербы принимали нас очень дружески, даже восторженно, это бесспорно. К такой внимательности и гостеприимству мы и на самом деле не привыкли. И в этом тон задавал сам король Александр. Устраивались торжественные собрания, банкеты, спектакль в театре в честь приезжих, завтрак у короля».

Главными для Зайцева изданиями в эти годы стали журнал «Современные записки» и газета «Последние новости». Журналистская работа захватила его всецело. В «Современных записках» писатель публикует свои художественные произведения — главы из романов «Золотой узор» и «Дом в Пасси», повесть «Анна» и роман-биографию «Жизнь Тургенева», рассказы «Рафаэль», «Алексей Божий человек», «Авдотья-смерть», очерки «Побежденный», «Данте и его поэма», «Жизнь с Гоголем», «О Бальмонте», рецензии на книги И. Бунина, П. Муратова, Н. Тэффи, М. Осоргина. В «Последних новостях» пе-

---

[1] Дочь Зайцевых Наталья Борисовна в 1932 г. вышла замуж за Андрея Владимировича Соллогуба.

чатаются заметки и корреспонденции «по поводу»: «День русского шофера», «Прощание» (о спектакле Пражского театра), «Общежитие в Шавилле» (призыв жертвовать), ответы на анкетные вопросы. В этой газете в течение второго полугодия 1927 года печатались также начальные главы книги «Афон». Завершающие ее главы опубликованы уже в другой газете: в октябре 1927 года Зайцев перешел в недавно созданную газету «Возрождение». В его лице новое издание приобретает едва ли не самого активного и добросовестного сотрудника: за двенадцать лет он опубликовал здесь около двухсот своих произведений самых разных жанров!

Переход в новую газету был вынужденным: уж очень мало платили своим сотрудникам «Последние новости». Однако за переход в другую газету они заплатили писателю более чем «щедро»: 6 декабря 1927 года «Последние новости» опубликовали уничижительную, разносную статью о творчестве Зайцева. Автор скрылся за криптонимом «М. Ю. Б-ов». За всю долгую творческую жизнь Бориса Константиновича это была единственная такого рода рецензия — несправедливая и необъективная, вызвавшая в писательской среде возмущение и резкое осуждение. Вот, например, что пишет В. Ходасевич соредактору журнала «Современные записки» М. Вишняку: «Кажется, я Вам писал об уничтожении Зайцева в «Последних новостях». Затем был изничтожен Муратов — прошу заметить. Теперь, значит, очередь за мной, потом за Берберовой. Это называется: «Пиши у нас, а то докажем, что твои писания ничего не стоят». Помните московских извозчиков? На одного садишься, а другой кричит: «Он не довезет! У яво лошадь хромая!» Все повторяется»[1].

К числу событийных публикаций Зайцева в этот период следует отнести повесть «Анна», роман «Дом в Пасси» и автобиографические записки, в разное время называвшиеся «Странник», «Дни», «Дневник писателя» (из них впоследствии выросли две его замечательные книги мемуаров — «Москва» и «Далекое»).

Повесть «Анна» заставила критиков единодушно говорить о новом повороте в творческом пути писателя. По словам Г. Адамовича, Павел Муратов «даже воскликнул, что в литературной деятельности Зайцева открылась «дверь в будущее» и что на этой двери написано — «Анна». Федор Степун новое увидел прежде всего в «большой плотности» этой повести. «Я живо чувствую,— пишет он,— трудно сказуемую тайну композиционного единства «Анны». Думаю, что в тайне этого единства коренится главное, очень большое очарование зайцевской повести».

Однако сам Зайцев отнес повесть к числу своих «некоторых недоразумений»: «...Я не люблю эту вещь, не люблю просто. Она меня,

---

[1] Минувшее: Исторический альманах. Т. 3. Париж, 1987. С. 269.

собственно, мало выражает. Она как-то забралась ко мне со стороны. В смысле внешнем, в смысле, так сказать, литературной техники или мастерства, что ли, она довольно удачна, но несмотря на это, я ее не люблю»[1]. Г. Адамович пишет: «...Задумчиво и неуверенно взглянув на «дверь», Зайцев от нее отошел и предпочел остаться на пути, избранном ранее».

Одной из вех «на пути, избранном ранее», стал роман «Дом в Пасси». В нем Зайцев в числе первых взялся рассказать о жизни русских эмигрантов, собравшихся волею судьбы под одной крышей в доме, какие реально существуют в парижском Пасси — районе, где жил и Зайцев, и многие из русских писателей-изгнанников. В одном из последних писем в Москву (И. А. Васильеву) Борис Константинович вспоминал: «Это отчасти и кладбище старшей группы писателей русских (эмигрантов). В двух шагах жил Бунин, чуть дальше Мережковский и Гиппиус, Куприн в другую сторону, но тоже близко. Шмелев, Алданов, Тэффи, Осоргин, Ремизов — все соседи. Теперь я один остался».

Говоря о «Доме в Пасси», М. Цетлин в рецензии, опубликованной в парижском ежемесячнике «Современные записки» (1935. № 59), верно заметил: «Написать такой роман — задача трудная. Не будет далеко от истины сказать, что в эмиграции нет ни «жизни», ни «романов». Нет «жизни» в смысле устоявшегося крепкого быта. Нет «романов», потому что большинство эмиграции живет в плену тяжелого труда, не оставляющего досуга, не дающего душевной свободы». Не будучи бытописателем, Зайцев мастерски преобразует в свой поэтически одухотворенный мир «эмигрантскую неустоявшуюся, не спустившуюся в быт, не отяжелевшую жизнь». Эту задачу писатель решает сравнительно легко и просто, потому что для него это проторенная тропа: «Люди у Зайцева всегда были немного «эмигрантами», странниками на земле» (М. Цетлин). В романе нашла свое художественно яркое выражение тема п р о с в е т л я ю щ е г о с т р а д а н и я,— тема хотя и не новая для Зайцева, но увиденная им с новых высот и получившая более глубокое, философское толкование.

Выразителем авторской позиции в романе выступает старый монах Мельхиседек, один из самых обаятельных его персонажей. Тихий, как бы рассеивающий вокруг себя умиротворяющий покой, он мало говорит, ни во что не вмешивается, а след в душах оставляет благостный и утешающий. Он обладает редкостным даром выслушивать людей, не перебивая, а словно поощряя — то улыбкой, то внимающим взглядом — раскрыть сердце, освободить его от забот и горестей эмигрантского дня. И к нему тянутся все от мала до велика — таков его просветляющий магнетизм.

---

[1] Цит. по: Крыжицкий С. Разговоры с Б. К. Зайцевым // Новый журнал. Нью-Йорк, 1983. Кн. 150. С. 194.

Вот какую характеристику отцу Мельхиседеку дает в предсмертном своем дневнике обитательница «русского дома» Капитолина — одна из тех, кого жизнь трагически смяла и кого не удалось спасти отцу Мельхиседеку: «Я недавно прочла, что Толстой находил у себя болезненную черту: манию исправления человечества. То есть, мол, никак без него не обойтись. Он все знает и своим толстовским пальцем укажет, где истина.

Этот старичок (Мельхиседек.— *Т. П.*) потоньше. Он не напирает и не пристает. Он, пожалуй, больше собою действует, своим обликом, скромным голосом, седою бородой. Если бы жизнь состояла из таких стариков, то есть вообще таких безобидных и благожелательных людей, то, возможно, было бы и приятно жить».

Некоторые критики, современники Зайцева, усматривали в этом образе некоторую традиционность, следование тому, что уже было, например, у Достоевского и Лескова. С этим вряд ли можно согласиться: в романе Зайцева мы встречаем не следование традиции, ее повторяющее, а продолжение и развитие ее в новом художественном контексте. В том числе и образ Мельхиседека никого не повторяет, он — творческая находка, писательское изобретение Зайцева. Более того, это он сам, это всеми узнаваемое самоописание, исповедальное самовыражение.

* * *

16 июня 1928 года Вера Алексеевна Зайцева «по секрету» сообщает своей подруге Вере Николаевне Буниной: «Боря начинает писать скоро о Тургеневе». А через год это стало известно всем: журнал «Современные записки» оповестил читателей, что намерен опубликовать входящие в моду, завоевывавшие все большую популярность беллетризованные жизнеописания: Бунина — о Лермонтове, Зайцева — о Тургеневе, Алданова — о Достоевском, Ходасевича — о Державине. Цетлина (Амари) — о декабристах.

Зайцева — Буниной 23 декабря 1930 года: «Боря скоро кончит «Тургенева»; 3 декабря 1931 года: «У нас дела материальные ужасные. 3500 франков за «Тургенева» Б. получил, это чудо». Книга Зайцева вышла в 1932 году в издательстве «ИМКА-ПРЕСС», а главы ее перед этим печатались в «Современных записках» и «Возрождении».

«Жизнь Тургенева» явилась книгой первопроходческой и новаторской, она вызвала столько похвальных откликов, скольких не удостаивалось, пожалуй, ни одно из произведений Зайцева. «Ныне повсеместно прославленный Б. К. Зайцев, автор «Золотого узора» и «Анны» и отличного «Жития» преп. Сергия Радонежского и многого другого, все вещей упоительных, написал также весьма значительную книгу о Тургеневе. Это был настоящий и бесстрашный рыцарский подвиг,—

утверждает, например, Владимир Ильин и далее доказывает, почему это так: — Среди снобирующих элитных кругов почему-то безо всяких серьезных оснований сделалось своего рода модным шиком, всячески хваля Максима Горького, Маяковского и Есенина, поносить Тургенева и Бальмонта (в музыке — Римского-Корсакова и Чайковского)... Люди хитры и знают, что на снобизме можно себе составить весьма высокий и богатый кредит. Но от этого духовным ценностям не поздоровится»[1].

Конечно, не с этой целью — защитить от снобов великое имя Тургенева — писал свою книгу Зайцев. Это просто счастливое совпадение, что пришлась она ко времени и выполнила еще одну благородную задачу. Но главное в другом: Тургенев с молодых лет был в числе его кумиров. И не случайно критики сразу же, с первых его публикаций, заметили: «Зайцев исходит от Тургенева, он весь гармонический, целостный»[2].

Но были еще два имени, сыгравшие в творческой судьбе Зайцева, в его духовном совершенствовании роль первостепенную, учительную: Жуковский и Чехов. О них он тоже напишет романы, которые наряду с «Жизнью Тургенева» станут «одними из лучших книг жанра «творческой биографии»[3]. Зайцевские беллетризованные жизнеописания и до сих пор, по справедливому мнению Г. Струве, «не имеют себе точных параллелей в русской литературе. Не совсем похожи они и на модные в свое время французские «романсированные» биографии»[4].

Своеобразие романов Зайцева в том, что в них отсутствуют творческий домысел и вымысел, они почти литературоведчески достоверны. Художественная же достоверность достигается благодаря глубинному проникновению в реальные жизненные ситуации, раскрытию духовного мира героев «методом вчувствования» (Г. Струве).

* * *

В ровное, размеренное течение жизни семьи Зайцевых шумным, веселым праздником врываются венчание и свадьба дочери Натальи Борисовны и Андрея Владимировича Соллогуба, состоявшиеся 6 марта 1932 года. На это семейное торжество собралось около четырехсот человек — чем не съезд русских эмигрантов! Здесь и давние друзья Зайцевых — Тэффи, Берберова, Ремизов, Ходасевич, Муратов, Бальмонт, Алданов, Дон-Аминадо, Вишняк... «Квартира превратилась в цветущий

---

[1] Ильин В. Литературоведение и критика до и после революции // Русская литература в эмиграции: Сб. статей / Под ред. Н. П. Полторацкого. Питтсбург, 1972. С. 252—253.

[2] Чуковский К. Собр. соч.: В 6 т. М., 1969. Т. 6.

[3] Терапиано Ю. Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924—1974): Воспоминания, статьи. Париж; Нью-Йорк, 1987. С. 287.

[4] Струве Г. Русская литература в изгнании. С. 266.

сиреневый сад,— пишет Вера Алексеевна в Грасс Буниным.— Было огромных — 8 букетов белой сирени и один лиловый букет (от Аминадо). Белые фиалки, подснежники и т. д. Угощенье было: кулебяка, печенье, сандвичи, конфеты, шампанское и асти». А в конце письма приписка о комичной сценке, развеселившей всех: «После венчания «молодые» уехали в прекрасном автомобиле. Кто-то спросил: «Чей это автомобиль?» На это Ходасевич ответил: «Не знаю чей, но не Бориса Константиновича. У его автомобиля другой номер». У нас,— комментирует остроту Ходасевича Вера Алексеевна,— не только автомобиля, но и вообще гроша медного не было тогда в кармане — и все это знали».

А через год с небольшим пришел и еще один праздник для всей писательской колонии в Париже, для всей русской эмиграции — от Праги до Харбина: в ноябре 1933 года в Грасс пришла телеграмма из Швеции о том, что Ивану Алексеевичу Бунину присуждена Нобелевская премия. «Не говоря уже о нас всех,— пишет 4 ноября Буниной Вера Алексеевна,— но ведь какое счастье для нашей бедной России». И 16 ноября об этом же: «Верун! Дорогой мой! Вчера встретили Ивана, и ужасно горько было, что ты не приехала вместе. Вся жизнь прошла у меня перед глазами. Как вы собирались в кругосветное путешествие («кругосветное» — в Палестину, весной 1907, неоформленное «свадебное» путешествие.— *Примеч. Б. К. Зайцева*). Как он был влюблен и как вы оба хороши были. Говорить не приходится, какой переполох был и какой восторг обуял всех, когда узнали, что Иван получил премию. Русские все чуть не целовались, гордились, и легче всем стало, что русский писатель как бы возвеличил бедных, обмордованных большевиками эмигрантов. Иван помолодел, растроган».

Радостную весть Бунин первому сообщил своему давнему и самому близкому другу Зайцеву. Борис Константинович тотчас помчался в типографию газеты «Возрождение» и впервые, как бойкий репортер, прямо у печатной машины написал восторженные строки, которые утром читал весь русский Париж:

«Русский писатель Иван Бунин увенчан как первый, и в нем увенчана литература наша, и Россия, наконец, после тридцатилетнего молчания! В этой прекрасной победе самое, может быть, острое, ценное и волнующее: редкий, редчайший в жизни случай победы духовного — бескорыстного добра. Беспристрастное некое судилище увенчало гонимого и беззаступного... «Безродинный» Иван Бунин несет ныне тяжесть лавров России — Родины, его родившей, в бедствиях неслыханных сейчас изнемогающей... Это, конечно, праздник. Настоящий наш русский, первый после стольких лет унижений и бед».

Воодушевление, охватившее всех, заставило оглянуться на пройденный изгнанниками путь, оценить, так ли уж плохо потрудились они на литературной ниве, как считали там, в далекой России; прав

ли, в частности, Горький, написавший: «С изумлением, почти с ужасом слежу, как отвратительно разлагаются люди, еще вчера «культурные». Б. Зайцев пишет жития святых. Шмелев — нечто невыносимо истерическое. Куприн не пишет — пьет. Бунин переписывает «Крейцерову сонату» под титулом «Митина любовь». Алданов — тоже списывает Л. Толстого. О Мережковском и Гиппиус не говорю»[1].

И все это — о расцветном, самом плодоносном периоде русской литературы зарубежья! Вот ее только вершинные произведения (не пожалеем места на их перечисление): Бунин — «Митина любовь», «Солнечный удар», «Дело корнета Елагина», «Жизнь Арсеньева»; Шмелев — «Про одну старуху», «Свет разума», «История любовная», «Няня из Москвы», «Богомолье», «Лето Господне»; Ремизов — «Оля», «Звезда Надзвездная», «По карнизам», «Три серпа», «Образ Николая Чудотворца»; Мережковский — «Мессия», «Тайна Запада», «Наполеон», «Иисус Неизвестный»; Тэффи — «Городок», «Авантюрный роман», «Книга Июнь»; Алданов — «Чертов мост», «Ключ», «Бегство», «Десятая симфония», «Земля и люди», «Портреты»; Осоргин — «Сивцев Вражек», «Свидетель истории», «Книга о концах»... Как список этот ни длинен, но и он — лишь малая толика того, что создано изгнанниками. Ведь в литературе плодотворно трудились еще десятки прозаиков, поэтов, критиков. В их числе такие прекрасные имена, как Вяч. Иванов, В. Ходасевич, К. Бальмонт, И. Северянин, Саша Черный, Г. Адамович, З. Гиппиус, М. Цветаева, Г. Иванов, Н. Берберова, В. Набоков, М. Арцыбашев, П. Муратов, Г. Газданов, Дон-Аминадо, Б. Поплавский, И. Сургучев, книги которых только сейчас приходят к читателям в нашей стране. Только сейчас мы открываем для себя дотоле неведомый, но какой удивительный и прекрасный материк духовных сокровищ, созданных вдохновением и талантом мастеров слова вдали от своей Родины.

В этом списке замечательных тружеников литературы одно из значительных мест по праву принадлежит Борису Зайцеву.

* * *

Лето 1934 года Зайцев проводит в гостях у Бунина — на его вилле «Бельведер» в Грассе, где и в прежние нередкие гостевания так хорошо ему работалось. Здесь Зайцев пишет первые страницы произведения, которое на двадцать лет станет главным делом его жизни. Приступает к «Путешествию Глеба». Начавшись романом «Заря» — о детстве писателя,— эпопея разрастется, разветвится и потребует от автора создания еще трех романов. Так появятся «Тишина», «Юность» и

---

[1] Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1949—1956. Т. 29. С. 431.

«Древо жизни», которые и составят автобиографическую тетралогию (попутно заметим, что к ней сюжетно-тематически примыкают и романы «Золотой узор» и «Дом в Пасси», для которых, как уже отмечалось, также характерен автобиографизм).

Первая публикация с пометкой «Из книги «Путешествие Глеба» появляется 28 апреля 1935 года в газете «Возрождение». С этого времени почти все журналы и газеты русского зарубежья печатают главы крупнейшего произведения Зайцева.

Первый том тетралогии выходит в 1937 году в берлинском издательстве «Петрополис»; остальные книги увидят свет только через десять — пятнадцать лет, несмотря на то что «Тишина» была завершена летом 1939 года, а «Юность» — в 1944-м («Древо жизни» будет написано в 1952 году).

Началась вторая мировая война. Она еще раз перекроила судьбы русских изгнанников, размежевала их на враждующие станы, приостановив еще недавно столь активное и плодотворное духовное общение. Закрывались русские газеты и журналы, перестали выходить русские книги.

Тревогой и болью полны в эти годы дневники Зайцева, его письма к Ивану Алексеевичу и Вере Николаевне Буниным. «Вчера заехала к нам Нина Берберова — и расплакалась,— пишет он 2 ноября 1939 года.— Я дал ей валерьянки. Говорит, что война ее очень угнетает». 11 ноября 1939 года: «Кончил тебе письмо, лег спать — в 4 ч. 45 м. сирена. В пять весь дом «встретился» в подвале. Продолжалось это час. Теперь сильно стали привыкать, и даже та чешка, с которой при первом алерте (воздушной тревоге.— *Т. П.*) сделалась истерика, теперь была тиха (хотя и зелена)... Пришла с рынка Вера. Говорит, что настроение «задумчивое». Веселиться, разумеется, не приходится». 9 декабря 1939 года: «Варвары идут! Мы — «последние римляне». Все равно, мы ничего никому не уступим и умрем со своими святынями». 21 февраля 1940 года: «У меня за последнее время все более острое чувство того, как мало осталось нас, душевно и духовно близких людей — ведь горсточка! — и разлука недалека, и хотелось бы, чтобы последние годы прошли в любви — или, по крайности, в добром расположении... Представь, третьего дня свез Каплану в «Дом книги» 2-й т. «Глеба». Дело еще не совсем решено, но обещает в мае выпустить 50 экз. мне с правом продажи, нумерованные. Если все так и выйдет и доживем, то придется торговать ими, что-то пытаться выручить — а то ведь зубы на полку!» 4 июня 1940 года: «Читаю Библию. Очень поражен царем Давидом. Хочется написать о нем — вроде рисунка, «портрета» — не то слово, но другого сейчас не нахожу. А он меня волнует (поэтически). Может быть, завтра от комнаты моей останется одна пыль, да и от меня, от нашей малой жизни. Все равно пока жив, хочется иной раз что-то сказать («Я буду петь Господу, покуда жив,

буду бряцать Богу моему, доколе есмь»)... Пришла Наташа. Ее приятели сидели в abri (убежище.— *Т. П.*). Вышли — а квартира их вся разнесена». 22 июня 1940 года: «Попытки русских устроить здесь газету не удались. «Дом книги» открыт. В нем сидит Каплан и продает русско-немецкие словари (но не нас с тобой, Иван)».

В 1943 году квартира Зайцевых была разрушена бомбардировкой, по счастью — в тот час, когда завтракали они у дочери. «Когда в четвертом часу мы попали домой,— пишет Буниным Борис Константинович,— квартира была полна битого стекла и мусора — все стекла вылетели, все это предназначалось нам в физиономию. Да, опять чья-то рука отвела беду».

Приютила Зайцевых Нина Берберова. «Странно и грустно было уходить с чемоданчиками, под дождем в бурю из своего угла — какой ни есть, а все же свой. И книг набралось порядочно за одиннадцать лет. Рукописи взял с собой. Жаль, Иван, ты далеко. Я бы тебе прочел 1—2 песни «Ада» во «взрослой» моей отделке — да и Верочка, наверно, послушала бы. В этого Данте я зимой сильно влез, и как удивительно: перевел его 25 лет назад[1], трижды получил под него авансы, трижды издательства разорялись войнами и революциями, а теперь я рад, что он не вышел в «прежнем» виде. Это было бы неприятно мне теперешнему. А «я теперешний» — уже последний, больше со мной ничего не будет, кроме смерти. Это последнее мое слово. Что знаю, что умею, то даю — изо всех моих сил. Рукопись завещаю Наташе, может быть, ей когда-нибудь и удастся ее напечатать (на свой и Верин век не рассчитываю)».

Борису Константиновичу было 62 года, и ему суждено было жить и трудиться еще почти тридцать лет. Он дождется книжного издания своего перевода дантовской «Божественной Комедии» (Париж, ИМКА-ПРЕСС, 1961), увидит изданными все тома своей тетралогии, напишет и опубликует еще немало новых произведений. Вдохновение, страсть созидания и, как он говорил, «жажда красоты, поэзии» не покинут его до последнего часа.

* * *

Казалось, никто и ничто не могло разрушить почти полувековую, прошедшую через всякие житейские испытания дружбу двух замеча-

---

[1] В «Известиях книжного магазина т-ва М. О. Вольфа», в № 6 за 1914 год, появилось следующее сообщение: «Борис Зайцев закончил перевод части «Божественной Комедии» Данте — «Ад». Книга выйдет осенью в издательстве К. Ф. Некрасова. Перевод «Чистилища» и «Рая» предполагается закончить и выпустить к осени будущего года». Однако, как видим, автор ждал издания «Ада» 37 лет.

тельных людей XX века — Ивана Бунина и Бориса Зайцева. Однако это случилось. Случилось, когда уже позади остались горести и утраты военного лихолетья, когда вновь возвращались покой и умиротворенность, столь необходимые для вдохновенного творчества.

В. Н. Бунина 25 июля 1945 года пишет М. С. Цетлиной, давней своей приятельнице, уехавшей в годы гитлеровской оккупации из Парижа в Нью-Йорк: «Время тяжелое. Душа с трудом принимает все, что приходится слышать и о прошлом, и о настоящем. Порадовались только вчера: Наташа (дочь Зайцевых.— *Т. П.*) родила сына. Пока было решено, что его назовут Михаилом... Завтра Зайцевы и отец Киприан у нас завтракают, тогда узнаем все подробности». В эти месяцы Вера Николаевна организует благотворительные (в пользу писателей) литературные встречи. Один из «матинэ» — утренников она устроила Зайцеву, где он читал Лескова и рассказывал о нем. С дружеской участливостью Вера Николаевна пишет о Зайцеве: «...вид не радует — еще больше обтянулось его иконописное лицо». И через полгода еще все хорошо в дружбе Буниных и Зайцевых — 8 февраля 1946 года той же Цетлиной Вера Николаевна сообщает: «Вчера у нас были Зайцевы. Они, слава Богу, здоровы. А то ведь и у них была тревога (болел Борис Константинович.— *Т. П.*). Настроение у них легкое. В понедельник надеюсь выбраться к ним — Борису стукнет шестьдесят пять!»

Но вот 14 июня того же 1946 года появляется Указ Президиума Верховного Совета СССР «О восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской империи, а также лиц, утративших советское гражданство, проживающих на территории Франции». И начался в среде изгнанников раскол дружб, разрыв привязанностей: в душах поселились отчуждение, вражда и зло из-за того только, что одни были за получение советских паспортов, другие против (потому что паспорта сталинские, потому что из рук палача своего народа...).

Увы, по-разному решили для себя Бунин и Зайцев этот вопрос. Иван Алексеевич хотя и остался «апатридом», юридически человеком без отечества, но сочувствовал тем, кто откликнулся на призыв, содержавшийся в Указе от 14 июня. В эту пору, по словам Зайцева, «глава и как бы непоколебимый стяг эмиграции» — Бунин оказался в числе тех, кто вышел из парижского Союза писателей и журналистов, первым председателем которого он был еще в 1921 году и который возглавлялся ныне Зайцевым. Вышел, как посчитало большинство русской эмиграции, в знак протеста против исключения из Союза всех, получивших советские паспорта. «Странным образом, мы оказались с Иваном в разных лагерях,— вспоминал через много лет Борис Константинович,— хотя он был гораздо бешенее меня в этом (да таким по существу и остался)... Иваново окружение тогдашнее и мое оказались тоже разными, и Ивану я не сочувствовал. Тут ничего нельзя было поделать. Темпераменты разные, но я не уступал ни пяди. Он более

и более раздражался. Озлобленность его росла. Мы перестали встречаться».

В последний раз видел Зайцев своего друга перед операцией «полуживого и несчастного». А последнее письмо (в котором уже нет прежнего тепла) Вера Николаевна друзьям своим давним отправила 1 сентября 1950 года: «Дорогой Борис, Ян просит поблагодарить тебя за то внимание, которое ты оказал в его горестном положении...» И через много лет с болью и горечью замечает Борис Константинович, что содержащаяся в письме фраза «Временами Ян страдает нестерпимо» «и сейчас ранит сердце». Бунин прожил еще три года. «Очень тяжких,— пишет Зайцев.— И физически, и морально. Я его больше не видел. Грустно вспоминать все это, и, может быть, надо было преодолеть его раздражение и мрак, но сил, очевидно, не хватило. Поздно теперь сожалеть. Лишь за несколько дней до его кончины я написал ему письмо, точно восстанавливающее факты. Ему, думаю, было уже все равно. Ответа не получил. На пороге стояла смерть».

Воспоминания и раздумья об И. А. Бунине займут в дальнейшей судьбе Зайцева немалое место. Его имя — одно из главных в мемуарных книгах «Москва» и «Далекое»; о нем он пишет и публикует очерки, эссе, дневниковые заметки: «К уходу Бунина» (1953), «Памяти Ивана и Веры Буниных» (1962), «Тридцать лет» (1966), «Перечитывая Бунина» (1967), «Об И. А. Бунине» (1969), «Бунин» (1970)...

Уже на склоне лет Борис Константинович пишет «Повесть о Вере» и «Другая Вера», в основе которых цитировавшаяся выше переписка В. А. Зайцевой и В. Н. Буниной. Это — книги его Памяти, книги Любви, дань светлой признательности только что ушедшей жене — сподвижнице в трудах и днях на протяжении более шести десятилетий. Неудивительно, что критики поставили эти две итоговые работы старейшего русского писателя Парижа в один ряд с его лучшими произведениями. «Необычайной силы и прелести «Повесть о Вере»...— пишет, например, Ник. Андреев.— И, пожалуй, еще ярче «Другая Вера»...— в их непосредственности и замечательной меткости суждений драгоценный источник «аромата эпохи» и потока любопытных деталей о жизни зарубежных писателей»[1].

* * *

В последние годы жизни Борис Константинович чаще, чем прежде, обращается и мыслью своей, и сердцем к России. Еще в военное лихолетье, в 1943 году, он подытожил пройденный путь такими словами: «За ничтожными исключениями все написанное здесь мною выросло

---

[1] Цит. по: Русская литература в эмиграции.

из России, лишь Россией и дышит». А далее с горечью отмечает: «И ни одному слову моему отсюда не дано было дойти до Родины. В этом вижу суровый жребий, Промыслом мне назначенный. Но приемлю его начисто, ибо верю, что все происходит не напрасно, планы и чертежи жизней наших вычерчены не зря и для нашего же блага. А самим нам — не судить о них, а принимать беспрекословно».

Но с годами налаживается его переписка с десятками корреспондентов из России. «Очень интересное явление,— делится он 11 апреля 1960 года радостью со Странником — архиепископом Иоанном Шаховским,— стали доходить до меня письма с разных концов России от... слушателей... (Перестали, оказывается, глушить там «Голос Америки»). Задают всяческие вопросы... Кое-кто, может быть, и по закону. Но — сколь расширилась «аудитория». Через 40 лет странствий вхожу в «Землю Обетованную»... Вот милость Божья, — за которую ничем нельзя воздать...»

Пишут ему и о прочитанных его книгах — неведомыми путями попадали-таки они на родину. Много писем за «железный занавес» отправляет и он: всегда далекий от политики, идеологических распрей, все-таки не выдерживает и шлет одним — слова укора, другим выражает чувства искренней поддержки. В числе последних были Ахматова, Солженицын, Пастернак...

«Буря Вас взрастила, углубила — подняла,— пишет он Ахматовой, прочитав ее «Реквием».— Кто не знает, что такое — биться головой об стенку, тот не видел революции... Бились ли дома головой об стенку за близкого — не знаю. Но искры излетели из сердца. Вылетели стихами, не за одну Вас, а за всех страждущих, жен, сестер, матерей, с кем делили Вы Голгофу тюремных стен, приговоров, казней... Вот и выросла «веселая грешница», насмешница царскосельская — из юной элегантной дамы в первую поэтессу Родной Земли, голосом сильным и зрелым, скорбно-звенящим, стала как бы глашатаем беззащитных и страждущих, грозным обличителем зла, свирепости» (1964).

А вот наряду с новогодними поздравлениями — слова ободрения и участия обличаемому, изгоняемому А. И. Солженицыну: «Александр Исаевич, чрез тысячу верст, нас разделяющие, и чрез жизнь, не позволяющую встретиться, направляю Вам благожелания и сердечное сочувствие». И далее, говоря о книгах его прочитанных, отмечает, что в них «не просто советская жизнь в вольном освещении», но и то, что их автор — «в злободневности, пестроте, в боли вчерашней». «Вам труднее,— говорит «старший собрат по литературе»,— кроме пафоса обличительного, чаще всего уводящего от высокого художества, Вас могут упрекнуть и в другом: вообще в перевесе документального, Choses vues, над вымыслом творческим. Но, слава Богу, есть и иное, Ваше органическое — в этом Вы в линии великой русской литературы XIX века, не подражательно, а врожденно. Есть глубокое дыхание любви и сострадание. Оно подземно у Вас, но подлинно. Вы его не

«возглашаете», оно само говорит, даже Вас не спрашиваясь, голосом тихим и непрерывным» (1969).

Переписка с Пастернаком, возникшая незадолго до смерти Бориса Леонидовича, напомнила и возродила их былое знакомство, о котором сын Пастернака, Евгений Борисович, написал в книге об отце: «На следующий день после совместного выступления Пастернака и Маяковского в кафе «Леон» (в Берлине 20 октября 1922 г.— *Т. П.*) В. Андреев встретил Пастернака в гостях у Б. К. Зайцева. С Зайцевым Пастернака познакомил еще в Москве Б. Пильняк, весной 1921 года он принес ему показать «Детство Люверс», которое тот высоко оценил. На прощанье Зайцев пожелал Пастернаку «написать что-нибудь такое, что он бы полюбил», и эта счастливая по простоте формулировка потребности в художестве,— писал Пастернак 10 января 1923 года Полонскому,— стала внутренним импульсом работы»[1].

В пятидесятые—шестидесятые годы, после возобновления знакомства, Зайцев опубликовал в газетах и журналах зарубежья не менее полутора десятков статей, заметок, эссе о Пастернаке и в его защиту. В свою очередь и Пастернак следил заинтересованно за книгами Зайцева. А об одной из них, особенно его увлекшей, он написал 28 мая 1959 года прочувствованные строки: «Дорогой Борис Константинович! Все время зачитывался Вашим «Жуковским». Как я радовался естественности Вашего всепонимания...»[2]

Современников Зайцева удивляло и покоряло в нем то, что этот один из самых аполитичных прозаиков XX века и в книгах своих, и в общении с людьми возвышается сам и поднимает своих читателей до глубинного осознания едва ли не главнейших политических (а не только этических) истин: человек человеку брат; миром хорошо правит только добро и доброе; все премудрости земли не имеют никакого смысла, если они не служат счастью человека.

Зайцев всю свою долгую жизнь был увлечен поиском истинно нравственного поведения, каждой своей строкой пытался вносить в людские души искры добра, разжигая их в золотой костер любви и милосердия, справедливости и правды. Милосердие и сострадание — эти два великих слова выражают мировоззренческую суть, пронизывающую все его творчество.

* * *

В 1965 году в нью-йоркском «Новом журнале» появляется ставший последним зайцевский рассказ-поэма «Река времен». «Эта повесть,—

---

[1] Борис Пастернак. Материалы для биографии. М., 1989. С. 374—375.

[2] Цит. по: Шиляева А. Борис Зайцев и его беллетризованные биографии. Нью-Йорк, 1971. С. 132.

восторженно писал Юрий Терапиано,— является не только высокохудожественным произведением, но в ней Борис Зайцев достигает высшей точки своей внутренней прозорливости в области христианской любви»[1]. Литературовед П. Грибановский, также считая этот рассказ вершиной в художественно-духовном восхождении писателя, особо отмечает в нем «удивительно тонкое сочетание «горнего» с «дольним», смиренное подчинение по-человечески немощного святости Божьей». «Рассказ этот,— заключает рецензент,— хочется думать, не уступает «Архиерею» А. Чехова и должен будет войти в большую антологию, появиться в числе, скажем, лучших десяти рассказов за последние сто лет».

В 1968 году в Нью-Йорке вышла последняя книга, которую Зайцев сам и готовил как итоговую к своему девяностолетию. «Это вроде антологии писаний моих дореволюционных, революционного времени и эмиграции,— писал он 18 января 1969 года москвичу И. А. Васильеву (письмо в его архиве).— Вошли туда: I. **«Голубая звезда»**, «Путники», «Люди Божие». II. «Улица св. Николая», «Белый свет», «Душа», «Новый день». III. «Звезда над Булонью», «Разговор с Зинаидой», **«Река времен»**.— Подчеркнутое как бы окаймляет книгу — она получилась довольно большая, издана очень хорошо, с отличной фотографией автора. Названа по последнему рассказу, как бы завершающему все вообще у меня. Он написан в тяжелые дни болезни моей жены Веры (она была парализована 7 1/2 лет!).— Тут наступило резкое ухудшение, я находился в очень нервном состоянии. Через несколько месяцев она скончалась. Но рассказ я ей прочел, она была верной покровительницей и ободрительницей писания моего с ранних лет (64 года вместе). Но книги уже не застала. 11 мая 1965 г. ушла. Я живу сейчас у дочери нашей Наташи, в условиях и душевно и внешне-обстановочных превосходных. Но, конечно, заменить ушедшую никто не может. Книгу эту считаю прощанием с литературой и жизнью. Это надгробная плита».

Была еще одна книга, о которой в последние годы своей жизни хлопотал Борис Константинович,— это своего рода агиографическая трилогия, в которую он включил давно не переиздававшиеся свои произведения «Преподобный Сергий Радонежский», «Афон» и «Валаам». «Какая хорошая мысль,— пишет ему 9 февраля 1963 года архиепископ Иоанн Шаховской,— издать «свято-русскую» серию Вашу. Если хотите, чтобы я над этим вопросом подумал, я постараюсь обдумать его, и, может быть, найдутся какие-либо «координаты» здесь...»[2]

«Координаты» эти действительно нашлись, и долгожданная книга эта — «Избранное» — вышла в Нью-Йорке в 1973 году, но автор ее

---

[1] Терапиано Ю. Литературная жизнь русского Парижа за полвека. С. 288.

[2] Из переписки архиепископа Иоанна Шаховского с Борисом Зайцевым // Русский альманах. Париж, 1981. С. 241.

уже не увидел: 28 января 1972 года Борис Константинович Зайцев скончался. 2 февраля он был похоронен в парижском некрополе русских беженцев и изгнанников Сент-Женевьев-де-Буа — там, где обрели вечный покой его жена, его друзья И. А. и В. Н. Бунины, А. М. Ремизов, Н. А. Тэффи, И. С. Шмелев, Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус и многие-многие другие.

Нашему времени выпала на долю высокая миссия — покаянно возвратить русской культуре, русской истории добрые имена и замечательные книги тех, кто не по своей воле закончил жизненный путь на чужбине. Почему так велик у нас интерес к их судьбе и творчеству? Чем близки они нам, людям, казалось бы, совершенно другого мира?

То глубинное, что роднит нас и объединяет, облагораживает и возвышает, выразил простыми словами Борис Константинович Зайцев в своих дневниковых записях: «И главное, главное: Россия...» И еще: «Верим, что теперешняя Россия выздоровеет. В любви к ней почерпнем силы».

Тимофей ПРОКОПОВ


ПОВЕСТИ
и
РАССКАЗЫ

Все написанное мною лишь
Россией и дышит...
БОРИС ЗАЙЦЕВ

Горек хлеб изгнания и круты
чужие лестницы.
ДАНТЕ

ИЗ КНИГИ «ЗЕМНАЯ ПЕЧАЛЬ»

МАТЬ И КАТЯ

I

Хотя был уже май и сезон как будто кончался, однако в передней небольшого ресторана было шумно, и все еще подходили.

— Бобка, Бобка, не найдем мы места, опять придется уезжать,— бормотала Мать, слезая с извозчика.

Друг ее сердца, Бобка, крепкий блондин, частный поверенный, буркнул:

— Для нас найдут.

Счастливой чертой Бобкина характера было то, что он всегда и с неотразимостью верил: в свою красоту, в успехи у женщин, в будущее богатство и в присущую способность внушать уважение, боязнь.

И теперь, когда Мать и сестра ее, курсистка Катя, снимали кофточки в передней, а Бобка, оправив усы и волосы перед зеркалом, вошел в ресторан, низколобый метрдотель сразу же устроил его вблизи оркестра, у пальм, как знакомого. Бобка сел солидно, оглянулся, как бы оценивая порядочность окружающего,— и попросил карточку. Он, действительно, бывал тут нередко. Ему нравилось, что в этом ресторанчике недорого, но, как он полагал, «шикарно». Шикарность состояла в том, что было много зеркал, подделки под красное дерево, что пóшло был расписан потолок, и видимо имитировали Вену. Злые люди утверждали, что ресторан содержат австрийские шпионы.

Войдя, Мать и Катя не сразу нашли Бобку. Но он внушительно подал рукой знак; повторять его не стал,— они и так должны были его заметить.

Матери тридцать с небольшим. Она фельдшерица, довольно полная и миловидная, со здоровым загаром, мелкими чертами лица. Если взять ее за щеки и сдавить, получится похоже на кота. Она делает это себе, когда бывает в духе. Ее называет Матерью Катя за то, что та ее пестует, охраняет ее молодость, помогает учиться. За мощность сложения и некую лень зовут ее и Ильей.

Катя худощавая, с простым русским лицом, приятными глазами.

Нынче она как раз не очень в духе. Когда Бобка явился к сестре (они жили вместе), Катя не хотела даже ехать, но он настоял. Бобке Катя отчасти нравилась, и он считал, что, значит, и он ей интересен.

Катя села.

— Ты бы уж свел в настоящий ресторан. А то здесь ужасно душно!

Бобка поправил перстень на пальце.

— Тут солидная публика. И прнтом, меня все знают. Дают самый лучший стол, быстро служат. Евстафий — ну-ка, отец родной, водочки там, закусона.

Мать оглянулась и слегка прыснула в салфетку. «Нашел солидную публику!»

— Бобка, где ты выучился говорить: отец родной?

— Выучился! Обыкновенные дворянские слова.

Мать сжала себе руками щеки, стала похожа на кота, и опять фыркнула. «С Мещанской улицы дворянчик!» Смеющимися глазами она смотрела на Бобку, на его красивое, грубоватое лицо, потом опустила руки и стала серьезной. «Если с Акимовой сойдется, отравлюсь, отравлюсь,— промелькнуло у нее в мозгу.— Жаль Катюху, все равно. Морфию приму».

Она выпила рюмку водки, потом другую. Стало теплее и веселей. Представилось, что все это чушь, выдумки. Мало ли что? И она в Праге ужинала со знакомым, а ему не сказала — он ревнив. Была — и ничего больше. Может, и он так же: только хвост распускает.

И, оглянувшись, встретив взгляды двух веселых студентов, Мать даже ласково блеснула им глазами — знай, мол, наших.

Бобка быстро подметил и надулся.

— Если ты будешь переглядываться с соседями, я уйду.

— Врешь ты, Бобка, ни с кем я не переглядываюсь.

Бобка хотел было рассердиться, показать свою значительность, но отвлекся двумя вошедшими. Один был блондин, высокий с маленькой головой, в светлом шелковом галстуке и серо-зеленом костюме. Другой немолодой человек в пенсне, худой, несколько рассеянный; он слегка подергивал шеей, был одет альпийским туристом. Нечто заграничное чувствовалось в его облике.

— А, черт,— Бобка вдруг оживился,— да это Колгушин, с ним не знаю кто. Как это сюда попал?

Услышав свою фамилию, высокий блондин обернулся, осклабился и просиял. На носу его блестела капелька пота.

— Борис Михайлович! Скажите, как неожиданно? А мы, знаете, никак местечка найти не можем.

— Милости прошу к нам, мне здесь всегда дают хороший стол. Усядемся.

Колгушин замялся, и обернулся на товарища. Тот лениво рассматривал ресторан. Казалось, ему все равно: здесь ли садиться, или совсем уйти.

— Если дамы разрешат...

— Садитесь,— кивнула Мать.— Требуйте стул.

— Прошу позволения представить — это сосед мой по имению, ближайший сосед. Константин Сергеич Панурин. Да. Ближайший сосед.

Бобка познакомился с Пануриным, познакомил подошедших с дамами. Колгушин сел с Матерью, Константин Сергеич с Катей. Колгушин счел, что дам следует занимать.

— Мы с Борисом Михайлычем порядочно давно знакомы,— говорил он Матери.— Еще с того времени, как они мой гражданский процессик вели. Но редко приходится встречаться. Я больше у себя в деревне хозяйничаю, а они тут. Да. Случайно встретишься.

Мать смотрела на него покойно, даже приветливо, но про себя думала: «Ну и черт с тобой, что случайно. Мне все равно».

Катин сосед не обращал на нее ни малейшего внимания. Он сидел, зевал, иногда подергивал глазами.

— Вы не знаете,— обратился он неожиданно тоном человека, спрашивающего на вокзале о поезде,— здесь очень скверно ко-ормят?

Он заикнулся, у него смешно прыгнули при этом брови. Катя весело ответила:

— Неважно.

Панурин вздохнул и стал печальнее.

— Так я и знал.

Катя не без любопытства глядела на него.

Панурин снял пенсне, потер нос и добро усмехнулся.

— Меня заграницей замучили. Ч-черт знает чем кормят!

Он оглядел ресторан.

— Тут вот тоже... Под заг-границу.

Бобка несколько обиделся.

— Современный стиль. Модерн. А если вам надо московского душка, так пожалуйте к Егорову, или к Тестову.

— Да,— говорил Колгушин Матери,— Константин Сергеич мой ближайший сосед. Они по философской части, в Германии работают. А это лето отдыхают у себя в имении, со мной рядом. Знаете, воздух хороший, природа...

Мать вспомнила время, когда сама ездила в деревеньку к родителям в Орловской губернии. Но родители умерли, дома нет, и она даже не знает, где придется проводить месячный отпуск.

— А что станция от вас далеко?

— Часика полтора езды.

Они разговорились. Мать спросила, нет ли у них поблизости усадеб с дачками. Какой-нибудь домишка, баня... И объяснила для чего. Колгушин подумал.

— Настаивать не смею, кроме того, я человек холостой, может быть, это неудобно считается. А у меня самого флигилек есть, весьма приличный. Продукты из имения, молоко, масло.

Колгушин вспотел и заморгал. Ему вдруг представилось, что он, провинциал, помещик, сделал что-нибудь бестактное. Над ним вообще часто смеялись, и срезали его, а он не умел обороняться.

Но Мать вовсе не хотела срезать. Расспросила подробнее.

— Поговорю с сестрой. И к вам можно.

Бобка посмотрел на нее подозрительно.

— Дачу у вас уж снимают? — обратился он к Колгушину.— Живо!

По Бобкиному лицу Мать почувствовала, что ему неприятно, что без него что-то устраивается. Кроме того, он ревновал. Ему приходили иногда дикие мысли; они смешили Мать, но и доставляли удовольствие.

— Петух, петух,— шепнула она.— Раздул перья!

Колгушин вспотел.

— Я не смею настаивать, но весьма был бы рад, если бы вы с сестрицей к нам пожаловали. Скажу прямо: это оживило бы нашу местность.

Катя слышала эти слова. Слегка улыбаясь, она спросила Панурина негромко:

— Почему это ваш сосед такой чудной?

Панурин прищурился и свистнул.

— Как по-вашему, стоит нам с Мамашей оживлять местность?

Панурин доел кокиль из ершей, налил себе и Кате рейнвейну в зеленые бокальчики.

— Отчего же не стоит? Будут хо-орошие барышни в соседстве.

Кате стало совсем весело, она перестала стесняться Панурина. Она взглянула на его колени и засмеялась:

— Почему на вас такие смешные чулки, и огромные ботинки?

Панурин со смущением взглянул на свои ноги.

— Это костюм немецкого пешехо-да. Хотя, в сущности, я мало подхожу.

Катя улыбнулась.

— А я половину дороги с курсов всегда пешком.

Узнав, что она на филологическом, Панурин еще раз чокнулся с ней.

— Ко-оллеги, значит. Если б не был так ленив, может, ученым бы был, читал бы лекции. Барышни бы мне цве-точков подносили.

Катя взглянула на него. Он, кажется, философ?

— Та-ак себе, ни то ни се, всего по-немногу. Кое-что ра-аботаю, правда.

Между тем в европейском ресторанчике становилось похоже на Россию. Компания студентов заказала чашу пива, и ее пустили вкруговую. Все орали, что-то доказывали, но неизвестно было, для чего это делается.

За другим столиком, сидя, заснул служащий в контроле. Два товарища его поссорились из-за того, что один хотел его будить, а другой не позволял. «Мой товарищ устал,— кричал он,— я не разрешаю его беспокоить».

Бобка тоже был в воинственном настроении, и порывался грозить врагам; близились всеобщие скандалы. Мать сочла нужным начать отступление.

Колгушин радовался, что счет невелик. Он покручивал усики.

— Итак,— он осклабился и пожимал Матери на прощанье руку,— буду ждать вас к себе. Может быть, вам и понравится.

Садясь на извозчика, Бобка бешено шепнул Матери:

— Если там что заведешь... смотри!

Мать вздохнула.

— Дурак ты, дурак, Бобка! Какой дурак!

II

Перебираться, не посмотрев, Мать не решилась. Она выбрала день, свободный от дежурства, и съездила к Колгушину. К вечеру вернулась в свои меблированные комнаты, у Курского вокзала. Вместе с Катей они снимали порядочный номер, с обычной красной мебелью.

Мать спала на большой кровати, за перегородкой. Катя, как маленькая, на диванчике. Их жилой дух состоял в полочке книг, где стояли Катины учебники, старый курс десмургии, висело несколько открыток — писатели, актеры; две-три желтеньких книжки «Универсальной библиотеки» и фотография Толстого, босиком.

— Как тебе показалось? — спросила Катя, когда Мать вошла.

Мать имела довольный вид.

— Сам этот Колгушин...— Мать захохотала.— И-го-го...

Она заржала и попробовала представить, как жеребец подымается на дыбы...

— Ужасно смешной? — Лицо Кати сморщилось от улыбки.

— Так и пышет из ноздрей у него огонь!

Катя обняла Мать сзади, повалила на кровать и защекотала.

— Прямо дурища, дурища,— пыхтела Мать.— Я тебя высечь могу, щенка.

И, оправившись, вывернувшись из-под Кати, Мать взяла ее в охапку и стала носить по комнате, как ребенка. Потом положила на стол, спиной вверх, навалилась на нее и нашлепала.

— Девушка должна честная быть, тихая, послушная, как стеклышко.

Катя хохотала и пищала.

— Мамаша тебя учит быть честной, а ты только о молодчиках думаешь!

Когда экзекуция кончилась и Катя сидя поправляла юбку, она изрекла:

— Во-первых, у тебя у самой муж гражданский. А я, к сожалению, действительно, как стеклышко. Нечем меня упрекнуть.

Мать сделала на нее свирепые глаза.

— У-у, щенок!

Затем успокоилась, налила себе чаю и спросила, не заходил ли без нее Бобка. Катя высунула ей язык, спокойно, длинно, и поиграла его кончиком.

Взяв чашку чаю, а в другую руку книжечку «Универсальной библиотеки», Катя уселась на подоконник. Окна выходили во двор, и отсюда были видны пути Курской дороги, составы поездов, паровозов. Вдали — стены и высокая колокольня Андрониева монастыря, а за ним очень далекое, бледно-золотистое вечернее небо. Свистели паровозы. Подходил дачный поезд Нижегородской дороги; блестели рельсы; и внимание разбегалось в этой непрерывной жизни, в зрелище вечного движения, неизвестно откуда и куда. Катя не смогла читать Банга, которого любила, и стала глядеть на поезда. «Если все так печально в жизни, как он описывает, то неужели и со мной будет так? Нет, невозможно». Глубина светлого неба, голуби, летевшие к складу, блеск Андрониевских крестов и дымок поезда, уносившегося, быть может, в Крым, к морю, все было так прелестно...

Катя потянулась, улыбнулась, что-то смутно в ней, но мучительно сладко сказало «да», и на глазах выступили слезы.

Потом она вслух засмеялась, высунула из окна русую голову и заболтала ногами. Если бы не боязнь Мамаши — возможности новой экзекуции,— она закричала бы «ку-ка-реку».

Но тут постучали, и вошел Бобка. Катя обернулась, сделала недовольное лицо. «Теперь меня ушлют!» Она предвидела, что у Бобки с Матерью будут разговоры; в таких случаях Мать нередко давала ей денег на трамвай, говорила: «Съезди в Петровский парк! Нынче погода отличная!»

Но сегодня Катю не услали. Правда, Бобка был несколько угрюм, но это зависело от того, что вчера он неожиданно проигрался в железную дорогу, хотя по своим соображениям должен был выиграть. Ему не хотелось рассказывать об этом Матери: она укорила бы его. Разумеется, было изрядно выпито.

— Что у тебя голос будто хриповат? — спросила Мать, сдерживая смешок.

Бобка погладил себя по шее.

— Вчера из Коммерческого суда ехал, надуло... Ведь я еще тогда заметил.

— Вот именно,— Мать была серьезна,— надуло; и холода какие!

— Ничего нет смешного! А ветер? Я же вообще склонен к простудам.

Мать смеялась открыто.

— Ну, и к водочке очень склонен.

Но Бобка вошел в азарт и стал доказывать, что простудиться легче всего именно в жару. Удивительно только, что Мать, да и Катя, хотя она курсистка, не знают таких простых вещей. А это может и ребенок понять.

Кате стало скучно от его разглагольствований.

— Не можешь ли ты мне дать двугривенный? Я в Сокольники съезжу.

— Двугривенный...— Бобка растерялся.— Конечно, могу.

Он полез в кошелек, где после вчерашнего боя осталось всего три таких монеты. С внутренним вздохом он отдал одну Кате.

— Я должен свозить тебя на автомобиле за город,— заметил он значительно.— Сегодня не могу, нездоровится... но как-нибудь, в другой раз.

Он взял свою панаму с красной лентой и погладил ее.

— Разумеется, когда вы вернетесь с этой... как там? Вы ведь на дачу собрались?

Катя прикалывала вуалетку к шляпе.

— В сущности, пока ты соберешься меня катать на автомобиле, мы сто раз из деревни вернемся.

Бобка поглядел на Мать.

— Я вообще не понимаю, что она нашла в этом Колгушине. Просто помещик, ничего из себя не представляет.

Мать рассердилась.

— Долбила я тебе, долбила, что не в нем дело, не понимает. Человек ты, или бревно?

Катя в это время уже выходила. «Удивляюсь на Мать,— думала она,— как это терпения хватает?»

Чувствуя себя молодой, покойной, ни с кем не связанной, Катя села в трамвай, у окошка. Вагон бежал весело. Садились какие-то студенты; ехала парочка, очевидно, тоже в Сокольники. Катя и не заметила, как подкатили к кругу, где играет музыка. Но на кругу она не осталась, ушла вглубь, к Ярославской железной дороге. Снова мимо нее, теперь уже на закате, проносились гремящие поезда; белый дым розовел в закатном солнце, краснели верхи сосен древнего бора, видевшего соколиные охоты Грозного.

«Чего я тут гуляю? — Катя улыбнулась.— Свиданье у меня назначено?» И она быстро пошла, на легких ногах. Ей мгновенно представилось, что там, на повороте дорожки, ее некто ждет, и уже давно, истомлен. Никого, разумеется, не было. Но нравилось самое чувство, что вот она спешит на свиданье.

Начинало темнеть. Катя села на скамейку и затихла. Стало ей немного жутко и радостно вместе. Хотелось о чем-то мечтать, и так хотелось, чтобы это вышло хорошо!

Рядом, по проспекту, мчался автомобиль, уже с огнями. Под соснами сидели три бабы, вроде кухарок, и смешными голосами пели песню. Над всем этим густели гривы сосен; в небе выступила зеленая звезда; налево закат темно краснел.

«Что же это месяц не выходит? — подумала Катя.— Ну выходил бы уж, что ли!»

Месяц почему-то замедлился, и в полусумраке, синеватом и прозрачном, Катя дошла до трамвая и только что села,— увидела его — небесного меланхолика: бледный, тонкий, он напоминал агнца. Агнец был выразителен, и против воли Катя смотрела на него внимательно.

Когда она вернулась домой, Бобки уже не было. Мать укладывалась: завтра с дневным они должны были выезжать. Катя имела вид рассеянный. Мать упрекнула ее, что долго шляется, но Катя покорно взялась за укладку, добросовестно складывала свои скромные сорочки, несколько книжек, открыток, флакончик недорогих духов — заслужила даже одобрение Мамаши за хорошее поведение.

Мать, хотя и имела с Бобкой некие пререкания, все же и сама была скорее в добром расположении. Это зависело от того,

что Бобке неприятен был ее отъезд. Акимовой сейчас в Москве не было, значит, он заскучает. Отпуская Мать на месяц, высказывал он и признаки ревнивого раздражения. Это льстило самолюбию и говорило, что она для него не что-нибудь.

«Чудной, чудной Бобка...— думала Мать, ложась в тот вечер,— а добрый... и меня любит».

Через две недели он должен был к ней приехать. Это тоже нравилось. Она скоро начала забываться. Катя же засыпала труднее. Но ее сны были легки и туманны.

III

Хоть Мать давно жила в Москве,— значит, с городом своим сроднилась,— все же ей очень приятно было выехать в деревню, потому, что и деревенская кровь в ней сидела: как помещичье отродье, она чувствовала временами потребность физическую в полях, воздухе, тишине.

И ей, как и Кате, было радостно зрелище Царицына, веселые березовые леса под Бутовом, церкви, монастырь Серпухова, Ока, широкие луга и бор и за Окой пересеченная, не могущественная, как на юге, но приглядная и задушевная равнина Тульской губернии.

Уже вечерело. Ехать на лошадях приходилось порядочно, и нельзя сказать, чтобы тележка Колгушина была особеино удобна. Но и Мать, и Катя ехали с удовольствием. Зацветали ржи, васильки появились. Не одну деревню проехали они, где иа доме с крылечком вывеска: «Волостное правление», и на ступеньке стоит курица, а рядом, под ракитой, баба стрижет овцу. Они видели небольшие церкви, укромные, но благообразные, иногда в стороне от деревни, обсаженные березами, где грачи добродушно орут. Проезжали мимо барской усадьбы с огромным двором, покосившимися воротами; в глубине темный двор с антресолями, сбоку аллейка елок. Видели стадо в низинке, проезжали мимо кладбища с пышной травой, крестами серыми и белыми из бересты, кладбище, заросшее ивняком, рябиной, кое-где березками, и чьи надгробные камни не в порядке, но почему-то неуловимо-очаровательно оно: истинное место упокоения. Они глотали мужицкую пыль и благоухание, данное Господом Богом мужицким полям. Словом, погружались в настоящую Россию.

Уже близко было к закату, когда подъехали к Щукину, имению Петра Петровича Колгушина. Мимо новой деревянной церкви, серого цвета, с зеленой крышей, свернули налево, и вдоль аллеи лип подкатили к низкому одноэтажному дому, обогнув куртину елочек, насаженных среди двора.

Колгушин, в чечунчевом пиджаке и кавалерийских сапогах, стоял на террасе, тянувшейся вдоль всего дома. Он сиял и проводил рукой по короткому бобрику на голове. Он помогал им вылезать.

— Очень рад, очень рад. Благополучно изволили прибыть? Да. Дорожка, знаете ли, хорошая. Пыльно, но накатали. Не то что осенью. Да.

Мать снимала и отряхивала пыльник

— Доехали первый сорт.

— Может быть, вы пожелаете сперва к себе во флигелек пройти, а затем прошу к чаю, да, мы на другом балкончике с Константином Сергеичем пьем. Он как раз нынче здесь. Да.

Флигель, куда он их проводил, был домик, половину которого занимала контора. Им отводилась комната с небольшими окошками, бревенчатыми стенами.

Когда они остались одни и стали мыться из железного рукомойника, над которым — знак внимания Колгушина — был воткнут букетик васильков, Мать сдавила себе щеки руками и сделала кота.

— Как этого дяди фамилия-то? — спросила она.— Панурин! Нам тут и молодчики припасены.

Катя надевала свежую беленькую кофточку и синий галстук. Худощавое ее лицо было несколько утомленно, но зеленоватые глаза улыбнулись.

— Ты страшная дура, Мать. Хотя ты моя, но ты ужасная дура.

Они весело пошли к большому дому. Когда взбегали на террасу, к которой подъехали, половица скрипнула под ногой Мамаши. Катя прыснула.

— Ты ему разломаешь дом, Илья. Как слониха!

Они попали в большую, невысокую гостиную с крашеным полом, сетками в окнах. В углу рояль, граммофон на нем, направо полукруглый диван со столиком для гостей, шкафик с фарфоровыми безделками. Пахло сыроватым, затхлостью. Прямо дверь вела на вторую террасу.

Мать вошла первая.

За большим чайным столом, вдали от самовара и недопитого стакана чаю, в пенсне и накидке сидел Панурин. Перед ним — чашечка для игры в блошки; и с великим усердием щелкал он пластинкой, стараясь загнать кружочки в чашку. У перил вишневая ветка чуть не задевала его. Вишни отцвели, и появлялись завязи в рыжеватом пушке. За садом просвечивал пруд бледно-розовым серебром в закате. Лягушки квакали в нем охотно.

Колгушин хлопотал у самовара.

— Константин Сергеич упражняется в игре в блошки. Хотя мы с ним играем не на деньги, так на так, он не желает, однако, проигрывать и, как бы сказать, тренируется.

Панурин встал несколько смущенно и поздоровался.

— Как вся-кая игра,— и игра в блошки требует практики. Иначе получится нера-венство сил.

— Играйте, играйте,— ответила Мать.— Дай вам Бог удачи. Дело полезное.

— Вот так и считают обычно, что раз занимаешься каки-ми-нибудь книжками, то нельзя ни-ичего другого делать. А я, например, мало знаю деревню, мне и верхом хо-очется покататься, и в теннис поиграть.

Мать села за самовар. Катя осмотрелась.

Из вежливости Панурин прекратил упражнения, но видно было, что ему хочется все же сразиться. Кате скоро прискучили излияния Колгушина. Она обернулась к Константину Сергеичу:

— Хотите со мной тренироваться?

— Охотно. И ве-есьма желал бы, чтобы для вас это обратилось в разгром.

Катя пожала плечами.

— Там посмотрим.

Бой открылся. Панурин вступил в дело серьезно. Но, видимо, судьба, так часто награждающая тех, кто мало ищет ее благ, была против него. Катя играла равнодушно, он горячился. И был разбит.

— В высшей степени не ве-зет.— Он поправлял вспотевшие волосы.— До по-следней степени.

— Это, Константин Сергеич, происходит оттого, да, что вы слишком увлекаетесь,— утешал Колгушин.— Например, у меня есть один служащий, Машечкин, очень нервный человек. Он вроде приказчика. Весьма обидчивый. Однажды он проходит мимо пруда, а там, да, кухарка купалась. Представьте, она выскакивает, в чем была, и к нему. А он уже в летах. И он так оскорбился, что прямо ко мне — за расчетом. Не могу, говорит, выносить такого безобразия, чтобы на меня, простите, из пруда женщины бросались.

Панурин дернулся бровями и несколько смутился.

— Че-ем же я похож на ва-ашего Машечкина? — плохо что-то пони-маю.

Мать захохотала.

— Вы это к чему рассказали про кухарку?

Колгушин сконфузился. Ему опять показалось, не сморозил ли он чего-нибудь.

— Нет, я исключительно потому, что пылкость... Константин Сергеич горячится в игре.

— Это уж вы... не так, чтобы очень удачно,— фыркнула Мать.— Разве он на вашего Машечкина похож?

Панурин вздохнул.

— Я совсем не горячий человек. Вот спортом стал интересоваться. Но, видимо, я неудачник. Je suis fort bête[1],— пробормотал он, улыбнувшись.

Чтобы все это кончить, Катя попросила Колгушина показать им усадьбу. Он охотно ухватился за это.

— Правду говоря, у меня замечательного ничего в деревне нет. Простое русское хозяйство, да. Но возможно, что вам, как жительницам столиц, небезынтересно будет взглянуть. Но без всяких особенностей. Предупреждаю.

Обычно приезжим показывают конюшни, телят, водят мимо риг, в лучшем случае хвастают огородами и молочным хозяйством, или жнеей, у которой через несколько дней что-нибудь непременно сломается. На приезжих брешут собаки. Хозяин, чтобы демонстрировать вежливость, принимает энергичные меры: запустит в какого-нибудь Полкана камнем, вытянет сучку арапником, при этом назовет его: арапельник. Говорится в таких случаях о кормовых травах, о хозяйстве какого-нибудь очень богатого соседа, у которого управляющий остзеец, коровы дают ушаты молока, урожай ржи — сам-двадцать и в оранжереях ананасы. Если лето жаркое, аграрий жалуется на засуху. Если мокрое, то говорит, что плоха уборка.

Приблизительно так было и тут. Но Катя несколько слукавила. Вызвав на прогулку, сама она держалась с Константином Сергеичем, а Мать впереди шла с Колгушиным. Катя мало видела еще людей, и ей было любопытно посмотреть человека, отчасти ученого, занятого возвышенными мыслями. Ей хотелось втянуть его в какой-нибудь серьезный разговор. Не без робости она спрашивала, как он жил за границей, много ли работает, что именно пишет. Но он отнесся к разговору о себе вяло. Казалось — все это для него пустяки.

— Да, пи-шу книжечку одну. О ро-омантизме. Там, о немецком.

Возвращаясь, проходили мимо пруда. Уже стемнело, и в воде были видны звезды. Панурин предложил Кате руку.

— Вот это все... пруд и звезды — в духе тех людей, романтиков.— Помолчав, он прибавил: — Они хороши были тем, что очень ве-ерили. Но им надо было моло-дыми умирать.

---

[1] Я ужасный дурак *(фр.)*.

Катя мало знала о романтиках. Она спросила несмело:

— Почему молодыми?

Панурин ответил:

— Чтобы не знать на-ад-ломленности.

Катя вздохнула. Колгушин, шедший с Матерью впереди, остановился перед прудом.

— Да, поэтичный прудок. А я иногда думаю: если бы плотинка была повыше, то хорошо бы тут устроить мельницу. Красота красотой, но и от денежек не следует отказываться.

Мать взяла Катю под руку.

— Прямо вы с Константином Сергеичем — Фауст и Маргарита.

Катя слегка засмеялась.

— Подумаешь, действительно!

— А мы с Колгушиным — Марта и Мефистофель.

— Мефистофель,— Колгушин оживился.— Так. Это черт Я знаю. В «Искрах» видел Шаляпина в роли этого черта. Так, по-вашему, я на него похож? Он очень горбоносый был представлен, и черный. Да. А я блондин.

Ссылаясь на усталость после дороги, Мать и Катя довольно рано ушли к себе. Панурину подали верховую лошадь; он уехал. Катя почувствовала вдруг, действительно, усталость и смутное расположение духа. Она лениво раздевалась, ей не хотелось и ложиться, не хотелось бодрствовать. Как иногда бывает, представилось, что совершенно зря они заехали к этому Колгушину; сидели бы лучше в Москве, смотрели бы на Курскую дорогу: и можно было бы ездить за город, к знакомым фельдшерицам. А здесь, наверное, тоска.

И, не поболтав с Матерью на ночь, как нередко делала, Катя легла и затушила свечку. Ей как-то все не нравилось в этой усадьбе, и даже в ночи. К ней Катя была явно несправедлива. Небо очень добро светило звездами. Пахло липой, ржами. Мягко и очень мелодично тренькал перепел — скромный музыкант июньский ночи.

IV

Мать много купалась — дважды в день, в том самом пруду, который Колгушин назвал «поэтическим». Своим купаньем она несколько искушала Петра Петровича, любителя рубенсовских изобилий. Но ей помогало то, что как раз начинался покос: Петр Петрович должен был наблюдать в лугах.

Мать раздевалась на мостках, за ракитой, и бухалась крепким, коричневым телом в воду. В пруду подымалось волнение; шли концентрические круги, как от обрушившейся скалы. Вода мягко

лопотала у берегов, и из травы плюхались лягушки. Слегка пыхтя, Мать плыла, и плавала хорошо, не колотя ногами. Ей очень помогали тут ее размеры: чуть не с детства обладала она способностью держаться на воде, не двигаясь, как поплавок.

Отплыв на середину, останавливалась, так что из воды торчала только голова, и начинала заунывно булькать лягушкой. Делала она это очень удачно; наверно, немало смущала зеленых квартирантов пруда. Правда, в эти минуты она была похожа на мирное водяное существо, с оттенком элегии.

— Выплывай,— говорила с берега Катя,— я тебя покормлю.

И посвистывая, как бы подзывая чудовище, Катя бросала в пруд листья, пучки травы.

Мать делала бессмысленное лицо (такое, по ее мнению, должно было быть у бегемота), подплывала и ртом старалась поймать пищу. Она фыркала, пыхтела. Поднося что-нибудь лакомое к ее носу, Катя могла выманить ее и совсем на берег. Мать выходила на четвереньках, потом лапой хватала предложенное, радостно мычала и от восторга ложилась на спину. Роль бегемота окончена.

— Слушай, слушай,— сказала раз Мать,— если б сейчас этот Машечкин проходил, выбежать бы ему навстречу в таком виде... Он бы опять с места ушел.

Катя купалась меньше,— у ней от воды болела голова и под глазами являлись круги. Ее занятием стала здесь верховая езда. Колгушина это также ущемляло — в горячую пору лошадей жаль. Но отказать «барышне» — хотя по худощавости она и не совсем была в его вкусе — он не мог. Тот же Машечкин, оригинал малого роста, иногда утверждавший, что служил раньше начальником станции,— с великой неохотой седлал Кате лошадь. Он бурчал про себя нечто неодобрительное о людях, которые только и знают, что ездят верхом.

Кате это надоело. Раз она даже обошлась с ним внушительно. Машечкин, в виде протеста, отказался седлать. Но результат получился печальный. Катя спокойно отправилась к Колгушину.

— Да, отказался вам седлать? Скажите пожалуйста! Вот народ. Девушка,— обратился он к босоногой работнице,— позови-ка сюда Гаврилу Семеныча.

Через полчаса Машечкин, очень смущенный, явился к Кате.

— Виноват, барышня, извините, если обидел.

Катя сказала, что ничего, но Машечкин не уходил.

— Петр Петрович приказали, чтобы я документик от вас взял.

— Какой документик?

Оказалось — она должна была письменно его простить. Стараясь быть серьезной, Катя на клочке бумаги написала: «Против Гавриила Семеновича Машечкина ничего не имею и прошлое забыла. Екатерина Савилова».

Вечером Колгушин спросил ее:

— Довольны? Да, извинился? С этим народом иначе нельзя. Надо их, знаете ли, костыликом, костыликом.

Этот разговор происходил на балконе, за вечерним чаем, которым распоряжалась Мать. Был тут и Панурин.

— Ра-асписку дали? — переспросил он.— Это солидно. Сейчас видно осно-вательную девушку.

— У меня очень строгая Мамаша,— засмеялась Катя,— вот она меня и вымуштровала.

Колгушин поддержал ее.

— Строгая. Я нахожу, что это иногда полезно бывает. Например, с народом. Но ваша сестрица, по-моему, даже веселая. Она, говорят, замечательно подражает лягушкам. Во время купанья устраивает игру в каких-то зверей. Да, да, да. Вообще мои дачницы очень оживляют местность.

Панурин покачал головой.

— Ваши дачницы очень го-ордые. Вон Екатерина Михайловна верхом ездит, а ко мне ни разу не заглянула.

Катя немного покраснела.

— Вы меня к себе не приглашали.

— Ра-азве не приглашал? Ну, это, конечно, глупо с моей стороны.

В тот же вечер, несколько позже, сидя с Пануриным вдвоем в гостиной, на диване у этажерки, Катя спросила:

— Вы в первый день, как мы приехали, в саду, говорили про надломленность. Это что значит?

— Ни-ичего особенного. Говорил, что есть люди надломленные. А у моло-дости этого нет.

Он внимательно и ласково посмотрел на Катю.

— Оттого моло-дость и вызывает нашу нежность.

Катя вдруг встала и бесцельно подошла к этажерке.

— Вы что? — спросил Панурин.

— Нет, ничего. Петр Петрович,— громко обратилась Катя к Колгушину, щелкавшему на счетах в своем кабинетике,— вы мне дадите завтра верховую лошадь?

— С великим удовольствием. Когда вам угодно.

Не такое уж громадное удовольствие доставила ему просьба, но отказывать не приходилось.

Панурин поднялся и зашел к нему в комнату. Катя тоже вошла.

— Мы вам мешаем, но это ничего,— Панурин усмехнулся,— вечером человек не дол-жен работать.

Колгушин улыбался, склоняясь вперед, и поглаживал рукою свой бобрик.

— По вечерам не должен. Совершенно верно. День позанимался, а вечером отдыхай. Но знаете ли, не успеваешь за день. И приходится при лампочке.

В небольшой комнате Колгушина стоял письменный стол, на котором лежал револьвер, «Русское Слово», и валялось несколько накладных. На стене над столом благодарственная бумага — за содействие открытию почтового отделения. Рядом медаль отдела общества сельского хозяйства.

Панурин удивился.

— Сколько на-аград. Вы скоро гене-ералом будете.

Колгушин радостно посмеивался. Потом вынул из коробочки желтый жетон и вдруг серьезно обратился к Панурину:

— Это, Константин Сергеич, я получил за помощь в постройке местной церкви, взамен сгоревшей. Но не знаю, как надевать,— да, на ленточке ли на шею, или же в петлицу?

Панурин основательно рассмотрел жетон.

— В пе-етлицу обязательно. Будет похоже на орден Почетного Легиона.

— Скажите! Это, кажется, французский орден?

— Самый фра-анцузский. И самый важный.

Колгушин слушал с большим вниманием. Этого нельзя было сказать о Кате. Она глядела в окно, переходила с места на место.

Петра же Петровича вопрос об орденах немало занимал. И Константин Сергеич должен был рассказать, что знал об орденах прусских и саксонских. Затем разговор сошел на любимую тему Колгушина — о загранице и Германии. Он с восторгом расспрашивал и узнавал, как там все чисто, удобно и дешево.

Катя уселась на подоконник. Неожиданно она перекинула ноги наружу, спрыгнула и пошла в сад.

Колгушин обернулся.

— Мы, кажется, барышню заговорили. Даже не могла досидеть.

— Это во-озможно. Да и мне пора, говоря по правде.

Он вынул часы, взглянул и пошел за своим кепи. Панурин был в ботфортах, он приехал верхом.

Петр Петрович пытался было его удержать, но не очень: у него самого начинали слипаться глаза; завтра же предстояло вставать «часика в четыре».

Хмурый старик подвел Панурину коня. В кепи и австрийской

накидке Панурин был похож на какого-то конного сержанта. Ублаготворив старика монеткой и кивнув хозяину, он шагом объехал группу елок и тронул рысцой вдоль липовой аллеи. Было довольно темно и тепло. Очень сладко пахло липами, все небо в звездах бежало навстречу. Звезды цеплялись за купы листьев.

Панурин был в том несколько элегическом и размягченном настроении, с каким одинокий человек его возраста может ехать домой теплой летнею ночью. Покачиваясь в седле, глядя на туманные и милые Плеяды, возможно думать о проходящей жизни, неуловленных минутах счастья, чего-то жалеть и улыбаться на что-то. Возможен приступ к сердцу смутной нежности. Так чувствовал он; и его несколько удивило, когда у околицы, за которой начиналось поле, его окликнули; голос был негромкий, он сразу узнал его.

— Вы здесь за-ачем? — спросил он, останавливая лошадь.

Катя сидела на заборе, у околицы, слегка съежившись.

— Я просто сижу, мне там стало скучно.

— Да, вот ка-ак. Я, впрочем, за-метил.

— Жаль, что нет лошади; я бы поехала вас проводить.

Панурин согласился, что жаль.

— Впро-чем,— прибавил он,— мы мо-ожем пешком пройтись.

Он слез с лошади и подвел ее к забору. Катя сидела неподвижно.

— Это какие звезды? — Она указала на туманную группу невысоко над горизонтом.

Панурин протер пенсне, моргнул глазами.

— Плеяды.

Потом стал всматриваться, как будто мог хорошо их разобрать, и прибавил:

— В этих звездах есть нечто де-евичье. Впрочем, женственное вообще ра-азлито в при-роде. Женственны молодые деревца, первая весенняя зелень, сумерки в апреле.

Он достал папиросу и закурил. Его удивило, что Катя последнюю минуту сидела с закрытыми глазами и приоткрыла их на свет. Они показались Панурину больше и туманнее обычного.

— Если провести рукой по ва-ашим волосам, то наверно будет потрескиванье.

Катя вздохнула. Он чувствовал в темноте, что теперь она на него смотрит.

— Нет. Не думаю.

Она нагнула голову, взяла его руку и провела по своим волосам.

— Вот видите.
— Вы стра-ашно милая,— невнятно сказал Панурин.
— Милая?

Она хотела что-то прибавить, но не успела: вдруг он обнял ее колени и стал целовать. Хотя было очень темно, она закрыла для чего-то глаза руками. Когда через минуту он поцеловал ее в губы, она дернулась, как обожженная. Она могла бы упасть, но Константин Сергеич поддержал ее.

V

Хотя дом Панурина был очень велик — особенно для одинокого, все же Константин Сергеич спал не в спальне, а в огромнейшем кабинете, за ширмочкой. Было в этом кабинете все, что угодно: и кожаные диваны, и глобус, и ружья, и микроскоп, и шкафы с книгами; были книги серьезные, валялись и уличные журнальчики, даже выкройки мод. На камине лежал ржавый меч. Это все скопилось потому, что многие здесь жили до Панурина. Следы остались от разных хозяев, а Константин Сергеич по небрежности ничего не менял.

Имение купил его отец, крупный земец и барин, на старости лет. Как отец спал за ширмочкой и там же умер, так поступал и Константин Сергеич.

Он проснулся довольно поздно: с вечера долго не мог заснуть, лежал и в темноте улыбался самому себе.

Встал бодрее обычного, чувствовал себя моложе и свежее. «Неожиданно все вышло, уди-вительно,— бормотал, умываясь,— совершенно неожиданно». И причесывая на пробор волосы, уже не столь густые, как в юности, улыбнулся. По культурной привычке Константин Сергеич всегда тщательно одевался, неплохо завязывал галстук, любил духи. Все же выглядел несколько нескладно.

В том же повышенном настроении пил утренний кофе в невысокой столовой. Солнце очень ярко заливало цветники — левкой, белый табак, маргаритки, шпалеру роз. Читая в газете о заседании Думы, вдруг увидел он на газетном листе вечернее небо, с бегущими навстречу звездами, лицо Кати, освещенное пламенем спички, ее глаза. «Чу-десно»,— встал, потер виски и обошел вокруг стола. Вчерашнее представилось ему светлой и радостной игрой.

Потом он несколько себя подобрал, сел заниматься и кое-что сделал даже. В три часа в зале с куполом, куда из кабинета была открыта дверь, он услышал нерешительные шаги, и знакомый голос спросил у прислуги: «Занимается?»

Панурин встал и вышел.

— Кон-чил заниматься, здравствуйте.

У Кати был несколько смущенный вид.

— Я, кажется, немного рано. Ничего?

— От-лично.— Панурин взял ее за обе руки.— Очень рад, что приехали. Пойдемте.

— Я верхом...— начала было Катя, но запнулась.

И вообще она неясно знала, куда ступить, где сесть. Панурин вывел ее на балкон. Внизу росли голубые сосенки, а вдаль широкий вид открывался — на поля, деревню, леса на горизонте.

— У меня есть под-зорная труба. Если здесь поставить, то видно, как гость по дороге едет, верст за пять.

Катя оглядывалась.

— У вас вообще отличная усадьба. Какой огромный дом!

— Этому до-ому сто лет. Если собраться его подремонтировать, будет хоть куда.

— Вот вы где живете,— произнесла Катя задумчиво.— А это кабинет. Тут вы занимаетесь?

Панурин улыбнулся.

— Я не так уж много за-анимаюсь, как думают.

И он стал ей рассказывать, слегка дергаясь глазами и не торопясь, как он рос барчонком, в просвещенной семье. Учили его всему — с детства, и выходило, что он всего понемногу знал, и учился порядочно. Гимназия, университет, все как-то само собой. Почему именно филологом стал? Ну, вероятно, бóльшая все же склонность.

А потом его оставил при университете профессор, приятель отца. И вот он теперь по части романтизма подвизается. Но — не так уж удачно.

Катя слушала его, опершись на перила и глядя на голубую сосенку. Когда он кончил, она вдруг обернулась.

— Для меня, все-таки, это все неожиданно вышло, вчерашнее...— Она замялась.

— Я по-нимаю,— ответил Константин Сергеич серьезно,— но это ни-ичего. Вернее, я должен быть смущен. Но, говоря по правде, не смущаюсь.

Катя улыбнулась.

— Чего вам смущаться?

— Нет, правда. По-отому, что если хотите знать, вы очень слав-ная девушка. Вот в чем дело.

— Странно,— Катя продолжала улыбаться,— мне с вами... удобно. Точно я вас давно знаю. А между тем — совсем недавно. Даже я перестаю вас смущаться.

И она подала ему руку. Панурин взял и очень ласково поцеловал ее.

— Это ничего, что неожиданно. Мало ли что хорошее бывает неожиданно.

— В вашей усадьбе я первый раз. А уж мне кажется, я тут бывала, все знаю. Все у вас и должно быть такое.

— Какое?

— Ну... особенное. Не как у других.

— Вот это ме-ня удивляет. Но при-ятно. Положительно, выгодно принадлежать к нашему цеху. Мы, рядо-вые, пользуемся привиле-гиями больших людей, давших славу нашему ремеслу. Я утверждаю, что в России выгодно носить кличку ученого.

Катя ласково улыбнулась.

— Вы наговариваете на себя. К чему это? Все равно, я вам не поверю.

Панурин засмеялся.

— Это уж как угодно.

День установился необыкновенно прекрасный. К вечеру облачка стали тоньше, легче и выше. Даль светлела голубовато. Зеркально блестел кусочек реки внизу, и была великая радость в этом тихом, но не слепящем свете солнца. Катя положила голову на нагретые перила, закрыла глаза, и ей казалось, что она тот самый греющийся кот, которого умеет делать из своих щек Мать.

Панурин подставил ей летнее кресло, а сам растянулся в лонгшезе.

— Мне те-еперь с вами как в са-анатории для легочных. Тут легко за-адремать.

Катя обернула голову и повела на него зеленоватым, томным, полным отраженного света глазом.

— Я не задремлю.

Панурин смотрел на нее с некоей нежностью. Ему нравился ее покой, мягкая теплота ее лица, золотистый, под солнцем, отлив кожи.

— По че-ертам лица вас не назовешь, пожалуй, красивой,— сказал он.— Но я чувствую в вас большую про-стоту и близость к природе наших мест. Из ваших глаз определенно смотрят на меня наши поля. Если бы у них гла-за были, они бы так же смотрели.

Катя продолжала глядеть на него пристально, ничего не ответила и слегка погладила рукою его руку.

— А сама все смо-трит, смотрит!

Катя вздохнула.

— Если неприятно, я не буду.

Панурин ответил серьезно:

— Мне, Катерина Михайловна, это не может быть неприятно.

Она улыбнулась ласково и задумчиво, одними глазами.

«Это взгляд влюбленной девушки, несомненно»,— подумал Панурин, и легкая гордость прошла по нем. Затем, внезапно сердце его несколько защемило. Он тоже вздохнул.

Катя поднялась, встала перед ним и взяла за руки.

— Ну, что с вами? — спросила она тихо, глухо и нежно.— Почему изменились?

— Ни-ичего, не изменился.

Он тоже встал.

— Пойдемте лучше сы-граем до чая в теннис. Один сет.

Катя покорно опустила голову.

— Хорошо, идем.

Они прошли через кабинет, большую залу, сквозь стеклянный купол которой ложились солнечные лучи и блестели в бронзовых часах, и через низкую столовую вышли в сад.

До тенниса надо было идти цветниками, старой липовой аллеей и взять направо. Катя шла послушно, но задумчиво, точно предстоящая игра мало ее занимала.

Панурин снял пиджак.

— Да вы не зе-евайте.— Он подал ей ракетку.— Это вам не бло-ошки, я в прежние времена порядочно играл.

Площадка была не из блестящих, но хорошо затенена липами. За изгородью сада, через дорогу, виднелась церковь — типичная белая русская церковь александровских времен. В глубине, за кустами, низкое здание оранжереи. Пахло липовым цветом; высоко над головой жужжали пчелы.

Бой шел с переменным счастьем. Панурин быстро изменился. Опять в нем проснулся спортсмен-неудачник. Он совсем хотел забить Катю, сервировал с треском, и отбивать его мячи было трудно, если б большая их часть не попадала в сетку. Он начал волноваться.

— Это че-орт знает! Я как са-апожник стал играть!

Катя также несколько оживилась, но отдаться целиком, как он, не могла. Только это и спасло Константина Сергеича от полного разгрома. Сет играли долго, и Катя, наконец, положила ракетку: сил больше не было. Солнце сквозь липы било уже краснеющим огнем, и хотя от игры становилось жарко, все же чувствовался холодок вечера.

Когда вернулись в дом, был подан уже чай на балконе, но не там, где они разговаривали, а на ближайшем, выходившем в цветении.

Панурину захотелось умыться. Катя побыла одна, потом через залу прошла к нему в кабинет, полный огненного заката. За ширмочкой плескался Константин Сергеич.

— Можно мне руки вымыть? — спросила Катя.

— По-ожалуйста, я уже готов.

Когда она вошла за ширму, Константин Сергеич вытирал лицо и руки полотенцем, потом налил в ладонь одеколону. Он был высок и сухощаво-худоват. Кате удивительным показалось, что она так близко к нему, что он при ней перевязывает галстук и причесывается, но это было ей приятно: слегка даже захватывало дыхание.

Не вполне уверенно она вымыла руки, ополоснула лицо и шею и машинально протянула руку за полотенцем, когда Панурин полуобнял ее сзади и поцеловал под затылок. Катя слегка охнула и медленно, отяжелевшими руками взяла полотенце, спрятала в него лицо.

Через несколько минут они вышли к чаю.

Катя села за самовар. От ее рук пахло одеколоном Константина Сергеича, она как-то присмирела и не вполне сознавала, что вокруг.

Через час они выехали верхом в Щукино. Бледно-синий, с фиолетовым на севере, наступал вечер. Из риги вылетела летучая мышь и прочертила свой зигзаг. Пахло полынью. Лошади шли рысью, сильно пылили. Катя молчала. Константин Сергеич тоже не особенно был разговорчив и, лишь отъехав версты три, закурив и пустивши лошадь шагом, стал философствовать о том, что русская природа имеет таинственную и глубокую связь с лицом и душою русской женщины. Тема эта была уже знакома Кате.

VI

Без Матери с Бобкой в Москве произошел маленький скандал. Дело было так. После бегов, выиграв, Бобка со знакомым судебным приставом Егуновым ринулся к Яру. Сколько времени они там бушевали, неизвестно. Но на рассвете оказались в трактире Бабынина на Земляном валу. По дороге Егунов, человек угрястый, нередко надевавший к форменному сюртуку серые штаны и в обычное время заспанный, с вихрами,— тут решил заехать домой. Заехали и взяли еще денег, и цепь судебного пристава. Егунов был самолюбив, да и Бобка знал себе цену; но как раз вышло, что в трактире Бабынина к ним отнеслись недостаточно почтительно. Егунов рассердился, надел цепь и объявил, что именем закона накладывает печати на все вокруг, вообще всех арестует и «препровождает». Бобка помогал ему; кончилось же тем, что препроводили именно их в ближайший участок, где они провели раннее и позднее утро. Далее Егунова посадили на неделю, а Бобка предстал перед мировым и выложил двадцать пять рублей компенсации. Денег не жалко, но не

весело было судиться и признавать свои слабости. Бобка несколько расстроился, решил съездить к Матери в деревню, «нравственно встряхнуться», как он говорил.

По его виду Мать быстро заметила, что с ним нечто произошло. Бобка сначала мялся, но потом выболтал сам все, сваливая главную вину на Егунова и его цепь.

Мать покачала головой.

— Воображаю, и ты был хорош. Так перепьются, что скоро Царь-пушку будут в плен брать.

— Вовсе мы не столько пили. Ты же знаешь, я очень крепок на вино. Егунов — тот слабее.

— Оно и видно, как крепок,— бормотала Мать.

Все же она сама мало что имела против такой истории. Во всяком случае, это бесконечно приятнее проступка по женской части. А в этом направлении Бобка был ныне безгрешен — она тоже чувствовала.

Ему дали комнату рядом. Он стал ходить в русской рубашке, в красных сафьяновых туфлях — потому что деревня, здесь полагается не стесняться. Московскую неудачу забыл быстро и с Колгушиным обращался небрежно, тоном превосходства. Учил его, что надо разводить огороды и свекловицу, заниматься дорогими культурами, а не сеять какую-то глупую рожь: пусть уж с этим возятся мужики.

— Некоторые утверждают,— отвечал Колгушин,— что в нашей местности следует развивать винокурение. Да... Но я, знаете ли, предпочитаю простое русское полевое хозяйство. Сложил скирдочки, обмолотил, и в Москву на элеватор, а денежки в карман. Зерно в Москву, а денежки в карман.

И он от радости смеялся, потирая руки.

— Неправда ли,— обратился он к Кате,— приятно выйти замуж за помещика. Он поедет осенью в Москву и накупит жене разных подарочков. А потом свезет ее в Большой театр, в оперу, и она будет лучше всех одета.

Бобка повел носом.

— Ну, батюшка, нас помещиком не прельстишь. Нам подавай чего-нибудь такого возвышенного и поэтического... а не то, чтобы куровода.

С Катей последнее время Бобка был холодноват. Это зависело от того, что теперь Катя обращала на него еще меньше внимания, чем раньше. Она имела вид рассеянный и несколько задумчивый. Видел Бобка и Константина Сергеича и кое-что понял. Ему стало досадно. Отчасти он завидовал, отчасти как бы обижался на Катю.

— Я вообще замуж не собираюсь,— сказала она.

Бобка заложил ногу за ногу и присвистнул.

— Разумеется. Это теперь не принято. Моды такой нет.

Колгушин удивился.

— Скажите пожалуйста! Значит, больше процветает гражданский брак. Так сказать, вокруг кустика?

— Да-с, теперь проще смотрят.

Бобка слегка наклонился к Колгушину и сказал что-то вполголоса. Колгушин осклабился, стал потирать руки. Катя спустилась со ступенек террасы и пошла в вишенник.

Был четвертый час дня, только что прошел дождь, и по песку дорожки Катины следы влажнели. Туча воробьев, скворцов слетела из чащи; в проглянувшемся солнце серебром осыпались брызги. Пахло очаровательным теплом и влагой июльского припарка. На западе, куда шла Катя, небо совсем прояснело, и края туч залились золотистым огнем. «Глупые они оба,— думала Катя, идя и похлестывая себя по ноге веткой. Она улыбнулась, и вдруг слезы выступили у нее на глаза.— Могла ли я подумать, ну могла ли подумать?» Она подошла к забору, к тому месту, откуда видно было уже поле и где тогда, вечером, он ее целовал. Прислонившись к забору, она положила голову на руки, вздохнула и закрыла глаза. Никого не было вблизи. «Он сказал мне: вы страшно милая». Солнце стало ее пригревать; она разомлела, и с мучительной сладостью повторяла про себя: «Страшно милая». Даже закружилась немного голова. Но через минуту очнулась. «Это ловко! Так ведь можно и Константина прозевать».

Слова относились к тому, что сегодня обещал приехать Константин Сергеич к четырем часам, и Катя просто выходила его встречать, а днем была не в духе оттого, что шел дождь, и он мог не приехать.

Теперь же, напротив, явилась непоколебимая уверенность, что приедет. Она спустилась в ложбинку, где стояли копны Петра Петровича и пахло покосом; потом поднялась на изволок и зашагала мимо ржей, уже золотистых, теперь тоже влажных и парных. Как бы тонкий, светящийся туман стоял над ними.

Катя не ошиблась. Не прошла она и десяти минут, как из хлебов показалась Андромеда, вороная полукровная кобыла Панурина. Нынче Константин Сергеич ехал не верхом, а в дрожках. Лошадь шла резво, и высокие его сапоги, как и накидка, были забрызганы грязью.

— Вот как я угадала,— Катя блестела улыбкой, когда он приблизился.— Вы очень аккуратны.

Панурин остановил лошадь и не слезая поцеловал Кате руку.

— Ну, как жи-ивем? Как Бог грехи ми-лует?

— Мне хочется с вами на дрожках проехаться. Можно? Только не сразу к нам, а сперва немного прокатиться.

— Во-первых, грязно, вы забрызгаетесь. А затем, как же вы ся-дете? Ведь вы же в ю-убке?

Но пока он недоуменно соображал, Катя уже устроилась, лицом назад, прислонившись спиной к широкой и худой спине Константина Сергеича.

— Теперь трогайте. Только не шибко.

Катю потряхивало, и, правда, летели иногда комья грязи, но ей все же было уютно, как-то *удобно* за спиной Константина Сергеича: был он очень свой, как дядя, или отец, но с чем-то еще иным, восторженно-жутким.

— Я при-везу домой из вас сбитые сливки,— бормотал Панурин, поправляя пенсне перед въездом в усадьбу.— Вряд ли ваша сестрица, кото-орую вы отчасти справедливо именуете Матерью, по-благодарит меня за это.

— Ничего,— ответила Катя,— я уже взрослая.

Панурин обернулся, увидел в вершке от себя серо-зеленые, сейчас робкие глаза и улыбнулся.

— Если бы мы не въезжали в усадьбу, я по-оцеловал бы вас в лоб.

Но, действительно, этого нельзя было сделать. Они огибали уже елочки посреди двора, а на галерейке дома, у самого подъезда, стоял Бобка, в русской рубашке, заложив руки в карманы, в красных сафьяновых туфлях.

— Вот она, видите уж где, девица,— обратился он к вышедшему из дому Колгушину,— а всего час назад мы с ней разговаривали.

Колгушин потирал руки.

— Да, быстро обернулись, Катерина Михайловна. Действительно, очень быстро. И Константин Сергеич. Очень приятно. Тем более я только что получил известие: на воскресенье владыка назначил освящение нашей церкви. Несколько поторопился старичок, еще рабочая пора не отошла, но что поделаешь. Надеюсь, что вы, Константин Сергеич, как ближайший сосед, не откажетесь присутствовать на нашем торжестве.

Панурин нескладно слез с дрожек, отдал вожжи работнику.

— Это очень интересно. Особенно как бытовая картина.

Как обычно, за вечерним чаем хозяйничала Мать, сидя за самоваром. Катя была сдержанна и серьезна. Бобка читал «Русское слово». Несколько развалясь, он восхищался фельетонами.

— Бойкое перо. Очень ловко прохватил. Это литература, я понимаю!

После чаю, когда большая гостиная наполнилась уже крас-

новатым сумраком, Панурин, к удивлению присутствовавших, подошел к роялю, снял с него кисею и посредственно сыграл шопеновский полонез.

Слушали его Катя и Мать, сидя на диване. В середине пьесы Мать вызвали зачем-то. Панурин кончил, подошел к Кате и сел рядом.

— Отчего вы никогда не говорили,— шепнула Катя, тронув его холодной рукой,— что играете на рояле?

— Значения не при-даю. С детства учили языкам, музыке...— Он помолчал, и потом вдруг прибавил: — А в общем, из меня ни-чего не вышло. Ни в ка-акой области.

Катя слегка приникла к нему.

— Опять на себя наговариваете.

— Не ду-маю. Мне бы гораздо больше хотелось быть, действительно, чем-нибудь. Хотя бы хорошим трубачом в оркестре.

Катя улыбнулась.

— Трубачом!

Она больше ничего не сказала. Ее охватывало умиление. Константин Сергеич тоже стал молчалив, как бы грустен и довольно скоро уехал.

В этот вечер, ложась спать, Катя подверглась некоему допросу Матери. Она держалась и ничего особенного не выдала. Но верхним чутьем женщины Мать поняла, что дело не вполне чисто. Ее это не удивляло, но все же несколько беспокоило. Мать привыкла считать Катю маленькой. Катя же и в эту ночь, как и в другие, засыпала плохо. Слишком много нового и особенного пришло в ее жизнь. Она думала о себе, о нем. Теперь уже знала, что его любит, и старалась понять, как он к ней относится. Он был очень ласков и нежен, но ни разу не сказал больше того, что она милая и славная девушка. Тут что-то для нее было не ясно.

VII

В день освящения погода выдалась отличная, прямо как по заказу для торжества. Был тот официально нарядный летний день, когда по очень синему небу плывут барашки, в поле тянет жаркий ветер, и расфранченные бабы идут от обедни.

Народ явился не только из Щукина, но и из соседних деревень; было немало разноцветных платков, шуршащих и пахнущих деревенских платьев; были приодетые учительницы, на каблучках; много расчесанных и подмасленных мужицких бород и проборов. Поддевки, пиджаки, «благообразие». В тени

под деревьями сидели певчие из Москвы, из частного хора, в удивительных кафтанах, красно-синих. Ростом и пестротой наряда они напоминали папскую гвардию.

Прифрантились и Мать с Катей — в беленьком, всегда идущем к молодым лицам. Бобка был в желтых туфлях и светло-кофейном жилете, но, конечно, всех замечательнее Колгушин; при сюртуке белый галстук, запах персидской сирени, и на левой стороне груди, под красной вешалочкой,— ряд орденов: медаль пятидесятилетия земства, жетон за постройку храма, военно-конская перепись, сельское хозяйство, содействие почтовому отделению и прочее. Был он как бы обер-комендант торжества.

Это он трепетал за карету преосвященного; он его и встречал, и первый подошел под благословение.

Служба шла долго. Было много довольно сложных действий: мыли алтарь, помазывали новые иконы, служили перед занавесью, которую потом отдернули. Для преосвященного устроили возвышение, где он, в епископской митре и парадном облачении, как бы предводил действиями шести священников, нескольких диаконов и хора папской гвардии. Петр же Петрович оперировал у кассы, с блаженным видом, слегка потея, продавал свечи и не мог налюбоваться церковью, которая вся заново была расписана бледно-розоватыми и голубыми иконами, дабы, как выражался Петр Петрович, «веселее было мужичкам молиться». В известный момент, как полагается, он, сияя, отправлялся по толпе с блюдом, где для внушительности лежали две пятирублевки; за ним несли кружки. Мать с серьезностью дала двугривенный; достала из тощего портманчика монетку и Катя и холодными пальцами положила на тарелку. Как раз за минуту перед тем она увидела Константина Сергеича: он рассеянно и неловко вошел, тоже в сюртуке и, как Кате показалось, «заграничном». Откинул прядь волос на виске и стал глазами искать знакомых. «Не буду смотреть, пусть сам найдет»,— подумала Катя, для которой тот угол церкви, где он стоял, сразу чем-то зажегся. И она стала всматриваться в преосвященного, который воздевал в эту минуту руки вверх. Константин Сергеич, разумеется, подошел.

Служба протекала гладко и правильно. А тем временем в усадьбе, в столовой Петра Петровича, шли в своем роде величественные приготовления: к «трапезе». На приглашениях, разосланных заранее, было напечатано даже по ошибке: «тропеза». Накрывали чистые скатерти; через двор из кухни носили тарелки с кусочками осетрины, на которую садились мухи. Откупоривали мадеру для штатских, а для священников кагор. Певчих пред-

полагалось кормить отдельно. Их было так много и они оказались столь громадны, что являлось опасение: пожалуй, сожрут все, что в усадьбе есть, и еще будут недовольны.

Церковь от дома была шагах в трехстах, но все же, по окончании службы, Петр Петрович, клоня голову вбок перед владыкой, предложил ехать в карете. Владыка устало вздохнул, отказался. Тогда и все пошли пешком.

— Ну-с, батенька,— говорил Колгушину Бобка, шагая с ним рядом.—Владыка-то ваш оказался так себе, с перчиком.

Колгушин добросовестно удивился:

— Я этого понять не могу. Да. Что, собственно, значит, что преосвященный может быть с перчиком? Или же без перчика?

Бобка продолжал небрежничать:

— От архиерея должно пахнуть сладостью и этаким затхлым, тепленьким. А этот простоват. И голос не такой. Нет, он скорей на монаха афонского смахивает.

Бобка был, пожалуй, и прав. Преосвященный, полуседой, но не старый, казался недостаточно пышным для своего сана; в обращении был сдержан, покоен, и выглядел несколько утомленно.

За столом ему отвели первое место; вокруг в смущении мялись священники. Владыка привычно, усталой манерой, сотворил молитву, привычно сел, как делал это уже десятки раз, и традиционно поздравил Петра Петровича с открытием храма. Петр Петрович, лоснясь и блестя от волнения, провозгласил тост за владыку. Владыка равнодушно поблагодарил и поклонился всем, кто его приветствовал.

Против архиерея Колгушин посадил Константина Сергеича, как самого, по его мнению, образованного человека из присутствующих. С ним сидела Катя, а Мать и Бобка были не так близко, в стороне. Бобка остался этим недоволен. «Напрасно он думает,— буркнул он Матери,— что я с архиереем не могу разговаривать. Я, может, еще почище господина Панурина изъясняюсь. Он, вон, заикается».— «Молчи, молчи, Бобка,— зашептала на него Мать,— сиди уж смирно, да на мадеру не очень налегай, а то, ведь, знаешь, как иногда бывает».— «Что ж что бывает, что мне мадера-то? — нарочно громко ответил Бобка.— Я этой самой мадеры бочку могу выпить».

И он демонстративно налил себе порядочную рюмку. «Подумаешь, я мадеры испугался!» Мать дернула его за фалду, и в сердце у нее похолодело.

Между тем, Константин Сергеич завязал разговор с преосвященником. Разговор этот начался с того, что Константин Сергеич, несколько сбиваясь и путаясь, спросил владыку, как

относится церковь к попыткам некоторых светских писателей по-новому понять христианство.

Владыка смотрел на него холодноватым, безразличным взором. Казалось, и об этом он говорил тысячу раз, и это тоже неинтересно.

— В вопросы богословия,— ответил он,— светские писатели, за редчайшими исключениями, вносят путаницу и сумбур. Я слышал об этих модных мечтаниях. Но за обилием дел не удосужился прочесть. Впрочем, в молодость мою, в бытность в Академии, я много читал покойного Владимира Соловьева. Приходилось даже с ним встречаться. Это был великий ум, избранный сосуд.

Бобка успел уже выпить несколько рюмок мадеры и, держа пятую за ножку, на столе, откинувшись несколько на стуле, тяжелым взором глядел на владыку.

— Это вы совершенно верно изволили заметить, ваше превосходительство,— вдруг заявил он громко, обращаясь к архиерею,— что разные там светские любители наук и искусств чрезмерно зазнаются. Это совершенно правильно! — прибавил он, дерзко поглядел на Константина Сергеича и выпил.

Мать похолодела, быстро зашептала ему на ухо. Владыка с удивлением взглянул на Бобку и стал рассказывать Панурину про Соловьева. Петр Петрович тоже замялся, но вывозило то, что преосвященный рассказал довольно длинную историю из своей студенческой жизни, где играл роль и Соловьев. Петр Петрович слушал его, склонив голову набок, и по временам повторял вполголоса: «Да, Соловьев, да». При этом думал, что это тот самый, что написал роман «Вольтерьянец». Некогда, в иллюстрированном журнале, Петр Петрович читал даже этот роман, и ему приятно было слушать о писателе, которого он знал.

Много помогло Матери то, что преосвященный не был расположен рассиживаться. Он ничего не пил, ел мало: в прошлом у него была воздержанная, правильная жизнь. Он отбыл тяготу обеда, сколько нужно, и затем высказался, что пора в путь.

У Бобки оставалось еще порядочно недопитой мадеры, но он решил, что все равно не упустит своего, и попрощался с архиереем очень прилично, даже почтительно: подошел под благословение, поцеловал руку.

Между тем, подали уже карету, и у галерейки Петра Петровича толклись любопытные. Мать с Бобкой стояли у окна. Мать держала его под руку, прятала по временам возбужденное, хохочущее лицо за его спиной и делала кота: она была очень

рада, что все кончилось более или менее сносно; и с тем чувством, как дети доедают оставшиеся от гостей конфекты, она не хуже Бобки хлопнула две рюмки мадеры. Бобка же кланялся уезжавшему архиерею и, когда карета обогнула куртину елок, даже помахал ему вслед платком.

Мать хохотала за его спиной.

— Ну, проводил друга? Когда-то еще увидитесь? Бобка, Бобка, ты бы поплакал!

— Он мне, положим, не друг. Но что же, он почтенный пастырь. Я могу оказать ему внимание.

— А я думала, непременно выйдет скандал,— говорила Мать, отирая слезы смеха.— Превосходительством назвал! — Она опять фыркнула.

— Это просто маленькая ошибка. Но он совершенно правильно сказал об этих господах, вроде мистера Панурина. Посмотри, преосвященный уехал, а уж он наверно где-нибудь Катерину развивает, обучает нежным чувствам.

Нельзя сказать, чтобы Бобка был совсем не прав. Константин Сергеич Катю не развивал и нежным чувствам не обучал, но, правда, когда гости разъехались, они вышли в сад и по Катиному предложению пошли к пруду. Этот самый пруд, где Мать купалась, теперь зацветал мелкой зеленью, и вода его, чувствовалось, была очень тепла. Катя села на скамеечку. Она сдерживалась. Константин Сергеич имел вид рассеянный. Ему было несколько жарко в сюртуке; под конец тоже утомила церемония.

Катя вздохнула.

— Мы с Мамашей здесь уже целый месяц,— скоро надо и уезжать. Смотрю на этот пруд, он мне кажется другой, чем когда сюда приехали. И вся эта усадьба другая, да и весь свет.

— Это бывает,— сказал Панурин невесело.

Катя смолчала.

— Я два дня думаю об одной вещи, но не решаюсь вам сказать.

Константин Сергеич опустил голову.

— Го-оворите. Почему же не решаетесь?

Катя несколько побледнела.

— Вы все-таки очень странный человек... Я вас не вполне понимаю. Может быть, потому, что я простая девушка. Но главное... вы, по-моему, меня совсем не любите. Так, между прочим. Славная девушка, милая девушка.

Константин Сергеич сбоку поглядел на нее внимательным, серьезным взором. Ответил он не сразу.

— Дорогая, вот в вас уже женщина про-снулась. Вы тоже на моих глазах очень изменились.

— Мне сегодня очень плохо,— прошептала Катя.

Панурин спросил тихо, с некоторой грустью:

— Почему у вас такие мысли? Было бы не-еверно ска-зать, что вы мне не нравитесь. Напротив. Может быть, я немного даже влюблен.

Катя молчала.

— Но вам не этого надо,— прибавил он ласково, чуть усмехнувшись.— Вам надо, чтобы я прыгнул в ва-ас, как в этот пру-уд, и с головой бы. Только бы пузырьки со дна пу-скать.

— Я на вас прав никаких не имею. И не смею иметь.

— Нет, дело не в пра-авах...

Панурин сидел задумавшись. Снова, как тогда на балконе, в его имении, предвечернее небо было особенно прозрачно, высоко и тонко. Медленно блестел пруд; иногда поплескивала в нем рыба. Тихое золото разливалось вокруг, золото было в далеком жнивье за прудом, в крестцах ржи, в самом светлом герое сегодняшнего дня — спускающемся солнце. Панурин откусил травинку.

— Я могу любить вас в том смысле, в ка-аком люблю этот свет, солнце, кра-соту русской природы. Может быть, я, действительно, странный человек, но всегда та-ким был. Для меня те, кто мне нра-вился, всегда были искрами пре-екрасного, женственного, что разлито в мире. Женщина же, как и вы, хо-очет безраздельного го-осподства. Этого во мне действительно нет.

Помолчав, Панурин прибавил:

— У меня были связи. Но женат я не был. Теперь я один, как видите.

Катя сидела, закрыв лицо руками. Потом вдруг она выпрямилась, медленно обвила руками шею Панурина и приблизила к его лицу серо-зеленые глаза, в которых было теперь безумие.

— Все равно. Я тебя люблю.

Из сада, все ближе, стали раздаваться голоса: Бобка вел под руку Петра Петровича и ораторствовал насчет архиерея.

VIII

Срок отпуска у Матери кончился, и, несомненно, пора было уезжать, но наступили жары — те июльские жары, что делают наше лето хоть на что-нибудь похожим. Матери не хотелось трогаться в такое время, да и Катя, хоть и была сумрачна, все же, очевидно, не сочувствовала. Мать многое теперь понимала, и хотела даже так устроить, чтобы Катя осталась одна на некоторое время у Колгушина. Но все вышло по-иному.

Почему-то Константину Сергеичу понадобились в Москве книги, которые проездом он оставил у дядюшки, московского старика. Константин Сергеич обмолвился об этом у Колгушина. Катя решила, что именно она их привезет: съездит в Москву с Матерью, оставит ее и возвратится с книгами. Ей страшно нравилось, что она будет в городе по его делам; что поездка с ним связана, да еще сюда вернется.

В той же тележке, по тем же полям, что и полтора месяца назад, Мать и Катя катили к той же станции, в ту же самую Москву.

Для Матери разница была лишь в том, что теперь убирали хлеба, было гораздо жарче и пыльнее; Кате же казалось время, когда они жили с Матерью в меблированных комнатах у Курского вокзала, чем-то легендарно далеким и неясным. Да есть ли, правда, эта самая Москва? Может, все, что с ней было до поездки,— детский сон, милая, бесцветная фантасмагория?

Однако Москва стояла на своем месте; приближался вечер, когда они подъезжали. Москва завесилась струистым, раскаленным, тонко-пыльным пологом — издалека сиял в нем золотой купол Спасителя, расплавленная глава Ивана Великого.

Войдя в свою комнату, Катя отворила окно и взглянула на те пути Курской дороги, по которым они только что проехали, и которые — казалось ей весной — ведут в далекую и неизвестную страну. Теперь они вели в определенное место; на географической карте оно приняло золотой ореол, заставлявший замирать сердце.

Мать сняла шляпу.

— Разбери-ка вещи, девушка. А я пойду по телефону говорить.

Это значило, что начинается ежедневная человеческая жизнь, с мелочами, беготней, службой. Катя покорно улыбнулась, стала развязывать чемодан. Теперь за всей этой обыденщиной стояло великое солнце и теплым лучом, золотом наливало каждый ее шаг. Она проделывала все, что полагается человеку, вернувшемуся в квартиру из отсутствия, и даже мало в чем ошибалась, но была в тех же снах, как это последнее время.

Так она и легла в этот вечер, так и встала наутро, и ходила к дантистке, к «Работнику» по поручению Колгушина; там бродили обветренные помещики, а Катя неловко сунула испорченную часть жнеи. Около трех дня, в великую жару, она зашла в молочную. Молоко ей дали холодное. Она выпила залпом, и ей даже понравилось, что так освежает. Потом вскочила на трамвай и на задней площадке, под боковым, горячим солнцем

покатила по кольцу Садовых. Она ехала к Ивану Лукичу Арефьеву, дяде Константина Сергеича, и домовладельцу.

Иван Лукич жил на Плющихе, во флигеле при особнячке; к нему надо было проходить по мосткам через двор, хотя и мощеный, но с травкой между камнями. За флигелем был сад.

Иван Лукич отворил ей сам, не снимая предохранительной цепочки. Увидев барышню, пустил охотно.

Был он небольшого роста, довольно аккуратный старичок в люстриновом пиджаке. Много лет избирался в Городскую Думу умеренными либералами и вотировал кредиты на мостовые. Это был его любимый пункт. Как горячий москвич и патриот, особенно страдал он за мостовые. Раз ему удалось произнести об этом речь, сорвавшую аплодисмент. Затем, дважды, он выступал в почтенной газете со статьями: «Еще к вопросу о поливке улиц» и «О сравнительных качествах булыжной мостовой и гранитной брусчатки по данным центрального бюро исследования шоссейного дела в Германии». Тут он горой стоял за гранит.

Иван Лукич вежливо попросил Катю в кабинет, где были книги, висел портрет Михайловского и стоял маленький аквариум с рыбками. Тут он прочел письмо.

— Костины книги, барышня, у меня в полном порядке, и сию минуту я их выдам вам.

Затем снял с полки пакет, завязанный веревочкой, и подал Кате.

— А вы его соседка будете?

Катя объяснила.

— Так-с. Надо сказать, что Костю я знаю с детства. Отец его был ученейший человек, Костя тоже образованный, но несколько, как бы сказать... мечтательного направления. Знаете, как вообще современные люди. Мы-с,— сказал он тверже,— выросли на иной закваске. Я и сам, если угодно знать, положительного образа мыслей.

Иван Лукич был очень любезен с Катей. Он всучил ей даже чашку чаю с печеньем, расспрашивал, какие теперь на курсах лучшие профессора, и вышел проводить до ворот. Но по дороге вдруг энергически абордировал человека, вышедшего из какой-то калитки.

— Нет, нет,— закричал он довольно высоким голосом,— я покорнейше прошу, раз навсегда, не пользоваться проходным двором через мои владения! Покорнейше прошу!

Человек обратил на него мало внимания и удалился. Иван Лукич был обижен.

— Вот у нас все так! И что за некультурность, удивляешься просто.

И уже стоя в воротах, прощаясь с Катей, он все рассказывал, что, к сожалению, Москве далеко до столиц запада. Не говоря о мостовых, отношение высоты домов к ширине улиц в Москве приближает ее к уездному городу. Кате было это неинтересно. Она ушла, а если бы постояла еще, Иван Лукич мог бы ей рассказать, как иногда в свободные утра ездит смотреть на постройку новых вокзалов, почтамта, осматривает даже частные строящиеся дома — и все из чистого, бесцельного интереса: радуясь росту своего города. Но трудно было бы втолковать влюбленной слушательнице высших курсов, в двадцать два года, что-либо о поливке улиц или устройстве скверов!

Катю занимало теперь то, когда можно будет вернуться в Щукино. Ее огорчала дантистка, никак не отпускавшая раньше недели.

Дама, обрабатывавшая Катины зубы, была полнокровна, серьезна, в духе интеллигентки старого типа; она ни на йоту не отступала от своих медицинских идей. Угрожала разными словами, вроде путрефикация пульпы, и подавляла Катину волю своей основательностью.

Так прошло дней семь. Дама полировала уже пломбы, и Катя считала, что послезавтра, с книгами Константина Сергеича, она будет в Щукине.

Солнце садилось. Красными квадратами пятнало оно стену дантистской комнаты. Было жарко, хотя и приоткрыто окно. Катя, сидя в кресле, под заботливыми руками г-жи Щаповой, вдруг почувствовала большую усталость, как бы головокружение. Руки, ноги стали довольно тяжелы. Кончив последние свои манипуляции, г-жа Щапова заглянула Кате в глаза, несколько угасшие, помутневшие, и приложила руку ей ко лбу.

— Голубчик,— сказала она мягким и низким голосом,— у вас жарок. Смеряйте себе температуру.

Уже спускаясь с лестницы, Катя почувствовала, что в ней что-то сидит. Оттого и туман в голове, и зябкость, и тяжелое тело. Она плелась по душной улице, где бледнел уже газ в фонарях. «Захварываю,— подумала,— все равно послезавтра уеду». Тут внезапно ей стало так скучно, тоскливо, что захотелось сесть на тротуаре. Она добрела все же до трамвая и в лиловых московских сумерках летела в нем; ей навстречу неслись другие вагоны, роняя зеленые искры, краснея огнями фонарей. Она сидела у окошка, положив голову на руку, полувысунувшись из вагона. Красные и зеленые нити, шум, быстрота, все это отлично входило в ее мозг; казалось, так и должно быть. Сутолока Сухаревой башни, Красные ворота в кровавом закатном отблеске, толпа на платформах, непрерывные звонки трамваев,

разлетающихся отсюда веером,— все так и надо. И лишь слезать, у себя, не хотелось. Все же она слезла и добрела в номер.

В номере было полутемно и пусто. Мать сегодня дежурила, и нельзя было ждать, чтобы она вернулась ночью. В окно видны были золотые огни Курской дороги; золотистые пятна трепетали на стенах, и доносились свистки, пыхтение, иногда грохот. Катя подошла к окну — оно было отворено, опустилась на подоконник и вдруг очень горько заплакала. Ей с необычайной ясностью припомнился последний разговор с Константином Сергеичем, в день освящения церкви. «Не любит! — застонала она.— Боже мой, Боже мой!» И все плакала, смотрела на железные пути, отливавшие сияющими отблесками. Ей показалось, что никогда не попадет она по ним больше туда, куда зовет сердце.

Потом устала плакать, быстро сняла всю нехитрую амуницию, недлинные чулки, бросила их на спинку кровати, хотела было распустить волосы, да очень болела голова. Так и легла.

Утром Катя уже не встала. Мать, вернувшись, очень обеспокоилась, и беспокойство ее усилилось, когда термометр показал очень много. Она, все же, приняла это за инфлюэнцу. Лишь через три дня доктор, ее сослуживец по больнице, установил твердо, что это брюшной тиф. Плохо отозвалось Кате холодное молоко, что пила она в жару.

IX

Форма тифа оказалась тяжелая. Десять дней Катя не приходила в сознание; десять дней Мать, забросившая свою больницу, отбивала ее у смерти. Все-таки отбила.

То, что раньше называлось Катя, обратилось в маленькое, тихое и покорное существо, иногда стонущее, иногда бредящее. Так как ее обрили, то нелегко было даже ее узнать.

Мать устроила ее в частной лечебнице, у своей подруги, которая хозяйничала там с двумя товарками. По летнему времени никого почти не было, и Катя лежала одна в комнате, очень высоко, в шестом этаже дома у Красных ворот. В комнате ее было чисто, тихо и светло, как бывает в хороших учреждениях. Видна была из окна Садовая, вся в зелени; вдалеке — Сухарева башня, и еще далее синели леса Сокольников. Когда солнце садилось, то над Сухаревой вились стаи голубей; отблескивали золотисто-медным проволоки телеграфа, висевшие легкими холстами. Знойно-пылен был воздух; мгла завешивала дали — то опаловым, то красновато-фиолетовым. Звенели трамваи. Тяжело грохотала ломовыми, обозами Москва.

Наступило, наконец, время, когда Кате стало лучше. Пал жар, она стала спокойнее, прояснился взгляд. Она могла уже разговаривать, даже немного читать; стоял сентябрь. Медленно, точно вновь рождаясь, начала она вспоминать, что с ней было до болезни. Чем больше вспоминала, тем делалась тише.

— Илья,— позвала она раз сестру.— Ну-ка, поди сюда.

Мать подошла. Катя внимательно вертела в руках бумажку от конфекты, складывала ее так и этак. Она очень серьезно, негромко, как бы опасаясь, что смутится, спросила:

— Что от Панурина не было мне письма?

— Этот Панурин,— ответила Мать,— и не знает даже, где ты. Да брось ты про него думать. Была охота! Тебе выздоравливать надо.

Кате понравилось, что она сыграла дуру: правда, откуда мог знать Константин Сергеич, что она больна, в лечебнице? А ей, все же, казалось, что знает! Она вспомнила и про книги и воспользовалась ими, чтобы самой написать. Сделала она это очень внушительно: так что Мать не могла ни сказать ничего, ни протестовать.

На ее письмо не было ответа. Она написала другое — то же самое. Отправила третье — но уже Колгушину. Тут ответ пришел и очень скоро. На обратной стороне конверта, посредине, была круглая синяя печать-штемпель: «Экономия Щукино, П. П. Колгушина». Строчкой ниже, по-французски: «P. P. Kolgouschin». Ровным конторским почерком Петр Петрович выражал горячее соболезнование. О Константине Сергеиче сообщал с точностью; месяц назад он выехал за границу.

Ночью Катя много плакала. Проснулась и Мать, спавшая все еще в этой комнате. Она встала с постели, как была — в одной рубашке, подошла к Кате, привалилась к ней своим мощным телом, поцеловала и заплакала. Плакала она обильно, как сама была обильная, горячими слезами.

— Катюшка! — бормотала она.— Катюшка!

Задыхаясь от рыданья, всхлипывая, Мать шепнула:

— Разве ты можешь от меня скрыть? Я давно вижу.

Поздней осенью Катя оправилась настолько, что могла ходить, но с палочкой — болели ноги. Это было одно из осложнений тифа, и называлось довольно хитро: вроде — хронический полиневрит. На голове она носила чепчик, под которым отрастали колечки новых волос.

Ее внешняя жизнь так же шла, как и раньше, в то далекое — казалось теперь — время, когда она не знала еще Константина Сергеича. Так же Мать работала в больнице, так же ходил к ним Бобка, иногда бывал весел и любезен, иногда придирался,

ревновал. В душе Мать была довольна, что таков он: по крайней мере, мужчина, а не размазня. Она многое знала о Константине Сергеиче от Кати. Этот решительно был не в ее вкусе. «Только все один разговор, и ничего существенного. Мучают они девушек, а какой толк?»

Катя по-прежнему ходила на курсы. Она стала тише и молчаливее. Кто мало ее знал, быть может, и мало заметил бы. Но когда она оставалась одна, ночью в постели, или вечером, вернувшись с курсов — а Мать дежурила,— ее томила любовь и тоска любви. Она принялась писать что-то вроде дневника. Писала письма — довольно много! — но не отправляла их. Впрочем, раз даже отправила — за границу — и лучше бы не отправляла. Она получила ответ. Этот ответ был ласков, но не оставлял сомнений.

Ей представилось, что все это: что она тоскует, не спит ночами, пишет туманно-безумные письма — все ни к чему. Тогда она решила, что забудет его, как он и писал. Но и это нелегко. С горькой настойчивостью думалось: ну хорошо, ну к чему же было это все, это лето, ее безумие, болезнь, и теперешняя болезнь души?

В то время, когда страдала, она не могла, разумеется, ответить. Неизвестно, ответит ли и вообще когда-нибудь. Неизвестно, преддверие ли это больших чувств и радостей, которые придут в ее жизнь, или преждевременный ожог. Надо надеяться, что первое. Следует полагать, что с годами, вкусив любовь, определяющую всю жизнь, сделавшись опытней, умней и, вероятно, печальнее, она с улыбкой и — кто знает? — пожалуй, с сочувствием вспомнит первый свой жизненный шаг.

Можно надеяться на это и еще вот почему: весной следующего года с Катей произошел пустой, но знаменательный случай. В мартовские сумерки, розоватые, с легким ледком по лужам, Катя выходила с курсов, у Девичьего поля. В этот солнечный день была она нервно возбуждена. Сев в трамвай у площадки, где играют в лаун-теннис, Катя с необычайной ясностью вспомнила Константина Сергеича: вероятно, была это даже мгновенная галлюцинация — ей представилось, как играли они летом в его имении. На минуту у нее захватило дыхание; но она себя поборола, отвернулась к окну, и под гул убегавшего трама с неменьшей убедительностью почувствовала, что все это лежит в былом — неповторимом. Она мокрыми от слез глазами глядела на Плющиху, где была у Ивана Лукича. Плохо понимая, что вокруг происходит, ясно сознавала, однако, что в груди ее как будто отделяется и отплывает огромная льдина, так долго давившая сердце.

Недели через две она получила из-за границы, бандеролью, книгу на русском языке, сочинение Константина Сергеича: «О раннем немецком романтизме в связи с мистикой». При бандероли было письмо; он просил простить его и забыть.

Катя улыбнулась на книгу и поставила ее на полку. Письмо же не знала — спрятать или уничтожить? Но оно казалось ей ненужным.

Притыкино, 1914

КАССАНДРА

I

Антонина Владимировна, круглолицая дама лет за тридцать, владелица шляпного заведения, ноябрьским утром влетела к своей жилице. Была она несколько растрепана, в капоте. Крепкая брюнетка г-жа Переверзева тоже не надела еще кофточки; она варила на спиртовке кофе.

За окном синел снег; в комнате, по неубранной постели, на дешевеньких обоях, на лице и капоте вбежавшей лежал его тусклый, иссиня-белесоватый отсвет. Голые руки Переверзевой выглядели могуче.

— Милун,— говорила Антонина Владимировна, разматывая папильотки,— у нас новость. Со вчерашнего дня новый жилец.

Г-жа Переверзева посмотрела на нее внушительно.

— Кто же?— спросила она серьезно, низким голосом.

У нее был такой вид, будто Антонина Владимировна уже провинилась перед ней.

— Крошка — премилый! Студентик, хорошенький. Ему очень идет тужурка,— точно военный. Кажется, скромный. Одним словом, ангелочек в чистейшем оригинале!

— Студент! А он вам революции не устроит?

— Это совсем не такой. Наверно, по научной части.

— Некоторые студенты по ночам в карты дуются. Или мастерицу может соблазнить. Тихий мужчина — это еще ничего не значит. У этих розовых тихонь Бог знает что на уме. Безусловно.

— Что вы, голубчик! Ничего не похоже.

Г-жа Переверзева погладила полные, несколько смуглые руки:

— У меня тело девичье, как у двадцатилетней. Но я с мужчинами строга. Притом служу, не имею средств шикарно одеваться. Мужчина же, безусловно, любит, чтобы хорошо одевались. Если женщина не одета, она не может иметь мужа.

Г-жа Переверзева уже надела блузку, застегнулась. Кофе был готов. Она налила себе чашку и села. Антонине Владимировне

ни за что не предложила бы — это непорядок. Закурив папиросу, г-жа Переверзева заложила ногу за ногу.

— Студент в доме — это довольно неудобно. Вы бы лучше конторщику сдали. Или приказчику. Приказчик целый день на службе.

— Ах, вы на все мрачно смотрите! Я ваш характер знаю.

— Мой характер твердый. Не то что у вас, Антонина Владимировна. И ни один мужчина не имел надо мной власти. Меня не обманывали. Затем, я всегда вперед вижу, и, понятно, чаще плохое, чем хорошее. Так уж в жизни устроено. Но меня нельзя увлечь, как бы ни старались. Замуж я готова, если человек солидный, с положением. Только не зря.

— Милун, я не так чувствую. Если уж полюблю, то готова на все.

Г-жа Переверзева взглянула на часы. Было половина девятого,— время идти на службу к Метцлю, где работала она пятнадцать лет. Она встала.

— Безусловно, у вас слишком легкомысленный характер, хотя вы и хозяйка мастерской. Пожалуй, этот студент тоже интересует вас с *такой* стороны.

Антонина Владимировна стала доказывать обратное. Г-жа Переверзева аккуратно снаряжалась в путь и выглядела так, что все равно ее не проведешь. Останется при своем.

Однако в коридорчике мимоходом спросила:

— Покажете мне вашего студента?

Антонина Владимировна ответила, что он еще спит. Г-жа Переверзева усмехнулась:

— Разумеется! Студенты всегда долго спят.

Она ехала в трамвае все в том же сурово-пренебрежительном настроении. Оборвала какого-то господина, коснувшегося ее на площадке. Кондуктору сделала замечание — за неправильность счета при передаче. Входя к себе на службу, вспомнила Антонину Владимировну, студентика и, надменно улыбнувшись, с чувством превосходства и удовлетворения подумала:

— Безусловно ничего хорошего не будет.

II

Было бы неверно сказать, что дела Антонины Владимировны по шляпной части шли блестяще. Ее таланты были скромны, вкус умерен, средства невелики. Все же она оправдывала свою квартиру на Бронной, с полутемной лестницей и запахом сырости в нижнем этаже. Хватало, с Божьей помощью, и на жизнь, на содержание нескольких мастериц, возраставших у нее с трина-

дцати лет до более поздних сроков, когда они шмыгали в темных воротах двора, подстерегаемые молодыми людьми, когда начинали назначать свидания и узнавали то, что называется любовью и тайной жизни.

Как-никак, у Антонины Владимировны составился круг клиенток — не шикарный, но многие дамы относились к ней с сочувствием. Брала она недорого, была живого нрава, иногда, примеряя, смешила заказчиц разговором, развлекала.

Дня через три после того, как поселился новый жилец, ей привели даже графиню — из небогатых графинь, но настоящую. Она была в восторге. Волновалась, взяла с нее дешевле дешевого, и потом, желая высказать г-же Переверзевой восхищение элегантностью заказчицы, даже вздохнула:

— Да, что значит происхождение! Сейчас видна прирожденная вульгарность!

Г-жа Переверзева посмотрела на нее строго:

— Если это графиня, то в ней не может быть прирожденной вульгарности. Вы ошибаетесь, Антонина Владимировна.

— Чего же ошибаться, если она свой адрес оставила.

— Графиня не может быть вульгарной,— твердо настояла г-жа Переверзева.— Моя сестра была знакома с одной графиней, я ее помню. Безусловно.

Антонина Владимировна была недовольна:

— Вы всегда критикуете. Вы и моего жильца ославили, будто он картежник и соблазняет девушек, но, оказывается, ничего подобного. Прямо милун, очень симпатичная личность. Я уверена, что мы с ним будем в самых интимных отношениях.

Г-жа Переверзева захохотала с видом решительного превосходства:

— Я предсказала вам это с самого первого дня! Нет сомнения — это будет новый ваш роман!

— Не понимаю, крошка, чего вы смеетесь? Я говорю, что мы с ним будем в самых дружеских, то есть интимных отношениях!

— Вы настоящий ребенок, Антонина Владимировна. Прямо ребенок. Вы говорите, и сами не понимаете своих слов.

Она нагнулась ей к уху и, слегка задыхаясь,— г-жа Переверзева всегда отчасти волновалась, говоря об этом,— шепнула несколько слов, объясняя ошибку.

— Малютка, вы не так меня поняли. Ничего подобного!

Но г-жа Переверзева хохотала своим грубоватым смехом:

— Я знаю, что вы угождаете своей женской природе. Просто вы не хотите сознаться. Я вижу все насквозь. Безусловно.

Хоть Антонина Владимировна и возражала, и никаких ин-

тимностей с жильцом у нее не было, все же пророческий дар г-жи Переверзевой не совсем ее обманывал: хорошенький студент частью ущемлял сердце Антонины Владимировны — сердце не из тугоплавких. Она уже играла с ним взглядами, слегка замирала при виде его, и, как говорят люди опытные, маятник ее женского существа, качнувшись, сказал уже *да*. Но маневров и диверсий более существенных еще не было. Г-жа Переверзева держалась непоколебимо:

— Из такого союза не может получиться ничего хорошего. Во-первых, вы гораздо старше. Во-вторых, он вам тотчас изменит. Я хоть и девушка, но имею на мужчин определенный взгляд. Это животные. Им только нужно, чтобы женщина хорошо одевалась.

Антонина Владимировна не стала сопротивляться — она вообще не очень была довольна разговором. Но знала, что г-жу Переверзеву не переспоришь. Из собственного, довольно обширного сердечного опыта, не всегда счастливого, вынесла она о мужчинах иное мнение.

— Милун, я вас познакомлю. Тогда и посмотрите.

— Я, безусловно, не отказываюсь от знакомства с вашим жильцом. Понятно, он меня не съест. Но не думайте, что я способна им интересоваться.

Это Антонине Владимировне было безразлично. Самое же знакомство состоялось вскоре после этого разговора. Антонина Владимировна пригласила их обоих к чаю, к себе в столовую. Г-жа Переверзева надела чистый галстучек, черную шелковую блузку, подвила локон и могла сойти за тридцатилетнюю. Антонина Владимировна не без волнения представила их: «Мсье Фомин, госпожа Переверзева».

Мсье Фомин был розовый и несколько заспанный студентик в серой тужурке. Он не обладал такими научными талантами, как полагала его квартирная хозяйка. Напротив, готовясь к зачету по римскому праву, зубрил отчаянно, в голос, мало спал и имел вялый вид. Он лениво ел варенье и выглядел так, что вряд ли можно чем-нибудь его взволновать.

— У меня был брат,— говорила г-жа Переверзева,— он тоже учился в университете. Разумеется, это очень трудно.

Мсье Фомин несколько проснулся:

— Главное дело, римское право. Учишь, учишь, все надо на память. А то как раз срежут. Черт его возьми совсем!

— Студенты часто ходят в театр,— заметила г-жа Переверзева,— и большей частью в оперу.

— Мне некогда по театрам ходить,— промямлил мсье Фомин.— Репетиции на носу. Главное дело, римское право.

Антонина Владимировна, слегка закипая оживлением, вмешалась:

— Невозможно же так себя изнурять! Вы захвораете. На праздники мы с вами должны пойти развлечься. Например, как говорит Марья Степановна, в оперу, на утренник.

— Разве в кинематограф,— вяло бормотал мсье Фомин.— Тут «Националь» недалеко.

В это время в передней позвонили. Прислуга сказала, что спрашивают Петра Иваныча. Петр Иваныч вышел. Было видно, что в прихожей он здоровается с светловолосым молодым человеком, в огромной черной шляпе.

— Ну, как? — вполголоса спросила Антонина Владимировна.

Г-жа Переверзева сделала неопределенно-важную гримасу:

— Держит себя прилично, безусловно.

Антонина Владимировна вышла в переднюю. Через минуту свежий голос, несколько грубый, ответил:

— Можно и чаю. И с вареньицем.

Затем они вернулись втроем. Молодой человек был в сюртуке, с копной золотистых волос на голове, с золотисто-козлиной бородой, довольно широким носом и косо поставленными глазами. Руки он держал в карманах; ступал несколько вкось.

— Если приглашаете выпить чаю,— обратился он к Антонине Владимировне,— я не отказываюсь.

Подойдя к г-же Переверзевой, тряхнул головой, так что волосы взлетели, подал ей руку и твердо рекомендовался:

— Здравствуйте. Шалдеев.

— Кончил Строгановское,— пробормотал мсье Фомин,— теперь художник. Преподает чистописание.

— Это верно, что Строгановское кончил,— произнес Шалдеев.— И совершенно верно, что девчонок учу половчей писать.

Антонина Владимировна налила ему чаю и подала варенье. Она любезно заметила:

— У. меня был один знакомый строгановец, он отличные рисунки делал для обоев. И даже много на этом зарабатывал.

— Вот, вот, именно для обоев! Это вы, хозяюшка, хорошо сказали и хорошо оценили. Потому что это по вашей части, вполне оценили.

Антонина Владимировна смотрела недоуменно.

— Что же далее? — спросила г-жа Переверзева.

Шалдеев, взглянув на нее, продолжал:

— Что ж далее? Если на фабрике служить, Строгановское хорошо. Так все и говорят, кому искусства не надо.

— Безусловно, делать рисунки к обоям — это большое искусство! — заявила г-жа Переверзева.

Но Шалдеев опять ответил не ей:

— Для художника Строгановское — крышка. Вы, хозяюшка, по женскому положению и, занимаясь шляпами, ни черта, конечно, в искусстве не понимаете,— и не надо вам понимать, как и ей вот тоже,— он показал пальцем на г-жу Переверзеву,— и уж это так. И я на это заведение плюю.

«Несомненно, дерзкий тон!» — подумала г-жа Переверзева, пожала плечами:

— Вы меня, например, вовсе и не знаете.

Шалдеев облизнул ус, на котором осталась капелька варенья:

— Верно, что не знаю. Да и так сразу видно. И у Петьки видно. Он тоже из вашей компании.

— Как вы странно выражаетесь!

— Он со странностями,— вмешался мсье Фомин.— Вы... на него... Да, уж не обращайте внимания.

— Что ж я такое говорю? Вот хозяюшка,— Шалдеев указал на Антонину Владимировну,— мастерскую содержит. И сейчас видно, человек простой. Что ж такого? Я сам не дворянин, из простонародья. Из-за Москва-реки. Ты,— он обратился к мсье Фомину,— кончишь свое заведение, будешь в суде чиновником. Она,— он более вежливо опять показал на г-жу Переверзеву,— пожалуй, в конторе служит и ждет, как бы замуж выйти. И вы, может, отличные люди. А в искусстве-то нули. Понятно? — и он даже добродушно улыбнулся.— Чего уж тут разговаривать?

У г-жи Переверзевой заблестели глаза, показался румянец.

— Это, безусловно, странный тон,— заявила она решительно.

Шалдеев допил стакан, поласкал отчасти бороду:

— Милая, чего же тут кипеть? Ну, вы девушка, стало быть, вам и следует замуж. Скажем, у меня вкус другой, я бы не польстился, а там у вас, на железной дороге, какому-нибудь бухгалтеру понравитесь.

Шалдеев все улыбался, гладил бороду. Его косовато сидящие, узкие глаза заголубели.

— Через два года маленький бухгалтер под столом бы забегал.

— Ну, как это ты, при дамах...— мсье Фомин был недоволен.

— Могу извиниться, если не так выразился. Мне не трудно.

Но г-жа Переверзева была окончательно недовольна. Она посидела еще минуту, поблагодарила хозяйку и ушла,— якобы у нее есть дело.

Антонина Владимировна смотрела на Шалдеева не без робости, но и без неприязни. Ее легкомысленному женскому взгляду даже нравилось, что он такой волохатый и несколько родствен козлу.

— Ваш приятель,— заметила она мсье Фомину,— выражается до высшей степени оригинально.

Шалдеев мигнул в сторону ушедшей:

— А та обиделась. Ну, это на лице написано, что дура. Вот хозяюшка,— он взглянул на Антонину Владимировну,— добрая женщина, сразу видать. А на ту бы я не польстился. Нипочем. Даже и с лица она неплоха, а не нравится.

Г-жа Переверзева, действительно, обиделась. Как абсолютно честная девушка с телом двадцатилетней, она не выносила разговоров о деторождении. Вечером высказала неудовольствие даже Антонине Владимировне и спросила, как фамилия этого художника: за чаем она не расслышала.

На другой день г-жа Переверзева вернулась со службы торжествующая:

— Я так и знала. Я и раньше была уверена.

— Что такое, малютка? — Антонина Владимировна вертела в руках новую модель.— Правда, мило? Тут перышко, фасончик острый и легонький. Прямо пташка.

— У Метцля служит триста человек. Я всех спрашивала. Безусловно, такого художника нет. Никто не знает.

Антонина Владимировна засмеялась:

— Ах, это вы про вчерашнее? Милун, вы на него не сердитесь, у него язык такой... особенные выражения. А в бороде даже есть что-то увлекательное.

— Вам всякий нахал кажется красивым. Я понимаю. Но только он не художник. У нас и Репина знают, и Клевера, и Маяковского. А такого никто не слышал. Это, несомненно, мазилка.

Антонина Владимировна была в добром настроении — по случаю того, что своей шляпой угодила графине, и та обещала заказать еще и пропагандировать мастерскую. И она посмеялась, не стала возражать. А г-жа Переверзева пребыла при своем и чувствовала себя отмщенной.

III

Антонине Владимировне очень нравилось, когда мсье Фомин зубрил вслух. В комнате его тихо гудело, будто меланхолически кружил огромный шмель. Если же дверь приоткрыта, и пройти мимо, то услышишь странные, отчасти даже загадочные слова *сервитут, узуфрукт*. Антонине Владимировне казалось, что такое обучение свидетельствует о большом усердии; непонятные звуки внушали уважение. И его зубрежка была приятно-мужественным аккомпанементом к занятию шляпами. Благодаря мно-

гим недосыпаниям, шпаргалкам, таинственным надписям — мельчайшим почерком на программах — мсье Фомин в середине декабря сдал зачет. Он повеселел, раза два сходил в кинематограф «Националь». Антонина Владимировна даже поздравила его и решила, что после трудов молодому человеку следует развлечься.

Наступило Рождество. В витринах книжных магазинов появились детские книжки. Нередко попадался на улице мужик с елкой на плечах. Быстрей ездили извозчики, обремененные пакетами. Сутолока в винных и гастрономических учреждениях. Морозам же полагается крепнуть. Тверской бульвар стоял в инее.

Антонина Владимировна считала, что ей с мсье Фоминым следует сходить в театр, но, разумеется, на первые дни праздника: до самого сочельника мастерская была завалена работой. Одиой дамочке надо на вернисаж, другой крошке — на елку и т. п. Это время было для Антонины Владимировны тоже как бы экзаменом. На первый день она распустила мастериц, с утра сидела за самоваром, принарядившись, ела ветчину и читала в московских газетах рождественские рассказы. Визитеров у ней было мало, больше приходили получать на чай. Рассматривала она и репертуар театров.

— Петр Иваныч,— спросила она.— Вы что предпочитаете: оперу или же драму?

Мсье Фомин, пощипывая пушок на розовом подбородке, тоже читал святочное художество; оно не действовало на него никак. Он читал, чтобы убить время. Имена авторов были ему безразличны.

— Да мне все равно.

Потом прибавил:

— Выбирайте, чтобы позанятней было.

Антонина Владимировна решила, что наиболее подходяще сходить на пьесу из студенческой жизни, которая шла уже много раз и, следовательно, была хорошей пьесой. На всякий случай решила она посоветоваться с г-жой Переверзевой.

Г-жа Переверзева получила к Рождеству двадцать пять рублей награды, купила новый галстучек, хотела было дать прислуге рубль, но раздумала и дала полтинник. В общем, скорее находилась в духе и отнеслась к просьбе хозяйки сочувственно.

— Это, безусловно, хорошая пьеса. Я сама не видала, но мне говорил экспедитор, в нашей конторе. Вы одна идете?

Когда Антонина Владимировна, слегка смущаясь, объяснила с кем, г-жа Переверзева погрозила пальцем, и вновь подтвердила, что хоть мсье Фомин и держит себя прилично, не то что его товарищ, все же добра из этого не будет.

К пророчеству Антонина Владимировна отнеслась равнодушно. А г-жа Переверзева частью испортила себе настроение. Мысль ее, как случалось нередко, вновь двинулась на мужчин, на их подлую манеру обращать внимание, как женщина одета; на то, что у ней всего один новый галстучек и все то же черное платье. «Безусловно, я красивее Антонины Владимировны, но у меня нет туалетов, и я строже». Потом пришли еще черные мысли: идти на святках к сестре или нет? С этой сестрой г-жа Переверзева была в ссоре,— правда, из-за пустяков: в доме матери, которая любила сестру больше, чем г-жу Переверзеву, сестра садилась на ее любимое место в кресло, у окна. Только и всего. Но ссора тянулась годами. Уже мать умерла, а они все не могли помириться. И сейчас, хорошо бы пойти, но и вспомнилось, как сестра торжественно сидит у окна,— уж лучше остаться. Огорчало еще и то: не много ли Агаше полтинник? Пожалуй, и тридцати копеек довольно.

Антонина же Владимировна, напротив, была в хорошем настроении. Она редко ходила в театр, и потому идти — было для нее событием, которое украшалось тем, что отправлялась она не одна. Она заранее приготовила себе шляпку-модель, купила билеты и, одеваясь, подпудриваясь, слегка даже разрумянилась от оживления. Так как шли в партер, мсье Фомин надел студенческий сюртук; не без ловкости устроил он и боковой пробор.

Антонина Владимировна ощущала себя в театре серьезно, даже парадно. До праздников она много работала, все, что нужно было, исполнила, а теперь имела полное право и основание смотреть из партера хорошую пьесу. Если с ней молодой человек, в этом тоже нет плохого, некого стесняться; да и отношения с мсье Фоминым, как известно, *самые интимные, то есть дружеские*. И за свои два рубля она с полным удовольствием смотрела пьесу, где было много студентов, в таких же тужурках, как у мсье Фомина; они пели студенческие песни, острили, спасали падшую девушку и снова пели студенческие песни. Затем опять острили, выпивали и приходили в драматическое состояние. Но тут помогали песни. Кончалось все благополучно, как и надлежит в Москве, на Козихе.

Пьеса имела успех. Актеров вызывали. В антрактах толпа гудела в буфете. Пили, брали бутерброды охотно: знак благоприятный. С последним занавесом восторги усилились; и, когда театр уже пустел, гимназисты в пальто орали еще с верхов.

Вместе с другими вышли и Антонина Владимировна с мсье Фоминым. Извозчика они не взяли. Проходя по Тверскому бульвару под руку, Антонина Владимировна сказала:

— Интересная пьеса. Вы могли бы, Петр Иванович, спасти так падшую девушку, как там изображено?

Мсье Фомин хмыкнул:

— Тут по бульвару много девиц ходит. Что ж, всех спасать?

— Вы не так поняли. Но вообще, вы способны на такой возвышенный, благородный поступок?

Мсье Фомин промямлил неопределенно и предложил зайти в угловой ресторанчик, выпить пива. Антонина Владимировна согласилась, больше из вежливости: в ресторанах она почти не бывала и мало в них смыслила.

Ресторанчик, внутри расписанный бледно-золотистыми узорами, в стиле модерн, был из тех, где при ярком свете электричества студенты напиваются на рубль пивом; им помогают мелкие служащие, часть которых, без пиджаков, разит киями в биллиардной. Кухню слышно здесь всюду. Однако, на маленькой эстраде, декорированной цветами, пиликали на скрипках четыре еврейчика, являя собой блеск и опьянение ресторана. Пригодился тут и маленький ток с esprit[1] Антонины Владимировны: она не без внушительности прошла в нем между столиков. Две девушки, которых мог бы спасать мсье Фомин, глотавшие пока что чай, с завистью взглянули на нее.

Обычно Антонина Владимировна не пила; но тут отступила от нормы и соблазнилась двумя фужерами пива. Мсье же Фомин выпил водки и заказал почки на сковороде, которую подавали на пылающих углях, так что вся она шипела. Это произвело на Антонину Владимировну впечатление — как доказательство тонкого вкуса и изысканности компаньона. Когда же еврейчики развели на скрипках нечто чувствительное, и хмель подтуманил голову, стало казаться, что и сама она чрезвычайно шикарная и нарядная дама, и мсье Фомин не просто мсье Фомин, а молодой князь, который привез ее сюда на автомобиле и завтра умчит в Париж, где будет одевать у лучших портних. А это — вовсе и не ресторанчик с девицами, нуждающимися в спасении, а первоклассное учреждение, почище «Праги» или «Метрополя».

Мсье Фомин жевал не без жадности.

— Здесь готовят отличные почки. А вы еще не хотели заходить!

Он несколько подвыпил, развеселился и стал беспричинно улыбаться. В его глазах и в ноздрях что-то мелькало. Впервые, со сладким смущением она почувствовала, что нравится ему как женщина.

---

[1] пером *(фр.)*.

— Как, по-вашему,— спросила она, замирая,— бывает чистая дружба между мужчиной и женщиной?

Мсье Фомин, вероятно, не сразу бы ответил, и неизвестно, имел он на этот счет мнение или нет: как раз в эту минуту его хлопнули по плечу, и, обернувшись, он увидел Шалдеева. Шалдеев мотнул головой, так что встряхнулась вся его грива, и протянул правую руку Антонине Владимировне:

— Хозяюшке почтение.

По своей позиции мсье Фомин должен был бы остаться недоволен, что не к месту подошел Шалдеев; но он не очень любил чувствительные разговоры, в которые уже впадала Антонина Владимировна. И потому даже обрадовался.

— Водочки,— забормотал он,— ты с нами должен водочки выпить.

— Могу. Давай.

И правда, Шалдеев лихим наскоком выпил две рюмки и на повторный вопрос Антонины Владимировны снова мотнул головой и, глядя прямо на нее косоватыми, голубыми глазами, ответил:

— Чистая дружба между мужчиной и женщиной,— значит, через год дитенка будете пеленать. Это и есть чистая дружба.

Шалдеев выпил еще и пришел в возбужденно-ораторское настроение. Он гремел о детях, об искусстве и мудрости.

— Кем мир будет спасен? Вы с Петькой станете его спасать? Или ваша дура, девственница? Мир спасут дети, и кто на детей похож. Это Христос сказал. А если Христа не понимаете, значит, вы дрянь. Искусство! Напишет пейзажик, либо портрет — в рамочку, и сейчас на выставку. А уж там он известный художник, академик! Нет, ты сделайся, как дитя, и чтобы у тебя глаза раскрылись, чтобы ты такое увидел, чего никто не видит,— вот тогда ты мир спасешь.

— Увидеть, чего не видят другие, нельзя,— заметил мсье Фомин.— Или это значит, ты болен, у тебя галлюцинация.

Шалдеев рассердился, стал очень наседать на мсье Фомина: бранил его и все приближал к его лицу голубые глаза, в которых временами, правда, проносилось безумие.

Антонина Владимировна плохо его понимала, но нельзя сказать, чтобы он ей был неприятен. Все же мсье Фомин больше нравился, напоминая ангелочка в чистейшем оригинале.

Было уже два, когда они тронулись. Шалдеев философствовал и в передней, а когда вышли на улицу, поднял воротник осеннего пальто и, крепко надвинув шляпу, зашагал по Тверскому бульвару. С собеседниками едва простился, особенно с мсье Фоминым.

Собеседники под ручку направились к Бронной. Антонина Владимировна была теперь уже уверена, что затронула сердце мсье Фомина. Как всегда бывало с ней в этих случаях, она внутренно закипала и млела. Он же помалкивал и только насмешливо хмыкнул по поводу товарища.

Швейцара в поъезде у них не полагалось. Они взбирались по довольно грязной лестнице; пахло сыростью и копотью лампочек, висевших на поворотах маршей. Взойдя наверх, Антонина Владимировна американским ключом отворила дверь, и они оказались в темной прихожей. Мсье Фомин снял пальто, помог раздеться и Антонине Владимировне, а потом обнял ее и стал очень решительно целовать в губы.

Такого маневра она не ждала. Предварительно следовало не раз поговорить о дружбе, возможности вечной любви, о свойствах любви мужской и женской, и о преимуществах последней. Вело это, разумеется, к одному. И хотя она изумилась,— но ее изумление было приятное, а сопротивление, по доброте сердца, краткое и слабое.

Г-жа Переверзева в это время совершенно честно спала в комнате рядом.

IV

Позиция мсье Фомина в доме весьма укрепилась. Довольно быстро, неизвестно каким путем, и прислуга, и даже мастерицы почувствовали, что он стал не просто студентик-жилец, а *барин*. Теперь сама Антонина Владимировна следила, чтобы ему вовремя убирали комнату, чистили платье, чтобы кофе по утрам был хорош. Как всегда случалось с ней, она помолодела, воодушевилась, и еще лучше спорилась у ней работа. Крошки и содержаночки были вполне довольны. Ее же главная жизненная радость заключалась теперь в том, чтобы хорошо жилось мсье Фомину, чтобы он ее любил, как была влюблена в него она, и чтобы ни в коем случае не заглядывался на других женщин,— иначе, на ее языке, это была бы «эксплуатация труда честной девушки». Неудобно, в этом отношении, оказывалось соседство мастерской, где процветали разные Аксюши, Леночки; но Антонина Владимировна полагала, что не может мсье Фомин, человек интеллигентный, предпочесть ее какой-нибудь девице, которая, пожалуй, и не знает, возможна ли чистая дружба между мужчиной и женщиной.

Почуяла перемену и г-жа Переверзева; и хотя фактов ясных не имела, все же у нее явился слегка обиженный тон; конечно, была она строгой девственницей, все же казалось странным, что успех имеет Антонина Владимировна, а не она. Она, без-

условно, красивей. Правда, у Антонины Владимировны шляпы. Безусловно, все из-за шляп. И хотя мсье Фомин ничего ей дурного не сделал, но и к нему шевельнулось недоброе чувство. Когда, розовый, заспанный, ходил он через всю квартиру умываться, с полотенцем на плече, она, встречаясь с ним, думала: «Несомненно, чистюля. Но все это не может кончиться добром».

Свой пророческий дар пришлось ей применить однажды и в конторе. Одному сослуживцу, желчному г-ну Андрюшину, некогда бывшему в университете, она раз сказала, когда он к ней придрался:

— У вас такой характер, господин Андрюшин, что смотрите, как бы начальство не обратило на вас внимание. Я уверена — это так и будет.

Через несколько дней, за ошибку в записывании накладных, Андрюшин действительно получил нагоняй. Очень раздраженный, проходя мимо нее, он сказал:

— Напророчила, унылая Кассандра!

Г-жа Переверзева сделала вид, что не обращает внимания, но слышала. Ее задели непонятные слова: что это за унылая Кассандра? На другой день она обращалась кое к кому из товарищей. Слова «Кассандра» никто не знал. Она обеспокоилась. Может быть, это еще оскорбление? Пусть не думает, она одинокая, но честная, и сумеет защитить себя. К Антонине Владимировне она не направилась,— слишком очевидно, что не знает. Но мсье Фомин? Он «универсант», сдает разные репетиции, зачеты, неужто и он не знает?

Выбрав время, когда он был дома, г-жа Переверзева учтиво и с таким видом, что она *не за чем-нибудь*, а за делом адресуется к университету, постучала ему в дверь.

Мсье Фомин сидел на диване, который недавно поставила ему Антонина Владимировна, и читал «Синий журнал». В выражениях отменных г-жа Переверзева изложила ему, что ее тревожит незнакомое слово, и не будет ли он добра объяснить, что оно значит.

— Кассандра,— пробормотал мсье Фомин,— да. Это что-то мифологическое.

Г-жа Переверзева оживилась.

— Быть может,— мельком взглянула она на себя в зеркало,— это имя богини? Я ведь знаю, мифология — это все безусловно боги и богини.

— У меня товарищ есть, Сережка,— ответил мсье Фомин,— он на филологическом. Это такой фрукт, все ответит, что ни спроси. Самые трудные слова знает!

— Скажите пожалуйста! Несомненно, у него богатая память.

— Если бы по энциклопедии или по римскому праву, я бы мог... Там... разные сервитуты... а то надо Сережку спросить.

— Это было бы очень любезно с вашей стороны.

Она ушла от него с тем же значительным и горделивым видом, честно неся свое крепкое, начавшее уже грубеть тело. Под ее поступью поскрипывала шашка паркета.

Мсье Фомин остался в некоей задумчивости. Он размышлял теперь о том, что хорошо бы купить словарь иностранных слов. Встретилось незнакомое слово — посмотрел. Разумеется, еще лучше словарь энциклопедический, но об этом трудно и мечтать.

Если б Антонина Владимировна была знаменитостью, вроде Ламановой или Пантелеймоновой, она могла бы подарить ему не только словарь, но и нечто иное; скажем — студенческий мундир, дорогие запонки. Но разве этого дождешься? Держи карман! Всего он и получил вышитый мешочек для часов, с изображением сердца и стрелы.

Мсье Фомин отложил уж совсем «Синий журнал» и принялся размышлять о разных приятных вещах: как он кончит университет, женится на богатой, станет ездить на собственной лошади в правление мануфактуры, где большинство акций принадлежит жене. На стороне он будет содержать какую-нибудь девушку и навещать ее. Тут его мысли приняли несколько иное направление: конечно, Антонина Владимировна имеет свои достоинства, но, во-первых, не так уж она красива, а второе — возраст средний. В сущности, мастерица Леночка, семнадцати лет — куда интереснее.

Мсье Фомин закурил, и лицо его приняло мечтательно-блаженное выражение. Если б Антонина Владимировна видела его в эту минуту, то, несомненно, сочла бы за ангелочка в чистейшем оригинале. А если бы знала, о чем он думает, наверно изменила бы свое мнение.

На этот раз мсье Фомин не был особенно доволен, что зашел Шалдеев. «Опять ругаться будет»,— думал он, когда Шалдеев энергически потряс гривой, сел к столу и подпер руками голову. С усов он не смахнул несколько снежинок. Они растаяли, обратились в капли.

От Шалдеева пахло морозом, свежим воздухом. «Опять что-нибудь про детей заведет, про свое искусство». Но на этот раз Шалдеев сидел молча. Чтобы что-нибудь сказать, мсье Фомин спросил:

— Вот ты, как художник... Меня сегодня жилица спрашивает, что такое Кассандра. Ее так назвали. А у меня нет словаря иностранных слов. Помню — что-то мифологическое.

Шалдеев поднял голову и поглядел на него косо поставленными глазами:

— Это какая жилица? Черная?

— У нас только одна и есть.

— Ты разве тоже комнаты сдаешь?

— Нет... я просто так... выразился.

Шалдеев минуту помолчал.

— Скажи ей, что это значит — ведьма.

— Уж ты придумаешь. И невежливо, да она на ведьму и не похожа.

— Не хочешь, так и не говори.

Опять помолчали.

— Послушай,— грохнул вдруг Шалдеев,— дай мне до понедельника трояк.

— То есть три рубля?

— Трояк.

Мсье Фомин несколько замялся:

— Видишь ли, я бы с удовольствием, но сейчас... такое время, у самого мало.

— Как мало? — Шалдеев оглянулся.— Ну, это ты мне не рассказывай. Не хочу, мол, дать. Чтобы у тебя трояка не было! Ты тут котом пристроился, сдаешь комнаты, шляпами торгуешь.

Мсье Фомин заволновался:

— Это уж черт знает что. Пришел в гости, да еще дерзости говорит. Прямо свинство! Ты вообще стал зазнаваться.

— Наше дело простое. Встали и ушли.

Шалдеев поднялся и, конечно, ушел бы, но как раз отворилась дверь, и появилась Антонина Владимировна. Ей показалось, что г-жа Переверзева все еще беседует с мсье Фоминым, и это начало уже ее волновать. Шалдеева она не ожидала встретить.

— А,— Шалдеев посмягчился,— вот и хозяюшка, добрая душа. А мы тут с Петькой было поругались.

Антонина Владимировна сделала удивленное лицо:

— Из-за чего же с ним ругаться? У Петра Иваныча в высшей степени деликатный характер. Я даже изумляюсь.

— Вот он розовый,— Шалдеев забрал в пригоршню всю свою бороду, остановившись посреди комнаты и слегка расставив ноги,— розовый, точно херувим. А попроси у него на два дня трояк, когда вот как нужно,— он полоснул себя рукой по горлу,— не даст. Нету, говорит. И все врет.

— Ах, какие выражения! Вероятно, у Петра Иваныча в данный момент нету... Но почему же не обратиться тогда ко мне?

— Я и разговаривать с ним не хочу,— пробурчал мсье Фомин.— Пришел в гости, да еще дерзости говорит.

Шалдеев, постукивая каблучками, как козел на копытцах, вышел в коридор, Антонина Владимировна за ним. Она была несколько смущена. Неприятно, что нехорошо отнеслись к Петру Иванычу, но то, что Шалдеев не получил несчастных трех рублей,— тоже не радовало. Как хозяйка и добрая женщина, Антонина Владимировна считала, что и сама она частью ответственна.

— Мсье Шалдеев, может быть, вы зайдете на минуту ко мне?

Она отворила дверь в свою комнату. Тут стояла огромная постель, над ней висели разные поэтические карточки, веерочки, искусственные цветы. В углу граммофон. Над ним раскрашенная фотография: вид Ялты и крымских гор.

— Мне так неприятно,— начала она, стесняясь,— во всяком разе, если Петр Иваныч отказал вам, то лишь потому, что у него не было наличных. И вы его неправильно понимаете. Так что позвольте предложить вам... ну, взамен Петра Иваныча, те деньги, которые...

Шалдеев взял ее руку и поцеловал:

— Добрая душа. Вижу. Ценю.

Антонина Владимировна несколько застыдилась и покраснела. Шалдеев все не выпускал ее руки, гладил и опять поцеловал...

Зеленую бумажку он спрятал с равнодушием, сел в кресло и завел разговор. Снова это было об искусстве, фресковой живописи, которую он намеревался возродить, о Мадонне, Христе и наивности детей. Он разгорячился. Слушательница понимала одну десятую, но его тон заражал. Ей казалось, что это, правда, необыкновенный человек, который через десять лет прогремит на всю Россию. Шалдеев уверял, что она будет гордиться, что была с ним знакома, дала взаймы три рубля, пожимала руку.

Он не казался ей хвастуном; в его голосе, несколько безумных глазах было нечто, производившее действительно впечатление.

Они расстались довольные друг другом. Антонина Владимировна звала его к себе; он милостиво обещал. Потом надел широкополую шляпу, и с трехрублевкой у сердца, с душой, полной туманных бредов, зашагал по Бронным. Земля казалась ему недостаточно почтительной и слишком грубой для поступи его, преемника великого Веласкеца.

V

Кроме того, что мсье Фомин был *чистюля*, он и вообще отличался аккуратностью. Мало пропускал лекций, за профессорами записывал, садился ближе к кафедре. Ловко причесы-

вался, был опрятно одет. В карты он не играл, и у него не было товарищей, которые слоняются по Козихам гурьбами, заполоняют калошами переднюю, а комнату — табачным дымом.

Если уж он обещал г-же Переверзевой узнать, что значит незнакомое слово, то действительно узнал, у себя же в университете, от того самого гениального Сережки, которому все на свете известно и который гнездился тоже вблизи Латинского квартала. Мало того, что спросил,— мсье Фомин записал ответ на бумажку следующим образом: «Кассандра — дочь Приама и Гекубы. Она получила от Аполлона дар предсказывать будущее, но не сдержала слова, данного Богу, и он, из мести, пустил о ней молву, что она безумная, так что никто не верил ее прорицаниям».

Придя домой, он передал эту бумажку г-же Переверзевой. Она благодарила в изысканных выражениях и осталась очень довольна. Правда, было неизвестно, кто такие Приам и Гекуба, но вряд ли они плохие люди, это сразу чувствуется. Затем, сама Кассандра,— если и не богиня, то около того, и главное: она предсказывала правду, а ее считали безумной. «Это безусловно про меня! — подумала г-жа Переверзева.— Я даже удивляюсь, что Андрюшин мог так удачно сказать!»

Она взглянула на себя в зеркало. Конечно, в ее наружности есть нечто трагическое. Черные волосы, большие черные глаза — именно это было у Кассандры.

Подумать только: всем говоришь о будущем правду, а тебя считают дурочкой.

Г-жа Переверзева не могла не поделиться впечатлениями с Антониной Владимировной.

Та как раз в эту минуту провожала одну из своих заказчиц-содержаночек.

— Знаю, знаю,— она любезно улыбалась,— ваш зять из себя будет поциничнее, то есть добродушней. Очень хорошо помню.

Дама несколько удивленно на нее взглянула, улыбнулась и вышла.

— Крошка,— обратилась она к г-же Переверзевой,— вы ко мне?

— О, это не так важно. Пустячок. Но в передней, несомненно, неудобно разговаривать.

Антонина Владимировна вошла к ней в комнату:

— Что такое, милун?

Г-жа Переверзева слегка смутилась, даже как бы зарделась:

— Нет, это безусловно пустячок!

Слегка сбиваясь, она рассказала, как m-r Андрюшин назвал ее в раздражении Кассандрой, а оказалось, что это совсем не так плохо, и, в сущности, у нее есть с Кассандрой общее.

Антонина Владимировна глядела недоуменно, как бы виновато:

— Малютка, да я разве что-нибудь говорила?

— Нет, ничего дурного не говорили,— г-жа Переверзева очень благородно и с воодушевлением произнесла это,— но все же с недоверием относились к тому, что я предчувствовала. А вы должны сознаться,— я предсказывала верно.

— Крошка, вы говорили, например, что мсье Фомин картежник, преследует девушек...

Г-жа Переверзева погрозила пальцем, грубовато захохотала:

— А что, у вас с ним будут шуры-муры?

Тут немного смутилась Антонина Владимировна:

— Я вам повторяю: мы с Петром Иванычем в самых интимных отношениях.

Г-жа Переверзева хохотала, не стесняясь:

— Неисправима! Прямо неисправима.

— Малютка, если у вас, правда, такой дар, вы мне скажите лучше о господине Шалдееве. Знаете, это такой оригинал! И он говорит, что у него на ногах козлиные копытца.

Она вспомнила Шалдеева, засмеялась. Г-жа Переверзева, напротив, стала серьезна. Даже отчасти потемнела.

— Это наглец. Бесспорно. Он позволяет себе двусмысленные намеки.

— К нему нельзя же так относиться! Поймите, он художник! И утверждает, что через десять лет я буду гордиться, что дала ему три рубля и что была с ним знакома.

— Трех рублей он вам не вер-не-т!

— Крошка, вы бы послушали его! Я уверена, он бы вас увлек.

— У меня были ухажеры почище, но я, безусловно, всех отстранила. У мужчин одни намерения — овладеть нашим телом. А этот Шалдеев совсем не в моем вкусе. Грубый!

— Интересно знать, будет он знаменитым художником?

— У Метцля служит триста человек. И никто не слыхал его фамилии.

— Ребенок, он еще молод.

— Это будет жалкий мазилка. Живописец вывесок. Я понимаю: Клевер, Маковский... Хороший художник богат, у него свой дом. А этот занимает три рубля. Живописец вывесок!

Антонина Владимировна, видимо, не сочувствовала, но и не

стала возражать. О Шалдееве она составила свое мнение, и, каким бы оно ни было для другого, принадлежало оно именно ей, и она не собиралась от него отрекаться.

Она и сама хорошенько не понимала, но если бы пригляделась, то увидела бы, что тайный облик козла, гнездившийся в Шалдееве, также волновал и смущал ее.

Денег Шалдеев действительно не отдавал, но иногда заходил к ней; с мсье Фоминым почти не видался. Антонина Владимировна подкармливала его ватрушками, медом, очень вкусными печениями. Ему нравилось, что она смотрит на него, как на особенное существо, слушает внимательно, даже с почтением, малопонятные рассуждения.

Так что, в конце концов, остался недоволен мсье Фомин. Не то чтобы он ревновал. Но почему такое внимание к Шалдееву, ласковый тон?

Впрочем, сам он тоже подлежал укору — слишком часто в отсутствие Антонины Владимировны стал он наведываться к мастерицам и дарил молоденькой Леночке какие-то конфекты, гребенки, духи. Раз даже, тайком, был с нею в кинематографе,— разумеется, в дальнем квартале. Но за ним было то преимущество, что свои действия он обставлял тайной, и Антонина Владимировна ничего не подозревала.

А тем временем ее тревожило, что ее нежность, раньше направленная на мсье Фомина, точно стала двоиться: все чаще и занятнее вспоминала она о Шалдееве, он начинал ее волновать. «Ах,— думала она, ложась спать,— ну, ведь это как нехорошо и безнравственно! Прямо в высшей степени плохо! Разумеется, Петя очень тихий и деликатный, и это с моей стороны просто игра страстей, или женских прихотей!»

Несколько раз, примеряя шляпки со своими малютками, крошками и содержаночками, Антонина Владимировна подымала вопрос: может ли сердце женщины, принадлежа одному, откликаться и другому? Взгляды малюток разошлись. Некоторые, посмеиваясь, тоже говорили об игре страстей и прихотей; другие с гордостью отвергали; третьи признавали двойную любовь; четвертые считали, что можно втайне любить, но нельзя отдаться; были и такие, что допускали сколько угодно комбинаций, но эти составляли меньшинство, хуже всех платили по счетам и явно жили на содержании. Антонина Владимировна была любезна со всеми — как маэстро своего дела,— но в душе строго осуждала последнюю категорию, ибо *расчет нельзя примешивать к чувству.* На этом она стояла твердо.

Как бы то ни было, пока мужская честь мсье Фомина не терпела урона; и, надо думать, не потерпела бы, но, поддаваясь

человеческой слабости, он сам занес руку на Антонину Владимировну.

Это вышло весьма просто.

Мсье Фомин проявил большое упорство и скрытность в походе на ту Леночку, что жила у них мастерицей; он пустил в ход и духи, и несессер, и даже дешевый браслетик. Черненькая Леночка, наконец, сдалась. Но тут вмешалась судьба.

Накануне *этой самой* ночи г-жа Переверзева съела сверх меры гуся — жирного гуся с кухни Антонины Владимировны. Ночью гусь дал себя знать. Безусловно ничего не подозревая, часа в три она поднялась с постели и, надев туфли, накинув теплый платок, отправилась в дальний конец квартиры. Ей приходилось идти темным коридорчиком мимо комнатки, где спала Леночка с товаркой. На этот раз товарки не было — ее услали. Зато был мсье Фомин.

Г-жа Переверзева сразу сообразила, что тут неладно; и, довольная оборотом дела, решила подслушивать.

Все было бы сносно, если бы за минуту, у двери Антонины Владимировны, она не зацепила своей тяжкой ногой стула и не разбудила ее. Той как раз не спалось; она была в элегическом состоянии, что-то ей было неприятно; полежав немного, она встала и отправилась в комнату мсье Фомина. Постель его была смята, но пуста. Антонина Владимировна удивилась. Она зажгла свечку, и в недоумении вышла в прихожую. Тут ей попалась г-жа Переверзева. Глаза ее блестели. Она возвращалась, тяжело дыша, и имела торжествующий вид. Она успела о многом осведомиться, но не знала все же, что герой — мсье Фомин.

— Безусловно, ваши мастерицы распущены! Это разврат.

Как была, со свечой и в неполном туалете, Антонина Владимировна бросилась туда. О, жалобный и роковой скандал! Несомненно, был он подстроен богами-завистниками, и смутное предчувствие Кассандры, смуглой сорокалетней девы, не без волнения ложившейся сейчас в кровать,— ее предчувствие было нелживо.

VI

Конечно, действия мсье Фомина относительно Леночки не были лояльны. Негодованию Антонины Владимировны имелась причина. Это негодование приняло бурные формы — как там, на месте преступления, так и на другой, на третий и на четвертый день.

Мсье Фомин получил директиву — мгновенно убираться с квартиры, без суда, следствия и защиты.

От Леночки, напоминанием о ней, осталась одна кровать.

Да и ту скоро снесли на чердак. Мсье Фомин съехал на другой день. Он был очень недоволен, смущен; но, как юноша сообразительный, будущий юрист, быстро оправился, основавшись в соседнем переулке; и высчитал, что за полмесяца комната его оплачена вперед: пятнадцать рублей следует дополучить.

К Антонине Владимировне явился посыльный с письмом, где все это ясно излагалось.

Она имела довольно несчастный вид: лицо ее опухло, она дурно причесывалась, почти не болтала с крошками, а на мастериц раздражалась. Письмо еще подлило ей горечи. Она положила в конверт деньги, ни слова не написала и велела передать ему. Потом вышла в другую комнату и заплакала.

Вечером не удержалась — рассказала г-же Переверзевой. Сердцу нужно сочувствие.

Г-же Переверзевой вся история доставила большое удовольствие, и она не вполне умела это скрыть. Во-первых — сбылись ее предсказания насчет мсье Фомина. Второе — слишком много себе позволяла Антонина Владимировна, между тем она, г-жа Переверзева, была как стеклышко. Втайне она одобряла неудачу, но, понятно, в тот вечер высказала сочувствие.

— Безусловно, некрасиво с его стороны. Развратничать, и еще предъявлять требования.

— Милун, это прямо, прямо, эксплуатация труда честной девушки!

Г-жа Переверзева взглянула на нее слегка насмешливо.

— Хотя вы безусловно не девушка, все же с его стороны это неблагородно. Я бы, на вашем месте, не отдала ему этих денег.

— Крошка, у меня не такой характер. Не могу. Понятно, всякие бывают. Мне одна содержанка пять лет пятидесяти рублей не платила. Я сама у ней сколько раз была; представьте, живет великолепно, гостиная, знаете... не обои, а все гобельоны, гобельоны! Что вы думаете, пришлось судиться, не хотела ведь, платить! Ну а я не могу. Да я прямо в лицо ему готова швырнуть эти проклятые деньги!

— Так и вышло, что я была права! — заметила г-жа Переверзева с важностью.— Как я вам говорила, все и вышло. Но вы не верили. Несомненно, мне вообще мало верят и мало меня ценят. Правда, некоторые мужчины посягали на меня, делали разные намеки, но,— заключила она величественно,— я всех отвергла. У меня твердое сердце. У вас же слабое.

Антонина Владимировна почти уже успокоилась. Она отерла слезы и вздохнула:

— Ангел, понятно, слабое. На то мы и женщины. Но и так

сказать: вот вы живете, живете, к своему Метцлю ходите, а какая у вас радость?

— Зато меня не оскорбляет какой-нибудь грубый человек.

— Это уж что говорить: в отношении любви мужчины в высшей степени неделикатны. Все же, как без нее проживешь? Значит, крошка, нам так Господь велел. Как-то там и в Писании сказано: прилепится,— в этом роде, станет два во плоть едину. Это именно про нас.

— Писание давно писалось,— все так же резала г-жа Переверзева.— Мало ли что там написано. А я знаю, что нас может спасти лишь одна строгость с мужчинами.

Вдруг она оживилась, будто что вспомнила:

— Например, вы с этим невоспитанным человеком, Шалдеевым, мазилкой, разговариваете? Он у вас сидит часами, говорит чепуху, а вы слушаете и кормите его ватрушками. Отдал он вам три рубля?

— Милун, у него сейчас нет денег.

Г-жа Переверзева продолжала громить ее за Шалдеева, но Антонина Владимировна слушала менее внимательно, будто о чем-то вспоминала. Эти воспоминания не были неприятны. Не относились ли они к Шалдееву? Если бы г-жа Переверзева узнала об этом, она осталась бы весьма недовольна.

Потому ли, что не было денег, или по иным причинам, но в это время Шалдеев не заходил. Возможно — был он занят какой-нибудь гениальной фреской, по окончании которой вряд ли что осталось бы от разных Дуччио и Чимабуэ. Дела с чистописанием шли плохо; он ненавидел этот труд, пропускал уроки, грамматики не признавал. Выведя раз на доске слово *иний*, заставил девочек раз тридцать изобразить его. Зашла начальница, сделала замечание; он так ее обругал, что та отступила. Вообще, в гимназии его побаивались. Он бывал дерзок.

Все же к Антонине Владимировне через несколько дней зашел. За это время она уже успокоилась, была хоть и грустна, но покойнее и без раздражения.

— Хозяюшке поклон,— Шалдеев поцеловал ей даже руку. При этом заглянул в комнату мсье Фомина. Увидев, что пуста, удивился.

— Что ж это,— или Петька уехал?

Антонина Владимировна слегка смутилась:

— Ваш приятель оказался далеко не таким скромным... я вначале полагала...

— И полагать нечего,— Шалдеев стряхнул с бороды капли дождя.— Он хоть и тихий, а шельма. Так. Значит, комната пустует?

Антонина Владимировна подтвердила это. Шалдеев вошел за ней в комнату, потирая руки от холода, как всегда — косолапо ступая. Потом вдруг вытащил маленький кошелек зеленой кожи с обтертыми, посветлевшими краями и вынул трехрублевку.

— Это ваш бывший приятель,— он указал на помещение мсье Фомина,— не хотел мне трешки взаймы дать. А вы дали. И теперь — получаете обратно.

Он посидел немного, меньше обычного говорил, встал и опять вышел в бывшую комнату мсье Фомина. Вернувшись, решительно сказал и взял даже за руку Антонину Владимировну:

— Вот что, хозяюшка. Комнату я беру. У меня месяц выходит, а здесь лучше. Согласны?

Антонина Владимировна была довольна и протянула руку. Шалдеев не выпускал ее, и затем сказал строго:

— Насчет того, другого, третьего, чтобы ни-ни. Конечно, у вас мужа нет. Там, как хотите устраивайтесь, как угодно, но на стороне. Чтобы мне не мешать. Я это все отлично понимаю, дело обыкновенное. Ну,— мне некогда. Мне, милая, не до того. Я художник. Если бабами начнешь заниматься, далече не уйдешь. А нам путь немалый. Так я говорю, или нет?

Потом прибавил еще условие.

— Этой дубине,— он показал в направлении г-жи Переверзевой,— ко мне не заходить. Так чтобы и знала.

Антонина Владимировна захохотала:

— Ну, вы так резко, так ужасно резко всегда выражаетесь! Милун, надо быть добрее!

Она согласилась на все условия.

Как и тогда, в ноябре, при первом появлении мсье Фомина, и теперь она не могла скрыть новости от г-жи Переверзевой. Вечером она беседовала с ней. Обо всем рассказала — кроме последнего условия.

Г-жа Переверзева снова с важностью корила ее за легкомыслие. Но на этот день Антонина Владимировна окончательно пришла в хорошее расположение, и ее нельзя было из него выбить. Смеясь, она сказала г-же Переверзевой фразу, в которую не влагала плохого, но вышло плохо: «Ребенок, все нам пророчите, вы бы себе чего нагадали». Г-жа Переверзева не обратила внимания, и мало приняла к сердцу. Лишь вечером, когда ложилась спать, эта фраза выплыла. Выплыла и нагнала тоску. Правда, к чему ее строгость, честные нравы, девственность? Скоро будет ей сорок. А там пятьдесят, и все так же *безусловно* будешь ходить к Метцлю и смотреть, как другие «удовлетворяют своим прихотям».

Г-жа Переверзева вспомнила разные обиды в своей жизни. Как сестра всегда садилась на ее любимое место, у окна; как однажды ей наступили в трамвае на ногу и не извинились; наконец, как мало учтива прислуга Агаша. Скоро будет Святая. Помириться с сестрой, или нет? Опять неизвестно. Вообще жизнь темна и загадочна. И что бы ни говорили, но она, m-lle Переверзева, при всех ее честных качествах и достоинствах, при непризнанном даре предсказывать будущее,— несомненно, она-то и забыта.

Уже лежа, в темноте, г-жа Переверзева долго плакала — холодными, тяжелыми слезами. Они не облегчали ее.

Шалдеев переехал к ним очень скоро. В комнате, где мсье Фомин изучал римское право, запахло красками, скипидаром. На стенах висели картоны с набросками, в углу стоял портрет дамы монашеского облика. Были эскизы сангиной, темперой. Темперу Шалдеев любил. Как и великий Леонардо, полагал он, что существующие краски плохи; работал нал изобретением новых. И, с целью эпатировать хозяйку, заявил, что эти краски будет готовить на женском молоке.

Как и условились, с ней был он строг, требовал отношения почтительного: для Антонины Владимировны, впрочем, это не было трудно. Что же до г-жи Переверзевой, ее по-прежнему не выносил Шалдеев; встречаясь в коридоре и отойдя несколько шагов, плевал. На вопрос Антонины Владимировны, нравится ли ему г-жа Переверзева как женщина, ответил, что скорее полюбил бы собаку.

В таком сочетании встретили они весну, которая и в тот год пришла с обычным своим сиянием, нежными вздохами, голубизной апрельского неба. Застучали по мостовой подковы; обсох Тверской бульвар; у памятника Пушкину запестрели детские летучие шары. Вечером чаще стал выделяться Пушкин на фоне краснеющей весенней зари, при бледном газе фонарей, при зеленых искрах несущегося трама.

Днем у его подножия играют дети. Недалеко — продают цветы.

Мимо этого Пушкина шагал Шалдеев, отправляясь на уроки, мечтая о Париже, работе и славе Веласкеца. Ехала на трамвае «А» к своему Метцлю г-жа Переверзева. Антонина Владимировна спешила в магазин за отделками для крошек. И мсье Фомин, знавший из Пушкина лишь то, что приходилось читать на монументе, проходил тут. Ему предстояли экзамены. Значит, надо готовить шпаргалки, подписывать программы, вообще работы много.

Раз, в конце мая, Антонина Владимировна встретила его

здесь. Он шел быстро, видимо взволнованный, будто даже разговаривал с собою. Фуражка несколько съехала. Он был краснее, чем полагается. Это зависело от того, что на экзамене вышла неприятность. Его спросили, каковы функции Государственной Думы. Подумав, он ответил, что этого в программе нет. Профессор согласился. «Но вообще, вы знаете, чем занимается Дума?» Он молчал. «Неужели вы не читаете газет?» — спросили его. Он обиделся и повторил: в программе о Думе нет. А по газетам он не обязан отвечать. Теперь он шел и про себя бормотал: «По газетам гонят! Черт знает что!» Ему хотелось жаловаться.

«Эксплуататор,— подумала Антонина Владимировна с горечью.— Некрасивая личность!» Она решила, что на поклон не ответит. Но он взглянул рассеянно — не то не узнал, не то и ему не захотелось кланяться.

Она пришла в несколько мрачном настроении. Точно начинала ныть рана. Так продолжалось до средины дня. Тут зашла к ней одна крошка. Антонина Владимировна стала мерить ей шляпу, увлеклась и забыла.

— Ребенок,— говорила она,— вы в этой шляпе — ну, прямо содержаночка! Нужно еще вуаль. Синюю, с густотой. Знаете, женщина в вуали — как в романе.

А вечером явился Шалдеев, и ей стало казаться, что мсье Фомина никогда не было. То, что Шалдеев держался так строго и говорил непонятное, приводило ее в трепет. Она уже чувствовала, что влюблена. Это снова ее молодило, и она летала как на крыльях. Покупала ему печенье «пиу-пиу», варила какао и гоняла девчонку за папиросами «Зефир».

Г-жа Переверзева стала молчаливей. Она неизменно ездила к Метцлю; хранила чистоту, срезала прислугу Агашу; с Шалдеевым вовсе не говорила, сторонилась и Антонины Владимировны. Она все видела и понимала. «Безусловно,— говорила она себе,— из этого не выйдет ничего хорошего». И торжествовала.

1915

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДАМА

I

Выйдя из вагона, застегнув ватное пальто и вдохнув влажный, полный солнечного тумана воздух, Павел Иваныч подумал, что оделся неудачно: здесь уже весна, и он запоздал. Такие промахи случались с ним нередко; он старался относиться к ним философически и теперь тоже решил, что все-таки немолод, и может надеть теплое.

В этом рассуждении верно определялся его возраст. Голова полуседая, фигура несколько сутулая, в движениях неторопливость. Сразу чувствовался в нем провинциал — по обтертым петлям пальто, мятой касторовой шапочке, серому кашне, по калошам. И лицо было здоровое, не петербургское; голубоватые глаза глядели покойно.

У входа на него набросились комиссионеры, чуя жертву. Павел Иваныч давно не был в Петербурге, отелей не знал, и с равнодушием, заранее уверенный, что попадет не туда, куда надо, велел носильщику идти за портье, менее других ярившимся.

Человек в кепи и коричневом сюртуке, с величайшей преданностью и как бы готовностью душу свою положить, подсадил его в автобус. С этим поездом в отель пришелся он один. Другие являлись с более удобным.

Павел Иваныч сел, оперся на палку и смотрел перед собою в зеркало, отражавшее все, что происходило позади автомобиля. Зрелище довольно фантастическое! Пока катил автобус, в бледном серебре стекла́ трепетали, как-то неестественно убегая назад, улицы, площади, дома. Петербург проносился точно в обратном кинематографе. Сворачивали туда, сюда, и будто знакомое мелькало в этих видах, но все же Павел Иваныч, не отрывавшийся от зеркала, запутался, не очень соображал, куда именно заехали.

Остановились у большого отеля, новейшей постройки, с шикарным входом.

Мальчик в куртке с золотыми пуговицами поднял его на лифте в четвертый этаж, и по коридору с красным ковром,

мимо *салона*, где несколько джентльменов и дам писали письма, а другие джентльмены и дамы читали газеты, его провели в номер бледно-кофейного цвета; там, правда, было чисто. Официант с восторгом объяснил, что в умывальнике вода холодная и горячая.

— Понимаю, голубчик. Отлично.

А когда тот ушел, он стал раздеваться, чтобы чиститься, мыться, принять нужный для Петербурга облик.

II

Почти целый день был он занят по делам агрономического института, начальником которого его назначили. Лишь в пять часов освободился и зашел к Альберту, на углу Невского, где обедал еще студентом. Здесь все было, как и тогда, и очень отличалось от его отеля. Низкая обсиженная людьми зала, какой-то теплый запах, официанты средней руки — вид более поношенный и домашний. Павел Иваныч ел щи и во время этого занятия вспомнил, что должен еще выполнить в Петербурге следующее: повидать тетушку Оболешову, которая явно начала обижаться, что он невнимателен, и посетить барышню Лизу,— этой он сам приходился дядей, но почти ее не знал; она была московская, и он видел ее еще ребенком. В эту зиму Лиза захворала; ее отправили из Москвы, где занималась она босоножеством и разными артистическими делами, лечиться в Петербург. Тут появился доктор, очень хорошо работавший рентгеновскими лучами.

Эти визиты мало увлекали Павла Иваныча, но все же, оторвавшись от обеда, он добросовестно подошел к телефонной будке и стал звонить. Тетушки дома не оказалось. Лиза слабо сказала в трубку:

— Да, я. Дядя? Здравствуй!

Павел Иваныч пригласил ее в театр, нынче, на «Пиковую даму». Тем же тихим, вялым голосом она ответила, что сегодня не может, а уж пусть он зайдет завтра, часов в семь.

Павел Иваныч доел свой обед, честно расплатился и заехал домой. Все равно, и без Лизы решил он идти в театр, как истый, заезжий провинциал. Он успел еще немного подремать, потом надел сюртук, несколько тесный и не особенно сшитый,— изделие губернского маэстро — сверх него, через плечо, бинокль, и отправился в Мариинскую оперу.

Билеты оставались дорогие. Он замялся. Между тем, разобрали и эти. Пришлось заплатить барышнику — дороже, за худшее место. Зато приятно было, что времени вдоволь, некуда

торопиться. Павел Иваныч приезжал в театр весьма заранее. При неполном свете в зале он занял свое место и терпеливо ждал.

Все-таки через полчаса занавес подняли. Еще во время увертюры, когда первые ряды и ложи наполнялись публикой, довольно нарядной, он увидел в бенуаре худую, высокую даму, показавшуюся знакомой. Навел бинокль и разглядел: это и была тетушка Оболешова.

«Отлично,— подумал он,— выходит очень удобно. Зайду к ней в антракте, и, может, на Литейный вовсе не придется ездить».

Тетушку Оболешову не то чтобы он не любил, но стеснялся. Еще когда был студентом, мать сама свела его к Оболешовым и горячо наставляла бывать на журфиксах. «Кроме того, что это дом моей сестры,— говорила она,— ты встретишь там хорошее общество. Тебе необходимо навещать их».

Павел Иваныч ходил, но без восторга. Дом был довольно важный. Муж Маргариты, теперь покойный, Георгий Михайлыч служил в министерстве иностранных дел, был холеный, самоуверенный барин. У них собирались молодые дипломаты, офицеры, барышни, говорившие по-французски, жуткие старухи и важный профессор международного права, с лысой головой. Его все боялись. Бывали и приват-доценты, из бойких, похожие на молодых вице-губернаторов. Павел Иваныч всех там стеснялся, смущался и тетушки Маргариты; она его точно не замечала, иногда как бы срезала; вообще, держала на расстоянии.

И сейчас, прослушав два акта — они понравились ему по-новому,— Павел Иваныч с неудовольствием подумал, что, наверно, Маргарита перебьет ему хорошее чувство. Все же пошел.

Маргарита сидела в ложе одна, в темном платье с серым шелковым поясом, в небольшой шляпе. Когда отворилась дверца, она обернула назад длинное, худоватое лицо.

— А-а,— произнесла она, увидев несколько нескладную фигуру Павла Иваныча, и длинно протянула ему руку в белой перчатке,— вот, наконец, где встретились. Надо заметить, что ты, вообще, не особенно почитаешь тетку. Что? И хотя в Петербурге бываешь, но не удостаиваешь посещением. Ну, здравствуй. Садись. Надолго к нам из этой твоей — ну, как там называется губерния, где ты служишь?

Павел Иваныч назвал.

— Да, слыхала. А теперь тебя назначили директором, значит, тем более, а? Не согласен? Тем более оснований забывать немолодую тетку?

«Все такая же,— подумал Павел Иваныч,— я и не нужен ей нисколько, а сердится».

— Я редко в Петербург заезжаю и не надолго. Знаешь, все дела. Так что не думай, что я что-нибудь...

Маргарита усмехнулась.

— Извиняется. Ну, безразлично. Я, в конце концов, на тебя и не сержусь. Что поделать, независимая натура.

Если б дать ей ходу, она долго бы еще на разные лады доезжала его. Павел Иваныч знал это. Перебил он ее так:

— А я давно не слыхал «Пиковой дамы». Чрезвычайно мне нравится.

Маргарита засмеялась.

— А, ну конечно, поклонение искусству! Все так называемое искусство на провинциалах держится. Тут еще ваш этот — Художественный театр приезжает. Такие, как ты, ему славу создали.

— А сама все-таки идешь в театр.

— Именно — восторгаться искусством! Я, мой друг, хожу в театр со скуки, чтобы ты знал. Не думай, что я — сантиментальная деревенская фефёла. Но надо же куда-нибудь вечер девать? Впрочем,— прибавила она покойнее,— я Чайковского не осуждаю. Даже его слушаю.

«Это с твоей стороны очень любезно»,— подумал Павел Иваныч, но ничего не сказал.

— Только ведь имей в виду,— прибавила она,— что эта опера стариковская, Чайковский ее перед смертью написал, и тут очень хорошо рассказано про смерть; так что кто здоров и долго жить собирается, тому не надо на нее распускать уши.

— Ты говоришь таким тоном, будто снаряжаешь меня на тот свет.

Она захохотала.

— Ах, это глупо и хорошо. Снаряжаю его на тот свет! Меня это мало интересует, мой дорогой, эти самые проводы...

Но пока она болтала, занавес подняли.

— Оставайся здесь, будешь моим кавалером.

Павел Иваныч кивнул молча и взялся за бинокль. На сцене происходил бал. Шла знаменитая пастораль, Германн скитался в толпе, и отовсюду, из углов, за колоннами мерещились ему таинственные голоса: «Три карты, три карты!» В середине акта Павел Иваныч опустил бинокль, вздохнул и шепнул Маргарите:

— Плохо этому Германну придется!

Маргарита слегка фыркнула, а когда кончилось действие, обратилась к нему, блестя большими глазами, холодноватыми и насмешливыми.

— Ужасно ты добр. Прямо стиль рюсс, русачок, даже Германна пожалел. Да ты не горюй. Германна не было вовсе, это выдумка.

У Павла Иваныча вдруг пропало всякое стеснение с Маргаритой и, несмотря на ее насмешливые глаза, на то, что она ровесница его и тетка, ему представилось, что дразнится она зря, и не без тоски какой-то.

— Будет крыситься-то,— сказал он.— Напускаешь небось на себя?

Маргарита взглянула на него удивленно.

— Да ты осмелел что-то? А, чего?

И через несколько минут покосилась на его штиблеты.

— У вас в Тамбове все еще на резинках носят, с ушками?

Павел Иваныч рассматривал зал в бинокль и не взволновался.

— Меня, милая, не переделаешь. Извини, пожалуйста, что не такие ботинки.

В третьем действии явилась и сама Пиковая дама, в одиночестве. Когда, готовясь ко сну, запела она:

«Mon coeur, qui bat, qui bat, qui bat
Je ne sais pas pourquoi![1]» —

Маргарита нагнулась и шепнула Павлу Иванычу:

— Эта старуха на меня похожа, а?

Павел Иваныч обернулся, и его удивило, что в ее нервных глазах было сейчас что-то мучительное.

— Да? Все там будем? Как полагаешь?

Павел Иваныч вздохнул и покачал головой. Он все с большим вниманием и очарованием слушал эту вещь, видел смерть старухи и то, как она приходила к Германну, выдав тайну карт; когда у Зимней Канавки Германн убежал от Лизы в игорный дом, а она бросилась в воду, и тут же опустили занавес, Павел Иваныч вздохнул:

— Это прекрасная вещь!

Маргарита смолчала. Точно была она смущена, что и на нее опера производит впечатление.

Наконец, старуха отомстила. Из третьей карты во время игры выглянула она, и Германн свалился замертво. Хор игроков напутствовал его: «Сегодня ты, а завтра я!» Артисты выходили кланяться, с верхов орали гимназисты и студенты. Маргарита встала и, худая, слегка похрамывая, что придавало ей некую даже пикантность, направилась к выходу.

— Как бы то ни было, а послезавтра ко мне зайдешь, около пяти. Кой-кто будет; а? Ты не дичишься, как прежде?

---

[1] Мое сердце стучит, стучит, стучит, я не знаю почему! *(фр.)*

— Хорошо, зайду.

За Маргаритой приехала наемная каретка, в одну лошадь.

— Садись, я тебя подвезу. Как-никак, ты мне родной племянник.

Ночь была теплая, туманно-лунная. Шины шуршали по Морской, мимо посольств и важных особняков. На площади Николай картинно скакал на постаменте; Мариинский дворец был мертв. Мглисто золотился купол Исаакия и переливал лунной, слабой тенью.

Павел Иваныч слез, где надо, зашагал в свой блистательный отель. Улицы были пустынны. Облачна и задумчива луна. Свет ее, мреющий и ползучий, наливал собою все. Фонари зеленели.

III

Когда в семь вечера, на другой день, Павел Иваныч проезжал по Дворцовой площади, вся она была полна трепетным, краснеющим закатом. Глубоко синели тени на Зимнем дворце. По Миллионной золотились фонари. Переехав Мойку, извозчик остановился у огромной решетки старинного, массивного устройства. «Вот в какой крепости живет Лиза»,— подумал Павел Иваныч, слезая. Дом был большой, в виде покоя, тоже немолодой. Павла Иваныча оглядел сторож из будки и указал дверь направо. Надо было подняться на несколько ступеней и звонить в старый колокольчик с ручкой. Сбежала сверху горничная и удивленно взглянула на него, будто здесь совсем не принято, чтобы звонили, приходили.

Хотя Лиза сама назначила время, все-таки вышла как бы в недоумении. Павел Иваныч снял уже пальто и стоял в очень высокой передней, полной того же немеркнущего закатного огня. В квартире, видимо огромной и пустынной, было необыкновенно тихо.

— Это ты, дядя Паша? — спросила Лиза, глядя на него серьезно, не улыбаясь. Она была легонькая, худая девушка, довольно бледная. Протянув руку, поздоровалась и негромко прибавила: — Ну, пойдем ко мне.

Лиза пошла налево, по коридору, очень мягкой и плавной походкой. Видно было, что она танцует. Косы ее заложены кругами, белый воротничок, и платье коричневое, шелковой материи, как бы под старину.

«Уж тут, конечно, все на художественный лад»,— подумал Павел Иваныч, и ему показалось, что надо быть осторожнее.

Комната Лизы была большая и очень высокая. Огромные

окна выходили на двор, отгороженный от улицы решеткой. Павел Иваныч сел в кресло, в тень.

— Ты меня, пожалуй, и не помнишь. Ты была совсем маленькой девочкой, когда я привез тебе игрушку — огромного слона. Он, кажется, был даже выше тебя.

Лицо Лизы смутно освещалось закатом. Оно выражало сдержанность, некоторое любопытство: зачем пришел этот почти незнакомый человек? — и вместе вежливость, спокойствие. Но при последних словах она улыбнулась.

— Нет, слона я отлично помню,— ответила она тем же тихим и слабым голосом, каким говорила вчера в телефон,— и теперь тебя вспомнила очень ясно. А так бы не узнала, то есть на улице, например.

— Вот и хорошо, что слона вспомнила. А сейчас ты сидишь и думаешь: чего же это деревенский дядюшка явился? Пожалуй, опять слона привез?

Лиза засмеялась.

— Я этого не думаю.

— Говоря по правде, сам бы не догадался зайти, да и не знал, что ты тут. Меня жена направила. Получила вести, что ты больная, лечишься, и велела сходить. Ну, что ж мне дома про тебя сказать?

Лиза наклонила голову, как бы выражая благодарность.

— Ничего, скажи — хожу два раза в неделю, и меня рентгеновскими лучами светят.

— И тебе лучше?

— Будто бы лучше.

— Ты, значит, тут одна и живешь...

Павел Иваныч оглядел комнату. Откуда-то, издали, доносились экзерсисы, разыгрываемые на рояле.

— Что же ты делаешь в Петербурге?

— Ничего. Бальзака читаю. Тут в квартире одни старики, мы только вместе обедаем. Здесь дедушка мой живет, он заведует капеллой. Целый день его нет, а я одна.

— Жаль, что ты вчера со мной в театр не собралась. Шла «Пиковая дама». Превосходная вещь.

— Я тоже жалею,— тихо ответила Лиза,— да вчера мне нездоровилось. У меня все-таки жар иногда бывает. Впрочем, как раз вчера вечером я тоже слушала хорошее пение. Дедушка устраивал большую спевку. Это через две стены, а слышно. Я лежала на кровати, они пели. Очень славно. И все божественное. Очень все божественное пели.

— Ты тут как монастырка живешь, в монастыре.

— Нет, не то, что монастырь, а это ужасно старый дом,

даже отчасти таинственный, по-моему. Мне иногда кажется, что точно дворец, где Павла убили.

Павел Иваныч улыбнулся.

— А это уж у тебя, как у такой... ну, художественной девушки, романтическое воображение. Хотя, правда, дом ваш не из веселых.

Стало смеркаться. Лиза зажгла электричество.

— Мне все и говорят: то девушка модерн, то без корней, то романтическая... а я сама... не знаю, какая я. Тебе сколько лет, дядя? — неожиданно спросила она.

Павел Иваныч взглянул не без удивления.

— Под пятьдесят. А что?

— Мне двадцать четыре. Вдвое меньше.

При свете лампы под зеленым абажуром он рассмотрел две книжки. Одна была Бальзак, «История тринадцати». Другая, в серебристом картоне с бледно-желтым корешком — Гофмансталь, по-немецки. В книге была закладка. Отвернув, он увидел стихотворение, отмеченное карандашом: «Terzinen. Über Vergänglichkeit»[1].

— Это стихотворение тебе нравится? — спросил он и показал книжку.

Лиза кивнула головой.

— Я Гофмансталя так себе, а эти стихи люблю.

Павел Иваныч прочел.

— Терцины о проходимости. Ты, стало быть, меланхолическая...

— Теперь уж и меланхолическая!

Лицо Лизы, бледное, с нетемными глазами, выразило недовольство.

«Что это, правда, я ее донимаю»,— подумал Павел Иваныч. И захотел поправиться.

— Не удивляйся, что я так пристаю. Ты должна понимать, что для меня ты и тебе подобные — совсем неизвестное нечто, и, понятно, интересует. Вы новое поколение, молодость.

— Ты сейчас упрекать начнешь, что мы такие и сякие, что мы легкомысленны, устоев нет,— слабо вздохнула Лиза.— Старые люди всегда так. А я думаю, мы совершенно такие же, как и другие.

Но Павел Иваныч не собирался укорять. Напротив, со вниманием, благожелательностью расспрашивал о занятиях, жизни, подругах. Она рассказывала, тоже довольно свободно.

---

[1] «Терцины. О бренном» *(нем.)*

В Москве их целая ватага, все девушек, и там они танцуют в студии, под руководством устроительницы, тоже последовательницы Дункан. Она им сочиняет танцы. Выступают они и в Москве, иногда ездят в турне, за границу.

— Что ж, тебе хорошо там?

— Сначала было очень интересно, потом хуже.

— Почему?

— Разные неприятности.

— Но ты все-таки порядочно мест видела?

— Мы были в Мюнхене, в Лондоне. В Лондоне жили три недели, танцевали в варьете. Наша мадам поместила нас в отеле, мы как пансион жили, а вернее — как цирковая труппа. За одной нашей барышней негр ухаживал. Представь, дядя, англичане такие важные, а наши девицы высыпят к табльдоту, возня начинается, хохот. Англичане собирались на нас жаловаться — мы на улицу из окон кричали; вообще, было весело. А потом они привыкли. И даже нас полюбили. Решили, значит, что мы шалые. Так и стали относиться. Там один метрдотель был, он дарил нам шоколад и говорил: «Vous êtes très sympathiques, mesdemoiselles, mais fort tumultueuses»[1].

И Лиза, вспомнив веселое, рассмеялась.

— И ты шалила?

— Конечно. Но меньше других. Знаешь, одна моя подруга чуть было не удрала в Америку с американцем. Он все нас на автомобиле катал. Очень ей нравился. А потом она узнала, что у него свиные бойни. Как узнала, так и рассердилась. Она хорошая, но очень капризная. «Нет, свиные бойни — это гадость». Его отшила и нипочем не поехала. А я в этом Лондоне себе здоровье испортила. Потом поссорилась с мадам из-за танцев. И ушла от нее. Теперь вот поправляться надо.

Она опять стала кутаться в платок, и подобрала тонкие, крепкие ножки. Казалось, рассказ на минуту оживил ее, вызвал забавные воспоминания, но это лишь оттенило теперешнюю элегию.

— А потом и мои личные дела запутались.— И она уже замолчала совсем.

Видимо, была на распутье. Что-то не удалось, чем-то отчасти надломлена, а взять эту жизнь хочется; и даже честолюбие, наверно, есть.

«Конечно,— думал Павел Иваныч, глядя на нее,— невесело

---

[1] Вы очень симпатичны, барышни, но очень шумны *(фр)*.

отстраняться в двадцать четыре года. Это вполне понятно. И еще, пожалуй, роман какой-нибудь запутанный».

Опасаясь, что утомит ее, Павел Иваныч стал прощаться. Лиза не удерживала, но была приветлива, так что казалось, он ей не неприятен. Павел Иваныч пригласил ее к себе в отель завтракать, на следующий день.

Проводив его до передней, Лиза вернулась, и села писать в Москву по тому самому поводу, как он и предполагал. Действительно, был у нее там роман с женатым, и они оба ничего не понимали, мучились, изводились, ни на чем не могли решить.

Письмо это она писала с час. Затем расстроилась, полчаса плакала. А потом села читать Бальзака.

IV

Выйдя от Лизы, Павел Иваныч взял извозчика и поехал к себе в отель.

Отель его сиял. Снова портье козыряли у входа, снова получил он свой ключ, и мальчик, непрестанно носившийся вверх и вниз на лифте, поднял его в соответственный этаж. По красному ковру проследовал он в свой кофейный номер. Он зажег электричество. На небольшом столике лежала реклама мыла. Больше ничего. В ярком, блистательном свете зеркал, в безукоризненном умывальнике, светлой мебели, во всем были чистота и тот холод, когда не хочется ни сесть за этот стол, ни умыться из умывальника о двух водах.

Павел Иваныч почувствовал, что ложиться рано; вынул часы — половина десятого. Ему стало вдруг ужасно скучно. «Вот эти проклятые гостиницы. Лучше уж в каком угодно домишке остановиться, только не в таких...» Он даже не договорил от неудовольствия. Заперев дверь, побродил по коридору, зашел в *салон,* где бегали какие-то дети, и поднялся в верхний этаж. Там находился ресторан и *зимний сад.* Все это — белое, в австрийском вкусе. Павел Иваныч прошел в зимний сад. Тут устроили подобие оранжереи, с покатой стеклянной крышей, с цветами. По углам вазы. Зеленоватый ковер устилал эту австрийскую роскошь, и стояли легкие, белые стулья. Предполагалось, что всегда здесь лето.

Он сел на плетеный диванчик. Сквозь стекло крыши виднелось небо. К удивлению Петербурга и марта, выступили на нем даже звезды.

Раздражение ушло, он задумался. Все необычайно быстро меняется! Не успел оглянуться, появились новые люди, новые

вкусы, иные манеры, одежда, обстановка. «Вот и Европа к нам пришла, и мы кажемся косолапыми медведями.— Он взглянул на свои штиблеты.— Ну, разве можно в ботинках на ластике сидеть в этаком зимнем саду? Неприлично же. *Это не у нас, в Тамбове»*.

Признав себя вполне скромным существом, он отправился в номер, где рано или поздно следовало же лечь спать. Там, раздеваясь, как бы внутренне извинился он перед кем-то за неполный блеск туалета. В постели взялся за Толстого, посмертные произведения. Этот писатель доставил ему радость. С ним он входил в крепкое, здоровое, простое — и очень крупное. «Если и Толстой любил так жизнь,— думал он, потушив свет и укрывшись на ночь,— то чего же удивляться на Германна, на нашу Лизу, да и на меня? Еще хорошо в Толстом то, что у него была такая связь с землей, с деревней». Потом опять вспомнил Лизу, Маргариту, и это показалось необыкновенно далеким от Толстого. Стал думать о том, как Толстой решал вопрос о смерти, но не додумал, и заснул.

Спал, однако, далеко не столь прекрасно. Пиковой дамы не видел,— нельзя сказать, чтобы он был склонен к призракам,— но часов около четырех приснилось ему тяжелое. Он даже всхлипнул. Проснулся — было темно, очень стучало, болело сердце и шумело в висках. Сердцебиение действовало неприятно. Неприятно было и чужое место, какая-то удивительная пустынность этого отеля, населенного сотнями людей. Павел Иваныч не был особенно мнителен, или нервен; но у него защемило в груди от сознания одиночества, что нет своих, семьи, жены. «Да, нехорошо. Хватит в этаком заведении, и живой души не сыщешь». Он зажег свет, полежал несколько. Боль в сердце была явная, что-то мешало дышать, и все хотелось вздохнуть поглубже. Он отворил форточку, помочил грудь водой. Стало легче.

«И нечего распускаться, чепуха это все». Потушил свет и перевернулся на другой бок. От свежего воздуха действительно стало легче. Он с улыбкой и некоторой нежностью вспомнил жену, которая так гордилась его новым назначением, и сейчас так взволновалась бы, что ему плохо. «Есть такой взгляд,— улыбнулся он,— что кто всю жизнь любит одну женщину, тот ограниченный человек. Это прямо про меня. Ну, ладно. Какой уж есть». Успокоившись на своей ограниченности, он отлично заснул при свежем воздухе из форточки.

Проснулся поздно — это редко с ним случалось, и тотчас вспомнил, что нынче завтракает у него Лиза.

Затруднений с этим не вышло. Он успел до завтрака сходить

на Невский за покупками. И в половине первого сидел уже в *салоне*, читал газету и ждал.

Лиза не опоздала. Она была не в том платье, как вчера,— наряднее, но так же бледна. Шла уверенно; было видно, что публикой, отелем, незнакомым местом ее не смутишь. Подымаясь на лифте в ресторан, Павел Иваныч спросил ее об этом.

— Да, конечно,— ответила она.— И тут нет ничего удивительного. Публика везде одна, и везде одинаковы эти гарсоны, кельнеры и разные иные существа.

Они сели за столиком в большой белой зале со сводчатым потолком; видимо, в ресторан обратили чердак; и теперь выходило похоже на столовую океанского парохода.

С юга косо било солнце, и весь зал сиял светом; были видны крыши города, трубы, над ними туманилось и над дымкой мглисто золотел купол Исаакия.

— Ты еще очень молода,— сказал Павел Иваныч,— но уж многое видала, много знаешь. Я вообще чувствую в тебе уголок другой жизни, которая мало мне известна, но появляется вокруг. Скажу даже так: эта культура, более тонкая и изящная, меня интересует.

Лиза улыбнулась.

— Не преувеличивай, дядя. Ты мало знаешь наш круг. Ну, и кое-что могло казаться странным. В конце же концов...— Лиза слегка вздохнула и продолжала с некоторой грустью,— везде одно, то есть в самом основном одно. Только в другой одежде. Может быть, мы послабей, пораспущенней, право, не знаю.

Павел Иваныч спокойно ей возразил следующим образом:

— Преувеличивать не хочу. Но не буду замалчивать, что вижу. И, насколько понимаю, вы, то есть ты и тебе подобные,— детища столицы. Это и потоньше средней жизни, и поболезненней. Ты, наверно, деревни не любишь?

Лиза немного замялась.

— Пожалуй.

— Понятно. Ты — столичная птица. Хотя Москва — и добрая столица.

— Я мало знаю деревню. Говорят,— родина. Но где она? Я почти не видела этой огромной России, которая так много места занимает на карте. Вся моя жизнь — среди мне подобных, без роду-племени. Мы всегда в центрах, всегда на подмостках, в Мюнхене, Лондоне, Москве. Иногда мне тоже кажется: будто в питомнике каком-то.

Павел Иваныч склонил голову.

— А я жил совершенно по-другому. Таких, как ты, почти

не видел, но и тебе мало известны люди моего рода. Хотя я уверен — ты заранее готова относиться ко мне сверху вниз.

Лиза покачала головой отрицательно.

— Неправда. Я только не люблю, когда в провинции в карты дуются.

— Этого я сам не люблю. И не играю.

— Все же, какой ты — я не умею хорошенько определить.— Лиза улыбнулась, а потом откровенно рассмеялась. Что-то ребячье показалось в ее усталом лице.

— Вот, и подняла на смех старика.— Павел Иваныч тоже улыбался.

— Ничего не на смех. Знаешь, ты на кого похож, я думаю? На садовода. Я никогда садоводов не видела, но представляю себе их вроде тебя. Только ведь, конечно, ученых... Которые что-нибудь особенное выводят, редкие породы...

— Ну, видишь, кусочек, значит, и ухватила. Как раз садами я мало занимался, но все же у тебя есть глаз.

— А в клубе ты тоже не бываешь?

— Редко. Да зачем это?

Лиза потребовала — если вчера она рассказывала, нынче он должен говорить.

— Что ж мне такое говорить? — спрашивал Павел Иваныч.— Я всю жизнь с землей возился.

— Ну, как именно возился.

— Впрочем, шляться приходилось порядочно. Да все по глухим местам. Но я люблю. Мне приходилось исследовать почвы. Я бывал в степях, у хохлов, калмыков, на Кавказе. И за границей работал. Тут хорошо то, что всегда на воздухе, с природой. Экскурсии... вроде экспедиций.

— Как же называется твоя наука?

— Почвоведение.

— Никогда не слыхала.

Павел Иваныч налил ей вина.

— И не могла слыхать. А вот, люди занимаются и этим. В нашей области тоже есть светила, знаменитости, открытия.

— И ты сделал какое-нибудь открытие?

— Ну, как сказать... Америки не открывал, а кое-что работал, самостоятельно. Из-за этого пришлось по Испании бродить. Там я собирал образцы почв. Всегда мне казалось, что между Испанией и нашим Кавказом есть родственное. Было приятно, когда это подтвердилось.

Лиза слушала внимательно. Она его даже подталкивала, задавала вопросы. Под ее давлением Павел Иваныч рассказал, как с мешком за спиной, куда клал образцы земель, ходил у

португальской границы, и жандармы приняли его за контрабандиста.

— Знаешь, в горах крохотная станция. Помню, солнце садилось. Меня привели, будто подсудимого. Горы там пустые, дикие. Крестьяне собрались, разный простой народ, женщины. Думали, я — невесть что. Вот и можешь себе представить, какой смех поднялся, когда увидели, что я натаскал у них разных камешков, комьев глины. Никак нельзя было объяснить этим людям, что и их земля кому-то интересна. Думаю, так они и не поверили. Наверное, решили, что я полоумный. Помню, я тут же подружился с двумя парнями, и мы отправились в таверну вспрыснуть дружбу.

— Да, на тебе есть отпечаток здоровой жизни,— заметила вдруг Лиза.— Ты очень не похож на здешних.

— Здесь я чужой.

Лиза некоторое время слушала молча, и задумалась.

— Ты недавно говорил, что я склонна смотреть на тебя сверху вниз. Это ужасно неправда. Напротив. Я во многом даже завидую, как ты жил.

— Зато,— ответил Павел Иваныч,— в вашей породе есть утонченность чувств, тонкость, нежность. Для такого, как я, вы отчасти заморские, залетные птицы.

Лиза улыбнулась.

— Ну, это ты из вежливости. Какие мы заморские!

Между тем, солнце заметно склонялось. В его лучах белая зала стала золотисто розоветь. Вино сияло прощально. Павел Иваныч помнил, что сегодня должен зайти к Маргарите, и расплатился.

Перед тем как спускаться вниз, он завел Лизу в зимний сад. Она явно была в меланхолии. Равнодушно прошлась среди цветов, подошла к оранжерейному окну. Помолчав немного, обернулась и поглядела на Павла Иваныча слегка взволнованно.

— Пожелай, дядя, мне все-таки... получше жизни.

Затем прибавила:

— Ну как, ну как ее устроить!

Павел Иваныч взял ее руку и погладил своей.

— Желаю, от души. А устроить, это... знаешь...

V

Он завез Лизу на Мойку, где ждали ее неконченный Бальзак и стихи Гофмансталя, а сам поехал к Маргарите.

Уже давно жила Маргарита на Литейном, в доме, который знают все извозчики и петербуржцы, где гиганты украшают

фасад и где у всякого есть кто-нибудь знакомый или родственный.

Когда Павел Иваныч всходил по лестнице, несколько парадной, с сонным швейцаром и затхлым воздухом, последние краснеющие столбы солнца прорезали пространство и ложились на стене. В них протекала пыль из полумрака, сияющей тканью, как из былого выплывают точки, якобы забытые. Павел Иваныч вдруг ощутил себя студентом, робко взбирающимся на журфикс к красивой, молодой тетке, насмешливой и недоброй: идет он неизвестно зачем, чтобы покорно смущаться весь вечер, слушать остроты, разглагольствования важных стариков, молодых дипломатов и хлыщей, которые так говорят, будто лишь они и есть на белом свете. Им в pendant[1] свежепромытые, стрекочущие дамы в очень ловких прическах и со словами, готовыми на все случаи жизни.

Несколько задохнувшись, хотя взошел всего во второй этаж, Павел Иваныч позвонил. «Три карты, три карты! — вспомнил он вдруг, и ему стало почти смешно.— Почему это я вспомнил? Неужели Маргарита, правда, похожа на Пиковую даму?» Уже раздеваясь в передней, он еще раз про себя посмеялся: конечно, она сама себя назвала в театре Пиковой дамой, но как обозлилась бы, если б он ее так окрестил!

Маргарита сидела в небольшой столовой, за чайным прибором с печеньями, вареньем, хрустальным графинчиком коньяку. Сбоку на столике самовар. Кроме нее были только молодой человек и пожилая, грубоватого вида дама. Маргарита быстро на него взглянула.

— А-а, явился. Я была уверена, что обманешь. Что? А мы тут en petit comité[2], как выражаются дамы из Орла. Говорят, орловские дамы имеют особые аллюры. Господа, знакомьтесь. Это мой племянник, ученый по деревенской части, что-то там насчет нашей матушки-земли. Туркестанова, Поздюнин.

Павел Иваныч поздоровался, сел.

— Я не княгиня Туркестанова, а просто Туркестанова,— сказала ему грубоватая дама.— Есть ведь княгиня Туркестанова.

Павел Иваныч слегка развел руками, как бы выражая сожаление.

— Это ничего,— заметил он.— Я вас и не подозревал ни в чем.

Маргарита и молодой Поздюнин захохотали.

---

[1] пáру *(фр).*

[2] в тесном кругу *(фр.).*

— Ты вообще стал смелей и толковей с тех пор, как тебя произвели в генералы.

Павел Иваныч улыбнулся.

— Когда я подымался сюда по лестнице, то мгновенно мне вспомнилось время студенчества. Как я ходил к тебе на журфиксы. Тогда, правда, я был очень бестолков от робости. Я выражался нескладно. Помню, например, от конфуза сказал вместо «в отношении торговли» — «в торговом отношении» — и страдал жестоко. Ты, Маргарита, немало меня изводила. А покойный Георгий Михайлович был снисходительней. Но с тех пор я, действительно, осмелел, хотя и не от генеральства. Я теперь редко смущаюсь, почти не краснею.

Туркестанова взглянула на него сбоку.

— Да ведь вы не так уж молоды, извините меня, чтобы краснеть? Я-то, по правде, этих нежностей никогда не одобряла, ну, конечно, у барышень... Мне Господь Наденьку послал, не в меня, очевидно,— вспыхивает, как жар. Это все нежности, по-моему.

Аккуратный молодой человек Поздюнин возразил:

— Тут дело не в нежности, а в *нервности*, середина слова не та. Врачи объясняют это игрой вазомоторов.

Туркестанова взглянула на него строго.

— Какие там еще вазомоторы!

Он будто собирался ее дразнить, но вмешалась Маргарита.

— Мой добрый племянник,— она слегка кривила рот,— вспоминает столь далекое время, когда мы с ним были молоды и, значит, могли еще краснеть.

Туркестанова тряхнула головой в наколке.

— Да, да, понимаю. При жизни Георгия Михайловича. А уж он сколько умер? Лет восемь?

— Восемь,— ответила Маргарита, как бы недовольно.

— Умница был покойник,— доложила Туркестанова,— да очень женщины избаловали. Хотите сердитесь, хотите нет, душа моя,— она обратилась к Маргарите,— а уж очень бабам нравился.

В глазах Маргариты что-то скользнуло, но она сдержалась.

— Мне самой он нравился, оттого я за него и вышла.

Поздюнин несколько сощурил глаза, в которых был холодок, и покосился на Туркестанову.

— Признавайтесь, Варвара Михайловна, сами были неравнодушны.

Туркестановой показалось это дерзостью. Она даже вспыхнула.

— Занеслись, милый мой. Орлом по поднебесью рыскаете.

Павел Иваныч взглянул на Маргариту. Тягостное томление

было в этом лице. Ему стало даже жаль ее. «Злобные они, это и плохо. Все они друг друга не любят, но зачем-то собираются, караулят, подсиживают». Ему сделалось скучно, той унылой скукой, как бывало во времена студенчества, здесь же. Правда, он теперь не смущался и знал, что если б его стали поддевать, задирать, он или совсем не обратил бы внимания, или дал бы такой отпор, что уж, наверно, никто бы не решился продолжать. Из некой учтивости к Маргарите, которой неприятно было направление разговора, Павел Иваныч попытался свернуть его на другое.

Известно, что для так называемых жителей столиц и для разных petits comités[1] самые подходящие разговоры — о театре. Тут разгораются страсти, но кипение их невинно, и в общем всем все равно; вряд ли можно очень расстроиться из-за преимуществ Собинова пред Смирновым, а оживление такие споры вносят.

Павел Иваныч напомнил все о той же «Пиковой даме», которая ему понравилась в Мариинском, и вызвал бучу. Налетела на него Туркестанова. Как нередко бывает с дамами горячими, некрепкого ума, она стала возражать не ему, а себе, своим мыслям, к которым «Пиковая дама» не имела отношения. По поводу Чайковского вспомнили Чехова, «Трех сестер», «нытье», и перешли на Художественный театр. По обычаю Петербурга, Художественному театру влетело. Теме этой даже обрадовались, она объединяла в дружности обвинений. Павлу Иваньгчу, человеку непосвященному, неясна была причина. Точно кто-то обидел этих людей, например, оклеветал их близких, родных. И вот они взволновались.

— Впрочем, господа, вы поосторожней,— сказала Маргарита.— Здесь добрый провинциал; разумеется, он за всех этих господ Станиславских, а? За евреев, кадетов? Недавно мне рассказывали — знаете? — об одном любителе этих жидовских искусств — у него над кроватью Милюков висит, как икона. Говорят, для большего либерализма он красное dessous[2] носит.

Маргарита засмеялась неприятным и, как Павлу Иванычу показалось, надорванным смехом. Что-то было в нем больное. Точно и не так смешно ей самой, и до Милюкова мало дела, и до того господина, что якобы носил пурпурные кальсоны. Но надо было нести роль остроумицы.

— Ты, мне кажется, какую-то чепуху рассказываешь, Мар-

---

[1] маленьких обществ *(фр)*.

[2] исподнее *(фр)*.

гарита,— остановил ее Павел Иваныч.— Например, выходит, будто Станиславский из евреев?

— Каков? А? Чепуху, мол, говоришь?

Маргарита совсем оживилась и будто даже забыла о неприятном разговоре про мужа.

— Это называется срезал, с толстовской прямотой. Понимаете, человек земли: явился, посмотрел и срезал.

Молодой Поздюнин, «будущий министр», с самого начала удививший Павла Иваныча необыкновенной размытостью кожи, гладко зачесанными на пробор волосами и таким выражением *удобных*, серых глаз, точно и они у него причесаны, возразил в том смысле, что хоть Станиславский не еврей — этого никто не утверждал,— но связь Художественного театра с интеллигенцией, а отсюда и еврейством — несомненна.

Павел Иваныч покачал головой и не стал спорить. Не потому, что считал свою позицию слабой, а просто не к чему было: не хотелось. Молодой человек понял. Быть может, принял за неучтивость, и замолчал сам. Впрочем, некогда было бы и спорить: пробило шесть. Туркестанова, шурша, встала. За ней поднялся и будущий министр.

Павел Иваныч тоже собирался трогаться. Маргарита удержала его.

— Погоди, подожди немного, жидо-кадет. Не хочешь ли со мной одной посидеть, а? Хотя бы в гостиной.

С уходом гостей Маргарита как бы ослабела; спустила тон, что-то усталое показалось в ней. Они перешли в гостиную. Тут было сумрачно, закат, красноватая мгла наполняла комнату. Топился камин. Маргарита не зажгла света, уселась к огню. Павел Иваныч тоже. Он закурил, пускал дым и смотрел, как он втягивается в камин.

— Ты почему захотела, чтобы я остался? — спросил он.

Маргарита сидела в кресле, несколько нахохлившись. Длинной ногой в лакированной туфельке, заложив ее на другую, она слегка покачивала у каминной решетки.

— Мне к тебе никакого дела нет. Если хочешь,— уходи.

Павел Иваныч смягчился.

— Да, конечно, дела нет. Я и не думал, что дело.

Маргарита помолчала. Потом произнесла:

— У меня сегодня страшная тоска. Un accès de mélancolie[1]. Мне и не захотелось одной оставаться. У меня бывают такие приступы. А?

---

[1] Приступ меланхолии *(фр.)*.

— Это тяжело. Что же, часто случается?

— Я тогда бываю зла, как дьявол. А потом впадаю в изнеможение.

— Ты, пожалуй, очень себя разматываешь со всеми этими... твоими.

— Варвара — дрянь известная. Нашла время говорить. Завтра годовщина смерти Георгия.

Она опять помолчала. Вдруг замурлыкала:

Mon coeur, qui bat, qui bat, qui bat,
Je ne sais pas pourquoi[1]

Тут она язвительно, горько улыбнулась.

— Я не зря в театре назвала себя Пиковой дамой. Я действительно на нее похожа. Я вся погружена в прошлое,— прибавила она более сухо, с металлическим оттенком голоса.— Хотя мое прошлое было ужасно мучительно, а? — но я о нем думаю, и жду смерти. Таковы мои занятия.

— Если так, мне тебя жаль.

— Понятно, ты добрый человек, так и пожалеешь. Чтобы пожалеть La Dame de Pique[1], надо быть даже очень добрым?

— Не гаерствуй и не впадай в свой... странный тон.

— Я завидую людям,— сказала Маргарита,— которые, как ты, спокойно, хорошо чувствуют жизнь. А я не могу. В конце концов ты, действительно, не злой человек, и надо мной не посмеешься у себя в Тамбове, а? Или посмеешься? Нет, пожалуй, и не посмеешься. Я говорю тебе поэтому: мне ужасно скверно было жить. Варвара — дрянь, но она правду сказала: Георгия очень любили женщины. Он от меня все же не уходил. Но я его жестоко тиранила... ах, как тиранила! Себя тоже. Он мне изменял постоянно, это факт.

Она встала, прошлась немного, слегка прихрамывая, и потом опять остановилась у камина.

— Все эти страдания, бессонные ночи, одинокие вопли кажутся теперь кошмаром. А когда он умер, то и моя жизнь кончилась. Я могу жить только воспоминаниями. Вот почему я и обратилась в Пиковую даму.

Она с силой сжала спинку кресла, так что побелели пальцы, перевела дух и сказала глухо, направляясь к двери:

— Посиди тут пять минут, я приду.

Павел Иваныч остался. Закат почти угас, и в комнате трепетал только отблеск камина. Павел Иваныч осмотрелся. Все вокруг было давнишнее; мебель простояла много лет, самый воздух

---

[1] Пиковую даму *(фр).*

особенный, не то что затхлый, а как бы застоялся, проникся дыханием людей, вещей, всего, что шло здесь. Скорбный оттенок в нем чувствовался. «Больная жизнь,— подумал Павел Иваныч,— совсем больная».

Маргарита действительно вернулась скоро. Она вошла не особенно твердо. Когда приблизилась к камину, то в красноватом отсвете его Павел Иваныч увидел, что она гораздо бледнее и еще худее, чем была.

— Ты что это? Что с тобой?

Маргарита смотрела молча.

— Эфиром пахнет. От тебя, что ли?

Она не ответила. Он повторил:

— Конечно, эфиром.

Маргарита перевела на него огромные, вдруг ставшие тусклыми глаза.

— Ну, и эфиром,— произнесла она вяло.— Что же тут меня спасать? Взяла и понюхала, дело обыкновенное. А очень станет плохо, так и морфию приму.

Павел Иваныч молчал.

— Я ведь знаю, сколько надо принять...

VI

Хотя и лег рано, спал он плохо. Опять замирало сердце и какое-то тяжелое было самоощущение. «Слава Богу, последний день»,— думал он, одеваясь. Действительно, в Петербурге нечего было больше делать — он дал телеграмму домой о выезде.

Надев свой скромный дорожный двубортный пиджачок и в последний раз позавтракав в белом ресторане, Павел Иваныч около пяти был усажен многочисленной прислугой в автобус, роздал немало бенефиций, и с изрядной скоростью покатил на вокзал. Чемоданчик его был рыжеват и мало соответствовал автобусу; еще менее европейским был плед в ремнях — за всю жизнь так и не научился Павел Иваныч свертывать его, как следует.

Ему не удалось попасть на тот поезд, к которому мчал его шофер, и по простой причине: он не запасся билетом заранее. В отеле же этого не подозревали. Хотя и был он не в очень бодром настроении, но отнесся к неудаче с терпением. Через час шел другой поезд, bis, и в шесть Павел Иваныч тронулся, наконец, в купе второго класса, с перрона Николаевского вокзала.

Разные люди находились в вагоне — дамы, в одном отделении дети. Все это шумело, хлопотало, устраивалось и, как Павел Иваныч, тоже ехало далеко, более или менее в Россию. Были

тут учителя, возвращавшиеся в провинцию, врачи, помещицы, промышленные люди второго сорта. Все не шикарно одетое. Простенькая, ситцевая Россия.

Он вышел в коридор и стал у окна. Долго шли пути, рельсы, вагоны, кладбища, нефтяные баки, но настал момент, когда все это осталось сзади. За Колпиным есть место, где поезд несколько всходит на подъем, и вся болотистая равнина, где лежит Петербург, остается сзади; дорога входит в просеку лесов и надолго погружается в них.

В вагоне, когда глядишь в окно, нередко бывает, что ни о чем определенно не думаешь, но под шум поезда в голове бегут отрывки мыслей, вспоминается без связи виденное, слышишь отдельные слова, движения, лица. Так было и с Павлом Иванычем. Петербург отходил уже для него в прошлое; но по временам мелькали то комната Лизы с Бальзаком и Гофмансталем, то отель, то сама Лиза, то Маргарита вчера вечером, с искаженным лицом. «Все это довольно странно,— думал он,— хотя и любопытно». Ему представилось,— примет Маргарита однажды морфию «сколько следует», или нет? Он решил, что, пожалуй, и примет. «Ей потому и «Пиковая дама» нравилась, что там есть про смерть. Только она не хотела признаться, что нравится. Чтобы не быть сантиментальной». Потом пришло ему в голову, что ведь всем, в сущности, это близко, от великого Толстого до него, Павла Иваныча Касицына, исследователя почв и начальника агрономического института. Может быть, оттого сам он с таким волнением слушал эту вещь? Как же не интересно, когда вот это самое сердце, стонущее по ночам, дает ведь сигнал? Ведь это сигнал.

Между тем, разлился мартовский, мягкий закат. По бледно-зеленому небу разлеглись пряди розоватых облаков, всегда говорящих о неизъяснимо прекрасном. Лес по верхушкам смутно розовел; на земле белели пятна снега. Тени его кое-где сине-зеленые.

Очень хорошо стояли светлые березки. Они веселили, придавали юношескую, милую черту пейзажу. И уже явились небольшие весенние озера. Ручьи бежали. Если бы слезть сейчас с поезда, и пройти в лес, он был бы полон весеннего шума вод. Малые ручьи шуршали бы мягко, а вдали, как чудесный аккомпанемент басов, гудели бы голоса *великих вод*. Надо думать, что появились уже лютики, и, возможно, длинноносый вальдшнеп протянет над опушкой. Позже, когда взойдет звезда,— зыбясь и переливаясь отразится она в этом темном озерце. Тогда вы можете услышать ранний ток тетеревов.

«Как прекрасно, как прекрасно! — повторял он про себя.—

Это все проходит, и пройдет, как сон, и все-таки не станет от того менее прекрасным. Да, кажется, здесь самая большая правда».

Он долго еще стоял, смотрел на этот меланхолически уходивший пир природы. Стало темнеть. Он вспомнил, что, наверно, Лиза тоскует сейчас над своим Гофмансталем и мечтает о любви. «Бедная,— подумал он.— Какая милая!»

Показались звезды. Прошел кондуктор и сообщил, что скоро Любань.

1915

БЕЗДОМНЫЙ

I

Родом он был из тех дворян, что дают земцев, думцев-либералов, и в провинции читают толстые журналы. Их не любят губернаторы. Иногда черносотенцы устраивают им скандалы. В общем же они живут прочно, хорошо и нередко кончают дни председателями управ.

Виктор Михайлович, однако, как следует не служил. Кончил юридический, немного работал в земстве, занимался и сельским хозяйством: любил лошадей, пробовал разводить кур и однажды экспонировал их.

Кажется, все это скоро надоело. В столице он сделался издателем: решил выпускать народные картины и выпустил, но его тотчас же надул компаньон.

— Отчего же вы не обратились в суд?

Потирая руки и слегка хмыкая носом, он ответил:

— Ах, ну это, знаете, неудобно. Суд, волокита... Просто я не подаю руки этому человеку. Я считаю его непорядочным.

Так думал он убить выжигу-книготорговца. Но книготорговец мирно процветал. Он ждал дальнейших милостей.

В это время подошла война. Виктор Михайлович отправился в Маньчжурию, в отряде общеземской организации. Медицины он не знал: на войне заведывал продовольствием и кормил так удачно, что добавил своих денег несколько тысяч.

— Как же это вышло?

— Вероятно, неаккуратность счета. Канцелярии удобной не было, ведь это война... Сухарей постоянно не хватало, где же тут считать каждую копейку.

Канцелярии не было, но томик Пушкина, наверно, был.

— М-м,— говорил он,— мне нисколько не жаль этих нескольких тысяч, что я прокормил на русских солдат. Ведь, в конце концов, они сражались, а не я.

Возвратившись на родину, он как раз попал в революцию. Черносотенцы чуть не сожгли его дома, и на любимых лошадях, на тройке ему с братом приходилось спасаться.

Он уехал в Париж, там и познакомился я с ним, на шестом этаже дома в Пасси, откуда видна Сена и Медон.

Я о нем слышал; и по рассказам мне представилось, что это знатный русский барин. Он же оказался в потертом пиджаке, черненьком галстухе при старомодных прямых воротничках. Часто потирая руки, как бы от конфуза, он рассказывал о старом Париже. В это время он увлекался археологией. Читал Ленотра, изучал планы города времен революции, восстановлял Бастилию. Я подумал, что он пишет какую-нибудь историческую работу.

Помню, как смущенно хмыкнул его широкий, несколько утиный нос (он вообще слегка напоминал селезня).

— Нет, что вы! Я не литератор. Я просто так, по-любительски.

— Виктор Михайлович может показать вам интересные вещи в Париже,— сказала хозяйка.

Он действительно водил меня по Place des Vosges[1], и закоулкам вокруг; показал сумрачный дворец Чарторижских за Nôtre Dame[2] и лиможские эмали в Клюни. Мне представилось, что он любит Францию и французов.

Я сказал ему об этом. Он засмеялся, так что сморщилось все его лицо, и, потирая руки, ответил:

— Нет, я не люблю французов. Особенно француженок. Ах, невыносимо! Обратите внимание, как они садятся за стол в ресторане. А, жалеют юбки... непременно верхнюю приподымет и сядет на нижнюю. Не могу привыкнуть. И потом, эти вечные заботы о желудке. Нет, нет!

В Париже начались уже теплые дни, почти знойные. Мы много колесили по городу. Виктор Михайлович охотно с нами ездил, хотя боялся подземной дороги, боялся элеватора в Медоне и боялся сознаться в этом. Резвые дети, с которыми мы отправились в Медон, посмеялись над ним. Чтобы не отстать от подъемника, на который мы сели, он почти бегом взбежал на гору, и воротничок его стал таять. Лоб весь взмок.

— У, какой смешной! — Ниночка, его приятельница, захохотала.— Мокрый!

— Не надо обращать внимания на мой вид. Это для тебя безразлично, Нина,— ответил он обидчиво.

Спустя несколько дней мы бродили с ним вечером в Булонском лесу. С нами были наши дамы: г-жа Б. и Мари, жена моего брата. Г-жа Б. расшалилась и бросала камешки в проносившиеся автомобили. Он умоляюще складывал руки и просил этого не делать. Ночь апрельская была голубая. Пахло весной.

---

[1] Площади Вогезов *(фр)*.

[2] собором Парижской Богоматери *(фр)*.

Молодой лесок еще не оделся, но уже набух и дарил нас своей радостью — свежести, юности. Кой-где сквозь чащу мелькал золотой блеск.

Виктор Михайлович снял котелок, отирал лоб. Мы приотстали и принялись разбирать звезды.

— Ах, как у нас теперь хорошо будет в Самарской губернии! — говорил он.— Май настанет, потом начнутся покосы, можно уток стрелять. Это отлично! Я бы весь Париж и французов отдал за месяц в России.

— Чего же вам, поезжайте!

— Там неприятные воспоминания. Нас чуть не сожгли. Брат хочет продавать имение.

— Хорошо. Чем же вы, собственно, будете заниматься?

Кажется, я попал в больное место. Именно этого он и сам не знал.

— Я охотно бы... м-м... занимался археологией. У меня есть одна мысль. Мне бы очень хотелось поехать на развалины Трои.

Ближе Трои он не помирился бы ни на чем.

Однако в то же лето, когда я вернулся в Россию, он попал в Испанию. По рассказам его спутника, был и там скромен, джентльменски вежлив и стеснялся суровых испанцев. Боялся туннелей так же, как в Париже; вспоминал в Мадриде о покосах в Самарской губернии.

II

В Москве мы жили втроем: я, брат и Мари. Мари лет уже десять была замужем за моим братом, но жили они недружно. Он человек суровый, деловой: служит юрисконсультом в нескольких предприятиях. Целыми днями — вне дома. И в нашей большой квартире в Скатертном было две половины: брата — с богатыми знакомыми, охотниками, коммерсантами, и наша — победней, попроще.

Еще в Париже Виктор Михайлович выказывал к Мари симпатию. В Москве же стал бывать часто. Приходил через день, по вечерам, в своем котелке, с узеньким галстучком и немного стесняясь. Но стесняться нечего было. Брат по вечерам картежничал в Охотничьем клубе и с высоты своих облигаций и волчьих облав не был способен обращать на кого-либо внимание, тем более на человека не у дел, немолодого, с очень малыми средствами.

И он прижился у нас. Мог входить к Мари, когда она лежала на диване в платке, с романом Стендаля, или философическою

книгой. Она взглядывала на него большими, темными глазами с бледного лица. Часто производила впечатление, будто у ней жар. Спала мало, и питалась вегетариански.

Он целовал ей руку, садился почтительно в кресло и рассказывал всякие вещи. Как был у зубного врача, как собирается подарить Историческому музею коллекцию старинных седел, что сказала ему утром старая горничная Поля в доме его дядюшки, как он любит стариков.

Иногда Мари слушала, улыбаясь. Но бывало, что на нее находило раздражение.

— Послушайте,— говорила она тогда,— вы с вашими разговорами о стариках и седлах — просто ramolli[1]. Поняли? Вам сорок лет, но вы рухлядь, какой-то неодушевленный предмет.

— Как неодушевленный? Почему же? Но... это невозможно. Разве вы не верите в бессмертие души?

— Верю,— отвечала она резко, и даже слезы показывались на глазах.— И что вы очень милы — тоже верю. Но, кроме милости, надо еще что-то иметь, и именно этого у вас нет... впрочем, не у одного вас. Оттого и вся жизнь идет к черту, к черту...

На «р» она картавила и гневно пересаживалась с дивана.

Он всплескивал руками и отстранялся в ужасе:

— Какие слова вы говорите! Вы в гневе. Ах, pire que Zola![2]

— Дело не в Zola, а в том, что надо что-нибудь делать... ну, я не знаю... хотеть, стремиться.

— Я очень люблю природу,— говорил он скромно.— Если бы вы были у нас в Самарской губернии весной... И вообще, надо больше знать Россию, тогда мы не будем увлекаться какими-то Парижами. Это все предрассудки.

Иногда, в спокойные и грустные минуты, Мари говорила мне:

— Куда его пристроить? Замуж выдать, что ли? Влюбился бы в кого?

Я поглядывал на нее с улыбкой. О семейной жизни брата я не заботился, но все же и я понимал, что прекрасные глаза Мари привлекали его больше, чем разговоры со мной.

Его тоже несколько смущало безделье. К концу зимы он определенно заговорил, что становится учредителем акционерного общества по орошению земель в Туркестане. Потом решил заняться устройством колоссального народного театра. Неплохо

---

[1] впавший в детство, слабоумный, придурковатый *(ит)*.

[2] хуже, чем Золя! *(фр)*

было бы, по его мнению, организовать и выставку древнеперсидской миниатюры.

Долго ждали мы открытия этой выставки. Подошла весна, май наступил. Туркестан тоже не орошался.

Я летом жил один в Расторгуеве, снимал комнату, на даче, и много работал.

Мари уехала в Карлсбад и раза два в лето писала мне: очень уж шумно в Карлсбаде! Ей не нравилось. «Наш ramolli тоже тут,— прибавляла она,— ему кажется, что и он нездоров, и он пьет воды. Как всегда — мне то хочется его ругать, то он меня трогает».

Осенью я вернулся в Скатертный бодрым. Этого нельзя было сказать о Мари и Викторе Михайловиче. Особенно о нем. Что-то пугливое появилось в его глазах. Он чаще охал и умоляюще взглядывал на собеседника.

— Совсем больной,— говорила Мари раздраженно, но и слеза блестела у нее в глазу.— Как ребенок, может плакать от всякого пустяка.

Я замечал это и сам. Что с ним происходило? Он являлся к нам часто, по-прежнему, но был возбужден, у него дрожали руки, и он жаловался — то на жар, то на кашель, то на слабость. Как русский дворянин, он всегда не чужд был вину и сикеру. За последнее время это усилилось. Иногда он невнятно, глухо что-нибудь рассказывал и никак не мог остановиться; это значило, что сикер уже действует.

Встречал я его и на извозчике — он покачивался без достаточных оснований. Утиный нос его стал жалобней.

К этому времени, желая поддержать кузину, у которой прогорало предприятие, он дал ей остатки своих средств. Сам же был выбран в правление. Скоро начал жаловаться:

— Дела идут чрезвычайно плохо. Я ничего не понимаю... это так трудно. Мною вертят и распоряжаются, как вещью.

— Ну, так бросьте это правление, возьмите назад свои деньги! Ну их всех к черту! — гневно кричала Мари.— Понятно, вас оберут, как липку!

— Но неудобно, это моя кузина. Она вдова, и привыкла проживать десять тысяч, а теперь ей едва выдают три.

— Скажите, прелесть какая! А вы скоро совсем нищим будете!

— Я Annette с детства знаю. Детьми мы путешествовали вместе по Италии. Из Флоренции в Сиену мы ехали на лошадях. А в Риме нас водили гулять на Монте-Пинчио в синих поддевочках, и на нас пальцами показывали. Мы еще жили рядом с

князьями Волконскими. Как же я могу... отказать Annette в каких-то пустяках.

— Вы, конечно, помните всех князей и все поддевки, но, если останетесь на улице, вам никто гроша медного не даст.

— Это невозможно. Если я помогаю, то и меня не оставят.

Мари сердилась снова, он вздыхал и повторял:

— Ах, pire, pire que Zola!

К Рождеству, частью от треволнений, он так ослаб и расхворался, что пришлось отправить его в санаторию, по Николаевской дороге.

Он писал оттуда кроткие письма. Стал как-то покойнее, и несколько дальше. Точно упреки за неумение жить отошли от него, и он оставался в большем одиночестве.

Мари чаще лежала на диване, в платке, и тоже несколько побледнела. Когда заходил о нем разговор, впадала в неудовольствие; потом плакала.

— Просто он болен, но он и так погибает, все равно,— твердила она сквозь слезы.

Мы поехали однажды навестить его. Был очень солнечный, морозный день. Со станции везли среди ярко-зеленых елок, полузанесенных снегом. Летали сороки. Усы индевели и обращались в ледяшку. Ослепляла белизна.

Санатория — огромный дом в дачном стиле. Светло, тепло, и очень покойно. Видно, что людей кормят, отхаживают и приготовляют из них улучшенное издание. И, как во всех таких заведениях, неуловимая печаль разлита по всем гигиеничным комнатам.

Мы поджидали Виктора Михайловича: он ходил на лыжах, тоже для здоровья. Обедали с ним — среди малокровных девиц, тихих мужчин и иных мизераблей этой долины. Пообедав, мизерабли ездили кататься в санях, другие читали в гостиной, третьи гуляли. И мы гуляли по аллеям парка — леса, обращенного в парк, по аллеям, пронзенным косыми солнечными лучами.

— Я очень рада,— в голосе Мари звенело что-то,— здесь вы наберетесь сил.

— М-м...— отвечал он,— сил! Действительно, я поправлюсь, но все-таки... Впрочем, об этом совершенно неинтересно говорить.

Мы дожидались поезда в его комнате. Она была чиста, тиха, и напоминала келью. Солнце почти уже зашло. Кровавые пятна мерцали на стене, и становились все туманней — гасли. Он взял с полки толстую немецкую книгу:

— Я ложусь рано, часов в девять. Но на ночь читаю. Это Шлиман. История раскопок Трои. Очень интересно.

И, слегка воодушевившись, он стал рассказывать, как Шлиман десятилетним полунищим ребенком решил открыть Трою и выполнил это на закате дней.

Случайно взяв другую книгу, я прочел: «Краткие исторические сведения о Греко-Римских колониях, Скифском и Боспорском царствах, находившихся в древности в южной России». Очевидно, это было ему также необходимо.

Нам подали лошадей. Хрустальный месяц стоял в небе. Снег скрипел. Мы ехали молча. Русский могикан читал в это время о Трое и скифских царствах.

III

Санатория помогла ему, но не очень. Я встретился с ним спустя несколько времени и был удивлен: это уж не тот человек ходил, что раньше. Сгорбился, потух. Сильнее дрожали руки.

— Ну, как вы? — спросил я.— В Париж скоро? Будем домá разглядывать?

— Не знаю, не знаю,— ответил он сдержанно.— Как здоровье позволит.

— Что здоровье? Бросьте вы эти разговоры.

— Ах, нет, невозможно. Я себя очень дурно чувствую.

— Так поедемте на охоту. К нам, в Тульскую губернию.

— А, это было бы прекрасно! Тульская губерния! Каширский уезд! Я отлично знаю эти места, это моя родина. Как очарователен пейзаж средней России! Я не променяю его ни на какую Швейцарию.

Лицо его улыбалось. Горькое и беспокойное, что наложили годы, как бы отошло; и засветилось давнее, должно быть, детские воспоминания: образы, делающие человека влажнее и добрей.

— Я помню, мы с братом ходили за реку, к монастырю. По грибы. Знаете, белый такой монастырь у отмели, и за ним бор. Я непременно приеду к вам на охоту.

Но когда мы расстались, и его старомодная фигура, с головой несколько набок, в котелке, удалялась в толпе, я понял, что он никуда не поедет.

Так оно, разумеется, и вышло! Вместо родины, которую так любил, он попал почему-то в Мюнхен, о котором иногда говорил: «Не дай Бог умереть мне в Мюнхене».

Долго пробыл он за границей. От Мари я знал о нем кое-что, но отрывочно, неясно. Как будто начал он сильно пить. Потом

вести стали реже и тревожней. Заболел он уже сильно, и слег в том самом Мюнхене, которого боялся.

Помню, был весенний, теплый день. Я сидел в кафе, на воздухе. Близилась поздняя Пасха. Вдруг к ограде подошла Мари. Слезы стояли у ней в глазах. Она была бледна, в трауре.

— Умер Виктор Михайлович,— она тяжко оперлась на решетку.— Сейчас... Телеграмма брата. Будут хоронить в Москве.

Она вошла ко мне, и все с теми же слезами, за столиком кафе, под неблещущим солнцем «средней России», которую любил покойный, со слов брата рассказала о его последних днях. Я привожу ее рассказ.

Еще за месяц чувствовал Виктор Михайлович, что конец близок. Он жил в хорошей лечебнице, за ним ухаживали; но это его раздражало. Он жалел, что нет старой московской горничной Поли, которая помогла бы ему. Он уходил и целыми часами сидел на площадях, и в парках Мюнхена. Как передавал он брату, он плакал, сидя, и все ждал каких-то журавлей. Очень хотелось ему увидать пролетающих журавлей. Мари ничего не писал: неизвестно, что думал он о ней. Когда стало хуже, выписал из Петербурга брата. С ним говорил долго, много, но все о незначащем. Птицы и бой часов преследовали его. Он отсчитывал и запоминал каждый удар для неизвестных целей. И всюду ему слышалось пение птиц — приятное пение. Он говорил о них часами, просил и брата рассказать, что знает. Чуть ли не читать вслух Брэма.

За день до смерти пожелал сойти в общую столовую. Он был слаб, острижен наголо. Верно, на нем лежала уже тень загробного: его выход встревожил и удивил живых. Он заметил это. Живые тоже не понравились ему, и он едва досидел обед, считая бой часов.

Вернувшись к себе, Виктор Михайлович выразил неудовольствие, что народ за столом неприятный. Разделся, лег, и более уже не встал. Умер он покойно. Его тело стало очень маленьким,— и при бритой голове можно было даже его не узнать.

IV

Его хоронили утром, в солнечный день. Рассчитывая время, когда с вокзала тело прибудет в монастырь, я на трамвае поехал к месту упокоения.

Посреди Плющихи обогнал я похоронную процессию и не сразу сообразил, что́ это. Но скоро слез и пошел навстречу. Раньше других я узнал Мари, шагавшую за гробом в трауре, под руку с высоким господином. Стало мне жутко. Показалось

на мгновенье, что это сам усопший,— так он походил на Виктора Михайловича. Это был брат.

Я шел с ним рядом до самого монастыря. Шел, как идут за гробом да в тюрьму: посреди улицы, без шляпы, «в нищем виде». У ворот монастыря с нас потребовали удостоверение, что это действительно он.

Потом бесконечно служили заупокойную обедню. Были в низенькой церкви знакомые старики, которых любил покойный. Была горничная Поля. Но родная земля как-то неохотно принимала его: священники настаивали, чтобы гроб открыли, так полагалось по их правилам. Долго пришлось доказывать, что нельзя открывать цинкового гроба, где он лежит уже вторую неделю.

Но под лучами майского солнца его опустили, наконец, в могилу; бросили последние братские приветы — пригоршни земли. Быстро засыпали могилу. Он ушел от нас навсегда. Его смерть мы приняли. Мы не могли бы сказать, каково было значение, смысл жизни этого человека, столь мало, казалось, сделавшего на своем веку, столь, как будто, ненужного. И тот, кто уверен про себя, что он необходим человечеству, кто знает, что он очень умно и значительно прожил свою жизнь,— пусть тот и укорит отшедшего.

1915

БОГИНЯ

I

Встав с постели, в одной рубашке, Клеопатра подошла к окну:

— Что за манера, не спускать штор!..

Кончалась зимняя ночь. Комната Ивлева, в нижнем этаже особняка, смутно голубела под светом луны из сада. Снег на кустах, на небольшой елочке, сиял разноцветно.

— Все равно,— ответил Ивлев. — Никто не увидит.

Его удивил звук собственного голоса. И, вообще, несколько минут назад Ивлев стал иным. Это случилось потому, что Клеопатра заявила, что пришла в последний раз: их связь должна прерваться. Это была ошибка, она не настолько его любит, все это — минута, опьянение и пр. Ивлев поверил, но лишь частью. Он знал, что Клеопатра готовится в оперу, у ней есть меценат, к которому она перейдет со всем своим голосом и богоподобным обликом. Он же, молодой человек из банка, живущий у богатых родственников,— ей, действительно, не нужен.

Клеопатра, высокая блондинка, с маленькой головой, зеленоватыми глазами и тонким, но могучим станом, стояла у окна, в бледном дыму луны. Напоминала она Артемиду-охотницу.

Вернувшись, надела шелковые чулки на свои длинные ноги, которые не раз с благоговением и сияющим сладострастием целовал Ивлев, накинула капот и вышла.

— Я прямо дура, девчонка какая-то...— бормотала она в дверях.— Любая прислуга может накрыть. Шлянье по ночам!

II

Ивлев же остался один. Он не засыпал. Лежал на кровати, на спине, смотрел в потолок и курил. Комната благоухала ушедшею. В его мозгу пели ее плечи, божественной белизны руки и ноги. Мерцание зеленых глаз напоминало игру снега.

«Значит, теперь все по-новому, все по-новому». Засинело утро. Комната показалась легкой, пустынной. Папироса тлела красным.

Когда настал день, он одевался и мылся с серьезностью, спокойствием. Побрился, тщательно расчесал боковой пробор, надел жакет и вышел наверх, в столовую, пить кофе перед службой.

Здесь встретила его Катя, восемнадцатилетняя сестра Клеопатры. Она пила крепкий чай и читала в газете отдел зрелищ. Декабрьский снег из окон бросал на нее беловатый отблеск, и лицо ее, худое и нервное, казалось еще мучительно-нервнее.

— Вот,— она ударила пальцем по газетному листу,— ты его слышал? Это гений!

Ивлев улыбнулся. Он знал, что речь идет о знаменитом пианисте, с которым носилась Катя уже несколько дней.

— Нет, не слыхал.

— Это гений,— повторила Катя, и глаза ее блеснули безумием.— За него можно умереть.

Ивлев знал, что она истеричка, и улыбнулся:

— Зачем же за него умирать? Он получает тысячи, у него миллион поклонниц.

Катя разгневалась:

— Ничего не понимаешь. Просто умереть от любви к нему.

— А, вот как!

Ивлев перестал улыбаться.

Когда через полчаса он ехал на извозчике в банк, мимо запушенных снегом бульваров, по улицам старой Москвы, где бывал счастлив, ему показалось, что весь он, и Москва, и его жизнь — былое. Одной ногой стоит он на пороге нового — чего, не знал. Тут он вспомнил о Кате.

III

Около четырех начало смеркаться. Катя сидела, запершись в своей комнатке, плакала от любви к пианисту, с которым не была знакома, и читала стихи Сафо в русском переводе:

О, богиня, с трона цветов внемли мне,
Зевса дочь, рожденная пеной моря!
Ты не дай позорно погибнуть в муках
Сафо несчастной!

— Но она все-таки погибла! — бормотала она.— Бросилась со скалы.

Клеопатра же в это время ела сладкие печенья с чаем и обдумывала, какое надеть платье к меценату.

Меценат давал нынче за городом, в подмосковном имении обед для избранных. Там должны были быть художники, два поэта и три актрисы. Клеопатре хотелось не ударить лицом в грязь.

Уже почти стемнело, когда она оделась. По двору, к малому подъезду, легко подкатил лимузин с золотыми глазами. Против сиденья Клеопатры были прикреплены красные розы.

Когда она в шубке и капоре спускалась вниз, ей навстречу, слегка задыхаясь, взбежал Ивлев, с портфелем под мышкой:

— Ради Бога! На одну минуту. Дядя еще не приехал.

Клеопатра неохотно переступила порог комнаты, где была у него нынче ночью, и остановилась у двери.

— Ну? — спросила она, жуя тянучку.

— Послушай, я хотел спросить...— начал Ивлев, сбиваясь.— Да, вот что,— сказал он вдруг твердо,— ты сказала мне утром, что разлюбила и уходишь. Правда это? Навсегда?

Клеопатра доела тянучку.

— Правда. Не волнуйся только, пожалуйста. Да, ведь, ты даже моложе меня. Полюбишь барышню, женишься на ней, и отлично будете жить. Ну, прощай, мне некогда.

И спокойно, ни о ком и ни о чем не думая, Клеопатра спустилась с лестницы, села в автомобиль, поправила розы, и в маленький рупор сказала шоферу:

— На Брестский вокзал.

IV

Вечером Катя уехала в концерт. Старики были дома, также Ивлев.

Он ничего не делал. Никуда не хотелось идти, ни о чем думать. Он знал, куда уехала Клеопатра, и ему казалось, что она не вернется никогда.

Зайдя в комнату Кати, он увидел раскрытую книгу. Это были стихи Сафо. Он прочел то же, что читала уже в слезах она:

О, богиня, с трона цветов внемли мне,
Зевса дочь, рожденная пеной моря!
Ты не дай позорно погибнуть в муках
Сафо несчастной!

Но он был мужчина и не заплакал. Ему лишь показалось, что ледяная рука легла ему на сердце. Он взялся за голову и отошел.

В это время подъехала на извозчике Катя. Его удивило, что вернулась она так рано. Еще более удивился Ивлев, когда увидел, как через силу сняла она мерлушковую шубу на белом шелку и, бледная как снег, медленно всходила по лестнице. На верхней ступени она вдруг опустилась. Ивлев бросился к ней.

— Я отравилась,— прошептала она.— Неси меня в спальню.

Прибежали старики. Катя, полузакрыв глаза и дергая рукой, повторяла, что отравилась в концерте. Потом твердо потребовала, чтобы отец привез ей пианиста. Она взглянет на него и умрет.

Бросились за доктором. Старый отец, у которого дрожали губы, полетел в концерт. С Катей начались судороги. Мать и нянька, вырастившая ее, рыдая, растирали ей живот, поили молоком и обкладывали горячими бутылками.

Ивлев ничего не понимал. Он ушел в свою комнату, стал на колени перед окном, откуда утром ушла Клеопатра, положил голову на подоконник; упорно глядел в сад, на искрившийся под луною снег, на звезду, бурно переливавшую огнями на морозе, и твердил: «Господи, Господи, помоги!» Он собрал все свои душевные силы, все их соединил в желании: чтоб спаслась Катя. Точно жизнь или смерть ее были его собственной жизнью или смертью.

Наконец отец вернулся. Он привез цветы от пианиста. Сам пианист не приехал. В цветах была его карточка и несколько горестных слов.

Но Катя никого уже не узнавала.

V

Час спустя Ивлев подъезжал к разъезду Брестской дороги, где жил меценат. Он взял извозчика — было с версту — и поехал лесом.

Он сидел покойно, но внутри дрожал мелкой дрожью: было ему холодно, хоть мороз не считался большим. И лес, и снег, и луна, плывшая в пустынных пространствах, казались волшебными, и волшебно направлялась его жизнь к Клеопатре, величайшей и первой для него волшебнице.

Он оставил извозчика у въезда и прошел к дому. Почему-то взошел на балкон. В окнах был свет, за стенами хохотали. Ивлев постучал в стекло пальцем и подумал: «Я пришел».

Голоса затихли. Отворилась парадная дверь, выглянул человек. Ивлев сошел с балкона.

— Это я стучал. Мне нужно Клеопатру Николаевну, по важному делу.

Клеопатра вышла в сени удивленная. Она доедала кусочек ананаса.

В голубоватом свете сеней она показалась Ивлеву мучительно-прекрасной.

— Клеопатра, Катя отравилась.

Клеопатра вздрогнула:

— Что такое? Почему?

Он глухо и кратко рассказал. Клеопатра закрыла лицо руками и убежала. Вышел меценат. Он был расстроен.

— Какое несчастье! Вы кузен Клеопатры Николаевны?

— Да...— Ивлев в изнеможении сел.— Троюродный. Я сейчас отвезу ее домой. У меня извозчик.

— Не беспокойтесь. Я доставлю ее в своем автомобиле, прямо в Москву. Это будет скорее.

— Как угодно.

Ивлев вышел, сел на извозчика. «Пусть едет она с меценатом на автомобиле, моя Артемида... Артемида-охотница, которую опьяняла луна».

Но и сам он был пьян луной, снегом, инеем. Было чувство, точно сердце за горами и долами, под ледяным покровом снега.

«Около Кати,— думал он, слезая и входя на платформу,— лежат сейчас туберозы и орхидеи пианиста. Но руки ее холодны, как мое сердце».

В это время раздался рожок: из Москвы шел по второму пути экспресс. Ивлев медленно двигался вперед по платформе. Дойдя до середины, спустился по люковой лесенке на первый путь.

— Поезд здесь не останавливается,— пробурчал сторож в башлыке.

Но Иевлев не обратил на него внимания. Он перешел первый путь и все так же задумчиво шагал по узенькой белой полоске между путями. Экспресс был шагах в двухстах. Золотые глаза паровоза напомнили ему блеск луны и фонари лимузина, в котором уезжала Клеопатра.

Ты не дай позорно погибнуть в муках
Сафо несчастной! —

вспомнилось ему.

— Куда вы?! Поезд! — крикнул кто-то сзади.

Но Ивлев медленно шагал, теперь уже по полотну, все вперед. Через несколько секунд они встретились.

1915

МАША

I

Лев Головин, крестьянин села Кочки, мало походил на льва. Правда, был он огромен, многоволос,— но в движениях медлен, характером вял, скорее добродушен, и чадолюбив. В юности состоял солдатом в гвардии. Служил на пивном заводе в Москве, где, надо думать, выпил немало пива. И наконец оказался у себя в деревне; здесь он занялся хлебопашеством и деторождением. К сорока пяти годам обзавелся порядочной семьей, которая росла неудержимо. Это не было особенно выгодно; но Лев детей любил. К хозяйству, как истый русский мужик, относился с философической прохладцей, и хотя не говорил *таё*, но медленно снимал картуз, запускал пятерню в спутанные волосы основательно. Жена его была красива. Вряд ли он ей изменял.

У этой статной, черноглазой женщины, среди других произведений, имелась дочь Маша, отмеченная тем, что родилась в один день с дочерью помещицы Варвары Михайловны; а та жила в усадьбе, тоже называвшейся Кочки, в полуверсте: село с усадьбой были тесно связаны хозяйством, политикою и соседством.

Имением владел Николай Степанович Андреев. Как и Лев Головин, служил он раньше Марсу, но не в гвардии, и это его огорчало. Теперь, уже в отставке, он ходил в генеральской форме, носил очки и считал, что самое важное на свете — аккуратность. Эту идею он проводил в разговорах, и в жизни. Варвара Михайловна, дама видная и основательная, вполне к нему подходила. Они жили более чем зажиточно в доме старом, каменном, двухэтажном. Дом этот хмурый; он похож на казарму, да, верно, и выстроен в николаевские времена. Окна маленькие, стены толсты; во втором этаже, по главному фасаду, балкон; он выходит на совсем неплохой пруд, но как-то не радует; и даже летом редко пьют на нем чай, а чаще это делается в столовой,— большой, темноватой и прохладной комнате с сетками в окнах, от мух. Через эти окна, за прудом, виден бугор,

сдавливающий горизонт. Этот бугор всегда перед глазами — зимой в сугробах, весной бурый, а летом под ржами, овсом или лиловой пахотой.

Лев Головин довольно прочно усвоил себе, что если не через год, то через два бывает у него по ребенку. Поэтому в свое время Маше не удивился. Николай же Степаныч был бездетен долго — и рождение Лизы счел за большую неожиданность. Он отнесся к дочери вяло, как и ко многому в жизни, но все же считал, что раз он женат, ему следует иметь ребенка.

Лиза вышла девочка слабая, тихого нрава и послушная. С ранних лет при ней состояли гувернантки; она всему обучалась, и восьми лет говорила по-французски. Маша же в эти годы была темноволоса, крепкая, с приятными карими глазами, и с полукруглой гребенкой на голове. Характером в отца — довольно покойная и небыстрая; отчасти рассудительная, даже солидная. Так что иногда сама Варвара Михайловна позволяла ей играть с Лизой.

— Она славная девочка, только ты с ней не обнимайся,— говорила она Лизе.— Можешь приобрести от нее *насекомых.*

— Мама,— спрашивала Лиза,— а можно мне с Машей на деревню?

— Нет, пожалуйста. Ты там Бог знает чего наслушаешься. А потом, наверное, будешь есть черный хлеб.

— Там ужасно вкусный хлеб.

— Я так и знала, что она уже попробовала. Маша, это ты ей даешь?

Маша боялась Варвары Михайловны. Та никогда ее не бранила, иной раз давала ватрушку, карамели, сладкого пирога. Но уж такая считалась Варвара Михайловна *сурьезная*; ее все уважали.

Робея, она ответила:

— Я, барыня, не давала.

Варвара Михайловна обратилась к Лизе:

— Черный хлеб для тебя вреден, потому что от него может вырасти большой живот... как у всех... деревенских.

Лиза повиновалась. И деревни почти не видала, хотя очень хотелось туда: через забор сада, выходившего чуть не на деревенскую улицу, было видно, как ребята играют в шляки, в лапту. С огородов дурманно пахло коноплей, и маленькие кочкинцы шныряли по ригам, по токам, под рябинками играли в палочку-постучалочку, водили *Костромушку-Кострому.* Это, конечно, было интереснее немецких книжек. Но Лиза, тоже дочь своих родителей, унаследовала их основательность и законопослушность. Она действовала по предписаниям.

Как ребенок барский, русской грамотой она овладела шутя, между прочим. От нее переняла кое-что и Маша, и если не читала бегло, все же знала буквы, и могла разбирать.

Старый Лев был этим удивлен, и даже тронут.

— Девчонка-то понимает,— сообщил он жене.— Надо б ее в школу.

И он почесал у себя под мышкой, потом в затылке, с сосредоточенным видом.

— Мала еще,— ответила Антонина.

— То-то вот и мала... То мала, а то, глядишь, и велика будет. Кто его знает!

Вероятно, он и сам не очень ясно понимал, что именно хотел сказать. Он выражался иногда с той туманностью, которая, наверно, есть признак философического строя мысли.

Лев что-то вздыхал, соображал, и мнения своего не изменил; возможно — так и не собрался бы отдать ее в школу, если бы не напомнил Николай Степаныч — он опекал эту школу.

— Что же тут манкировать? — говорил он Льву обычным, как бы глубокомысленным тоном.— Это просто значит — ты манкируешь земскими учреждениями. Государство дает земству... да! Субсидию. Земство облагает земли. Ты сам... платишь налоги? Стало быть, обязан отдать дочь в школу, на устройство которой... ну, пошли и твои денежки.

Лев слушал почтительно, и думал, как это господа удивительно складно и длинно говорят. То, что это было скучно, увеличивало его уважение.

И на зиму Машу определили в первое отделение лысковской школы, в полутора версте от Кочек.

Это внесло значительное развлечение в ее жизнь. Теперь у нее появились книжонки, своя ручка, карандаш, сумка, где таскала она учебное добро в Лысково.

Отправлялись из Кочек разом — пять человек. Шли тропкой, межами, а там мимо риг прямо к школе. После *барского двора* это было самое замечательное здание, какое видела Маша в жизни: одноэтажный каменный дом с огромными окнами, типа вокзальных — гордость земства, вводившего всеобщее обучение. Там попадали они в руки учительницы Анны Сергеевны — девушки скромной, из духовного звания. Она училась в епархиальном, а теперь ходила в сереньком платье, зачесывала гладко волосы, ступала носками ботинок внутрь и часто краснела. Она обращала юные души к свету истины, обучая чтению и таблице умножения. Учила недурно.

Как настоящая женщина, Маша не была сильна в арифметике; вообще же училась неплохо — из средних в классе. Ей нравилась

карта, висевшая на стене, с синими морями и зеленью лесов; нравились развешанные картинки: крещение русских при Владимире, краснокожие, киты. Когда Анна Сергеевна что-нибудь спрашивала, а подсудимый молчал, несколько рук подымалось с парт, и головенки белесые, темные и вихрастые шептали:

— Позвольте я!

— Я знаю!

Среди этих немытых лапок, с передней парты тянувшихся чуть не в лицо Анне Сергеевне, нередко бывала крупная, красная рука Маши.

— Не волнуйся, Головина,— говорила Анна Сергеевна,— успеешь.— И кивала ей.

— Сложением называют действие, при помощи которого...

Когда выпадал снег, и наметало его столько, что не пройдешь, детей возили в санях, и являлись за ними к трем часам по очереди, каждый двор. Они вваливались в розвальни кучей, толкались, швырялись снежками, и приезжали веселые, красные, сморкаясь с мороза, с заиндевелыми ресницами.

— Ну, вы, гáлганы,— говорил, видя их, Лев. Он рубил в это время хворост, или возился около скотного.— Гомонят, ровно гáлганы.

Гáлганы не боялись его ни капли, несмотря на рост и могучую растительность. Они были полны своих шуток, дел, арифметик, диктантов, и вечером, при тусклой лампочке, собирались у Вани Пузанова списывать задачи.

К весне работали усиленней — близились экзамены; на них присутствовал сам Николай Степаныч.

Маша подвигалась вверх без замедлений. И незаметно прошли те три зимы, что полагалось ей быть в школе. Лиза же в это время училась уже в институте, в Москве.

Пасха пришлась ранняя. Анна Сергеевна назначила экзамен в половине апреля, и с первых чисел его дети стали волноваться, воображать опасности и готовиться. Решали задачи; зубрили стихотворения, и за день до боя выпускные, среди них Маша и Ваня Пузанов, ходили к батюшке в церковь со специальной целью — ознакомиться со священными предметами, как-то: потиром, лжицей, дискосом. Отец Михаил, совсем молоденький еще священник, из учителей, не успевший как следует обрасти, несколько был смущен тем, что не вполне внедрил в детей свою премудрость, и спешил наверстать. С Николаем Степанычем он был не в добрых отношениях, из-за споров о церковной собственности. И потому должен был подтянуться.

Как и подобает генералу, Николай Степаныч к экзамену несколько запоздал. Дети вертелись у крыльца и, завидев издали

вороную пару, в пролетке, бросились к Анне Сергеевне, которая с о. Михаилом поджидала его у себя в комнате.

Было солнечно, и тепло. Окно растворено; светло голубело апрельское небо над яблочным садом урядника. Яблони его стояли аккуратно, подстриженные; стволы обмазаны известью.

— Едет, едет! Анна Сергеевна, барин едет! — заболтали дети.

О. Михаил выглянул в окошко.

— А и впрямь наш полководец катит, со всею пышностью, как на парад!

Ученики приветствовали его с надлежащей рьяностью. Он оставил в передней пальто, и медленно проследовал к Анне Сергеевне, извинившись, что опоздал.

— Это ничего,— сказала она просто,— что же, будем начинать?

Она была покойна, в черном платье и потщательней причесана. Генерал попросил книжку со статьями для изложения. Стали совещаться. О. Михаил предложил было «Случай с бомбардиром», из времен Севастополя, но Николай Степаныч нашел, что много непонятных слов. Остановились на «Холмогорских горшках».

Анна Сергеевна задала младшим задачу, а старшим читала эти «Холмогорские горшки», громким, ровным голосом. О. Михаил и генерал сидели в ее комнате и не знали, о чем говорить. Николай Степаныч осматривался. В углу стояла скромная кровать, письменный столик — на нем старый сборник «Знания» и несколько фотографий. На одной из них волосатый учитель народнического вида, с подписью: «Живи, и жить давай другим».

Побарабанив пальцами по столу, Николай Степаныч, наконец, спросил:

— Сеять начали?

О. Михаил старался быть независимым, и холодным, что не так особенно ему удавалось.

— Рано еще. Земля не отволгла.

Николай Степаныч неопределенно хмыкнул.

— Как же не отволгла, если у меня сев... и отлично идет.

— Не стану спорить,— о. Михаил установился в окно, на яблони.— Вам, как бывшему военачальнику, конечно, виднее.

Николай Степаныч недовольно посапывал, и через большие очки внимательней стал рассматривать конфеты на столе, где была приготовлена закуска.

В классе же юношество усиленно пыхтело над работами. Круглолицый Ваня Пузанов писал важно, и с достоинством,

сознавая, что расскажет о «Холмогорских горшках» не хуже, чем в книжке. Нервная девочка Груша в волнении расплакалась; ее водили в кухню, отпаивали, Анна Сергеевна подбодряла ее; все же она писала с полными слез глазами. Маша была в новом зеленом платье с белым передничком, волосы еще туже притянуты гребенкой, вид сосредоточенный, но довольно покойна; карие глаза ее выражали напряжение.

Как и следовало ожидать, лучше всех написал Ваня. Тут не разошлись во мнениях даже о. Михаил и Николай Степаныч: Пузанов Иван получил пять, девочки похуже; врали в падежах, и с буквой ять, но в общем благополучно.

На устном экзамене Николай Степаныч занял председательское место. Он низко наклонялся к журналу, ставя балл; требовал, чтобы ученик аккуратно держался, отвечая, и чтобы отвечал точно. Например, на вопрос, что запрещает шестая заповедь, большинство заявляло:

— Чтобы не убивать.

Николай Степаныч длинно, и убедительно доказывал, что она запрещает *убивать*; если бы запрещала *не убивать,* то тем самым поощряла бы убийства. С ним соглашались. Но уже следующий мальчик на вопрос о воровстве высказался:

— Чтобы не воровать.

Зато о. Михаил щегольнул тем, что дети знают службу. И действительно, они мало ошибались в таких трудных словах, как проскомидия, литургия оглашенных.

Когда очередь дошла до Маши, Николай Степаныч присмотрелся к ней внимательней, сощурившись.

— Марья Головина. Растет, да... будет большая.

И, отвернувшись к Анне Сергеевне, сказал вполголоса:

— Моей Лизе ровесница, а насколько выше!

Он узнал от нее, где находится Москва, и Берлин, Пиренейский полуостров. На вопрос: «чем отличался царь Соломон» — Маша, собрав все силы души, выпалила:

— Мудростью и богатством.

К двум экзаменовать кончили. Несколько стесняясь, Анна Сергеевна пригласила генерала выпить чаю и закусить. Николай Степаныч согласился. Он был в удовлетворительном настроении, между прочим потому, что по закону ученики знали хуже, чем по предметам Анны Сергеевны. Он длинно рассказывал, как хорошо учат Лизу в институте.

Детям объявили, что они перешли, выпускным — что кончили — и молодые кочкинцы со своим профессором Ваней Пузановым вернулись домой победителями. Всем им казалось, что они стали старше, важней, и почти уже взрослые. Ваня получил

от отца, служившего в Москве типографом, новый картуз; Машу кормили пирогом, поили чаем с конфетами из села Соломенного; весь день окончившие ходили в парадных платьях; а вечером Ваня закурил папиросу, неизвестно откуда добытую.

Вечер был так же солнечен, приятен и тих, как и весь этот день.

II

В Кочках было так заведено, что девушки, более других нравившиеся Варваре Михайловне, в ранних годах шли *на барский двор* горничными. Это считалось хорошей карьерой. Барыня подвергала их длительной и основательной муштровке. Выросши, они обычно уходили в Москву, куда тянуло всю здоровую, сильную часть деревни. Варвара Михайловна частью вздыхала, как бы ревновала питомиц к столице. Но ничего не возражала.

— Как знаешь, милая. Конечно, в Москве больше заработаешь. Ты можешь служить и в хорошем доме.

И расставания выходили без драм. Напротив, когда бывшие ее прислуги являлись в деревню погостить, то всегда к ней заходили; она принимала их с холодноватою серьезностью, вообще ей свойственной.

Маша попала в число тех, кого Варвара Михайловна находила пригодными для своих целей.

И спустя немного по окончании школы, она определилась к господам.

Все в доме Андреевых показалось ей сначала громадным, и весьма торжественным в сравнении с тем, что видела она доселе. Она стеснялась своих шагов по паркету, робко бралась за стопу тарелок; убирая комнаты, боялась задеть что-нибудь, и разбить. Конечно, сочетать свои действия с высшими идеями целесообразности, которыми прониклись господа, было не так легко. Кухня помещалась внизу. Если за обедом, в промежуток между блюдами, Машу вызывали наверх, то нельзя было *просто* прийти. Следовало захватить что-нибудь с собой, экономя движения. Также из столовой невозможно *просто уйти*. Полагалось вечно быть в курсе того, что господа отъели, какую посуду — важнейшие, священные предметы! — можно унести, а какую нельзя. Иногда Маша, в порыве смущения, хватала своей большой рукой кастрюлечку со смоленской кашей, к которой Николай Степаныч, вообще евший медленно, еще только примеривался. Тогда он спокойно отказывал ей рукой. Варвара Михайловна глазами делала холодную диверсию. И Маша шумно отпрядывала, задевая стул.

— Стул этот... лишний,— говорил Николай Степаныч.— Мы обедаем вдвоем, а стульев... на четверых. Ты и гремишь ими. Ну-ка, отставь. Нет, не сюда... вон, под зеркало. Ему там место.

Несомненно, каждый стул в доме знал свое место, и можно думать, что если бы Маша поставила его не туда, куда надо, он в лояльной форме заявил бы протест. Нельзя было трогать папирос Николая Степаныча, прикасаться к предметам на его письменном столе. Вообще, было порядочно и строго.

Все сложилось в этой жизни давно, и давно застыло. Допускались действия только привычные, и все, что нарушало их, казалось почти обидным. Например, гостям иногда следовало приезжать, но не чаще заведенного обыкновения. Следовало на Рождество и Пасху бывать о. Михаилу с молебнами, за которые он получал по пяти рублей,— но именно в определенные праздники. И являясь с дьячком, о. Михаил скрепя сердце читал молитвы, кадил, съедал ветчины, на Пасху кулича, и выпивал рюмку наливки; затем возвращался восвояси. До него все это проделывал о. Сергий, благочинный. Анне Сергеевне также надлежало приходить иногда из Лыскова,— лучше всего, по воскресеньям, к обеду, и оставаться на весь вечер. Пока не темно, она гуляла с Варварой Михайловной *по хозяйству*, около разных скотных дворов, молотильных сараев, амбаров. Вечером вязала. Или скромно читала, с покорностью, какую книгу ни дадут. А наутро, по сугробам уезжала в розвальнях в Лысково, с молодыми кочкинцами, своими учениками, дабы внушать им золотые правила мудрости.

Более заметными событиями в усадьбе были приезды Лизы, на каникулы — тоже регулярно: Рождество, Пасха и лето.

Лиза училась в институте, где жила пансионеркой. К этому времени выходила уже она из возраста подростка, вытягивалась в худенькую, миловидную и болезненную девушку. Была нервна, легко воспламенялась, часто плакала; но законопослушность раннего детства сохранила, и в заведении считалась она на весьма хорошей линии. Одним лишь немного были недовольны, что плохо спала, часто жаловалась на *усталость*, слабость. И с тем большим удовольствием отсылали ее отдохнуть в деревню.

— Голубчик, вы там поправитесь,— говорила классная дама.— Деревня и свежий воздух всегда хорошо действуют на девушек. Но не советую вам много читать. В особенности же избегайте современной грубой литературы.

Лиза дома все же читала. Варвара Михайловна, в сущности, была тех же взглядов, что и классная дама; однако, дома Лизу меньше стесняли.

Она помещалась в нижнем этаже, в угловой комнате, издавна

считавшейся ее детской, и приятной тем, что выходила она в парк, занесенный зимою снегом. Тут была у ней и старая лежанка, которую Маша натапливала на совесть; и киот с иконами, и лампадка — Лиза любила это. Комната приобретала некую таинственность. Правда, ночью, когда метель гремела ставнями, становилось жутко — низ дома занимали полуобитаемые комнаты, чуланы, кладовые. Но рядом, за стенкой, крепко и добросовестно спала Маша; это присутствие бодрого существа поддерживало дух. Однако иногда ночью Лиза *видела*. Так раз явилась к ней Богоматерь,— но нестрашно, даже очень хорошо. И странно было потом проснуться, утром, в серенький день, увидать через окно липы в белом снегу, галок, оравших и перелетавших с ветки на ветку.

Когда Маша принесла ей теплой воды, Лиза, натягивая чулки, сказала:

— А мне сегодня, Маша, было видение!

Маша очень изумилась.

— Неужели правда? — спросила она, ставя кувшин на умывальник.— Что ж вы видели?

— А так вот: в дверях, где ты вошла, Богородица. Очень явственно. У меня хоть сердце и шибко билось — даже я вспотела, но все видела. Как на иконах пишут, такая она и есть. Да. Только нашим не рассказывай, и вообще никому. Знаешь, как облако... в таком сиянии. А потом и страх у меня прошел.

— А она что?

— Мне улыбнулась — и уж тут я не помню. Все пропало. Я, понятно, долго заснуть не могла.

Маша поразилась, что Лиза видит такие вещи, и почувствовала к ней новое уважение; тем более, что сама она спала беспробудно, и ела за четверых.

Ростом она обогнала Лизу на полголовы, была шире в плечах, и Лизины вещи ей никак не годились. Незаметно и она обращалась в девушку; и несмотря на здоровье и цветущий вид, в ней стала появляться застенчивость и смущение с молодыми мужчинами.

Лиза повторила просьбу — никому не рассказывать.

— У нас в институте есть девочка одна, очень богомольная,— прибавила она,— так у нее на руке даже знак, будто бы от язв Спасителя. Знаешь, как распинали Его, так гвоздями ладони пробивали.

Маша, действительно, не разболтала. И господа не узнали о дочери этой подробности — она вызвала бы длинные и сложные наставления, которые Лиза, конечно, выполнила бы

по своей добросовестности; но, подобно большинству родительских мер, вряд ли это к чему-нибудь привело бы.

И она вела обычную свою святочную жизнь: сидела с ногами на диване, читала романы, в парке каталась на коньках по маленькому пруду, гадала с Машей и Анной Сергеевной, которая на эти праздники не уезжала. Но гаданье, плохо выходило: на тени, от восковых пятен, застывших в воде, получались какие-то бесформенные груды.

После Нового года Николаю Степанычу нанес неожиданный визит штабс-капитан Коссович, очень богатый сосед, гвардеец; он жил в Радищеве, верстах в семи. Встречались они в земстве, но мало знали друг друга, и Николай Степаныч его недолюбливал за то, что он гвардеец; кроме того, в радищевской усадьбе был знаменитый бильярд. Николай Степаныч считал себя знатоком этого дела, и его огорчало, что такой бильярд принадлежит человеку, мало в деревне живущему и, видимо, плохому игроку.

Коссович,— в мундире, красивый, холеный, приехал в такое время, когда Николай Степаныч еще долеживал свое дневное отдохновение, и *когда вовсе не полагались гости.* Варвара Михайловна занимала приезжего серьезно, с достоинством; ее вид как бы говорил: «Хотя мой муж и не служил в гвардии, но мы не кто-нибудь».

Вышла и Лиза, скромно села в уголке. Николай Степаныч явился в своей военной тужурке, с красной от лежания щекой, и сквозь дымчатые очки не сразу разглядел посетителя.

— Очень рад-с,— пробормотал он,— видеть у себя соседа.

Коссович бойко и живо заговорил, и сразу стало ясно, что разговаривать должен именно он и, конечно, он расскажет все умнее и великолепнее других. Лиза смотрела на него — он производил странное впечатление: казалось, в разговоре он забьет всех; если сядет на лошадь, то лучше всех проедет, если сражаться будет, то всех победит; а во всем его облике было что-то холодноватое. Ей вдруг представилось, что он подойдет к ней и скажет: «Отправляйтесь туда, сделайте то» — и у ней не хватит силы ослушаться.

Его угощали чаем с коньяком, и тут выяснилось, зачем он приехал: поняв, что он настоящий сельский хозяин и лендлорд, Коссович решил учредить союз местных сельских хозяев для эксплуатации садов.

— У меня две тысячи корней,— говорил он, блестя зубами.— Мой сад ходит по восьмисот. У вас же, Николай Степаныч, наберется и тысячу. Почем на круг? Четыреста? Я так и знал. Нас обирают съемщики. Между тем, если б мы, землевладельцы,

устроив кооперацию, продавали яблоки в Москве сами, то несомненно, выручили бы вдвое.

Николай Степаныч, тускло глядя на него через очки, начал что-то размазывать, но Коссович, извинившись, быстро перебил, и заговорил о том, что, по его мнению, единственно и было правильно.

Лиза потихоньку вышла. Ей хотелось, чтобы Коссович не обратил на нее внимания, но это не совсем удалось: бойко доказывая, что в Москве на Болоте всегда можно самим продавать, он мгновенно, и как бы деловито взглянул на Лизу, охватив ее взглядом всю. Ей стало неловко. Она ускорила шаг.

Спустившись к себе в комнату, она застала там Машу. Маша сидела на подоконнике, и с любопытством разглядывала лошадей Коссовича — пару на пристяжку в маленьких санках. У постромок возился Андрей Пермяков, высокий, суховатый и крепкий работник Андреевых. Вышла неполадка в шлее; Андрея, как специалиста по всем деревенским художествам, позвали помочь приезжим.

С шилом в руке, в папахе, он переставлял пряжку.

— Этот поправит,— заметила Маша.— У него рука такая. Теперь он санки осматривает — все запомнит, как сработаны. А там и нашему барину не хуже сделает.

Лиза улыбнулась.

— Герой Андрей Иваныч! На него ведь гадала? Что, правда?

Маша притворно захохотала.

— На кой он мне дался-то? Он женатый.

Лиза спросила: а понравился ли ей приезжий, барин? Маша ответила: очень красивый, хоть куда. Духами пахнет, и шинель бобровая.

Лиза задумалась.

— Вот, а мне не очень нравится. Конечно, красивый... а все-таки что-то не очень.

Между тем в столовой Коссович продолжал уверенным тоном доказывать справедливость своей мысли. Мысль, действительно, была правильная. Именно поэтому Николай Степаныч сопротивлялся; его задевало, что приехал гвардеец, и учит его хозяйству,— его, Андреева, который полжизни делал по-своему. И, барабаня пальцами по столу, холодновато поглядывая из-под дымчатых очков, Николай Степаныч не давал прочных заверений: он мычал что-то, в серьезнейших местах вдруг предлагал рюмку коньяку, или бисквитику.

Коссович понял, что с этим *неповоротливым стариком* дела не сделаешь.

Варвара Михайловна была любезнее и пригласила *бывать*. Когда он спускался вниз, то встретил Лизу, и подумал, что она очень мила, и что знакомым быть можно, хотя хозяева и скучны. Пермякову, державшему теперь лошадей, и подсадившему в сани, он дал полтинник.

III

Зимой Пермяков мало работал — как и вообще все в деревне. Однако, нередко что-нибудь строгал в комнатке по соседству с людской; чинил бочки, розвальни, всякую мелочь.

Пермяков был серьезный человек лет под тридцать, разумный, покойный и довольно важный. Жена его, Пелагея, истерическая женщина типа кликуш — древнего российского типа,— слепо его обожала. Она приехала с ним из другой губернии, состояла здесь в черных кухарках, и страдала от холодного обращения мужа. Он не делал ей ничего дурного, не бил, не пьянствовал. Просто был к ней равнодушен. Сердилась ли она, волновалась, или плакала, Пермяков неизменно интересовался лишь своей столярной работой, а летом и слесарной: исправлял косилки, жнеи, молотилки — радость и горе сельских хозяев. Кроме того, с большой выдержкой, и как бы систематичностью покорял женские сердца. В Лыскове за одну девку его собирались бить. Но Пермяков считался весьма сильным. Особенно крепки у него вышли руки; он вытаскивал гвозди из досок пальцами. Так что его и не побили.

Пермяков был первый мужчина, на которого Маша обратила внимание. Ей нравилась его высокая фигура, твердая походка, суровость, строгая манера держаться. Он, казалось, никого не боялся — ни уважавшего его Николая Степаныча, ни барыни, ни старого приказчика Федотыча, который летом целые дни разъезжал верхом на белой кобыле, такой же старой, как он сам. Этот Федотыч, некогда крепостной, был кривоног, шамкал, и ко всем приставал с разными мелочами. Он ценил хозяйское добро, и готов был за него перервать горло. Но Пермяков выслушивал его молча, равнодушно, и делал по-своему.

По обычаю крестьянских девушек, когда ее поддразнивали, Маша будто бы сердилась и преувеличенно небрежно отвечала:

— Да, чего я в нем не видела? Небось, у него жена есть, законная.

Но, конечно, это была лишь манера. Он безошибочным чутьем знал, что нравится ей; где можно было — спокойно задевал, подставлял ножку, брызгал водой — пуская в ход нехитрый и старинный арсенал деревенских любезностей.

Когда настала весна, деятельность Пермякова расширилась. Как никто, своими железными руками он спиливал сухие ветви яблонь, лип. Однажды, в мае, Николай Степаныч, в белом кителе, военной фуражке с огромным козырьком, опираясь на палку, вышел в парк; там был он неприятно удивлен обилием дупел в липах. Позвал Федотыча.

— А? Липы-то? В дуплах стали... липы... Да, это нехорошо.

Федотыч стоял без картуза, на своих выгнутых ногах. Седые волосы его белели на обветренном лице. Слегка слезились глазки, из которых один глядел вбок.

— Действительно, в дуплах! Скажите, пожалуйста! — вздыхал он, точно был виноват, что липы состарились.

— А ведь можно бы их, знаешь... тово. Подштопать.

— Подштопать...

— Да... ну, заделать там, дупла. Зашить.

— И конечно, можно, и разумеется дело,— закивал Федотыч.— Это Андрею прикажу, он в момент. Не оглянемся.

Николай Степаныч согласился, что именно Андрею следует это поручить.

В тот же вечер Пермяков с равнодушием выслушал Федотыча.

— Чего же их штопать? Это для чего же надобно?

Федотыч рассердился.

— Для чего надобно! Надобно! Ка-акой Андрюшка! Барин приказал — и надобно. Желают, чтобы дупел не было,— а он: для чего надоб-но!

Последние слова Федотыч произнес топорщась, подражая якобы заносчивому и дерзкому тону *Андрюшки.*

Пермяков докурил цигарку, очень ловко и точно сплюнул, и ответил:

— Схожу к барину, сам поговорю.

Федотыч был рассержен. Это самоволие, но он знал, что Пермякова не переупрямишь.

На другой день Пермяков подошел к Николаю Степанычу.

— Барин, правда, надо дупла зашить?

Николай Степаныч несколько удивился.

— Да... ведь тебе Федотыч говорил?

— Говорил.

— Ну?

— Чего ж их зашивать? Пускай дупла и будут.

— Нет, уж нет, я сказал, чтобы зашить... это беспорядок.

Пермяков сумрачно ответил:

— Хорошо, зашью.

Повернулся и ушел.

— Он способный столяр,— заметила Варвара Михайловна,—

но грубоват. Впрочем, я его и вообще не одобряю. Это ловелас. Безнравственный человек.

Донжуанству Варвара Михайловна никак не сочувствовала.

Пермяков же, назавтра, с сумрачным видом принялся *штопать* липы.

В этот день Лиза мыла голову, и Маша тащила ей ведро чудесной, ключевой воды, снизу от колодца, через парк. Подставив лестницу, Пермяков взобрался по ней, и теперь сидел верхом на суку, прилаживая пластырь.

Маша несколько запыхалась; но выбрала остановку как раз под этой липой.

— Вот, убью тебя сейчас,— сказал Пермяков,— как топором отсюда шваркну, голову и пополам.

— За это ты в Сибирь пойдешь.

Маша оправляла рукой волосы, и по ее раскрасневшемуся, оживленному лицу перебегали пятна света — сквозь листву. Было видно, что она ничего бы не имела, если бы Пермяков запустил в нее чем-нибудь, разумеется, не смертельным. Так именно он и поступил — как в подобных случаях поступают завоеватели всех стран и всевозможных положений: швырнул обрезком дощечки, и попал очень ловко, именно куда и целил.

— Погоди, ты, пралик, портной!

Ковшичком она быстро зачерпнула воды, размахнулась и обдала без сожаления. Теперь могла она быть уверена, что где-нибудь у бочки получит реванш,— уж обязательно он ее окатит, но не так, а полведеркой. Сейчас же, подхватив свое ведро, сочла за лучшее отступить, и вдогонку крикнула:

— Смотри, портной, жене скажу, она тебе бока обломает!

Но уж тут Пермяков мог быть покоен: кто-кто, но не Маша помешала бы ему в этом деле.

Впрочем, именно летом вопрос о жене повернулся для него в удобную сторону: тесть, старый столяр Ивашка, носивший за работой на голове шнурочек, из-под которого клубились кудри вокруг апостольской лысины,— этот самый Ивашка потребовал Пелагею с детьми на родину, ввиду отсутствия рабочих рук. Пелагее мало это улыбалось, но нельзя было ослушаться отца, человека серьезного, даже глубокомысленного, талантливого столяра — и временами — запойного безумца. Пролив хорошее озеро слез, забрав детей, с сердцем, полным тоски, она уехала, значительно развязав руки мужу.

Почти с этим одновременно произошла небольшая перемена в Машиной жизни: ушла женщина, работавшая в молочной, на сепараторе. Ее некем было заменить; и Варвара Михайловна

назначила туда Машу, девушку хотя и очень молодую, но толковую, и на которую в некоторых отношениях можно было положиться.

Молочная, как нередко бывает в усадьбах, помещалась на отлете, в отдельной небольшой избе; в темноватых сенях — маслобойка, а в комнате дальше — небольшая машинка, привинченная к столу; здесь отделяют сливки от молока, и тонкими струйками бежит из этой воронки в одну сторону снятое молоко, в другую — сливки. Здесь всегда пахнет кисловато, как в детской; очень любят это место мухи, и, вообще говоря, мало оно любопытно. Но для Маши представляло большие выгоды.

Она действовала тут одна, без наблюдения и контроля — правда, работа считалась нелегкой. На утренней заре, при росе и золотеющих облачках, вставать и идти на скотный, где в полумгле коровы жуют спросонья, подмывать их огромные вымя, и за розовые соски цедить в ведро тонкими струйками молоко, слабо звенящее о металлическую стенку. Потом с бабой Анисьей тащить на палке ушат с этой тепловатой, пахучей, как бы сырой жидкостью. До вечера будет оно стоять на холоду. Вечером же снова удой, и уже тогда, в сумерки начинает свою жужжащую музыку сепаратор; по всей усадьбе слышно его мелодичное, немного странное гудение. Среди дня десяток раз, конечно, сбегать в господский дом, на ледник, в людскую, сделать кучу крошечных дел, которые выходят как-то сами собой, бойко и живо, потому что молодость, восемнадцать лет; потому что чувствует она себя миловидной, приветливой; потому что тут же в усадьбе что-нибудь мастерит *пралик, портной*, с которым полагается ругаться и задевать его, а в сердце уже занял он свое место.

Чаще всего появлялся пралик к вечеру, когда темнело, и Маша принималась вертеть ручку сепаратора. Сначала он останавливался у окошка, облокотясь на подоконник, и спрашивал:

— Ну что, скоро машинку доломаешь?

— Сломаю, так тебя не позову,— отвечала Маша.

— А я к тебе и чинить не пойду.

Но позже, когда в людской зажигали огонь, и звезды ярче виднелись по небу, он, конечно, входил. Нужна ли ей была его помощь, или нет, неизвестно; но когда Анисья куда-нибудь отлучалась, сепаратор на несколько минут смолкал — вероятно, вследствие усталости. Когда он вновь принимался гудеть, у Маши глаза бывали несколько растерянные, и затуманенные. Случалось и так, что полушуткой, полусердясь, она выталкивала его из молочной. Но стоило Пермякову взять ее за руки и

сжать пальцы, Маша оседала, как от железного пожатия; хотя была тоже довольно сильна.

— Пусти, дьявол, ей-Богу, руку вывернешь! Ей-ёшеньки вывернешь!

Самая настоящая пора сближения в деревне — покос. Покос время классическое, знаменитое; время огненных жаров, горячей, но веселой работы; время вольных шуток, когда можно, например, ни с того ни с сего выкупать человека в речке, во всей одежде. Тут Федотыч с раннего утра выезжает на своем Россинанте, в чесучовом пиджачке и белом картузе, наблюдать за уборкой; выходит куда-нибудь на пригорок, под цветным зонтом и в светлом платье Варвара Михайловна; один вид ее удваивает силу поденщиц, белыми, синими и красными пятнами раскинутых по лугу. Растут копны; возы со свежим сеном, горячие и душистые, тянутся в усадьбу; в полдень девки завтракают где-нибудь в тени, развертывая принесенные узелочки; а потом отдыхают час, другой, чтобы при стеклянно-голубеющем небе вновь начать *навивку* возов, ворошение сена, и т. п.

На эту работу всех подымают в усадьбе, стара и млада, горничных и кучеров, коровниц, плотников и кухарок.

Пермяков, покуривая цигарки, свернутые из обрывков газет, разумеется, и тут на первом месте. Высокий, худой, в коричневой блузе с ременным поясом, он командует девками, навивает самые крупные возы, когда складывают сено в сарай, подымает больше всех на вилы. Держится со всеми свысока, ибо значение свое понимает.

Однако, всегда так выходит, что он там, где Маша; кладут ли стог, они вместе на его вершине; принимает ли она в сарае, под душной крышей, со слипшимися волосами и прилипшими ко лбу травинками — он подает. Или вечером, когда последние возы с усилием тянутся по взгорью, между пожелтевших ржей, оказывается, что оба на одном возу.

Приказчик Федотыч, при всех своих замечательных качествах, обладал все же одним: некой неудачливостью. Он был очень строг — его постоянно проводили; высоко ценил экономию — у него немало воровали; свозили ночью неубранные крестцы ржей, прокладывали дорогу по его зеленям, выкашивали межи и вершинки дочиста, не обращая внимания на *тычки* и разные старинные межевые знаки.

— Разбойники! — шамкал он.— Прямо разбойник народ пошел, ну что с ними поделаешь! Стожок сметал, да еще двадцать копенок осталось, и клевер самый лучший, са-амый что ни на есть. А боюсь оставить на ночь, приедут, дьяволы, тогда ищи их!

— Надо укараулить,— сумрачно заметил Пермяков.

— У-ка-ра-улить! Только тебя и не хватало! — Федотыч сердито хлестнул плеткой свою кобылу.— Тебя посади караулить, так ты девку с собой приведешь, караульщик!

Однако, Николай Степаныч, по глубокомысленном размышлении, нашел, что, действительно, рисковать клевером неразумно; в том, что лучше всех убережет его Пермяков, он был уверен. Прибавил лишь одно: Пермяков должен быть вооружен.

Это крайне не понравилось Федотычу. Пермяков же счел, что так и быть должно: конечно, как и все другое, это дело сделает он лучше кого-либо. Он спокойно и с достоинством принял от Николая Степаныча старую двустволку, бельгийского изделия, выслушал наставления с таким видом, что заранее все знает, надел ружье через плечо и снес к себе в чулан. Вечером же, когда усталая от работы Маша перегоняла, все-таки, на сепараторе молоко, он шепнул ей коротко, и тоже основательно:

— Приходи на копны. Я тебя застрелю.

— Как раз я тебе и пришла!

Но она так волновалась, так немели и холодели ее ноги, что и сама она уже не верила, что в чем-нибудь может противоречить *идолу*. На всякий случай, сдавленным голосом, крикнула ему:

— Ты гляди, чтобы самого-то с копной не увезли.

В десять часов, с ружьем за плечами, все в своей коричневой рубахе с ременным поясом, Пермяков шагал через вершинку, и межой, к скошенному клеверу. Он курил папиросу, и энергически сплевывал, через зубы. А час спустя этим же путем, обрывая крупной рукой полынь и ромашку, растирая ее зачем-то в ладони, и не подымая головы, шла Маша.

В усадьбе лаяли собаки. По многозвездному небу, бархатной синевы, уже клонившемуся к темным августовским ночам, Млечный Путь пролегал таинственной, белеющей рекой. Позади оставалась усадьба, серьезная Варвара Михайловна, Лиза, Кочки, детство, учение в школе и то простое и ясное, что наполняло жизнь в те годы. А впереди — она не знала что. Но рассуждать было уже поздно, и нельзя было сопротивляться силе, наполнявшей ее, быть может, из этой же летней ночи, из ароматов скошенного сена, из дневного жара, из звезд и солнц Вселенной:, той силе, что называется любовью.

Пермяков узнал ее издали. Он расположился на копне. Его руки дрожали, когда он подхватил ее, и легко взмахнул наверх. От волнения он не мог говорить. Она села с ним рядом, все с тем же холодом в ногах, взялась почему-то за ружье, и спросила:

— Далеко бьет?

Он не ответил, обнял ее сзади.

Она вздохнула, слабо, туманно.

— Ой, не надо.

Но Пермяков не обратил на это внимания.

IV

Нельзя сказать, чтобы в Кочках строго наблюдали за нравственностью девушек. Главное — недалеко Москва; те, кто туда уходили, сами устраивали свою жизнь, свои романы, никому в этом не давая отчета. И в деревне считалось хорошим, если дочь *подает* кое-что в семью из города; а как она там живет, ее дело; и те из девиц, кто оставался в Кочках, при неблагоприятном обороте всегда могли уйти в Москву и замести всякие следы.

В семье Головиных довольно быстро узнали, что Маша сошлась с Пермяковым, но значения этому не придали. У старого Льва в то время разыгралась *грызь,* грыжа; несмотря на жару, он ходил в валенках, соображал еще медлительней, был еще философичнее настроен, и если бы спросили его мнения, вероятно, ответил бы своим сдавленным, точно из грызи идущим голосом: «Машка-то? А Господь ее ведает. Небось здоровая, сама себе госпожа». Антонина даже ей сочувствовала; корыстолюбием она не отличалась, но все же считала, что связь с Пермяковым вовсе не плоха, он хорошо зарабатывает, человек непьющий и солидный — одно нехорошо, что женатый. Во всяком случае, может делать подарки, и если уж кого выбирать, то, понятно, его, а не какого-нибудь прощелыгу.

Единственно, кто был бы безусловно против, это Варвара Михайловна. Такие дела не входили в круг ее идей. Всей своей аккуратной, подтянутой и еще моложавой фигурой, ловко сидящими платьями и желтыми ботинками она протестовала против amour défendu[1]. Если бы она знала все, ее отношение к Маше сильно бы поколебалось.

Впрочем, кое-что она подозревала; трудно было бы совсем уж ничего не видеть. Не раз заставала она Пермякова у окна молочной, без достаточных оснований, наблюдала их и на уборке; чинил ли Пермяков какую-нибудь косилку, вставлял ли стекло во флигеле — непременно там оказывалась Маша. Кое-чему он даже ее научил — например, резать алмазом стекло, управлять жнеей. И сама Маша изменилась. Точно в ее крепком, здоровом

---

[1] запретной любви *(фр.).*

существе открылся какой-то источник ласки, *жаления*, как называют у нас любовь. Эта любовь шла из нее той ровной, широкой струей, какую может дать нетронутая натура. Любовь исходила из ее карих глаз, была в легкости и радостности движений; даже большие красные руки ее казались счастливы и неутомимы.

Видимо, и Пермяков был затронут. Юность ли ее, миловидность, или то неуловимое, что называют взаимным соответствием, но теперешний роман Пермякова значительно разнился от обычных его историй. К чувствительности меньше всего был он склонен; лишних слов не расточал; но во всем его поведении была своя, хотя и мужественная, краткая, даже суровая ласка. Он, действительно, делал ей подарки; раз, когда ездил в Москву за частями к жнее, привез жакет, впрочем, тесноватый. У нее появились огромные, блестящие калоши, несколько басок и нарядное бордо платье. Это делалось не затем, чтобы ее купить — она и так ему принадлежала; а как выражение чувств.

Если она уставала, он заменял ее на сепараторе; когда вязала десятину ржи, незаметно, оврагом выходил к ней, взглядывал на раскрасневшееся лицо, веселое и милое, с туго затянутым платочком, чтобы не трепались волосы, и говорил, как будто небрежно:

— Ну, ну, старайся!

Когда увязывали ржаной воз, и если что-нибудь не клеилось, а она смеялась, легко отстранял ее, и железными своими руками живо затягивал веревку.

Ей особенно нравилось, что он ревнив. Косоглазого Яшку, отличавшегося нескладностью движений и пристрастием к картам, за один вольный маневр так наладил он в шею, что бедный *косой черт* описал параболу.

Хотя Маша меньше бывала теперь в доме, все же с Лизой, кончившей этой весной институт и жившей тут же, виделась постоянно; прямо она ничего ей не говорила, но и не скрывала. Лиза, конечно, была на ее стороне; тревожило ее лишь то, что Пермяков женат.

— А если жена воротится? — спросила она раз.— Как же тогда?

— Не знаю, Лизочка. Ему виднее.

Правда, Маша об этом не думала. И раньше она считала, что жена — просто случайный, ненужный придаток; а теперь, когда стала к Пермякову близка, то столь естественным казалось, что сама она заняла его всего — чего же вспоминать о какой-то жене, Бог весть куда уехавшей?

Осенью Пермяков получил с родины известие, что Ивашка

на всю зиму оставляет у себя Пелагею с детьми — это лишь укрепило Машу в сознании, что так и быть должно.

С наступлением осени Варвара Михайловна снова перевела ее в дом, на прежнее положение горничной, и снова она поселилась в нижнем этаже, рядом с Лизиной комнатой.

Лиза эту зиму никуда не уезжала — проводила ее так же, как раньше Святки и Пасху. Она ходила иногда к Анне Сергеевне в Лысково, даже помогала ей в возне с ребятами; кое-чем с ними занималась.

Анна Сергеевна скромно улыбалась.

— Неужели это вам интересно? — спрашивала она про занятия.

— Очень,— отвечала Лиза.— Я люблю детей, и знаете, даже мне нравится тихая деревенская жизнь.

Анна Сергеевна вздыхала.

— Ах, голубчик, а мне эта тихая деревенская жизнь осточертела. Мне все в Москву хочется. Знаете, сходить в Художественный театр, в оперу...

Лиза соглашалась, но возражала, что для этого не надо непременно жить в Москве.

Педагогическая жилка в Лизе действительно оказалась; она так осмелела, что попробовала устроить у себя в Кочках как бы филиальное отделение школы,— вернее, нечто вроде детского сада. Николай Степаныч не сразу сообразил, в чем дело; но когда Лиза объяснила, что ничего противозаконного и антигосударственного заводить не собирается, он выразил согласие; и даже отдал комнату флигеля, ранее по зимам нетопившегося.

Лиза развела тут свое небольшое хозяйство. Появились картинки на манер лысковских, две скамейки, стол, и по утрам она частью учила, частью просто играла с пятью, шестью молодыми кочкинцами, лет до девяти. Они ходили к ней охотно.

В этом году Николай Степаныч ездил в уездный город на земские выборы. Это происходило раз в три года, и для засидевшихся стариков являлось делом интересным и серьезным: сталкивались самолюбия, составлялись партии, велись маленькие интриги. В сущности, политического деления не было; объединялись по знакомству и симпатиям; делились также на восточную и западную часть уезда. Выходило, что Николай Степаныч и Коссович оказывались в одной партии, *восточной*.

Их единомыслие выражалось в том, что оба стояли за одни и те же мосты, за проведение участков шоссе приблизительно в тех же местах. Коссович на эту зиму оставался в деревне — не то он взял долгий отпуск, не то собрался выходить совсем из гвардии.

Для Николая Степаныча эта поездка оказалась удачной во всех отношениях. У Капырина,— в местном отеле, где с некоторых пор перевелись клопы,— ему оставили лучший номер, и отлично угостили свежей стерлядью. В гласные он прошел даже лучше, чем в прежнее трехлетие; по обыкновению, в перерыве и за завтраком распространялся о японской войне, критикуя Куропаткина; по его мнению, причиной неудач была его нерешительность и то, что в таком-то сражении он не атаковал того-то, и т. д. За эти длинные рассуждения его назвали в земстве *главнокомандующим,* и часто не дослушивали. Но на это раз сам Коссович слушал внимательно, во многом соглашался, и в голосованиях высказывался с ним вместе. Правда, Николай Степаныч знал, что он метит в предводители. Все же, внимание льстило.

Любезность Коссовича дошла до того, что он предложил Николаю Степанычу подвезти его до Кочек — у стратега захромала пристяжка. Сделал это он так ловко, что нельзя было отказаться. Правда, когда Николай Степаныч сел в его очень уж мягкую, покойную коляску, и тройка гнедых тронула ровным, сильным ходом,— он ощутил легкое неудовольствие: у него самого ни коляски такой, ни лошадей не было. «Да, да,— думал он про себя,— посмотрим... посмотрим. Как и что». Эти краткие его размышления, за дымчатыми очками, относились, вероятно, к тому, как будет чувствовать себя обладатель коляски, радищевской усадьбы и знаменитого бильярда в ту минуту, когда ему станут класть белые и черные шары.

Коссович сидел прямо, бодро, осматривал поля с таким видом, что именно его только и недоставало, чтобы завести всюду порядок и благоденствие. Когда спускались с последней горы перед Кочками, по крутому шоссе, к речке, за которой на бугорке стояла церковь и тянулся буро-золотящийся в осеннем солнце парк, Коссович спросил:

— Если не ошибаюсь, Лизавета Николаевна эту зиму с вами?

— Да, знаете, она тут... кое-чем занялась. Ребят вздумала учить. Я не препятствую. Я нахожу, что для молодой девушки... это вовсе не вредно.

— Ну, разумеется. Тем более, что Лизавета Николаевна и в это дело внесет свойственное ей изящество.

Николай Степаныч неопределенно что-то промычал — нечто необязывающее.

— Мне было бы интересно побеседовать с нею потому, что, очевидно, наши вкусы совпадают. У себя в Радищеве я завожу ремесленную школу для девочек.

Видно было, что он мог бы, поблескивая белыми зубами,

распространяя вокруг свежий и энергический воздух,— мог бы неопровержимо доказать, что так же, как и у него в Радищеве,— всюду следует заводить ремесленные школы. Но было поздно. Подъезжали к дому.

На этот раз Коссович попал более удачно в том смысле, что угодил под завтрак, и завтрак неплохой. Варвара Михайловна могла достойно его встретить.

Лиза вышла в скромном, черненьком платьице учительницы, надела только чистый воротничок. Ей опять показалось странным, зачем приехал Коссович, но в этот раз она была уже несколько определенней и смелее. Теперь и он не наседал на Николая Степаныча, который мирно жевал спаржу; беседовал он больше с дамами, и особенно с Лизой. Говорил, что страшно одобряет ее намерение работать в деревне, что теперь это очень нужно, и, подхватив оборванную тему о ремесленных школах, помчался.

Когда Маша, слегка робея, подавала ему на подносе чашечку кофе, он, не взглянув, ловко протянул руку с перстнем на пальце, не смотря, взял чашечку, сказал: «Благодарствуйте», и точным, крепким движением поставил эту чашечку перед собой. Холеная рука, перстень, обшлаг форменного сюртука не раздражили Лизу. Напротив, ей показалось в этом нечто — хотя и жуткое, но привлекательное.

— Вы, конечно, опытнее меня в обращении с детьми,— говорил он,— и если хотите, я вам завидую. Мне много приходилось иметь дела с солдатами; а они в некотором смысле тоже дети. Все же я предпочитаю детей настоящих.

После завтрака он попросил разрешения осмотреть школу.

Лиза улыбнулась.

— Какая же это школа? Там нечего смотреть.

Но он настаивал, и она его повела.

Разумеется, комната флигеля, где она возилась со своими ребятами, не могла представить для него интереса. Все же он был более чем добросовестен, рассматривал всякую мелочь, подробно расспрашивал о занятиях, и его серые, несколько круглые глаза были как-то упорны, и выражали нечто, не заключавшееся в словах. Лизу это слегка волновало, и оживляло. Она тоже чувствовала, что главное тут не в школе. Главное заключалось в ней самой. Это радовало и смущало.

Коссович сидел за партой. Октябрьское солнце грело ему руки, в окне был виден побуревший орешник, а дальше большой пруд внизу, с купаленкой, и рыжий бугор над ним. Лиза стояла в позе учительницы.

— Может быть, во мне и есть педагогическая жилка. Я не прочь была бы сделаться настоящей учительницей.

— Вот, например,— блеснул глазами Коссович,— вы обучали бы меня. Вы бы спросили: Коссович Александр, сколько будет пятью семь? А я бы встал, и ответил: тридцать восемь.

— Я бы вас поправила. А почему же бы вы ошиблись?

Он посмотрел на нее и усмехнулся:

— Вот и действительно... почему бы я ошибся? А между тем я почти уверен, что, если бы был вашим учеником, обязательно бы ошибался.

Лиза засмеялась.

— Как странно. Что ж, мне пришлось бы оставить вас на второй год.

Коссович встал, и вдруг сказал, даже с оттенком грусти:

— Стало быть, я очень плохой ученик. Как бы то ни было,— он оглянул пустую, и как бы по-осеннему просторную комнату,— мне очень здесь у вас нравится, в вашей школе, и Бог знает даже, почему. Но хочется взглянуть еще парк.

Что-то в его словах как бы смутило Лизу. Она чуть покраснела.

— Я могу показать вам и парк.

Они вышли и, действительно, направились в парк, где погожий октябрьский день еще сильнее чувствовался. Был он в особой терпкости, и как бы горечи воздуха, в холоде воды в пруду, ее скорбной ясности; в запоздалом покрасневшем яблоке на яблоне; в бурых дубах, багровой верхушке осины, в бледно-золотой, редкой и легкой листве березовой рощицы за оградой.

— Отличный, старый парк,— говорил Коссович, проходя по липовой аллее, дупла в которой весной заделывал Пермяков. Лиза помахивала прутиком.

— Я к нему привыкла, и люблю его. Но иногда, особенно в такие дни, мне бы хотелось, чтоб в аллеях стояли старинные статуи, чтобы газоны были выстрижены, фонтаны шумели.

Коссович улыбнулся.

— Ого!

— Да, конечно, это несколько смешно. Но хорошо бы, если б лебеди плавали в этих бассейнах, и рыбки сбегались на колокольчик. Вы бывали в Версале?

— Был. И вы правы, разумеется. Я не ошибся. В вас есть не столь педагогическая, сколь *поэтическая* жилка.

Через час он уехал, взяв с нее обещание, что она навестит и его ремесленную школу, и вообще посмотрит усадьбу. Лиза согласилась, взглянув предварительно на мать. Варвара Михайловна не возражала.

Вечером, когда ранняя заря багровела сквозь деревья, Лиза

бродила одна по дальней аллее, выходившей на зеленя той изумрудной яркости, которой позавидовал бы Веронез. Она ни о чем не думала; но была полна мечтательной, волнующей меланхолии.

V

Зима проходила в Кочках так же, как и многие зимы. Николай Степаныч через очки читал «Новое время», глубокомысленно ходил взад-вперед по столовой, заложив назад руки, не одобрял Коковцова и за обедом иногда длинно разглагольствовал. Варвара Михайловна была непрерывно занята,— *по хозяйству.* Лиза работала тоже, как всегда послушная и аккуратная; и до того считалась она в семье безукоризненной, что, вопреки всем правилам и традициям, ей позволили съездить одной в Радищево — для осмотра школы. Заезжал к ним и Коссович, то за делом, то совсем без предлога; бывал он столь любезен, что Николай Степаныч выбрался к нему однажды в имение, захватив и Лизу — с особенною целью,— сыграть партию на тамошнем бильярде.

У Николая Степаныча имелись свои правила и взгляды, не всегда совпадавшие с общепринятыми: например, что в гости следует ездить утром, особенно в деревне. Так поступил он и в данном случае, и в десять часов, декабрьским первопутком, выехал с Лизой в Радищево.

Был тот безветренный, теплый и серый день, с инеем на деревьях с особой, нежной вкусностью воздуха, когда поля, и бледно-серые небеса нашей родины имеют единственное, ни с чем не сравнимое выражение живой души — скромной и очаровательной.

Николай Степаныч сидел в санях крепко и глубоко, на самый лоб надвинув форменную фуражку с огромным козырьком. Лиза, в шубке, занимала немного места. Она глядела, как резво и крупно бежали вороные, в дышло, лошади, громоздкие, топорные, напоминавшие полковничий выезд в провинции. Легкое волнение, как бы тревога, но радостная, теснила ей сердце. Это волнение возросло, когда они подъехали к посадкам Коссовича — молодым елочкам, вытянувшимся рядами.

Радищевская усадьба не была знаменита пейзажем: ровное место, рядом с большим селом, от которого отделял усадьбу пруд, сильно заросший и обмелевший, с островком посредине; здесь, как говорили, находилась могила любимой собаки графов — прежних владельцев. Лошади проехали мимо старинной церкви, александровских времен, с двумя колокольнями — тип

у нас редкий,— и подкатили полукружием к подъезду: в летнее время перед этим подъездом разбивали цветники, славившиеся розами.

Коссович, в тужурке, вышел их встречать; и сразу же заявил, что весьма счастлив видеть, наконец, у себя самого Николая Степаныча. Про Лизу почему-то умолчал, но взглянул на нее быстро, и как бы по-заговорщицки — точно это значило, что все само собой понятно.

Дом его был довольно большой, сложный и запутанный. Он провел их в кабинет, где огромное окно в парк давало много свету; топился камин, все выглядело по-городскому, уютно и роскошно. Лиза села у окна в зеленое кожаное кресло; ей дали чашечку крепкого кофе; она отпила, и ей показалось, что она так ослабла, немного кружится голова, что никуда из этого огромного кресла и не встанешь. Николай Степаныч беседовал о хозяйстве; но с видимым интересом заглядывал в дверь, что вела в бильярдную. Оттуда виднелась низкая толстая ножка, угол и плетеная луза.

Коссович затруднялся,— как же Лиза останется одна? Но она разуверила его: здесь, у камина, с кофе, она охотно посидит, пока они сыграют партию. И вообще побудет, сколько надо. Он извинился, дал ей несколько нумеров «Illustration» и повел гостя в бильярдную; туда надо было сойти ступенькой вниз.

Спустившись, мужчины сняли тужурки; скоро до Лизы стали доноситься удары кия, и звонкое щелканье шаров. Временами в полуоткрытой двери продвигалась грузная фигура отца, в жилете, и ослепительно белая рубашка Коссовича. «Среднего в угол! Восемнадцать и тридцать пять!», а потом, очевидно, при удачном ударе, довольный голос отца: «Бильярдец... хоть куда!»

Видимо, разжигались оба. Лиза пила кофе, улыбалась, и смотрела в окно. Перепархивал снежок, дрова в камине весело трещали: «Какие смешные, как дети забавляются своими шарами, стучат, наверное, горячатся!» Она закрыла глаза и немного откинулась. Волнение все томило ее: чуть шумело в голове; казалось, она слышит, как шуршит и слабо звенит ее кровь. Но было хорошо. Представлялось, что сейчас она заснет тонким сном, и все явится слегка по-иному, изящное и необыкновенное. «Я ведь совсем не знаю, а может, это и есть прекрасная жизнь, и любовь, о которой пишут в романах». Она сидела так, действительно, как бы в полусне, в дымке сладостной и обольстительной. Не хотелось выходить из нее. Но потом что-то ее пробудило — быть может, более резкий удар шаров — она открыла глаза. Волшебство продолжалось. Вокруг была та же комната, тишина, свет, снег за окном; но все это наполнилось

необыкновенным смыслом. Кто-то ласковый и прелестный был во всем, и душа ее замерла на той же блаженной ступени, как и тогда ночью, когда ей было виденье. Так длилось несколько времени; ей хотелось бы, чтобы это протянулось вечно; но за дверью послышался ясный голос Коссовича:

— Реванш за мной. В следующий раз постараюсь. Сейчас мне положительно неловко перед Лизаветой Николаевной. Да и завтрак готов.

— Вы... да... видимо, опытный игрок,— говорил довольным голосом Николай Степаныч, входя и застегивая тужурку.— А я отвык, сидя тут, в деревне. Раньше я лучше... играл.

Завтракали в дубовой столовой, с оленьими рогами в простенках; висели тут и деревянные блюда с барельефами, изображавшими дичь. Коссович рассказывал, что раньше в этом доме была богатейшая библиотека; по преимуществу восемнадцатый век, французский. Но графы, продавая ему имение, поставили условие: библиотеку они увозят.

Завтрак кончился к двум. Николай Степаныч отяжелел, и видимо устал. Он жалел об этом, ибо, ясное дело, ему хотелось сразиться с Коссовичем еще, и снова доказать, что хотя у него мало практики, все же игрок он *классный*. Но повернулось дело по-иному. Коссович предложил ему отдохнуть, как он привык у себя. Будь здесь Варвара Михайловна, вряд ли она допустила бы такую вольность. Николай Степаныч сперва тоже было запротестовал. Но Коссович настаивал убедительно, да и спать, действительно, хотелось. Впереди улыбнулась партия перед отъездом. Николай Степаныч согласился.

Этому очень рад был Коссович, и отлично устроил гостя в кабинете, на диване. Сам же предложил Лизе пройтись по парку.

Николай Степаныч быстро отошел в страну забвения на бархатном диване Коссовича. Лиза надела шубку, хозяин кожаную куртку на меху, и они отправились.

Видно было, что за парком присматривали: деревья подстрижены, разметены дорожки. Коссович указал направо.

— Здесь у меня есть и пруд. Но в моей усадьбе никого нет, кто бы, как вы, например, катался на коньках; поэтому катка я не устроил.

Лиза сказала почему-то странную фразу:

— А вот если бы вы женились, так наверно жена попросила бы вас устроить каток.

Коссович весело засмеялся.

— Вы меня уж и сосватали. Впрочем,— прибавил он через минуту,— вы, конечно, правы.

Лиза очень смутилась и покраснела. «Какая я дура,— поду-

мала она с ужасом,— он Бог знает что может вообразить». Горло ее сжалось, она опустила голову.

Между тем, боковой дорожкой они подошли к оранжерее. Коссович вынул из кармана ключ и отпер дверь. Пахнуло теплотой и влагой, тем странным, раздражающе-душным запахом, какой бывает в этих заведениях. Со стеклянного потолка падали капли. Вдоль стены, глядевшей на юг, тянулись персиковые деревца.

— Вот,— сказал Коссович,— моя serre chaude[1]. Тут произрастают разные мои детища, но это не столь поэтично, сколь выгодно. Я сбываю их Елисееву, по хорошей цене.

Лиза прошлась, и взглянула на бледно розовевшие, влажные, и точно бы нездоровые плоды. Из дальней дверцы вышел старичок, но Коссович замахал ему рукой; тот спрятался.

— Это глухарь мой. Он ничего не слышит, но отлично стережет.

Лиза почувствовала вдруг усталость, и некое смутное недовольство всем. Ей показалось, что персики эти ей не нужны, что Коссович смотрит на нее, как на смешную провинциальную барышню, и, пожалуй, еще думает, что она ловит себе жениха. Когда они зашли в дальний угол, она села на табуреточку и ослабела.

— Дальше я не пойду.

Коссович взглянул на нее внимательно.

— Вам не понравилась моя оранжерея, это ясно.

— Нет, отчего же, очень славная.

Он взял другую табуретку и сел рядом.

— Да уж я вижу, что не понравилась.

Лиза помолчала.

— Я как-то сразу стала вас стесняться. Сказала глупость, и мне сделалось неприятно.— Коссович взял ее за руку, и погладил.

— Вы не сказали никакой глупости. И напрасно смущаетесь. Совершенно напрасно.

Она молчала, а он гладил ей руку; потом поднес к губам. Лиза вздохнула и отвернулась. Но все же перевела на него взор и увидела, что его темные глаза стали теперь туманны, неподвижны, и новое выражение появилось в них; такого она еще не видала.

Николай Степаныч проспал сколько полагалось, и когда встал, Лиза с Коссовичем сидели уже в столовой за чаем. Лиза была тиха, бледна, и лишь глаза ее горели, как звезды. Начинало смеркаться. Хоть и очень хотелось сыграть еще партию, но

---

[1] теплица *(фр.)*.

осторожность брала верх: ездить в темноте не входило в идеи Николая Степаныча.

Через час, в спускающемся сумраке, они подъезжали к Кочкам.

А гораздо позже, когда Лиза сидела у себя на диване, поджав ноги, и глядела на лампу под зеленым абажуром, к ней вошла Маша и скромно остановилась у двери. Вид у нее был нерешительный, невеселый.

— Барышня,— сказала она тихо,— знаете, я сегодня письмо получила...

Она замялась и взялась большой рукой за спинку кресла.

— Такое неприятное письмо, прямо весь день сама не своя.

— Что такое? — спросила Лиза рассеянно, точно ее оторвали.

— Да, право... от Андрюшкиной жены. Она мне, барышня, грозится, и так грозится, прямо, говорит, сама приеду, и все волосы тебе повырву, и ты, говорит, такая-сякая, мово мужа соблазнила, и прямо ругается-ругается.

Лиза встрепенулась:

— Что же, с тобой письмо-то?

Маша слегка всхлипнула.

— Нет, уж лучше и не читайте, все по-мужицки, и слова такие...

Лиза соскочила с дивана и подошла к ней.

— Ну, а Андрей что?

— Андрюшка меня, барышня, очень любит и говорит, что никакой ему жены не надо и что, если, значит, она приедет, я, говорит, прямо ее прогоню и так скажу, что она мне и вовсе не нужна.

— Так ведь это ж самое главное!

— Конечно, я очень довольна, что он меня любит, все ж таки неприятно, как если эта баба приедет, да крик тут подымет, да меня срамить начнет. И чего я ей далась? Я и Андрюшку-то вовсе не трогала, и ничего я его не соблазняла, он сам ко мне шел.

Лиза успокаивала ее, как умела, но и сама чувствовала, что не все тут хорошо.

— Ты, конечно, здесь ни при чем,— говорила она,— раз ты его полюбила. А муж — это его дело с женой устраиваться.

Потом она вздохнула:

— Ах, не хотела б я и женой его быть!

— Андрюшка говорит, барышня, что и никогда-то ее не любил. А так, посватали их и повенчали.

— Я думаю, Маша, страшно это — замуж выходить?

Маша смахнула слезу и улыбнулась.

— А по-моему, совсем не страшно. Только если, значит, любишь, тогда все нипочем.

— Да, ты смелая. Полюбила и даже без венца сошлась.

Маша потупилась.

— Ежели бы он не был женатый, мы бы повенчались.

— Знаешь, вот, я тебе что хочу сказать...

Лиза заволновалась, и не сразу находила слова.

— Этот Коссович, ну, куда мы нынче с папой ездили... Он мне предложение сделал.

— Неужели правда? Вот хорошо-то!

— Нет, правда. Мы в оранжерее с ним сидели, он сначала разговаривал просто, а потом вдруг взял меня за руку, стал руку целовать, и спрашивает, могу ли я за него выйти. Так, знаешь, совсем неожиданно. И теперь я не знаю, что ему отвечать.

Она обняла Машу, они засмеялись, и у обеих смех мешался со слезами; нельзя было разобрать, рады они случившемуся, или, напротив, очень огорчены.

— Что ж, он вам нравится, Лизочка? — прошептала, наконец, Маша.

— Очень,— тоже шепотом ответила Лиза.

— Значит, и выходите.

— А еще что папа с мамой скажут?

Маша тихо засмеялась.

— Я-то как к Андрюше шла, ни у кого не спрашивалась. Ну, да, понятно, ваше дело господское.

VI

Разумеется, Пелагею осведомили о делах и занятиях Пермякова так называемые *добрые люди*. Была на деревне баба, называвшаяся Капля. Эта Капля сама питала к Пермякову нежность, и никак не могла допустить, чтобы *какая-то, Машка,* вдруг оказалась фавориткой. В грубых, анонимных письмах она изложила Пелагее, где опасность. Пелагея взвыла, и отправила послание, которого Маша не могла показать Лизе.

Маша была права, говоря, что Пермяков безучастен к жене. Действительно, ни это письмо, ни следующие, полные еще горшей брани, не произвели на него действия. Он строгал себе в инструментальном сарае, в куртке, без фуражки, когда Маша вбежала взволнованная, показала вновь полученные каракули с руганью и угрозами приехать, выцарапать зенки. Докурив папироску (теперь нередко курил он папиросы Николая Степаныча, при посредстве Маши), Пермяков сплюнул.

— Зря марки тратит.

— Марки, марки, а как если приедет?

Пермяков продолжал строгать. В сарайчике было темновато, он освещался лишь полурастворенной дверью; серебряная капель падала с крыши. Пахло стружками и крепкой настойкой березовых дров и осиновых макуш, сваленных невдалеке. Бледное солнце стояло на небе; оно сияло сквозь легкую пелену облачков.

— Приедет, так уйму.

В том, как он курил, как строгал, отбрасывал ногой стружки, было непобедимое равнодушие, и как бы спокойствие. Точно от всего он мог отделаться одним движением руки.

Впрочем, Пермяков и вообще мало верил, чтобы Пелагея приехала. Он считал, что это одни угрозы.

И, однако, ошибся. Хмурым февральским утром, никого не предупредив, и наняв на станции лошадь, Пелагея явилась. Для баб в усадьбе, и в Кочках, для той же Капли это событие было весьма занятно — обещало любопытнейшие развлечения. «Она ее проучит. Покажет, как с чужим мужем путаться!» — говорили *доброжелатели.* И с нетерпением ждали, как именно Пелагея вцепится Маше «в волосенки». Их ожидания, впрочем, в большой мере не исполнились. Конечно, Пелагея рыдала, выла, называла мужа самыми энергическими словами; как женщина истерическая и слабая, то требовала, чтобы он задушил ее, то — чтобы лег с ней спать; то порывалась,— но все на словах — утопить Машу в проруби. Она наполнила усадьбу воплями и полоумием.

Маша держалась почти безвыходно в большом доме. У нее стали дрожать руки, она побледнела, и лишилась сна. Ей казалось, что соперница ее зарежет, или обольет кислотой; тяжело было и то, что общественное мнение,— женщины, стояли за Пелагею, и сочувствовали ей. Маша же должна была сдерживаться, быть готовой к разным уколам и намекам; она чувствовала себя униженной и, ложась спать, неизменно плакала.

Раз, когда Пелагея очень уж доняла Пермякова, он вдруг встал, задрожал, схватил ее за плечо железной своей рукой, и как полено швырнул об пол. Губы его тряслись. Он побелел.

— Убью,— крикнул сдавленно.— Перестань, Полька.

Пелагея взглянула ему в лицо, так ужасно исказившееся, и вдруг поняла, что действительно, она ему совсем чужая и немилая. Отчаяние помутило ее; она стала кататься по полу.

— И бей, бей, дьявол, выпил мою душу, ирод окаянный! Окаянная твоя душа, проклятая, убей!

С ней сделался припадок; она забилась в корчах, и пена показалась на губах. Пермяков вышел. Ее привели в чувство,

но припадок был так силен, что пришлось обратиться к Варваре Михайловне: в деревне барыня — всегда врач.

Варвара Михайловна уже знала, что Пелагея явилась не зря, и ее это беспокоило. Но сейчас, когда та валялась без чувств, когда приходилось ее отпаивать и приводить в себя, а в дальнейшем ожидались новые осложнения, Варвара Михайловна решила *принять меры.* К ним постоянно ездил теперь Коссович, в качестве жениха; грубые скандалы менее всего были уместны. И со свойственной ей категоричностью, Варвара Михайловна потребовала, чтобы Пелагея тотчас уезжала, и если желает, может взять своего *голубчика.* Насчет последнего воспротивился Николай Степаныч.

— Пермяков... мне нужен.— Зачем его отпускать... Он мне нужен по хозяйству.

— По хозяйству он полезен, но это распущенный человек. Я полагаю, что он нам вообще не ко двору.

— Летом жнею починить... в молотилке что-нибудь не тово... нет, без него неудобно.

Варвара Михайловна не настаивала; но за выселение Пелагеи взялась столь решительно, что в два дня все было кончено. Эти последние дни Пелагея ходила слабая, бледная, с болезненно перекошенным лицом; теперь она не бунтовала, и даже не плакала. Но в ее больших глазах, некогда красивых, светло-серых, гнездилась какая-то мысль — точно у ребенка, или безумца. Она все примерялась; глядя на нее, можно было подумать, что она способна бесцельно что-нибудь сжечь; или кого-нибудь убить. В последний день уходила в деревню, шепталась с Каплей и принесла некую скляночку. Поджидала в уединенных местах Машу, с неопределенной, как бы плавающей улыбкой. Однако, не дождалась. Тогда, вечером, прошмыгнула в чулан, где стояли Машины вещи, взломала укладку, и с наслаждением, с фосфорическим блеском в глазах облила все ее *жакеты, саки, юбки.* Потом аккуратно заперла; на другой день, действительно, уехала.

Маша так уж была расстроена, что месть не произвела на нее впечатления. То, что касалось ее и Пермякова, слишком стало общим достоянием. Она нисколько не стыдилась своей связи; но тяжко было вторжение посторонних, сплетни, колкости. Варвара Михайловна отлично понимала теперь все; из высших политических соображений делала вид, что ничего не замечает. Лишь держалась с Машей холоднее и суше.

По мнению Пермякова, Пелагея обязательно должна была уехать; это отвечало его желаниям; и, встретившись раз вечером с Машей, через неделю по отъезде жены, он взял ее за руку.

— Как говорил, так и вышло. Сказал — уйму, стало быть, не зря. Чего же тебе надобно?

Маша была невесела.

— Мне, Андрей Иваныч, с тобой очень хорошо,— она положила свою руку на его ладонь,— и я очень довольна, как ты меня любишь. А все же таки у тебя жена, семья там... откуда ты сам родом.

— Что ж мне, жену удавить, что ли?

— Я не про то! У тебя там земля, хозяйство...

Она с нежностью погладила его железную руку, которою гордилась. У ней на пальце было голубенькое эмалевое колечко; у него — грубоватое обручальное.

— Видишь, на тебе кольцо какое,— небось, когда его надевал, ей то самое говорил, что сейчас мне.

Пермяков усмехнулся.

— Ничего не говорил. Нас сосватали.

Маша вздохнула.

— Теперь барышня замуж выходит, Лизочка. Будут венчаться в церкви, потом в карете домой поедут. Все ее станут поздравлять...

— Чего захотела! Это не по нашей части.

Немного погодя, Пермяков заметил:

— А у меня, конечно, там земля. И вон мне пишут из деревни, скоро наследство получу. Пятьдесят десятин! Я сам тогда помещик стану, не хуже барина.

У Маши неприятно похолодело сердце.

— Что ж, туда поедешь?

— Неужели от своей выгоды отказываться?

Маша помолчала, потом тихо спросила:

— А... я как же?

— Да это еще когда будет! И сам не знаю. Может, и тебя тогда возьму. А то сдам мужикам в аренду, а сами с тобой лавочку откроем, в городе.

Мысль открыть лавочку и поселиться с ним Маше нравилась. Но неопределенность тона, каким он это говорил, и как бы желание отмахнуться от решительного, вызывали сомнение. Во всяком случае, нынче впервые услыхала она об этом наследстве; разговор произвел на нее странное, смутное впечатление.

Был март. Медленно стала проступать весна. Выпадали ясные дни, когда в оконных стеклах голубело небо. В погожий вечер, на закате, снеговая крыша сарая казалась бледно-зеленой, а небо за ним — густо-фиолетовое. Если идти по дороге, то колеи зеркально блестят. Края их отбрасывают синие тени; и на

розовом, сверкающем снеге поля каждый холмик, каждая шероховатость бросает этот синеватый хвост.

В такие вечера небо не по-зимнему хрустально, и нежно; воздух — тонкий эфир; и позднее — выходящие звезды, тысячами вечеров подымавшиеся на этих же местах — вечно прекрасны, как золотая слава мира. Это время года, когда дымятся рыжие кучи навоза, когда лошади в поле начинают протыкаться, дорога буреет, и в ложбинах вспучивает лед. По нем проступают синеватые пятна — вода. И в полях являются водоподтеки. Если хватит их морозцем, они обращаются в пузырчатые зеркала, вставленные в еще белую, слепящую под солнцем равнину.

Позже появились грачи; трудно стало возить на станцию молоко. А потом потеплело, и огромная голубая лужа, стоявшая рядом с дорогой, промыла в ней лазейку; вода зашумела, через день тут нельзя уж было пройти. Дороги потекли, обратились в шоколадного цвета постный сахар. И с большой силой зашумели в этом году воды. Льдины обдирали лозняк; проплыла вздутая дохлая собака. Разлив был так велик, что в Кочках, выше пруда, снесло, ко всеобщему огорчению, мост. Старшина, возвращавшийся из города вечером, чуть было не ухнул в воду, и заночевал на том берегу. О. Михаил должен был дать приют попадье, тщетно стремившейся в село за рекой. Ручьи шумели великолепно. Всю ночь стоял их гул, как бы отличный трубный рев природы.

У моста целый день бродили мужики, и смотрели, как неслась вода между оголенных свай; всю настилку сорвало и унесло.

Пришел и Лев Головин, постоял, придерживая рукой свою *грызь*, и покачал головой.

— Экая силиш-ша... Тут, значит, такая силиш-ша... разве этакий мост устоит? Он, конечно, враз и хряснул.

— А как строили? — возразил Пермяков.— Разве это ледорезы? Надо ледорезы хорошие, так и не снесет. Чтобы льдину дробило. А то льдинами подперло и, понятно, настилку к шуту.

— Только тебя не было, Андрюшка, только тебя забыли спросить, как строить... — зашамкал Федотыч, подошедший сзади на своих кривых ножках.— Все не так, все ему не так! Какой художник выискался!

Пермяков хмуро обернулся.

— Такой и есть художник. А вам бы только по кобыле своей плакать.

Пермяков попал в точку. На днях издохла у Федотыча любимая серая кобыла, на которой он столько лет гарцевал:

Федотыч любил ее, кажется, больше, чем жену; при ее кончине прослезился, и в порыве чувствительности похоронил в конюшне, не снимая шкуры.

Теперь он напустился на Пермякова, но тот, равнодушно засунув руки в карманы, стоял в своей папахе к нему спиной.

Маша была в этот день расстроена, и не явилась даже взглянуть. Лиза огорчилась тем, что несколько дней не может приехать Коссович.

Он ездил теперь часто, и обратился для нее как бы в idée fixe[1]; что бы она ни делала, о чем бы ни думала, все это сводилось к нему. Иногда просыпалась уже с улыбкой, еще сама не зная о чем, как просыпаются люди счастливые, в противность тем, у кого горе, и чьи предутренние сны, и минуты пробуждения столь тяжки. «Да, я, должно быть, немного сумасшедшая,— говорила она себе, но все же улыбалась.— Удивительно странно. В первый раз, как его увидела, он почти не понравился. Но представить себе, только представить, что и он меня полюбил! Нет, это чудо, прямо это необъяснимое чудо». Дело в том, что Лиза считала себя за простую, худенькую деревенскую барышню, и очень странно ей было, как это Коссович, такой красивый и блистательный, живший и в Петербурге, за границей, столько видевший, мог остановиться на ней. «Значит, Бог так хочет; это Его воля, и Его милость ко мне».

Святая промелькнула быстро. Взгорья обсохли, появились фиалки; вода в речке давно спала, и Коссович ездил опять ежедневно, привозил цветы. Варвара Михайловна хлопотала: близилась свадьба, а не все еще в приданом было готово. Раза два пришлось слетать в Москву, ходить по магазинам, по портнихам, и с серьезным видом разбирать белье у Колесникова и Альшванга.

Венчание предполагалось в Кочках, в конце апреля: по старинному взгляду считали, что май решительно негоден для такого дела — всю жизнь молодые будут *маяться*. За мелкими заботами дотянули до конца месяца. Пришлось назначить двадцать девятое.

Распустились березки, цветы появились. О. Михаил велел убрать церковь зеленью; это напоминало Троицу, и действительно, бледно-зеленые березки, букетики белых, желтых лютиков, зари, фиалок — отвечали легкому ит радостному чину службы. О. Михаил не был поэтом, но здесь и его приподняла торжественность обстановки, нарядов, сдержанно-взволнованный

---

[1] навязчивую мысль *(фр)*

вид Лизы. Он служил довольно хорошо. Пел маленький хор школьников, из соседнего большого села. За окнами церкви, сквозь голубоватый ладан, было видно нежно-апрельское, весеннее небо. Коссович, в парадном мундире, сильно надушенный и с расчесанными на боковой пробор волосами, стоял покойно; он деловито менялся кольцами, аккуратно ходил вокруг аналоя, помнил, что надо поддерживать Лизу, чтобы она в чем не сбилась; но Лиза владела собой порядочно; и ничего нескладного во время службы не произошло.

Когда их поздравляли, лобызали, Коссович весело сказал Николаю Степанычу:

— Ну вот, церемония и кончилась.

Казалось, он сейчас же мог бы заговорить о том, что для земства лучше строить железные мосты, чем деревянные. Последние, хотя и дешевле, но посмотрите, например, кочкинский: всего шесть лет, и пустой паводок его сносит.

— Да... ну, поздравляю,— пробормотал Николай Степаныч.

Он тоже был одет парадно, и штаны с красными лампасами были ему явно длинны; но своей манеры говорить рассеянно и вяло он не изменил.

При выходе из церкви, молодых поздравляли девушки, прислуги, кое-кто из рабочих. Федотыч, в черном сюртуке и белом галстуке, на кривых ножках и слегка прослезившись, поцеловал ручку молодой барыни. В дверях Лиза обняла Машу, прифранченную, очень серьезную и слегка бледную. Пермяков сказал кратко и почтительно:

— Поздравляю вас, барыня.

Домой шли пешком. Надо было пройти мимо могил церковной ограды. Один старинный ангел над урной, александровского времени, на минуту привлек внимание Лизы, как бы проведя по ее сердцу милый, и грустный звук. Солнце тепло светило над ангелом; несколько золотых пчел летало над цветшей ветлой. Молодые, родители, шафера и несколько знакомых шли вдоль каменной ограды парка, в легкой, еще сетчатой тени оперяющихся лип. Направо, окаймленный ивами, с небольшой купаленкой, лежал пруд, отражая светлые облачка. Бугор на той стороне нежно был одет зеленями.

Вернувшись, Лиза зашла в свою угловую комнату, где проходило ее детство, куда институткой приезжала она на каникулы, где читала, мечтала, и видела некогда Богородицу. Она села на стул у зеркала, сняла фату, и внезапно почувствовала, как ужасно устала. Вошла Маша.

— Ах, Машенька,— вдруг Лиза обняла ее и заплакала.— Милая Маша!

— Чего вы, дорогая барышня? — Но и у ней показались слезы.— Все хорошо, слава Богу, дай вам Бог счастья...

— Я страшно, страшно счастлива, а все-таки вот плачу, как дура... Ты приезжай к нам непременно, я тебе покажу Радищево, все имение.

— Покорно благодарю.

Она вздохнула.

— Уедете, Лизочка, в Петербург, всех нас забудете.

— Нет, пожалуйста, не говори. Никого, ничего не забуду!

Может быть, Маше и не так уж важно было, забудет ее Лиза или нет, но сейчас она тоже взволновалась — наверно, собственными волнениями — и тоже заплакала, целуя Лизу. Когда они несколько успокоились, Маша помогла ей переодеться.

В тот же день, под вечер, после парадного обеда с шампанским, Коссович увез Лизу в Радищево. Она была возбуждена, счастлива и грустна. С бугра все обертывалась, пока виден был дом, парк и неуклюжая, с детства привычная церковь. Потом махнула им платочком. Муж гладил ее руку.

VII

Варвара Михайловна скучала по дочери, но не слишком. В общем, она была довольна браком. Зять, несомненно, способный человек, и выдвинется. Или его выберут в предводители, или он бросит деревню — быть может, это даже лучше,— и будет служить в Петербурге: во всяком случае, связей у него достаточно.

И не предаваясь элегии, Варвара Михайловна по-прежнему была покойна, деятельна, ходила летом по хозяйству в светлых платьях и коричневых ботинках, под цветным зонтиком, оправдывая изречение народной мудрости, что *хозяйский глазок смотрок*. Когда наступила осень и начали молотьбу, она по вечерам читала «Новое Время», иногда вслух, для Николая Степаныча. Он набивал папиросы и пребывал в равнодушии.

Насчет Маши Варвара Михайловна держалась раз усвоенной позиции: холодна, официальна, и в личные дела не вмешиваюсь. Если же *что-нибудь* произойдет, милости просим в Москву; только, пожалуйста, без шума.

Шума никакого Маша не собиралась производить. Чувствовала же себя не вполне хорошо. Несколько раз пробовала заговаривать с Пермяковым о будущем, но он обрывал кратко, и даже угрюмо. «Конечно,— думала Маша,— кабы я венчанная была, как Лизавета Николаевна, тогда другое дело...» Тут же получалась странность: она сильно привыкла считать его *своим*,

именно *мужем*, и как настоящий муж он занимал все поле ее сердца и души; в то же время ощущала она неустойчивость их жизни. Эти сомнения и опасенья занимали ее всю осень и, наконец, утомили. Вышло так, что когда выпал снег, стало сухо и бело после ноябрьской грязи, ей сделалось легче. В пределах немягкой натуры, Пермяков был с ней хорош; по-прежнему видались они днем постоянно, то на минутку, то на полчаса, и теперь уже в усадьбе все так привыкли, что это не вызывало удивления. По ночам нередко Маша бегала к нему. Случалось, что метель задувала дорожку к людской. Маша выходила на крыльцо, ее обдавало свежим вкусным ветром, засыпало снегом. Собаки подымали лай, метался на цепи главный пес усадьбы, бородатый овчар Полкан. Придерживая платок на груди, другой рукой подбирая юбку, она большими шагами, смело пробегала мимо, и все в той же снежной буре, в кромешной тьме зимней деревенской ночи пробиралась к застольной. Там, в небольшой отдельной комнатке, с выходом в пустые сени — жил Пермяков. Иногда за загородкой сонно сопел теленочек; случалось, куры тревожились наверху, на насесте, и начинали трепыхаться. Это не было страшно, все же заставляло вздрагивать. Бодрой тревогой и оживлением эти ночные странствия напоминали первые дни их романа, когда летом бегала она к нему на копны.

Понемногу Маша стала забывать о тех тяжелых часах, когда приезжала Пелагея. Известий с родины Пермякова не было; эта родина где-то за тридевять земель, он не вспоминает ни о ней, ни о жене. Пожалуй, что и все-то разговоры о наследстве — болтовня. Все это крепче привязывало. Как настоящая жена, Маша теперь больше занималась жизненными делами Пермякова: чинила белье, носила газеты, наблюдала, какие он себе покупает валенки; упрекала, если проигрывал в карты косому Яшке. Выпадали ссоры — из-за ревности,— тогда миловидное ее лицо становилось злобным и некрасивым; она способна была грубо браниться. В общем же эта сторона мало мучила их.

В конце января, когда на риге домолачивали последний овес, в приводе сломалась шестерня; в Москву нужно было еще кое за чем, и Пермякова отрядили туда на день. Он взял и попорченную часть.

Для таких поручений Пермяков был незаменим — выполнял все точно, быстро, и никогда не выходило с ним недоразумений. Маше тоже отчасти нравились эти отлучки. Радостно было ждать его возвращения; он всегда ей что-нибудь привозил.

Со станции Пермяков вернулся в ветреное, солнечное и морозное утро. Он был туго закутан в башлык; скулы его побелели. Убрав лошадь, понес Николаю Степанычу новую

шестерню и почту. В доме первой встретила его Маша. Он положил шестерню, зашитую в рогожу, в передней на столике, вынул из кармана газеты, письма.

— Вот, снеси барину.

Одно письмо оставил, и положил обратно. Она заметила это.

— А еще-то письмо?

— Это мне,— ответил он кратко.

Маша на минутку замялась было с газетами, точно собиралась спросить. Он мельком на нее взглянул. Взгляд показался Маше неприятным.

— Неси, что ли,— сказал он холодно.— Чего ж ты?

Маша ушла. К Пермякову вышел в переднюю Николай Степаныч, только что вставший, сел на стул, и вместе принялись они считать сдачу, рассматривать шестерню. Красное зимнее солнце светило на них; в столовой топилась печь, и потрескивали дрова; за обледеневшим окном термометр с синим спиртом показывал пятнадцать. Резкий ветер сдувал снег с пруда; кой-где блестел на нем лед.

Маше очень хотелось узнать, что это за письмо, но было решительно неудобно спросить; она и мешала поленья в печке, и раза два без достаточных оснований проходила через прихожую. Николай Степаныч, сверх очков надев еще пенсне, старческой, дрожащей рукой проверял счета. Как только он это кончил, Пермяков надел папаху и вышел.

До вечера она нигде его не видела. В шесть не вытерпела и побежала к нему. Он пил чай в застольной, собираясь играть с Яшкой в карты. Но, должно быть, у нее был взволнованный вид; он играть не сел, а вышел в сени. Он заметно был не в себе. Они прошли в его комнатку.

— От кого письмо получил? — спросила Маша, глядя на него пристально, и слегка бледнея.

Пермяков вдруг рассердился.

— От кого, от кого! Отец пишет, и все тут.

— Что пишет?

— А то, что земля мне выходит, пятьдесят десятин. И чтобы беспременно приезжал.

Маша уже слышала, как стучит ее сердце — гулко и крепко. Она протянула все же руку. На мгновение ей померещилось, что, быть может, в письме совсем не то, что он сказал. Пермяков закурил папиросу — одну из тех, которые тайком брала она у Николая Степаныча, и отвернулся.

Прочитав, она не знала, что сказать, положила письмо назад. Потом тоже села, и минуту молчала.

— Что ж, поедешь?

— А то нет? Я теперь помещиком буду. Кто ж от своего счастья отказывается?

У Маши запрыгали губы.

— Андрей Иваныч, а как же я?

Пермяков встал и подошел к ней.

— Ежели устроюсь, и тебя, может, выпишу.

Тем все и кончилось. Пермяков так глубоко был убежден, что дома его ожидает *счастье*, что уклонялся от всяких объяснений, поставил дело практически: стал готовиться к отъезду. Так называемое счастье представлялось ему довольно странно: он знал, что жизнь с суровым тестем, с нелюбимой женой, которая никогда его не простит, будет хуже и тяжелее той, какую он ведет здесь. Даже больше: он был уверен, что без Маши скоро начнет скучать. Но по всем его понятиям, и по понятиям окружающих безумием было бы остаться здесь. Пятьдесят десятин! Все в усадьбе уже завидовали ему, и считали, что в жизненной лотерее он вытянул удивительный нумер. Сама Маша так полагала. Она страдала жестоко, много ночей провела в слезах и тоске, но у ней не было чувства, что она *имеет право* его удерживать. Она сетовала больше на судьбу. Его же решению не удивлялась.

Все-таки, ей чудилось, что, прожив с нею два года, взяв ее молодость и всю силу любви, которая была ей дана, он не забудет ее тотчас. Смутным чувством, очень подавленным, она верила, что, приехав, устроившись, Пермяков ее выпишет. Она поселится хотя бы поблизости.

В день отъезда он был мрачен, сдержан, и как-то тороплив. Против обыкновения все не клеилось у него. Вещи не укладывались, лошадь пришлось перепрягать. Его вез на станцию, в розвальнях, Лев Головин. Маша села на облучок; она хотела проводить их с версту, до выезда на большую дорогу. Смеркалось. Было хмуро. Сильный ветер налетал и рвал — ветер близящейся весны. Он дул с юго-запада. Пермяков надвинул папаху.

— Оттепель надует.

Лев тронул вожжой.

— Надует! Опять вода пойдет.

Лев Головин имел такой вид, что все приходит в свое время; когда надо, придет и вода. Если она не снесет мост, то этому удивляться не следует, ибо мост новый, и построен лучше. А если снесет, надлежит отнестись философически: ибо кто знает, какой именно силы будет нынче вода? Лев любил свою дочь. Но то, что Пермяков бросает ее, не казалось ему странным.

На повороте Маша встала. Лев остановил лошадь, и смотрел куда-то вперед, точно не желал видеть, что сзади.

Маша поклонилась.

— Прощайте, Андрей Иваныч.— И протянула ему руку.— Не забывайте нас.

Пермяков быстро встал, обнял ее и поцеловал. В полутьме не видны были ее опухшие, мокрые глаза. На мгновение он прижал ее к себе; она припала щекой к его колючей щеке; в эту минуту что-то прежнее, от ласковой и счастливой жизни прошло между ними, нечто невозвратимое. Быть может, весь этот теплый и ветреный вечер, мрачные сумерки — сон, обман? И обман — будущая их жизнь?

Он резко оторвался, сел, и сердито, с волнением крикнул Льву:

— Да трогай, что ли! К поезду опоздаем.

На следующий день, и еще на следующий, и на дальнейшие Маша ходила, говорила, работала приблизительно так же, как и раньше. Ни с кем она не советовалась, и никому не жаловалась. Плакала по ночам, и то скупо, не расточая горя. Оно не рассасывалось. Стояло все такой же, немой, холодной тенью.

Сначала она ждала от него вестей. Потом сама написала. Ответа не было. Она написала еще — то же самое. И об этом она никому не сообщала. Но как раз в это лето в Кочки приезжала Лиза: Коссович уехал в Петербург. От нее она не таилась.

Так как Лиза была уже теперь дамой, то Варвара Михайловна сочла, что с ней можно говорить о Маше. Она выразилась так:

— Разумеется, этот ловелас вернулся, наконец, к семье, и она осталась ни с чем. Ее жаль, но, в общем, это естественно.

Помолчав, Лиза заметила:

— Почему же естественно? Она так его любила.

Философ здравого смысла возразил:

— Ну, милая, это все преувеличения. Поскучает, и отлично его забудет.

Маша думала, что, быть может, с Лизой вместе они составят письмо получше, чтобы оно тронуло Пермякова, и вызвало на ответ. Сочиняли его на совесть, и казалось, что вышло хорошо: никаких упреков, наседаний — просто нежная просьба написать два слова.

— Кабы я к нему приставала, или денег требовала,— говорила Маша.— Мне бы только про него узнать.

— По-моему, обязательно ответит.

Лиза собственноручно заклеивала конверт. Решили, для верности, послать заказным.

Лиза была задумчива и не так уж очень верила в успех. Да и вообще она выглядела невесело. На вопросы матери, как живет с мужем, отвечала сдержанно:

— Да, хорошо.

Варваре же Михайловне такой ответ больше нравился. Если б Лиза выразилась страстнее, она сочла бы это за романтизм и утрировку.

Изысканное послание кануло в тьму, подобно прежним. Они даже и не говорили о нем больше. В августе Лиза уехала. А в октябре, когда началась мрачная деревенская осень, на Машу напала такая тоска, таким унылым представился ей барский двор, Кочки, молочная с сепаратором, людская, что она решила идти в Москву, пытать счастья под новым горизонтом. Варвара Михайловна этому не удивилась. К ее коллекции горничных, уходивших в столицу, прибавился еще экземпляр. Душевные причины она признавала лишь частью. Считала, что теперь Маша достаточно обучена в деле своевременного убирания тарелок; что идеи порядка и целесообразности осели, наконец, в ее душе; ныне она желает больше зарабатывать и лучше жить.

Николай Степаныч был глубоко равнодушен. Она простилась с господами очень почтительно, горячо кланялась молодой барыне, и благодарила за доброе, что видела в их доме. Варвара Михайловна приняла это как должное: ничего дурного она Маше не сделала.

Тот же Лев Головин хмурым и туманным вечером свез и ее на станцию. Он ждал, что теперь она будет *подавать* им из Москвы. Так было принято.

VIII

В Москве Маша устроилась довольно скоро — через родных, и знакомых землячек. Нельзя сказать, чтобы зарабатывала она здесь много, как полагала Варвара Михайловна; но Москва оказала на нее известное,— и неплохое действие. Новое место, люди, впечатления, несколько заслоняли то, что произошло. Разумеется, не всегда; и это прошлое давало о себе знать; все же, с течением времени, меньше.

Было у нее такое чувство, что и она оторвала минувшее, сама повернула жизнь; и это давало удовлетворение, как бы реванш гордости. Здесь для всех она была просто Маша Головина, видная девушка, на которую внимательно взглядывали швейцары, младшие дворники и молодые почтальоны — круг столичных сердцеедов. Ее прежней жизни никто не знал. И не приходилось о ней рассказывать. Теперь Маша вообще чувст-

вовала себя иначе; она крепла, развивалась, обращаясь целиком в женщину. На вид ей можно было дать больше лет, чем приходилось в действительности. Она лучше одевалась, чаще франтила; ее несчастие было — большие ноги, на которые не находилось в магазинах обуви. Она заказывала. Стала она смелее и бойчей в разговоре; на именинах у какой-нибудь кухарки могла выпить наливки и раскраснеться, хохотать. Со стороны могло казаться, что сейчас ей вообще легче. Это было неверно. Изменилось самое коренное. Та девушка Маша, чье сердце открывалось ветрам четырех стран света, осталась в Кочках. Тут же был иной человек.

Спустя год как попала в Москву, зимним вечером, она познакомилась с молодым извозчиком Сеней. Этот Сеня был безусый, но довольно бойкий парень из Дмитровского уезда. Он назначил ей в воскресенье место, где встретиться — на Новинском бульваре. Катал ее бесплатно по Москве, потом завез в трактир с номерами. Там подпоил и, к удивлению самой Маши, достиг всего, чего хотел. Правда, он ей нравился. Эта была первая измена Пермякову — измена, оставившая в ее сердце странную смесь печали и гордости. «Ну что ж,— рассуждала она.— Я теперь свободная, сама себе госпожа». Но у нее совсем не было чувства *радости*, сознания *хорошего дела*. Она виделась с этим Сеней еще несколько раз. Он оказался глуповатым, развязным, и быстро выказал намерение поживиться на ее счет. Он скоро ей надоел. Его бросала она без сожаления.

Другой ее роман, значительно позже, оказался серьезней. Его герой был газетчик с Арбата, куда ежедневно посылали ее за новостями. Савелий Ильич Карташев, человек немолодой, раздражительный, женатый, вел с ней длинную и почтительную историю. Он действительно полюбил ее; страдал, если она не приходила за газетой, ревновал до бешенства, еле скрываемого. Он, наконец, стал ходить к ним на кухню. Тут скромно пил чай, держал себя весьма прилично, с достоинством, и из-за длинного, худого носа благоговейно глядел на Машу. Но его глаза были тяжелые; мрачное что-то, незадачливое, чудилось в этом человеке. Как мужчина он ей совсем не нравился. Внушал лишь уважение серьезностью (он рассуждал и о политике, о Государственной Думе — в духе газеты, которую продавал); трогала преданность, влюбленность. Его семья жила в деревне; жену он не любил, для Маши — бросил совсем.

Осада была продолжительна. Наконец, Маша приняла предложение — жить вместе, распоряжаться им и быть полной хозяйкой, как бы женой в его доме. Савелий Ильич был состоятелен, и почти независим. Маша прожила с ним два года.

Она была добросовестной женой, и хозяйкой порядочной, но эта жизнь не радовала. Главное — она его не любила. Вряд ли и Савелий Ильич считал себя счастливым. Холодность ее он сносил тяжело; ревновал, мучился, и становился раздражительней. Ей приходилось с ним довольно солоно. И неизвестно, куда завело бы все это, если б зимой на третий год он не захворал воспалением легких. Болезнь скрутила его. Весною Маша его похоронила.

Эта смерть подействовала на нее тяжело. В сущности, она была здесь ни при чем. Все же, глядя на гроб этого человека, с которым прожила два года как жена, с горечью подумала она о том, что вся ее жизнь с ним была неправда,— радости не дала ни ей, ни покойному; как ни старалась она разубедить себя, осталось ощущение, что именно она, Маша Головина, неизвестно зачем сократила его дни. Провожая его прах на кладбище, впервые она его пожалела.

Когда на бульварах зазеленели деревья, ей вдруг захотелось к себе, в деревню, в Кочки. Есть же ведь у ней родина! Есть свой дом, земля, отец с матерью, сестры. Ничто не удерживало ее сейчас в Москве. Да и сама Москва, в общем,— чужое место.

Вид родных краев очень взволновал ее — она не сдержала слез, спускаясь на наемной подводе с бугра, мягко лоснившегося зеленями. Как всегда весной, блестел внизу пруд; белел в липах барский дом, в селе топили печи, и голубые дымки шли вверх. Пахло весной и печеным хлебом.

На этом самом бугре, пять лет назад, пожала она в последний раз руку Пермякова.

Мало что изменилось в Кочках. В семье Головиных появился новый братец. Высокая худая баба Дарья по-прежнему торговала тайно водкой. У Федосьи, муж которой служил в оптическом магазине, как всегда, был небольшой склад барометров. Произошли и некоторые события: в прошлом году дочиста обокрали Федотыча, явившись ночью, в масках, и назвавшись революционерами. Анна Сергеевна вышла замуж за учителя, с которым познакомилась на летних курсах в уездном городе. Ваня Пузанов — метранпаж. Радищевский барин не живет больше в имении — он где-то в Петербурге. Молодая барыня опять здесь. А у нашего барина механик — чех; ставит новую молотилку.

Маша тотчас же явилась на барский двор, слегка растрогалась, увидев барыню, и поцеловала ей ручку. С Лизой встреча вышла еще теплее.

— Что ж ты, к нам надолго? — спросила Лиза.

— Да уж, наверно, на лето, барыня.

Маша нашла, что Лиза сильно изменилась,— утратила девичий облик, и стала еще серьезней. Почти так же думала о ней и Лиза.

— А как же, Александр Иваныч не живут теперь в Радищеве? — спросила Маша.

Лиза ответила коротко:

— Нет, он в отставку вышел. В Петербурге делами занимается.

Маша почувствовала, что она не все рассказывает, и как бы не желает договаривать.

Маша поселилась у себя, на деревне, но в усадьбе бывала постоянно: то устраивалась *большая стирка,* то ее звали помочь что-нибудь в огороде; в июне, как некогда, она ходила на барский покос.

Первое время чувствовала она себя в Кочках недурно. Ей представлялось, что прошлое ушло невозвратимо; жизнь в Москве тоже отодвинулась. Не размышляя, не давая себе ясного отчета, она считала уже себя как бы свободной.

Это казалось ошибочным.

Чем дольше она здесь жила, тем чаще разные мелочи вызывали в памяти былое: гудение сепаратора по вечерам, отворенные двери инструментального сарая, межа между ржей, разговор Федотыча с Николаем Степанычем об уборке; и особенно — уж чистая случайность — она нашла, что новый механик, чех, похож на Пермякова. Как иностранец, он держался иначе, иначе ходил и говорил иначе, называя голову — *глáва,* а березу — *бжиза.* Но в общем его суховатом облике, серьезности, в крепости рук, в небольших серых глазах, остром профиле; в манере работать над разными зубьями и шестернями — действительно было нечто, неотразимо напоминавшее Пермякова. Свои дела с Пермяковым она давно сочла конченными, и от всего *того* в глубине сердца осталась у нее одна печаль, без злого чувства. Этот же человек ее раздражал. Она его почти возненавидела. И тогда стала думать, что, в сущности, ей решительно здесь нечего делать.

Однажды, в июле, она зашла в комнату Лизы, с только что выглаженным бельем. Лиза сидела в кресле, и смотрела в сад; на коленях у нее лежало письмо. Пока Маша молча укладывала белье в комод, Лиза вздохнула и спросила:

— Что же, Машенька, скоро в Москву?

— Да, уж теперь скоро, барыня. Я так и располагала здесь до половины августа прожить.

В комнате было прохладно. За окном цвели липы. Пахло духами из комода, и липовым цветом. Влетел большой шмель, бурый, мохнатый, и с гудением плавал в воздухе.

— Значит, вместе уедем.

Маша промолчала.

— А вы где же зимой будете?

Лиза спокойно ответила:

— В Самаре.

— В Самаре?

Переспросив, Маша запнулась. Ей показалось, что, может быть, Лиза опять о чем-то умолчит, ей неловко было бы выпытывать. Но в этот раз Лиза сама заговорила.

— Ты ведь знаешь, мы с Александром Иванычем врозь хотим устроиться. Собственно, и все последнее время так было. Но теперь окончательно решили. В Самаре у меня подруга есть, еще по институту. Вот, она открыла там частную гимназию. И меня зовет к себе, учительницей. Я люблю, ведь, детей.

Все это для Маши было неожиданно. Кое-что она слыхала, кое-что угадывала, но все же смутно.

— Мы так решили,— продолжала Лиза,— что Александр Иваныч будет ко мне наезжать... ну, и я к нему иногда съезжу.

— Вот ка-ак! — протянула тихо Маша.— А ведь я думала, вы в Петербурге...

Лиза встала и подошла к ней.

— Помнишь, когда моя свадьба была, ты меня в этой самой комнате переодевала? Тогда еще твой Пермяков здесь был. И мы обе ревели? Я отлично запомнила — ты сказала: уедете в Петербург, всех нас забудете?

— Да, говорила.

Лиза улыбнулась. В глазах ее были слезы.

— А вышло не так. Никого я вас не позабыла, вовсе.

Она обняла Машу, и вполголоса, быстро заговорила:

— Все равно, от тебя не стану уж скрывать: нам с Александром Иванычем не удалось... не вышла наша жизнь. Его винить совсем не за что. Он такой же все, как был. Кажется, я ему тогда нравилась... даже, может быть, он влюбился. Но, по-моему, это прошло.

Лиза улыбнулась, как бы вспоминая что-то милое.

— Знаешь, я его ужасно люблю. Он такой же все... смешной, все говорит, все устраивает. Ему кажется, что без него никто ничего сделать не может. Прежде земствами занимался, разными школами, садоводством, свиней разводил. А теперь бросил. Взялся играть на бирже. Он сейчас акционер большого предприятия, и говорит, что не надо банковское дело отдавать евреям... будто бы надо самим русским все устраивать. Вот и устраивает... только вряд ли, мне кажется, что-нибудь выйдет.

— Значит, они теперь не военные?
— В отставку вышел.
Маша несколько осмелела.
— Лизочка,— спросила она, хотя и робко,— что же, он себе кого-нибудь завел? Что вы в Самару-то собираетесь?
— Нет, никого не заводил.
Лиза опять стала тише, и задумчивей.
— Он, Машенька, никого не завел, а просто я чувствую, что ему со мной скучно. Только он этого не говорит. Я и не хочу его стеснять. Будет приезжать ко мне — очень рада. Нет — ну, что ж поделать. Да,— вдруг как бы спохватилась она,— мне что в голову пришло: поедем и ты со мной? Будешь у меня служить... мне веселей будет со своим человеком.
Все это взволновало Машу. Но насчет предложения она не колебалась — приняла его с радостью. «Значит, такая уж мне судьба,— думала она,— в Самару, так в Самару». В общем, ей казалось, что это самое правильное.
В рассказе Лизы она все приняла, и поняла. Но считала, что кое-что Лиза не договорила.
Спустя несколько дней, возвращаясь под вечер из волостного правления, она увидела Лизу, за церковной оградой. Та ее поманила. Маша вошла.
— Что это вы, барыня, могилы рассматриваете? — спросила она.— Была охота!
Лиза усмехнулась.
— А что ж, я могил и совсем не боюсь.
— Ну, все ж таки...
— Я, ведь, верующая, Машенька. Так чего же мне бояться?
Маша ничего не могла сказать. Про себя она не знала даже, верит, или нет? Ей редко приходилось об этом думать.
Садилось солнце. Славный, и кроткий русский вечер наступал. Внизу по шоссе погромыхивала телега. На бугре навивали последний ржаной воз. У избы девочка, рассердившись на мальчишку, бросила в него щепоткой пыли, эта пыль медленно ниспадала, золотясь в солнце, как фейерверк.
Лиза остановилась перед памятником, где ангел простирался над урной.
— Этого ангела я запомнила еще со дня своей свадьбы.
— А поди уж пятый год идет? — спросила Маша.
Лиза как будто ее не слышала. Потом вздохнула.
— Вот оно, воспоминание о моем счастье!
Маша молчала.

1916

ЗЕМНАЯ ПЕЧАЛЬ

Господний раб и Бригадир
Под камнем сим вкушает мир.

А. Пушкин

Недалеко от усадьбы, за речкой, на возвышенном месте, есть курган. Он невысок; его запахивают, и ржаной колос шуршит по его склонам. Тот, кто в давние времена выбрал это место, поступил правильно: место хорошее. Отсюда видны горизонты всех стран света, и вольно ходят здесь ветры севера, юга, востока и запада. Это древнейший пункт нашей земли.

Если спускаться от него вниз, к речке, то пересечешь овражек — крутой и довольно глубокий. Там течет небольшой ручей ключевой воды; весь овраг зарос орешником, осинником, жимолостью; кое-где, на круче, обнажен рыжеватый известняк. Дети ходят сюда летом за грибами, а осенью — по орехи. Некогда тут был непроходимый лес, и у ручья стоял скит. Ничего не осталось от этого скита; верно, лишь ручей все тот же.

Пройдя далее лугом, можно вновь подняться к яблочному саду, и вы перед домом — небольшим помещичьим домом, одноэтажным, с террасой. Он ничем не замечателен; и рядом с той стариной, от которой мы шли, очень молод. Перед ним цветник, лужайка, с боков он обрамлен старыми липами, тополями и кленами. Ниже лужайки три маленьких пруда.

Если вспомнить, кому принадлежало это поместье, придется отойти века на полтора.

Имением, сельцом при нем и несколькими усадьбами в соседстве владели князья с фамилией громкой. Ныне осталась одна фамилия, а богатства разбрелись. И ничто не указывает, что две деревни в пяти верстах одна от другой были — одно. А тех князей дальний потомок, с этой же громкой фамилией, служит околоточным в губернской полиции.

Усадьбу, куда мы вышли, еще при крепостном праве получил помещик Метакс. Надо думать, был он человек странный, и с причудами. Разумеется, играл в карты. Большой свой каменный дом, что стоял рядом с теперешним, в парке, он проиграл соседу

Балахнину. Тот не мог свезти дом в цельном виде. Но он ему принадлежал. Балахнин прислал каменщиков, и десятки подвод. Дом разобрали, сложили и увезли. Теперь место, где он стоял, сильно затенено липами. По остаткам фундамента разрослась бузина, тянутся две-три рябинки с кораллами своих ягод, да живут ужи.

Метакс прожил здесь довольно долго. Травил лисиц и зайцев по окрестным полям, пил водочку и предавался грехам рода человеческого. Наверно, курил трубки; чтобы убить время, меланхолически прохаживался взад и вперед по комнатам, напевая нечто бравурное. Умываясь по утрам, мурлыкал марши.

В трех верстах обитал в имении его приятель, тоже помещик, компаньон по охотам и собутыльник. Этот кончил дни свои довольно странно. Раз, сильно выпив, надел парадную форму гродненского гусара, оседлал коня, сел и, неизвестно зачем, в полной амуниции въехал в свой пруд — довольно глубокий.

Метакс же проживался медленно. Так как он читал Вольтера, был безбожником и вольнодумцем, то за некую провинность и вовсе запретили ему выезжать. Он засел и понемногу нищал.

О бедности, до которой дошел, рассказывают следующее.

Приехал к нему раз священник, из соседнего села, по делу. Священник этот был не прочь выпить.

— Батюшка,— спросил Метакс,— не угодно ли вам мадерцы?

— Это можно,— ответил батюшка.

Хозяин встал, долго искал по шкафам, но потом с серьезностью заметил:

— К сожалению, мадеры нет!

Через некоторое время спросил:

— Может быть, красного?

— И красного возможно.

Но, осмотрев, склады, хозяин сказал меланхолически:

— Как жаль! И красного нет.

Когда батюшка собрался уезжать, Метакс заявил:

— А чепуха все эти мадеры, красные... Выпьем лучше матушки-водчонки!

Батюшка согласился. Наведя справки, хозяин задумчиво подошел к окну, поглядел и скромно заметил:

— За водкой можно бы послать на деревню. Отец Симеон, нет ли у вас двугривенного?

Предание не упоминает, как умер этот человек, не делавший на своем веку ни доброго, ни злого. Был ли он одинок в смертный час, или умирал на руках какой-нибудь стареющей Аксюши — мы не знаем, как неизвестно и то, для чего тянул

он канитель своей жизни, и почему, вместе с другом, гродненским гусаром, не заехал однажды в пруд.

Время героических помещиков прошло. Отошли барские забавы, новый век наступил. Усадьба перешла к разночинцу, того больше: к актеру.

Актер Борисоглебский тоже некогда был богат. Он любил свое искусство, содержал в разных городах России театры, кочевал, прогорал в Калуге, делал сборы в Ярославле, искал славы, увлекался женщинами и актерскими талантами. Несомненно, он бросался на шею Андреевым-Бурлакам, обнимал Глам-Мещерских, называя их голу́бой, мамой. Конечно, пил.

В имении он отдыхал летом. О нем помнят, что он был добрый малый, хотя и страдал несварением желудка. Он женат не был. С ним приезжали обычно две-три актрисы, которых мужики считали его временными женами. Актрисы, будто бы, тоже пили. Иногда они доходили до предела веселья, в другие дни ссорились и рыдали. В минуту уныния Борисоглебский нагой разгуливал по парку.

И он канул куда-то. От его сценический славы осталось немного: на чердаке засохший лавровый венок, весь в пыли. Некоторые утверждают, что кухарка нынешних владельцев, в минуты нехватки, кладет листики с него в рассольник. Уцелела еще коричневая папка, по которой золотом напечатано: «Дорогому Александру Николаевичу Борисоглебскому любящие товарищи». В эту папку теперь вкладывают разграфленную ведомость о том, когда какой корове телиться.

Ныне усадьба населена. В ней есть старые, средние, молодые, крошечные люди. Старые знают, что уж никуда отсюда не уйти; средние свыкаются с монотонной, уединенной жизнью; молодые рвутся в столицу; крошечные блаженствуют среди садов, грибов, лошадей. Но судьба всех, живущих здесь, в конечном счете еще неясна. Их летопись не написана.

Смутным августовским вечером, в сумерках, при желтеющем жнивье и светло-зеленых зеленях, глядя на вечный, таинственный круговорот вселенной, проходя в полях по давно знакомой меже, человек может вспомнить далекого скифа, упокоившегося в кургане; мысленно взглянуть на русских монахов, гнездившихся в лощинке; с улыбкой — и насмешливой и сочувственной — окинуть взором толпу чудаков, именуемых русскими помещиками, что жили здесь, в окрестных селах, да и сейчас еще не перевелись, и мечтают разводить колоссальные фруктовые сады, засевать японскую траву по-у-дзы, сказочно богатеть. Легкий ветер времени, тоже как бы с улыбкой, играет всем этим, завевая былое легендой.

Философ же давно свыкся с мыслью о разлуке с земным. Давно привык видеть пустынную, и светлую вечность. Все же безмерно жаль земного! Жаль неповторимых черт, милых сердцу, жаль своей жизни и того, что в ней любил.

Возвратясь в свою комнату, взглянув на дорогие портреты, дорогие книги, тоже с усмешкой подумаешь, что, быть может, через тридцать лет твоим Пушкиным будут подтапливать плиту, а страницы Данте и Соловьева уйдут на кручение цигарок. Тогда летописец скажет слово и о твоей жизни. Какое это будет слово? Кто знает!

1915

ИЗ КНИГИ «ПУТНИКИ»

ПУТНИКИ

E quindi uscimmo a riveder le stelle.
Dante, Inf., XXXIV.[1]

I

С балкона Казмин видел, как вороная тройка, которую он выслал за Ахмаковым, перемахнула через плотину. По лугам дорога была хорошая. Иван пустил шибко; через несколько минут они должны были явиться.

Казмин встал из-за стола, где накрыт был чай и стояла закуска, закурил, прошелся взад и вперед; под ногой скрипнула половица; сквозь колонны, в сереньком летнем дне были видны заливные луга, копны и вдали отлогий бугор. Под ним, у плотины, мельница. «Вот так Алексей Кириллыч,— думал Казмин,— взял да и собрался». Он немного даже посвистал. Эти мысли и посвистыванье просто выражали удивление. Ахмакова, известного деятеля, земца, члена разных обществ, Казмин знал, и они были в добрых отношениях. Все же знал не настолько... Никогда не обмолвился он о том, что может приехать.

Услышав шум экипажа, Казмин вышел через гостиную и залу в обширные, темноватые сени и дальше, на крыльцо. Ахмаков вылез уже из коляски. Он снимал с себя и отряхивал пыльник, неизменно высылавшийся на станцию.

Увидав хозяина, Ахмаков засмеялся, показал много белых зубов над короткой, крепкой, черной бородой с проседью.

— А? Не ждали? Как снег на голову?

— Тем приятнее,— ответил Казмин.

— Да уж там приятнее или неприятнее — ввалился, ничего не поделаешь. А? Возражаете?

---

[1] И здесь мы вышли вновь узреть светила. Данте. Божественная Комедия. Ад Песнь XXXIV. *Перевод М Лозинского*

Они обнялись. Казмин слегка коснулся бритым подбородком, подстриженными усами — заросшей щеки Ахмакова. Вплотную глянули на него темные, умные глаза, чуть вздрагивавшие. Ахмаков хлопнул его по плечу.

— Как всегда выбрит, сдержан... И не толстеет в деревне.

Казмин повел его направо, в кабинет. Там на стенах висели фотографии родителей, в овальных рамках; на письменном столе — бумаги, расчетные книжки; лежал клок вики с дальнего поля.

Алексей Кириллыч снял белую матерчатую шляпу, легонький пиджак, стал умываться. Казмин заметил, как изменилось его неправильное, значительное лицо с тех пор, как он его видел. Ахмаков сильно поседел.

— Я,— говорил он, отирая полотенцем волосатую шею,— засиделся в городе и, видимо, переработал. Вот как-то и вышло...— он вдруг смутился, даже покраснел.— Да, именно к вам и надумал... заехать. По дороге дальше.

Казмин ответил, что в деревне скучно. Пусть уж не взыщет.

— А я что же, на пикники рассчитываю?

«Почему он не спросил, где моя жена, семья? — мелькнуло в голове Казмина не без досады.— Вот уж эта джентльменская вежливость!» Но, конечно, тут он себя обманывал: легче было, что Ахмаков не спросил. Вероятно, знал.

Когда кончился туалет, он провел гостя через залу, где стоял китайский биллиардик и лежали на фортепиано клейкие листы для мух — снова на балкон. Тут поил чаем, угощал холодной ветчиной. Налил мадеры. Ахмаков много говорил о Москве, кооперациях, общих знакомых. Казмину яснее замечалось, что и раньше он видел: в оживленных словах, даже смехе — тайная грусть; точно годами наболевшее. «И куда он едет,— думал Казмин.— Зачем? Впрочем,— вдруг добавил он себе,— впрочем, это...»

После чая они гуляли. Ахмаков видел фруктовый сад, шедший от балкона вниз, к лугам: пруд со старыми ракитами; вдохнул воздух лугов, видел вечерние дымки деревни, шел с хозяином по ржаному полю, среди сухого и густого запаха желтой ржи; слышал коростеля в низине; видел, как на деревенском, серооблачном небе означился вечер — сумной тенью. И когда возвращались домой, сумерки явно надвинулись.

— Будет дождь,— сказал Казмин,— я предсказываю.

Он не ошибся. Дождь пошел незаметно, как бы с вежливостью. Потом все сильнее, ровным, мягким гулом.

— Вот вам и деревня,— сказал Казмин, зажигая свет в зале, — видите, на что попали!

Ахмаков сидел в кресле и дышал довольно тяжко.

— Ну, а наши теперь в ревизионной комиссии. Тоже я вам доложу...— он махнул рукой.— Мы полжизни просидели в разных комитетах. Нет, я деревню предпочитаю.

Ахмаков глядел перед собой рассеянным, тоскливым взором. Лампа со стеклянным матовым абажуром не освещала всей залы. Эта зала казалась ему унылой. Казмин предложил сыграть в бикс. Ахмаков согласился, с покорной усталостью. Шарики звенели о металлические шпиньки, иногда звонил колокольчик. Казмин спокойный, молчаливый, бритый, стоял с кием в руке, рядом. Так проходил их первый вечер. Как полагалось, в девять они ужинали. В одиннадцать часов разошлись. Ахмакову было приготовлено в кабинете. А себе Казмин велел постелить в комнате жены,— в будуаре.

Все было знакомо ему здесь — до мелочей. Ширмы, отделявшие кровать красного дерева, гардероб; часы на комоде, с бронзовым бюстом Вольтера; едва уловимый, но тот же тонкий, туманящий запах — женщины, здесь жившей. Казмин потушил свет и вздохнул. Он думал, что заснет скоро, без боли перейдет в иной, в безвестный мир. Но, верно, его взволновал приезд гостя или комната, где давно уже он не был. Он слушал шум дождя — ровный, говоривший о бесконечности, и думал о том, как покойная мать вела его, воспитывала, обучала, как он всегда был хорошо обставлен, отлично учился; как она полагала, что, кончив университет, женившись, он будет серьезным и счастливым деятелем — в деревне, в богатом своем имении. И как, несмотря на всю свою серьезность, просвещенность и богатство, он, Андрей Афанасьевич Казмин, лежит этой темной ночью один, в постели, со своим честным именем, с разгромленной душой и без надежд на будущее. «Вся моя жизнь,— думал он,— имела смысл до тех пор, пока Надя меня любила. Лишь до тех пор». Он вздохнул глубоко, застонал и перевернулся. Обычные муки нахлынули на него: образы прошлого, предательство,— как ему казалось,— близкого друга. Он долго утопал во тьме. И тот, другой мир, куда он стремился, встретил его недобро. Казмин оказался в поле, около усадьбы. Пропалывали свеклу. Вдруг мчится поезд, и все быстрей, как раз к дому. Казмин бежит за ним. Там, у дома, Никаша наверно играет в мяч, и непременно поезд его раздавит. Но бежать трудно. Все, как будто, на одном месте: он делает страшные усилия, но уж поезд далеко, и что там происходит — неизвестно. Все же он добежал. И, наверно, не меньше за эти секунды пережил, чем если бы все было наяву. Паровоз отломил половину дома; она скатилась вниз. Казмин охнул, куда-то бросился. Перед ним

серо-синеватая комната, он не может понять, где он. Все вещи знакомые; все на местах, как обычно: но это и не комната, и он — не он, и свет утра из-за туч — не настоящий свет. Вот из столовой кто-то вышел на балкон; точно бы Ахмаков.

Мгновенно он опомнился. Сердце колотилось, были холодны руки, но теперь уже все, как прежде: и комната, и мир, и сам он. Казмин накинул одежду, завернулся в плед,— снова вышел на террасу. Там стоял Ахмаков, спиной к нему у колонны. Туман наполнял все. За террасой смутными тенями проступали две яблони. Дождь перестал. Капли падали с листьев, в глубокой тишине. Чуть светало.

Ахмаков тревожно обернулся.

— Вы что?

— Ничего,— ответил Казмин.— Не спится.

— Какой туман!

— Вам не холодно?

Ахмаков казался ему серым. Может быть, самому было холодно, но почему-то представилось, что гость дрожит.

— Как плохо,— сказал Ахмаков и закрыл глаза.

— Как вы относитесь к мелкой земской единице? — вдруг спросил он и захохотал. Казмин пожал плечами. Ахмаков будто смешался.

— Ах, это я вздор все, но не могу же...

Он, видимо, был подавлен и расстроен. В нем не осталось уж обычной, прочной осанки, вида настоящего человека, барина и земца.

Казмин сел с ним рядом, на скамейку. Как бы участие шевельнулось в нем к этому немолодому человеку без воротника, с помятой бородой.

— Такой туман,— сказал он,— на кого угодно может нагнать тоску.

Ахмаков встрепенулся.

— Нет, наверно сердце... У меня сердце плохое, и потом, конечно, психическое. Это скверно. Психическое! Не значит, что сумасшедший — вы Бог знает, что думаете,— Ахмаков почти обиделся.— Ну, просто, «душа моя мрачна».

Он задумался.

— Почему это я вам все докладываю? Ужасно интересно. А говорю зачем-то.

— Это ничего,— сказал Казмин.— Человеку нельзя же молчать всегда. Трудно.

— Терпеть бы надо.

Казмин побарабанил пальцами по перилам.

— Терпеть-то терпим. А там и заговоришь. Знаете, отчего это бывает?

Он продолжал тише:

— Старая, старая одна вещь есть. Обычно ее не помнишь. А иногда — вспоминаешь.

— Какая вещь?

Казмин протянул ему руку и пожал. Ахмаков ответил.

— Эта самая. Почему-то вы мне ответили. Не отдернули руки.

Ахмаков вздохнул.

— Сочувствие! — сказал он.— Устарелая шутка. Несовременно.

Казмин не возражал. И теория не его, и возраст ее громаден. Но вряд ли от этого стала она хуже.

Помолчав, Ахмаков заметил:

— Все-таки, пожалуй, и не плохо,— он поднял голову.— Мы, ведь, как в пустыне.

Казмин улыбнулся.

— А то где же?

Ахмаков повернул голову.

— Тут был пруд, вид куда-то в даль, но сейчас все пропало. Ничего не разберешь. Вот, пройдите-ка по собственной усадьбы!

Туман, действительно, был силен. Кое-где деревья маячили в нем верхушками; низ же был плотно укутан, точно плавали эти тени по белесому морю. Рассвет занимался туго, в пустой и серой хмури.

Казмин принес гостю пальто. Они сидели еще, слушая пробуждение. Кто жил в деревне, знает утренние звуки природы: петухов полночных, петухов в два, жаворонков, начинающих с третьего часа. Потом коровы просыпаются, свиньи захрюкают. И еще позже двинется человек в валенках: повезет за водой бочку.

Казмин и Ахмаков легли в пять, под музыку этой бочки, возвращавшейся от колодца; вода плескалась в ней мелодично. На этот раз Казмин заснул просто и крепко. И хотя обычно вставал рано,— теперь проспал. Когда вымытый, слегка надушенный, вышел он в столовую, Ахмаков бодро пил кофе. Он заявил, что вечером хочет ехать.

Казмин удивился.

— Да куда же так скоро!? Вы же отдохнуть хотели?

Ахмаков замялся.

— Да, конечно, и отдохну... но к вам я так, проездом.

«Нет, он и сам не знает ничего толком»,— подумал Казмин.

Ахмаков объяснил, что на юге, в губернском городе,

у него есть свой дом, наследье родителей. Думает он туда проехать.

— А может,— прибавил он внезапно,— и по Волге проплыву.

Казмин не настаивал. Ахмаков был как-то нервно возбужден, смеялся, говорил, но весь день Казмину казалось, что не совсем это правда — не по-настоящему.

Он даже спросил:

— Что же, вам по Волге очень хочется поездить?

— Разумеется! Почему вы спрашиваете, дорогой?

К вечеру он заметно стих. Казмину не хотелось оставаться одному: он отправился его провожать.

Днем было сыро, но проглядывало солнце. К вечеру опять наползли тучи. Ехать было грязно. Иван высоко подкрутил лошадям хвосты; иногда брызги летели в лицо. Казмин и Ахмаков молчали. Коляска укачивала их. Недалеко от станции тучи надвинулись, стемнело; пришлось поднять верх: и огни железной дороги увидели они сквозь дождь. Он обливал и подошедший поезд. Ахмаков наскоро простился, поблагодарил. Казмин вошел с ним в купе. Ударила гроза. Молния заливала белым и зеленым светом станцию, платформу, березы сзади, телеграфистов в окне.

— Если я остановлюсь в Саратове,— вдруг спросил Ахмаков,— можно дать вам телеграмму?

— Как телеграмму?

Ахмаков засмеялся.

— Ах, это глупости! Просто чепуха. Ну, представьте, что вы мне чрезвычайно понадобитесь, экстренно, исключительно... Вы бы приехали, если бы я вызвал?

Это становилось совсем странно.

Раздался звонок. Спускаясь на платформу, Казмин сказал:

— Приехал бы.

Ахмаков стоял в дверях и улыбался.

— Это шутка. Разумеется, шутка. На что вы мне можете быть нужны?

Поезд тронулся. Освещенные окна прошли мимо. Казмин пересек платформу, прошел дорожкой у берез и сел в коляску. Тройка шла шагом. У шлагбаума их не задержали, поезд прошел. Золотые искры летели в темноте, да вдали, по полотну, краснел фонарь последнего вагона. Дождь уменьшился. Но так как было темно, возвращались домой тихо.

Казмин вернулся усталый, как бы раздраженный. Смутное ощущение осталось у него от Ахмакова, его слов, намеков,— не то правды, не то шуток.

Собираясь ложиться, прошелся он по дому. Заглянул в ка-

бинет, где спал Ахмаков. В руке у него была свеча. Она отразилась в зеркале, в стекле окна. Там, за ним, была тьма июльской, ненастной ночи. Стало как-то жутко. Подумалось — вдруг увидит он сейчас жену, Никашу. Но ничего не увидел. Подошел к столику, у дивана, где лежала книга Паскаля: «Мысли». Ахмаков читал ее на ночь. Казмин развернул. В одном месте было подчеркнуто карандашом, и на полях приписка: «Чепуха». В другом изображено нечто с рожками и хвостом. Внизу подпись: «Et bien, et voila la mort qui arrive!»[1]

Казмин закрыл книгу, вздохнул и вышел.

II

Он был теперь хорошо знаком с одинокой жизнью.

Она давалась нелегко. Но Казмин знал, что это неизбежно; и как человек, вообще воспитанный в рамках, из этих рамок не выходил. С отъездом жены внешность жизни его мало изменилась. По-прежнему он вел хозяйство, без увлечения, но добросовестно; косил, убирал, веял, сдавал угодья мужикам; сводил лес, платил налоги и ездил в город, по земским делам и личным. О себе он ни с кем не говорил. И бессонные ночи первого времени с ним и остались, не выходя из кабинета.

По вечерам Казмин любил ездить верхом. Иван подводил ему черно-пегую Леду, под желтым английским седлом. Казмин в ботфортах, перчатках и кепи садился; ремни слегка скрипели; Леда шла полной и широкой рысью.

Чаще выбирал он пустынные, уединенные места — малоезженные дороги, межи, опушки. Была одна ложбинка, куда он ездил часто,— называл ее Иосафатовой долиной. Ничего замечательного тут не было, кроме щипаных кустиков и луговины; но так затеряна она в полях, так безлюдно здесь после заката! Боязливо ступает конь, да поздние утки несутся иногда с полей; пахнет полынью, и все, что видно — края котловины да над ними небо — звездный коридор. Тут легко могут убить встречного. Но нигде не ощущал Казмин так остро, сладостно-остро, что один только и существует он, да звезды, да над ними Бог.

Наезд Ахмакова несколько выбил его из колеи. Точно мрачное его спокойствие было нарушено: будто опять заговорили голоса, казалось, глохшие. «Непорядок, непорядок»,— думал Казмин; даже некое неудовольствие возникало к Ахмакову. «Просто он неврастеник, больной, и меня тронул».

Две недели спустя по отъезде гостя, в начале августа он

---

[1] «А вот и смерть пришла!» *(фр.)*

проезжал по Иосафатовой долине. Поднявшись из нее в поля, взял направо. Ветер стал в лицо. Казмин почему-то вспомнил, как в первую минуту он хотел убить *его, того человека*. Узенький закат краснел; над ним, по всему небу, громоздились тучи, отливая огнем.

Совсем смеркалось. Казмин тронул рысью, что-то насвистывая; снова ощущение безмерного одиночества пришло к нему: «Неужели это был я? Неужели я мог убить?» — пришло ему в голову. Тут с необычайной ясностью вспомнил он жену, Никашу; нежность залила волной сердце. Он похлопывал Леду по гриве, приподнимаясь в такт: по щекам, в темноте, текли слезы. «Что ж такое,— думал он,— что она ушла? Я ее люблю не меньше. Как богиня сходила она в мою жизнь, и ушла так же. Все терзания, злоба, муки — напрасны. Если она меня полюбит вновь, как в те годы — то вернется. Все это необыкновенно просто. И нет виновных».

Подъезжал к дому он в новом, самого его удивившем настроении. Он не знал, было ли оно прочно; но сейчас на сердце стало легко, как-то влажно, смутно, точно пожалел его милый ангел — крылом коснулся в безлюдье.

Совсем стемнело. Леда ввозила его на взгорье, во фруктовый сад. Кое-где яблони задевали; в одном месте, привычной рукой он сорвал *скрижапель*. Разговаривали сторожа, костер краснел. Он выехал в купу старых лип; стало черно, бархатной чернотой; светились окна дома.

Крикнув Ивана, похлопывая по ботфортам хлыстиком, Казмин прошел домой. В столовой, у прибора, лежала почта, газеты и телеграмма. Он вскрыл ее: «Если можно очень прошу приехать. Болен. Ахмаков». Сообщался адрес — в том городе, черноземной полосы, где у Ахмакова был дом. Казмин отложил телеграмму. Положительно, Ахмаков взялся удивлять его. И неужели не оказалось никого ближе? Все это довольно дико.

Телеграмма взволновала его. Меньше всего он собирался ехать. Но, может, правда, Ахмакову туго? А если — каприз, причуда? Ночью он плохо спал; был почти сердит. Ни с того ни с сего скакать несколько сот верст! Он заснул с тем, что не поедет. Даст тому телеграмму — и конец.

Утро снова его удивило. Во-первых, оказался дивный солнечный день, сияющий, теплый. Второе — он проснулся с ощущением, что вчера, вечером, случилось что-то отличное, светлое и легкое. «Страдания гордости, обиды,— думал он, одеваясь,— какая чушь!» Те минуты, верхом, в потемневшем, диком поле, и слезы встали перед ним с живостью. «Да, конечно, еду, разумеется». Эта мысль как-то сама вышла, он не звал ее;

но колебаний уже не было. Он с утра распорядился по хозяйству, на неделю, быстро уложился и в восьмом часу, на закате, ехал полями к станции.

Кое-где белела гречиха; овес стоял в крестцах, на одном из них, прямо у дороги, сидел совенок с круглой рожей. Белела церковь, леса темнели. Позже, на фиолетовом горизонте вышла прозрачная бледно-зеленоватая луна — уже прохладная луна начала августа. Пыль вставала с накатанной дороги; в деревне огоньки зажглись; въезжали и запоздалые возы. И вскоре засветил вдали зеленый семафор, как звезда в полумгле.

Два часа ехал отсюда Казмин по железной дороге; потом надо было пересесть в скорый поезд, шедший на юго-восток. Он пересел в двенадцатом часу с крохотной станции. Ему показалось на мгновение странным, зачем это он едет?

«Вот тебе и Казмин, Андрей Афанасьевич,— сказал он про себя, не без насмешки: — Вот и он собрался!» Но философствовать было поздно. В вагоне духота; ярко горело электричество, кой-где затянутое синим шелком; спали внизу,— наверху, в проход, торчали носки мужчин. Ему досталось крошечное место у окна. На короткой стороне, напротив сидела дама — светловолосая, в огромной черной шляпе. Шляпа была явно неудобна; казалось, самое простое — снять ее и положить наверх; но дама этого не делала. Она вообще сидела странно; например, подперев голову руками, а локти — на колени; в такой позиции виден был из-под шляпы лишь тонкий нос, да слегка растрепанные, над ушами, очень мягкие волосы. Зато шляпу мог он вполне изучить. Потом она резко меняла позу, закидывала ногу за ногу, вздыхала; в глазах видел он нечто воспаленное.

Казмин долго к ней присматривался.

— Извините,— наконец сказал он,— вы бы шляпу сняли. Так ведь неудобно.

Она обернулась.

— Шляпу?

Мгновение она посмотрела на него невидящими глазами, будто плохо понимая. Потом ответила:

— Да, можно.

Вынула длинные шпильки, похожие на копья, покорно положила шляпу в сетку и слегка откинулась в кресле; теперь могла прислониться головой, подремать. Она закрыла глаза. Казмин заметил, что веки у нее припухли. Золотистые волосы были в беспорядке — такие тонкие и легкие, что с ними трудно: вечно образуют они туманно-беспорядочный, отблескивающий нимб вокруг головы.

«Нет, не заснет,— подумал Казмин.— Ни за что не заснет». Он не ошибся. Не прошло минуты, она вздрогнула, как от нервного тока, выпрямилась и уставилась на него.

— Я ничего, ничего,— забормотала она.— А? Куда же ты?

Казмин отлично знал, что это не к нему относится, и не ответил. Она сообразила, что он — чужой; легкое неудовольствие прошло в ее взгляде. Казмин сделал вид, что не заметил. Пробовал было заснуть и сам, сидя, но ничего не вышло. Теперь он почувствовал, что она на него смотрит. Правда, вытянув острый подбородок, оперев его на согнутую в локте руку, она глядела упорно и безучастно.

— Уверен,— сказал Казмин,— что так вы можете смотреть час и более. Сколько угодно. А в сущности, это ни к чему?

Пересохшим голосом она ответила:

— Ни к чему.

Казмин заметил, что наверно она мало говорила в последнее время. Она улыбнулась.

— Очень бестолковая?

— Не смею этого сказать... Но...

Она зевнула.

— Нет, отчего же. Смейте.

Она внимательно, теперь уже с сознанием его рассматривала, его вещи, будто соображая.

— Да вы кто такой? — спросила она вдруг.— Куда вы едете?

Этот вопрос его несколько озадачил. Он даже смутился. Но, овладев собой, ответил:

— Я никто. Путешественник.

Она кивнула одобрительно.

— Значит не по делам.

Он ответил, что не по делам.

«Какая странная,— подумал Казмин,— не то девушка, не то дама. И Бог ее знает, что с ней».

Она вынула замшевую подушечку, стала шлифовать ногти.

— Вот и я неизвестно зачем еду,— сказала она.

Казмин будто бы оживился, даже с оттенком раздражения:

— Нет, я знаю, куда еду. И зачем.

Она сказала равнодушно:

— Ах, извините! Так мне показалось.

В вагоне стало совсем душно. Казмин открыл окно. Начинало светать. Поезд шел полями, равниной тучной и могущественной, как подобает чернозему. Рожь убрали. Овес еще стоял. Пронеслись по грохочущему мосту, в сетке связей; внизу, над речкой, туман стлался; за лугами, жнивьем, бледно золотел рассвет.

— Это называется — Божий мир,— сказал Казмин, вдыхая воздух, свежий, золотисто-туманный.

Сразу взор ее отупел, она поглядела, помолчала.

— Мне все равно.

Казмин не удивился. Он не ждал иного ответа. И не возражал.

Через час, когда подъезжали к узловой станции, богатому, хлебному городу, где обоим надо было пересаживаться, солнце вышло над горизонтом — пылкое и огненное. Показался светло-серый элеватор, вагоны на путях. Медленно подошли к вокзалу. Деревянная платформа была покрыта росой — сизела. Носильщик взял вещи; толпились пассажиры; несколько бородатых купцов, в картузах, длинных сюртуках, на минуту привлекли внимание.

Зала первого класса — низкое огромное помещение, вся была прохвачена солнцем. Пятна его сияли на полу, блестели по скатертям, кофейникам. В нем жалки пыльные пальмы над столами, помертвелые от утомления лакеи, человеческий скарб: сундуки, чемоданы; усталые путники, кочующие и ночующие; бедняги-дети, склянки с молоком для них, чайники — все мелкое убожество жизни, куда-то торопящейся, чего-то ждущей.

Ждать и им надо было — часа три. Уныние появилось на лице спутницы Казмина. Очень уж казалась она здесь чужой.

— Слушайте,— сказала она.— Тут ужасно скверно. Какая гадость! Пойдемте в город.

— Что ж мы там будем делать?

— Ах, что, что... Ну оставайтесь, я одна пойду.

Но Казмину не хотелось оставаться. Вещи они сдали на хранение. Спускаясь со ступенек, к выходу из вокзала, Казмин спросил:

— Как вас зовут?

— Елена.

— А дальше?

Она немного нахмурилась.

— Так и зовите. Я же сказала.

С восходом солнца, в незнакомом городе, они зачем-то выходили из вокзала. Даже извозчиков не было. Голуби бродили по мостовой. Листья кленов блестели влагой.

Они шли пешком по каким-то прямым, широким улицам, с одноэтажными домами. Было совсем тихо, солнечно; им встретилось несколько подвод с капустой, огурцами, морковью — видимо, на базар. Бабы не без удивления глядели на Елену, на ее зеленую вуаль-шарфик, развевавшуюся сзади, на желтые ботинки; она шагала рассеянно, была бледна; рядом молча шел Казмин. Так добрались они до площади, где около закрытых

лавочек валялся сор, арбузные корки, жестянки; опять толклась стая голубей; из трактира выскочил мальчишка с чайником, рысью промчался куда-то. Возы стояли рядами. На одном дремал старик. Вдруг Елена остановилась.

— Не могу больше. Не хочу ходить. Устала.

— Возможно,— заметил Казмин.— Этого следовало ждать. Но что же теперь делать?

Она оглянулась. Потом сказала, указывая рукой направо:

— Пойдемте в чайную.

Казмину было все равно. Третьего дня еще к чему-то был он прикреплен. Теперь же все спуталось. О будущем он ничего не мог сказать. И на четверть часа вперед не поручился бы.

Чайная оказалась трактиром, а не чайной. Человек в белом с удивлением взглянул на них. Однако согласился дать порцию чаю. Они сели у окна. Елена заявила, что хочет коньяку. Она вынула из мешочка деньги, лежавшие вперемешку с духами, носовым платком, в величайшем беспорядке.

— Я пять ночей не спала. Понимаете? Ах, если б эфир был! Все равно. Я напьюсь.

Половой еще более удивился. Он сначала отказал. Казмин настаивал. Вышел хозяин — худой человек, с подбитым глазом. Пошептавшись, они послали куда-то мальчишку. Он все исполнил. Елена хотела, чтобы ей налили в стакан. Но Казмин не позволил: пили, как полагается.

— Почему вы не спите? — спросил Казмин.

— Не сплю и не сплю. И все тут.

Казмин задумался.

— Это я знаю,— сказал он.— Даже очень хорошо знаю.

Она опять уставилась на него, как тогда в вагоне.

— Все-таки, плохо понимаю... Почему это я в трактире, в городе каком-то...— она потерла себе глаза.— Фу... в самом деле.

Она поежилась.

— Вы обо мне Бог знает что подумаете.

Казмин спокойно выпил и сказал, откусывая сахар:

— Уж действительно, что так.

Она засмеялась.

«Нет, не подумает. Он барин. Джентльмен, все понимающий! Ах ты, Господи, ужас какой, ужас!»

Она положила голову на стол, на грубоватую салфетку, и заплакала. Казмин оглянулся. Никого не было. Лишь канарейка чирикала в клетке. С базарной площади, залитой солнцем, недвижно смотрели возы с капустой. Верно там говорили, смеялись. Но отсюда все казалось немо.

Казмин дал ей поплакать. Потом погладил по руке, сказал:

— Мне кажется, я вас знаю.

Она подняла лицо.

Он глядел на нее внимательно, задумчиво.

— Я, должно быть, встречал вас. Вот такую, как сейчас. Я видел вас в облике разных других женщин, которые страдали.

— Ничего вы обо мне не знаете. Кто вам сказал? Думаете, откровенничать с вами буду?

Он ответил:

— Откровенностей не надо. А ведь жить нам с вами нужно? Или окошко отворить, да лбом о мостовую?

— Мало ли как,— сказала она, тихо,— можно и под поезд. Я об этом думала.

— Вздор,— заметил Казмин.

Она сидела молча, потом спросила:

— Вы думаете, меня бросил любимый человек?

Гнев задрожал в ее зеленоватых глазах.

— Я этого не говорил.

— Не говорил! Но думаете. Я его вовсе не люблю,— голос ее оборвался, слезы нависли на ресницах.— И никому нет до меня дела. Я сейчас никого не люблю.

«Кто она такая? — думал Казмин.— Странный человек!» Что-то ему в ней нравилось, быть может, отдаленным, туманным сходством с женой. «И жила она в четвертом этаже, где-нибудь в Москве, на Арбате, без хозяйства, без денег, с будущим гением, но счастливо, пока беда не грянула. А потом вдруг схватила свою шляпу, шарфик, мешочек, и летит сейчас, как пуля, и сама не знает куда».

— Я о вас придумал целую историю,— сказал Казмин, улыбаясь.

Елена не ответила. Она смотрела в сторону, где в клетке висела канарейка. Вдруг подозвала полового, указала на птичку.

— Сахару бы ей дать.

— Мы и так кормим, барышня. Видите, и просо у ней, и выпить есть, ежели пожелает.

— Нет, нет, надо сахару.

Елена настояла на своем. Поставила стул, сама влезла, и, отворив дверцу, посыпала сахарного песку. Птичка сначала испугалась, забилась. Торговцы-татары, только что явившиеся, тянувшие чай с блюдечек, в углу, зашушукались. Когда Елена слезла, канарейка поняла, что дело не так плохо. Она стала пробовать. Ее настроение поднялось.

Елена же через минуту о ней забыла. Казмин видел, что она в таком состоянии, что сейчас может заговорить с татарами,

или выйдет на базар, или еще что сделает — ненужное, но дающее выход нервам. Он взглянул на часы и расплатился. На предложение ехать Елена не возражала. Они вышли и наняли извозчика. В пролетке Елена заложила ногу на ногу, поболтала узеньким носком и разговорилась. Неожиданно для Казмина довольно связно рассказала, что едет в имение, к бабушке, просто гостить. Это имение близко было от города, куда он направлялся.

— Все степи там, очень просторно,— говорила Елена.— Буду верхом ездить. Или охотой заняться?

На вокзал явились за полчаса. И вместе двинулись дальше: к далеким, непредвиденным целям странствия.

III

В вагоне было просторно. Елена вертелась, ходила беспокойно по коридору, опять в своей шляпе, за все задевая. Она теперь знала, что едут оба в один город, и зачем едет Казмин. Но взор ее так же был рассеян и быстр, как и там, на улице, в трактире.

Наконец, она села. Из волос выскочила гребенка; золотое руно готово было рассыпаться. Она смотрела в окно, как-то по-детски, покачиваясь на диване, и чем дальше заходил поезд в степи, тем больше она слабела, никла. Казмин устроил ей подушку; она подобрала стройные ножки. Сложилась вдвое, как ленивая женщина, и, высунув из-под пледа ботинок, задремала.

Казмин стал у окна. Опять шли поля, не совсем ему родные, все же наши, русские. Деревни были редки и огромны; церкви тяжеловаты, с серебристыми куполами. Пахать крестьяне выезжали таборами, за много верст; пахали еще сохами. Грачи ходили за ними. Далекие, ровные горизонты открывались, и казалось, туда, на восток, лежат все такие же необъятные земли: Скифия, кочевники, курганы в степях. Набегали с юга тучи, из-за Каспия; поезд погружался в полосу дождей; а потом вновь светило солнце, блестя в куполах церквей, в лужах на станциях. Открывались голубые дали; и все тот же русский пахарь в них ходил за древней сохой. Мужики сменялись мужиками, поля — дубовыми лесочками, оврагами; станции уходили назад с детишками, предлагавшими молоко. Не было этому конца-краю.

Глядя на заснувшую Елену — верно, и правда она много не спала перед тем — Казмин ощущал как бы сочувствие и симпатию. Ребяческое и вместе горькое ясно в ней чувствовалось. И ему казалось очень правильным, что они встретились.

К вечеру она проснулась, вздохнула и вытянулась. Потом защурилась.

— А? Приехали? Где?

Казмин сказал, что оставалось часа три.

Она села, поправила волосы; одна щека у ней была красная; вынув из мешочка шоколад, стала есть плитку и задумалась.

— Скучно к этой бабушке ехать.

Оказалось, телеграммы она не давала. Надо было ночевать в городе; и уж утром нанять лошадей.

— Как не хочется,— сказала она.— Ужасно не хочется. Ну, хорошо, а если этот ваш человек... умер уже? Ведь может быть?

— Может.

— Что же вы будете делать?

Казмин пожал плечами.

— Домой вернусь.

Она встала, стряхнула с юбки крошки шоколада.

— А если жив?

— Побуду с ним.

Она помолчала. Опять села.

— Хотите, я вам помогу? Тоже за ним... присмотрю?

Этого Казмин не ожидал. Трудно было ответить. Всего верней — просто это причуда. Он высказался неопределенно. Она, должно быть, поняла и смолкла. Может, была несколько задета. Стала холодней, отдаленней.

К одиннадцати поезд, перейдя два моста, стал замедлять ход, подымаясь в гору. Слева заблестели огоньки среди садов, шедших к реке. И через несколько минут показался вокзал.

Парный извозчик вез их по мучительным мостовым. Улица была в тополях. У клуба, нового, белого здания, сияло электричество. Кинематограф светился разноцветным бордюром, как в иллюминацию. Над головой очень темно-синее небо, с привычными звездами; лишь, кажется, они крупней. Сидя с примолкшей Еленой, держа путь в гостиницу, Казмин не без удивления всматривался в это небо, синюю бездну, чьи дуновения бросают от дней к дням, от чувств к чувствам, из краев в края. Он ощущал, что течение, подхватившее его с приездом Ахмакова, влечет теперь куда-то к новому, отменяя его деревенскую, угрюмо-прочную жизнь. Куда — он не знал. Как не знала, верно, и сидевшая рядом Елена, почему она с ним едет, что будет завтра, и куда это клонится.

Гостиница оказалась на площади, против театра. Это было старинное, помещичье пристанище в дни съездов, выборов. Широкая лестница, под красным ковром, прямо шла во второй

этаж; горели газовые рожки; кой-где позолота блестела на перилах.

Казмин взял номер с балконом на площадь. Елена рядом. Они простились. Казмин слышал, как за стеной она долго возилась, мылась, ходила взад и вперед. Минутами ему казалось, что она с собой разговаривает. Должно быть, Елена опять плохо спала. Он тоже долго не засыпал, и слышал ее вздохи; она отворяла окно, когда уже светало. Казмин в эту ночь много думал о жене, сыне... Эти мысли не были мучительны, скорее — кротки. Он заснул поздно, когда трубила уже в рог свой заря; сквозь мягкие занавеси нежное золото лилось в комнату.

Утром Елена решила, что надо ехать дальше. Заплатила за номер, послала за ямщиком.

Казмин с ней простился. Ему надо было к Ахмакову.

Ахмаков жил довольно далеко, на тихой улице с садами, особняками; здесь процветали *порядочные* люди. Улица упиралась в монастырь и кладбище при нем — место отдохновения тоже *приличных* людей. Дом Ахмакова велик, прочен и уныл; солидные фабриканты, его родители, строили его. За дубовой наружной дверью, в вестибюле, куда вело несколько ступенек, медведь стоял, среди небольших пальм; на блюде, у него в лапах, визитные карточки, покрытые пылью: верно, местные нотабли завозили их покойному Ахмакову, с тех пор и лежат. Зала с люстрой, с мебелью в чехлах, на стенах Клевер и Маковский; красная гостиная в зеркалах, в ковре; с шелковой мебели соскальзываешь; под зеркалом бронзовые часы в стеклянном колпаке — часы скучных, богатых домов, бьющие покойно и негромко; именно их голос говорит здесь о ненужности, о суете.

Казмина ввела домоправительница,— седая, важная прислуга; было ясно, что она презирает всех, кто *непорядочен*. Ахмаков лежал на турецком диване, в кабинете — угловой комнате, полной света. Он был в халате; лицо его заметно опухло. Особенно напухли под глазами мешки. Он читал Ренана. Рядом, на стуле, стояла салицилка.

Увидев Казмина, Ахмаков поднял голову, минутное удивление мелькнуло в нем. Он засмеялся.

— А? Приехали? Приехал, деревенский житель, помещик?

Казмин пожал ему руку.

— Взял, и приехал.

— Отлично! Великолепно! А я, видите, валяюсь... От безделья читаю старого, умного француза,— он отбросил книжку.— Небесное мы переводим с ним на земное. И выходит недурно. Я вас уверяю. Просто, но недурно!

Потом Ахмаков заговорил о жарах, потом о докторе... Не совсем естественно хохотал. Стал острить, но без особого успеха, *о чудаках,* которые друг к другу ездят. Но было видно, что приезду Казмина рад.

— А представьте,— заговорил он, нервно-развязно,— сыну я написал — у меня сын студент, красавец, его адъютантом зовут, но... не получал, ответа еще нет...— Ахмаков смешался, и опять покраснел, как тогда, в усадьбе.— Верно, письма плохо идут. Он на кавказском побережье.

Помолчав, Казмин сказал:

— К вам собиралась заехать, даже помочь, если понадобится, одна экстравагантная, и не плохая дама. Но я отклонил.

Казмин рассказал ему все. Ахмаков задумался.

— Этот дом давно не видел молодой, милой женщины. Вы напрасно отклонили.

Он сразу же заявил, чтобы Казмин к нему перебирался. Это было естественно, Казмин не возражал. Он недолго у него сидел; надо было взять вещи, расплатиться в гостинице. Входя через полчаса в переднюю, он спросил Домну Степановну о здоровье Ахмакова. Подавая ему пальто, она сказала с важностью:

— Так я считаю, что плохо, барин. Пухнут они. И сердцу ходу нет. Как с Волги, из Саратова, приехали, так и слегли. Ездит к ним доктор, Петр Петрович, но пользы мало. Даром, что по красненькой платим.

Карие глаза Домны Степановны, некогда красивые, повлажнели.

— Я так думаю, не встать барину,— она вынула платочек и сморкнулась.— Я их мальчиком еще помню, и папаша с мамашей на моих глазах померли.

Казмин, вернувшись в гостиницу, к своему удивлению застал в номере, на балконе, Елену. Подперев руками голову, она смотрела вниз.

— Что такое? — спросил он.— Тут?

Елена обернулась.

— Ничего, что я к вам зашла?

— Почему вы не в деревне?

Она вошла в комнату.

— Ямщика привели, да он мне не понравился. И лошади плохие. Вдруг стало так ужасно скучно... Я его отпустила.

— Как же вы теперь?

— Я вашу комнату за собой оставила.

Казмин стал укладывать мелочи. Елена сидела и имела вид неприкаянной, какой-то неустроенной женщины. Казмин взглянул на нее, и улыбнулся, будто с сочувствием.

— Вы шальная головушка,— сказал он.— Очень неосновательное существо.

Елена положила руки на стол, голову набок на руки, и глядела на него зеленым, тусклым взором.

— Головушка, головушка...— она потрогала себе пальцем голову,— а куда мне ее девать?

Он вспомнил Ахмакова.

— Вы вчера предлагали помочь мне, насчет моего знакомого,— сказал Казмин.— Вот и преклоняйте.

Елена чуть смутилась.

— Ну, ведь вы тогда...

— А теперь говорю, поедемте. Вы можете развлечь его.

Она улыбнулась.

— Значит, роль диакониссы?

— Там видно будет.

Елена стала ходить из угла в угол, лениво пошаркивая ногами. Знойные квадраты лежали на полу от солнца. Она то в них входила, то выходила. Свет перебегал по ней волной.— Когда Казмин собрался, она, ничего не сказав, вышла с ним.

Ахмаков еще менее ждал ее, чем утром Казмина. Он приподнялся, оправился и улыбнулся.

— Очень добро с вашей стороны,— сказал он,— что зашли навестить. Будем знакомы.

— Я привез вам,— сказал Казмин почти весело,— блуждающую Елену. Ту прекрасную Елену, которую считали Премудростью в облике женщины. С ней странствовал некогда Симон Волхв — хотя на него я нимало не похож.

Ахмаков засмеялся, погладил рукой крепкую бороду.

— Классические реминисценции...

— Но теперь,— продолжал Казмин,— следовало бы нам несколько познакомиться. Алексей Кириллович знает,— обратился он к Елене,— что до третьего дня мы не имели с вами понятия друг о друге.

Елена обернулась к Ахмакову.

— Я должна развлечь вас рассказом о своей жизни?

— Это называется — краткие автобиографические сведения,— сказал Ахмаков.

Она потупилась.

— Очень уж краткие. Даже неинтересно.

Домна Степановна подала им чай с медом, с сухарями, в старинных чашечках на серебряном подносе. Елена была смутна, сдержанна. Они узнали все же ее фамилию, что она из Москвы, жена художника, учится петь: «но в Москву больше не вернется». Тут она омрачилась. Было ясно, что этот разговор неудачен.

Казмин обратился к ней:

— Наше знакомство,— сказал он,— было довольно неожиданно. Даже, отчасти, удивительно. Позвольте мне звать вас просто Еленой, как вы тогда сказали.

— Да,— ответила она,— зовите. Я и есть Елена, просто Елена.

Все помолчали, и задумались. Но с той минуты стало легче и свободнее. Точно в этом молчании, перейдя некоторую черту, они стали друг другу ближе,— трое случайно сошедшихся, трое съехавшихся из дальних мест.

После чая Казмин ушел во флигель устраиваться: Домна Степановна приготовила ему комнату. Елена разговаривала с Ахмаковым, бродила по дому, разбирала в зале ноты.

Обедали они вместе. Вечером Елена пела. Потом уехала в гостиницу.

IV

Целый флигель, выходивший на улицу, с обстановкой средней руки, был отведен Казмину. Он занимал одну комнату; а по ряду других ходил, из конца в конец, куря и размышляя. Хотя до дому было несколько шагов, через чистый двор, с садом в глубине, конюшней, каретным, цепными псами — все как следует — у него стоял еще телефон. Ахмаков мог звонить по желанию.

Утром Казмин пил с ним кофе, потом уходил к себе, читал, занимался. Обедали тоже вместе — вернее, обедал Казмин, в столовой, за богатым прибором, видя через улицу трехоконный домик; Ахмаков же присутствовал в кресле, когда чувствовал себя лучше, или лежа на диване.

Эта жизнь не была Казмину неприятна. Быть может, ему даже нравилось — после сурового однообразия деревни попасть в неожиданные, столь непривычные условия. «Это все ничего,— говорил он себе, как бы не договаривая,— поживем увидим». В глубине души знал — что нечто именно надо договорить; но пока не трогал, давал жизни идти, как идет; смотрел и ждал. Гулял с Еленой, которая было уехала, но снова вернулась; беседовал с Ахмаковым. Ахмаков много читал; ему хотелось поговорить, и тут Казмин — вежливый благовоспитанный слушатель — был удобен. Ахмаков нападал, иронизировал, впадал иногда в пафос. Противоречил себе и раздражался. Но одна была нота в этих разговорах, упорно звучавшая: будто бы нечто уязвляло Ахмакова в его прежней жизни. Многим он был недоволен. И охотно брал тон насмешки над собою и теми, кто ему был близок.

— Мы, ведь, знаете,— говорил он, слегка задыхаясь,— мы ведь мир к порядку вели, к гармонии, справедливости. Ну, общественники-то... И уж очень на себя полагались. Точно мы одни и значим. Точно жизнь со вчерашнего дня началась. Вот-с были предрассудки, и невежество, но пришел девятнадцатый век, мы пришли, все изменилось. Прогресс, цивилизация... И будто бы смерти даже нет.

Тут он начинал почти сердиться.

— Ах, самомнение! Самомнение маленьких человеков, вчера явившихся. Мы — разум, соль земли. А мир древен, очень стар, и очень умен, об этом забывают. Навязывают ему свою мудрость, полумудрость. А до настоящей мудрости добраться очень трудно. Но пусть и господин Ренан не думает, что все объяснил. Он ничего не объяснил.

— Может быть,— спросил Казмин,— вы хотите стать верующим?

— Нет, я так веровать, как настоящие... нет, отказать!

Он помотал головой. Он казался сейчас тем, кто и сам не знает, кто он, волнуется, и мечется без толку; хочет лишь найти решение, но не находит, напоминая тех падших ангелов, которые не были ни за Бога, ни за дьявола, и погибали в аду, томясь в тоске.

Он завозился на своем диване.

— И люди мало изменились. Так же от любви страдали, от гордости. Так же умирали. Все главное — то же... Слава, счастье.:. А ответа нет. Страшен мир-с... К нему с воскресной школой не доедешь.

— Я думаю,— сказал Казмин,— что и прекрасен так же, как и страшен.

Ахмаков махнул рукой.

— Прекрасен! Думаете, не было уже такой Елены, вот как ваша?

— Я же сказал тогда,— засмеялся Казмин,— что это древняя Елена. Но позвольте, к чему, в сущности, эти все туманы? Вы ведь политик. А политику все ясно должно быть, все понятно и доступно.

— М-м! Вы хотите, чтобы политик был ограниченным человеком?

Казмин погладил его по плечу.

— Значит, вы не совсем для своей роли назначены.

Ахмаков опять заволновался.

— Когда больше всего *делал*, верно, именно и был ограниченней. Все только делал, учреждал, заседал, и жизнь как-то

пробежала. Ну, и мы тоже правы были, даже очень... но в определенной мере, лишь в определенной.

В это время к ним вошла Елена.

— А ведь мы считали, снова говорю, что одни мы и правы... Все же остальное — дрянь, ненужность. Разве б мы ее приняли? (Он указал на Елену.) Она для избирательного права, или, там, кооперации, пальцем не шевельнула. Мы все других учили, а сами...

Елена подошла к нему и поправила одеяло.

— Как вы шумите, Алексей Кириллыч. Вредно вам. Вы не адвокат.

Ахмаков захохотал.

— Видите — женщина! Они редко в философию залетали. Милая моя! — он взял ее руку и поцеловал.— Вот такой рукой женщина ласкала, раздирала нам сердце нежностью, умилением. Перевязывала раны. И умирающим — закрывала глаза.

Ахмаков положил ее руку себе на лоб и замолк. Казалось, весь его пафос усмирился.

— Женщина,— сказал он тихо,— всегда была лучшей славой вселенной.

Елена усмехнулась.

— Знаем мы эту славу.

Но Ахмаков настаивал. На него Елена вообще действовала хорошо: ему нравилось, что она задумчива, не болтлива, с оттенком причудливости. И когда становилось очень плохо, и приходила Елена — как бы улыбка являлась в его глазах.

Кажется, Ахмаков понимал теперь свою болезнь, в общем — на нее не роптал. Казмин заметил, что в этом он теперь иной, чем был в деревне.

Раз, в жаркий, послеполуденный час, когда от солнца в кабинете спустили с одной стороны шторы, Ахмаков и сам сказал ему об этом: он пил лежа чай, с вишневым вареньем; волосы его слиплись; землистое лицо слегка блестело.

— Я вас тогда ошарашил, на станции... помните, еще спросил, приедете ли ко мне? Вы очень удивились.

— Правда,— ответил Казмин.

— Ну, конечно. Знаете, мне тогда очень уж плохо было.

Казмин сказал, что видел это. Ахмаков поставил стакан на блюдечко, приподнялся на локте.

— Дело вот в чем: мы живем и, понятно, о смерти иногда думаем. Но смерть-с даже таким, как я, полуседым, кажется чем-то *вообще,* не моим лично. Ну, и приходит день, когда она становится уже *моей.* Замечаете? Я ее вдруг с собой увижу, рядом,— он задумался.— Это надо пережить. Мы, ведь, старики,

на положительной закваске, наше поколение. Не мистики. Там, насчет будущей жизни, и тому подобного...— он махнул рукой.— Впрочем, это грозный час, думаю, кто бы вы ни были. Ах, тут трудно. Это именно со мной *тогда* произошло. Точно я заболел душою. Я даже думал — может быть, с ума схожу? А всего-то и было, что болезнь свою почувствовал. Понял, что вот лечь придется, и не встанешь.

— Я, пожалуй, это видел,— сказал Казмин.— То есть видел ваше душевное состояние.

— И я знал, что видите. Я приехал сюда — все то же. Я и вызвал вас. Почему вас именно? — Ахмаков опять как-то смешался.— Ну, казалось мне, что вы скорей... я вспоминал, как вы тогда со мной были на балконе... и думал, приедете. Разумеется, это все странно вышло. Вы могли посмеяться,— он перевел дух, потом продолжал, как бы разгорячась.— А ведь сын не явился, адъютант! Что же, впрочем... Это старая история, испорченная жизнь, все искаженное. Не пожаловал. А когда он маленький был, я его знал? Он вдали рос. Я его любил. Но с его матерью мы разошлись, это — главное. Отсюда и остальное все.

Волнуясь, задыхаясь, он рассказал об этой искаженной жизни. Как разошелся с женой, много лет тому назад, она его возненавидела. В нелюбви воспитала сына. Сама умерла. Умирая, слово взяла,— к отцу он не вернется. Так у дяди мальчик и прожил.

— Видите, как в жизни бывает? Замечаете? Мы с ним видались, встречались, позже...— он красивый юноша — вместо ребенка, которого любил когда-то,— молодой человек. Что же-с, надо сказать: мне чужой. И я ему... одно название — отец.

Он помолчал.

— Все же и его мне захотелось видеть. Он, ведь, когда крошечный был, у меня на руках засыпал. Я ему, да... помурлыкаю, он и заснет.

Ахмаков сел.

— Но вышло так, что у меня оказались вы и эта... Елена. Очень хорошо, но неожиданно. Впрочем, теперь так стало, что все *ожиданно,* приемлемо. Я теперь уж все знаю (он сказал устало). Приготовился, что ли, привык. Вон, не угодно ли?

Он протянул руку к окну. Казмин взглянул.

Мимо дома тянулись похороны. Шли факельщики, лошади показались в траурных попонах, белый с черным катафалк. На нем, в гробу под серебряными венками, лежала старушка. Профиль ее возвышался над ватой и слегка покачивался. Все лицо, с тонким носом, воскового цвета, с темными глазными впадинами, было видно отчетливо.

— Здесь монастырь недалеко и кладбище,— сказал Ахмаков,— я немало этих зрелищ вижу. И сам так же поеду. Но это ничего. Это только театральный занавес, в конце пьесы.

Казмин не ответил. Ему казалось, что и это не совсем верно: вряд ли так уж просто, вряд ли всего занавес.

В это время на паре в дышло подъехал доктор — немолодой, полный, ленивый человек, в нечистом сюртуке, старорусского вида. Он заведывал городской больницей; бывал у Ахмакова часто, имел вид вялый, и постоянно убеждал, что опасности нет.

Начался осмотр, Казмин вышел в сад, в несколько странном состоянии. Что-то его задело в рассказе Ахмакове о сыне. Он прошелся по кленовой аллейке. За каменной стеной подымались елочки соседнего сада. Голуби кружили над голубятней. Глухо лаял пес.

Казмин сел на скамью, голову положил на ее спинку. Трудно было дышать. Острая горечь, жарче обычной, наполняла сердце. Почему он тут сидит, около умирающего Ахмакова? Что ему в этом хлеботорговом городе, в этих жарах, голубях, Елене, когда он знает, что в Петербурге его жена, как бы ни притворялся? Все эти метанья, никому не нужные разъезды... Деревенские работы, хозяйство. Обман! и очень жалкий. «Может быть. Но куда же деваться?» Да, он знал, что жена с другим ушла, что вернуться некуда, и Никашу взять некуда. Он это и всегда знал: но сейчас ощутил с той смертельной неотвратимостью, когда вместо жара тонкий, ледяной озноб проходит по телу; и показалось, что вместе со скамейкой беззвучно проваливается он вниз, как во сне.

Вдруг он услышал шаги. Поднял голову — Елена, как всегда, в огромной, черной шляпе, с выбившейся прядью волос. Мягкий рефлекс ложился на лицо. Она положила ему на плечо руку.

— Ну,— сказала она, чуть улыбнувшись,— ну? что?

Он, должно быть, выглядел дурно. Что-то прошло в ее лице. Она спросила серьезней:

— Что же вы тут сидите, правда?

Он, наконец, с ней поздоровался.

— Так просто... и сижу,— сказал Казмин.

Елена села рядом.

— У вас мутные какие-то глаза. Ужасно замученные глаза.

Казмин пожал плечами.

— Что ж теперь делать!

Она серьезно в него всматривалась.

— А, какой вы... Я таким вас еще не видала.

Казмин встал, расправился, закурил; ему хотелось согнать с себя то, в чем она его застала.

— Вы были у Алексея Кириллыча?

— Его мучить сегодня будут.

— Как мучить?

— Ах, ванны опять...

Этим хотела она сказать, что опять доктор прописал ему горячую воздушную ванну, чтобы вызвать испарину. Испарины бывало мало. Но страдал он — его нагревали градусов до пятидесяти — жестоко. Он едва это выносил и, обычно, слабел потом. Называл он это поджариванием святого Лаврентия — st. Laurent sur le qril de fer, как он выражался.

— Я уйду,— сказал Казмин.— Не хочу тут сидеть, пока будут это проделывать.

Они вышли с Еленой на улицу. У Казмина было чувство, что куда-то следует уйти, что-то сделать, что-то изменить.

Слегка вечерело. Жар спадал. Деревья были запылены, небо довольно странно: светило солнце, но не ярко; какая-то мгла сгущалась в воздухе,— туманила его. Эта серость не предвещала хорошего.

Они направились к окраине, через старинный, знаменитый монастырь с высоченной колокольней; на монастырском дворе росли клены; под окнами келий — гряды георгин. Встретившись в выходных воротах с ярко-рыжим монахом, который горячо доказывал что-то другому, толстому, в засаленной рясе, они вышли на лужайку.

Тут началась настоящая провинция, те отчасти легендарные места, где вместо мостовых — травка, вместо тротуаров — тропинки; гуляют коровы, домишки одноэтажны, с цветными ставнями, тонут в садах. Тут остались еще каменные домики Петровского времени, и кажется, и люди живут не близкой эпохи.

Проулком, мимо дощатых заборов, со скамеечками у ворот, где сидят старухи,— вышли они к обрыву. Отсюда видна река. направо и налево по горе пестрые лачуги, с маленькими, будто расчерченными двориками, с тряпьем, юбками на заборах, детишками, собаками — всем тем, что есть живописного в русском или итальянском городе. За рекой же, со старинным зданием яхт-клуба, далекие поля, луга, на горизонте — катящийся к мосту поезд.

Елена села на травку, сбегавшую вниз. Там, у забора с мусором, дети играли в мяч.

— Хорошо здесь,— сказала она,— далеко видно, очень покойно.

— Потому, что тут место простое.

Елена похлопала хворостинкой.

— Простое, простое... Ну, конечно,— она взглянула налево, под гору, где баба загоняла корову,— здесь не такие живут, как мы с вами.

— Их жизнь,— сказал Казмин,— очень ясна, очень неопровержима. Все на своем месте, и никуда не сдвинется.— Труд, маленькие заботы, горести, быт. Все это слито в одну прочную картину — слито, если хотите, и с теми далями, с нехитрым пейзажем, со всей нашей нехитрой, простонародной стариной.

— Хорошо. А кто же мы с вами? — спросила Елена.— Мы — чудные, чужие? Что нам делать?

Казмин помолчал.

— Мы, может быть, странники. И возможно, мы узнаем, что нам делать.

— Мне недавно старушка одна сказала, из простых: «Ты бы, голубушка, к Тихону сходила, к святителю». Это, значит, к Тихону Задонскому.

Казмин лежал рядом, на травке. Белый с желтыми пятнами теленок пасся тут же, привязанный к колышку. Казмину представилось, как такая вот Елена, в огромной своей шляпе, с духами, в модном платье, вдруг отправится с бабами в монастырь. Он слегка улыбнулся.

— Это вы надо мной, я вижу,— сказала Елена.— Хотите, я сейчас разуюсь, шляпу возьму под мышку, и босой домой вернусь?

Казмин стал ее успокаивать.

— Да, а то ведь меня легко сбить,— говорила Елена.— Я вообще-то вас боялась немного. Особенно вначале.

Казмин удивился.

— Почему боялись?

— Так, очень вы серьезный господин. Господин Казмин... Бритый. Всегда аккуратный.

Казмин пожал плечами.

— Такой уж вырос.

Она внимательно на него посмотрела.

— А сегодня только мне показалось, что и вы...— она покачала головой.— И вы не очень-то основательный...

Казмин сел, снял шляпу и поцеловал ей руку.

— Пора, мой друг,— сказал он.— Вам пора заметить, что и я человек... не изваяние.

Они сидели некоторое время молча. Все так же громадна, беззвучна была равнина перед ними,— с лугами, полями, курганами, затерянными в степях, с мужицкими селами, бабами, с

древним монастырем, с Доном, видавшим тысячелетия. Понемногу гуще стало на небе: померкло солнце в сизых пеленах. Сзади, за городом, накоплялись тучи, и молния вспыхивала. Пронеслась куда-то стая голубей, кидаясь из стороны в сторону. На дали, с небом еще светлым, лег мрачный отсвет.

Когда они возвращались назад, ветер уже налетал кусками; туча хмуро синела; на ней особенно белы казались колокольни; пыль клубилась вихрем. Деревья гнулись. Листья летели.

Проводив Елену, Казмин вернулся во флигель с первыми каплями дождя. К Ахмакову ему не хотелось. Он спросил по телефону, как дела. Домна Степановна ответила, что барин очень слаб после ванны и почти не говорит.

Гроза рухнула с бешенством,— точно очень уж много набрала природа сил. От грома дребезжали подвески на люстре, дождь гудел сплошной массой, и улица, во вспышках белых и зеленых молний, казалась ручьем. Казмин был очень возбужден. Неопределенное волнение давило его. Пробовал он читать, смотреть на ливень, свистать марши, все не выходило. Пообедав один, в большом доме, он опять к себе вернулся; Ахмаков дремал. Стало почти темно. Он не освещал комнат, зажег лишь электричество в прихожей. Стеклянной стенкой отделялась прихожая от залы; свет падал на пол, вырисовывая узоры растений, стоявших тут в кадках. Казмин ходил взад и вперед по трем комнатам, к этому освещенному пятну. Раза два звонил в кухне колокольчик: это — шутки прохожих, провинциальное развлечение.

Но вот в одиннадцать, когда гроза почти стихла, позвонили, как следует — он сразу это почувствовал: некто, кому действительно к нему надо. Казмин пошел отворять. От подъезда отъезжал лихач с поднятым верхом. Раскрыв зонтик, стояла у дверей Елена, наклонив немного вперед голову. Что-то зябкое, беззащитное было в ней.

— Можно к вам? — спросила она.— Вы не спите?

Казмин сказал, что можно, и закрыл дверь. Его удивило, что она вся мокрая. Елена усмехнулась.

— Не одобряете! Просто мне очень скучно, я ходила по улицам. А потом устала. Извозчика наняла.

Она равнодушно сняла шляпу, с которой падали капли. Перчатки бросила в подзеркальник.

Казмин сказал, что единственно, что может ей предложить, — стакан горячего чаю. Для этого пришлось взбудить мальчишку, спавшего у него в кухне. Тот поставил самовар.

Елене понравилось, что в гостиной свет падает сквозь стекла, и что странный такой полумрак. Казмин дал ей плед, она сняла

ботинки, промокшие чулки и просила просушить. Он снес их в кухню, там мальчишка уложил все на плиту. Казмин вернулся, улыбаясь; странно ему было, что вот он занимается мелкими хозяйственными делами чужой, но отчасти — и не чужой Елены.

Он опять ходил из угла в угол и курил. Елена тихо лежала под пледом. Как будто она согрелась там и задремала. Потом потянулась и сказала:

— Я кажусь вам приблудной собачонкой, которая зря шляется? От хозяев отбилась, и лезет.

Казмин сел к ней на диван.

— Я этого не думал,— сказал он.— Никогда я так не думал о вас.

Он дал ей, наконец, чаю: в шкафу нашлось немного рому. Елена выпила и подбодрилась. Она теплее закуталась в плед и сказала, что теперь хоть чуточку похожа на человека. Потом задремала, как следует. Казмин по-прежнему сидел на диване, откинувшись на спинку; он пил чай. Спать не хотелось. За спиной он чувствовал теплое, тонкое тело Елены. Тишина, полночный час, ровный, но сильный шум дождя погружали его в удивительное, сладостное оцепенение. Точно он отделялся от момента; дух его ровно плавал над жизнью, как над смутной бездной, и в эти минуты яснее предстало ему собственное прежнее существование. Спокойная, чистая юность; работа; любовь, занявшая все сердце; он оглянулся на спавшую Елену. Ее близость вызвала в нем нежность, может быть, будя воспоминание о другой, уже давно невиданной. «Я мало знал женщин,— подумал он не без гордости,— и не жалею об этом. Всю мою жизнь взяла *Она.* Я ее люблю. И остальное мне не нужно». Он вдруг засмеялся в темноте. Слезы показались на его глазах. Он взял Елену за руку.

— Елена, слушайте, Елена! — сказал он громко.— Проснитесь!

Он даже несколько испугал ее. Но это не показалось ему дурным. Он был взволнован и растроган.

— Как я заснула! Фу! Где мои чулки? — спросила Елена, и уже села решительно.

— Это ничего, чулки сейчас мы принесем...— Да, вот что, голубчик, дело-то в том, что я уезжаю отсюда, в Петербург, к жене.

Елена удивилась.

— К какой жене?

— Ах, ну к своей собственной...

Путаясь, волнуясь, стал он рассказывать. Правда, жена его ушла, и даже говорит, что кого-то там полюбила. Но ведь это

ничего не значит? Наверно, просто увлеклась, ведь у них же в прошлом целая жизнь общая, сын... Неужели ж совсем она его забыла? А и если даже так, все равно должен он в Петербурге жить, где-нибудь около... Ведь она-то? Сын-то?

Елена положила голову на руки и засмеялась.

— Вот и серьезный, важный господин Казмин, который все научал меня правильности. А еще я говорила — как он ловко бреется.

— При чем тут бритье?

— Ну, вообще, я вас боялась. Считала благоустроенным.

Елена заплакала, обняла его голову, поцеловала в лоб.

— Головушка вы моя горькая! — сказала она сквозь слезы.— О, Господи!

Казмин был смущен, взволнован, удивлен. Все путалось у него в голове. Правда, мало был он похож в эти минуты на прежнего Казмина.

— Ваши слезы...— говорил он Елене,— и вообще все... вся вы... мне страшно дорого... но неужели то, что я сказал... так бессмысленно?

Елена плакала.

— Ах, не знаю! Может быть, вовсе не бессмысленно, но как же все тяжело... Господи, спаси и сохрани...— она вдруг закрестилась по-детски, и зашептала молитву.

Успокоившись немного, взяла его за обе руки.

— Милый мой, мне вы ближе стали, гораздо ближе. Может быть, мы не зря тогда встретились... Знаете, я тогда... вероятно, что я тогда не осталась бы... Но вышло так странно, я попала к этому Ахмакову. В его доме сижу. Диаконисса!

— Вы умирать не должны,— сказал Казмин.— Нет!

Она сидела молча.

— Вы сказали нынче: странники мы. Пожалуй. Все за судьбой идем. Вы, я... и Алексей Кириллыч этот. Мне его жаль.

— Может быть,— сказал Казмин,— ему всех трудней.

— Он очень над собой смеется. Зачем это?

— Не знаю. Но и он о себе ничего не знает.

Елена встала.

— Нет, я знать хочу. О себе я должна знать.

В это время позвонил телефон. Казмин встал, подошел к аппарату. Звонила Домна Степановна. Ахмакову стало очень плохо, она просила зайти.

— Ах, сейчас, сейчас...— ответил Казмин.— Сию минуту.

Он зачем-то оправил галстук, захватил папирос. Елена отерла слезы. Накинув верхнее платье, вышли они во двор. Было темно,

дождь шел, не переставая. Пахло влагой и тополями. Казмин держал Елену под руку, шел осторожней, чтобы не попасть в лужу. Пес залаял из будки. Елена прижалась к спутнику.

Они вошли с черного хода, через лакейскую, где стояла на столе свеча; за перегородкой кто-то храпел; их встретила Домна Степановна с побелевшим, как бы опухшим лицом.

— Очень задыхаются,— сказала она Казмину.

У Ахмакова было светло. Он сидел на постели, слегка покачиваясь, держа голову в руках.

— Плохо, судари мои, совсем плохо. le vieux voltairien va mourir[1]. Пожалуйста, потрите мне спину.

Его просьбу исполнили. Худая, полумертвая спина казалась Казмину страшной. И все в комнате, ярко и недвижно освещенной электричеством, со слегка затхлым, сладковатым запахом, было безнадежно. Казмин взглянул на Елену. Ее лицо как будто замирало, вяло в этом гробе.

— Когда вы трете, дорогой, мне легче дышать,— сказал глухо Ахмаков.— И вообще, при вас все же лучше. Хотя я хорошо знаю, что зрелище умирания...

Он замолчал и перевел дух.

— Мне бы хотелось, чтобы на сердце были те мир и ясность, которые сулит христианство. Но этого нет. A bas les prêtres[2]. Я не хочу кощунствовать, но не думайте, друг мой, что смерть есть поэтический венок, который возлагают нам... в вознаграждение всей жизни. Une couronne be lauriers[3]. Сказки!

— Прочтите,— сказала Елена,— «Богородицу». Я всегда читаю, когда очень плохо.

Ахмаков взглянул на нее тусклым взором...

— Женщина! Милая! Все та же, во все века. Нет-с, мне уж поздно. Какой в колыбельку, такой и в могилку.

Казмина сменила Елена. Как будто от ее массажа Ахмакову стало вправду — легче. Он лучше дышал. Но слабел очень. Опять пришлось лечь.

Ни Казмин, ни Елена не уходили от него в ту ночь. Когда Елена с ним сидела, Казмин выходил в гостиную, дремал там на диванчике, слушая тоненький бой часов под стеклянным колпаком,— тех часов, что отмеряли время в этом скучном доме, и теперь добивали последние минуты Ахмакову.

Перед утром он забылся. Не то спал, не то бредил; увидев Казмина, сказал вдруг:

---

[1] Старый вольтерьянец скоро помрет *(фр.)*.

[2] Долой священников *(фр.)*.

[3] Лавровый венок *(фр.)*.

— Человечество переживает величайшие страдания,— потом засмеялся и перевернулся.

Казмин отошел от него, прислонился к портьере; от усталости или волнения, у него закружилась голова. Он прошел в залу, отворил окно, и опять лег. Свежий воздух наплывал теперь к нему. Дышать было свободнее. Он лежал молчаливо, ему казалось — что он один на дне какого-то глубокого колодца. Но — и ничего, пусть так. Это его даже успокаивало. Потом вдруг пережил он странное чувство: будто и он, и Елена, и Ахмаков, все уже *было;* и *уже* он терял любовь, и стремился к ней; и Елена бесконечно давно страдала от измены; Ахмаков целые века пытался что-то найти, барахтался, подымался и падал. Но непрестанно гонит их вперед воля Великого Владыки. Тысячи раз придут они, тысячи раз уйдут.

В пять часов стало светать. Дождь перестал. Казмин и Елена сидели в зале, на подоконнике, растворив окно на улицу; было тепло; иногда капля залетала на усталый лоб, на завиток волос Елены, украшая ее бриллиантом. Бледно-зеленоватая зарница вспыхивала. Елена говорила:

— Я пойду к Тихону Задонскому. Полями теми, что вчера мы видели с обрыва. Далекими полями. Буду с бабами идти. Там помолюсь за себя, за вас, за Алексея Кириллыча и всех христиан. Может быть, помолюсь, поплачу — и больше пойму, что мне делать, как жить.

Казмин слушал и кивал головой. Из садов улицы плыло к ним благоухание утра, и их состояние было не то бодрствованием, не то сном.

В кабинете же в это время лежал на спине Ахмаков, с аккуратно скрещенными на груди руками. Лишь отчасти напоминал он Ахмакова прежнего: нечеловеческое спокойствие и мир выражали его черты, как будто теперь, выйдя на величайший простор, он постиг тайны вечности, закрытые для него на земле.

V

Прошло несколько дней. Ахмакова похоронили в том самом монастыре, куда мимо его дома возили и других покойников. В газетах, местной и столичных, сообщалось о его смерти. Провожали его представители разных обществ, партий. Любители речей называли его на кладбище светлой личностью и желали, чтобы земля была ему легка. Некролог начинался так: «Ушел Алексей Кириллович. С трудом верится...» — и далее, все как следует. Так что можно было сказать, что если при жизни Ахмаков принадлежал к *порядочным и честным людям,* то

смерть его прошла не менее солидно: со всей обстановкой хороших смертей.

Из лиц мало кому известных, за его катафалком шли Казмин и Елена. Был такой же жаркий день, как тогда, когда мимо дома везли старушку. Так же лицо Ахмакова было открыто, глядело кверху — лишь венков было больше. Елена надела креп. Казмин был молчалив, шел прямо и суховато. Обоим этот человек был в сущности мало знаком; но обоих судьба поставила с ним в странно-близкие отношения.

Как и предполагала, на другой день, утром, одевшись попроще, Елена ушла с партией странниц, где были знакомые из имения бабушки. Шли они к Тихону Задонскому.

Елена простилась с ним просто, по-дружески, но сдержанно. Оба знали, что у каждого свой путь, и если они встретились, то лишь на минутку, чтобы разойтись навсегда. Но как товарищи по общему делу, пожелали друг другу добра.

В тот же день, вечером, Казмин ехал на вокзал. Он был теперь опять спокойным, бритым Казминым, которого побаивалась Елена. В кармане у него лежал билет в Петербург. Он не знал, что ждет его там — поворот к лучшему, горе или отчаяние, но было ясно, что именно так следует поступить. Другого пути нет, а этот прям — как и всегда бывало в его жизни.

Вечер был ясный, прохладный. После дождей особенно ярок бархат ночного неба. Казмин закинул назад голову,— и тогда стало казаться, что не он едет, а плывут мимо него дома, деревья, улицы. Над ними же, как удивительные светочи, горят вечные созвездия. Он вспомнил, как въезжал сюда две недели назад при этих же звездах. Его мысль перешла на Ахмакова. «Вот,— подумал он,— и vieux voltairien нашел свое последнее пристанище, и уж не будет кипятиться».

Навстречу ему, невысоко над горизонтом, сияла Капелла, переливаясь огнями; Арктур горел желтовато; и сам могучий Юпитер, страж неба, светил полно, божественно.

Казмин очнулся. Они проезжали каким-то плацом, мимо кадетских корпусов, по аллее тополей. Близок уже был вокзал. Предстояло идти в еще далекое для него странствие, в бурях земных противоречий, под блеском звезд, казавшихся недвижными, как вечность.

Притыкино, 1916

ОСЕННИЙ СВЕТ

I

Из своего большого имения, верст за пятнадцать, Ковалев приехал в усадьбу Лиски. Здесь жила раньше его мать. Но сгорел дом, матери пришлось перебраться к ним в Авдеево, где у Ковалева была красивая и самомнительная жена, грудные дети, запутанное хозяйство. Мать плохо уживалась с женой. И Ковалев торопился достроить ей дом, чтобы вновь, всецело погрузилась она в кур, индюшек, гусаков — главную приманку ее жизни.

Был полдень сероватого, сентябрьского дня, когда коляска его въезжала во двор. Он вылез у конторы — небольшой избы, с которой рядом висел колокол для рабочих. Курица спрыгнула с крыльца. Вышла, разумеется, баба.

Оглянувшись, он увидел знакомую картину елочек, амбар и за ними недостроенный кирпичный дом, с ямами для извести по бокам. В просвете вдали виднелся лужок, чуть затуманенный. Небо стояло над всем этим бледное, приятно-тихое. Ковалеву вдруг вспомнилось, что все было так же и очень давно, при отце, когда они тут жили в большом низеньком доме, от которого теперь остался только рояль в сарае да старинные часы — их успела вытащить Авдотья Сергеевна. «В такой денек,— подумал Ковалев,— отец, наверно, собрался бы с гончими, трубил бы по соседним лесам и вернулся бы веселый, с парой зайцев».

Баба достала ему старосту — мрачного человека, не тратившего слов зря; Ковалев снял дорожное пальто, широко сидевшее на его полном теле, и тронулся за старостой на стройку. Староста шел в валенках, в руках у него была палка; из ушей росли седые космы, в морщинах на шее — многомесячная грязь.

— Что ж,— спросил Ковалев,— стропилы к Покрову поставим?

— Разве с этим народом управишься? Опять же и кирпича не хватит...

В это время они ходили по доскам, уже внутри дома; в выведенные окна кусками глядела даль, слегка сизеющая; снизу, у фундамента, густо выбивался чертополох; пахло сыростью и известкой; двое каменщиков выкладывали капитальную стену и при виде барина сняли шапки.

— Как же так не хватит? — спросил Ковалев с неудовольствием.

Но оказалось, что именно и не хватит, как раз так, как всегда не хватает. Растащили ли его, ошиблись ли в расчете сами, только правда надо было прикупить. Ковалев несколько даже рассердился — скучно, что история с этим домом все затягивается. Он стал было выговаривать старосте. Тот стоял перед ним равнодушно-почтительно, с таким видом, что все равно ничего не поделаешь. Ковалев только зря себя вывел из того задумчивого, несколько меланхоличного настроения, в каком сюда ехал. В конце концов махнул он рукой и сошел по доскам вниз; только сердце его сильнее билось; как нередко в последнее время, он слегка задыхался, когда шел к конторе.

— А то еще у Серебренниковой барыни кирпича можно разжиться,— сказал неожиданно староста, сзади.— У ней, сказывают, завод новый, кирпичный. Вот, заезжайте, поторгуйте.

— Это я и без тебя знаю, что завод... Ф-фу...— Ковалев задохнулся и остановился,— скажи Егору, чтоб корзинку мою взял из коляски, ну, позавтракать... Самовар мне поставьте, и все. Я тут в сад еще пройдусь.

Ковалеву хотелось быть одному. Опираясь на палку, не особенно легко шагая, он прошел мимо конюшен, где девки выгребали навоз, мимо избы рабочих — там в стружках бродили ребятишки — и направился к старым липам, за которыми тянулся фруктовый сад. Здесь было уединенней. Золотисто-коричневатый лист лежал по дорожке, шуршал под ногой. Липы обнажились; их огромные, темные стволы стояли как бы стражами, важные, в два ряда. Местами клен ярко золотел. Яблони частью окопаны. И над всем — горьковатый, влажный и ранящий запах осени.

Ковалев остановился в этом месте, где в аллее липы делали полукруглый выступ; тут стоял ветхий столик, скамейка; он сел. Снял нехитрую, плюшевую шляпу и закурил. Отсюда видно было, как ходили в усадьбе, слышался шум веялки за елками, мелькали поденщины. Пронес корзину Егор. Корова забрела к стройке — ее отогнали. «Все то же, все то же,— думал Ковалев.— Двадцать, тысяча лет пройдет, так же будет опадать лист лип, так же будут веять и корова такая же побредет. Мы же все хлопочем, женимся, родим и занимаемся жизненными делами».

Тут он вспомнил, что староста, конечно, прав, кирпича, разумеется, придется тотчас купить и, конечно, верно, что для этого надо съездить к «Серебренниковой барыне»... Вспомнив эти слова, так давно не слышанные, Ковалев чуть не вздрогнул — может быть, и потому, что вообще в последнее время чувствовал себя неважно. «Неужели все это еще есть? Еще есть Нина Андреевна, ее усадьба, луга?» Все это показалось ему странным.

II

Давно, когда жили они здесь, в Лисках, Петя Ковалев был робким юношей, студентом университета; отец подтрунивал над ним и говорил, что вряд ли из него выйдет хозяин: Петя не любил этого дела. Но отец ослаб, заболел, и четыре года до его смерти, четыре мрачных деревенских года он провел в усадьбе хозяином — вернее, приказчиком отца. В те времена он бывал часто у Нины Андреевны Карстен, в замужестве Смеловой — уже тогда вдовы, богатой «Серебренниковой барыни».

А теперь, катя в своей коляске по гулкой сентябрьской дороге, глядя на не убранные еще загоны картофеля с потемневшей ботвой, на рыжее жнивье и дивные зеленя, Ковалев не без волнения и любопытства старался себе представить, каково сейчас в Серебренникове, какая Нина Андреевна, как живет и как он ее встретит. Не видел он ее давно — с тех пор, как отец умер и как сам сбежал он за границу — лет семнадцать.

Когда переезжали вброд речку, в версте от ее имения, Ковалев не удержался и сказал кучеру: «Правее, правее, тут глубоко» — и оказался прав, память не изменила: в те темные ночи, когда приходилось возвращаться через этот брод, он отлично знал, где надо «брать правее»... Дальше шли луга, очень пологие, вдали мельница, стога, село за речкой, а налево дорога медленно подымалась и, мимо полос жнивья, темно-зеленого льна и бурой гречихи, шла к Серебренникову. Понемногу шире и шире расстилался горизонт; завиднелся уже в туманящихся, слегка серебристых далях большак в уездный город, а прямо из-за подъема вырастала роща и риги Нины Андреевны.

Ковалев знал, что в усадьбе много перемен. Вдали виднелся кирпичный завод. Не весьма его удивило, когда вместо знакомых, широко неряшливых строений он увидел новый скотный под цинковой крышей, удивительный каменный подвал, похожий на мавзолей; за особенной загородкой свиней, среди которых ходила девица западного вида: Нина Андреевна все имение сдала латышу, и он ввел свой образцовый дух.

Когда по знакомому полукругу между сиренью подкатила коляска к подъезду, встретился мальчик в пальто и зеленой тирольской шляпе с пером; этот беленький мальчик имел также вид независимый, того рода, что называется у нас «мальчик в штанах». Он слегка подразнил хворостиной собаку в конуре и проследовал дальше.

Ковалев вылез у крыльца с клеенчатой дверью и небольшим навесом. Теперь все было подновлено: дом заново крыт в тон латышским постройкам, в окнах новые рамы, все помолодело какой-то прочной, деловитой молодостью. «Действует Нина Андреевна, все действует,— думал он, входя.— Не сдается».

— Барыня в саду,— сказала горничная в чистом фартучке, снимая с него пальто.— Вам придется обождать.

Через большую залу он прошел в гостиную и оттуда на балкон. Этот балкон был теперь обращен в веранду; вся она в цветах; на столе блестящий круглый самовар, недопитый чай, салфеточки, печенье, с обычным изяществом и как бы с небрежностью; в дальнем углу качалка.

Сколько раз сиживал Петя Ковалев на этой самой террасе, так же дожидаясь хозяйки, не зная, куда девать пухлые руки и большие ноги! Нынешний Ковалев вздохнул. В этом доме и на этой террасе, откуда виден сбегающий вниз сад, луга за ним и далекие бугры зеленей, сжигалась и сгорела его юность: юность скудная и диковатая, но страстная.

Снизу, по дорожке, шла Нина Андреевна; в руке у нее было несколько роз, она одета в серый костюм, такая же высокая и статная. На террасу вошла бодрым, энергичным шагом; поднесла к лицу розы, провела ими по щеке и взглянула, улыбаясь, на Ковалева.

— Вот это кто! Забывший меня сосед. Ну, рада вас видеть.

Она протянула душистую, белую руку, всегда казавшуюся ему властной. Ковалев поцеловал ее.

— Все такая же, Нина Андреевна,— сказал он,— и время на вас не действует.

Она улыбнулась. И глядела на него все теми же голубоватыми, ясными глазами. Те же пепельные волосы, несколько полная и очень светлая шея; лишь вглядевшись, заметил он мелкие морщинки у глаз и коричневатые обводы.

— Каким же ветром вас все-таки занесло? Ведь вы знаете, сколько у меня не были? — Она на мгновенье приостановилась.— Да лет пятнадцать. Пятнадцать лет!

Ковалев подпер руками голову, гладил слегка бороду и смотрел теперь не на хозяйку, а вдаль, на осенние луга.

— Все такая же,— повторил я.— Я гляжу на вас и думаю: вы очень крепкая женщина, Нина Андреевна.

— Ну, а вы,— сказала она,— изменились. Не скрою. Как бы это назвать... да, вы тогда были робкий студент.

Ковалев засмеялся.

— А теперь — грузный барин... медведь, с плохим сердцем...

— Ах вы, русский человек! Все-то вы склонны к минору, к меланхолии.

— Да, а надо разумно и с достоинством вкушать от жизни? И затем спокойно уходить?

— Сейчас вы, наверно, вдадитесь в философию,— мягко сказала она.— Вы тогда были очень застенчивы и, простите меня, несколько нескладны. Но иногда прорывались в бурных тирадах.

— Теперь не прорвусь. Да, теперь... как смешно! Как смешно, зачем, собственно, я к вам приехал!

И тут, встав, медленно прохаживаясь по балкону, он ей рассказал, с легкой, но как бы и насмешливой улыбкой, что ему нужен кирпич, и сколько, и когда.

— Хорошо бы,— сказал он в заключение,— если бы мы с вами стали торговаться, спорить, выбивать друг у друга лишний десяток рублей.

Нина Андреевна согласилась, что это было бы очень смешно.

Она сидела теперь за тем же чайным столом, так же наливала спокойной, деловитой рукой чай сквозь ситечко, неторопливо двигала посуду, неторопливо вытирала, как привычный и очень уверенный в себе человек. Глядя на нее, можно было подумать, что свой жизненный путь, правда, проходит она легкими, белыми стопами, с той же простотой, как и держится, как моет чашки. «В ней есть шведская кровь,— подумал Ковалев,— и недаром она меня упрекнула русским моим происхождением».

Их разговор прервал человек в картузе, в плебейски-грубом коричневом пиджаке, крепкий, красный, с обветренным лицом: арендатор имения. Он тяжело пожал Ковалеву руку и заговорил с Ниной Андреевной о поросятах, о жмыхе на зиму для коров и разных хозяйственных делах. Ковалев догадался, что это отец того мальчика в зеленой шляпе с пером, которого он встретил у подъезда. У этого отца была щетинка на лбу, маленькие, хозяйственные глаза, очень быстрые; весь он глубоко начинен своими сельскохозяйственными интересами и сыпал без умолку — о свиньях, о жмыхе, кормах. Ковалев уже знал эту прочную, жизненную породу. Где-то он видел четырехугольное лицо и большие ноги; слышал полурусский говор и уже знал все о свиньях. Ему стало скучно. Он спустился в сад. Он сказал Нине Андреевне, что не хочет мешать их разговору.

III

Ковалев медленно спускался по дорожке, мимо цветников. Здесь цвели астры, левкои, георгины. Несколько роз сияли темным огнем. Стало теплее; чуть проступало в небе перламутровое солнце. Где-то грачи кричали — тем дальним и бездомным криком, когда кажется, что это из бездны пустого неба зовет кто-то. Ковалев чувствовал себя так, будто ему немного нездоровилось: не то легкий озноб у него и жар, не то мозг чем-то опьянен — тонким и легким, на все вокруг бросающим свой отсвет. Он шел между цветов. Яблочный сад тянулся за ним, но казалось, что тут же рядом, среди этих же мест, идут прежние тени, былые люди, все, как бы отшедшее, но и живое. И он сам тут проходит — иным шагом, с иной душой, но все же он, студент Петя Ковалев; там, у пруда, внизу, встретит свою даму, как всегда изящную, спокойную и ровную. С ней, наверно, уж кто-нибудь: сосед ли помещик с цыганским лицом, в высоких сапогах, или председатель управы, надушенный, с голубым платочком в кармане визитки. И она со всеми любезна, ровна и чуть-чуть радостна, и неизвестно, к кому же идет она — белыми, легкими стопами проходящая в жизни.

Около пруда он сел. Луга шли впереди со стогами кой-где; мельница невысоко подымалась над ним; там блестел кусок другого пруда и за ним в легком осеннем тумане подымался по бугру осиновый лес. Там нередко катались верхом. Там, конечно, так же светло, приятно скакала она с другими, красивее, ловчее и богаче его; и так же ласково и просто разговаривала.

Ковалев закрыл глаза. Ему представился вечер, осенняя луна, дорога в лесу, среди густого осинника. Но осенью осины голы и как редки они кажутся! В туманной луне лист, покрывающий землю,— это чистое серебро; туманом затянуло овражек налево, здесь глухое, дикое место; Нина Андреевна называла ночную скачку по этой аллее — «бегством Карла Смелого после битвы при Нанси».

«Все это бред,— прошло в его мозгу.— Сладкий бред».

Он сидел спиной к дому и дорожке, шедшей оттуда. И обернулся на шелест шагов. Нина Андреевна спускалась сюда.

— Вот вы где! А меня немного задержал мой... латышский рыцарь.

Ковалев усмехнулся.

— Он вас покорил своим азартом.

Нина Андреевна внимательно на него посмотрела.

— Ах, ирония, ирония! Русские не любят ведь порядка, созидания, богатства.

— Между тем сам я сейчас — порядок. Вы посмотрите, я очень прилично управляю делами жены. Даже к вам приехал не зря.

Она покачала головой.

— Нет, вы все это не любите. Когда я на вас смотрю, мне даже кажется, что если бы не некая инертность, вы бы все бросили. Стали бы бездомным студентом.

Ковалев молчал. Было тепло, серебристо, смутно. Тонкий пар стелился над лугами. Снова из пустоты, далеко и безгранично, кричали грачи.

— Нина Андреевна,— сказал он,— помните вы наши прогулки верхом, в том лесу?

— Помню.

— Полурусская, полушведская женщина... Сейчас в эту минуту, мне кажется, что, несмотря на все пережитое, всю горечь... в пустыне, где я живу... да, путаюсь. Безразлично. Все-таки все благословенно, что было! Пусть и останется благословенным...

Он взял ее руку и поцеловал.

— Та же белая рука, тот же запах.

Она сказала покойно:

— Я помню, как вы бывали здесь, как мы катались. Это было во время моей молодости.

Она несколько задумалась.

— Мне, конечно, нравилось, что вы меня любите. Это женская черта. Все же виноватой перед вами я себя не считаю. Нет,— она выпрямилась слегка,— я никому не лгала, никогда. Мне не от чего отрекаться.

Ковалев как бы взволновался.

— Вот именно, не отрекайтесь, да, да, будьте той же, безупречной, как я знал вас, той же, с прямым, открытым путем... Разве я говорю против? Укоряю?

— В моей жизни тоже были страдания, горечь и неудачи: но я считала, что на все надо смотреть просто и смело, я не люблю расслабленных. И случалось, что сердце мое было измучено, а я вышивала в это время какой-нибудь tischläufer[1].

Ковалев смотрел на нее и слегка покачивал, как бы в подтверждение, головой. Да, и он знал ее такую. Такая же и сейчас сидит она перед ним, прямая, чистая и благоуханная, правильно живущая, правильно сломившая его юность, безгрешная и сохранившаяся. Сейчас они встанут. Очарование уйдет. И из мира волшебного вновь пойдет он по дорожкам сада, мимо яблонь, насаженных ее заботливой рукой, к вновь отде-

---

[1] дорожка для стола *(нем.)*.

ланному дому; там, на стеклянной террасе, будет разговаривать с любезной хозяйкой и смышленой помещицей — может быть, об урожае, коровах, кирпиче. И сама она — а ведь и она знала, что такое любовь! — тоже станет удобной для таких слов. И лишь изредка, возможно, остановится ее взор, на мгновение она уйдет в область сладких снов, своих видений.

IV

Было довольно поздно, когда Ковалев подъезжал к Лискам. Он сидел в коляске грузно, опираясь на палку. Сквозь туманные облака светила луна. В пустынном, светлом лесочке ехали шагом. Коляску сильно покачивало. Луна слабо ползла среди голых веток. Налетал ветер. Сова аукала.

Ковалеву не хотелось возвращаться домой, в изобильный свой улей, где ждало хозяйство, разговоры с женой, служащими, купцами, весь тот утомительный и безнадежный круговорот, в котором проходит столько жизней. И, подъехав к Лискам, он приказал лошадей распрячь, выдать им корму; себе же постелить в конторе. Грязноватая баба внесла ему через четверть часа грязноватый самовар. За маленьким столом, у убогого окошка русской избы, Ковалев молчаливо и одиноко пил чай с блюдечка, откусывая сахар по-мужицки. Руки его пахли духами «L'heure bleu»[1]. По скатерти пробежал таракан, на ходу пошевеливая усиками. Ковалев глядел на него спокойно и беззлобно. В этот час, он знал, Нина Андреевна ложится спать в своей роскошной спальне, в тонком белье, вымытая, элегантная, стараясь не поддаться старости, гигиенично читая немного перед сном. Вероятно, те розы, с которыми она взошла сегодня на балкон, в хрустальной вазочке стоят на ее туалете, отражаясь в трех зеркалах. И она сама каждое утро, каждый вечер в этих зеркалах отражается — медленно проходящий в жизни призрак.

Баба не пришла больше за самоваром. Он кипел, жиденько тянул свою ноту и затих. Таракан убежал куда нужно. Ковалев устал сидеть в душной комнатенке, где висели хомуты и под ними портреты царей; он оделся, отворил дверь в темные сени и вышел. Все спали в усадьбе. Ни огонька, везде мертво. Луна взошла выше, и реял ее свет, все такой же таинственный, призрачный, ярче. Тем же путем, что и утром, мимо куртины елочек, Ковалев прошел к новой стройке. Собаки лаяли. Но он их не боялся. С собаками всегда был он дружен, и они его не трогали. Снова он взошел по всходням, медленно пересек гос-

---

[1] «Голубой час» *(фр.)*.

тинную, над которой небо простиралось, заглянул в комнату матери: в столовой из угла вылетела сова. По уже настланному накату он вышел на балкон. Здесь человеческие руки тоже возводили свое дело — перила, пол; что-то странное было в этой заботе об устройстве жизни. Сюда через несколько месяцев переберется его мать, чтобы, наверное, тут умереть, провлача несколько темных и бесцветных лет. Но зачем-то и она хочет этого устройства, и каменщики работают, и он, верный сын, Петр Ковалев, ездит за кирпичом. Луна же катит над ними свой загадочный, туманный лик, не то насмешливый, не то грустный. Ей видна была и его жизнь, стоящего здесь человека. «Что же,— подумал он,— вот и мы, такие мы есть и так прожили свою жизнь. А как за нее ответим — это неведомо».

Там, внизу, пруд. За ним, на взгорье, пробовали насадить аллею лиственниц, но мальчишки с деревни повырывали посадки — так, из озорства. В том лесочке, сейчас голом, серебрящемся в луне, он бродил юношей, терзаясь любовью. Отдавало ли эхо лесное его томление? Кто сжег их? И что они были? Их унесли ветры жизни с той же беспечностью, как светотень играет по дорожкам. Фантасмагории, миражи! Они здесь же, в опаловой ночи, где все — правда и призрак, былое и настоящее, боль прежних ран и улыбка забвения — туманный круговорот человеческого бытия.

1918

ГОЛУБАЯ ЗВЕЗДА

I

В комнате Христофорова, в мансарде старого деревянного дома на Молчановке, было полусветло — теми майскими сумерками, что наполняют жилище розовым отсветом зари, зеленоватым рефлексом распустившегося тополя и дают прозрачную мглу, называемую весной.

Перед зеркалом, запотевшим слегка от самовара, Христофоров оправлял галстук. Он был уже в сюртучке, довольно поношенном — собирался выходить. Голубоватые глаза глядели на него, порядочная шевелюра, висячие усы над мягкой бородкой. Он поправил узел галстука, завязывать которого не умел, улыбнулся и подумал: «Чем не жених?» Он даже ус немного подкрутил.

Затем взял ветку цветущей черемухи — она лежала на столе — понюхал. Глаза его сразу расширились, приняли странное, как бы отсутствующее выражение. Он вздохнул, надел шляпу, пальто, и по скрипучей лесенке спустился вниз. Пересек большой двор — здесь на травке играли дети, у каретного кучер запрягал пролетку — быстрым, легким шагом зашагал к Никитскому бульвару.

В Москве сезон кончался. Христофоров шел на небольшой прощальный вечер в пользу русских художников в Париже; его устраивала московская барыня из тех, чьи доходы обильны, автомобили быстры, туалеты неплохи. Христофоров мало знал ее. Лишь недавно встретил у знакомых своих, Вернадских; и тоже получил приглашение.

Дом Колесниковой ничем особо не выделялся — двухэтажный особняк в переулке, с лакеем в белых перчатках, с чучелом тигра на повороте лестницы; лестница хороша тем, что рядом с перилами шла кайма живых цветов в ящиках и кадках. Колесникова встретила его в зале, где люстры уже сияли, были расставлены стулья и стояла эстрада для чтецов, музыкантов. Хозяйка — дама худая, угловатая, и не вполне в себе уверенная; ей хотелось, чтобы все было «как следует», но неизвестным

представлялось, удастся ли это. И, пожалуй, ее осудит острословка Сима, миллионерша первоклассная, и меценатка.

— Ах, вы сюда, пожалуйста,— сказала она Христофорову, указывая на гостиную, за эстрадой.— Пойдемте, там и ваши знакомые есть...

Колесникова провела его в гостиную, где густо стояла мягкая мебель, без толку висели картины, горело много света и сидели нарядные дамы. Христофоров слегка смутился. Ему именно показалось, что никого он тут не знает, но он ошибался: сделав общий поклон, тотчас заметил он в углу Вернадских — Машуру и Наталью Григорьевну. Наталья Григорьевна, представительная дама, седая, разговаривала с высокой брюнеткой в большом декольте. Машура молчала. Она была в белом с красной розой на груди — тоненькая, с не совсем правильным, остроугольным лицом; почти черные глаза ее блестели, казались огромными.

Увидев Христофорова, она улыбнулась. Наталья Григорьевна подняла на него свои светлые, несколько выцветшие глаза. Он подошел к ним.

— А я думала,— сказала она, протягивая руку,— что вы не соберетесь. Значит, и вы пустились в свет. С вашим-то затворничеством туда же.

Она засмеялась.

— Вы знаете,— обратилась она к соседке,— Алексей Петрович одно время проповедывал полное удаление от мира, как бы сказать, полумонашеское состояние.

Соседка взглянула на него и холодновато ответила:

— Вот как!

Их познакомили. Она называлась Анна Дмитриевна. Христофоров сел на край кресла и сказал:

— Одно время, действительно, я жил очень замкнуто. Но теперь — нет. Вы знаете, Наталья Григорьевна, эту весну я, напротив, даже много выезжал.

Анна Дмитриевна вдруг засмеялась.

— Отчего вы так странно говорите? Точно...— она продолжала смеяться.— Простите, но мне показалось... как-то по-детски...

Христофоров слегка покраснел.

— Я знаю,— сказал он и обвел всех глазами.— Я, может быть... не совсем так выражаюсь.

— Не понимаю, как это надо особенно выражаться...— Машура тоже вспыхнула. Глаза ее блестели.

Анна Дмитриевна слегка откинулась на кресле.

— Виновата. Кажется, я просто сболтнула.

— Алексей Петрович говорит,— сказала Машура, сильно

покраснев,— так, как нужно, то есть какой он есть. Его учить незачем.

Наталья Григорьевна засмеялась.

— Вот и неожиданно разговор принял воинственный характер.

Она была в черном платье, с большим бантом у подбородка. В ее седых, хорошо уложенных волосах, в очках, в дорогом кольце, духах — ощущалось прочное, то, что называется distinguée[1]. Глядя на нее, можно было почувствовать, что она прожила жизнь длинную и чистую, где не было ни ошибок, ни падений, но работа, долг, культура. Она много переводила с английского. Писала о литературе. Дружила с Анатолем Франсом.

Разговор пресекся. Вечер же начался. Певица пела. Беллетрист с профилем шахматного коня, во фраке, скучно бормотал свою меланхолическую вещь. Приехал актер, знаменитый голосом, фигурой и фраком. Он ловко заложил руки в карманы, слегка дрыгнул ногой, чтоб поправить складку на Делосовых брюках, и, опершись на камин, сразу почувствовал, что все в порядке, все его знают и любят.

Христофоров наклонился к Машуре и спросил:

— Я не вижу Антона. Его нет здесь?

Машура несколько закусила губу:

— И не будет.

Актер вышел, читал Блока. В дверь виднелась его сухая, крепкая спина, светлая шевелюра, а дальше, в зрительном зале все полно было сиянием люстр, белели туалеты дам, отсвечивало золото канделябр и кресел. Когда начали аплодировать, Машура сказала:

— Вы же знаете его. Вдруг рассердился, сказал, что к таким, как Колесникова, не ходят, одним словом, как всегда.

Она вздохнула.

— Я ответила, что со мной так нельзя разговаривать. Он ушел, не простился. А я, конечно, отправилась. Да,— прибавила она и улыбнулась,— я совершила еще маленькое преступление: занесла вам ветку черемухи.

Христофоров засмеялся, и чуть смутился.

— Я очень рад, что вы...

— Какой у вас странный домик! Мне отворила квартирная хозяйка, старушка старомодная, в шали, там в комнатах киоты, лампадки, половички по крашеному полу. Когда я подымалась к вам по лесенке, на перилах сидел кот... Правда, похоже на келью.

---

[1] изящное, изысканное, благородное *(фр.)*.

— Я люблю тихие места. Да потом, это мне и по средствам. Ведь вот тут,— он с улыбкой оглянулся,— здесь, вероятно, человек, снимающий в передней пальто, богаче меня.

Машура взглянула на него ласковыми, темными глазами.

— Было бы очень странно, если б вы были богаты.

Мимо них прошла Колесникова, обмахиваясь веером.

Она благодарила знаменитого актера, слегка наклоняясь к нему угловатой, худой фигурой.

— Если б Антон узнал, что я у вас была,— продолжала Машура,— он бы меня знаете как назвал...

Она опять покраснела от недовольства.

Христофоров смотрел куда-то вдаль, в одну точку. Голубые глаза его расширились.

— Я иногда гляжу на Антона,— сказал он,— и думаю: он не скоро угомонится.

Машура вздохнула.

Начался последний номер — мелодекламация — то, что любят в провинции. Виолончель тянула свои, якобы поэтические, фиоритуры; актриса в тысячном белом платье *бросала* в публику фразы, затем изображала нежность, умиление, вновь рокотала. Все это имело успех.

После актрисы публика стала разъезжаться. Свои остались. Свои делились на две части: участники и знакомые. Их пригласили ужинать. В один конец сажали актеров, писателей, лиц с *именами.* Там и вино стояло получше. Родственники и знакомые занимали другой фланг. Христофоров, Вернадские и Анна Дмитриевна оказались в середине, на водоразделе титулованных и разночинцев. Христофоров присматривался с любопытством. Когда нынче он говорил, что стал выезжать, это было верно лишь отчасти, в сравнении с прежней его жизнью — в деревне, в тихих провинциальных городах, где приходилось ему работать и в земстве, и давать уроки, жить вообще жизнью более чем скромной. Часть же этой зимы он провел в Москве, получив временную работу. И видел народа больше; но совсем, все же, не знал того круга, который здесь собирался.

Против него сидела Анна Дмитриевна. С ней рядом офицер генерального штаба, которого он заметил еще на концерте: человек высокий, сухощавый, стриженный бобриком, с нездоровым цветом лица и темными, без блеска глазами. И он, и Анна Дмитриевна много пили. Она смеялась. Он же был сдержан. Вино, казалось, на него не действовало.

Христофоров спросил о нем Наталью Григорьевну. Та поморщилась.

— Говорят, из хорошей семьи, и вначале подавал надежды.

Но потом какая-то темная история по службе... Его фамилия Никодимов. Нет, не моего романа. Ведет предосудительную жизнь. Настоящий...— она засмеялась.— Un dépravé[1]. Не понимаю Анну Дмитриевну.

И видимо не желая продолжать, она свела разговор на то, о чем порядочные люди в Москве говорят каждый апрель и каждый май: кто куда едет на лето. Христофоров узнал, что нынче они будут под Звенигородом, сняли имение, что там красиво, тихо, хотя есть и соседи — Анна Дмитриевна, например. Тут же она добавила, что есть свободная комната: будет отлично, если он к ним приедет — лучше бы, надолго.

Христофоров благодарил. О лете совсем он не думал, считал, что само как-нибудь выйдет, как и все почти в жизни. Но сейчас ему было приятно, что именно Вернадские его зовут. Много раз уже, в его бродяжной, нескрепленной жизни, приходилось ему гостить и жить у разных людей. Он знал, как берут свой чемоданчик и являются под благосклонный кров. Но кров Вернадских был особенно приятен.

Било два, когда Христофоров выходил из подъезда. Вернадские уже уехали. Вслед за ним выходила Анна Дмитриевна, Никодимов, и еще целая компания. Автомобиль ждал их. Ехали за город, встречать рассвет. Когда Христофоров шагал уже по переулку, машина, тяжело шурша, обогнала его.

— Прощайте! — крикнула Анна Дмитриевна.— Дитя, не сердитесь!

Он снял шляпу и помахал. Автомобиль умчался. Христофоров шел с непокрытой головой. Ночь была синяя, прозрачная и теплая. На востоке светлело. Там виднелась крупная, играющая звезда. Христофоров поднял голову. И тотчас увидел голубую Вегу, прямо над головой. Он не удивился. Он знал, что стоит ему поднять голову, и Вега будет над ним. Он долго шел, всматриваясь в нее, не надевая шляпы.

II

В дни начала июня дом Вернадских принял тот вид, какой имеют многие дома с наступлением лета: мебель в чехлах, гардины убраны, портреты, картины на стенах затянуты кисеей. Это значит, что Машура с Натальей Григорьевной, после долгой, сложной уборки выехали, наконец, на Брестский вокзал, и в купе первого класса, сдав многочисленный багаж, катят мимо

[1] Развратник *(фр.)*.

разных Кунцевых и Филей к станции, откуда извозчичья коляска отвезет их в новое летнее пристанище.

Дорога на лошадях приятна и разнообразна; небогатые нивы, леса, иногда хвойные; зажиточные села с хорошими избами; много шоссе; если старинные, знаменитые подмосковные с парками и прудами — к ним ведут иногда березовые аллеи; в селах новые школы, столбы на перекрестках с надписями о дорогах — те мелочи, что говорят о некой просвещенности.

Вечерело. Из-за поворота в лесу вдруг открылся вид на Москва-реку, луга и далекий Звенигород. В густой зелени горела золотая глава монастыря. Закатным светом, легкой, голубеющей дымкой был одет пейзаж. Коляска взяла влево, песчаным берегом; лошади перешли в шаг. Подплывал паром. Кулик летел над водой.

— Здесь очень хорошо,— сказала Наталья Григорьевна.— Мне очень нравится.

— Да.

Машура не была нынче разговорчива. Она несколько устала. На побледневшем лице глаза казались еще темнее.

— Обрати внимание на эти луга. Прямо с нашей террасы откроется вид на много верст. И потом, здесь чрезвычайно здоровый климат.

Наталью Григорьевну, приемную свою мать, Машура очень уважала. Тут была и любовь: но с детства любовь поставили так, что бурно выражаться, в нежности, она не могла. И иногда Машуре хотелось, как и сейчас, чтобы мать была немного менее основательна, спокойна. «Свежий воздух, климат, полезно»,— слова мелькали в ее мозгу, ничего не говоря. Ей все равно было, полезна жизнь здесь, или нет.

На заре въехали в старую усадьбу, бывшую вотчину Годуновых — уже смеркалось. Огромный деревянный дом казался мрачным; мебели было мало. В зале с поскрипывавшим паркетом, за круглым столом они ужинали при свечах. Свежие редиски с маслом казались вкусны; на свечи летели ночные бабочки, в углах было полутемно. Заря из темно-красной переходила в холодноватую мглу. Будто жутко стало Машуре — нежилое, ветхое надо обогреть, прежде чем станет своим. Все же, поужинав, она спустилась в сад. Росла тут трава, кое-где цветы, какие кому вздумается. Такие же и дорожки: будто их никто и не делал, пролегли они, как Бог на душу положит. За садом канава в березах, а там луга. Машура вышла в них. Было росисто. Над Москвой-рекой стоял туман, деревня смутно темнела. Там наигрывали на гармонике. Машура не знала, хорошо ей сейчас, или плохо. Новое место, новые луга, усадьба, неиз-

вестные ели высятся там, правее. Завтра взойдет солнце, и новые места откроют новую свою, дневную душу.

«Вот Алексей Петрович сразу понял бы тут все,— вдруг подумала она.— Почему Алексей Петрович? А про него сказал один знакомый: «В нем есть священный идиотизм»,— она засмеялась.— Ну, это пустяки! Вовсе не идиотизм, а что он немного фантастический, это верно».

В доме два окна светились. Одно распахнулось, и голос Натальи Григорьевны не очень громко, но как раз, чтобы слышно было, крикнул:

— Машура! Пора домой.

— Иду-у!

С детства Машура знала, что она Наталье Григорьевне подчиняется. С детства порядок и серьезность внушались ей, хоть не всегда успешно.

Прибредя домой, она прошла в комнату матери. Наталья Григорьевна, в чепце, в очках и безукоризненном белье лежала в постели и читала роман друга своего, Франса. Машура поцеловала ей руку.

— Ты все бродишь,— сказала Наталья Григорьевна,— пора бы и ложиться. Завтра тебя не подымешь.

— Нет, милая мама, подымете, когда понадобится.

— Мне не понадобится, но для твоей же пользы.

Машура раздевалась в комнате рядом. Уже заплетя косы, дунув на свечу, чтобы ложиться, она спросила из темноты:

— Мама, а тут не страшно?

Не отрываясь от чтения, Наталья Григорьевна ответила:

— Нет.

Машура перекрестилась, натянула одеяло на худенькое плечо и опять спросила:

— Антон не говорил, когда приедет?

— Разве можно придавать значение его словам? Сказал, что не скоро.

— И очень буду рада,— холодно ответила Машура.

«Конечно,— думала Наталья Григорьевна уже в темноте,— эти взаимные qui pro quo[1] и пертурбации необходимы. Все же характер Антона...» Она вздохнула и вспомнила об Анатоле Франсе. Вот где культура, порядок, уравновешенность! Тут ей представилось, что трудное слово *культура* можно по-новому определить. Старческой рукой зажгла она вновь свечу и, надев очки, записала в книжечку афоризмов и наблюдений: «Культура

---

[1] упреки в ошибках, недоразрушения. Букв.: одно вместо другого *(лат.)*.

есть стремление к гармонии. Культура — это порядок». Записью она осталась довольна и спокойно отошла ко снам.

Хотя с вечера голова немного ныла, Машура хорошо спала, встала в добром настроении. Надела белую матерчатую шляпу, добыла лопату, скребок, и к запущенному саду стала применять то, что ночью мать назвала культурой. Чистила дорожки, вскопала клумбу. Наталья Григорьевна поощряла такие дела,— находя, что общение с землей полезно для молодежи: укрепляет тело, облагораживает душу.

Сама она занялась домом; надо было и его подтянуть. Наталья Григорьевна не хлопотала и не суетилась; она действовала. Под ее умелым водительством переставили мебель; что нужно — добавили; появились скатерти на столах, на окнах портьеры, букеты сирени в вазах. Было разобрано белье. Платье развесили по шкафам.

Перед завтраком, когда меньше всего о нем думали, вкатил на велосипеде Антон. Он был в каскетке, поношенной летней паре, запыленный. Пот катился со лба. Поставив велосипед, он снял фуражку и отер разгоряченное лицо. Антон несколько сутулился, но стоял твердо на коротковатых ногах. Он был некрасив — с широким лбом, небольшими глазами, сидевшими глубоко; не украшал его и нечистый цвет лица — что-то непородистое, тяжеловатой выделки в нем чувствовалось. Отец Антона был дьячок.

— Насилу вас нашел,— сказал он Наталье Григорьевне, здороваясь.— А, и Машура занялась хозяйством. Дело.

Машура подошла, и просто ему улыбнулась.

— Как видишь.

— А я, извини меня, ведь нынче тебя и не ждала,— сказала Наталья Григорьевна.

— Имели полное основание. Я не хотел приезжать, но потом передумал...— он густо покраснел, и как будто на себя рассердился.— Да, а потом приехал.

Позвали завтракать. Завтрак был умеренный, свежий и вегетарианский, во вкусе дома.

— А,— сказал Антон, улыбнувшись,— у вас все то же, овощи, спасение души...

— Нет, не спасение,— ответила Наталья Григорьевна,— а просто нахожу это здоровым.

Антон давно бывал у них, еще вихрастым гимназистом, когда вместе с Машурой состоял старостой гимназического клуба. Уже тогда он был серьезен, головаст, давал уроки, помогал матери, и стремился на физико-математический факультет. Но и теперь, считаясь женихом Машуры, изучая интегральное ис-

числение,— целиком не мог привыкнуть к дому Вернадских. Что-то его удерживало. Он уважал Наталью Григорьевну, но ненавидел Анатоля Франса, бельевые шкафы в их доме, дворню, сундуки и порядок, олицетворением которого считал хозяйку. Кроме того, ему казалось, что он плебей, parvénu. Он, вероятно, не прощал Наталье Григорьевне ее барства.

И теперь, когда она говорила о профессорах, университете, его будущей работе, ему казалось, что это все — приличия, чтобы его занять и выказать внимание.

После завтрака Антон прилег в гостиной на диване. Обычные, очень частые мысли проходили в его мозгу. Казалось, что его не ценят; Наталья Григорьевна недовольна, что он близок к их дому; даже Машура его не понимает. Что именно в нем понимать — он затруднился бы сказать, но что он существо особенное,— в этом Антон был уверен.

Однако, он заснул самым крепким и негениальным образом и проспал часа два. Проснувшись, зевнул и встал. В доме было тихо — чувствовалось, что никого нет, пахло сиренью от букетов, чуть навевал ветерок из балконной двери; шмель гудел; в бледных, перламутровых облаках стояло солнце — неяркое и невысокое. Антон вдруг улыбнулся, сам не зная чему. Захотелось видеть Машуру; он не знал, где она; просто вышел в сад, взял направо, прыгнул через канаву и направился к недалекому лесу. Пахло лугами; откуда-то доносились голоса; будто телега поскрипывала. У опушки леса виднелось белое платье.

Лес был — ельник; тропинка выводила к обрыву над речкой, притоком Москва-реки. Песчаный скат шел к воде, в нем стрижи устраивали ямки, и торчали корни сосны. Машура босиком, слегка подоткнув юбку, стояла по щиколотку в воде и подымала камни. Иногда рак оказывался там. Она хватала его под мышки и бросала в лукошко с крапивой.

Антон сел на обрыв, спустив вниз ноги.

— Ты устраиваешь деревенскую идиллию?

Машура подняла на него лицо, трепещущее оживлением, весело ответила:

— Раков ловлю.

— А я заснул, проснулся, и не могу понять, где я.

— Ложись опять. Ты утром был хмурый. А сейчас какой?

Антон усмехнулся.

— Сейчас я, кажется, приличен.

Он лег недалеко от обрыва на мелкие, сухие хвои. Справа даль голубела, шли луга, виднелся Звенигород. Слева темной чащей стояли елки на пустынной, иглами усеянной земле. Там было мрачно. С лугов же тянуло теплом, благоуханием, какое-то

благорастворение было в этом месте. Внизу видел Антон излучину речки, с настоенной, темно-коричневой водой, где голыми, покрасневшими ногами действовала Машура. Ему было очень покойно тут.

Позанявшись своей забавой, пришла Машура, натянула чулки, села рядом. Он положил голову ей на колени. Ее руки пахли водой, раками, водорослями. Она гладила ему волосы, и говорила:

— Хорошо, что сейчас ты милый, и ты правда мой милый, такой Антон, как надо быть. Настоящий мой жених. А когда не настоящий, я тоже знаю. И не люблю.

Антон слегка фукнул.

— Белым-то нас всякий полюбит. Ты полюби черным.

— Что ж, и черным...

— Всяким?

— Всяким...

Машура задумалась, по ее худому, нервному лицо прошло как бы напряжение.

— Но и я не все понимаю, иногда мне кажется, что между нами, мною и тобой, уже роковое, судьбой назначенное, как знаю я тебя почти ребенком. А иногда думаю: навсегда ли?

— Скажи,— спросил он вдруг,— правда, что этот... Христофоров к вам приедет?

— Да, хотел. Почему ты спрашиваешь?

— Нет, ничего. Просто вспомнил.

Он взял Машурину руку, поцеловал в ладонь, и долго рассматривал.

— Мне всегда нравилась твоя рука. Пальцы длинные, тонкие.

Он вздохнул и сказал уже несколько иным тоном:

— Белая кость!

Машура опять задумалась.

— А что если я очень легкомысленная? — вдруг спросила она.— Ты меня невестой считаешь...

Он вспыхнул.

— И перестал бы считать, если б...

Он не договорил.

Некоторое время они молчали. Что-то тяжелое переливалось в Антоне. Видимо, он себя сдерживал.

— Удивляюсь,— сказал он, наконец,— если ты меня действительно любишь, почему же такие мысли...

Тут, как будто, Машура смутилась.

— Ах, это, конечно, чепуху я говорю.

Когда они шли домой, Антон вдруг сказал ей, просто и глухо:

— А я думаю, что один человек уже тебе нравится.

Машура высунула ему кончик языка, фыркнула и, подобрав платье, помчалась к саду.

Дома ждал самовар, чай с очень белыми сливками, Наталья Григорьевна. А в сумерках еще малое событие произошло в усадьбе, бывшей вотчине Годунова: на паре лошадей, в тележке, с мужиком на козлах подкатил голубоглазый Христофоров. Он был в широкополой шляпе, синей рубашке, на которую надел ветхое летнее пальтецо; усы свешивались вниз, глаза глядели обычно — приветливо, по-детски. Назвав мужика «вы, кучер», заплатив, Христофоров, слегка запыленный, с небольшим чемоданчиком, другом бродячей жизни, предстал Антону, Машуре и Наталье Григорьевне.

III

Христофоров, как ему и полагалось, занял низенький мезонин. Здесь быстро он освоился, вынул вещи, разложил книжки; цветы в вазочке появились на столе — и нечто от Христофорова сразу определилось в его жилище. Было оно в этих цветах, в снимке боттичеллиевской Весны на стене, в книгах, чемоданчике, в штиблетах на ластике, выглядывавших из угла комнаты.

В жизнь дома он вошел удобной частью; был незаметен, нешутлив, неутомляющ; гулял иногда с Машурой и Антоном. С Натальей Григорьевной мог поговорить о Шатобриане.

Антон чувствовал себя с ним неровно. Что-то в Христофорове ему не нравилось, почти раздражало. Не любя кого-нибудь, он обычно — резко задирал. Задирать Христофорова было нелегко, за полной его нечувствительностью. Быть добрым и простым — тоже не выходило. Антона злило спокойствие, как бы безоблачность этого человека.

— Я знаю,— говорил он Машуре, раздраженно,— что он у червяка попросит извинения, если наступит. Люди, которые всегда, во всем правы! Невыносимо!

Машура смотрела на него с усмешкой.

— Ты бы лучше хотел, чтобы он всегда был неправ?

— Не подумай, пожалуйста, что я *чрезмерно* им интересуюсь,— сказал Антон, подозрительно.— Мне, в сущности, до него очень мало дела.

— Я ничего не думаю,— ответила Машура,— но ты к нему несправедлив.

— Ну, конечно, я во всем виноват!

Антон вспыхнул, и разговор прервался.

Иногда он садился на велосипед и уезжал на станцию, оттуда с поездом в город. Без него в доме сразу становилось тише, иногда Машура ловила себя даже на том, что несколько она

отдыхает; легче нервам. Это было отчасти и нехорошо; ее изумляли отношения с ним. Уже давно привыкла она считать его своим, и себя — принадлежащей ему. Тогда откуда же эта неловкость? Как бы затрудненность в чувствах? «У него нелегкий характер,— решила она, стараясь себя успокоить,— но, конечно, я должна его поддерживать».

Странным казалось ей то, что с Христофоровым ей было легче, свободнее, хотя понимала она его еще менее, чем Антона. Иногда, ложась спать, она улыбалась в темноте: «Он странный, но страшно милый. И страшно настоящий, хотя и странный».

Случалось ей видеть, как в знойный полдень подолгу он сидел над гусеницей, ползшей по листу; без шляпы бродил по саду, с расширенными зрачками. Обедая на балконе, внимательно наблюдал, куда летит горлинка, точно ему это требовалось. И с той же внимательностью, нежностью переводил взгляд на Машуру.

— Вам всё нужно, все нужны? — улыбаясь, спрашивала Машура.

Он отвечал спокойно и приветливо:

— Я люблю ведь это... все живое.

В мезонине у него была подвижная карта неба. На каждый день он мог определить положение звезд. Вечерами очень часто выходил в сад, всматривался в небо, как бы сверяясь, все ли на местах в его хозяйстве.

Это заметила и Наталья Григорьевна.

— У вас со звездами какие-то особые отношения,— сказала она раз, шутливо.

— Дружественные,— ответил Христофоров так серьезно, будто правда звезды были его личными знакомыми.

Однажды вечером они сидели с Машурой на террасе. Христофоров был как-то тих и задумчив весь этот день.

— Когда же Антон вернется? — спросил он.

Машура сдержанно ответила:

— Не знаю.

Он помолчал.

— Мне кажется, что он не особенно хорошо себя чувствует.

Машура слегка вздохнула и спросила:

— А как вы себя чувствуете?

— Я — отлично,— тихо ответил Христофоров.— У вас здесь мне очень хорошо. Но думаю, все же, недолго тут пробуду.

С лугов тянуло сыростью и сладкой свежестью. Москва-река туманилась.

— Почему не долго?

— Знаете,— сказал Христофоров,— мне всегда приходится

кочевать. То тут, то там. У меня нет так называемого гнезда. Кроме того, что-то смущает меня здесь.

— Как странно... Что же может вас смущать? — спросила Машура с качалки, слегка изменившимся голосом.

Христофоров опять ответил не сразу.

— Не могу объяснить, но мне кажется, что я не должен жить у вас.

— Ну, это глупости!

Машура привстала, явное неудовольствие можно было в ней прочесть. Даже глаза нервно заблестели.

— Вы все выдумываете, все разные фантазии.

Расширив зрачки, Христофоров смотрел вдаль, не отрываясь.

— Нет, я ничего не выдумываю.

Машура подошла к нему, взглянула прямо в лицо. Его глаза как будто фосфорически блестели.

— Нет, правда,— тихо спросила она,— что вас смущает?

Христофоров взял ее руку и молча пожал.

Машура сбежала в цветник, остановилась.

— Это что за звезда? — спросила она громко.— Вот там? Голубоватая?

— Вега,— ответил Христофоров.

— А!..— протянула она безразлично и пошла в глубь сада. Сделав небольшой тур, вернулась.

Христофоров стоял у входа, прислонившись к колонне.

— В вас есть сейчас отблеск ночи,— сказал он,— всех ароматов, очарований... Может быть, вы и сами звезда, или Ночь...

Машура близко подошла к нему и улыбнулась ласково.

— Вы немного... безумный,— сказала она и направилась в дом. С порога обернулась и прибавила:

— Но, может быть, это и хорошо.

Машура не скрывала,— она тоже была взволнована. Весь этот разговор был неожидан, и так странен... Она пробовала читать на ночь, но не читалось. Спать — тоже не спалось. За стеной мирно почивала Наталья Григорьевна. В комнате было смутно; ветерок набегал из окна. С лугов слышен был коростель. Долетали запахи, тайные вздохи ночи. Машура ворочалась.

Около часу она встала, накинула капот. Ей хотелось двигаться. Прислушиваясь к мерному, негромкому храпению за стеной, она с улыбкой подумала: «Ни к чему, оказывается, доброе мамино воспитание!» Все же выходила потихоньку, чтобы ее не разбудить — не через балкон, а с другой стороны, где был подъезд. Тут росли старые ели. Среди них шла аллея, по которой подъезжали к дому. Машура направилась по ней. Было очень

темно, лишь над головой, сквозь густые лапы дерев, мелькали звезды. Над скамейкой, влево, светился огонек папиросы. Машура быстро прошла мимо, среди тьмы парка, к калитке, выходившей в поле. Тут стало светлее. Вилась дорога; побледневшие перед рассветом поля тянулись. Отсюда завтра должен приехать Антон. Машура оперлась на изгородь, смотрела вдаль.

Сзади послышались шаги. Она обернулась. Это подходил Христофоров. Папиросу он держал в руке, несколько впереди себя.

— А я и не сообразил, что это вы,— сказал он, тихо улыбнувшись.

— Ночь проходит, еще час, будет светать,— ответила Машура.

— Почему вы нынче спросили о звезде Веге? — вдруг сказал Христофоров.

Машура обернулась.

— Просто... спросила. Она бросилась мне в глаза. А это что, важно?

Христофоров не сразу ответил. Потом все-таки сказал:

— Это моя звезда.

Машура улыбнулась.

— Я и не отнимаю ее.

Христофоров тоже усмехнулся.

— Значит,— продолжала Машура,— мама права, когда говорит, что со звездами вы лично знакомы.

— Не смейтесь,— ответил Христофоров.

— Лучше поглядите на нее. К счастью, и сейчас еще она видна. Вглядитесь в ее голубоватый, очаровательный и таинственный свет... Быть может, вы узнаете в нем и частицу своей души.

Машура молча смотрела.

— Я не смеюсь. Правда, звезда прелестная. А почему она ваша?

Но Христофоров не ответил. Он показал ей Сатурна, висевшего над горизонтом; остро-колючего Скорпиона; Кассиопею — вечную спутницу неба, крест Лебедя.

Когда они возвращались, светлело и под елями.

Жаворонок запел в полях. Далеко, в Звенигороде, звонили к заутрени.

Христофоров напомнил, что давно уже они собирались сходить в монастырь — старинное, знаменитое место.

— Да, хорошо,— ответила Машура.— Пойдем. Вот Антон приедет.

Она была рассеяна. Спать легла с еще более странным чувством. Ночь без сна, разговоры с Христофоровым, волнение.

Нет, тут что-то есть, почти против Антона. Она очень устала. Засыпая, подумала: «Если б я рассказала ему, он бы страшно рассердился. И если бы он был тут... ну, какие глупости... ведь я же ничего против него не сделала».

С этим она заснула.

Антон приехал утром, по той самой дороге, откуда она его ждала, на том же велосипеде. Машура была с ним ласкова — задумчивой, подчеркнутой ласковостью. Но о прогулке с Христофоровым не сказала.

IV

В монастырь собрались через несколько дней. Прежде Антон сам предлагал сходить туда, но теперь возражал; и в конце концов — тоже отправился.

Они вышли утром, при милой, светло-солнечной погоде. Дорога их — лугами, недалеко от Москва-реки, мелким своим течением, изгибами, ленью красящей здешний край. Берега ее заросли лозняком; стадо дремлет в горячий полдень; легкой рябью тянется песок, белый и жгучий; у воды пробегают кулики, подрагивая хвостиками. Дачницы идут с простынями, выбирая место для купанья. На песке голые мальчишки.

Вдали лес засинел над Звенигородом; раскинулся по холму сам городок, и древний собор его белеет. Домики серые и красные, под зелеными крышами, среди садов, вблизи монастыря, глядящего золотыми глазами из дубов. Старый, маленький город. Красивый издали, беспорядочный, растущий как Бог на душу положит; освященный древнею, благочестивою культурой.

Было далеко за полдень, когда Машура и Антон с Христофоровым подымались к монастырю. Путь извивался; налево крутое взгорье, с редкими соснами и дубами; на вершине стена монастыря, ворота, купола, церкви — как в сказках; направо — дубовый лес. Несколько поворотов — взобрались, наконец: монастырская гостиница. Двухэтажный дом со старинными, стеклянными сенцами, с половичком на крашеной лестнице, длинным коридором с несвежим запахом — все то, что напоминает давние времена, детство, постоялые дворы в провинции, долгие путешествия на лошадях.

Заняли комнату с белыми занавесочками, портретами архиереев и архимандритов. Обедали на свежем воздухе; в тени дубов, за врытым в землю деревянным столиком; внизу виднелась речка, поля и заросшие лесом холмы. Тянуло прохладой. Монах медленно подавал блюда.

Антон был хмур.

— Собственно,— сказал он,— я не совсем понимаю, зачем мы здесь. Самый обыкновенный монастырь.

— Ты сам говорил, что здесь очень хорошо,— ответила Машура.

— Хм! Когда я это говорил? И в каком смысле?

Машура не возражала.

— А мне очень нравится,— сказал Христофоров, обтирая усы.— Между прочим, не посмотреть ли сейчас, после обеда, собор, там в городе.

Антон заявил, что идти сейчас никуда не намерен, тем более «тащиться по жаре Бог знает куда».

Христофоров было отказался, но Машура решила, что непременно пойдет. Темные глаза ее заблестели, прониклись трепетом и раздражением. Антон сказал, что ляжет спать. Пусть они гуляют.

— Все ведь это нарочно, все нарочно,— говорила Машура через полчаса, идя с Христофоровым.— Ах, я его знаю!

Христофоров как-то стеснялся.

— Может быть, мы напрасно идем.

— Я иду,— холодно ответила Машура,— посмотреть старинный собор. Мне это интересно.

Собор стоял выше города, на площадке, окаймленной лесом — древне-простой, небольшой, с нехитрой звонницей рядом.

Машура с Христофоровым сели в тени, на ветхую лавочку. Вниз тянулся Звенигород. Москва-река вилась; далеко, за лугами, в лесу белел дом с колоннами.

— Удельный город— говорил Христофоров.— Эти места видели древних князей и татар, поляков, моления, войну... Сама история.

— Здесь очень хорошо,— сказала Машура.— Смотрите, какой лес сзади!

Площадка опоясывалась каким-то валом — похоже, остатками старинных укреплений. За ними лес стоял, густой, смолистый, верно, не раз сменявшийся со времен св. Саввы. Тянуло свежим, очаровательным его благоуханием.

— Времена Петра прошли тут незаметно,— продолжал Христофоров.— Потом Екатерина, помещики. Этот край весь в подмосковных. Знаменитое Архангельское недалеко. И другие. Жизнь отвернула новую страницу, новый след. Может быть, и наш век проведет свою черту. А мы,— сказал он тихо, и глаза его расширились; мы живем и смотрим... радуемся и любим эти переливы, вечные смены. И, пожалуй, живем тем прекрасным, что... вокруг.

Машура не ответила. Не то, чтобы она была поглощена чем, все же как-то замкнулась, собралась.

По дороге назад Христофоров сказал:

— А остаток лета придется мне проводить в Москве.

Машура несколько задохнулась.

— Вы... наблюдатель... созерцатель... вам все равно, где, с кем жить. Следите за переливами... Что ж, вам виднее.

Христофоров ответил тихо и очень сдержанно:

— Я уезжаю не потому, что я наблюдатель.

Машура пожала плечами.

— Тогда я ничего не понимаю.

— Прав — я,— ответил Христофоров, мягко, как бы с грустью.— Поверьте!

Когда они подходили к гостинице, у подъезда стоял автомобиль. Высокий офицер и господин в штатском говорили с монахом. В автомобиле сидела дама. Машура сразу узнала Анну Дмитриевну.

Анна Дмитриевна улыбнулась.

— А, и мы! Паломничеством занимаетесь?

Машура сказала, где они были. Господин в штатском обернулся.

— Черт возьми, почему же нас не пускают? Нет, скажите пожалуйста, мне очень это нравится: святое место, мы приехали отдохнуть, и вдруг — нету номеров!

Он был худой, седоватый, с изящным лицом. Синие глаза смотрели удивленно. Подойдя к Машуре, он поклонился, назвал себя:

— Ретизанов.

И все улыбался, недоуменно, как бы обиженно.

— А нам больше повезло,— сказал Христофоров. — У нас есть комната, мы бы могли ее предложить.

Машура подтвердила.

— Так у вас есть комната? — закричал Ретизанов, все держа перед собою канотье.— Дмитрий Павлович,— крикнул он офицеру,— у них есть комната!

Никодимов подошел, вежливо поклонился. Глаза его, как обычно, не блестели.

— Вы нам очень поможете,— сказал он.

Анна Дмитриевна вышла из автомобиля.

— Ну, милая вы голова,— сказала она Ретизанову,— почему же вы думаете, что в монастырской гостинице *обязаны* иметь для вас помещение?

— Нет, это странная вещь, мы приехали, и вдруг...

Ретизанов развел руками. Он, видимо, был нервен и легко, как-то ребячески вспыхивал.

Антон не очень оказался доволен, когда к ним в номер

ввалилась целая компания. Он сказал, что был уже в монастыре, и там ничего интересного.

— Я бывал тут давно,— тихо сказал Христофоров,— но сколько помню, напротив, монастырь мне очень нравился.

Антон взглянул на него своими маленькими, острыми глазами почти дерзко и фыркнул.

— Может быть, вам и понравился.

— Я смертельно пить хочу,— сказала Анна Дмитриевна,— пусть святые люди дадут мне чаю, выпьем и пойдем рассудим, кто прав.

Автомобиль попыхтел внизу и въехал во двор; розовый дом напротив сиял в солнце. Коридорный, времен давнишних, в русской рубашке и нанковых штанах, принес на подносе порции чаю; приезжие пили его из чашек с цветами, рассматривая душеспасительные картинки на стенах. Воздух летнего вечера втекал в окошко. Ласточки чертили в синеве; за попом, проехавшим в тележке, клубилась золотая пыль.

Машура и Христофоров вышли со всеми. Антон, почему-то, тоже не остался. Через небольшую поляну подошли к монастырским воротам — с башнею, образом над входом. Внутри — церкви, здания, затененные липами и дубами; цветники с неизменными георгинами. Недавно началась всенощная. В открытые двери древнего храма, четырехугольного, одноглавого, видно было, как теплятся свечи; простой народ стоял густо; чувствовалось — там душно, пахнет ладаном, плывут струи синеющего, теплого воздуха.

Анна Дмитриевна шла своей сильной, полной походкой, щуря карие глаза. Высокая, статная, была она как бы предводительницей всей компании. Иногда подымала золотой лорнет с инкрустациями.

— Вот вы и неправы, совсем неправы о монастыре,— говорила она Антону.— Я так и думала, что неправы.

— Да, это же странное дело, говорить, что тут ничего нет хорошего! — крикнул Ретизанов.— Прямо странное.

Антон искоса поглядывал на Машуру; к ней не подходил, не заговаривал. Он бледнел, раздражался внутренне и сказал:

— Значит, я ничего ни в чем не понимаю.

— Что меня касается,— сказал Никодимов, негромко, глядя на него темными, неулыбающимися глазами,— я тоже не люблю святых пений, золотых крестов, поэтических убежищ.

— А я, грешная, люблю,— сказала Анна Дмитриевна.— Видно, Дмитрий Павлыч, мы во всем с вами разные.

Она вздохнула и вошла в храм Рождества Богородицы, с удивительным орнаментом над дверями, послушать вечерню.

Ретизанов остановился, задумался, снял с головы канотье и, улыбнувшись по-детски своими синими глазами, сказал Никодимову.

— В Анне Дмитриевне есть влажное, живое. А если живое, то и теплое. Вы слышали, она сказала: грешная. А в вас одна... одна барственность, и нет влажного, потому что вы ничего не любите.

Христофоров выслушал это очень внимательно.

Никодимов чуть поклонился.

В это время Антон, с дрожащей губой, сказал Машуре, приотставшей:

— В этой компании я минуты не остаюсь. Я иду, сейчас же, домой.

— Что же сделала тебе эта компания? — спросила Машура тоже глухо.

— Тебе с Алексеем Петровичем будет интереснее, а я вовсе не желаю, чтобы меня... Я не гимназист. Пусть Алексей Петрович тебя проводит... до дому.

Он быстро ушел. Машура знала, что теперь с ним ничего не поделаешь. И она его не удерживала. Да и еще что-то мешало. Ей неприятен был его уход. Но как будто так и должно было случиться.

Много позже, когда синеватый сумрак сошел на землю, все сидели у гостиницы, на скамеечке под деревьями. Снизу, от запруды доносились голоса. По тропинкам взбирались запоздалые посетители. Монастырские ворота были заперты, и у иконы, над ними, таинственно светилась лампадка — красноватым, очаровательным в тишине своим светом. Выше, в фиолетовом небе, зажглись звезды.

— Здесь жить я бы не могла,— говорила Анна Дмитриевна.— Но иногда и меня тянет к святому, да, как бы вы ни улыбались там, господин Никодимов, Дмитрий Павлыч!

Она обернулась к Христофорову.

— А правда, что вы в монахи собираетесь поступать?

— Меня иногда об этом спрашивают,— ответил Христофоров спокойно.— Но нет, я совсем не собирался в монахи.

Подали машину. Было решено завезти Машуру и Христофорова домой. Когда тронулись, Анна Дмитриевна, всматриваясь в Христофорова, вдруг сказала:

— А вас я хотела бы свезти и вовсе в Москву. Послезавтра бега. Что вам в деревне сидеть?

Машина неслась уже лугом. Звенигород и монастырь темнели сзади. Редкие огоньки светились в городе.

— Эх, вот бы нестись... это я понимаю,— говорила Анна

Дмитриевна.— И еще шибче, чтобы воздухом душило. Нет, поедемте с нами в Москву, Алексей Петрович.

К удивлению ее, Христофоров согласился. Полет автомобиля опьянял их благоуханием — вечерней сырости, лугов, леса. Звезды над головой бежали, и вечно были недвижны.

V

Машуру завезли, как и предполагалось. Полчаса посидели — Наталья Григорьевна тоже изумилась, что Христофоров уезжает — и покатили дальше. Было пустынно, тихо на шоссе: гнать можно шибко. Никодимов достал коньяк, три серебряных стаканчика. Выпил и Христофоров. Стало теплее, туманнее в мозгу.

— А может быть, вы хотите у меня ночевать? — спросил Ретизанов, придерживая рукой канотье.— У меня квартира...

И на это согласился Христофоров. Он сидел рядом с Анной Дмитриевной, а напротив покачивались двое мужчин; дальше — голова шофера, зеркальное стекло, золотые снопы света, вечно трепещущие, легко мчащиеся к Москве.

Москва приближалась — золотисто-голубоватым заревом; оно росло, ширилось, и вдруг, на одном из поворотов с горы, блеснули самые огни столицы; потом опять скрылись — машина перелетала в низине реку, пыхтела селом — и снова вынырнули.

— Никодимов,— сказала вдруг Анна Дмитриевна,— отчего вы не похожи на Алексея Петровича?

Он слегка усмехнулся.

— Виноват.

— А я хотела,— задумчиво и упрямо повторила она,— чтобы вы были похожи на него.

Никодимов выпил еще, встал, сделал под козырек и спокойно сказал:

— Слушаю-с.

Зазеленело утро. Звезды уходили. Лица казались бледнее и мертвеннее. Мелькнули лагеря, Петровский парк вдали, в утреннем тумане; казармы, каменные столбы у заставы — в светлой, голубеющей дымке принимала их Москва. Анну Дмитриевну завезли домой. Переулками, где возрастали Герцены, прокатили на Пречистенку, и лишь здесь, у многоэтажного дома, отпустил шофера Ретизанов.

Никодимов вышел довольно тяжело; с собой забрал остатки вина, сел в лифт и сказал хмуро:

— Поехали!

Слегка погромыхивая, лифт поднял их на седьмой этаж. Никодимов вышел. Руки были холодны.

Когда Ретизанов отворял ключом двери квартиры, он сказал:

— Отвратительная штука лифты. Ничего не боюсь, только лифтов.

— Лифтов? Ха! Ну, уж это чудачество,— сказал Ретизанов.— А еще меня называете полоумным.

Никодимов вздохнул.

— Вы-то уж помалкивайте.

Он выгрузил на стол свое вино. Лицо его было бледно и устало; глаза все те же, темные; утренняя заря в них не отсвечивала.

Христофоров осматривался. Квартира была большая, как будто богатого, но не делового человека. Он прошел в кабинет. Старинные гравюры висели по стенам. Письменный стол, резного темного дуба опирался ножками на львов. На полке кожаного дивана — книги, на большом столе, в углу у камина — увражи, фарфоровые статуэтки, какие-то табакерки. На книжных шкафах длинные чубуки, пыльный глобус, заржавленный старинный пистолет. В углу — восточное копье.

Странным показалось Христофорову, что он тут, почти у незнакомого, на заре. Он вышел на балкон. Было видно очень далеко — пол-Москвы с садами, церквами лежало в утренней дымке, уже чуть золотеющей; вдали, тонко и легко, голубели очертания Воробьевых гор. Христофоров курил, слегка наклоняясь над перилами. Внизу бездна — далекая, тихая улица; ему казалось, что сейчас все мчит его какая-то сила, от людей к людям, из мест в места. «Все интересно, все важно,— думал он,— и пусть будет все». Он вдруг почувствовал неизъяснимую сладость — в прохождении жизнью, среди полей, лесов, людей, городов, вечносменяющихся, вечно проходящих и уходящих. «Пусть будет Москва, какой-то Ретизанов, кофе на заре, бега, автомобили, Анна Дмитриевна. Это все — жизнь».

— Кофе? — говорил сзади Ретизанов.— Конечно, кофе сюда. Нет, а по-вашему как?

Он тащил уже столик, а за ним Никодимов вышел со своими бутылками. Ретизанов беспокоился, хлопотал, размахивал руками. Все делал он сам — не особенно складно, но шумно и с оживлением.

— А вы, может быть...— сказал он Христофорову, и вдруг улыбнулся доброй, детской улыбкой,— может быть, голодны?

Христофоров тоже улыбнулся, слегка покраснел, и ответил:

— Нет, почему же я голоден...

— У вас такой вид,— продолжал Ретизанов, с упорной

наивностью,— что может быть, вы голодны... А то я вас ветчиной угощу.

— Вчера с ним славная была девица,— сказал Никодимов, кивая на Христофорова.— Вы хотя и вроде монаха... в женщинах понимаете.

Христофоров опять смутился.

— Машура была со своим женихом...— неловко сказал он.— А я, просто потому, что у них гостил.

Никодимов засмеялся.

— Не оправдывайтесь. Жених довольно нескладен... и удрал. Не зря, видно. Нет, чокнемся. Такую подцепил...— он свистнул.— Ди-те-но-чек! — и прибавил грубое слово.

— Ну, уж это черт знает! — закричал Ретизанов.— Нет, уж я вас знаю. Цинизм разводит. Да вы вообще циник. Нет, я просто не понимаю: такое утро, мы сидим чуть не под небесами, солнце, прелесть, а он... гадости. И еще с этаким... джентльменским видом. Джентльмен! Вы знаете,— обратился он к Христофорову,— он всегда надо мной издевается. Например, когда я влюблен...

— Каждый месяц,— сказал Никодимов.

— Подождите, не перебивайте... Когда я влюблен, он мне черт знает что говорит.

Он сел с Христофоровым рядом и вперил в него синие, взволнованные глаза.

— Я вот и сейчас влюблен,— Ретизанов говорил тише, но очень серьезно.— В Лабунскую... Нет, это замечательная девушка. Когда вы увидите, то скажете. Она танцует.

— Вместо того, чтобы... — сказал Никодимов,— он посылает ей букеты, отождествляет с греческими рельефами... ну, это известное... рождение Венеры. И, кажется, намерен в кабинете воздвигнуть алтарь для служения ей.

— Нет, с ним нельзя разговаривать...

Ретизанов совсем взволновался, вскочил и вышел. Он отправился к себе в спальню, и для чего-то вымыл даже руки, ополоснув лицо. «Нет, это уж черт знает что,— твердил он про себя.— Это черт знает что».

Вернулся он тихий и молчаливый, как бы погасший.

— Вы напрасно на меня сердитесь,— сказал Никодимов,— я, во-первых, пьян, во-вторых,— у меня вообще дурной характер.

— Я на вас не сержусь,— ответил Ретизанов,— на вас сердиться нельзя.

Никодимов захохотал, но как-то деланно.

— У-бил! Прямо убил в сердце.

Все же, они сидели довольно долго. Утро, действительно,

было чудесно. Понемногу Москва просыпалась. Зазвенел трамвай. Появились женщины с кулечками, проходили рабочие. Никодимов стал зевать; его темные глаза отупели.

Устал и Христофоров. Он решил не оставаться здесь, а прямо пройти домой, там отдохнуть. Когда они выходили через кабинет, Никодимов сказал:

— Здесь живет и работает, собирает старинные книги, изучает ритм, изобретает новые законы гармонии, беседует с гениями и влюбляется дон Алонзо-Кихада дель Ретизанов. Ну, особенно с гениями: с этими он запросто.

Ретизанов молча подал ему руку. Глаза его были усталы и рассеяны.

Когда вдвоем они спускались в лифте, Никодимов сказал:

— Впрочем, каждый развлекается, как хочет. Я уверен, что сейчас Ретизанов советуется с духами, идти ли завтра к Лабунской, и какой надеть галстук.

— Он спирит? — спросил Христофоров.

— Вряд ли. Скорее, просто чудак. Но из тех,— прибавил Никодимов холодно,— которых многие любят.

Христофоров взглянул на него. Что-то затаенное, почти горькое послышалось ему в этих словах.

Никодимов шел по Пречистенке, очень прямо и довольно твердо, курил и вдруг сказал:

— В общем скучно. Даже очень скучно, хотя и выпил.

Через несколько минут он снова заговорил:

— Вот вы, мудрая душа, sancta simplicitas[1], объясните мне следующее. Я вижу сон: будто я в Вене, шикарный отель. Вхожу, иду к лифту. Швейцар стоит у дверцы и внимательно смотрит. Снимает каскетку, кланяется мне и улыбается. Отворяет дверцу. Я должен войти... Больше ничего, но тут просыпаюсь, всегда с ужасом. Странно, что всегда швейцар одинаков, я помню его лицо. Этот сон я видел раза три. Это что, плохо?

Казалось, Никодимов уже трезв. Он как-то подобрался, впал в некую задумчивость.

— Сна я не умею объяснить,— ответил Христофоров.— Но вполне понимаю, что для вас он может быть неприятен.

Никодимов вздохнул.

— Я все думаю, что этого швейцара с лифтом встречу.

Расставаясь, Никодимов подал ему руку, улыбнулся и сказал:

— Что же, завтра на бега?

— Может быть.

---

[1] О, святая простота! — восклицание, приписываемое Яну Гусу, увидевшему, как старуха подбрасывает дрова в костер, на котором его сжигали *(лат.)*.

Христофоров зашагал по Поварской. Он не ясно сознавал, почему это делает, и лишь дойдя до дома Вернадских, поймал себя на том, что просто ему приятно пройти мимо него. На улицу выходил особняк с антресолями, со старинными, зеркальными стеклами, чуть отливавшими фиолетовым. Были спущены синеватые шелковые шторы, в складках; деревья затеняли крышу, открыты настежь ворота, двор полузарос травой, у колодца, посреди, бродят сизые голуби. И лишь крепко заперт каретный.

Христофоров остановился на другой стороне улицы, в свежей тени ясного утра, смотрел на антресоли Машуры, потом улыбнулся, повернулся на одной ноге и пошел домой.

Прислуга удивилась, увидав его. Он поздоровался с хозяйкой, старушкой в седых локонах — г-жою Самба; когда-то была она замужем за французом; сохранила манеру аккуратно одеваться, завивать букли; в остальном была старинная московская дама; в комнатах ее пели канарейки, лежали чистые половички, свечи сияли перед иконами; стояло много пустячных статуэток, фотографий — все в безукоризненной чистоте.

Сейчас она пила утренний кофе и тоже удивилась Христофорову. Раньше августа она его не ждала.

Христофоров прошел наверх. Комната казалась пустоватой, все имело уже нежилой дух. Фотографии на стенах обернуты газетами.

Он сел на подоконник, растворил окно. Зеленый тополь шелестел, серебристо отблескивая листиками. Дальше был садик с яблонями, дровяной сарай. Ему представилось, что сейчас Машура встала и работает своим скребком, или лежит в гамаке, а голубое утро опрокидывает над нею свою чашу. Отсюда, издали, даже лучше он ее чувствовал. Хорошо или плохо, что уехал?

Он оглянулся, увидел свою полупустую келью, мгновенно пронеслось пред ним многое из прежней жизни — ряд таких же келий, одиночеств и бесплодных мечтаний. «Ну, и ладно, ладно,— сказал он себе, отходя к кушетке.— Значит, так и живем». Он взял подушку, лег и закрыл глаза. Слезы стояли в них. Эти слезы приятно было бы видеть Машуре. Он же глотал их и ждал, пока просохнут мокрые ресницы.

Несколько успокоившись, Христофоров уснул.

VI

Утро следующего дня было такое же солнечное. Горячий тополь, шелестя пахучей листвой, бормотал за окном. Христофоров скромно пил чай с калачиком и читал газету, когда дверь

отворилась: вошла Анна Дмитриевна. В дверях она слегка нагнулась, чтобы не помять эспри. Но и в самой мансарде, при росте вошедшей, эспри чуть не чертил по потолку воздушными своими кончиками.

— А,— сказала она, оглядываясь,— убежище отшельника. Здравствуйте, святой Антоний.

Христофоров встал и улыбнулся.

— Ну, вы тогда царица Савская. Впрочем...— он смешался.— Я, кажется, говорю глупости.

Анна Дмитриевна захохотала.

— Пожалуй, что и так. Я, во-первых, не имею намерений этой царицы, второе — у меня нет и шерсти на ногах. Дело проще: нынче бега, я за вами заехала. Ни более, ни менее. Впрочем,— прибавила она,— мне еще хотелось посмотреть, как вы живете.

Она подошла к окну, на котором он вчера сидел, тоже села, сняла шляпу и еще раз обвела глазами *убежище*.

— В этой комнате,— сказала она,— нет женщины, и никогда ее не было. По ней тоскуют стены. Хозяин пьет чай с одинокой булкой, ходит с непришитыми пуговицами и скромно чистит скромный сюртучок.

Христофоров взял порыжелую шляпу и сказал:

— Хозяин прожил так полжизни.

Анна Дмитриевна смотрела теперь в садик, залитый солнцем, задумалась. Потом вдруг встала, вздохнула и стала поправлять эспри.

— Может быть, тут и хорошо жить, в вашем скиту. Может, и надо так, не вам одним. Эх, милый вы человек, и зеркало же... ну, да уж что там...

Они спустились и вышли. Рысак ждал на улице, перебирая в нетерпении ногами — косился на кучера злым глазом; кучер напоминал истукана.

— Москва, голубушка! — сказала Анна Дмитриевна, садясь и указывая на кучерову спину.

— Я ведь и сама Москва,— говорила она, когда тронулись.— Я московская полукровка, мещанка. Говорю «на Москва-реке», «нипочем», люблю блины, к Иверской хожу. Я просто была хорошенькая девчонка, когда меня продали замуж... или сама продалась. Меня отдали за такое, знаете ли, миллионное животное... Сверхъестественно миллионное. И животное — сверхъестественное.

Она помолчала.

— Я ко всему приучена, голубчик. Всем развращена, чем можно — и людьми, богатством, хамством. Теперь муж мой умер. Мне и говорить-то о нем нельзя.

Она вдруг засмеялась,— холодно и резко.

— Он меня бил. Вы знаете? Случалось. Я запудривала синяки.

Христофоров сбоку, с удивлением взглянул на эту статную, темноволосую женщину. Она поняла и улыбнулась.

— Ах, дитя, не ищите. Теперь сошли.

Когда рысак, пенясь под жарким солнцем, мчал их за триумфальной аркой, среди зелени к Петровскому парку, она спросила:

— Нравятся вам два небольших слова: «Тайное горе. Тайное горе»?

Христофоров опять на нее взглянул и тихо ответил:

— Да. Очень нравятся.

Она слегка хлопнула его перчаткой.

— Так. Ну, вот и подъезжаем,— перебила она.— Теперь мы направимся с вами в некую клоаку, называемую азартом, игрою и прочим. Здесь посмотрим жалкий человеческий род и себя покажем.

Рысак взял налево и понес по молодой аллее; круглые солнечные пятна трепетали под деревьями; по тротуару спешило человечество. Завиднелось аляповатое здание с группами коней на фронтоне — к нему беспрерывно подходили, подъезжали на извозчиках, автомобилях, собственных лошадях. Христофоров никогда здесь не бывал. Выйдя из коляски, поднявшись к вестибюлю, миновали они турникет,— и тут гудящая, бурливая толпа затолкала его, ошеломила. Только что кончился заезд. Из амфитеатра спешили к залу, к окошечкам касс, записаться на следующий. Посреди зала, у столиков, захватившие места счастливцы пили чай, воды, коньяк.

Потолкавшись, прошли они в ложу. Открылся вольный свет, голубой воздушный, простор,— а у ног накатанная полоса, уходившая вдаль плавным эллипсом. На легоньких двухколесках проезжали по ней наездники в шутовских полосатых куртках, кепи и очках. За далеким забором виднелись здания вокзала, дома, сады Москвы, и золотисто переливал купол Христа Спасителя.

— Здесь,— сказала Анна Дмитриевна, оглядываясь,— всякие низы, шваль; а можете увидеть и художника, врача и адвоката. Это затягивает.

— Вы тут часто бываете? — спросил Христофоров.

Она улыбнулась.

— Нет, да я-то не особо...— она вынула часики и взглянула.— Что же Дмитрий Павлыч не едет? Это он у нас любитель всяких таких штук,— прибавила она.

Иная интонация послышалась здесь Христофорову. Точно тень пробежала по ней. Она замкнулась, но была спокойна.

— А, вон видите — Ретизанов!

Она приложила к глазам лорнет.

— Гуляет под руку с высокой барышней... Лабунская, одна танцовщица.

В это время в ложу вошел Никодимов. Он был свежевымыт, подобран, несколько бледен и оживлен.

— Ставьте на «Кругом-шестнадцать»,— сказал он Христофорову, поздоровавшись и поцеловав руку Анне Дмитриевне,— лошадь верная. Селима играет ее, я тоже.

Темные глаза его, сколько могли, выказывали возбуждение.

— Селима живет с Хохловым и все знает. Хохлов нарочно ее темнил, а теперь зарабатывает. В публике никто этой лошади не понимает. Выдача будет по тысяче.

— Ну, уж Бог с ней, с вашей лошадью... да и с певицей,— сказала Анна Дмитриевна,— покажите ее, по крайности. А, брюнетка, в фиолетовой какой-то вуали... глаза подкрашены по-суздальски... Понимаю... Ти-пичная. С ней юркий господинчик. Да... это,— обратилась она к Христофорову,— такие темные личности, якобы все знают про лошадей, и дают вам совет — за вознаграждение, понятно... Юрисконсульты по лошадиной части. А больше всего — жулики. Называются они — жучки. Среди них вот приятели Дмитрия Павлыча.

Никодимов усмехнулся.

— Если что-нибудь скверное, то непременно Дмитрий Павлыч.

Внизу зазвонили. Шесть лошадей тронулось, быстро они сбились в кучу, каждая стараясь занять внутренний круг. До поворота нельзя было определить их шансов. Но лишь вышли на прямую, впереди оказался маленький, похожий на кузнечика наездник. «Забирает, забирает»,— говорили кругом,— Сенькин забирает».— «Нет-с, не думайте... Не выдаст».— «Что-то туго...» — «Ага, Хохлов!»

Христофоров заметил, что теперь, вблизи второго поворота, из группы лошадей, бежавших изо всех сил, отсюда же казавшихся игрушечными, вдруг выделилась одна, с голубым наездником, и легко обошла кузнечика. Толпа на трибунах загудела. «Хохлов! — слышались голоса.— Хохлов!» Обернувшись, Христофоров увидел бледные, раздраженные лица. Бинокли, впились в точку эллипса, где некий Хохлов, под блеском полуденного солнца, обгонял на своей «Кругом-шестнадцать» Сенькина, кузнечика. Никодимов стоял, вытянувшись, приложив ладонь к

козырьку фуражки. Мускулы на шее его подрагивали. Ветерок шевелил серебряный аксельбант.

— А смотрите,— сказала Анна Дмитриевна, не отрывая от глаз лорнета,— Дмитрий Павлович наш выигрывает. Видно, что с Селимой знаком.

В эту минуту физически ощутил Христофоров тучу, нависшую над всем этим огромным скопищем — тучу желаний и жадности. Горящие глаза, побледневшие лица. Имя Хохлов, для большинства сейчас ненавистное, другим звучащее музыкой, перебегало по толпе. Вопреки всему, Хохлов побеждал. На последней прямой это стало ясно.

Анна Дмитриевна положила лорнет, обернулась и сказала Никодимову:

— Что же, вас можно поздравить...

С ипподрома раздался как бы пистолетный выстрел. «Кругом-шестнадцать» вдруг заскакала, произошло мгновенное замешательство, сзади кто-то охнул,— через секунду впереди шла другая лошадь. «Алябьев, Алябьев, браво, навались!» — кричали сверху. Хохлов бил кнутом свою «Кругом-шестнадцать», трясясь на двухколеске с лопнувшей шиной, а некий Алябьев, тоже нежданный герой дня, на полкорпуса обставил его у самого финиша. Кузнечик был третьим.

Толпа кричала. Одни ругали Хохлова, другие кузнечика.

Подошел Ретизанов с высокой, тонкой девушкой в соломенной шляпе и коричневой, длинной вуали. Ее серые глаза улыбались.

— Мы выиграли,— сказала она певучим, московским говором, здороваясь с Анной Дмитриевной.— Мы пополам ставили на лошадь, которой имя мне понравилось: «Беззаботная». И она пришла первая. Мы... как это ставили?

— В ординарном,— тоже улыбаясь, ответил Ретизанов.— По пяти рублей. А вы на кого? — спросил он Никодимова.— Ага, с носом, ах, черт возьми, вы, значит, проиграли? Триста рублей!

Ретизанов удивился.

— Нет, как вам это нравится,— обратился он к Анне Дмитриевне,— он ставит на лошадь триста рублей! Нет, это уж безобразие! По-вашему, он откуда их берет?

Анна Дмитриевна ничего не ответила. Что-то прошло в ее лице. Она стала отдаленной.

— Если бы мне покровительствовали гении, как вам,— холодно сказал Никодимов,— я бы поставил и тысячу.

— Черт знает, как вы это говорите... гении! Всегда чепуху.

Ретизанов вспыхнул и отошел.

— Какие славные лошади, и славный день,— говорила Лабунская, слегка щурясь и глядя на ипподром. — Это не потому, что я выиграла, но не знаю, мне все сегодня нравится и кажется таким светлым...

— У вас сердце легкое,— ответила Анна Дмитриевна, ласково глядя на нее, и вздохнула.— Вы вся легкая, я чувствую.

Внизу, на доске, прикрепленной к столбу, вывесили выигрыши. Ретизанов надел пенсне, высунулся из ложи и захохотал.

— Ах, черт возьми! Знаете, сколько выдают? Ха! Никодимов будет завидовать.

Минут через десять он возвратился с трофеями. Лабунская взяла четыре сотенных, сунула в мешочек, с видом безразличия.

— Что вы будете делать с этими деньгами? — спросил Христофоров.

Она подняла на него серые, ясные глаза. «Беззаботная», вспомнилось ему имя лошади, на которую она ставила.

— Я ведь их не ждала,— сказала она.— Может быть, потому и выиграла, что не ждала. А теперь что делать...— она вынула опять деньги.— Что же, это вот сто, духов куплю, сто чулки, сто... хотите вам отдам, а еще сто... уж и не знаю.

— Дайте мне,— сказал Никодимов,— поставим пополам.

Она взглянула на него.

— Берите.

Никодимов протянул руку. Анна Дмитриевна отвернулась. Пальцы его были холодны. Он ушел. В ложе наступила заминка. Анна Дмитриевна усиленно рассматривала публику, Лабунская ела шоколад и лениво вертела программу.

— Зачем вы ему дали денег? — волновался Ретизанов.— Черт знает...

С Никодимовым Лабунская проиграла. Проиграл он и в следующий заезд. Они выходили пить чай. Никодимов все играл. Он ходил от одной кучки темных личностей к другой, разговаривал с Селимой, тоже нынче злой. У него был вид маньяка. Христофоров несколько устал. Медленно проходя к себе в ложу, он через несколько человек видел, как Анна Дмитриевна что-то быстро и резко говорила Никодимову, потом вынула из сумки пачку денег и дала.

Когда кончился последний заезд, Христофоров подошел к нему.

— Ну, как ваши дела?

Никодимов посмотрел на него усталыми глазами.

— Очень плохо.

Ретизанов предложил обедать у Яра.

Начался разъезд. Побежденные брели пешком, хмуро ждали

трамвая. Победители летели по ресторанам пропивать и проматывать трофеи, ловить легкое мгновение текущей жизни. Для них широко был открыт Яр, играл оркестр, и знаменитый румын выбивал трели; горело золотом шампанское в вечернем свете; продавали розы. Можно было видеть Лабунскую, в соломенной шляпе, легко и беспечно резавшую ананас. Анну Дмитриевну, как-то горько охмелевшую от шампанского, и десятки других нарядных женщин, шикарных мужчин. Потом, когда село солнце, прошло междуцарствие сумерек, синяя ночь наступила. И в раскрытые гигантские окна взглянули иные миры, плавно протекающие по кругам, золотясь, мерцая. Как далекий, голубоватый призрак, провела Вега свою Лиру.

«Тайное горе,— думал Христофоров, взглядывая на Анну Дмитриевну.— Тайное горе».

VII

Антон отлично понимал, что был во всем виноват там, в монастыре. Действительно, что сделала против него Машура? Из-за чего он резко и грубо ушел, явился домой один, с несчастьем и бешенством на сердце? Как растолковать все это Наталье Григорьевне, «проклятому здравому смыслу»? В его поведении не было здравого смысла. Но, считая себя виноватым, он находил, что также он и прав. Ибо в Машуре, за ее действиями и словами, ощущал нечто, дававшее ему право на беспорядки.

Он молчал, не уезжал в эти дни в город, был мрачен и ходил один. Минутами остро ненавидел себя. Видя в зеркале сутулую фигуру с большой головой, вихрастыми волосами и сумрачным взглядом небольших глаз, он мгновенно убеждался, что такого полюбить нельзя. Впрочем, тут же вспоминал, что многие великие люди были даже безобразны, например, Сократ. Во всяком случае, приятность, симпатичность — а это наиболее ценится — есть признак малой и не страстной души. Да, но многие в его годы... Абель в двадцать шесть лет открыл ряды, обессмертившие его имя, хотя и умер молодым и непризнанным. В этом Антон находил некоторое острое удовлетворение: он, с его неказистым видом, он, похожий на застенчивого и вспыльчивого гимназиста,— более всего подходит для роли недооцененного героя, преждевременно гибнущего. «И ладно,— говорил он себе, в горьком упоении,— превосходно. Пусть так и будет».

Но долго выдержать позу не мог. Иногда Машура действовала на него ошеломляюще. Звук голоса, какой-нибудь завиток темных волос над ухом вызывали мучительную нежность. Раз она довольно долго держалась за перила террасы; потом ушла. Он

встал с качалки, подошел, приложил лоб к теплому еще дереву; на глазах появились слезы. Вошла Наталья Григорьевна. Он быстро отвернулся, все же она заметила, как он взволнован. Это лишь усилило ее беспокойство.

Наталья Григорьевна вообще замечала, что между ними неладно. Спрашивала и Машуру, почему он в такой, как она выражалась, депрессии. Но Машура ничего ей не объяснила. Она сама чувствовала себя неважно. Что-то очень смутное и неясное было у нее в душе. Нечто ее беспокоило.

Приезжал на несколько часов Христофоров, за вещами. Он был тих и молчалив. Обедали довольно сумрачно. Когда случайно разговор коснулся Анатоля Франса, Антон сказал, обращаясь к Наталье Григорьевне:

— Ваш Анатоль Франс просто французский разговорщик. От него волосы на голове не шевелятся.

Наталья Григорьевна возразила, что кроме волос на голове — есть еще стиль, изящество и философия; ирония и доброта; есть, наконец, гений многовековой латинской культуры.

Но Антон не возражал и разговор, вообще, не поддержался. Верно, все были заняты другим.

Вечером, когда Христофоров уехал, у Машуры с Антоном было объяснение. Оно не выяснило ничего. Антон волновался, почти грубил. Машура расплакалась и убежала в свою комнату. Ночью оба не спали. А наутро он уехал, оставив записку, что так больше жить не может. Он отправляется до осени на урок.

Машура прочла, разорвала бумажку и решила, что пусть будет как будет. Отныне просто одна она станет заниматься жизнью, маленькими своими делами, ни о ком не думая. И правда, этот последний месяц провела в деревне, в одиночестве — полторы недели даже совсем одна — Наталья Григорьевна уезжала в Петербург. Это время осталось в ее памяти как полоска жизни чистой, покойной и немного грустной. Можно было гулять одной ясными августовскими вечерами, когда овес смутно белеет и шуршит в сумерках, полынь горкнет на межах, и красноватый диск встает на лиловом горизонте. Казалось, что она свободна от всего и всех. Можно было мечтать об одинокой жизни среди полей, под звездами.

Но вернулась Наталья Григорьевна, все стало на свои места. И, как полагается, в первых числах сентября водворились уже Вернадские на зимние квартиры, совершая непрестанный круговорот, называющийся бытием.

Как всегда, Машура возвращалась к старому пепелищу освеженная, как бы ободренная. Предстояла зима, полная нового:

впечатлений, занятий, выездов, книг. Жизнь осенью, в Москве, бывает иногда хороша.

И Машура с живостью и возбуждением устраивалась на Поварской. К ней наверх вела узенькая лестница. Небольшая первая комната — как бы приемная; во второй, большой, разделенной пополам портьерой, вдоль которой длинный диван, жила Машура. Окна смотрят на юг. Солнце чисто и приветливо сияет в безукоризненном паркете, отсвечивает в ризах икон в киоте, золотит клавиши пианино; освещает на стене итальянский примитив — старинную копию; блестит в ручках качалки с накинутым вышиванием, в книжках, фотографиях, тетрадках, где можно встретить стихи Блока и портрет Бальмонта, во всех тех маленьких пустяках, что составляют обстановку и уют московской барышни из образованной семьи.

Жизнь ее приняла предустановленное течение: ходила Машура на курсы, где слушала философию, историю и литературу; взяла абонемент на Кусевицкого; бывала у знакомых, и у себя дома принимала; в этом году то еще явилось, что Машура вошла в общество «Белый Голубь». Оно состояло сплошь из девушек. Собирались для чтения книг, рефератов и бесед, направленных к духовному саморазвитию. Занимались религией. Искали смысл жизни. Рассуждали о поэзии, искусстве. Устраивали музыкальные вечера. Среди барышень была молодая актриса, две музыкантши, художницы. Там встретилась Машура с Лабунской.

Лабунская очень ей понравилась — красотой, изяществом и простой вольностью движений.

Приятны были улыбка, смех; несколько тягучий, широкий и мягкий московский выговор. Скоро выяснилось, что у них есть общие знакомые — Анна Дмитриевна. Лабунская сказала, что знает, как они были в монастыре.

— Ах,— прибавила она живо,— да вы, пожалуй, знаете и Христофорова. Ну, такой голубоглазый дядя, не то поэт, не то отшельник. Впрочем,— прибавила она со смехом,— мы с ним познакомились на бегах.

Машура слегка покраснела.

— Да, Алексей Петрович, я знаю...

Лабунская сказала, что скоро у них в студии будет вечер, немногочисленный, «но, может быть, и ничего себе». Там и она выступает. Машуру она приглашала.

— Будут некоторые пресмешные,— прибавила она.— В общем, ничего. Приходите.

Машура поблагодарила. И предложение приняла. В условленный день Лабунская звонила к ней. Наталья Григорьевна не

была безразлична к тому, куда Машура ходит; но считала ее вполне благоразумной, и не возражала.

Часов в десять вечера Машура подходила к большому красному дому, в затейливом стиле, на площади Христа Спасителя. Луна стояла невысоко. Белел в зеленой мгле Кремль; тянулась золотая цепь огней вдоль Москва-реки.

Машура поднялась на лифте, отворила дверь в какой-то коридор, и в конце его поднялась по лесенке в следующий этаж. Вся эта область населялась одинокими художниками; жили тут три актрисы и француз. Лесенка вывела ее в большую студию, под самой крышей. Угол отводился для раздевания. Главная же комната, вся в свету, разделена суконной занавесью пополам. Войдя, Машура скромно стала к стенке и осматривалась. Обстановка показалась непривычной: висели плакаты, замысловатые картины; по стенам — нечто вроде нар, на которых можно сидеть и лежать. Вместо рампы — грядка свежих гиацинтов.

— А-а,— сказал Ретизанов, улыбаясь.— Вам нравятся вот эти гиацинты? Это я все...

Ретизанов был очень наряден, в хорошем смокинге, безукоризненной манишке, лакированных ботинках. На бледном лице с седоватой бородкой и усами синели глаза.

— Вы знаете, я люблю цветы... Я не понимаю, как можно не любить... А вы как смотрите? Тем более, когда танцует Елизавета Андреевна... Потому, что она ведь одна музыка и ритм, чистейшее проявление музыки и ритма...

Он заволновался и стал доказывать, что Лабунскую надо смотреть именно среди цветов. Машура не возражала. Она даже была согласна; но Ретизанов, усадив ее в угол, громил каких-то воображаемых своих противников, и мешал даже рассмотреть присутствующих. Забежала Лабунская, уже в длинной, светлой тунике, поцеловала Машуру, улыбнулась и ускользнула.

За минуту до начала, когда дамы, художники, меценаты, курсистки, поэты, молодые актрисы усаживались, кто на нарах, кто на табуретках, шурша платьями, благоухая, смеясь,— к Машуре подошел Христофоров, в обычном своем сюртучке. Она взглянула на него сбоку, сдержанно, и протянула холодноватую руку.

Заиграла невидимая музыка, свет погас, и зеленоватые сукна над гиацинтами медленно раздвинулись. Первый номер был пастораль, дуэт босоножек. Одна изображала влюбленного пастушка, наигрывала, танцуя, на флейте, нежно кружила над отдыхающей пастушкой; та просыпалась, начинались объяснения, стыдливости и томление, и в финале торжествующая любовь.

Затем шел танец гномов, при красном свете. Лабунская выступала в «Орфее и Эвридике». Была она легка, нежна и бесконечно трогательна. Казалось странным, зачем нужна она там, в подземном царстве; и одновременно — да, может быть, и есть своя правда, высшая печаль в этом.

— Я говорил вам,— шептал сзади Ретизанов,— что она божественна. А еще Никодимов болтает... Нет, это уж черт знает что...

В антракте он побежал к Лабунской. Машура и Христофоров прогуливались среди полузнакомой толпы. Опять сиял свет, блестели бриллианты дам.

— Я вас не видел почти месяц,— говорил Христофоров.— Уже сколько дней...

Машура взглянула на него. Его глаза были слегка влажны, блестели: казалось, был он очень оживлен, каким-то хорошим воодушевлением. Она улыбнулась.

— Вы весело живете, Алексей Петрович?..

— Как вам сказать,— он слегка расширил зрачки,— и грустно, и весело.

Когда опять погас свет и раздвигался занавес, Машура сказала шепотом:

— Все-таки в том, как вы уехали от нас, было что-то мне неприятное...

Христофоров ничего не ответил, смотрел на нее долго ласковым, смущенно-взволнованным взором. На сцене полунагие девушки изображали охоту: то они быстро неслись, как бы догоняя, то припадали на одно колено и метали дротик, кружились в конце концов, опять танцевали друг с другом и поодиночке — быть может, с воображаемым зверем.

Христофоров вынул блокнот, оторвал бумажку, написал несколько слов и передал Машуре. В неясном свете рампы, близко поднеся к глазам написанное, она прочла: «Простите, ради Бога! Если дурно сделал, то ненамеренно. Простите!».

Худые щеки Машуры слегка заалели. Взяв карандаш, она ответила: «Я нисколько не сержусь на вас, милый (и загадочный) Алексей Петрович».

Христофоров взял и шепотом спросил:

— Почему загадочный?

Машура мотнула головой и по-детски, но убежденно ответила:

— Да уж потому.

Когда вечер кончился, Ретизанов сказал им, чтобы не уходили со всеми. Лабунская просила идти вместе.

— А Никодимов, хорош гусь, а? — вдруг спросил он.— Сейчас записку прислал — дайте взаймы тысячу рублей. Как

это вам нравится? Тысячу рублей! — Ретизанов вскипел.— Что я, банкир ему, что ли?! Мало Анну Дмитриевну обирать, так и меня... нет-с, уж дудки...

В студии стали гасить свет. Лишь сцена освещалась — оттуда слабо пахло гиацинтами. Христофоров с Машурой отошли к нише, разрисованной углем и пастелью. Был изображен винный погреб, бочки, пьяницы за столом. Окно выходило на Москва-реку.

— Вот и Кремль в лунном свете,— сказал Христофоров.— В нем есть что-то сладостное, почти пьянящее.

— Вам Лабунская нравится? — спросила Машура.

— Да,— ответил он просто.— Очень.

Машура засмеялась.

— Мне кажется, что вам нравится и Кремль, и лунный свет, и я, и ваша голубая Вега, и Лабунская, так что и не разберешь...

— Мне, действительно,— тихо сказал он,— многое в жизни нравится и очаровывает, но по-разному.

Подошла Лабунская, подхватила их и повела. Ретизанов ждал, уже одетый. Он был в большой мягкой шляпе, в пальто с поднятым воротником.

— А я очень рада,— говорила Лабунская, прыгая вниз по лестнице через несколько ступеней,— что вся эта катавасия кончилась. Ну, как наши девицы плясали? Не очень позорно? Мы ведь неважно танцуем. Так, тюти-фрюти какие-то.

— Все плохи, кроме вас! — сказал Ретизанов и захохотал.— Позвольте, я приготовил вам букет еще на дорогу! Тут, у швейцара.

— Ну, дай вам Бог здоровья!

Лабунская шла по тротуару, помахивая букетом и смеясь.

— Значит,— говорила она,— все-таки хорошо, что был этот вечер. Я получила букет, меня ведут в Прагу ужинать, луна светит... вообще, все чудесно.

«Беззаботная!» — вспомнил Христофоров имя лошади, на которую она выиграла. И улыбнулся.

На Пречистенском бульваре было пустынно; тени дерев переплетались голубоватой сеткой; изредка пролетал автомобиль; извозчик тащился, помахивая концом вожжи. Лабунская бегала по боковым дорожкам, танцевала, бросала листьями в лицо Ретизанову. Христофоров смеялся. Он пробовал ее обгонять, но неудачно.

Ретизанов звал всех ужинать,— Машура отказалась. У памятника Гоголю она села с Христофоровым на скамейку и сказала, что дальше не двинется: очень ночь хороша.

— Если соскучитесь,— крикнул Ретизанов, уходя,— приходите в Прагу. Я и вас накормлю.

Но они не соскучились. Христофоров снял шляпу, курил и внимательно, нежно смотрел на Машуру.

— Почему вы написали: загадочный?

Машура улыбнулась, но теперь серьезней.

— Да, ведь и верно — вы загадочный.

— Я уж право не знаю.

Машура несколько оживилась.

— Ну, например... вы, по-моему, очень чистый, и не такой, как другие... да, очень чистый человек. И в то же время, если бы вы были мой, близкий мне, я бы постоянно мучилась... ревновала.

— Почему?

— Я, положим, знаю,— продолжала она горячо,— что если Антон меня любит, то любит именно меня, и для него весь мир закрыт, это может быть и проще, но... Да, у вас какие-то свои мысли, и я ничего не знаю. Я о вас ничего не знаю, и уверена — никогда не узнаю. Наверно, и не надо мне знать, но вот именно есть в вас что-то свое, в глубине, чего вы никому не расскажете... А, пожалуй, вы и думаете там о чем-нибудь, еще других любите... Нет, должно быть, я уж нелепости заговорила.

Она взволновалась, и правда, будто стала недовольна собой.

Христофоров сидел в некоторой задумчивости.

— Вы меня странно изображаете,— сказал он.— Возможно, и потому, что у вас страстная душа. Почему вы говорите о ревности, или о том, что я нехорошо от вас уехал,— прибавил он с внезапной, яркой горечью.— Разве вы не почувствовали, что мне невесело было уезжать? Нет, в том, что я уехал, ничего для вас дурного не было.

— А мне казалось, это значит сохранить свободу действий.

Он взял ее за руку.

— Как вы самолюбивы... Как...

Машура вдруг откинулась на спинку скамьи. Пыталась что-то выговорить, но не смогла. В лунном свете Христофоров заметил, что глаза ее полны слез.

— А все-таки,— сказала она через минуту, резко,— я никого не люблю, кроме Антона. Никого,— прибавила она упрямо.

Во втором часу ночи, прощаясь с ней у подъезда их дома, Христофоров сказал:

— Может быть, вы отчасти и правы, я странный человек.

В голубоватой мгле дерев, чуть озаренная лунным призрачным серебром, с глазами расширенными и влажными он, действительно, показался ей странным.

— Не знаю,— холодновато ответила она.— Спокойной ночи!

Он поцеловал ей руку.

VIII

Было около шести. В конце Поварской закат пылал огненно-золотистым заревом. В нем вычерчивалась высокая колокольня, за Кудриным; узкое, багряное облачко с позлащенным краем пересекало ее.

Антон вошел в ворота дома Вернадских, поднялся на небольшое крыльцо и позвонил. Косенькая горничная отворила ему и сказала, что барышня дома.

— Только у них нынче собрание, они запершись, наверху,— добавила она, не без значительности.

Антон снял свое неблестящее пальто и усмехнулся.

— Девицы?

— Так точно. И чай туда им носила. Старая барыня в столовой, пожалуйста.

«Спасением души Машура занимается,— подумал он, оправляя у зеркала вихры.— Очевидно нынче заседание общества «Белый Голубь». Пишут какие-нибудь рефераты, настраивают себя на возвышенный лад, а к сорока годам станут теософками»,— хмуро подумал он. Напала минутная тоска. Стоит ли оставаться? Не надеть ли пальтишко, не уйти ли назад? Полтора месяца он с Машурой почти в ссоре, в Москве не был, а сейчас явился зачем-то — с повинной? «Невольно к этим грустным берегам»?..

Но он переломил неврастенический приступ, вздохнул, и полутемным коридором, откуда подымалась лесенка к Машуре, прошел в столовую.

На столовую она походила не совсем. По стенам стояли диваны, книжный шкаф, в углу гипсовая Венера Медицейская; закат бросал на дорогие темно-коричневые обои красные пятна. За чайным столом в вазах стояли букеты мимоз и красная роза в граненом с толстыми стенками стаканчике. Печенья, торты, хрустали, конфеты — все нынче нарядней, пышней обычного — у Натальи Григорьевны тоже приемный день, когда собирались знакомые и друзья. Сама она, в черном бархатном платье, с бриллиантовой брошью, в золотых своих очках, при седой шевелюре, имела внушительный вид. За столом была Анна Дмитриевна, две неопределенных барыни, важный старик с пушистыми седыми волосами и толстая дама в пенсне — почтенная теософка. Старик же, разумеется, профессор.

Он что-то рассказывал — медленно, длинно, с той глубокой убежденностью, что это интересно всем, какая нередко бывает у недалеких людей.

— Я тогда же сказал Максиму Ковалевскому: Максим Максимович, нам, как русским ученым, представителям молодой

русской науки на западе, не пристало выступать с какими-то — passez moi le mot[1],— мистическими сверхиндивидуалистами, чуть не спиритами, ну-те-с, и тому подобное. Он согласился. В тот же день мы завтракали у Габриэля Тарда. Был лорд Крессель, Брандес, я и, представьте...

Знакомое чувство раздражения прошло по спине Антона. «А может, он и врет, и никакого лорда там не было, да и его самого никто в Париже не знает».

Старик не весьма был доволен, что его прервали; не глядя поздоровался,— и плавно вторя себе рукой с пухлыми пальцами, которые собирались в горсточку, продолжал о завтраке у Тарда. В закате розовели его седые виски; блестел массивный золотой перстень на указательном пальце.

— Давно не заглядывал,— сказала Наталья Григорьевна Антону, наливая ему чаю.

— Меня в Москве не было,— ответил он глухо, и слегка покраснел.

— Ты Машуру не ранее, чем через час увидишь,— продолжала она.— Да и то ненадолго. У них сегодня собрание, «Белый Голубь».

Антон ничего не ответил. Он сидел хмуро, помешивал ложечкой, и опять был подавлен тоской; опять ему казалось, что напрасно он пришел сюда; ничего кроме унижения не вынесешь, да еще слушай речистого старика.

Вошел Ретизанов, в изящном жакете и с цветком в петлице. В это время почтенная теософка, напоминавшая английскую даму хорошего общества, со спокойствием верующего и образованного человека рассказывала соседке о лунной манвантаре и солнечных питрисах. Она приводила точные выражения Анны Безант. Тон ее был таков, что это нисколько не менее очевидно, чем лекции Ковалевского, завтрак у Тарда. Профессор же продолжал свое.

Ретизанов поцеловал руку Натальи Григорьевны и улыбнулся.

— Все по-прежнему,— сказал он.— Наталья Григорьевна занимает золотую середину, а на флангах кипит бой.

— Это только значит,— внушительно заметила она,— что я терпима к чужим мнениям. Терпимость основывается на культуре. А уж середина я, или нет, позвольте знать мне самой.

Она слегка взволновалась, и на старческих щеках выступили красноватые пятна. Ретизанов смутился.

— Нет, я совсем не в том смысле...

Но она уже не слушала. Решив, что особой воспитанностью

[1] Простите, что так (грубо, резко и т. п.) выражаюсь *(фр.)*.

никогда он не отличался, Наталья Григорьевна заговорила с Антоном.

Впрочем, Ретизанов и сам отвлекся. Профессор доказывал, что Достоевский, как человек душевнобольной, развратный и реакционно-мысливший, недостоин того ореола, какой создался вокруг его имени в *некоторых* (он строго оглянул присутствовавших) — кружках.

— На одном обеде литературного фонда,— это было давно, я собирал еще тогда материал по истории хозяйства при Меровингах, для диссертации, где поддерживал Бюхера против Эдуарда Мейера,— так вот-с покойный Николай Константинович Михайловский прямо указал мне — мы сидели рядом,— что талант Достоевского есть не более как гигантская проекция свойств жестокости, сладострастия и истерии. В своей известной статье он определил этого писателя, как жестокий талант.

— А скажите,— вдруг спросил Ретизанов,— когда вы читаете «Идиота», то чувствуете вы некоторую атмосферу, как бы ультрафиолетовых лучей всюду, где появляется князь Мышкин? Такая нематериальная фосфоресценция...

— Я скорее сказала бы,— заметила теософка,— что внутренний и, конечно, нематериальный свет этого романа — бледно-зеленоватый. Свет, несомненно, эфирный.

Профессор развел руками и заявил, что ничего подобного он не видит и не встречал таких утверждений в критике.

— Впрочем,— прибавил он,— я и вообще нахожу, что между мною и некоторыми из присутствующих есть коренное расхождение в мировоззрениях. Я считаю, что Макс Нордау был совершенно прав, утверждая...

— Да неужели вы можете говорить о Нордау? — почти закричал Ретизанов.— Макс Нордау просто болван...

После этого профессор недолго уже сидел. Он поцеловал руку Натальи Григорьевны и сказал, что рад будет встретиться с ней в Литературном Обществе, где она должна читать доклад: «К вопросу о влиянии Шатобриана на ранние произведения Пушкина».

— Откуда вы достаете таких дубов?

На этот раз Наталья Григорьевна не рассердилась. Она доказывала, что профессор вовсе не дуб, а человек иного поколения, иных взглядов.

Антон поднялся, незаметно вышел. Рядом с прихожей была приемная, маленькая комнатка, вся уставленная книгами. В нее надо было подняться на ступеньку. Дальше шла зала, и в глубине настоящий, большой кабинет Натальи Григорьевны. Антон сел в мягкое кожаное кресло. Виден был двор, залитый

голубоватой луной. Наверху, в комнате Машуры, слышались шаги, голоса. Антон положил голову на подоконник. «Они решают там возвышенные вопросы, а я умираю здесь от тоски,— думал он.— От тоски, вот в этом самом лунном свете, который ложится на подоконник и обливает мне голову».

Он сидел так некоторое время, без мыслей, в тяжелой скованности. «Нет, уйду,— решил он наконец.— Довольно!» В это время движение наверху стало сильнее, задвигали стульями. Он прислушался. Через минуту раздались шаги по лесенке, ведшей сверху; вся она как бы наполнилась спускавшимися, послышались молодые голоса. Почти мимо его двери прошли в переднюю; там опять смеялись, разбирали одежду, шляпы, перчатки. Затем хлопала парадная дверь, с каждым разом отрезая часть голосов. Наконец, стало тихо. Знакомой, легкой поступью прошла Машура. «Ну вот, теперь она пойдет в столовую и будет там сидеть с матерью и Ретизановым».

Было уже ясно, что она уходит, но Антон медлил, не мог одолеть тяжелой летаргии, в которой находился.

Вдруг те же, но возвратные, теперь веселые шаги. Он встал и со смутно бьющимся сердцем двинулся к двери. В лунных сумерках навстречу вбежала Машура, легко вспрыгнула на ступеньку и горячо поцеловала.

— Ты? — смеялась она.— Ты, я знала, что ты придешь! Что ты тут делаешь? Один! Какой чудак!

— Я...— сказал Антон,— уж собрался уходить... ты была занята.

Машура захохотала.

— Почему ты такой смешной? Ты какой-то замученный, растерянный. Погоди, дай на тебя посмотреть...

Она взяла его за плечи, подвела к окну, где от луны было светлее.

— Я,— говорил он растерянно,— я, видишь ли, столько времени у вас не был... я уезжал из Москвы...

Она глядела ему прямо в небольшие глаза; в них стояли слезы. Волосы его вихрились, большой лоб был влажен. На виске сильно билась вена.

Глаза Машуры блестели.

— Ты похож на Сократа,— вдруг зашептала она,— ты страшно мил, настоящий мужчина. Я знала, что ты придешь, и придешь такой...

Она сжала его руки.

Антон опустился на скамеечку у ее ног, прижал к глазам ее ладонь.

— Если бы ты знала, как я... все это время...— твердил он, сквозь слезы.— Если бы знала...

Около девяти Антон, с просохшими, сияющими в полумраке глазами, ходил из конца в конец залы, пересекая лунные прямоугольники, облекавшие его светом.

Из кабинета вышла Наталья Григорьевна; она была теперь в светлом вечернем платье, с иными бриллиантами.

— Ну, милый,— сказала она Антону,— иди торопи Машуру. Лошадь подали.

Плохо соображая, как в тумане подымался Антон по витой лесенке.

— Можно? — спросил он глухо, входя.

— Погоди минутку.

Раздался смех Машуры, мелькнуло голое, смугло-персиковое плечо, и веселый голос ответил из-за портьеры:

— Теперь можно. Но сюда не входи.

Антон сел и сказал, что Наталья Григорьевна ждет.

— Сейчас, сейчас... Мама вечно боится опоздать.

За портьерой шуршали, слышно было, как горничная застегивает кнопки. В комнате было тепло, пахло духами, и еще чем-то, чего не мог определить Антон, что вызывало в нем легкий озноб.

Когда Машура вышла, в белом платье, оживленная, с темно-сверкающими глазами на остроугольном лице, она показалась ему прекрасной. Худенькой рукой приколола она себе красную розу.

Горничная ушла.

— Ты прелестна,— тихо сказал Антон.

Она улыбнулась.

Антон проводил их и остался в доме еще некоторое время. Не хотелось уходить, расставаться с комнатами, полными голубоватого лунного дыма — где неожиданно пришла к нему Машура. И вновь переживая все, ходил он по зале, из угла в угол.

IX

За ночь выпал снег. В комнатах посветлело, воздух сразу стал вкусный, днем острый и прозрачный, к сумеркам синеющий. Деревья резче чернели на белизне. Извозчики плелись бесшумно: шапки, полости у них белели. И веселей орали вороны на бульваре, слетая с веток; вниз сыпался за ними снежок.

Анна Дмитриевна сидела в небольшом своем кабинетике у письменного стола, с пером в руке. В окно глядел бульвар,

запушенный снегом, от подоконника шел ток теплого воздуха, тепел был пуховой платок на плечах и мягок ковер, занимавший всю комнату. Над диваном — nature morte[1] Сапунова, вариант красных цветов.

«Во всяком случае так дальше продолжаться не может,— писала она твердым, крупным почерком — он казался лишь частью всей ее статной фигуры.— Какая бы я ни была, вы должны понять, что всему есть предел. Вы знаете, чем были для меня все это время. Пред вами я мало в чем виновата. Но вы — ваше поведение я совсем перестаю понимать. Для меня деньги — ничто. Для вас — все. Сколько раз я вас выручала — вы знаете. И то знаете, как издевались вы надо мной, среди пьяных товарищей, грязнили мое к вам чувство. Все вам сходило. Но то, что теперь выяснилось... Я не могу даже написать того слова, какое следует. Хочу вас видеть и спрошу прямо. Завтра и на балете, бельэтаж, ложа № 3. Буду ждать». Она подписалась одной буквой, вложила в конверт и надписала: «Дмитрию Павловичу Никодимову».

Только что велела она отослать письмо, как в комнату вошла, не снимая бархатной шляпы, невысокая дама еврейского вида, с огромными подкрашенными глазами — Фанни Мондштейн. Она была очень шикарна, в новом тысячном палантине. Бурый мех блестел снежинками.

— Голубчик,— сказала она быстро, целуя Анну Дмитриевну и распространяя запах «Rue de la Paix»[2],— я к тебе на минутку. Завтра выступает Ненарокова, дебют, я обязательно должна быть. Идиот Ладыжников напутал, как всегда, билетов нет, представь, я непременно должна быть, ведь Ненарокова танцует вместо Веры Сергеевны, тут, понимаешь, отчасти интриги, отчасти борьба молодого со зрелым. Конечно, ей до Веры Сергеевны...— великая артистка, и начинающий щенок... Но я обещала быть, а получается чепуха...

Фанни подняла вуаль и обнаружила лицо не первой свежести, подкрашенное, с черными, очень красивыми глазами. Фанни живо закурила, и мгновенно стало ясно, в чем дело: о Ненароковой она должна дать отчет Вере Сергеевне, и хотела попасть в ложу Анны Дмитриевны.

— Ну, конечно, ну, да,— говорила Анна Дмитриевна,— о чем тут разговаривать? Я очень рада. Ты покажешь мне разные fouettés[3].

---

[1] натюрморт *(фр.)*.

[2] «Улица Мира» *(фр.)* — название старых французских духов.

[3] фуэте *(фр.)* — па в классическом танце.

— Милун, но разве Ненарокова может сделать что-нибудь подобное?

Фанни встала и с серьезным, как бы убежденным лицом подошла к Анне Дмитриевне.

— Вере Сергеевне приходилось делать тридцать пять fouettés подряд,— этого никто не может в России, кроме нее. Но ведь и сама она — прелесть. Одни ее выражения... Ты думаешь, она завидует этой Ненароковой? Ни капли. Она мне говорит: «Вы понимаете, ведь это надо сделать, эту роль! Вы, кажется, *уже* начинаете меня понимать? Этот балет — чистейший экзот, его надо почувствовать. Вот, по вашему лицу я вижу». Нет, Вера Сергеевна замечательный художник, порох и дитя, восторженная, увлекающаяся душа.

Фанни сама увлеклась, сняла шляпу, и стала рассказывать о Вере Сергеевне.

Фанни была в нее несколько влюблена — влюбленностью театральной поклонницы. Она принадлежала к «партии» Веры Сергеевны; неизменно бывала на ее выступлениях, бешено вызывала, бегала к ней в уборную, защищала от врагов, исполняла мелкие поручения и помогала в сердечных делах.

— Нет, ты понимаешь, у нее совсем особенный язык: если за ней кто-нибудь ухаживает, она называет это *наверт.*

Анна Дмитриевна засмеялась.

— А правда, что одну свою соперницу она избила ногами?

— Фу, глупости! Ну, если бы захотела...— ноги у нее стальные, убить, я думаю, может. Все-таки это клевета...

— Фанни,— спросила вдруг Анна Дмитриевна,— тебя бил когда-нибудь мужчина?

Фанни вскочила и захохотала.

— Во-первых, милая, у меня нет такого властелина, и не будет, надеюсь. Да, но тогда скорей можно спросить, не била ли я кого... Правда, у меня ноги не такие, как у Веры Сергеевны, но все же... вот этой рукой я могу, конечно, дать пощечину негодяю, который покусился бы на мою девственность.

Она повалилась на диван и опять захохотала. Анна Дмитриевна тоже смеялась. Потом Фанни поднялась, оправила палантин и стала прощаться.

— Голубь, значит, до завтра. Бельэтаж, третий номер... буду помнить... третий номер. Целую тебя.

Проводив ее, Анна Дмитриевна медленно возвращалась через залу. Проходя мимо бехштейновского рояля, она приподняла его крышку и взяла несколько нот на клавиатуре. Смутная тягость была у ней на сердце. Она вздохнула и сразу же вспомнила. Эти самые звуки, такой же белый день, рояль, зала,

похожая на эту, и она сама, еще совсем молодая, недавно замужем. Так же она брала несколько нот, а он вышел из той двери. Шел он молча. Лицо было красное. Потом молча же, со всего маху ударил ее по щеке.

Крышку она захлопнула, быстро вышла. «Дурная жизнь, распущенная, скверная жизнь,— твердила она уже у себя в кабинете, ходя взад-вперед по мягкому ковру.— Я ему продалась и изменяла, а он бил меня, как молодую кобылу. Как была дурная, так и осталась. Что же,— сама катала с офицерами по ресторанам, обманывала его, и пожинала лавры собственной жизни. А разве и сейчас... что ж, по-своему и Дмитрий прав, считая меня... бабой, которая может платить его долги. Он хорош, но и я...».

Она опять прошлась и остановилась у большой, под стеклом, фотографии со старинной картины. Справа и слева от озера большие купы дерев, темных, кругловатых; какая-то башня; далекие горы за озером, светлые облака; на переднем плане танцует женщина с бубном и мужчина; пастух, опершись на длинный посох, смотрит на них; на траве, будто для беззаботной пирушки, расположились люди, женщина с ребенком, тоже смотрят. Лодки плывут по бледному озеру. И кажется, так удивительно ясна, мечтательна и благосклонна природа; так чисто все. Так дивно жить в этой башне у озера, бродить по его берегам, любоваться нежными, голубоватыми призраками далеких гор.

Анне Дмитриевне представилось, что если бы она жила в этой стране, то все иное было бы, и, возможно, она узнала бы истинную любовь, высокую и пламенную, которая есть же, ведь, наконец!

Завтракала она одна, как обычно. Потом вышла на улицу. Хотелось пройтись. Снег мягко скрипел под ногой, падали белые его хлопья, медленно и беззвучно; что-то вкусное, свежее и острое несли они с собой; и оседая на ветвях деревьев, шапочках барышень, усах мужчин, давали белое оперение, называемое зимой.

Анна Дмитриевна шла по Арбату и думала, что любой извозчик, трусцой плетущийся в Дорогомилово, или курсистка, бегущая с лекций, более правы и прочны,— может быть, даже счастливы, чем она, живущая в своем особняке и тратящая тысячи. Пройдя по Воздвиженке, вышла она на Моховую, обогнула Манеж, направилась вдоль решетки Александровского сада. Начинало смеркаться. Смутно синел снег за оградой, летали вороны, высокие башни в Кремле уходили во мглу. Зажигались золотые фонари. С сердцем, полным печали, тягости, Анна

Дмитриевна подошла к Иверской, знаменитому палладиуму Москвы — часовне, видевшей на своих ступенях и царей, и нищих. Купив свечку, взошла, зажгла ее, и поставила перед Ликом Богородицы, мягко сиявшем в золотых ризах. Кругом — захудалые старушки, бабы из деревень; ходил монах с курчавой бородой, в черной скуфейке. Плакали, вздыхали, охали. Ближе к стене Музея занимали места те, кто устраивался на ночь. Ночевали здесь по обету, чтобы три или десять раз встретить ту икону Богоматери, которую возят по домам и которая возвращается поздно ночью. Здесь служится молебен. И невесты, желающие доброй жизни в замужестве, матери, у которых больны дети, жены, неладно живущие с мужьями, мерзнут здесь зимними ночами, когда лихие голубки уносят из Большой Московской к Яру разгулявшихся господ.

Анна Дмитриевна стала на колени, перекрестилась, глаза ее наполнились слезами. Еще девочкой, когда сильно пил и бушевал отец, бегала она потихоньку на эти, снежные сейчас, плиты, и на ценный пятачок ставила свечку «Укротительнице злых сердец».

— Старайся, милая, старайся,— говорила рядом старушонка, с глубоко запавшим ртом, в кацавейке, из числа тех, что неизвестно откуда берутся на похоронах, свадьбах и молебнах.— Она, Матушка-Заступница, все видит, всяческое усердие ценит.

Подошел рыжий извозчик, немолодой, тоже поставил свечу, снял шапку и бухнулся на колени. Быть может, молился он о захромавшей лошади, или чтобы овес подешевел. А возможно, и его вела та же тоска, что и Анну Дмитриевну.

Оттого ли, что поплакала, или, правда, в золотом сиянии Богородицы был мир, но она поднялась облегченная, как бы овлажненная. Стряхнув снег, приставший к подолу, вздохнула и стала спускаться со ступеней. Несколько нищих потянулись к ней. Она сунула им. И медленно пошла к Большому театру.

В хмурых сумерках высился он темной громадой; Мюр и Мерилиз сиял, насквозь пронизанный светом; золотые снопы ложились от него на снег. Анна Дмитриевна шла наискось через площадь, по тропинке, только что проложенной. И почти столкнулась с Христофоровым. Он был в меховой шапке, запушенной снегом, с побелевшими усами. Увидев ее, улыбнулся и остановился, кланяясь.

— Голубчик вы мой, милый человек! — чуть не вскрикнула Анна Дмитриевна.— Что тут делаете?

— Гуляю,— ответил он.— У меня нет цели.

— Гуляю! Так себе просто и гуляет, сам не зная зачем! Ну, тогда пойдемте со мной, проводите, мне тоже некуда...

Она взяла его под руку и медленно, разговаривая, они

побрели. Ей, правда, почему-то приятно было его встретить. Настроение подымалось. Они прошли по Кузнецкому, разглядывая витрины. У Сиу пили шоколад, рассматривая модных барынь, смеялись. Было светло, пахло духами, сигарами. Белели воротнички мужчин. Горели бриллианты.

Анна Дмитриевна пригласила Христофорова на другой день на балет, к себе в ложу.

X

Есть нечто пышное в облике зрительного зала Большого театра: золото и красный шелк, красный штоф. Тяжелыми складками висят портьеры лож с затканными на пурпуре цветами, и в этих складках многолетняя пыль; обширны аванложи, мягки кресла партера, холодны и просторны фойе, грубовато-великолепны ложи царской фамилии и походят на министров старые капельдинеры, лысые, в пенсне, в ливреях. Молча едят друг друга глазами два истукана у царской ложи. Дух тяжеловатый, аляповатый, но великодержавный есть здесь.

Христофоров, явившийся в ложу первым и одиноко сидевший у ее красно-бархатного барьера, чувствовал себя затерянным в огромной, разодетой толпе. Театр наполнялся. Входили в партер, непрерывное движение было в верхах, усаживались в ложах; кое-где направляли бинокли. Над всем стоял тот ровный, неумолчный шум, что напоминает гудение бора — голос человеческого множества. Человечество затихло лишь тогда, когда капельмейстер, худой, старый человек во фраке, взмахнул своей таинственной палочкой, и за ней взлетели десятки смычков того удивительного существа, что называется оркестром. Загадочно, волшебством вызывали они новую жизнь; и помимо лож, партера и публики в театре появилась Музыка. Поднялся занавес, чтобы в безмолвном полете балерин дать место гению Ритма.

Анна Дмитриевна явилась вовремя. Фанни немного опоздала. Фанни была еще сильнее подкрашена. Она уселась рядом с Христофоровым с видом деловым, уверенным; оглядела залу, оркестр, сцену, как бы проверяя, все ли в порядке. Иногда, рассматривая балет, вдруг наклонялась к Анне Дмитриевне и шептала:

— Взгляни на Казакевич. Летом в Крыму нарочно загорала, и третий месяц загар с рук и с плеч не сходит. Крайняя справа — Семенова. Как мила! Ты понимаешь, одна простота, никаких фанаберий, настоящая добросовестная работа.

Анна Дмитриевна улыбалась ей глазами, но была сдержанна, одета в черном, несколько бледна. Дышала не вполне ровно.

К концу акта дверь в аванложу отворилась, звякнули шпоры. Занавес побежал вниз. Стало светлее, зааплодировали. Никодимов, худой, с правильным пробором и белыми аксельбантами подошел к Анне Дмитриевне, поцеловал руку. Вид он имел измученный; глаза его угрюмо темнели. Он вынул надушенный платочек и разгладил усы.

— Бог мой,— сказала Фанни,— не узнаю вас, дорогой.

— Я нездоров,— ответил Никодимов.— У меня невралгия лицевых нервов. Я очень дурно сплю по ночам.

— Ах, pauvre enfant![1]

Фанни засмеялась и стала показывать Христофорову знаменитого коннозаводчика, сидевшего в первом ряду.

— Вы меня звали,— сказал Никодимов тихо Анне Дмитриевне,— я пришел, несмотря на нездоровье.

Она вздохнула, прошла в аванложу и села на диван. Заложив ногу на ногу, подрагивая носком лакированной туфли, вертела она в руке лорнет. Наконец, как бы пересилив себя, сказала:

— Правда ли, что вы подделали мою подпись?

Никодимов сложил руки на коленях и глядел вниз.

— Я отдам вам эти деньги, очень скоро. Я сейчас в большом выигрыше. А тогда нужны были, чрезвычайно.

Анна Дмитриевна помолчала.

— Правда ли, что за вами какое-то темное дело... по части нравственности? И еще, у вас живет... Такой юноша?

— Не беспокойтесь, на скамье подсудимых меня вы не увидите. Вас не скомпрометирую.

— Дело не во мне,— ответила она глухо,— дело в том, что вы окончательно гибнете.

— Это возможно. Возможно, что я окончательно выхожу из числа так называемых порядочных людей.

В зрительном зале стемнело, поднялся занавес. Сцена представляла мастерскую кукольного мастера. Несколько кукол сидело недвижно. С легкими подругами прокрадывалась сюда Коппелия. После мимических сцен являлся хозяин, испуганные гости разбегались.

— Недурна,— говорила Фанни Христофорову,— Коппелия недурна, но и только. «Как бы разыгранный Фрешиц перстами робких учениц». Если б Веру Сергеевну в этой роли видели! Ну, что она выделывает!

В это время в аванложе Никодимов говорил:

— Я никогда не понимал, чем виноват так называемый безнравственный человек, что он родился именно таким? Почему

[1] Несчастный ребенок *(фр.)*.

вы брюнетка, а не блондинка? Много приятнее быть симпатичным и добрым, жить в почете, довольстве, уважении,— чем путаться в долгах, ощущать презрение и ждать той черной дыры, куда все сваливаются. Скучать, болеть, завидовать... Нет, мы порочные, составляющие касту в обществе, вряд ли сойдемся когда-либо с довольными собой. Во все времена были мы отверженными. Так и всегда будет. Разве что со временем люди несколько поумнеют и поймут, что одной благородной позы мало.

— Все стараетесь себя оправдать...

— Ни нравственного, ни безнравственного нет. Есть люди, родившиеся с разными вкусами. Вы любите артишоки, а я ростбиф. Я и есть буду ростбиф, и меня станут называть прохвостом. А все дело в том, что природа, или Господь Бог, произвели нас на свет с разными вкусами. Свободная воля! Глупость, выдуманная попами.

Никодимов говорил негромко, сидел спокойно, лишь иногда, от боли в виске, страдальчески подергивал глазом.

Анна Дмитриевна смотрела на этого человека, так много взявшего в ее жизни, на его сухие пальцы с отточенными ногтями, на перстень с вырезанным черепом и двумя костями, на изможденное, но породистое лицо,— и как бывало нередко — странная смесь обаяния и презрения, нежности и обиды, пронзительной жалости и отвращения подымалась в ней.

— Ах,— сказала она, задохнувшись,— чем вы меня взяли?

— Жалостью,— ответил Никодимов.— Вы считаете, что посланы в мою жизнь, чтобы исправить меня. Женщины с добрым сердцем, как вы, нередко чувствуют именно так. Смею вас уверить.

— Замолчите, вы... слышите, замолчите...— шепотом, давясь словами, произнесла Анна Дмитриевна. Она закрыла глаза платочком, откинулась на диван. Влево темнел треугольник между портьерой. Там был полумрак гигантского театра, тысячи голов и глаз, направленных на сцену.

Коппелия танцевала длинное и трудное adagio[1], Фанни впивалась в каждое ее движение. Временами бормотала: «Молодец! Для нее — даже хорошо!» Упираясь в пол носком, рукой придерживаясь за высоко поднятую руку партнера, Коппелия вся вытянулась горизонтально, слегка колебля другой ногой, как хвостом рыбы — и медленно, легко и изящно описывала полный круг.

Adagio имело успех. Коппелия выпорхнула и раскланялась,— с той нечеловеческой легкостью, которая поражает в балете.

[1] адажио — медленная часть в классическом танце *(ит)*

— Таланта у ней мало,— судила Фанни,— но работа большая. Очень изящно. Это и говорить нечего.

Анна Дмитриевна видела только конец третьего акта. Ансамбли, дуэты, соло бессвязно проносились перед глазами, Фанни разбирала всех по косточкам. Одна отяжелела — известная немолодая балерина с дивными ногами; другая великолепна по темпераменту, но не вполне строгого вкуса. Третья — вся создана покровительством.

— Фанни хочет сделать из вас балетомана,— сказала Анна Дмитриевна Христофорову, через силу улыбаясь.— У вас голова кругом пойдет, коли будете слушать.

— Что ж, это очень интересно,— ответил Христофоров.

— Не взыщите, голубок,— моя слабость! Чем я виновата, если балет меня восхищает? Посмотрела — точно бутылку шампанского выпила.

Когда, по окончании, все спускались к выходу, Христофоров обратился к Анне Дмитриевне:

— Я очень благодарен, что вы меня взяли.

— Вы что ж,— ответила Анна Дмитриевна,— вообще, кажется, становитесь светским человеком? Фрак бы еще на вас нацепить, да вывести на бал.

Христофоров рассмеялся, поглаживая свои усы.

— Во фраке мне, действительно, неподходяще. Светскость... ну, какая же! Но, конечно, я ценю новые впечатления, даже очень ценю,— прибавил он серьезнее.— Я хотел бы очень много видеть, как можно больше.

У выхода, под гигантскими колоннами портика, Фанни пригласила их к себе ужинать. Христофоров сначала замялся, потом согласился.

— У меня есть вино,— сказала Фанни.— Разумеется, дареное,— прибавила она и захохотала.

Зимней, свежей ночью, при блеске огней из Метрополя, шли они вверх, к Лубянской площади. Миновали лубянский фонтан, старую, красную церковку Гребневской Божией Матери, прежний застенок, и вышли на Мясницкую — улицу камня, железа, зеркальных витрин с выставленными двигателями, контор, правлений и немцев.

Фанни снимала огромную квартиру в Армянском переулке. Была она запутанного, сложного устройства, с бильярдной комнатой, полутемной столовой, огромной гостиной, не менее чем тремя спальнями. Старинные, дорогие вещи стояли вперемежку с рыночными; в гостиной сомнительные картины; в общем дух безалаберной, праздной и веселой жизни.

— Ну, для чего тебе, например, биллиард? — спрашивала

Анна Дмитриевна, стоя с кием у освещенного низкой лампой биллиарда.

Христофоров с улыбочкой перекатывал белые шары.

— Как зачем? А захочу играть? Вот, младенца этого обучу этому ремеслу,— она кивнула на Христофорова и захохотала.— Лена,— крикнула она горничной,— скорее, ужинать! Сейчас, переоденусь только. Одна минута.

И она выбежала, на своих коротковатых, резвых ногах.

— Фанни живой человек,— сказала Анна Дмитриевна,— неунывающий.— В клубе ночами в карты дуется, поспит часа два, и как рукой сняло, опять весела, в кафе, в концерт, куда угодно.

Когда их позвали в столовую, Фанни, в капоте, заложив ногу на ногу, сидела у телефона. Она заканчивала отчет о спектакле.

— Успех,— да, средний, но да. Adagio прямо понравилось. В общем это, конечно, серединка... понимаете, дорогая моя... От настоящего, большого искусства, как у вас, ну...— бесконечность.

Фанни кормила их недурным ужином. Не обманула и насчет вина. Была в очень живом настроении и рассказывала о студенческих сходках 1905 года. «Товарищи,— кричала она и хохотала простодушно,— не напирайте, товарищ Феня родит! Товарищи, не курите, ничего не слышно!» Затем изображала еврейские анекдоты, с хорошим выговором.

Анна Дмитриевна пила довольно много. Фанни подливала. Ее собственные, подкрашенные глаза блестели.

— Пей,— говорила она,— вино мне подарили, не жаль. А тебе надо встряхнуться. Ты мне не н'дравишься последнее время. Не н'дравишься,— язык ее склонен был заплетаться.— Плюнь, выпьем.

После ужина перешли в будуар. Затопили камин. Фанни принялась полировать себе ногти.

— Алексей Петрович, милый вы человек,— вдруг сказала Анна Дмитриевна, взяла его за руки и припала на плечо горячим лбом,— что же делать? как существовать? Ангел, мне вся я не н'дравлюсь, с головы до пят, все мы развращенные, тяжелые, измученные... На вас взгляну, кажется: он знает! Он чистый и настоящий...

Христофоров смутился.

— Почему же я...

— Если вы такой,— продолжала Анна Дмитриевна,— то должны знать, как и что... где истина.

— Об истине,— ответил он не сразу,— я много думал. И

о том, как жить. Но ведь это очень длинный разговор... и притом мои мысли никак нельзя назвать... объективными, что ли. Может быть, только для меня они и хороши.

Анна Дмитриевна глядела на танцующее, золотое пламя в камине.

— Все-таки скажите ваш устой, ваше главное... понимаете,— я же не умею выражаться.

Христофоров улыбнулся.

— Вот и история... Мы были в балете, пили шампанское, смеялись, и вдруг дело дошло до устоев.

Анна Дмитриевна вспыхнула.

— Смешно? Считаете меня за вздорную бабу?

— Нисколько,— тихо и серьезно ответил Христофоров.— Я хочу только сказать, что многое сплетается в жизни причудливо. К вам, Анна Дмитриевна, я отношусь с симпатией. Многое родственно мне, думаю, в вашей душе. Поэтому, именно лишь поэтому, я скажу вам один свой *устой,* как вы выражаетесь.

Христофоров помолчал.

— Мне почему-то приходит сейчас в голову одно... О бедности и богатстве. Об этом учил Христос. Его великий ученик, св. Франциск Ассизский, прямо говорил о добродетели, мимо которой не должен проходить человек: sancta povertade, святая бедность. Все, что я видел в жизни, все подтверждает это. Воля к богатству есть воля к тяжести. Истинно свободный лишь *беззаботный,* вы понимаете, лишенный связей дух. Вот почему я не из демократов. Да и богачи мне чужды.

Он улыбнулся.

— Я не люблю множества, середины, посредственности. Нет ничего в мире выше христианства. Может быть, я не совсем его так понимаю. Но для меня — это аристократическая религия, хотя Христос и обращался к массе. Моя партия — аристократических нищих.

— Фанни,— сказала Анна Дмитриевна,— слышишь? «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому внити в Царствие Небесное»! Это про нас с тобой.

— Давно известно,— ответила Фанни, зевнув,— и не в моем духе. Богатство есть изящная оправа жизни. Ведь и вы не отказываетесь от моего шампанского.

— Шампанского! Нет, это в высшем смысле, ты не понимаешь. Меня твое шампанское не зальет, если тут у меня болит, здесь, в сердце!

— Оставь, пожалуйста! Эти сердечные томления надо бросить для неврастеников, а самим жить, пока молоды. Ведь и Алексей Петрович же жизнь ценит.

Христофоров подтвердил. Только добавил, что бедность вовсе не мешает любить жизнь, а, быть может, делает эту любовь чище и бескорыстнее. Анна Дмитриевна резко стала на сторону Христофорова. Точно ее это облегчало.

— Ну, и отлично,— сказала в третьем часу Фанни,— продавай свой особняк, раздай деньги бедным, и поступай на службу в городскую управу.

Все засмеялись. Так как было поздно, Фанни предложила ночевать у себя. Христофоров сперва стеснялся. Но простой и искренний тон Фанни убедил его. Ему постелили в дальней комнате, на громадной кровати — роскошном детище Louis XV[1].

— Вот и спите здесь, поклонник Франциска Ассизского,— сказала Фанни, прощаясь.— Вы увидите, что это гораздо лучше, чем на соломе, в холодной хижине.

Когда она ушла, Христофоров, раздеваясь, с улыбкой смотрел на резных красного дерева амуров, натягивавших в него свои луки. Ему вдруг представилось, что вполне за св. Франциском он идти все же не может. Погасив свет, он лежал в темноте, на чистых простынях мягкой постели. «Все-таки,— думал он,— слишком я люблю земное». Он долго не мог заснуть. Вспоминался сегодняшний вечер, балет, Анна Дмитриевна, неожиданный ужин, разговор, странное пристанище на ночь. Так и вся жизнь, от случая к случаю, от волны к волне, под всегдашним покровом голубоватой мечтательности. Ему вдруг вспомнилось, как у памятника Гоголю Машура с полными слез глазами сказала, что любит *одного* Антона. Он вздохнул. Нежная, мучительная грусть пронзила его сердце. Отчего до сих пор, до тридцати лет — он один? Милые женские облики, к которым он склонялся...— и с некоторой ступени, как сны, они уходили. «А Машура?»

«Одиночество,— говорил другой голос.— Святое, или не святое — но одиночество».

Он засыпал.

XI

Довольно долго после встречи с Антоном осенью Машура считала, что ее сердечные дела прочны. Антон был так кроток, предан, такое обожание выдавали его небольшие глаза, какое бывает у людей самолюбивых и уединенных. И Машуре с ним казалось легко. «Этот не выдаст,— думала она.— Весь, дейст-

[1] Людовик XV *(фр).*

вительно, мой». Она улыбалась. Но незаметно — в сердце оставалась царапина — недоговоренное слово, мысль невысказанная.

Раз в разговоре, при ней, Наталья Григорьевна назвала одного знакомого, служившего в банке:

— Отличный человек. Типа, знаете ли, семьянина, абсолютного мужа.

Она даже засмеялась, довольная, что нашла слово.

— Именно, это абсолютный муж.

Хотя к Антону эти слова не относились, все же Машуре, почему-то, были неприятны. «Какие глупости,— говорила она себе.— Разве Антон в чем-нибудь похож на этого банковского чиновника? Абсолютный муж!» Но и самой ей казалось странным, что об Антоне она мало думает. Когда он приходит, это приятно, даже ей скучно, если его нет. Все же... Не совсем то.

Однажды, возвращаясь с ним по переулку, морозной ночью, Машура вдруг спросила:

— Это какая звезда?

Антон поднял голову, посмотрел, ответил:

— Не знаю.

— Да, ты не любишь...

Машура не договорила, но почему-то смутилась, ей стало даже немного неприятно. Антон тоже почувствовал это.

— Не все ли равно, как называется эта, или та звезда? — сказал он недовольно.— Кому от этого польза?

«Не польза, а хочу, чтобы знал»,— подумала Машура, но ничего не сказала. А час спустя, раздеваясь и ложась спать, с улыбкой и каким-то острым трепетом вспомнила ту ночь, под Звенигородом, когда они стояли с Христофоровым в парке, у калитки, и рассматривали звезду Вегу. «Почему он назвал ее тогда *своей* звездой? Так ведь и не сказал. Ах, странный человек Алексей Петрович!»

Через несколько дней, незадолго до Рождества, Машура медленно шла утром к Знаменке. Из Александровского училища шеренгой выходили юнкера с папками, строились, зябко подрагивая ногами, собираясь в Дорогомилово, на съемку. Машура обогнула угол каменного их здания, и мимо Знаменской церкви, глядевшей в окна мерзнущих юнкеров, направилась в переулок. Было тихо, слегка туманно. Галки орали на деревьях. Со двора училища свозили снег; медленно брел старенький артиллерийский генерал, подняв воротник, шмурыгая закованными калошами. Машура взяла налево в ворота, к роскошному особняку, где за зеркальными стеклами жили картины. Ей казалось, что этот день как-то особенно чист и мил, что он таит то нежно-

интересное, что и есть прелесть жизни. И она с сочувствием смотрела на галок, на запушенные снегом деревья, на проезжавшего рысцой московского извозчика в синем кафтане с красным кушаком.

Теплом, светом пахнуло на нее в вестибюле, где раздевались какие-то барышни. Сверху спускался молодой человек в блузе, с длинными волосами à la[1] Теофиль Готье, с курчавой бородкой: вне сомнения, будущий Ван Гог.

По залам бродили посетители трех сортов: снова художники, снова барышни, и скромные стада экскурсантов, покорно внимавших объяснениям. Машура ходила довольно долго. Ей нравилось, что она одна, вне давления вкусов; она внимательно рассматривала туманно-дымный Лондон, ярко-цветного Матисса, от которого гостиная становится светлей, желтую пестроту Ван Гога, примитив Гогена. В одном углу, перед арлекином Сезанна, седой старик в пенсне, с московским выговором, говорил группе окружавших:

— Сезанн-с, это после всего прочего, как например, господина Моне, все равно, что после сахара а-ржаной хлебец-с...

Тут Машура вдруг почувствовала, что краснеет: к ней подходил Христофоров, слегка покручивая ус. Он тоже покраснел, неизвестно почему. Машуре стало на себя досадно. «Да что он мне, правда?» Она холодно подала ему руку.

— А я,— сказал он смущенно,— все собираюсь к вам зайти.

— Разве это так трудно? — сказала Машура. Что-то кольнуло ей в сердце. Почти неприятно было, что его встретила — или казалось, что неприятно.

— Меня стесняет, что у вас всегда народ, гости...

«Вы предпочитаете tête à tête, как в Звенигороде,— подумала Машура.— Чтобы загадочно смотреть и вздыхать!»

Пройдя еще две залы, попали они в комнату Пикассо, сплошь занятую его картинами, где из ромбов и треугольников слагались лица, туловища, группы.

Старик — предводитель экскурсантов, снял пенсне и, помахивая им, говорил:

— Моя последняя любовь, да, Пикассо-с... Когда его в Париже мне показывали, так я думал — или все с ума сошли, или я одурел. Так глаза и рвет, как ножичком чикает-с. Или по битому стеклу босиком гуляешь...

Экскурсанты весело загудели. Старик, видимо не впервые говоривший это, и знавший свои эффекты, выждал и продолжал:

— Но теперь-с, ничего-с... Даже напротив, мне после битого

---

[1] Вроде, наподобие, на манер *(фр.)*.

стекла все мармеладом остальное кажется... Так что и этот портретец,— он указал на груду набегавших друг на друга треугольников, от которых, правда, рябило в глазах,— этот портретец я считаю почище Монны Лизы-с, знаменитого Леонардо.

— А правда,— спросил кто-то неуверенно,— что Пикассо этот сошел с ума?

Машура вздохнула.

— Может быть, я ничего не понимаю,— сказала она Христофорову,— но от этих штук у меня болит голова.

— Пойдемте,— сказал Христофоров,— тут очень душно.

Его голубые, обычно ясные глаза, правда, казались сейчас утомленными.

Спустившись, выйдя на улицу, Христофоров вздохнул.

— Нет, не принимаю я Пикассо. Бог с ним. Вот этот серенький день, снег, Москву, церковь Знамения — принимаю, люблю, а треугольники — Бог с ними.

Он глядел на Машуру открыто. Почти восторг светился теперь в его глазах.

— Я вас принимаю и люблю,— вдруг сказал он.

Это вышло так неожиданно, что Машура засмеялась.

— Это почему ж?

Они остановились на тротуаре Знаменского переулка.

— Вас потому,— сказал он просто и убежденно,— что вы лучше, еще лучше Москвы, и церкви Знамения. Вы очень хороши,— повторил он еще убедительнее, и взял ее за руку так ясно, будто бесспорно она ему принадлежала.

Машура смутилась и смеялась. Но ее холодность вся сбежала. Она не знала что сказать.

— Ну, идем... Ну, эта церковь, и объяснения на улице... Я прямо не знаю... Вы какой странный, Алексей Петрович.

На углу Поварской и Арбата, прощаясь с ней, он поцеловал ей руку и сказал, глядя голубыми глазами:

— Отчего вы ко мне никогда не зайдете? Мне иногда кажется, что вы на меня сердитесь... Но, право, не за что. Кому-кому,— прибавил он,— но не вам.

Машура кивнула приветливо и сказала, что зайдет.

Она шла по Поварской, слегка шмурыгая ботиками. Что-то веселое и острое овладело ею. «Ну, каков, Алексей Петрович! Вы очень хороши, лучше Москвы и церкви Знамения!» Она улыбнулась.

Дома все было, как обычно. В зале стояла елка, которую Наталья Григорьевна готовила ко второму дню Рождества, для детей и взрослых. Пахло свежей хвоей, серебряные рыбки бол-

тались на ветвях. Машура поднялась к себе наверх. В комнатах ее тепло, светло и чисто, все на своих местах, уютно и культурно. Она молода, все интересно, неплохо... Машура села в кресло, заложила руки за голову, потянулась. В глазах прошли цветные круги. Ах, все бы хорошо, отлично, если б... Господи, что же это такое? А? Стало жутко почему-то, даже страшно. «Что же, я врала Антону? Ну, зачем, зачем...» Острое чувство тревоги и тоски наполнило ее. «Почему все так выходит? разве я...» Все смешалось в ней, то ясное, утреннее ушло и сменилось сумбуром. Кто такой Христофоров? Как он к ней относится? Что значат его отрывочные, то восторженные, то непонятные слова? Может быть, все это — одна игра? И как же с Антоном? На нее нашли сомнения, колебания. Она расстроилась. Даже слезы выступили на глазах.

Завтракала она хмурая, в сумерках села к роялю, разбирая вещицу Скрябина, которую слышала в концерте. Но там было одно, здесь же выходило по-другому.

Пришел Антон. Слегка сутулясь, как обычно, он подал ей холодную от мороза руку и сказал:

— Это Шопен? Помню, слышал. Только ты замедляешь темп.

— Вовсе не Шопен,— сухо ответила Машура.

«Он уверен, что все знает, и музыку, и искусство,— подумала она недружелюбно,— удивительное самомнение!»

—Да, значит, я ошибся,— сказал Антон, покраснев,— во всяком случае, темп ты чрезмерно замедляешь.

Машура взглянула на него.

— Я просто плохо читаю ноты.

Он ничего не ответил, но чувствовалось, что остался недоволен.

— Я была нынче в галерее,— сказала Машура, кончив и обернувшись к нему.

— Не знал. Я бы тоже пошел. Отчего ты мне не сказала?

— Просто, встала утром и решила, что пойду.

В пять часов они пили чай одни — Наталья Григорьевна уезжала в комитет детских приютов, где работала. Отрезая себе кусок soupe anglaise[1] Антон сказал, что, по его мнению, все эти кубисты, футуристы, Пикассо — просто чепуха, и смотреть их ходят те, кому нечего делать. Машура возразила, что Пикассо вовсе не чепуха, что в галерею ходит много художников и понимающих в искусстве. Например, там встретила она Христофорова.

---

[1] Ломтик хлеба, залитый бульоном *(фр.)*.

— Христофоров понимает столько же в живописи, сколько Наталья Григорьевна в литературе,— вспыхнув, ответил Антон.

Машура рассердилась.

— Мама в десять раз образованнее тебя, а ругать моих знакомых — твоя обычная манера.

Антон заволновался. Он ответил, что в этом доме ему давно тесно, и душно; что, если бы не любовь к Машуре, он бы здесь никогда не бывал, ибо ненавидит барство, весь барственный склад, и, действительно, не любит их знакомых.

В его тоне было задевающее. Машура обиделась, ушла наверх. Но Антон погружался в то состояние нервного возбуждения, когда нельзя остановиться на полуслове; когда нужно говорить, изводить, чтобы потом в слезах и поцелуях помириться, или же резко разойтись. В ее комнате стал он доказывать, что не уверен, любит ли она его по-настоящему, и во всяком случае, если любит, то очень странно.

Машура сказала, что ничего странного нет, если она случайно встретила Христофорова. Разговор был длинный, тяжелый. Антон накалялся и к концу заявил, что теперь он видит,— во всяком случае, Машура дитя своего общества, которое ему ненавистно и где, видимо, иные понятия о любви, чем у него. Тогда она сказала, что Христофоров звал ее к себе, и что она пойдет.

— Это гадость, понимаешь, мерзость! — закричал Антон.— Ты делаешь это нарочно, чтобы меня злить.

Он ушел взбешенный, хлопнув дверью. Машура плакала в этот вечер, но какое-то упрямство все сильнее овладевало ею. «Захочу,— твердила она себе, лежа в темноте, в слезах на кушетке,— и пойду. Никто мне не смеет запрещать».

Вернувшись домой, Наталья Григорьевна осталась недовольна. По одному виду Машуры и тому, что был Антон, она поняла, в чем дело. Эти сердечные столкновения весьма ей не нравились. Со своим покойным мужем она прожила порядочно, как надлежит культурным людям, без всяких слез и сумасбродств. И считала, что так и надо.

На другой день с утра заставила Машуру заняться елкой, распределять подарки, посылала прикупить чего нужно — то к Сиу, то к Эйнем. Машура машинально исполняла; в этих мелких делах чувствовала она себя лучше.

Как в хорошем, старом доме, Рождество у Вернадских проходило по точному ритуалу: на первый день являлись священники, пели «Рождество Твое, Христе Боже наш»; Наталья Григорьевна кормила их окороком, угощала наливками, мадерами, и теми неопределенно-любезными разговорами, какие обычно ведутся в таких случаях. Она не была поклонницей этих vieux

religieux[1], но считала, что обряды исполнять следует, ибо они — часть культурной основы общежития.

Потом приезжали с бесконечными визитами разные дамы, какие-то старики, подкатывали лицеисты в треуголках, шаркали, целовали ручку и ели торты. Весь день приходили поздравлять с черного хода. Наталья Григорьевна заранее наменивала мелочи.

В этом году все протекало в обычном порядке; как обычно, Машура очень устала к концу первого дня. Как всегда, много было народу и детей на второй день, на елке; было так же парадно и скучновато, как полагается на елках взрослых. Профессор, друг Ковалевского, длинно рассказывал, глотая кофе, что обычай празднования Рождества восходит к глубокой древности, дохристианской. Его прообраз можно найти в римских Сатурналиях, где так же дарили друг другу свечи, орехи, игрушки.

Антон не пришел; он не явился и на следующий день, и не звонил. Подошел Новый год. Машура чокнулась шампанским с матерью, а Антона будто и не было: «Что-то будет в этом году!» — думала она, засыпая после встречи. Чувствовала себя одиноко, то хотелось плакать, то, напротив, сердце останавливалось в истоме и нежности.

И не очень долго раздумывая, вдруг в один морозный, святочный вечер надела она меховую кофточку, взяла муфту и, ничего не сказав матери, по скрипучему снегу побежала к Христофорову.

XII

Христофоров был дома. В его мансарде горела на столе зеленая лампа. Окна заледенели; месяц, еще не полный, золотил их хитрыми узорами. А хозяин, куря и прихлебывая чай, раскладывал пасьянс. Он был задумчив, медленно вынимал по карте, и рассматривал, куда ее класть. Валеты следовали за тузами, короли за тройками, в царстве карт был новый мир, отвлеченнее, безмолвней нашего. Всегда важны короли, одинаковы улыбки дам, неподвижно держат свои секиры валеты. Они слагались в таких сложных сочетаниях! Их печальная смена и бесконечность смен говорили о вечном круговороте.

«Говорят,— думал Христофоров,— что пиковая дама некогда была портретом Жанны д'Арк». Это его удивляло. Он находил, что дама червей напоминает юношескую его любовь, давно ушедшую из жизни. И каждый раз, как она выходила, жалость и сочувствие пронзали его сердце.

---

[1] старых церковников *(фр)*.

Он удивлен был легкими шагами, раздавшимися на лесенке,— отворилась дверь: тоненькая, зарумянившаяся от мороза, с инеем на ресницах стояла Машура.

Он быстро поднялся.

— Вот это кто! Как неожиданно!

Машура засмеялась, но слегка смущенно.

— Вы же сами меня приглашали.

— Ну, конечно, все-таки...— он тоже улыбнулся, и прибавил тише,— я, правду говоря, не думал, что вы придете. Во всяком случае, я очень рад.

— Я была здесь,— говорила Машура, снимая шубку и кладя ее на лежанку,— только раз, весной. Но вас тогда не застала. И оставила еще черемуху... Что это вы делаете? — сказала она, подходя к столу.— Боже мой, неужели пасьянс?

Она захохотала.

— Это у меня тетка есть такая, старуха, княгиня Волконская. У ней полон дом собачонок, и она эти пасьянсы раскладывает.

Христофоров пожал плечами, виновато.

— Что поделать! Пусть уж я буду похож на тетку Волконскую.

— Фу, нет, нисколько не похожи.

Христофоров сходил за чашечкой, налил Машуре чаю. Достал даже конфет.

— Вы дорогая гостья, редкая,— говорил он.— Знал бы, что придете,— устроил бы пир.

Какая-то тень прошла по лицу Машуры.

— Я и сама не знала, приду или нет.

Христофоров посмотрел на нее внимательно.

— Вы как будто взволнованы.

— Вот что,— сказала вдруг живо Машура,— нынче святки, самое такое время, к тому же вы чернокнижник... наверно, умеете гадать. Погадайте мне!

— Я, все-таки, не цыганка! — сказал он, и засмеялся. Его голубые глаза нежно заблестели.

Но Машура настаивала. Все смеясь, он стал раскладывать карты по три, подражая старинным гаданиям и припоминая значение карт, рассказывал длинную ахинею, где были, разумеется, червонная дорога, интерес в казенном доме, для сердца — радость.

— Вам завидует бубновая дама,— сказал Христофоров, и разложил следующую тройку.— Любит вас король треф, а на сердце, да... король червей.

— Это — блондин? — спросила Машура.

Христофоров взглянул на нее загадочно. Она не поняла, всерьез это или шутка.

— Да, блондин. Как я.

Он вдруг смутился, положил колоду, взял Машуру за руку.

— Это неправда,— сказал он,— у червонного короля на сердце милая королева, приходящая святочным вечером, при луне.

Он поцеловал ей руку.

— Или, может быть, снежная фея, лунное виденье.

Машура побледнела и немного откинулась на стуле.

— Может быть, вы исчезнете сейчас, растаете, как внезапно появились,— вдруг сказал Христофоров, тревожно, тихо и почти с жалобой. Голубые глаза его расширились. Машура смотрела. Странное что-то показалось ей в них.

— Вы безумный,— тихо сказала она.— Я давно заметила. Но это хорошо.

Христофоров потер себе немного лоб.

— Нет, ничего... Вы — конечно, это вы, но и не вы.

Они сели на диванчик. Машура положила ему голову на плечо и закрыла глаза. Было тепло, сверчок потрескивал за лежанкой, из окна, золотя ледяные разводы на стекле, ложился лунный свет. Машура ощущала — странная нега, как милый сон, сходила на нее. Все это было немного чудесно.

Христофоров гладил ей руку и изредка целовал в висок.

— Почему мне с вами так хорошо? — шепнула Машура.— Я невеста другого, и почему-то я здесь. Ах, Боже мой!

— Пусть идет все как надо,— ответил Христофоров.

Он вдруг задумался и засмотрелся на нее долго, пристально.

— А? — спросила Машура.

— Вы пришли в мою комнату, Машура, в пустую комнату... И уйдете. Комната останется, как прежде. Я останусь. Без вас.

Машура слегка приподнялась.

— Да, но вы... кто же вы, Алексей Петрович? Ведь я этого не знаю. Ничего не знаю.

— Я,— ответил он,— Христофоров, Алексей Петрович Христофоров.

— Все равно, я же должна знать, как вы, что вы... Ах, ну вы же понимаете, что вы мне дороги, а сами всегда говорите... я не понимаю...

Она взяла его за плечи, и прямо, упорно посмотрела в глаза.

— Вы мое наваждение. Но я ничего, ничего не понимаю.

Она вдруг закрыла лицо руками и заплакала.

— Прелестная,— шептал Христофоров,— прелестная.

Через несколько минут она успокоилась, вздохнула, отерла глаза платочком.

— Это все сумасшествие, просто полоумие глупой девчонки... Мы друзья, вы славный, милый Алексей Петрович, я ни на что не претендую.

Они сидели молча. Наконец, Машура встала.

— Дайте мне шубку. Выйдем. Мне хочется воздуха.

Христофоров покорно одел ее, сам оделся. Машура была бледна, тиха. Когда задул он лампу, в голубоватой мгле блеснули на него влажные, светящиеся глаза.

Они вышли. Тень от дома синела на снегу. Христофоров взял Машуру под руку, свел с крыльца, и сказал:

— Тут у нас есть садик. Хотите взглянуть?

Отворили калитку, и вошли в тот небольшой, занесенный снегом уголок кустов, деревьев, дорожек, какие попадаются еще в Москве. В глубине виднелась даже плетеная беседка, обвитая замерзшим, сухим хмелем. Они сели на скамейку.

— Здесь видны ваши любимые звезды,— Машура не подымала головы.

С деревьев на бархат рукава слетали зеленовато-золотистые снежинки. Все полно было тихого сверкания, голубых теней.

— Прямо над домом, вон там,— сказал Христофоров, указывая рукой,— голубая звезда Вега, альфа созвездия Лиры. Она идет к закату.

— Помните,— произнесла Машура,— ту ночь, под Звенигородом, когда мы смотрели тоже на эту звезду, и вы сказали, что она ваша, но почему ваша,— не ответили.

— Я тогда не мог ответить,— сказал Христофоров,— еще не мог ответить.

— А теперь?

— Теперь,— выговорил он тихо,— время уже другое. Я могу вам сказать.

Он помолчал.

— У меня есть вера, быть может, и странная для другого: что эта звезда — моя звезда-покровительница. Я под нею родился. Я ее знаю и люблю. Когда ее вижу, то спокоен. Я замечаю ее *первой,* лишь взгляну на небо. Для меня она — красота, истина, божество. Кроме того, она женщина. И посылает мне свет любви.

Машура закрыла глаза.

— Вот что! Я так и думала.

— В вас,— продолжал Христофоров,— часть ее сиянья. Потому вы мне родная. Потому я это и говорю.

— Погодите,— сказала Машура, все не открывая глаз, и взяла его за руку.— Помолчите минуту... именно надо помолчать, я сейчас...

Где-то на улице скрипели полозья. Слышно было, как снег хрустел под ногами прохожих. Доносились голоса. Но все это казалось отзвуком другого мира. Здесь же, в алмазной игре снега, его тихом и непрерывном сверкании, в таинственном золоте луны, снежных одеждах дерев было, правда, наваждение.

Машура медленно поднялась.

— Я начинаю понимать,— сказала она тихо.

Она открыла глаза, взгляд ее вначале напоминал лунатика. Понемногу он прояснился. Она опустила плечи, взялась рукой за спинку скамейки.

— Вот теперь будто бы яснее.

Она еще помолчала.

— Знаете, мне иногда казалось, что вас забавляет играть... игра в любовь, что ли. В постоянном затрагивании и ускользании... для вас какая-то прелесть. Может быть, жизнь изучаете, что ли, женщину... И я бывала даже оскорблена. Я вас временами не любила.

Христофоров подался вперед, сидел неподвижно, глядя на нее.

— Вдруг, именно теперь, в этот вечер, я поняла, что не права.

Она остановилась, как бы захлебнувшись. И продолжала:

— Вы, может быть, меня и любите...

Христофоров нагнул голову.

— Но вы вообще очень странный человек... возможно, я еще мало жила, но я не видела таких. И именно в эти минуты я поняла, что ваша любовь, как ко мне, так и к этой звезде Веге... ну, это ваш поэтический экстаз, что ли...— она улыбнулась сквозь слезы.— Это сон какой-то, фантазия, и, может быть, очень искренняя, но это... это не то, что в жизни называют любовью.

— А почему вы думаете,— произнес Христофоров,— что эта любовь хуже?

Машура ступила на шаг вперед.

— Я этого не говорю,— прошептала она. Потом вздохнула.— Может быть, это даже лучше.

— Нет,— сказал Христофоров.— Я вами не играл. Но любовь, правда, удивительна. И неизвестно, не есть ли еще это настоящая жизнь, а то, в чем прозябают люди, сообща ведущие хозяйство — то, может быть, неправда... А?

Он спросил с такой простотой и убежденностью, что Машура улыбнулась.

— Вы правы,— сказала она и подала ему руку.— Я, кажется, за этот вечер стала взрослей и старше, чем за много месяцев.

Она провела рукой по глазам.

— Я буду помнить этот странный садик, луну, свою влюбленность... Да, во мне есть — вернее,— была влюбленность... я не стыжусь этого сказать. Напротив...

Она направилась к выходу. Христофоров встал. Она вынула часики, взглянула и сказала, что пора домой.

Христофоров проводил ее. Почти у подъезда дома Вернадских встретили они Антона. Он, сутулясь, быстро и решительно шел навстречу. Увидав, поклонился, как малознакомый, и перешел на другую сторону.

Ночью Машура плакала у себя в постели. На Молчановке Христофоров, не раздеваясь, долго лежал на том самом диванчике, где она сидела. Сердце его раздиралось нежной и мучительной грустью.

XIII

Святки в Москве были шумные, как и весь тот год. Гремели кабаре, полгорода съезжалось смотреть танго,— подкрашенные юноши и дамы извивались перед зрителями, вызывая волнение, и острую, щемящую тоску. Меценаты устраивали домашние спектакли. В них отличались музыканты, художники, поэты, воспроизводя Венецию галантного века. Много было балов. Шли новые пьесы; открывались выставки, клубы работали. Морозной ночью летали тройки и голубки к Яру.

Именно в это время бойкая Фанни, вместе с другими дамами и мужчинами, выдумала устроить маскарад. Собирали деньги, нанимали помещение, музыку; художники писали декорации; дамы шили платья, готовили список приглашенных.

Ретизанов попал туда. Утром приехала к нему Фанни, вручила билет и взяла пятьдесят рублей.

Ретизанов улыбался, глядя на нее.

— Какая вы... быстрая,— сказал он.— Вы, ведь, меня почти не знаете...

— И, тем не менее, вломилась и обобрала? Вас, ангел мой, во-первых, вся Москва знает, второе — вы со средствами, что вам пятьдесят рублей?

— Позвольте,— перебил Ретизанов,— а это интересно? Да, и Лабунская будет танцевать?

Фанни уверила, что сама Вера Сергеевна обещала быть, несравненная, очаровательная.

— Ах, Вера Сергеевна... Нашли кого с Лабунской равнять.

Фанни засмеялась.

— Дело вкуса, голубчик. Не настаиваю.

Уже в передней, подавая ей одеться, Ретизанов сказал:

— Неужели вы серьезно думали привлечь меня этой... Верой Сергеевной?

Фанни хлопнула его слегка муфтой и вышла.

— Вы чудак, ангелочек. Всегдашний чудак. А мне еще в тысячу мест.

И она захлопнула дверь. Ретизанов же пошел пить кофе. Читал газеты — и раздражался — ему казалось, что они созданы для опошления жизни. Ничто порядочное не может появиться в них.

В это утро ему пришла мысль о том, что следовало бы заключить союз творцов и людей высшей породы, тайный союз вроде масонского, для охранения духовной культуры, общения между собой, и попыток коллективного, но строго-аристократического решения дел искусства, философии, поэзии. Мысль его воодушевила. Он бросил кофе, отправился в кабинет, долго ходил из угла в угол, пощелкивая пальцами, бормоча, потом пошел в спальню, для совещания с гениями. Его кровать отделялась занавесью. Он просунул голову между ее складками, погрузил глаза в полумглу, потом закрыл их. Некоторое время молчал, затем, уже против его воли, мозг зашептал бессмысленные слова, пока не стало казаться, что ни его, ни комнаты нет, все слилось в одно смутное пятно. Гении ответили. Они шептали, слабо и нежно, в оба уха. Он улыбался, кивал. Когда узнал, что нужно и они перестали, он отошел, бледный и усталый, сел на диван и отер лоб. Гении одобрили его. Они сообщили также, что завтра возвращается из Петербурга Лабунская.

В два часа он завтракал, один, в Праге, задумчивый и рассеянный. Когда подали бутылку мозельвейна, и он налил вино в зеленоватый бокал, вдруг появился Никодимов.

— Ах, это вы...

Ретизанов даже вздрогнул.

— Ну, присядьте...

— Что вы на меня так смотрите? — спросил Никодимов, холодновато улыбаясь.— Я не кусаюсь.

Ретизанов смутился.

— Нет, ничего. Я вас не боюсь.

Никодимов спросил, пригласили ли его на маскарад.

— Пригласили... А вы откуда знаете, что все это... что это будет?

Никодимов имел нездоровый вид, и слегка подрагивал глазом.

— Я знаю потому, что меня именно не пригласили. Всех моих знакомых пригласили, но не меня.

Ретизанов спросил простодушно:

— Почему же не вас? Это странно.

Никодимов ответил не сразу.

— Потому,— сказал он, наконец,— что я Никодимов, Дмитрий Павлыч Никидимов. Но я все равно приду.

— Дмитрий Павлыч Никодимов...— протянул Ретизанов.— Как странно... Да, а знаете,— вдруг добавил он задумчиво,— когда вы подошли, мне на минуту стало жутко... Я ощутил... какую-то мертвенную тень на сердце. Будто что-то неживое.

Никодимов поднялся.

— Довольно,— сказал он.— Мне, знаете, все это надоело. Мертвенная, или живая тень, мне все равно. Я пока все же человек, а не фигура.

Ретизанов привстал.

— Нет, да я не хотел вас обидеть.

Но Никодимов повернулся и отошел в дальний угол. Там сел один за столик, и потребовал водки. Ретизанов же остался в смущении и некоторой тревоге. Что-то его угнетало. Кончив обед, расплатился. На сердце у него было тоскливо. Хотелось какой-то музыки.

Выйдя на Арбат, он взял налево, пересек площадь и мимо хмурого Гоголя пошел Пречистенским бульваром. Навстречу бежали гимназистки и хохотали. В тире Военного училища, за стеной, шла стрельба. Дети играли у эстрады. На деревьях гомозилось воронье, устраиваясь на ночь; зажигались желтые фонари, да летел снежок, бил в лицо. Чувство глубокой призрачности охватило Ретизанова. Вдруг ему показалось,— стоит ветру дунуть, все развеется, как и он сам. Он остановился...

— Может быть, ничего этого и вовсе нет? — спросил он вслух. Дети шарахнулись от высокого, худого, седоватого господина, говорившего с самим собой. Было уже темно, когда он поднялся наверх. У себя он застал Христофорова,— в кабинете, в кресле, у камина.

— Камин уже топился,— сказал Христофоров, улыбаясь,— когда я пришел. Я принес вам книжки, которые брал еще до Рождества. И говоря правду — озяб. Потому и сел погреться.

— Вы как будто извиняетесь,— сказал Ретизанов.— Черт знает! Вы должны были заказать себе кофе, или еще что вздумается... Но вы вообще очень скромный человек... Когда я вас вижу, мне кажется, что вы хотите стать боком, в тень, чтобы вас не видели.

— Ну, может быть, я вовсе не так скромен, как вы думаете,— ответил Христофоров.

Ретизанов велел подать кофе.

— Вы действуете на меня хорошо,— сказал он.— В вас

есть что-то бледно-зеленоватое... Да, в вас весеннее есть. Когда к маю березки... оделись. Говорят, вы любитель звезд?

— Да, люблю.

— В звездах я ничего не понимаю, но небо чувствую, и вечность.

Он помолчал, потом вдруг заговорил с жаром.

— Я очень хорошо понимаю вечность, которая глотает всех нас, как букашек... как букашек. Но вечность есть для меня и любовь, в одно и то же время. Или, вернее — любовь есть вечность...

Ретизанов выпил чашку кофе, совсем разволновался. Он нападал на будничность, серое прозябанье, на само время, на трехмерный наш мир, и полагал, что истина и величие — лишь в мире четырех измерений, где нет времени, и который так относится к нашему, как наш — к миру какой-нибудь улитки.

— Время есть четвертое измерение пространства,— кричал он.— И оно висит на нас, как ветхие, как тяжелые одежды. Когда мы его сбросим, то станем полубогами, и одновременно будем видеть события прошлого и будущего — что сейчас мы воспринимаем в последовательности, которую и называем временем. Впрочем, вы понимаете меня.

Христофоров сидел, молчал и курил. Ему нравилось золотое пламя, беспрерывный, легкий его танец, но с самого того вечера, как Машура приходила к нему, его не покидало чувство острой, разъедающей тоски. Машура жила все тут же, на Поварской. Но у него было ощущение, что она где-то бесконечно далеко. Неужели он пойдет, позвонит у подъезда и взойдет в ее светелку, где она читает или шьет? Это казалось ему невозможным.

Ретизанов, наконец, умолк. Молча он смотрел в камин, потом вдруг обернулся к Христофорову.

— Вы о чем-то думаете, своем,— сказал он.— Ха! Я волнуюсь, а вы погружены в мысли и как будто печальны.

— Нет,— ответил Христофоров.— Я ничего.

Ретизанов взял щипцы и помешал в камине.

— Печаль, во всяком случае, украшает мир. Он становится не так плосок. Быть может, душа стремится за пределы, одолеть которые дано лишь мудрым.

Он вдруг засмеялся.

— Слушайте, совсем про другое. Хотите идти со мной в маскарад... Такой художественно-поэтический маскарад на днях.

Христофоров вздохнул, и улыбнулся.

— Я получил приглашение. Но, во-первых, у меня нет костюма.

— Можно просто во фраке.

Христофоров встал, подошел к нему и, положив руку на плечо, сказал тихо, со смехом:

— Но у меня, дорогой мой хозяин, именно нет фрака.

Ретизанов удивился.

— Да... фрака! Так вы говорите, что у вас нет фрака?

Христофоров, все так же смеясь, уверил его, что не только фрака нет, но и никогда не было.

— Да, и не было...— проговорил Ретизанов с той же задумчивостью, и как бы серьезностью, с какой мог говорить о четырехмерном мире.— Ну, если и не было...— вдруг он хлопнул рукой по столу.— Если не было, так возьмите мой!

Христофоров, все улыбаясь, начал было его отговаривать. Но Ретизанов заявил, что если все дело во фраке, он обязательно дает свой, старый, но вполне приличный.

— Позвольте,— кричал он, уж у себя в спальне, снимая с вешалки фрак с муаровыми отворотами, на почтенной шелковой подкладке,— если вы не можете идти, потому что не во что одеться, а какой-нибудь Никодимов, игрок, дрянь, будет... Нет, это уж черт знает что!

Фрак оказался впору. Но Ретизанов так увлекся, что заставил мерить жилет и брюки.

— Послушайте,— сказал он горячо,— я очень вас прошу: наденьте все, здесь фрачная сорочка, галстук, бальные туфли.

Христофоров изумился.

— Зачем?! Для чего же...

— Я хочу поглядеть вас, в параде... Нет, пожалуйста... Вы, может быть, будете другой... Я выйду, вы оденьтесь, приходите в кабинет.

Как ни странно было, Христофоров исполнил просьбу. Когда он повязал белый галстук, оправился перед зеркалом, то и ему самому стало странно: правда, показался он как-то иным, тоньше, наряднее, будто свадебное нечто, торжественное появилось в нем.

«Вот и маскарад,— думал он, с горечью и странной нежностью, идя в кабинет.— Вот уж и я — не я!»

— Принц и нищий,— сказал он с улыбкой Ретизанову, войдя в кабинет.

Ретизанов одобрил.

Сговорились так, что в день маскарада, к одиннадцати, Христофоров зайдет к нему, и вместе они поедут.

Уже в передней, провожая его, Ретизанов впал в задумчивость.

— А скажите, пожалуйста,— вдруг спросил он,— что, по-вашему, за человек Никодимов?

— Я не знаю,— ответил Христофоров.

Через минуту прибавил:

— По-моему — тяжелый.

— А по-вашему, он на многое способен?

Христофоров несколько удивился.

— Почему вы... так спрашиваете?

— Нет, ни почему. Я его нынче встретил. Вы знаете, что он мне сказал? Что непременно будет на этом маскараде, хотя его и не звали. Нет, невыносимый человек. Я его ощутил сегодня знаете как? Мертвенно. По-вашему, он зачем туда идет?

Христофоров ничего не мог сказать. Ему подали лифт, он поехал вниз плавно, и вдруг тоже вспомнил Никодимова, как спускались они утром, летом, в этом же лифте. «А действительно, тяжелый человек»,— подумал он. Вспомнил, как боялся Никодимов лифта. Ему стало даже жаль его.

XIV

Через несколько дней, в назначенное время, Христофоров вновь входил в знакомую квартиру. Ретизанов брился. Он был повязан салфеткой, одна щека гладкая, чуть синеватая, другая вся в мыле. Он оставил острую бородку — лицо его стало еще бледней и худей. Увидев Христофорова, кивнул, улыбнулся с тем жалким видом, какой имеют бреющиеся люди.

— Как по-вашему,— спросил он, стараясь не порезаться,— ничего, что я бородку оставил? Или сбрить?

На него напала нервная нерешительность. Сбрить или не сбрить? Он омыл лицо одеколоном, попудрил так, что большие синие глаза еще лучше оттенялись на белизне, и все колебался.

— Нет, не брить,— тихо сказал Христофоров.

— Так вы думаете — оставить... А знаете...— он вдруг захохотал,— я сегодня, по морозу, ходил мимо дома, где живет Лабунская, и выбирал момент, когда народу меньше. Осмотрюсь и сниму шапку, иду непокрытый. Это было страшно радостно. Вы меня понимаете?

Он вынимал уже обмундировку Христофорова. Слегка стесняясь, тот стал переодеваться. Он был в несколько подавленном настроении — и безучастен. «Хорошо,— думал он, глядя на своего двойника в зеркале и застегивая запонку крахмальной рубашки,— пускай маскарад, или что угодно. Что угодно».

— А вдруг,— говорил в это время Ретизанов, повязывая галстук,— я приеду, и не узнаю там Лабунской? Черт... все в масках, и костюмах... Это может случиться?

— Вы почувствуете ее,— ответил Христофоров.

— Почувствую... я ее чувствую; когда она в Петербурге... Но вдруг нападет слепота... Понимаете, духовная слепота...

В двенадцать были они готовы. Ретизанов надел на гостя шубу, они вышли. Наняли на углу *резвого*, запахнулись полостью и покатили. Рысак, правда, шел резко, но сбивался; снег скрипел; Москва была уже пустынна; по небу, освещенные снизу, летели белые облака, и провалы между ними казались темны. Закутавшись, Христофоров глядел вверх, как в этих глубинах, темно-синих, являлись золотые звезды, вновь пропадали под облаками, вновь выныривали. Привычный взор тотчас заметил Вегу. Она восходила. Часто заслоняли ее дома, но всегда он ее чувствовал.

У большого особняка, на Садовой, сиял молочный электрический фонарь. Подкатывали извозчики. Вылезали закутанные дамы, мужчины, хлопала дверь. В передней надевали маски. Тут висел голубой фонарь. Из-под шуб, ротонд, саков появлялись испанцы, турки, арлекины, бабы, фавны и менады. Два негра в цилиндрах, в красных фраках, отбирали билеты — у входа, декорированного под ущелье. За ущельем шел коридор, драпированный шалями. Здесь, проходя мимо зеркал, где оправляла прическу маленькая венецианка на деревянных башмачках, в черной шали, с розами в смоляных волосах, мельком увидел Христофоров две тени, во фраках, шелковых масочках и безукоризненных манишках. Снова не совсем он узнал себя. Снова подумал — может, так и нужно, если маскарад. И чем дальше шел, тем больше нравилось быть под маской. Точно лоскуток шелка, с бархатной оправой для глаз, становился для него приютом в долгом и пустынном пути; точно из-под его защиты виднее было происходящее и отдаленней; и еще менее участвовал он сам в пестром гомоне карнавала.

Как всегда первое время был холодок: не все еще съехались, не все узнали друг друга, не разошлись. Маски бродили группами и поодиночке, рассматривали гостиные — увешанные коврами, расписанные удивительными зверями и фигурами, небесным сводом в звездах, магическими знаками. Была комната китайских драконов. Были, конечно, гроты любви. В большой зале началась музыка и танцы. В комнате через коридор, отделанной под нюрнбергский кабачок, за прилавком откупоривали бутылки; цедили пиво из бочки. На стенах кое-где надписи: «Все равны». «Все знакомы». «Прочь мораль».

К двум часам съезд определился. Больше толпились, хохотали, танцевали. Легкая маска, тоненькая, в восточных шальварах и фате, быстро подхватила Христофорова, склонила голову — серые, будто знакомые и незнакомые глаза взглянули на него, будто знакомый голос шепнул:

— Он ходит, он ждет. Но напрасно, напрасно...

И убежала на резвых ногах, замешалась в толпе менад, окружавших розового Вакха, с тирсом, в виноградных лозах.

— Это кто была, по-вашему? — беспокойно спросил Ретизанов.— Что она вам сказала? Нет, куда она делась?

И он бросился искать восточную девушку.

Христофоров же пошел дальше, все так же медленно. «Лабунская? — думал он.— Да, наверно»... Но его мысли были далеко. Он прошел мимо двери, пред которой на минуту остановился. Вся она закрывалась материями, лишь внизу оставлено отверстие, куда можно пролезть на четвереньках. Он заглянул. Дальше было опять препятствие, так что войти туда могли лишь очень решительные. Танцовщица в коротенькой юбочке, и астролог в колпаке со звездами проскользнули все же, хохоча.

В следующей комнате было полутемно. На эстраду вышел худенький Пьеро, с набеленными щеками, и девушка Ночь, в черном газовом платье со звездами, в красной маске. На пианино заиграли танго. Пьеро подал руку Ночи — и они начали этот странный и щемящий, как бы прощальный танец.

Христофоров отошел к стене. Он глядел на эстраду, на толпу цветных масок, толпившихся вокруг, то приливавших, то, смеясь, выбегавших в другие залы. Кто так устал, так измучен, что создал это? Не жизнь ли, человечество остановилось на распутье? Христофорову вдруг представилось, что сколь ни блестяща, и весела, распущенна эта толпа, довольно одного дыхания, чтобы как стая листьев разлетелось все во тьму. Может быть, это все знают, но не говорят — стараются залить вином, танцами, музыкой. Может быть, все сознают, что они — на краю вечности. И торопятся обольститься?

Венецианская куртизанка знакомой, мощной походкой подошла к нему и слегка ударила его веером.

— И ты здесь, поэт?

— Здесь, прекрасная,— ответил он.— Смотрю.

Она засмеялась.

— И прославляешь бедность?

Он придвинулся, заглянул в темные глаза, окончательно узнал Анну Дмитриевну, сказал тихо:

— Ты веселишься? Это правда,— он сжал ей руку.— Правда?

Она выдернула ее.

— Оставь. Не насмехайся.

Подбежал Ретизанов.

— Слушайте,— закричал он,— я в духовной слепоте. Я ничего не понимаю. Нет, черт, я не могу ее найти. По-вашему, она тут? Да нет, вообще, здесь все очень странно. Еще два

часа, а уж есть пьяные, теснота. Не пускают Никодимова. Он скандалит. Вам нравится? — обратился он к Христофорову.— А главное, я не могу понять, что со мной сделалось. Я наверно знаю, что она приехала из Петербурга и должна здесь быть. Но где же?

— Ищите девушку в шальварах,— ответил Христофоров,— в низенькой шапочке и фате.

— Да вы почем знаете?! — закричал Ретизанов.— Ах, черт...

Глаза его блестели, он был уже без маски. Что-то нетрезвое, лихорадочное сквозило в нем.

— Мне кажется,— сказал он с отчаянием,— что, если сейчас ее не найду, это значит, я погиб.

Христофоров взял его под руку.

— Пойдемте, не волнуйтесь. Она здесь. Мы ее найдем.

Действительно, в третьей же комнате, окруженная толпой, Лабунская танцевала danse de l'ourse[1] с индийской царевной. Христофоров постоял, посмотрел и двинулся дальше. Он не снимал маски.

По-прежнему странное и горькое удовольствие доставляло ему — смотреть, не будучи замеченным. От Лабунской, как и всегда, осталось у него легкое ощущение, будто гений света и воздуха одухотворял ее. Но иной образ стоял в его душе, бесконечно близкий и дорогой — бесконечно далекий. Было что-то родственное меж ними, какая-то нота очарования. Христофоров знал, что сюда Машура не приедет. Все же, бродя, в пестром мелькании масок, он искал ее. Это волновало и мучило. Иногда мерещилась она в быстром танце, в блеске глаз из-за кружев, в полуосвещенном углу. Но как мгновенно вспыхивала, так же мгновенно и уходила. Была минута, когда, став в тени портьер, закрыв глаза, усилием воображения он ее вызывал. Она была бледна, тонка, в длинных черных перчатках, с худенькими плечиками. Масочка скрывала среднюю часть лица. «Это ваш поэтический экстаз,— говорила она с улыбкой и слезами,— сон, но не то, что в жизни называется любовью».

Он открыл глаза и тронулся. Машинально пробрался он вперед, и хотя теперь ее не видел, странное ощущение, что она здесь, невидимо, не оставляло его. Свет, люди, шум, изменялись *Ее* присутствием. Хотелось плакать. Сердце ныло нежностью.

В нюрнбергском кабачке очень шумели. Все столики были заняты, скатерти залиты вином. На бочке танцевала маска. Кто-то пытался ораторствовать. Другого собирались качать. У прилавка стоял, очень бледный, Никодимов и допивал коньяк.

---

[1] Танец медведя *(фр.)*.

— Несмотря на все,— говорил он флорентийскому юноше, с ласковым и порочным лицом,— я здесь... Дмитрий Павлыч Никодимов пришел.

Юноша дернул его за рукав.

—Дима,— сказал он тенором, вытягивая звуки.— Не пей. Тебе вредно.

— Да снимите вы маску! — крикнул Христофорову знакомый, веселый голос.

Обернувшись, он увидел Фанни, за столом с несколькими евреями. Толстый человек во фраке, с ней рядом, куря сигару, говорил соседу:

— Здесь и совсем Парыж!

Христофоров снял маску. Фанни, в предельно-декольтированном платье, с чайной розой, хохотала и кричала:

— Садитесь! К нам! Это м-милейшая личность,— обратилась она к друзьям.— Проповедник бедности, или любви... чего еще там? Жизни, что ли? Забыла! Но милейшая личность. Давид Лазаревич, налейте ему шампанского!

Давид Лазаревич, с короткими и пухлыми пальцами в перстнях, из тех Давидов Лазаревичей, что посещают все модные театры, кабаре и увеселения, говоря про одни: «это Парыж», а про другие важно: «ну это вам не Парыж»,— отложил сигару и налил *молодому человеку* вина.

Христофоров имел несколько ошеломленный вид. Но поблагодарил и чокнулся.

— Очар-ровательно,— сказала Фанни, щуря продолговатые, подкрашенные глаза.— А откуда такой фрак?

Христофоров нагнулся к самому ее уху с бриллиантовой сережкой и шепнул:

— Чужой, Александра Сергеевича.

— Милый! — закричала она.— Аб-бажаю! Очар-ровательно, весь в меня. Я такая же. Мы все шахер-махеры.

От вина голова Христофорова затуманилась — приятным опьянением. Он теперь рад был, что встретил Фанни, сытых израилей, и не отказывался, когда Давид Лазаревич налил ему еще бокал.

— Хорошо, что ушел этот Никодимов,— заболтала Фанни.— Фу! Не люблю таких. Что он из себя изображает? Загадочную натуру? А по-моему — просто темная личность с претензиями. Хоть и дворянин, и барин... И потом, он на меня тоску нагоняет. Что это такое? Нет, я люблю, чтобы весело было, и жизненно, без всяких вывертов. Не понимаю тоже и Анну — что она в нем нашла? Ах, бедная женщина. Слоняется тут. Выпьем за нее!

На этот раз она не спрашивала Давида Лазаревича, налила сама. За вином разболтала она многое о своей приятельнице, чего не сказала бы в обычном виде.

Скоро ее позвали — как распорядительница, должна она была устраивать новый номер. Христофоров посидел немного и тоже поднялся.

В сущности, пора уж было уходить, вновь возвращаться в полупустую свою комнату. Для чего был он здесь? Сердце его опять сжалось. Он вспомнил Ретизанова. Все-таки, тот встретил свою девушку в шальварах,— которую носят по залам гении ветров. Машуры же вновь не было с ним. В сердце пустота и одиночество. Значит, права была Лабунская, шепнувшая свои легкие слова. Значит, надо уезжать.

Он потолкался еще среди масок, по залам, и машинально забрел в темный закоулок у передней, откуда лесенка шла наверх. Он почему-то поднялся,— и попал в две полутемные антресоли. В первой шептался в кресле Пьеро с черненькой венецианкой. Христофоров прошел мимо. В дальней сел он на ситцевый диванчик, вздохнул и закурил. Эту комнату не готовили. Не было декорации, мебель обычная. В углу, у иконы, лампадка. Окна выходили в сад. Смутная, синеватая мгла.

Снизу слышался шум, танцы, доносилась музыка. Отсюда видны были деревья в саду, полосы света из нижних окон, да кусок неба. Христофоров сидел, курил, смотрел на это небо, на котором увидел голубую звезду Вегу. Она мерцала нежно и таинственно. Среди веток можно было заметить, как по вековому пути движется она, ведя за собой, как странница, светло-золотую Лиру. Голубоватый свет ее успокаивал. Чем дольше смотрел Христофоров, тем более ему казалось, что ее таинственное сияние глубже разливается по окружающему, внося гармонию. Тот же голубоватый отблеск есть и в глазах Машуры, в милой Лабунской. Оцепенение, вроде сна, овладело им. Призрачней, нежней и туманнее летела музыка. Легче и нечеловечней казались маски. Очаровательней, ближе и дальше, возможней и невозможнее невозможная любовь.

XV

В это время внизу, в небольшой гостиной, уже пустой, стоял у окна Никодимов, тупо смотрел на улицу. Подошла венецианская куртизанка. Он обернулся.

— Дмитрий,— сказала она.— Почему ты здесь?

Он пожал плечами.

— Где же мне быть?

— Для чего ты приехал на этот маскарад?

— Меня об этом спрашивали нынче,— ответил он глухо.— В передней...

Куртизанка сжала пальцы.

— Для чего ты себя унижаешь?

— Этого я не умею тебе сказать.

Она вдруг быстро взяла его под руку и поцеловала.

— Иногда мне кажется, что все твое... всю тоску, скверное, я могла бы взять на себя.

Никодимов перевел на нее темные и мутные глаза. Слабая улыбка появилась на его лице.

— Женщина,— сказал он и вздохнул.— Особенный ваш род.

— И не стыжусь, что женщина. Я, милый мой, тоже много видела стыда на своем веку. Меня не удивишь.

— Ничего,— пробормотал Никодимов.— Ничего. Живу, как живу. Ничего не надо. Никаких сентиментальностей.

— Уедем отсюда,— вдруг сказала она.— Я тебя увезу на край света, будем жить у моря, солнца, путешествовать... Ты будешь свободен, но... уедем!

— Фантасмагория!

— Поселимся в Венеции...

Никодимов слегка вздрогнул.

— В Вене я был очень близко к смерти,— сказал он.— Никогда тебе не рассказывал. Во всяком случае, это сильное ощущение.

Он вынул часы.

— Пять.

Глаза его несколько прояснились, он подобрался и оглянулся.

— Поезжай домой. Пора. Видишь, все разъезжаются. А у меня есть еще дело. Я поссорился с одним человеком.

Никодимов поцеловал ей руку, с внезапной, но холодной вежливостью, и вышел. Куртизанка постояла, села на диван и уткнулась лицом в его спинку.

Никодимов же встретил в зале флорентийского юношу и подошел к нему.

— У меня сегодня дуэль,— сказал он.— Мы заедем домой, ты переоденешься, выпьем кофе, и в половине восьмого должны быть в Петровском парке.

Юноша попятился. Его бархатные, беспокойно распутные глаза взглянули испуганно.

— Дуэль? — произнес он слабым голосом.— Но тебя могут убить.

— Безразлично,— тихо и слегка задыхаясь ответил Никодимов.— А пока ты — мой... едем.

Юноша пытался возражать. Никодимов властно и нежно взял его под руку, повел к выходу.

Маскарад, действительно, кончался. В нюрнбергском кабачке орали еще пьяницы. Фанни в передней, накидывала свой палантин. Давид Лазаревич подавал ей ботики. По углам гнездились еще пары, не желавшие расстаться. Варили последний кофе — для пьяниц и для неврастеников, которые не могут вернуться домой раньше дня. Последними досиживают они, небольшими компаниями, среди синего утра, разбросанных окурков, облитых вином скатертей, зашарканных паркетов — всегдашней мишуры и убожества финальных часов.

— Где вы? Куда вы пропали? — кричал Ретизанов, поймав, наконец, Христофорова.— Черт знает, вы сидите здесь... понятия не имеете... А это ужас... Нет, это черт знает что! Такой негодяй...

Путаясь, волнуясь и крича, он объяснил, что полчаса назад Никодимов, ни с того ни с сего, грубо оскорбил Лабунскую.

— Нет, вы понимаете, это хам, которого раз навсегда надо проучить. Я ему это и сказал. И ударил бы, если бы не помешали. Но теперь — дуэль. Дело решенное. Нет, это давно надо было сделать.

Христофоров был поражен.

— Как... дуэль!? — спросил он.

— Сегодня же, утром, в Петровском парке. Он привезет оружие... Да что вы так удивились? Это давно надо было сделать, я давно собирался от него избавиться. Ничего не значит, что вызов без секундантов... Все равно, вы должны присутствовать.

— Я, секундантом?

— Что? Вы не хотите? Нет, это уж дудки-с!

Христофоров совсем потерялся. Что угодно мог он предположить, только не это. Участвовать в дуэли! Но ведь это бесконечно дико. Запинаясь, он старался объяснить, что никакой дуэли быть не должно, что это нелепая ссора, и, быть может, Никодимов просто нетрезв...

— Как?! — закричал Ретизанов.— Оскорбить Елизавету Андреевну — нелепая ссора? Вы не понимаете, что уж давно он к этому подъезжает, потому что он темный человек, и его бесит любовь, подобная моей. Нелепая ссора! Это должно было произойти, не сегодня, так завтра. Нет, уступить ему... дудки!

Христофоров понял, что теперь остановить его уже нельзя. Они сошли снова вниз, в нюрнбергский кабачок. Неврастеники дохлестывали вино. Трое пьяных в углу громко рассуждали, что хорошо бы предпринять кругосветное путешествие.

Ретизанов занял столик, заказал кофе и коньяку. Христофоров молчал. Он чувствовал себя странно. Ему казалось — то не-

обычайное, что вторглось в его жизнь этой зимой и привело, во фраке и маске, в этот кабачок — владеет им и мчит дальше, по неизвестной ему дороге, навстречу необычным чувствам. Опять ему вспомнилось, как стоял он летом, на утренней заре, на балконе квартиры Ретизанова, над спящей Москвой, и ощущал великий жизненный поток, несущий его. «Да, может быть, и прав Ретизанов,— думал он.— Может быть, и правда, еще тогда, в ту шумную ночь зарождались события, которым лишь теперь надлежит вскрыться».

Ретизанов, между тем, пил кофе, вливая в него коньяк. Он молчал, потом стал улыбаться, и полузакрыл глаза рукой. Походило на то, будто он погружается в транс.

— Куба, Ямайка, Гаити и Порто-Рико! — кричал пьяный путешественник.— Иначе не могу, поймите меня, я же не могу... Милые мои, хорошие мои, ну когда же я поеду? — он хлопнул кулаком по столу, вновь заорал: — Куба, Ямайка, Гаити, Порто-Рико! И никаких шариков.

Ретизанов отнял от лица руки. На глазах его были слезы.

— Гении ответили,— тихо сказал он,— что я не должен никому позволять... даже если бы пришлось умереть. Я должен отразить натиск темных сил. А если Никодимов этот — вовсе не Никодимов, а кто-то другой, более страшный, в его обличье...

Ретизанов говорил все медленнее и тише. Глаза его горели. Сухая нервность была в руках. Христофорову ясно стало казаться, что он не в себе. На мгновение остро его кольнуло — ведь это полубезумный, его надо бы везти домой и в санаторий. Но тотчас же он понял, что сделать этого нельзя. Значит, надо повиноваться.

В начале восьмого они оделись и вышли. Начинало светать — хмурым, неясно-свинцовым рассветом. На бульваре, в деревьях шумел ветер. Фонари гасли. Побежали трамваи, над ними вспыхивала зеленая искра. На Страстной площади было пустынно. Дремал лихач на паре голубков. Лампадка краснела у входа в монастырь, открылась свечная лавочка. На колокольне медленно звонили.

Ретизанов подошел к лихачу и негромко сказал:

— В Петровский парк.

— Пожа-пожалуйте!

Лихач вскочил и бросился снимать с озябших лошадей попоны.

Через минуту они катили по Тверской, по прямой, классической улице кутежей, загородных ресторанов. Иногда навстречу попадались тройки — кутилы шумели, хохотали, и в облаке снега уносились. Проревел автомобиль. Лежавший на дне ве-

селый человек приветствовал встречных, выкидывая ноги кверху. Прокатили под Триумфальной аркой, где тяжело летели бронзовые кони побед. Светящиеся часы на вокзале показывали без двадцати восемь.

Христофоров находился в странном, полуотсутствующем состоянии. Он не особенно хорошо понимал, куда и зачем едут. Как будто изменились декорации, но все продолжается его мечтательное созерцание в мансарде — теперь летят навстречу арки, дома, сады — с тоже фантастической бесцельностью. И лишь подо всем, глубоко и жалобно, стонет что-то в сердце. Ретизанов молчал. Он был задумчив и сдержан, как человек, делающий важное, очень серьезное дело. Он указал кучеру, где надо свернуть, за Яром, по какой аллее проехать. Потом остановил его. Они вылезли. Лихач шагом должен был возвращаться в указанное место.

— Вот сюда,— спокойно сказал Христофорову Ретизанов, и повел узкой, слегка протоптанной тропинкой на средину поляны. Там росли три огромных пихты; под ними — скамейка. Место было пустынное. Налетал ветер, курил снежком. Тяжело пронеслась, ныряя, ворона. Виднелись забитые и занесенные снегом дачи. Что-то очень суровое и скорбное было в этом утре, сияющем снеге, мертвых дачах.

Ждать пришлось недолго. С противоположной стороны поляны, шагая по цельному снегу, приближалась высокая фигура Никодимова, в николаевской шинели, которую приходилось подбирать. За ним шел военный врач и юноша в пальто со скунсовым воротником, торчавшим веером.

— Вот они где,— сказал круглолицый доктор, настоящий москвич, будто отлично был знаком с сидевшими.— Привет на сто лет! Ну и пустяковое же дело затеяли, господа!

Христофорову стало очень холодно. Никодимов положил на скамейку два браунинга и обоймы.

— Право,— сказал врач, потирая руки, улыбаясь и слегка пристукивая озябшими ногами.— Бросьте вы эти, простите меня, глупости. Что такое порядочные люди будут друг в друга из револьверов шпарить!

Ретизанов вдруг взволновался.

— Нет, нет! — закричал он.— Пожалуйста, доктор. Это не шутки.

Христофоров тоже попытался вмешаться. Но ничего не вышло. Никодимов только покачал головой. Пришлось отмеривать дистанцию. Ни Христофоров, ни юноша не умели заряжать.

— Эх, светики, ясные соколы,— сказал доктор и взял обоймы.— Еще называетесь секундантами!

Когда противники взяли оружие, Никодимов вдруг сказал:

— Впрочем, если господин Ретизанов извинится, я готов прекратить.

Ретизанов вспыхнул:

— Извиниться! Нет, это уж черт знает что!

И пошел на свое место. Христофорову ясно представилось, что действительно это маньяк, и если гении сказали ему, что нужно драться, он драться будет. Никодимов снял шинель, стоял высокий, худой, очень бледный, в лакированных сапогах и белых погонах. Он повернулся боком, чтобы меньше была цель. Ретизанов поднял браунинг весьма неуверенно, как вещь, совсем незнакомую. Долго водил дулом. Наконец, выстрелил.

Христофоров стоял, прислонившись к пихте. Он видел, как вдали, по замерзшему пруду шел мальчик, видимо ученик, с ранцем за плечами. Заметал по поляне снежок. Щипало уши. И казалось, так все необыкновенно тихо, будто нет ни жизни, ни Москвы, а только этот кусок снега с деревьями, идущий мальчик, серый день.

Раздался второй выстрел. Христофоров, не видя и ничего не понимая, пошел вперед. Он заметил, что Ретизанов качнулся, что веселый доктор побежал к нему, схватил под мышки.

— Вот... здесь,— говорил Ретизанов, держа рукой около ключицы. Он был очень бледен.

— Эх, батенька,— сказал доктор подошедшему Никодимову.

— Я предлагал бросить,— сухим, срывающимся голосом, ответил он. Фуражка его слетела. Ветер трепал завитки прямого пробора. На темных волосах белело несколько снежинок.

Ретизанов очень ослаб. На скамейке, под пихтой, ему сделали первую перевязку. Юноша побежал за лошадьми.

Через четверть часа, на тех же самых голубках, что везли их сюда, Христофоров с доктором мчались к Триумфальным воротам, поддерживая Ретизанова. Было совсем светло. Артиллерийские офицеры ехали в бригаду. Пришел поезд — с вокзала тянулись извозчики, с седоками и кладью. Тверская и Москва имели будничный, обычный вид. И Христофорову казалось, что лишь они, скакавшие к Страстной площади, везя подстреленного человека, представляют обрывок этой печальной, шумной и сумбурной ночи.

Проезжая мимо Страстного, он снял шапку и перекрестился.

XVI

Дни, что следовали за дуэлью, были тяжелы для Христофорова. Ретизанов, с простреленной ключицей, лежал у себя на

квартире. Ему взяли сестру милосердия, но Христофоров бывал у него постоянно, и его угнетало, что в этой бессмыслице, так дорого обошедшейся Ретизанову, принимал участие и он, христианин и враг всякого убийства. «Это, должно быть, все-таки было наваждение»,— думал он с тоскою. Только туманом и мог он объяснить, как не вмешался, как не уклонился, наконец, если не мог помешать.

Ретизанова многие навещали, и жалели — в том числе Анна Дмитриевна. Чаще других заезжала Лабунская. Она была мила, внимательна, завезла даже раз цветы. Но Христофорову, глядя на нее, все больше казалось, что взволноваться до конца, страдать, терзаться — не ее область. Чистая, легкая и изящная, проходила она в жизни облаком, созданным для весны, для неба.

— Недавно,— сказала она раз Христофорову, уходя,— я познакомилась с одним англичанином. Ужасно трудно понимать по-английски! С одной стороны — он страшно великолепен — автомобили, шикарные апартаменты... С другой — очень прост и скромен. Вот он и предлагает мне на весну ехать в Париж, а в июне, чтобы я в Лондоне выступала. А потом, говорит, будем по Европе кочевать... ну, с танцами, с выступлениями. Мне и Москву жаль бросать, я московская, тут родилась, у меня здесь приятели — и заманчиво. Все-таки, пожалуй, потанцевать в Европе? А? Как по-вашему?

Христофоров улыбнулся.

— Потанцевать,— ответил он тихо.— Потанцевать, людей посмотреть, себя показать.

Она засмеялась, и пошла к двери.

— Вот вы какой, как будто бы и этакий... а одобряете легкомысленные штуки.

— Но не говорите пока об этом Александру Сергеевичу,— сказал Христофоров.

Она взглянула на его лицо, на глаза, ставшие серьезными, вздохнула, махнула муфтой.

— Не скажу.

Ее посещения вообще волновали Ретизанова. Он принимался говорить, спорить, доказывать. Поднималась температура. А это было для него очень многое.

Раз Христофоров, подойдя на звонок к телефону, услышал голос Никодимова. Тот спрашивал о здоровье раненого. Христофоров ответил.

Узнав, кто с ним говорит, Никодимов несколько оживился.

— Если вы свободны,— сказал он,— то зайдите как-нибудь ко мне днем. Если, конечно,— прибавил он холодней,— к тому нет особых препятствий. Я хочу вас видеть.

Христофорову показалось это несколько странным. Но он ответил, что зайдет. Ретизанову он сказал лишь, что противник осведомился о здоровье.

— Ха! — засмеялся Ретизанов.— Сначала убьют, а потом справляются, хорошо ли убили.

Помолчав, он прибавил:

— Но Никодимов меня ранил, это естественно. А насчет Елизаветы Андреевны,— он опять раздражился,— это гадость, гадость!

Дня через два, в пятом часу, Христофоров спускался по лестнице, чтобы идти к Никодимову. Был конец февраля. Светило солнце, с крыш капало. В окне синел кусок неба. Бледное облачко пролетало в нем.

На одном марше лестницы, быстро сходя вниз, он чуть не столкнулся с Машурой. Она шла вверх, медленно, опустив голову. Увидев его, остановилась. Они поздоровались.

— Вы к Александру Сергеевичу? — спросил Христофоров.

— Да.

Машура слегка побледнела, но лицо ее, обычно худенькое, остроугольное, имело печать спокойствия. Лишь в огромных глазах трепетало что-то.

— Это хорошо,— сказал Христофоров сдавленным голосом,— что вы идете к нему. Он будет очень рад.

Машура поклонилась, и тронулась дальше.

— Скажите,— спросила она, сделав несколько шагов,— правда, что он стрелялся из-за Лабунской?

Она слегка сдвинула брови. Что-то сдержанно-горькое показалось ему в этом лице.

— Правда...

Христофоров замялся и вдруг сказал:

— Вы не были ведь... там? На маскараде?

Машура несколько удивилась.

— Почему вы думаете? Нет, не была.

Христофоров хотел еще что-то сказать. Но промолчал. Машура вздохнула, медленно стала подыматься. Он так же медленно спускался, всем существом ощущая, как растет между ними высота. Сойдя в вестибюль, почувствовал усталость. Швейцара не было. Он сел на его стул, у стены, и закрыл глаза. В голове шумело. Куда-то выше, все выше всходила сейчас Машура, как кульминирующая звезда, удаляясь в неведомые и холодные пространства. Хлопнула наверху дверь,— замолкли ее шаги. Вошел кто-то снизу, с парадного. Христофоров встал, вышел, и двинулся к Пречистенскому бульвару.

Там шагал он по правому, высокому проезду, где важны

тихие дома, греет солнце, золотеет купол маленькой церкви Ржевской Божией Матери.

Над Гагаринскими, Сивцевыми, Арбатами дымно сияло золотистое, уже весеннее небо Москвы, с розоватыми тучками. Начинался один из романтических закатов Арбата. Христофоров вспомнил — еще гимназистом ходил он тут, и такие же были эти закаты, так же томилось его сердце; как и теперь был он полон призраков, обольстительных и кочующих, владевших им всю жизнь, лаская, мучая. Голубые глаза его раскрылись шире, с тем несколько безумным выражением, какое принимали иногда. И он шел, мало замечая прохожих, сам — призрак собственных же, далеких дней, о которых нельзя было сказать, куда развеялись они, как и нельзя было удержать фантасмагорию его любвей, рассеявшихся в мире.

Так прошел он по Никитскому бульвару, по Тверскому, где Пушкин стоял, спокойный и задумчивый, глядя на мелькающую толпу. На колокольне Страстного, сиявшей розовым в закате, перезванивали. На площади торговали водами, папиросами. Мальчишки с цветами бежали за экипажами. Звенели трамы. Шли, ехали, сновали. На бульваре белел еще снег.

Машинально вошел Христофоров в ворота монастыря, под башней, пересек небольшой дворик со старыми деревьями, и поднялся в церковь. Она была обширна и светла. Служба только что началась. Хор монахинь выходил с клиросов, они расположились на амвоне, развернули ноты. Одна, довольно полная, немолодая, была за регента. Очень высокий, нежный, но однообразный хор вторил возгласам ектении. Затем бледная монашка, в черном клобуке, читала у аналоя, при восковой свече. Весенний свет наполнял церковь. Свечи золотились. Женский голос, без конца и начала, читал святую книгу. Христофоров стоял рядом со старухой и двумя солдатами. Вечность и тишина были тут. Вечность и тишина.

Часы на колокольне указывали половину шестого, когда он вышел. Никодимов жил недалеко. Пройдя несколько переулков, Христофоров оказался перед гигантским домом. В вестибюле с колоннами, как в дорогом отеле, бродило несколько швейцаров. Джентльмен в широком пальто сидел на диване и нетерпеливо постукивал ногами. Зеленовато-розовый рефлекс весны ложился чрез зеркальные двери.

Христофоров бессмысленно, отсутствуя, сидел в лифте, напоминавшем каюту. С ним подымались иностранного вида обитатели и разбредались по бесчисленным коридорам дома — океанского корабля.

Никодимов, в расстегнутой тужурке, отворил сам.

— А,— сказал он,— очень рад.

Христофоров разделся в передней, и вошел в большую комнату, полную розового света.

— Значит, все-таки собрались,— сказал Никодимов, усмехаясь.— Сюда пожалуйте, к столу. Хотите вина?

Христофоров отказался. Хозяин налил себе стакан рейнвейна и выпил.

— В этом доме,— сказал он,— живут иностранные комми, клубные игроки, актрисы, художники и такие личности, как я. Я занимаю студию. Здесь раньше жил художник.

Христофоров смотрел на него очень пристально, разглядывая белую рубашку под тужуркой и ворот видневшейся тоненькой фуфайки.

— Чего вы на меня так смотрите? — вдруг спросил Никодимов, и опять засмеялся.— Изучаете?

Христофоров смутился:

— Нет, ничего.

— Меня изучать, может быть, и интересно,— сказал он,— может быть — нет. Зависит от точки зрения. Я сегодня пью с утра, что, впрочем, делаю нередко. Да, я вас звал...— он вдруг впал в задумчивость.— Я ведь вас звал для чего-то... Может быть, вы обидитесь. Но знаете — ни для чего. У меня нет к вам никакого дела.

Теперь улыбнулся Христофоров.

— Значит, почему-то все-таки вам хотелось меня видеть?

— Да, хотелось, хотелось.

Он говорил рассеянно, будто это совсем не нужно было.

— Какой вы... странный человек,— сказал Христофоров.

— А что,— спросил Никодимов довольно безразлично,— выживет Ретизанов?

Христофоров ответил, что опасности нет.

— Все это необыкновенно глупо,— задумчиво произнес Никодимов,— как и очень многое в моей жизни. Я бы не весьма пожалел, если бы убил его, но и то, и другое было бы совершенно ни к чему. Бес-смы-сли-ца! — раздельно выговорил он.

Дверь из соседней комнаты отворилась; оттуда вышел, в шелковом халатике, завитой, со слегка подкрашенными глазами юноша, бывший на дуэли.

— Дима,— сказал он,— затопи ванну. А то я до театра не успею одеться.

Никодимов заторопился и побежал в маленькую комнатку, рядом с прихожей.

— Постоянной прислуги здесь нет,— зевая, сказал юноша.— Приходится самим возиться. Ах, да,— вдруг оживился он,—

как страшно было тогда! Я думал, что Диму убьют. Но этот господин совершенно не умел стрелять.

Потом он заговорил о балете, осуждал Веру Сергеевну, о Ненароковой отозвался кисло. Вспомнил, как занятно было в Париже, два года тому назад, на русском сезоне.

— Мы и теперь собираемся в Париж, но Дима должен выиграть и взять отпуск. Или там без отпуска, мне все равно. Дима ленив. Все обещает выиграть... и вечно мы без денег. Впрочем, вот взгляните, он мне подарил.

Юноша показал на пальце перстень, с тонкой и прозрачной камеей.

— Это голова Антиноя,— сказал он.— Император Адриан любил одного юношу, Антиноя. Во время прогулки по Нилу тот утонул. А-а... Император был страшно огорчен, и велел обожествить Антиноя. На его вилле... знаменитой, под Римом, было найдено множество статуй и бюстов... а-а... юного бога. Вам нравится?

Он снял перстень и поцеловал камею.

— Очень мило.

И с тем же ленивым и несколько покровительственным видом, с сознанием изящества, превосходства, поплелся брать ванну.

Христофоров встал и подошел к окну. Еще более, чем от Ретизанова, была видна отсюда Москва, облекавшаяся, в глубине улиц, в синеватый сумрак и красневшая в закате верхушками домов. Купола золотели. Та же пестрота красного кирпича, зеленых садов, острых башен и колоколен Кремля, дальних труб на заводах. Темнели Сокольники. За Кремлем виднелась равнина, уводящая на юг, уже туманившаяся, с далекой, освещенной церковью села Коломенского. Внизу, у памятника Пушкину, казавшегося крошечным, зажглись белые фонари.

— Все деньги, деньги,— бормотал сзади Никодимов.— Париж. Вот, если банк хороший сорву...

Христофоров обернулся. Лицо Никодимова, в сумерках, приняло фиолетовый оттенок.

— Что,— спросил Христофоров,— играть очень интересно?

— Да-а...— протянул Никодимов.— Играть... Игра, кроме волнений, хороша еще тем, что необыкновенно отрывает от обычной жизни. Я играю всегда в полусне... особенно, когда уж поздно. Только карты, они сменяются, так, этак, вами овладевает оцепенение...

— Я это понимаю,— тихо ответил Христофоров.

— Понимаете! Вот бы уж не поверил. Ваша жизнь мало похожа на мою.

Христофоров согласился.

— Я,— сказал вдруг Никодимов,— то, что называется темная личность.

Он налил себе вина и выпил.

— Мне это нередко говорят. Например, тогда, на маскараде. И — правы. Я не отрекаюсь. Хотя иногда это утомляет. Меня в корпусе еще мальчишки не любили. Звали: «Орлик доносчик, собачий извозчик». Я иногда плакал, иногда их бил. Но кончил хорошо, чуть не первым. Был честолюбив. Мечтал о славе, читал о Наполеоне, итальянские походы знал наизусть. Поступил в Николаевскую Академию. Там мне тоже устраивали бойкот. Так, особняком и держался. Но опять кончил, тоже недурно. Служил по генеральному штабу. Знаете мою специальность? Вместо полководца — военный шпион. Сначала в Австрию командировки. Я ходил в штатском, зарисовывал местности, около крепости. Потом получил назначение в Вену, в нашу военную миссию. Там жилось весело. Я знал Ягнча, знаменитого предателя. Он нам продал мобилизационные планы. Дороговато обошлось. Но на случай войны — небесполезно. Это дело, частью, через меня делалось. Ягича я обхаживал... Да, но не совсем удалось, не совсем удалось!

Пока он рассказывал о Ягиче, юноша плескался в ванне. Он вызвал к себе Никодимова; долетали какие-то разговоры, опять слово *деньги*, затем, снова в халатике, он проследовал в свою комнату, одеваться.

Христофоров сидел в кресле, спиной к окну, в смутных, весенних сумерках, и думал о том, каких только людей и дел нет на свете. Его не возмущал и не раздражал Никодимов. Он замечал даже в себе странное любопытство. Хотелось дальше слышать о его жизни.

Никодимов извинился, что задерживается. И действительно, вернулся лишь проводив друга.

— Что же дальше было с Ягичем? — спросил Христофоров.

Никодимов сел, и помолчал.

— Ягича открыли, свои же, австрийские офицеры. Однажды, поздно ночью, они нас арестовали в одном... теплом месте. И привезли в отель. Ему дали револьвер, отвели в соседнюю комнату и предложили застрелиться. Был момент, когда они собирались разделаться и со мной — я был в штатском, как настоящая темная личность. Я тогда чудом уцелел. Но вообще мне не повезло. Наши тоже косо на меня взглянули.

Он хрустнул пальцами.

— Стали подозревать, что я же и выдал Ягича. Знаете, эта игра всегда двусмысленна... Одним словом, карьера моя прого-

рела. Я все-таки служу, но это безнадежно. Вы понимаете, на имени моем — пятно... вот что. Нет, вы не из нашей компании, вы из так называемых проповедников,— прибавил он вдруг живо и резко.— Не поймете.

— Я не знаю,— тихо ответил Христофоров,— из каких именно я. Но то, что вы мне рассказали, все понятно. Можно ведь все это понять и... ведя другую жизнь.

— Хотели сказать: и не будучи прохвостом! — Никодимов захохотал.

— Вы принимаете все очень болезненно,— с грустью ответил Христофоров.

Никодимов налил себе вина и выпил.

— Болезненно! Вздор! — бормотал он.— Ничего нет хорошего. Разве Юлий... Этого мальчика,— сказал он, указывая на комнату юноши,— зовут Юлием. Я подарил ему перстень с головой Антиноя.

Через час он провожал гостя. Довел его до лифта и простился. Уже входя в каюту, Христофоров заметил, как содрогнулся Никодимов при виде этой машины.

В десять Никодимов поехал в клуб. Там он играл с ушастыми игроками, с седыми дамами в наколках, с содержанками; еще пил, погружаясь в карточный туман. Так было в этот вечер, и в следующий, и еще в следующий. Выигрыш не приходил. Антиной кис. Он развлекал, все же, Никодимова. Но тоска не унималась. Проходя ночью по пустынным переулкам, Никодимов думал, что его жизнь, с самой ранней юности, была чем-то непоправимо испорчена, и теперь, чем дальше, тем труднее ее влачить. Пустые дни, пустые действия, мелкие выигрыши, мелкие проигрыши чередовались утомительно. «Все это вздор, все гадость,— думал он.— Как скучно!»

Приступы беспредметной, леденящей тоски бывали столь остры, что опять вспоминал он о Вене, туманном утре, когда в закрытом автомобиле везли их австрийские офицеры, о комнате отеля, где он ждал судьбы, о глухом выстреле за стеной. Может, было бы лучше...

В одну из таких ночей, подойдя к подъезду своего дома, он думал об Анне Дмитриевне и усмехался. «Добрые души, добрые души, спасительницы, женщины». Он машинально вошел, машинально побрел к лифту. Зеленоватый сумрак был в вестибюле. Уже подойдя к самой двери, он на мгновение остановился, охнул. Рядом, улыбаясь, сняв кепи, стоял знакомый швейцар из Вены и приглашал войти. Никодимов бросился вперед. С порога, сразу он упал в яму, глубиною в полроста. Дверца лифта не была заперта. Он очень ушиб ногу, вскрикнул,

попытался встать, но было темно и тесно. Сзади в ужасе закричал кто-то. Сверху, плавно, слегка погромыхивая, спускался лифт. Никодимов собрал все силы, вскочил, до груди высунулся из люка.

Его отчаянный вопль не был уже криком человека.

XVII

Несколько времени после того, как навестила Христофорова, Машура провела очень замкнуто. Видеть никого не хотелось. Она сидела у себя наверху, и разыгрывала Баха, Генделя. На дворе шел снег, бродили куры, кучер запрягал санки, а Машуре казалось, что со своей сонатой ut.—min[1] она отделена от всего мира тонкой, но надежной стенкой.

Перед маскарадом заезжала Анна Дмитриевна и звала ее. Машура отказалась. Наталья Григорьевна это одобрила. Машуру считала она безупречной, и потому именно не сочувствовала выезду на фривольный бал художников. Она советовала ей лучше — читать Стендаля. Сама же, среди многих своих домашних дел, заканчивала реферат для Литературного Общества.

Общество собиралось на Спиридоновке, в доме графини Д. Оно было старинно и знаменито. Некогда читались там стихи юноши Пушкина; выступал Лев Толстой, и Тургенев. В новое же время — обязательный этап жизни литератора — в некоторый вечер, в низкой, темноватой зале, среди белых стариков и важных дам, приват-доцентов, скромных барышень, студентов — прочесть новейшее свое творение.

Для Натальи Григорьевны этот экзамен прошел давно. Но к выступлению отнеслась она серьезно, много обдумывала и обрабатывала, не желая ударить лицом в грязь пред почтенными слушателями.

Туда Машура не могла не поехать. Мать несколько волновалась. Даже румянец показался на старческих щеках; в черном шелковом платье, с чудесной камеей-брошью, в очках и седоватых локонах, Наталья Григорьевна была внушительна. Как только кучер подвез их и они вышли, сразу почувствовалось, что все прочно, по-настоящему, что для дел Общества именно нужна Наталья Григорьевна со своей солидностью, образованностью и умеренными взглядами. Это не выскочка. Она читала ровным, несколько монотонным голосом, но культурно, то есть так, что в зале веяло серьезностью, едва ли переходящей в скуку, и если переходящей, то лишь для очень молодых. Люди

---

[1] до минор *(ит.)*.

же зрелые — их было большинство — сидели в сознании, что об истинно-литературных вещах с ними беседует истинно-литературный человек.

Машура тоже покорно слушала. Вернее, мамины слова входили в ее душу, и выходили так же легко, как выдыхается воздух. Глядя на свои тонкие, очень выхоленные руки, сложенные на коленях, Машура почему-то подумала, что мама хорошо, все-таки, ее воспитала. В сущности, что дурного в том, что она была у Христофорова, а вот теперь она считает уж себя виновной, выдерживает некоторую епитимию. Мать говорила о поэме «Цыгане», а Машуре стало вдруг так грустно и жаль себя, что на глазах выступили слезы.

Когда Наталья Григорьевна кончила, ей аплодировали не больше и не меньше, чем следовало. Седой профессор, которого Ретизанов называл дубом, подошел и поцеловал ручку. Наталья Григорьевна пригласила его в среду на блины. Покончив с текущими делами, члены Общества стали разъезжаться так же чинно, как и съезжались. Машура с матерью села в санки с высокой спинкой и покатила по Поварской.

Дома она обняла мать и сказала:

— Милая мама, ты очень хорошо читала.

Наталья Григорьевна была смущенно-довольна.

— Там у меня,— сказала она, сняв очки и протирая их,— было одно место недостаточно отделанное.

Машура засмеялась.

— Ах ты мой Анатоль Франс!

Она обняла ее и засмеялась. Опять на глазах у нее блеснули слезы.

— Антон у нас очень долго не был,— сказала Наталья Григорьевна.— Что такое? Эти вечные qui pro quo[1] между вами! Вы, как культурные люди, должны бы уже это кончить.

— Мамочка, не говори! — сказала Машура, всхлипнув, обняла ее и положила голову на плечо.— Я ничего сама не знаю, может быть, правда, я во всем виновата.

Но тут Наталья Григорьевна совсем не согласилась. В чем это Машура может быть виновата? Нет, так нельзя. Если уж кто виноват, то — Антон. Нельзя быть таким самолюбивым и бешено-ревнивым. Человек культурный должен верить близкому существу, давать известный простор. У нас не восток, чтобы запирать женщин.

И она решила, что завтра же позовет Антона, *обязательно,* на эти блины.

---

[1] недоразумения *(лат).*

— Если он хочет,— сказала Машура,— может сам прийти.

— Оставь, пожалуйста. Это все — нервы.

И на другой день, как предполагала, Наталья Григорьевна отправила к нему девушку Полю с запиской.

Кроме истории, социологии, профессор любил и блины. Наталья Григорьевна знала его давно, хорошо помнила, что блины должны быть со снетками. С утра в среду человек ходил в Охотный, и к часу на отдельных сковородках шипели профессорские блины, с припеченными снетками.

Профессор приехал немного раньше и, слегка разглаживая серебряную шевелюру, главную свою славу, сказал, что в Англии считается приличным опоздать на десять минут к обеду, но совершенно невозможным — явиться за десять минут до назначенного.

— Благодарю Бога, что я в Москве,— добавил он тем тоном, что все-таки все, что он делает,— хорошо.— В Англии меня сочли бы за обжору, которому не терпится с блинами.

Антон, напротив, поступил по-английски, хотя и не знал этого: явился, когда профессор запивал рюмкой хереса в граненой, хрустальной рюмке первую серию блинов. Антон покраснел. Он думал, что опаздывать неудобно и невнятно извинился. За столом был молчалив. Иногда беспричинно краснел и вздыхал. Машура тоже держалась сдержанно. Выглядела она несколько худее и бледнее обычного.

Затем заговорили о литературе. Профессор называл возможных кандидатов в Академию. Хвалил научность и обоснованность реферата в Литературном Обществе. Наталья Григорьевна говорила, что сейчас ее интересуют те малоизвестные французские лирики XVII века, которых можно считать запоздалыми учениками Ронсара, и которые несправедливо заглушены ложноклассицизмом. В частности, она занимается Теофилем де Вио. Профессор съел еще блинов, и одобрил.

После завтрака Машура позвала Антона наверх. Был теплый, полувесенний день. Навоз на дворе порыжел. В нем разбирались куры. С крыш капало. Легок, приветливо светлел в Машуриной чистой комнате масленичный день.

Она довольно долго играла Антону сонату Баха. Он сидел в кресле, все молча, не совсем для нее понятный. Кончив, она свернула ноты, и сказала:

— Я перед тобой во многом виновата. Если можешь, прости.

Антон подпер голову руками.

— Прощать здесь не за что. Кто же виноват, что я не загадочный герой, а студент математик, ничем еще не знаменитый... И никто не виноват, если я... если у меня...

Он взволновался, задохнулся и встал.

— Я не могу же тебя заставить,— говорил он через несколько минут, ломая крепкими пальцами какую-то коробочку,— не могу же заставить любить меня так, как хотел бы... И даже понимать меня, таким, какой я есть. Ты же, все-таки, меня всего не знаешь, или не хочешь знать.

Он опять горячился.

— Ты считаешь меня ничтожеством, я в твоих глазах влюбленный студент, которого приятно держать около себя...

Машура подошла к нему, положила руки на плечи, и поцеловала в лоб.

— Милый,— сказала она,— я не считаю тебя ничтожеством. Ты это знаешь.

— Да, но все это не то, не так...— Антон опять сел, взял ее за руку.— Тут дело не в прощении...

Машура молчала и смотрела на него. Потом вдруг улыбнулась.

— У тебя страшно милый вихор,— сказала она, взялась за кольцо волос на его лбу и навила на палец.

— Он у тебя всегда был, сколько я помню. И всегда придавал тебе серьезный, важный вид.

Антон поднял голову.

— Может быть, я не умею причесываться...

— Нет, и не надо. Так гораздо лучше. Наши девчонки, гимназистки, очень уважали тебя именно за голову. Ты так Сократом и назывался.

Антон улыбнулся.

— Сократ был лысым, а ты говоришь, вихор...

— Это ничего не значит. Тебе и не надо быть лысым.

Она подала ему зеркальце, он посмотрелся. Машура зашла сзади кресла, засмеялась, схватила его за уши и стала слегка раскачивать голову.

— Говорят, что женщины — кокетки, а по-моему у вас, мужчин, кокетства даже больше, только как-то это не считается.

Антон стал защищаться, но несколько сконфузился.

Машура же продолжала, что любовь любовью, но в каждом есть, как она выразилась, шантеклер, петух, распускающий хвост.

— Например, это безобразие,— продолжала она,— ты знаешь, маскарад, на который меня звала Анна Дмитриевна, кончился-таки дуэлью. Бедного Ретизанова подстрелили, и, конечно, из-за женщины.

Машуре стало почти весело. Был ли тут светлый, веселый день, или устала она тосковать, и брала в ней свое молодость, но захотелось даже подурить, покривляться.

Она стала пред Антоном на колени и сказала:

— Ваше превосходительство, а ничего, что я навестила раненого Ретизанова? И даже обещалась еще зайти?

Антон засмеялся опять смущенно, но чем-то был доволен.

— Я знаю только одно,— сказал он, краснея,— что если нас ты укоряешь в шантеклерстве, то в вас, отродьях Евы, есть таки нечто... от древнего Змия.

Через час Антон уходил от нее, взволнованный и смущенный, но по-радостному. Он не совсем отдавал себе отчет, и некая прежняя тяжесть сидела в нем, но этот день и в его мрачную жизнь внес как бы просвет. Ничего не было говорено всерьез, но вновь он уносил в душе обаяние Машуры, которая и мучила, и восхищала его столько времени.

Машура же ни о чем особенно не думала; разыгрывала своего Баха, ходила на заседания «Белого Голубя», и иногда, в теплые, светлые дни по-детски радовалась весне, шагая где-нибудь по Никитскому бульвару, мимо дома, где умер Гоголь. Все-таки прочности не было в ее душе.

В один из таких дней зашла она на Пречистенку, к Ретизанову.

Его здоровье то улучшалось, то ухудшалось, опасность прошла, но в общем он сильно изнемог. С его худого лица торчали седоватые усы; глаза казались еще больше.

— Вы очень добры,— сказал он, приподнимаясь на постели.— Ха! Мне очень нравится, что вот вы взяли и пришли... во второй раз.

Машура поставила ему на стол букетик живых цветов.

— Мне хочется взглянуть, как вы...

— И еще принесла цветов!

Он улыбнулся, взял и понюхал.

— Этой зимой я посылал много цветов в Петербург, Елизавете Андреевне. Ха! Она меня отдаривала, когда я вот так... захворал. Но последнее время редко стала заходить.

— Да ведь она...— Машура чуть было не договорила — «уезжает», но вовремя остановилась.

Как раз неделю назад, на собрании «Белого Голубя», она прощалась надолго, сказала, что едет за границу. Машура знала даже с кем. Она слегка вздохнула и сказала:

— Вероятно, очень занята.

Ретизанов оживился, и стал рассказывать о ее танцах. По его мнению, из нее выйдет великий художник. Ритм и божественная легкость составляют основу ее существа. Другие ходят, говорят, смеются — в ней же присутствует богиня, и лишь острый взгляд посвященного может понять всю ее прелесть.

Грубых людей, как Никодимов, такие существа раздражают. Потому он и вел себя с ней так в маскараде.

— В Елизавете Андреевне,— говорил Ретизанов,— необыкновенно чисто проявилась стихия женственности. Голубоватое эфирное существо, полное легкости и света.

— Голубая звезда,— сказала Машура, и вдруг покраснела.

— Что?! — вскрикнул Ретизанов.— Как вы сказали?

Машура повторила.

— Голубая звезда! — произнес он в изумлении.— Нет, позвольте... в каком смысле?

— Можно думать,— запинаясь ответила Машура,— что одна звезда... она называется Вега и светит голубоватым светом... ну, одним словом, что образ этой Веги есть образ женщины... в высшем смысле. И что, обратно, в некоторых женщинах есть отголосок ее света...

Ретизанов слушал с возрастающим изумлением.

— Позвольте! — закричал он.— Это не женские мысли! Это говорил мужчина.

Машура покраснела.

— Даже если б и так.

— Вам это говорил мужчина?

— Да,— ответила Машура уже сдержаннее,— один знакомый развивал мне эту теорию.

Ретизанов несколько минут молчал, потом вскрикнул:

— Христофоров! Это он! Ах, черт возьми, он предвосхитил мои мысли.

Когда Машура вышла от него, был прозрачный стеклянно-розовеющий вечер. Бледно-золотистая Венера сопровождала ее путь по бульвару, плывя над домами, цепляясь за голые ветки деревьев. Машура глядела на нее, и думала, что это тоже звезда любви, быть может, таинственная устроительница сердечных дел. Быть может, и ее, Машуры, земная судьба связана с велениями неведомых, дивных богов.

Ретизанов же, после ухода Машуры, долго не мог успокоиться. Мысль о голубой звезде волновала и радовала его. Наконец, он накинул халат, и слабый, слегка еще задыхаясь, с кружащейся головой пробрел в кабинет. Там опять подошел к занавеске, раздвинул ее и, закрыв глаза, отдался общению с гениями. Он стоял так довольно долго, блаженно улыбаясь. Затем медленно возвратился к себе.

В то время, как звезда его укладывала чемоданы, чтоб начать светлое и бездумное странствие, гении дали радостнейшие ответы. Ретизанов лежа бормотал что-то, мечтал, и его душа была полна счастья и надежды.

XVIII

Постом Машура говела, слушала изумительные мефимоны, которые читал священник в черной ризе с серебряными цветами, канон Андрея Критского. Исповедывала нехитрые свои грехи под душной епитрахилью о. Симона, невысокого, немолодого и строгого священника с большой головой и седоватыми волосами. Со смутным, мистическим волнением причащалась.

Дома все шло как-то само собой. Как бывало и раньше, к ним приходил Антон. Как и прежде, косился он и фыркал на солидность Натальи Григорьевны, с Машурой бывал то нежен, то дерзок. Иногда, глядя на него, она думала: «Если я выйду за него замуж, он станет вытворять невероятные вещи, и с ним не очень будет легко. Может быть, именно так и должно случиться».

Наталья Григорьевна не была поклонницей страстных романов, страстных браков.

— Жизнь в браке,— говорила она,— это совместное творчество того общения, которое называется семьей. Семья же есть ячейка культуры, заметь себе это,— она целовала Машуру в лоб,— ячейка культуры, то есть порядка.

Машура улыбалась.

— Ах, мама, когда мне будет шестьдесят, то наверно и я буду интересоваться культурой, ячейками и порядком.

Она вздохнула, и не стала более распространяться. За дни весны, которая в этом году была прекрасна, Машура много ходила по Москве, по бульварам. Думала она о себе, своей жизни. Теперь не было уж у нее ощущения вины пред Антоном, того двойственного и странного, в чем жила она почти целый год. Не было к нему и никаких дурных чувств. Она его знала, знала насквозь, и иногда он казался ей очень мил, как очень свой, давно родной человек. «Ну, и что же, и это все? — думала она с улыбкой.— Брак есть совместное творчество общения, называемого семьей?» Ей стало почти смешно, и почти горько. «Ячейка культуры, порядка? Нет, это все что-то не то, не так... Недаром и Антон это чувствует». Она вспомнила свое вечернее посещение Христофорова, тот садик, луну, вечер, и ее сердце забилось волнением и истомой. В горле остановилась горькая спазма. Слезы выступили на глазах. «Нет,— через силу, как бы запинаясь, сказала она себе,— если нет, если этого нет, то и ничего не надо. Иначе ложь». «Ложь, ложь,— твердила она позже, уже подходя к своему дому и слегка задыхаясь.— И не надо скрываться, называть это жалкими словами». Раздевшись, она быстро прошла в кабинет Натальи Григорьевны. Та

сидела за письменным столом, в очках, и старческой, бледной рукой с голубыми жилами писала отчет по детским приютам, где состояла в комитете. Весеннее солнце золотистым ковром легло по креслу, углу стола, пестрому леопарду в ногах, блестело в золотом тиснении переплетов в шкафах. Машура обняла мать сзади, поцеловала около уха.

— Мама, я сейчас почувствовала одну вещь и должна тебе сказать.

Наталья Григорьевна отложила перо, взглянула на нее, сняла очки. Она видела, что Машура возбуждена. Ее остроугольное лицо было насыщено какой-то нервной дрожью.

— Ну, ну, говори.

Машура было начала, горячо и спутанно, что она виновата пред Антоном в том, что долго держала его около себя, и почему-то вышло, что они стали считаться женихом и невестой, но на самом деле это ошибка.

Тут она заплакала, обняла Наталью Григорьевну, и всхлипывая, сидя на ручке кресла, сквозь слезы бормотала, что надо все это выяснить, раз навсегда кончить, чтобы не мучить ни его, ни себя ложью...

Наталья Григорьевна изумилась. Не то, чтобы она была на стороне Антона, но во всем этом ей не нравился беспорядок, то шумное и нервное, что вносила с собой Машура.

— Успокойся,— говорила она,— не плачь, и тогда можно будет обсудить положение.

Она дала ей валерьянки, и когда солнечная полоса несколько передвинулась, прямо поставила ей вопрос: любит ли она Антона? На что Машура ответила, что и любит, как товарища и друга детства, но не так... и вообще это не то... именно теперь она убедилась...

Тогда Наталья Григорьевна со свойственной ей твердостью и логикой спросила: не любит ли она другого? Машура было смутилась, но мгновенно овладела собой и ответила: *нет*. Наталье Григорьевне показалось, что это не совсем так, но настаивать и выпытывать она не захотела. И в заключение сказала, что в таком важном и серьезном деле нельзя спешить.

— Не нервничай, не волнуйся,— говорила она,— если ты убедишься, что истинного чувства к Антону у тебя нет, то не силой же станут тебя за него выдавать. Все в твоих руках. Ты должна поступить прямо, честно. Но не опрометчиво, не поддаваясь минуте.

Слезы и разговор несколько облегчили Машуру. В сумерках она играла у себя наверху на пианино и думала, что пускай она и будет жить в этой светлой и чистой своей комнате, ни

с кем не связанная, ровной и одинокой жизнью. «Если любовь,— говорила она себе,— то пусть будет она так же прекрасна, как эти звуки, томления гениев, и если надо, пусть не воплотится. Если же дано, я приму ее вся, до последнего изгиба».

В этот вечер Антон не пришел. Она просидела одна, рано легла спать и спала спокойно.

Следующий день был четверг Страстной недели, знаменитый день Двенадцати Евангелий, длинных служб, вечернего шествия с огоньками. Часа в три, в мягком опаловом свете дня, Машура вышла из дома по направлению к Кремлю. Шла она не к Двенадцати Евангелиям, а просто побродить, поглядеть Москву. Кремль был очень хорош. Тускло сияла позолота соборов, часы на Спасских воротах били мерно и музыкально. Золотоверхие башни казались влажными, над Замоскворечьем синела дымка весны; внизу, на Москва-реке половодье; река бурно катила шоколадные воды. От памятника Александру II видела Машура внизу милую и ветхую церковь Константина и Елены, покривившуюся, осененную несколькими деревьями. Заходила в Архангельский собор, где под каменными надгробьями в медных оправах спят великие князья и цари, в мрачном полусвете; веет там седой и страшной стариной. И затем — уже совсем случайно, мимо Успенского собора, забрела в мироваренную палату, при церкви Двенадцати Апостолов. Был день того двухлетия, когда на всю Россию варят миро. Машура поднялась во второй этаж, взяла налево и оказалась в невысокой, светлой и обширной зале. По стенам стояли зрители, а в правом углу, на некотором подобии плиты, в серебряных вделанных чанах варился священный состав. Непрерывно шла служба. Дьяконы и священники в светлых ризах мешали серебряными ковшами. Худенький квартальный просил публику *не наседать*. Стоял теплый, необыкновенно дурманящий запах — редких масел, цветов, старинных благовоний. Дьяконы, медленно чередуясь, подымали и опускали свои ковши. Кадили кадильницы. Свечи золотели. Непрерывный, однообразный голос читал у аналоя.

В Успенском соборе побыла она недолго. Смешанное чувство Италии и Византии, домосковской Руси охватывало там еще сильней. На паперти, под дивным порталом столкнулась она, выходя, с Анной Дмитриевной.

— Нам везет встречаться у святых мест,— сказала Анна Дмитриевна, с улыбкой.— Помните, Звенигород?

Она сильно похудела, была одета в темном. Большие ее глаза глядели утомленно.

Они медленно пошли вместе через площадь.

— Господи,— сказала Машура,— я не могу вспомнить о Дмитрии Павловиче. Какая ужасная судьба...

Она закрыла даже на мгновение глаза.

— Сегодня двадцатый день его смерти,— ответила Анна Дмитриевна.

Помолчав, она прибавила:

— В церкви, все-таки, мне легче.

Машура взяла ее за руку, крепко пожала.

Они посидели немного в галерее памятника Александру.

Начинало смеркаться. Сизая мгла спускалась на Замоскворечье. Белел еще Воспитательный дом, золотели купола в Кадашах.

— Его судьба,— сказала Анна Дмитриевна,— так же страшна, печальна и непонятна, как была и жизнь. Во всяком случае, это был очень несчастный человек.

Машура вернулась домой в особенном, несколько приподнятом настроении. Она застала Антона. С ним держалась просто и добро, но самой ей казалось, что тонкая, как бы прозрачная и прочная стена выросла между ними. «Может быть,— думала она, ложась спать,— это ушло мое отрочество, домашние, простые, детские чувства?»

В субботу в их доме усиленно готовились к празднику. Чистили, мыли, Машура сама красила яйца, готовила пасху. Знаменитый окорок одевали в бумажные кружева. В духовке сидели золотые куличи. Все это напоминало детство, и имело свою особенную прелесть.

Как и раньше бывало, к вечеру пришел Антон — обычно они ходили с ним в Кремль к заутрене, смотреть иллюминацию, дышать тем удивительным воздухом, которым в эту ночь бывает полна Москва. Они отправились и теперь. Машура шла с ним под руку, но в Кремль они не попали, а часов с одиннадцати стали бродить по Москве, от церкви к церкви. В тихой, чуть туманной ночи видели они рубиновые в иллюминациях очерки колоколен, сияющие кресты; на папертях и в церковных двориках, иногда под деревьями, расставленные для освящения куличи и пасхи. По улицам непрерывно шли. Слышался негромкий говор. Иногда рысаки неслись, ехали кареты. Все было сдержанно, торжественно, тьма и золото огней господствовали над городом. Приближалась величественная и прекрасная минута.

Ровно в двенадцать в Кремле ударили — густым, гулким тоном. Неторопливо и радостно завторили все знаменитые сорок сороков. Тотчас двинулись крестные ходы, золотые стяги Спасителя поднялись во тьме ночи; на мгновенье все снова стали братьями.

«Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!»

Машура похристосовалась с Антоном, нежно и дружески. Слезы выступили у ней на глазах. Ее душа опять открылась на мгновение, вспомнились годы верной любви Антона, его сумрачной, нелегкой жизни.

Она перевела дух и отвернулась. Да, но не надо медлить, не надо тянуть и запутывать!

Она несла домой зажженную свечу, слегка прикрывая ее ладонью, казавшейся в свете прозрачно-розовой. Тысячи людей так же шли, и весь город был полон весеннего тумана; сверху светили звезды, а внизу растекались по переулкам золотые огоньки. Машура загадала, что, если до дому свеча не потухнет, все будет правильно, как надо.

Ночь была очень тиха.

Свеча не погасла.

Наталья Григорьевна встречала Пасху в церкви своего приюта. Она вернулась позже, очень парадная, в орденах и бриллиантах. Была ровна, покойна; на ее культурных чертах великий праздник не начертал своего духовного волнения.

На другой же день, когда вся Москва заливалась дружным, светло-радостным звоном, когда катили лихачи с визитерами, по улицам брел и ехал расфранченный народ, Машура сидела у себя в мансарде, и писала Антону. Она старалась собрать все силы души и ума, чтобы написать получше, ясней и тверже высказать то, что, как она полагала, сложилось в ней окончательно.

Подписавшись, встала. Из окна, уже раскрытого, пахнуло на нее весной, апрелем, тополевыми почками. С необычайной ясностью она почувствовала, что теперь начинается для нее новое. Что именно — она не знала.

XIX

Конец апреля Христофоров проводил в имении Анны Дмитриевны, в средней полосе России. Выдались две дивных недели, какие бывают иногда пред холодноватым и переменчивым маем.

С июня Христофоров получал работу в крупной библиотеке южного города.

Сейчас был доволен, что временно можно отдохнуть, пожить спокойно и собраться с мыслями. Зима во многом для него была необычайна. В своем роде, это была даже единственная зима. Бродя один по весенним, нежно-зеленеющим полям, он вспоминал ее, как нечто бурное, цветное, ворвавшееся в его жизнь. Он сам крутился в этом потоке, то как участник, то как

зритель, и теперь, коснувшись привычной, тихой земли, чувствовал как бы некоторое головокружение. «Может быть, это и суета, и возможно, я бывал неправ, все же...» Он не досказывал, но душой не отказывался от пестрого, быстролетящего карнавала бытия.

Анну Дмитриевну он жалел искренно. Но и в ней ему нравились некоторые, теперь сильнее выступавшие черты. Явно стала она покойнее, как бы сдержаннее. Несколько облегчилась, прояснела.

— С меня долго надо смывать, ах, как долго смывать прежнее,— сказала она раз.— Голубчик, мне оттого с вами легко, что вы не теперешний, древний человек...

Она засмеялась.

— Уж и сейчас похоже, что мы удалились с вами в пустыню, но это только первые шаги. Ах, иногда я мечтаю о настоящей Фиваиде, о жизни в какой-нибудь бла-аженной египетской пустыне, наедине с Богом. Еще неизвестно, еще неизвестно... Помните, наш разговор у Фанни, о богатстве. Не подумайте, ваши слова очень запали мне тогда.

— Да,— сказал Христофоров.— Но и сам я не знаю, до какого предела идут эти слова. Уж никак я не за богатство... но и рабский, подневольный труд... это я тоже отвергаю.

Через минуту он прибавил:

— Человек не может представить себе времени, когда *его* не будет. Нельзя вообразить смерть, как засыпание, или сон, которому нет пробуждения. В то же время трудно понять, чтобы здесь, на земле, мы могли вечно жить. Вот недавно, на днях,— продолжал он, и его голубые глаза расширились,— я испытал странное чувство. На минуту я ощутил себя блаженным и бессмертным духом, существующим вечно, здесь же на земле. Жизнь как будто бы проносилась предо мной миражем, вечными сменами, и уходящих миражей мне не жаль было, а будущие — я знал, придут. Я забывал о прошлом и не думал о будущем. Быть может, такое состояние, со всегдашним ощущением Света, то есть Бога, и есть райская жизнь, о которой говорит Библия.

Анна Дмитриевна усмехнулась.

— Да, уж тут отпадает богатство, бедность...

— Это человеческие слова,— сказал Христофоров,— мы считаемся с ними в нашей... ограниченной, все же, трехмерной жизни.

В один из тех нежно-голубых, очаровательных дней, когда кажется, что ангел Божий осенил мир, Христофоров получил письмо из Крыма, от Натальи Григорьевны. С Пасхи жила она там с Машурой. Она сообщила, что Машуре юг очень полезен,

что они одни тут, Антон остался в Москве и вряд ли, вообще, приедет. «Должна добавить,— писала она,— еще одну печальную новость. На днях умер здесь Александр Сергеевич Ретизанов, простудившись, как это ни странно Вам покажется — в благословенной Тавриде. Машура была очень подавлена. Она ходила к нему. Из ее слов я поняла, что кроме болезни на него подействовало еще известие об одной танцовщице, Лабунской, которую, видимо, он любил. Лабунская только что уехала за границу с каким-то англичанином».

— Покойный Дмитрий Павлыч,— сказал Анне Дмитриевне Христофоров,— назвал раз Ретизанова — дон Алонзо-Кихада дель Ретизанов. И выходит, что отчасти он прав. В общем же, судьбы их разны, и одинаковы.

— Умер Ретизанов...— Анна Дмитриевна задумалась.— Это тоже был несовременный человек.

Вечером этого дня Христофоров, в своем потертом пиджачке и мягкой, видавшей виды шляпе, вышел из усадьбы. Глаза его были несколько расширены; и голубизна апрельского дня удваивалась в их природной голубизне. Из фруктового сада, где на яблонях наливались почки, он спустился в овражек; там стояли белые березы, уже одетые зеленоватым облаком. Дубы еще голы; кое-где на них темно-коричневая листва; вечерний ветерок звенел в ней слабо, таинственно. Сухие листья шуршали под ногой. Влагой и весенней прелью пахло у ручейка. Напоминая соловьев, стрекотали дрозды-пересмешники.

За овражком начиналось поле. Здесь по зеленям шныряли мышки. Белый лунь, их враг, низко и бесшумно плыл над землей.

Обернувшись назад, сквозь тонкую сетку полуголых деревьев увидел Христофоров дом Анны Дмитриевны, и занимавшийся над ним золотисто-оранжевый закат. Этот закат, с нежно пылающими краями облаков, показался ему милой и чудесной страной былого. Он шел дальше. Странное чувство истомы и как бы растворения, того полубезумного состояния, которое иногда посещало его — овладело и теперь. Казалось, что не так легко отделить свое дыхание от плеска ручейка в овраге, ноги ступали по земле, как по самому себе, голубоватая мгла внизу, над речкой, была частью его же души — и он сам — в весенней зелени зеленей.

Он прошел так некоторое время, и присел у межевой ямы, где кончалась земля Анны Дмитриевны. Несколько мышек высунулось из нор, проделанных под комками пахоты; повертели мордочками и сверкнули домой. Тихо, медленно летела на болото цапля. Было видно довольно далеко. Поля, лесочки и

деревни, две белых колокольни, вновь поля, то бледно-зеленеющие, то лиловые. Весенняя пелена — слабых, чуть смутных испарений, все смягчающих, смывающих, как в акварели.

Христофоров лег на землю. Долго лежал так, опьяняясь вином, имени которого не знал. Сердце его билось нежностью и любовью, раздирающей грустью и нежностью. Голубая бездна была над ним, с каждой минутой синея и отчетливей показывая звезды. Закат гас. Вот разглядел уж он свою небесную водительницу, стоявшую невысоко, чуть сиявшую золотисто-голубоватым светом. Понемногу все небо наполнилось ее эфирной голубизной, сходящей на землю. Это была голубая Дева. Она наполняла собою мир, проникала дыханием стебелек зеленей, атомы воздуха. Была близка и бесконечна, видима и неуловима. В сердце своем соединяла все облики земных любвей, все прелести и печали, все мгновенное, летучее — и вечное. В ее божественном лице была всегдашняя надежда. И всегдашняя безнадежность.

Когда Христофоров возвращался, ручей в овраге журчал той же смутностью и беспредельностью. Хоркая, тянул вальдшнеп. Рожок месяца, бледно-серебряный и тонкий, пересекался кружевом ветвей.

Москва, 1918

ПРИЗРАКИ

(Памяти Ю. Б.)

— Мир, где ты?
— *Я* всегда с тобою. Ты меня несешь

Дни бегут за годами, годы за днями, от одной туманной бездны к другой. В этих днях мы живем. Если же взглянуть назад, то из них свиваются темные, и золотые, и бесцветные облака. Горькие, очаровательные дали! Там различаем мы милые лица, несшиеся в жизни к нам близко; помним улыбки, взоры дорогих глаз, вздохи любви, муку ревности; вёреницей идут места, ставшие нам родными; страны, дарившие прелесть природы, воздуха, искусств; книги, сиявшие душе; русские весны и дивные меланхолии осени, и наши звезды, и закаты над родными городами, славные запахи, и блеск случайного утра много лет назад, и песнь уличного певца в чужой стране, и скромный полет ласточки.

Все наши чувства и мысли, образы, страдания, радости и заблужденья — следуют за нами! И как будто они *прошли,* но они *не* прошли; все их несем мы с собой, и чем далее — больше.

Не прошли и те, кто с жизненного пути унесен в неизвестное. Они не прошли. Их уход ранит сердце. Человеческими, земными слезами мы их оплакиваем. Человеческое сердце пронзается. Но скорбь уходит. Вечность остается. В ней так же, как в былой жизни, отшедшие с нами, и чем далее ведет нас время, тем их образы чище.

Их число все растет. Уходили взрослые и молодые, славные и средние; уходили женские глаза, когда-то томившие; те, кого мы любили и к кому были равнодушны.

Так и он ушел — юноша с ясной улыбкой, наша последняя рана — ныне милая тень. Тот, чей первый крик при появлении на свет мы слышали, предсмертного же стона не слыхали. Кто был при нас младенцем и ребенком, юношей; кто весь, во всех

чертах жив пред нами и дорог. В мир, сквозь жизнь несущийся с нами, в мир живых призраков и он вступил. Он — наш спутник. Растут паруса на нашем корабле. Он — один парус. И наш путь вместе, доколе наш корабль не войдет в ту же пристань, и сами для кого-нибудь, нам родного, не обратимся в тень.

Дни бегут за годами, годы за днями, от одной туманной бездны к другой.

1 апреля 1917 Страстная суббота

ИЗ КНИГИ «УЛИЦА СВ. НИКОЛАЯ»

УЛИЦА СВ. НИКОЛАЯ

I

Образ юности отошедшей, жизни шумной и вольной, ласковой сутолоки, любви, надежд, успехов и меланхолий, веселья и стремления — это ты, Арбат. По тебе снегом первым летят санки, и сквозь белый флер манны сыплющейся огневисто золотеют все витрины, окна разные Эйнемов, Реттере, Филипповых, и восседает Прага, сладостный магнит. В цветах, и в музыке, бокалах и сиянье жемчугов, под звон ножей, тарелок веселится шумная Москва, ни о чем не гадающая, нынче живущая, завтра сходящая, полумиллионная, полубогемская, сытая и ветром подбитая, и талантливая и распущенная. Гремят и вьюги над Арбатом, яростно стуча по крышам, колотясь в двери облаками снега. Но сквозь мглу и вой метели невозбранно проплывает седенький извозчик в санках вытертых, на лошаденке Дмитровской, Звенигородской, как корабль нехитрый, но и верный. К Рождеству елки на Арбатской площади — зеленым лесом. Приезжают дамы в соболях; везут чиновники, тащит рабочий елочку на праздник детям. И отбушевавши Новый год, в звоне ль шампанского, в гаме ли водочки с селедкой, входят в ледяной январь, бегут, краснея носом, с усами заиндевелыми, обдуваясь паром — кто на службу, кто торговать, по банкам и конторам. Кто — и по трактирам. Ночью же остро, хрупко-колюче горит Орион семизвездием тайно-прельщающим над кристаллом снегов.

Не навсегда! Не навсегда! Там февраль, там и март с теплым ветром, с буйным дыханием; весна, грязь и лужи, блеск, солнце, первый разрыв лазури над Арбатом, ведущим к югу, к Брянску, Киеву, Одессе. И поэт золотовласый, чуть прихрамывая, припадая на одну ногу, в черной шляпе художнической, бежит по тротуару, приветствуя весну и милых женщин. А поэт бирюзоглазый, улетающий и вечно проносящийся и в жизни, и в пространствах, точно облако белеющее, также пробегает по другому тротуару и приветствует лазурь, и ждет пришествия, и изнывает от

томлений по закатам огненно-златистым над Арбатом — там — в конце, где он спускается к Москва-реке, в ней утопая. Смутны, и волнующи, и обещающи закаты эти! Чище, и хрустальнее, и дивно-облегченнее те миры, что там рисуются, в фантазмах златоогненных.

А когда апрель настанет, то растают почки в многочисленных садах вокруг Арбата, и зеленое благословение выльется — душистым, милым оперением. В старых тополях грачи вьют гнезда. Голубым оком глянет весна, заблестит в крыльях пролеток, в лакированных штиблетах и в зеркальных окнах, и в глазах веселых и воздушных. Мягко треплет ветерком — локоны девушек, бороды мужчин; смеется и перебегает по Арбату в блеске луж, в криках мальчишек, предлагающих фиалки.

Лето насыщает Арбат зноем и оцепенением. Маркизы магазинов никнут под огнем небесным. Налетает пыль — тучкой азиатской. И к вечеру Арбат замучен. Млеют служащие в магазинах; барышни обрадовались блузочкам своим легчайшим. Но нет поэтов — ни златоволосого, бегущего Арбатом слева, ни бирюзоглазого — Арбатом справа. Улетели, как и их друзья, как и те жители, что занимают целые квартиры в домах с лифтами — кто на море, кто в деревню, кто на дачу. Врачи и адвокаты сладкогласные умчались за границу. «Ах, Карлсбад! Нет, Киссинген! Ну разве можно же сравнить!» И многих обитателей Арбата поразносят и международные вагоны по углам богатой, сытой и самодовольно-крепкой бабушки Европы. Сапожники же, медники и парикмахеры, кондуктора трамваев, булочники, мясники и бакалейщики сидят все лето, душное ль, дождливое ль, все на своих насестах, не подозревая о Карлсбадах и об ожиреньях сердца. Священники звонят в церквах Арбата — Никола Плотник, Никола на Песках и Николай Явленный — спокойные и важные, звоном малиновым, в ризах парчовых, вековечных, венчавшие и хоронившие тузов, и знать, и бедноту. Привыкшие к молебнам, требам, к истовому пению и жизни истовой, замедленной в бездвижности, и с ожиреньем сердца.

Гудят колокола, поют хоры, гремит трамвай, звенит румын в летнем зале Праги пышноволосой. Солнце восходит, солнце заходит, звезды вонзаются и над Арбатом таинственный свой путь ведут. И жизнь прядет, и все как будто чинно, все так крепко, и серьезно, и зажиточно, благонамеренно. Строят дома — сотни квартир с газом и электричеством; новые магазины — роскошь новая; новые мостовые, новый, не русский шик города. Льют свежий асфальт, и белят стены, и возятся и пьют, и накопляют, ходят в церковь и венчаются, и любятся, и умирают между трех обличий одного святителя — Николы Плотника,

Николы на Песках и Николая Чудотворца. Зима, весна и лето, осень, хлад и жар, и мленье и закаты — все себе равно, или кажется таким.

II

Первые грозы, полумладенческие бури! Немотствовавший великан пытается сказать, выкрикивает и грозит, и смутно встряхивается — впотьмах и наудачу. И пылают барские усадьбы, останавливаются дороги, и рабочие выходят с фабрик — демонстрации идут Арбатом. «Господа» банкеты собирают, и изящно бреют русское самодержавие, между икрой и балыком, меж Эрмитажем и Прагою. Ах, конституция, парламент, Дума, новая Россия! А те, кто помоложе и попроще, кому до Эрмитажей далеко, торопятся, им некогда, все совершить бы завтра, всю бы жизнь вверх дном перевернуть. И митинги гудят, толпы чернеют, и кричат газеты об одном: вперед, вперед!

А там дружинники уже засновали по Арбату — и в папахах, и в фуражках; дворники, мальчишки помогают выворачивать столбы фонарные — для баррикад. Веселый рыцарь, Дон-Жуан и декадент, он же — издатель, и спирит, и мистик — собственноручно водружает красный флаг на баррикаде у Никольского; флаг — юбка женина. Большевики, эсеры, анархисты и художники, и гимназисты, и студенты пробуют себя: вместо «Моравии», где пропивали по рублю на пиво и закуски, целятся из маузеров из-за поваленных трамваев и калиток, снятых с петель, опутанных проволокой телефонною. Седой и старенький извозчик, годы плетшийся Арбатом, обликом похожий на св. Николая, затруднен теперь: от баррикады — лишь до баррикады. А там нужно санки перетаскивать. Да и под пулю угодишь, как раз. Но, все-таки, он ездит, ровный и покойный, как патрон его, святой из Мирликии. Поэт златоволосый не сражается, но на словах громит, анафематствует жандармов, губернатора, властей — заочно и в лицо. Поэт бирюзоглазый ждет пришествия иной культуры, вспоенной громами бурь, кипением и массой. Но массе — еще рано. Еще сильно былое, крепок штык, тверда шеренга. И в декабрьский день, морозный, заревом пылает Пресня под шрапнелями семеновцев. Бегут папахи. Спрятались и маузеры, и карабины. Москва затихла. Молодежь по тюрьмам, кое-кто погиб. Серо, туманно, пасмурно и на Арбате. Будто б окончился спектакль, где нашумели, наскандалили ребята, а в конце прогнали их. И вот — распутывают проволоку заграждений, чинят фонари, ездят патрули и гвардейцы офицеры, победители на нынче, пьянствуют по Метрополям, Прагам, Эрмитажам. Лавочки открылись на Арбате, магазины, снова

свет, и сутолока, веселье, блеск — одним забава — труд, забота для других. А седенький извозчик снова невозбранно проплывает по Арбату, снимает шапку у Николы Плотника, и крестится и крестится на углу Серебряного, где Николай Явленный. Священники же рады, что все кончилось: опять привычное, все то же, вековое, и непотрясаемое.

Положим, что есть Дума, что там говорят и критикуют, и постановляют. Но ведь это *так,* все только *так,* для формы. Прежнее — все то же. И городовой, и мирное служенье, и богатство треб, и пышность похорон. И лик св. Николая в трех церквах все тот же — строгий и покойный лик.

И снова — строятся дома, фабрики, возрастают, везут зерно на вывоз и приходят в порты русские из дальних странствий корабли с товарами: как будто крепнет, богатеет Русь. Как будто процветает и Арбат. Не нынче завтра весь он будет вымощен гранитом, как в Европе; и кафе его сияют, и огромный дом воздвигнется на углу Калошина, с бронзовым рыцарем в нише. Рыцарь задумчив, задумчив рыцарь. И стало уже тесно в Праге — думают надстроить новое святилище — выводят стены. И как будто весело, благополучно. Бегают художники, писатели и декаденты, процветают и шумят по клубам, по эстрадам, маскарадам. Сколько лирики! И темной, светлой, тонкой, уснащенной и скользящей, нежной и летящей! Поэт золотовласый улетел в Париж изгнанником — за резкости о троне. Но другие мифотворствуют и богоборствуют и препираются, и лекции читают, а иные, как поэт бирюзоглазый, все чего-то ждут. Идет ли? Не идет ли? Начинают уставать, и хриплые рога услышал уже кто-то. Ах, да так ли все благополучно? Нет ли тлена легкого, но острого, под танцем жизни?

И повсюду, на Тверской и в Камергерском, на Воздвиженке и на Арбате — смутный, соблазнительный и наглый, разлагающий, дурманящий и за собой влекущий — над великой пустотой поднявшийся:

«Танго».

И пляшут его пары на Тверской, и на Воздвиженке, и на Арбате. Сумрак! Сладко утомление. Танго, танго! И ничего не надо. Ни страстей, ни действий и ни силы любви, ни долга и восторга творчества, бессмертия, свободы — сладкий плен полуразврата-полукрасоты.

III

Страшный час, час грозный. Смертный час — призыв. Куда? — Вперед. Вперед, и в ногу, в ногу, и под барабан.

Вперед. О, содрогнулась Русь, оделась в серую шинель, и смертно лоб перекрестивши, руки сжавши, тяжко в ряды стала, тяжно марширует сапогом тяжелым: раз-два, раз-два! А черно в сердце и мила Москва, и горько — уходить. Идет Арбатом серый, крепкий строй; и на Угодника, что на углу Серебряного, взглянет ненароком проходящий, под винтовкой, ненароком перекрестится — и далее шагает. Раз-два, раз-два. Вот и Спасопесковский, с красным домом угловым, Никольский, где Никола Плотник, с позолоченной главой, за ним Смоленский, на углу толпа, и машут, слезы блестят; а там — дорожка ниже, ниже, на Москва-реку к вокзалу — голову клони, солдат. Уж дожидаются вагоны, паровозы, быстрые еще, и аккуратные; там снова — бабий вой, крик и рыданье; и влекут тебя, во мгле слепой, на жертву. Велика твоя повинность родине.

Родина же притихла. И насупилась. И затрезвела даже. Пьет — из-под полы, и удивляет старую Европу воздержанием. Надолго ли? Ну, там посмотрим. А пока — поблекли Праги, Метрополи, Эрмитажи, и все блекнут, задыхаясь в худосочии. Голубки все реже мчатся по Тверской, Арбату. И все больше лазаретов — знак кровавого креста над ними, знак печали-милости — и чаще попадаются их вывески в укромных переулках вкруг Арбата. Старые хоромы, гнезда дворянские, видевшие Герценов и Хомяковых, наполняются людьми в халатах, с лицами серо-леднеющими, и в повязках, и на костылях. Серый суп, смутность, дрема, бледная тень жизни бедной! Хочется ль чего? Нет. Жалко ли чего? Нет, тоже нет — и все как было и как будет — тихий затон в буре страшной.

Буря же бурлит. Яростны люди, свирепы пушки, пули бессчетны и бессчетна смерть, в поле реющая — и в лесах, горах, ущельях и окопах. Волна мрака накопилась, облака и тучи, и гремит, гремит бессмысленный Дракон, и пожирает, и других зовет; калек, усталых и полуживых, на родину, посмеиваясь, направляет. И идут полки вниз по Арбату, на Дорогомилово, а возвращаются в вагонах санитарных, по трамвайной линии, из-за реки.

Сердобольные ж хлопочут дамы, посещают, навещают, развлекают, музицируют и умиляются на «мощь героя серого». Серый же герой еще покорен. Все еще вытягивается и козыряет, и безмолвно умирает на полях далеких, неизвестно за кого и за что. Но еще крестится, на углу Серебряного, на древний образ Николая Чудотворца, глядит еще почтительно на две иконы, что под тротуаром — святитель Николай, спасающий матроса и освобождающий пленного в темнице. Слушает еще и всенощные, и обедни на полях Галиции, и в Польше, и под Ригой.

Но клонится к закату, внутренне склоняется, сгнивая, старое. И бесподдержно, и вдруг, бесповоротно расползается сам трон, и нету больше древних генералов, губернаторов и полицеймейстеров, и гимна, и сурового орла монархии.

Все быль, сон былой — и новый сон уж начинается, пока лишь многословно-легкомысленно-пустопорожний. Молчали долго — и заговорили! Хочется сказать, и здесь и там, у памятника Скобелеву и под Пушкиным, и на Арбатской площади, и где угодно. Все серые шинели, серые герои, и один лепечет за другим, все тем же еще получленораздельным звуком, все о том же, о войне, свободе, революции. О том же говорят, и так же длинно, но изящнее и грамотнее, и бесконечные политики с Арбата, адвокаты, инженеры и военные, ныне страной правящие. О русские интеллигенты, о слова, слова, прекраснодушие, приятность, барственность, народолюбие! Сурова жизнь, и не приятна, и не прекраснодушна. Но профессора, экономисты из соседних переулков, получившие портфели министерские, гласные *свободной* Думы, из домовладельцев и врачей, еще надеются на что-то, думают управиться с героями в шинелях серых, воевать до одоления врага, и все тому подобное. Лишь более прозорливые, из богатых, денежки пересчитав, проверив — утекают, кто в Японию, а кто на запад.

И вóвремя, и вóвремя! Ведь надоело словопрение, шатание, незнание. И надоело жить в окопах, видеть смерть и ждать ее, и надоело зрелище богатых рядом с бедными, и так отлично — прекратить все это, отобрать, что можно, поделить, с кем нужно, и, на белый свет провозгласивши братство всех трудящихся, из ничего стать всем. И вал растет, буря идет. Поделена земля и допылали те усадьбы, что нетронуты двенадцать лет назад. Разведен скот, диваны вытащены, зеркала побиты и повырублены кое-где сады. Библиотеки отпылали, сколько надо — в пламени ль пожаров, в мирных ли цигарках. И ты идешь домой, *серый герой*, трудно ведь на войне сидеть, когда в Рязанской, Тульской и Тамбовской, дóма, *добро делят*. Ну-ка, господин буржуй, иди кому угодно, под шрапнели, в мерзлые окопы, в вонь, ко вшам, на смерть? И облепились уже вагоны воинами без щитов, пустеет дикое и горестное поле бранное. Но вряд ли надоело драться. Драться — да не там — не так.

И ты увидел, наконец, Арбат, опять войну — не детскую, как прежде, не задорно шуточную, нет, но настоящую войну, братоубийственную, с треском пулеметов, с завыванием гранат. Туго пришлось тебе, твоим спокойным переулкам, выросшим на барственности, на библиотеках и культурах, на спокойной сытости, изящной жизни. Неделю ты прислушивался, как гро-

мили бомбами — ныне не Пресню уж, а самый Кремль. И за дверьми, за ставнями шептал: «Не может быть, нет, невозможно!»

Но пока шептал, уж новое пришло на твои камни, в серенькие дни ноябрьские, спустилось крепкой, цепкой лапой, облепило стены сотнями плакатов и декретов, выпустило новые слова, слуху несвычные, захватило банки, биржи, магазины и твои, спокойный, либеральный и благополучный думец, сейфы и бриллианты.

Ты же протирал глаза, о обыватель, гражданин и пассажир международных lux'ов, посетитель вод, Карлсбадов, Киссингенов; ты, страдавший ожиреньем сердца, ощутил, что все заколебалось в смутном дьявольски-бесовском танце. Проносились новые автомобили, грузовые, полные людей вооруженных, тех же *серых все героев*; заработала машина смерти; заработала машина голода. И прежние подвальники, и медники, и вся мастеровщина, туго жизнью пригнетенная, из щелей повыползала, из темных нор своих, и вверх задвигалась. «Попировали, и довольно! Нынче наш черед!»

Выходи беднота, тьма, голь и нищенство, подымай голос, нынче твой день.

IV

В январе толпы *героев серых,* возвращающихся с брани. Ночью, отлипая смутными гурьбами от площадок, крыш вагонов, буферов тех поездов, что добирались кое-как до Брянского, хмурые и молчаливые, с котомками через плечо, валят они валом неслабнущим, в темноте Арбата, к площади. «Эй, товарищ, как к Рязанскому?» Все Русь и Русь. Рязань, Тамбов, Саратов, все спешат домой, подальше от окопов, смерти хладной, голода. Грязь, вши и мрак. Грязь, хлад в Москве, стон, вой и мерзость и в вагонах тех, куда спешат, стремятся на родину — в ту же мразь беспросветную. Арбатский житель, с ними повстречавшись, пожимается, карманы попридерживая — впрочем, пусто в них, как и в желудке — но сермягам и не до его карманов. Может быть покоен. А последнее пальтишко стащут с него в переулке, вежливо прикладывая дуло револьвера к уху. Ну, что ж, давать, так отдавать! Все равно, нету ничего. Ни дров, ни хлеба, ни угла — скитайся, голь, святая бедность! И скитаются и мерзнут, темной ночью, в сумраке пустынных ветров.

Но и утро занимается над городом. Пробрели все серые герои, призакончились убийства, грабежи и казни — солнце продирается в туманах инея, в огнезлатистых пеленах, столбах

жемчужно-радужных. Пар от всего валит, что дышит. Как много серебра, как дешево оно! И на усах, и на обмызганных воротниках пальтишек людей жизни новой. Люди новой, братской жизни, парами и в одиночку, вереницами, как мизерабли долин адских, бегут на службу, в реквизированные особняки, где среди тьмы бумаг, в стукотне машинок, среди брито-сытых лиц начальства в куртках кожаных и френчах будут создавать величие и благоденствие страны. Вперед, вперед! К светлому будущему! Братство народов, равенство, счастье всесветное. А пока что, все ворчат. И все как будто ненавидят ближнего. Тесно уж на тротуарах, идут улицей. Толкаются, бранятся. Барышня везет на саночках поклажу. Малый со старухой, задыхаясь, тащит на веревке толстое бревно, откуда-то слимоненное. А магазины запертые сплошь, уныло мерзнут промороженными стеклами. И лишь «Закрытые распределители» привлекают очереди мизераблей дрогнущих — за полуфунтом хлеба. Да обнаженные витрины двух иль трех советских лавок выставляют пустоту свою. Но не задумывайся, не заглядывайся на ничто: как раз в морозной мгле ты угодишь под серо-хлюпающий, грузный грузовик с торчащими на нем солдатами, верхом на кипах, на тюках материи, иль на штанах, сотнями сложенных. А может задавить автомобиль еще иной — легкий, изящный. В нем, конечно, комиссар — от военно-бритых, гениальных полководцев и стратегов, через товарищей из слесарей, до спецов, совнархозов — эти буржуазней и покойней. Но у всех летящих общее в лице: как важно! как велико! И сиянье славы и самодовольства освещает весь Арбат. Проезжают и на лошадях. Солдат на козлах, или личность темная, неясная. В санях, за полостью — или второстепенный спец, или товарищ мастеровой, но тоже второстепенный, в ушастой шапке, вывороченной мехом куртке. Это начальство едет заседать, решать, вязать. С утра весь день будут носиться по Арбату резвые автомобили, снеговую пыль взрывая и гудя. Чтоб не было для них ухабов, обыватель, илот робкий разгребает и вывозит снег. Барышни стучат лопатами; гимназисты везут санки. И солидные буржуи, отдуваясь, чистят тротуар. Профессора, семьями тусклыми, везут свои пайки в салазках; женщины бредут с мешками за плечами — путешественницы за картофелем, морковью. В переулках близ Смоленского торгуют молоком, дровами, яйцами. Мальчишки выкликают: «Папиросы рассыпные, Реже, Ява, Ира!» И краснощекие красноармейцы, молодые люди в галифе, брито-сытые, с красной пентограммой на фуражках, отбирают себе Иру. Полусумасшедшая старуха, в рваной кофте и матерчатых полусапожках, широко расставив ноги, бредет с палкой и бессмысленно бормочет:

«Помогите! Помогите!» — и протягивает руку. Старый человек, спокойный, важный, полузамерзающий, в очках, сидит на выступе окна и продает конверты — близ Никольского. А у Николы Чудотворца, под иконой его, что смотрит на Арбат, в черных наушниках и пальто старо-военном, с золотыми пуговицами, пристроился полковник, с седенькими, тупо-заслезившимися глазками, побелевшим носом, и неукоснительно твердит: «Подайте полковому командиру!» Рыцарь задумчивый, задумчивый рыцарь с высот дома в Калошином, вниз глядит, на кипение, бедный и горький бег жизни на улице, и цепенеет, в седой изморози, на высоте своей. А внизу фуры едут, грузовики с мебелью. Столы, кровати, умывальники; зеркала нежно и небесно отблескивают, покачиваясь на толчках. Люди в ушастых шапках, в солдатских шинелях, в куртках кожаных въезжают и выезжают, из одних домов увозят, а в другие ввозят, вселяют, выселяют, все перерывая, вороша жизнь старую. Туго старой жизни; притаилась в тихих переулках, думает, гадает, выселяется и тащит на Смоленский кружева, браслеты, чашки, шали, юбки, мундштуки, подсвечники и кольца, и спускает мужичкам, красноармейцам,. спекулянтам, чтобы купить проклятой пшенки, радости советской. И все ждет и надеется: «Ну, теперь уж близко!» «Слышали,— ведь заговор. Нет-с, когда и среди них пошли раздоры, это агония!» Но от разговоров не слабей морозы, не дешевле дрова краденые — и дороже пшенка.

И теперь узнал поэт золотовласый, что есть печка дымная, что есть работа в одной комнате с женой и дочкой, что есть пуд картошки мерзлой, на себе тащимой с Курского вокзала. Но все так же, не теряя жизненности, силы и веселья, пробегает он по правой стороне Арбата, ловя взоры девушек. По левой же — все так же пролетает и поэт бирюзоглазый, сильно поседевший, в пальто рваном и шапчонке тертой — он спешит на лекцию, на семинарий, в пролеткульт и пролетдрам, политотдел и наробраз, и в словах новых будет поучать людей новейшим, старым откровениям писаний.

Так идет, скрипит, стонет и ухает, гудит автомобилями, лущится семечками, отравляется денатуратом, выселяется и арестуется, жиреет и околевает с голоду жизнь на улице-долине, в улице, ведущей от Николы Плотника к Николе на Песках и далее к Николаю Явленному. Средь горечи ее, стонов отчаяния, средь крови, крика, низости, среди порывов, деятельности, силы и ничтожества, среди всех образов и человека, и животного — всегда, в субботний день пред вечером, в воскресный — утром, гудят спокойные и важные колокола Троих Никол, вливаясь в сорок сороков церквей Москвы. На зов их собирается различный

люд. И старый, молодой, и бедный, и богатый. Из холодающих углов идут старухи, чья судьба недолга; из уплотненных, некогда покоев важных — фрейлины, аристократки. Лавочники лысые и мелкие служащие, и девушки какие-то, из скромных — может быть, из тех, что надрывались днем, таща бревно, работая на кухне, добывая пшенку. Интеллигент русский, давняя Голгофа родины, человек невидный и несильный, перекрестит лоб. И матери и сестры, и невесты, что оплакивают ближних, пожранных свирепой жизнью. Наконец, даже и ты, солдат красноармеец, воин новой жизни. Все сюда собрались, все равны здесь, равенством страдания, задумчивости, равенством любви к великому и запредельному, общего стояния пред Богом.

Служат старые священники. Есть, впрочем, также молодые, но иные уж, чем раньше; все иное. Все попроще, побледней, и будто строже. Будто многое отмылось, вековое, цепеневшее. И будто бы Никола сам, помощник страждущим, ближе сошел в жизнь страшную.

Колокола звонят. Свечи теплятся. Ризы сияют на иконах, хор поет. Любовь, спокойный, светлый мир зовет. «Приидите ко Мне вси труждающиеся и обремененные, и Аз упокою Вы». И снова, и снова, как Рахиль древняя, как Мария Матерь Господа, омывает мать слезами постаревшее свое лицо, мать над сыновним трупом, над женихом невеста, и сестра над братом. И сердца усталые, души, в огне мятущиеся, души, грехом палимые, изнемогшие под грузом убиенных — все идут сюда, быть может, и палач и жертва, и придут, доколе живо сердце человеческое.

Хор поет призывно: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Девушки в платочках беленьких, как сестры милосердия, прислуживают при служении.

V

Образ юности отошедшей, жизни шумной и вольной, ласковой сутолоки, любви, надежд, успехов и меланхолий, веселья и стремленья — это ты, Арбат. Ты и шумел и веселился, богател и беззаботничал — ты поплатился. По тебе прошли метели страшные, размыли тебя и замертвили, выели все тротуары твои, омрачили, холоду нагнали по домам, тифом, холодом, голодом, казнями пронеслись по жителям твоим, и многих разметали вдаль. Залетел опять, как некогда, поэт золотовласый в чуждые края; умчался и поэт бирюзоглазый к иностранцам. Многие поумирали. А кто выжил, кто остался, те узнали, жизнь, грозный и свирепый лик твой. Из детей стали мужами. Окрепли, зака-

лились, поседели. Некогда уж больше веселиться, и мечтать, меланхоличничать. Борись, отстаивай свой дом, семью, детей. Вези паек, тащи салазки, разгребай сугробы и коли дрова, но не сдавайся, русский, гражданин Арбата. Много нагрешил ты, заплатил недешево. Но такова жизнь. И не стоит на месте. Налетела буря, пронеслась, карая, взвешивая, встряхивая — стала тихнуть. Утомились воевать, и ненавидеть; начал силу забирать обычный день — атомная пружина человечества. Снова стал ты изменяться, сам Арбат. И с удивлением взирает рыцарь в латах, рыцарь задумчивый с высот Калошина, что человек опять закопошился за витринами магазинов, и за дверками лавчонок, мастерских; что возится и чинит плотник, и стекольщик заменяет пулями пробитый бём на новый, и старательно расписывает живописец вывеску над булочной. Вновь толпа нарядней. Вновь стремятся женщины к одеждам, а мужчины к деньгам. Вновь по вечерам кафе сияют, и из книжных магазинов книги смотрят, и извозчики снуют. Блестит Арбат, как полагается, по вечерам. И тот же Орион, семизвездием тайнопрельщающим, ведет свой путь загадочный в пустынях неба, над печально-бурной сутолокой людей.

А ты живешь, в жизни новейшей, вновь беспощадной, среди богатых и бедных, даровитых и бездарных, неудачников, счастливцев. Не позабывай уроков. Будь спокоен, скромен, сдержан. Призывай любовь и кротость, столь безмерно изгнанных, столь поруганных. Слушай звон колоколов Арбата. В горестях, скорбях суровых, пей вино благости, опьянения духовного, и да будет для тебя оно острей и слаще едких слез. Слезы же приими. Плачь с плачущими. Замерзай с замерзшими и голодай с голодными. Но не гаси себя, и не сдавайся плену мелкой жизни, мелкого стяжательства ты, русский, гражданин Арбата.

И Никола Милостивый, тихий и простой святитель, покровитель страждущих, друг бедных и заступник беззаступных, распростерший над твоею улицей три креста своих, три алтаря своих, благословит путь твой и в метель жизненную проведет. Так расцветет мой дом, но не заглохнет.

А старенький, седой извозчик, именем Микола, проезжавший некогда на санках по Арбату на клячонке Дмитровской, тот немудрящий старичок, что ездил при царе и через баррикады, не боялся пуль, и лишь замолк на время — он уж едет снова от Дорогомилова к Большому Афанасьевскому.

Москва, 1921

УЕДИНЕНИЕ

Павлу Муратову

O beata solitudo! O sola beatitudo![1]

Грохот и ветер, пыль рушащегося. Кровь, голод и сытый жир. Речи, собрания. Шум разговоров. Вдруг человек остановится, прочитает стихи. Лишь сонет прочтет. Задумается. И захочет на минуту быть один. Тут же, у стола, в час ночной, в смутном громе событий и пустяков, вот уже основал малый скит на базаре, в проходной комнате, в уплотненном логове. Прозвенит в нем к заутрене, бледно-серебряным стихом Петрарка. И рука Лауры проплывет, в шелковой перчатке, шитой золотом.

Это уединение. Час стояния тихого — и ответа. Как живешь, человек? Помолчи. И будь скромен. Не думай, что такой уж подвиг — замечтаться над стихом. В ином подвиг. Тебе — далёко! Очень далекó тебе до подвига.

Но побудь в своей киновии придорожной.

Седьмой этаж. Окно растворено на переулок. Гигантский тополь под окном, с молочно-зеленеющей листвой. Несколько галок, очень смирных, жирно-блещущих крылами. Небо смутно-пепельное; да две башни вдалеке, два близнеца музея Исторического. Московский летний вечер. Сидят и говорят — у самовара за столом. В блюдечке вишни спелые. И древняя икона красно-золотеет на стене.

Жена выходит из соседней комнаты. Слегка подведены глаза, слегка духи, слегка изящество; походкой легкой, отдаленной удаляется из дома.

— До свиданья!

Пустынен дом и холодеет несколько. Ушла жена. Куда?

---

[1] О благословенное уединение! О одинокое блаженство! *(ит.)*

Зачем? Быть может, и за пустяком. Быть может, нет. Но дом один. И галки перелетывают в тополе ветвистом. Синий вечер. Ты идешь в лиловеющей полумгле, с бледно зажегшимся шаром электричества. И ты один, пустынен, легок и неслышен в пестрой сутолоке бульвара, в море лиц, фигур, желаний и сердцебиений. Не одна жена уходит. Жизни начинаются, текут, расходятся. Ты же медленно идешь уже по переулку, вспоминаешь что-то о себе и своей жизни, и не знаешь, вспомнишь ли, да нужно ли и вспоминать? Обгоняет пара. Это древнее, все то же, милое и жаркое. Ты помнишь?

Ночь, приветствуй сердце. Ликом ясным и прохладным нас овей.

> ...ma questa altera
> Tacita, stanca, dopo se mi chiama[1].

Священник просто произносит в алтаре: «Мир всем!» И дальше: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы». Где лазурь, сияние, весна? Нельзя без них ведь. Там же. Все в напеве, в символе, в мистерии. В ней выступаем мы за жизнь, мы любим.

Где любовь, когда мы вышли? Усмотрю ли брата в звере? И отдам ли душу прокаженному?

О, смутные утра и ночи тяжкие, тяжелые раздумья. Кровь вскипает. Нету кротости. И Ты далек тогда, Ты, смерть за нас приявший.

Быть может, мы народ полюбим? Мы, выросшие на народолюбии, воспитанные на Платонах Каратаевых, Живых Мощах?

Быть может.

Видели вы смерть?

День весенний. Переулок Палашевский. Сильно каплет с крыш, и лужи, и лазурь. Бежит народ, и выстрелы. «Ограбили!» Матрос вталкивает девочку в калитку. Бледное лицо, злое. И вдруг тихо стало, уж не бегут, идут все мрачные, и только солнце светит. В тишине и пустоте из ворот дома выезжают розвальни. На них поклажа. Укрыта некиим брезентом. Да, но странно, ноги выглянули. «Что такое?» — «Не видишь — люди!» Лошадь тяжко влегла в хомут свой; солдат шагает

---

[1] Но тот, другой, молчаливый пруд с тех пор меня призывает *(ит.)*.

рядом. «Да что, за что?» — «Вон, во дворе прикончили, у стенки. Больше ничего». Прохожий сумрачен, и зол, и стыден. Солнцу же не стыдно. И конек мужицкий, среди бела дня везет по улицам Москвы тела казненных.

Или так: ветер, буря, тьма кудлатая. Вокзал малого городка. Поезд. Вой толпы осаждающей. Лезут и лезут все, безымянные, в черноте, под блеск фонаря задуваемого. Бабы и бабы, и мужики, узлы, дети. Где начало их, где их конец? Слова, рев ругательств. Темная ночь! Выпустила ты всех нас, детей своих, смутною хлябью. Мы — это ты. Ты — мы. Нас ветер подхватывает, приклады толкают, и мы изрыгаем себя, в тебя, с яростью. Р-раз, р-раз! Как сухо, резко. Противный звук. Точно раскололось что-то. Вновь гудение, и поезд в лохмах тел скучно удаляется к реке, к мосту железному, и скучно, на перроне обширном такая же толпа осталась, ей в лицо бьет тот же ветер, пасмы хмурой ночи.

Что ж, недалек рассвет ноябрьский. Мрак в теле зябнущем. А посереет на востоке, выдвинется низенькое, красноватое строение — вокзал; даль серая, бесплодное заречье. В суетне присмотришься к носилкам. Тут же водрузились, у дверей. Молодой человек, ничком, стриженный, с виском простреленным. Собака обнюхивает; ноги разутые из-под шинели. Да, по нечаянности. Народ пужали. Разве сладишь с ними? Ну, понятно, надо бы повыше, через головы. Не разберешь в проклятой мгле.

— А сапоги?

— Сапоги новые. Не пропадать же. Сотня косых.

— Э-эх, ироды! Мальчишка ведь.

— Чего там!

Красный крест, сестра дежурная, двое носильщиков. И ничего не было, все выдумка ночи неистовой, толпы неистовой чернопронзающего ноября.

Ну, несись, черный корабль ночей ноябрьских, лети вперед, морем вскипающим, корабль страданий, бед, к берегам новым, кровавя след за собой.

Твори судьбу.

Страшен ты, да и велик, путь твой — не тропиночка, бег твой — крылатый скок.

А над бегом, и над бурей, и над грохотом — небо превечное с ночною синью и звездой недвижною. Звезда бессмертная! Твердь золотая над смерчем.

Мещанский домик, в том же городишке, ночь, теплая комната и постель мягкая. Пахнет чуть сладковато. Часы тикают. За

окном же ночь синяя, с легким морозцем мартовским, со звездой, крупно-блещущей в уголке окна.

За перегородкой тоненькой девичьи голоса, негромко, как бы боязливо.

— Ну, а по-твоему, душа бессмертна?

— Конечно. Так и Петр Андреевич говорит. Тело умрет, а дух вновь воплотится с тем, чтоб совершенствоваться. Если прожил недостойно, то душе труднее вознестись.

— Петр Андреевич уж всегда о чем-нибудь таком пророчествует.

— Не пророчествует, а наверно это правда. Нет, душа не может умереть. Ведь и любовь бессмертна.

Тихо за окном. Пустынна и голубовата улица с садами за забором. Полночь бьет. Звезда в стекле дробится, искрится, уходит.

Уединение Воклюза, Сорга, жизнь Петрарки. Отдаленные прогулки по холмам в Провансе. И ручьи. И реки светлые. И светлый воздух, светлые стихи. Все — сон. Все — нежность, стон любви, томленье смерти.

Но ведь ж и з н ь свирепа? Да и будет ли мягка?

Мы любим. А не любят — нас.

За что же и любить? Как будто не за что. Нам — не любовь. Но мы не захолустье. Великий, мировой путь, это мы.

Смерть — наш хозяин; кровь — утучнение полей; стон — песня.

И для чего-то нужны мы.

Любитель просвещения, мужик черноволосый, библиотекой нашей восхищавшийся, встречает на вокзале. Вечер. За Окой садится солнце. Мутно-розовеет. У телеги Ким увязывает вещи.

Почитатель пожимает руку, ухмыляется.

— Ну как же, просто на телеге, да на этакой. Э-эх, народ неблагодарный! Да ведь это просвещенье! Ведь познания какие... книги! Это ведь понять, осмыслить, значит... А они еще неблагодарны...

Тут он умиляется до крайности, вдруг снова схватывает руку — и целует. Вот так раз!

В смущении собрался закурить — нет спичек. Поклонник снова взвыл.

— Нет спичек! Ну скажи, пожалуйста, у нашего у барина...

И далее, и далее.

Когда чрез несколько минут уж едем, догоняет. Весь вспотел, зубы блестят, лицо сияет, черные патлы свисают.

— На дорожку-то... Далече...

Тычет мне три спички.

— У нашего у барина... без спичек... Ну, скажи, пожалуйста.

Русь, ширь и мгла! Сумрак синеющий, реянье звезд, поле пустынное, шорохи ветра, Млечный Путь в небе, светло-туманный.

Гремит телега. И пылит. Нас догоняют парою. И обгоняют — с гиком, свистом.

— Эй-й, барин, держись, бар-р-рин!

Злобно, дерзко. Кто я им? Они кто? Видно, выпивши. Баба визжит в телеге, и катят дальше, полем пустынным, русская вольница, русская злоба. Мы трусцой догоняем.

Хохот. Визг, матерщина. Все на нас, на мой облик, на то, что я в шляпе, в пальто.

— А барынька...

И опять скачут. Из поля дикого дикие песни, вой дикий. Ветер же бледно шуршит, ласково, песней свирельной, столь легкой, столь нежной. По воздушным клавишам несется перстом девичьим...

Их раздражает, когда, догнавши, я приказываю остановиться, чтобы ждать удаления. Мне скучно с ними. Им — обидно, давнею обидой, может быть, и вековою. И безбрежные поля, в ночи синеющей, вновь оглашают они.

— А барынька...

В малом лесочке — полдороги до дому — они останавливаются. Здесь нередко грабят. Место пустынное. Здесь не услышат, не узнают. Дорогу заслонили — не объедешь. Опять стоим. Закуриваю папироску. И у них огонь, и снова брань, снова сердиты, что не хочу к ним подъехать.

Вдруг хлестнули по коням, по рытвинам лесной дороги покатили, зверски прыгая в телеге на толчках.

Едем все шагом. Выезжаем — поле ровное, прозрачной сини; и все тот же ветерок берет арпеджио перстами девичьими.

Пофыркивает лошадь. И телега наша погромыхивает. Где ж те? Исчезли, сгинули? Звезды бледнеют. Серебряное, тихое прошло по ночи. Перепел — пить-перевить, пить-перевить. Ветерок загасил Млечный Путь.

Идет рассвет. Скоро ли? Скоро ль? Никто не оскорбляет уж раздольных мест, светлых одежд предутренних, сребро-дышащих. Вновь ты, земля,— да небо, да Господь.

Значит, так и надо? Пролететь телеге дикой в ночи синей — сгинуть. Может быть, и надо.

Звезды забелеют чище пред рассветом и прозрачней сумрак, пряней конопляный дух вблизи деревни.

Сердце — таешь ли, иль ужасаешься? Звезда проходит в горних. Дикарь бунтует. Все под покровом ночи.

Одинокая ночь города. В комнате сумрачно. Под красным колпачком из шелка пятно света на столе. Угасли окна через улицу; и лишь упорный труженик внизу все строчит что-то, пишет, и спины не разгибает. Редко удается, но и хорошо работать в час уединения. Единый господин себе, едина воля, сладостен покой. Живее мысль играет — отделенная, но и всему родная. Все — мое, доступно, охватимо.

И когда устанет голова, то возьми ключ и тросточку, шляпу надень, никого не будя, тихо сойдешь лестницей, где кошка прыгнет, в переулок, что к Арбату.

Как все знакомо здесь! И старо, и ново, мило, грустно, кладбище и росток жизни. В младости летали на извозчиках, мечтали над закатами, ходили на свиданья, неслись в туманно-пестрой жизни. Видели позже мрак и разорение, и окна заколоченные, тротуары выбитые. Горестных стариков с милостынкой; старух полубезумных. Видели ряды салазок с кладью, надрывающихся женщин, тащущих бревно украденное — для печурок; и народ в поте лица бредущий серединой улицы, сугробами. Брели и сами, волоча трубу, диваны, старый шкаф.

Но уходит все, меняется, проносится; и жизнь не ждет, и час идет.

Все спят. Здоровые и сытые, больные и замученные. Луна блестит. Арбат в луне сияет, золотеет крест на церкви Николая; одинокие шаги стучат...

Мир, отдохни! Завтра жизнь новая, новые страсти, тяготы, мучения. Но сейчас луна так светит. Так высоко, чисто в небе, так безбрежно в сердце.

Мимо Николая Чудотворца, что с иконою на улицу, пройдешь в церковный двор. Увидишь там бассейн, старинный, где журчит вода, и мох, и плесень, точно бы родник Ютурны в Риме. Закоулком, мимо домиков едва дышащих выйдешь в новый переулок, вновь в ворота, и наискось пересечешь развалины домов, среди травы и свежей поросли. Фундаменты видны еще под грудой кирпичей. Вот и тот дом, где жил, маленький гроб отшедшего, руины бурнопламенной эпохи. Лишь кошки, как на форуме Траяна. Лишь луна и тишина, и сокращенный разрушеньем путь, и блеск стекла в куче развалин.

В печали, небрежении лежишь, мой город. Но из пепла возродишься. Но ты жив, хоть и немотствуешь.

Рука судеб. Воля Божеств. Синяя твердь, пустынное море. Звон светло-серебряный стиха Петрарки.

Дай любви — вынести. Дай веры — ждать.

Москва, 1921

БЕЛЫЙ СВЕТ

Бедная жизнь, малая жизнь, что о тебе сказать, чем порадовать? Не сердись и не обижайся. Будем скромней. Ведь в тебе несусь, ты принимаешь, и снежок зимний на Арбате зимнем посыпает и меня, да и тебя, ветер завивает и уносит, все уносит, рады мы, или не рады.

Ты хотела б быть пышней, нарядней, и могущественней. Может быть, и я бы превзошел себя.

Но есть Судьба. Тебе и мне. Хочешь не хочешь, ее примешь. Я — уж принял. Я живу в ней, в ней иду. Прохожу сквозь тебя, жизнь, и посматриваю. Печаль, веселье и трагедия, цена на молоко, очередь в булочной, новый декрет, смех, смерть, пирожные и муки голода — все вижу я и, пожалуй, знаю.

Заповеди счастия:

I. Помни о печке. Сложи каменную. Не забудь о дымоходе, полюби дрова, знай смысл полена. Если нет дыму и тепло, то ты в преддверии.

II. Ешь. Продавай штаны, женину юбку, книги, старые подсвечники и этажерку, только не ослабевай, иначе уж не встанешь.

III. Спи, или ты не выдержишь. Но выдержать ты можешь, должен. Ведь другие же выдерживают, да и мудрость, правда, уж не так огромна.

Снег, пушисто на Арбате. Мягкий скрип саней, автомобиль несется. «Чайная-столовая», «Гастрономия Н», папиросы и пирожные. «Есть свежие булочки». «Извозчик, на Солянку!» «Полтинник, барин».

Галифе с дамой румяной, в многомиллионном палантине, катят.

У стены политики газету поедают. «Крах капитализма». «Надо бить в набат». «Держите порох сухим».

И летит ворона, села на крест церкви Николы Явленного, покаркивает себе. Белый же снежок все посыпает, и меня, и

тебя, и коммуниста, и спекулянта в соболях, и чудака с моноклем, в рваном котелке, опорках, с мешком рухляди, и с видом элегантно-стынущим — деловито шествует он улицей, невдалеке от тротуара.

Бело, пустынно. Ты идешь. Страдал ли ты, был счастлив, строил планы? Надеялся, мечтал? Но тут ты кланяешься: много на Арбате, ведь, знакомых.

И дальше, в белых буднях. Дни твои восстают, умирают, виденьями скромными, между хозяйством и литературой, Арбатом, лавкою книжною, книгами и газетами, в вихре политики, рушащегося и строящегося. Снова: будь скромен, и не заносись, приказчик за прилавком.

— Есть учебники?

— Древний мир, Иванова?

— А-а, скажите, нет ли о театре?

— Хозяин, азбуку,

Барышни — Блока, Ахматову. Актрисы — Уайльда. Философы — о Гегелях, дамы постарше — в детском.

Важный субъект:

— Нет ли восемнадцатого века?

Хлопает и затворяется входная деврь, потрескивает печка, издатели приходят, философы беседуют — о выдаче пайка. Нуждающиеся в пшенке тащут свои книги, другие оставляют сотни тысяч и выносят связки книг, дверь все хлопает и затворяется, дамы, мальчики, снобы, студенты, поэты, техники, букинисты...— где конец? где начало?

А за кассою твердою рукою ведет дела дома торгового ясноокая Паллада. Вспыхнет электричество в четыре, в шесть погаснет. Тьма, снежок. Хладные улицы, зеленые огни.

Сиянье дальних океанов, древние наречия, озера, тонкий свет пейзажа, поля риса и монастыри буддистов, перезвон неведомых колоколов и легкий танец радости, и сонный плеск весла бамбукового. Изящно-краткий звук стиха. Лепестки вишен, падающие в фарфоровую чашечку вина златистого.

Малые основы жизни:

I. Пайком не брезгай (не гордись). Разговаривай о нем почтительно, не пропускай буквы своей, записывайся до свету; бери достаточно с собой бечевок и мешки. Не позабудь бутылок. Осмотри санки. Терпи в очереди, не кричи, что дали масло горклое или мясо с костью. Не волнуйся и не нервничай.

II. Почитай примус. Он твой домашний лар. Наблюдай за жизнию его. Чисти иглой. Поршень, если ослабел, размачивай

в стакане с кипятком. Делай возлияния ему — чистейшим газолином.

III. Затыкай все щели. Вентиляции, ведь, хватит. Холод же придет наверно.

Хочешь похворать? Что же, ложись. Сначала это странным может показаться. Жена тоже больна, и некому ходить за хлебом, скромно мерить Арбат зимний, ждать у касс, получать сдачу. Некому отправить девочку в училище, затопить печь, готовить. Ты ложишься, не без удивления. Знобит. Устало тело. Белый, зимний день в окне, и снег попархивает. Но покойно в сердце! Что ж, ты невиновен. Сколько мог, трудился. Ставил самовар. Мыл посуду. Распалял примус — человечье имя у него — Михаил Михайлыч. Но вот, наконец, настигли и тебя. Неважно. Даже славно, отдохнуть и ни о чем не думать. Жизнь же? Жизнь наладится, наверно. Велика Москва, любвеобильна. Не покинут добрые.

С улыбкой думаешь: «В Москве, да чтобы дали сгинуть? Вряд ли».

И действительно, устроишься. Кто-нибудь пойдет к аптекарю, кто-нибудь самовар наладит. Добрая душа уберет комнату, сготовит на печурке, подаст градусник — и ты уж жив — житель беспечный на волнах хаоса — вот и день твой малый отшумел.

И хоть в хаосе — все же протекут, как надо, дни болезни, и ты встанешь, и с кувшином синим из-под молока, с корзиночкой побредешь Арбатом зимним, утренним за малыми делами жизни. Тысячи, и сотни лет трудилось человечество, изо дня в день. Возьми и ты уголок бремени. Это — чтоб не заносился ты, не важничал.

Если заспался, молоко уже раскуплено. Тогда — к Смоленскому, приюту верному. Свернешь направо, мимо двух лачужек, пустыря, где дом стоял, а ныне дерево одно торчит, увешанное тряпками.

Худая собачонка бродит, разбирая что-то в куче. Наигрывая на гармошке, шагают четверо парней, в тулупчиках, с лицами ясно-веселыми. С душой голубоокою поют.

Вспомню, вспомню, вспомню я,
Как отца зарезал,
А любовницу свою
На дуге повесил.

Старуха на углу, сияя в снегу, со щекой подвязанной, клонится поклоном низким, древне-убого-покорным, руку протягивает — «Подайте милостыньку»...

В конце Толстовского, преддверия рынка, бабы молочницы с флягами. Тощему интеллигенту, барыне в салопе льют кружками белую жидкость со льдинками — в кувшины, кастрюлечки, махотки.

Смоленский! Средоточие Москвы, знамя политики, сердце всех баб, солдат и спекулянтов, родина слухов, гнездо фронды, суета, базар, печаль, ничтожество и безобразие убогой жизни. Кишит толпа, вечно кишит, с утра до вечера. Ее разгонят, оберут, засадят кой-кого — вновь собираются, торгуют в переулках, откупаются,— но все-таки торгуют, все же норовят друг друга объегорить, где-нибудь сорвать, на чем-нибудь нажиться. Долго разгоняли — но неутомимый, юркий бес все ж одолел — и невозбранная гудит мамона. В палатках продают духи и гвозди, мыло, башмаки и бриллианты, статуэтки и материи, торговцы опытные; а напротив, длинными рядами вытянулись мизерабли, на себе принесшие отребья. На снегу — чернильница и дамские чулки; старинная миниатюра; кружева. Вот женская рука вытягивается, в перчатке черной — кольца на ней нацеплены; старенькая дама стынет, леденеет над такими же, как она, старыми книжонками. Две девушки накинули сверх шубок платья; бритый барин в котелке предлагает тряпочные куклы. И временами все сторонятся — тарахтит форд, прокладывая вольную дорогу, путь начальства, власти, самоопьянения.

Опять сомкнутся вновь безмолвные ряды просящих лиц, сизых носов, глаз слезящихся, вновь ходят по рядам дамы нарядные, скупщики, спецы — без конца и без начала человечья орда — сутолка, под серым небом с пролетающими галками, снежком, зигзагом реющим. Галдят, торгуются, пробуют материи, едят на лотках ситный, жуют свинину, разбирают сахар краденый, завертывают масло.

Вблизи молочниц, на снегу улицы — в раме гравюра. Отдых Пречистой на пути с Иосифом в Египет. Богородица уснула. Лишь Младенец тянется к двум ангелам,— один протягивает ему плошку, а другой дает еду. Иосиф в отдалении. И справа, за скалой, где приютились путники, спокойный, мирный слон.

«Buturum et mel comedet ut sciat reprobare malum et eligere bonum» — подпись.

А внизу:

«Ferdinando III Austriaco Magno Etruriae Duci — Nicolaus Poussin»[1].

---

[1] «Он будет есть мед и масло, чтобы воспринять добро и противостоять злу». «Фердинанд III Австрийский, великий вождь Этрурии — Никола Пуссен» *(лат.)*.

Так вот где Ты, Спаситель, и Египет, и Пуссен, Этрурия! Так вот где. Смотрим и молчим, проходим с только что добытым молоком, которое снесем домой и будем аккуратно кипятить, задабривая газолином свежим нашего Михаила Михайловича, чтоб не спесивился и загорался пламенем изжелта-голубеющим.

— Забубнил, Михаил Михайлыч!

Но тогда не упускай минуты, путник, мешай ложкой молоко свое, чтобы не пригорело, не ушло, не хлынуло волной кипящей. Этого не любит наш Михаил Михайлович. Он обидится, и сам же ты потащишь прочищать его к старичку на Арбат.

Дубы оракула в Додоне, снега Парнаса, мед гиметский, Ликабета холм над Афинами, сумрак вечерний и огоньки в городе — дальний, безбрежный вздох ветра с гор. Стрекотанье цикад. Запах тмина. Круг моря, смутно висящего, нас сторожащего, гор оцепленье.

Мраморы Элевзина! Плеск волны, Нереиды и розы, гробницы Аттические. Медленный лет пчелы.

Идем, и покупаем новую бутылку красного вина. И — легкий дым забвения и возбужденья в пути полуденном — туманные очарованья.

Михаил Михайлович, ты не плох, ты друг. Печь — ты помощница. Дрова — союзники. Стены — защита. Окна — глаза наши в белую улицу, со снегом, и зимой, бегом саней, ходом людей, мало-печально-радостной жизнью нашей.

Здравствуй, чистильщик сапог, болгарин жуковидный на углу Кривоарбатского. Пирожницы и дамы папиросные, счастьеискательницы, мерзнущие на морозе. И кассирши в гастрономиях, и девочка, сбирающая корки за зеркальной дверью булочной. Мизерабли, дрогнущие в очереди к хлебу, и убогие старухи, руки тянущие, и приказчики, и буржуа в своих лавчонках — здравствуйте.

Ну что же, где же драмы, и томления, и страсти сердца, и любви мечтанья? Как пустынно! Как легко идти.

Белое небо, белый снег порхающий, белая жизнь, белая душа. И летит бойкий автомобиль, трамвай гремит. А навстречу ему баба, впряжена в рекламу. На тележке надписи. Там и актеры, пение и кабаре. Подвалы, *радость*. Может быть, вино?

Сумерки, церковь Николы Плотника. Можно бы и зайти. Открыта дверь. Сумрачно тоже, и холодно. Несколько человек. Гроб посредине, маленький. Весь в цветах. Свечи — смутное

золото. Смутно и темно — холодно по углам. Двое у изголовья девочки: вечные двое — отец, мать... Поправила складку на покрове, цветы передвинула, а рука держит свечку, не бросит. И все только смотрит на кудерьки черные, на узенький, на лбу, венчик, провалы глаз. Девушка плачет. Красноармеец у двери. Священник в серебряной ризе, и дьякон.

Долгим лобзанием поцеловала, припала, крестом смертным осенила. Вновь цветы поправила.

Крышку наставили — и застучали.

Вот она, Властная, в маленькой, бедной жизни нашей. Тысячи тысяч косит, купается, радуется, мы же идем да идем. И смеемся, работаем, пьем. Живем *ежедневно.* Вон спец в меховой куртке, желтых ботфортах, зашел пообедать в столовую. С военным бежит в кино советская барышня, румянощекая, на крепких, как свайки, ножках.

А нищие? Дети вспухающие? А людоеды? Нищему — подаяние. Людоеды — не тем будь помянуты к ночи. И дальше: весна придет. Растет снежок арбатский. Вперед, все дальше, несется,

Судьба? Так что ж. Терпи, трудись спокойно, в области высокой. И надейся. Мечтай: об океанах, о далеком, о неведомом. Не всегда же Арбат. Иди в прохладном свете зрелости, с улыбкою печали-радости. Малая жизнь, ты не Верховная. Не связать тебе путника. Он смотрит, но он жив, *желает.*

И средь трагедии и фарса, цены на молоко, возни с обедом, очереди в булочной, средь смеха, смерти, сладких пирожков и рева голода подъемлет свой бокал, с вином, крови подобным.

Белый же свет смутно, бережно нас осыпает крылом хладным.

Москва, 1921

ДУША

Сентябрьский,
свеженький денек.
Андр. Белый

Девочка попросилась в церковь. Мы нередко ходим в церковь с ней, по летнику, за полторы версты. Но нынче, я уж чувствую, хочется ей поглядеть свадьбу, после обедни. Друг, приехавший ко мне из города, чтоб отдохнуть, собрался с нами.

И хоть несколько капель крапнуло с бледно-лиловеющего неба, и звонили уж довольно отдаленно, мы идем садом среди золотеющих антоновок, меж кленов злато-огненных, чрез рощу, ясным полем с изумрудом зеленей. Девочка впереди. Видит она лошадь и меня дразнит ею:

— Папа, это Чижик наш на зеленях.

Разговор мой с другом ей не интересен.

В беленькой головке, со светлыми косицами, в быстрых ножках — юная душа, тайное соединение отца и матери ее.

Может быть, их страсти, горечи и недостатки в ней смешались, переплавились, родили серебро гармонии поющей. И ей близок жаворонок, синева далей сентябрьских, смех ее чист; вся она — круглая, хоть и остренькое личико у ней.

Когда мы прошли кладбищем и слегка спустились к роще, чтобы обогнуть ее, то показались люди уж из церкви: несколько девиц, да на лошадях двое прокатили.

— Может быть, не идти уж нам в церковь. Ведь, обедня, кончилась,— говорит друг.

Но мы пошли, девочка настояла.

Церковь почти пуста. Небольшая группа окружает батюшку чернобородого; он служит панихиду пред иконой. Свечи бледно горят. Все здесь перебывают. «Приидите ко Мне вси труждающиеся и обремененные, и Аз упокою Вы». Сколько все мы настоялись, и наплакались, служа об убиенном, также скончавшемся.

Свет Пречистый, поддержи нас...

У могилы, вблизи церкви, с белым крестом березовым, сидим на древней плите соседнего упокоения. Когда, назад два года, хоронил я здесь отца, сторож кладбищенский сказал: «Место хорошее, все князья лежат». Несколько плит тяжелых и замшелых, с высеченными надписями славянской вязью... Не прочтешь теперь, а все лежат. Береза листик золотой роняет; несколько кустов акации, камни, кое-где бурьян, да вид на речку и шоссе, серпом взбирающееся на взгорье. Двое подымаются по нем в тележке.

Курим. Синеет наш дымок от папирос.

Девочка рвет цветы. «Дедушке на могилку». С ней еще дети, наши же, деревенские.

— Ну,— говорю я ей,— домой.

Она подходит и смеется.

— Не хочу. Венчанья дожидаться буду.

Целует меня в щеку и слегка трясет за бороду.

Черноволосый батюшка, в черном подряснике, монашеской скуфейке, слегка осклабясь, приглашает нас напиться чаю, в домике напротив.

Дом поповский, жизнь поповская, сам поп. Как крепко... Мы за столом заедаем чай со сливками медком, свежейшим маслом на лепешках. Кот проходит. За перегородкой дети зашушукали, возня. Образа слабо золотеют в уголке.

— Да-а, яблочками попользовался мой сосед, попользовался...— говорит чернобородый иерей с карими, моргающими глазками, дуя на блюдечко.

— Да-а. А что бы поделиться?!. То этого как не бывало, хоть ведь я, имейте в виду, сам теперь вместо него священник и церковным садом мог бы пользоваться. Да-да-а...

Все у него есть, да все обидно, что у других больше. С горечью он вспоминает про других попов, у кого чего много, и у всех как будто изобильнее, чем у него. Много и у огородников. Много у мельников, наживающихся на счет советов. В Климовском прихожане пятьдесят пудов муки священнику собрали.

— Кушайте, покорнейше прошу... Медку еще. Да, да-а... времена.

Быстро моргает и говорит, что хоть то хорошо: мужиков оберут.

— Это им, чтобы знали, да-а... чтобы понимали жизнь теперешнюю.

Даль в окне синеет. Грачи стаей плавают над ригой.

* * *

Так девочка и не вернулась. Она осталась с приближенными друзьями дожидаться свадьбы — милые цветы украсили могилу, а мы шагали летничком домой, средь нежно серебристых далей сентября.

Так тихо, так все благозвучно, светло, мирно.

Все понять бы... Принять, одобрить и благословить. Как будто нет той жизни — страшной, грубой и безжалостной, где мы живем. Как будто нет и наших прегрешений.

Страна лежит, страна молчит. Солнце за перистыми облачками серебреет. Лежит сердце, молчит сердце. Молча истаивает.

* * *

Подходя к роще, паром полынным, ошмурыгивая горькую полынь, мы говорим о счастии и цельности, гармонии и раздвоенности, праведности и греховности, о тех делах, мыслях, стремлениях, с коими — тысячелетия — входит в жизнь человек и выходит из нее.

Синеющим, прозрачно-перламутровым оком опаловым смотрит на нас даль, слушает душой эфирной.

Нежно алеет и золотеет в лесах. Хочется, чтобы журавли пролетели.

* * *

Роща, сад, дом.

Мало осталось этих домов, террас, покойных видов в них, покойных семей, мирно пьющих чай на воздухе. Многое сожжено, попалено,— как в видимости, так в душе. Но мы живем. И мы за что-то заплатили: за свои неправды, за прошедшее. Меч Немезиды многое сразил. Но, все-таки, живем. И даже чай пьем на террасе маленького дома и обедаем в дни теплые. И пообедав, как сейчас, играем с другом в шахматы, за стареньким столом, крест-накрест ножки, с крупными квадратами для шахмат, белыми, гнедыми.

Мы молчим часами. Серебристый день покоен. И ни свет, ни тучи. Как тепло! Как хочется быть кротким, добрым. Позабыть. Простить. Узнать Ее, чьей ризою эфиротканной все одето, заворожено, струится. Все струится с иным смыслом, выше нашего.

Движутся фигуры на доске, ведут призрачную борьбу. С клена падает лист, кружась. В красном стеклянном шаре перед террасою мир отражен.

Дали безмолвны, светло-серебряны.

* * *

О, если бы свет разлить,
О, если бы Лик любить
О, если бы Миг продлить.

Но его не продлишь, не убавишь. Ушел, новые листья с кленов падают, новые думы в сердце проходят, иные дела, малые, бедные, совершаются.

Девочка с девочками из церкви вернулась, отдельно обедает. Бабушка на нас ворчит — зачем все позволяем.

— А мы даже и свадьбы-то не дождались, даже и не приезжала свадьба-то, три раза правда,— доносится из столовой.

Бабушка наша серьезная и основательная. И сейчас все зовут ее барыней. Не обижают.

— И напрасно дожидались.

— Бабушка, ну как ждать-то интересно бы-ыло. Ждали мы — я, Надя, Катька ротастая, Катя-клавиш...

— Ешь, ешь, нечего разглагольствовать.

* * *

Если я зайду во флигель, где живу, то увижу стол свой, книги, снимки,— тот угол, который удивляет моих граждан, что случайно забредают в мои комнаты. Одних смущает Микель-Анджелова «Ночь», повешенная над диваном, для других загадка — Данте бронзовый, глядящий строго на писания мои. Иногда и сам я удивляюсь. Мне — во-первых, странно, почему в бурю эту уцелел мой угол; и второе,— занимаясь, например, читая Ариосто, иногда я не могу не улыбнуться, и я думаю: «Мог ли воображать поэт, что в стране руссов, отдаленнейшей Московии, через четыре сотни лет, в годы вихрей и трагедий, друг неведомый прочтет его творенья?»

И тогда бывает гордость, и какая-то особенная радость за слово наше, человеческое, несущее мне душу дальнюю, живую.

Я войду и в другую комнату, увижу там кровать, икону Божией Матери в ризе серебряной, на столе, убранную иммортелями. И с ней рядом из трех фотографий взглянет на меня лицо молодое и бодрое, взгляд острый, почти задорный... И нож быстро полоснет сердце, и не отразить ножа, не отразить. А вот и девушка, ему близкая — тоже ушедшая. Вот его друг, лицо полудетское — мученики времени, жертвоприношения сердец наших и удары Рока.

Вспоминая кровь, должен сдержаться. Это трудно.

«Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас...»

Много здесь выжито, много здесь перемучено. Но это — жизнь.

На столе Богородица в ризе серебряной. О Ты, прибежище всех матерей истерзанных. «Благодатная Мария, Господь с Тобой».

* * *

— Папа, на сходку, скорей, зовут!

Девочка приоткрывает дверь, для убедительности вновь кричит:

— Три раза правда!

Убегает.

— Стой! Куда?

— Некогда мне, за коровами!

И ее капор белый, синенькое пальтецо, косицы две мелькают уж далеко.

Что же, идем на сходку. Граждане зовут.

Прохожу тропинкою к деревне, садом. Этот сад отец сажал. Он теперь — деревенский. Но и нам оставила деревня долю нашу. А в этот год, голодный год, чтобы у нас и у деревни сада не отняли — я хлопотал. Успешно. Недавно баба ухватила меня за руку, пожала, а потом вдруг наклонилась, к моему конфузу руку мне поцеловала.

— За хлеб-соль. Теперича голодовать не будем.

Трудно об этом вспомнить без улыбки. И идя сейчас садом, в первый раз сильно принесшим яблок, я чувствую: сад насаждал не я. Так и не удивительно, что он не мой. Это вовсе не удивительно.

* * *

Барин я или не барин? Странник, нищий, или господин, которому целуют руку?

Но какой бы ни был, я хотел бы плыть тихо, с сердцем некровным, в светлой дымке сентябрьской. Не хочу ни дома, ни сада. Я путник.

* * *

Сходка — перед комиссаровой избой. Вокруг столика зыбучего, под рябинкой, на завалинке, на трехногих стульях и скамье, под вечерним сентябрьским небом заседают граждане мои. Раньше я их знал мало. Теперь — побольше. Помню, я их стеснялся, ибо был вдали от интересов их, стремлений, вкусов. А сейчас, по-моему, они меня стесняются. Мы совсем в добрых отноше-

ниях. Но меж нами — пропасть. В разные стороны мы глядим, разно живем, разно чувствуем. Я для них слишком чуднóй, они для меня — слишком жизнь.

«Жизнь, как она есть...»

Невесело.

Записывают, сколько кто посеял, что собрал. Сколько отдать, куда везти. Все мрачны. Впереди голодная зима.

Среди унылых будней вдруг из-за ракиты выглянут глазенки детские, знакомые косицы; светлым, теплым проблеснет оттуда. И за ужином рассказывает девочка:

— Мой папа на сходке бы-ыл, уж он там с мужиками разговаривал, а я подслушивала. А потом мы: я, Катька ротастая, Катя-клавиш, Серенька, Оля, в ночное ездили. Уж хорошо ехать было, я рысью ехала, и даже меня Серенька догнать не мог.

Привет бесцельному. Глазам, ребятам, играм, ветерку, облаку, благоуханью...

«Жизнь, как она есть» — долой.

* * *

И в то время, когда девочка с друзьями скачет на овсянище, или к дубкам на ржанице, отец выходит в поле, как и много лет он выходил в поля родные на заре. Как здесь безмолвно... Как знакомы дали, очертания лесочков, нив и колоколен. Вечером в поле кажется, что людей нет, а есть Бог, вечность, природа, медленно, беззвучно протекающие.

«Ничего не было, ничего и не будет».

Или:

«Все было уже, и все будет».

* * *

Несколько позже: стоим у опушки рощи дубовой. Луна в ясном небе. Зелень в слабом серебре росы. Точно мерцает, мреет что-то над ними, как серебряные ризы Богоматери.

Одень покровом своим бедный мир, дохни сиянием своим в души страждущие.

Вечером, когда детские уста станут произносить слова молитвы: «Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу»... Ты сойди, душа мира, Свет мира, Богоматерь в ризах серебряных, «осени души страждущие».

Мы стоим. Смотрим, слушаем, два призрака, два чудака в пустынях жизни.

Притыкино, 1917

НОВЫЙ ДЕНЬ

И стерегут, и мстят мне оба,
И оба говорят мне мертвым языком
О тайнах вечности и гроба.

А. Пушкин

I

Было тепло, солнце светило. Леночка с холодом в ногах и падающим сердцем взбежала на крыльцо старенького дома у дороги, наискосок барских оранжерей. Здесь помещалась ранее контора, жил отец, правил имением; а ныне поселилась Катерина Степановна, сестра мужа покойного; с нею и Оля.

Катерина Степановна высокая, худая, усталая женщина с землистым лицом и загрубелыми руками, стирала в сенцах, в небольшом корыте.

— А, это ты! Наконец-то. Дочь давно ждет.

— Ну, ну, как? — Леночка задохнулась, поцеловала ее во влажный, желтоватый лоб.— Что Оля?

— Да ничего, поправляется. Сейчас кофточку ей кончу и приду.

Отвернувшись, стала достирывать, а Леночка распахнула дверь — там пахло слегка затхлостью, чем-то старым, давно знакомым — быстро прошла в комнатку за перегородкой. На постели, с завязанным горлом, сидела худенькая девочка лет восьми и вязала. Увидев мать, чуть побледнела, опустила руки со спицами.

— Мамуля...— лицо ее стало напряженным, глаза заблестели. Видимо, сдерживалась. Но Леночка бросилась, обняла и сама заплакала. Теплая грудь ее волновалась. Простые, карие глаза сияли.

— Радость моя, золотой мой ребенок. Ну, слава Богу, мой, мой...

— Я все думала, мамуля, приедешь ли...— шептала девочка.

— Гостинчика тебе привезла, вот... яблок, шоколаду, и еще гребеночку.

Успокоившись немного, стала ее расспрашивать, рассматривать. Оля, ей казалось, похудела, повзрослела. Что-то почти важное появилось в глазах.

— Мы с тетей Катей все сами делаем. Ей теперь только труднее, что я больная. Но я скоро выздоровлю.

Леночка заставила ее тотчас же съесть кусочек шоколаду. Оля отгрызла. Остальное спрятала в шкатулку.

— Это я в другой раз. Буду есть и тебя любить.

Вошла Катерина Степановна, ополоснула руки, заглянула в дверь.

— Ну, нежничает уже мамаша с дочкой.

— Катя, ты представить себе не можешь, как я испугалась, когда Федóра ко мне в Москве пришла, стала рассказывать. Невесть что подумалось.

— Я уж тебя знаю. А просто была у девочки жаба, и инфлуэнца. Да и по тебе скучает. Проголодалась, небось, с дороги-то? Вздую самовар, ради приезда... а там уж сама действуй. Мы тут люди чернорабочие. Все сами, все сами. На ногах с утра до вечера.

Она громко вздохнула и опять вышла.

— Тетя Катя очень устает,— тихо сказала девочка,— потому что на ней весь дом, и в поле она сама убирала, а я ей вязать помогала. Оттого она такая бывает...— Оля запнулась, и посмотрела на мать,— строгая.

Потом улыбнулась и погладила синего жучка на Леночкином капоте.

— Мне очень нравится этот жучок... Потому что твой.

Она обняла мать, и шепнула с мокрыми от слез глазами:

— Я тебя очень все люблю, ты веселая и ласковая.

Леночка стиснула ее, крепко поцеловала и встала.

— Пойду тете Кате помогать. А тебе на вот еще книжечку, посмотри картинки.

Книжек было три, совсем новенькие; от них пахло типографской краской. С тем же напряженно-блестящим взглядом Оля перелистывала их, каждую поцеловала, потом вместе все сложила, подержала на коленях,— и опять стала рассматривать. Временами поправляла гребенку на голове, туго прижимавшую волосы, гладила книжки и шептала:

— Миленькая, перемиленькая, размиленькая.

Леночка же вышла в сени, отняла у Катерины Степановны самовар, сама стала с ним возиться.

— Я духом, духом его! — смеялась, блестя карими глазами.— Господи, благодать какая здесь у вас, в деревне!

Катерина Степановна складывала выстиранное белье.

— Все такая же, Елена. Ни годы, ни заботы на нее не действуют. Должно, жизнь твоя в Москве хорошая.

Леночка сидела перед самоваром, дула, и от бурного ее дыханья угли разгорались ярче, золотым огнем. Скоро загудело, сквозь жестяную, в трещинах, самоварную трубу полетели огненные стрелки.

— Солнышко у вас тут, свет, благодать,— говорила Леночка.— Как не радоваться?

Она взглянула на порог, залитый солнцем, на сухую, пыльную дорогу, сад с полуоблетевшей листвой — просветлевший, пестро-нарядный. Совсем вдали золотым стражем стоял клен.

Но Катерину Степановну нельзя было этим взять.

Давно и безоговорочно она что-то решила и никакие клены, солнца и осени не имели над ней силы.

— Благодать! Попробовала бы здесь пожить, спину с утра до вечера не разгибая...

И стала рассказывать, как ей трудно, как теснили ее мужики, как сама она пахала, и скородила, и стряпала. Здесь большие перемены. Усадьбу, правда, не разграбили, но, конечно, молодого графа давно нет, только Александра Игнатьевна живет еще в большом доме — да и его занимают. Лошадей графских всех позабрали, коров оставили — для молочной фермы. А для садов и оранжерей инструктор есть, молодой человек, и сады считаются советскими.

— Сначала на меня косились, что я с ней знакомство веду,— прибавила хмуро,— а теперь привыкли. Ну, с фермой-то у них плохо, коров нет, а сады ничего, Леонтий Иваныч старается.

Леночка поднялась над самоваром, выпрямилась и мгновенно задумалась. Как идет время! И как все меняется! Давно ли жила она здесь попадьей, в домике у церкви, с худым, мрачным о. Николаем. А потом смерть его, Москва, теперь служит она там, лишь изредка сюда наведываясь. Вольная жизнь, любовь, Василий Васильевич. «Нет, вряд ли уж могла она тут прозябать, в прежней, бедной норке. Да, а Оля?»

Отвечать не хотелось. Пусть живет, пока что, здесь, «а что за Василия Васильевича выходить буду, надо, разумеется, сказать...» Леночка зевнула.

— Это, вон, кто в курточке между яблонь ходит?

Катерина Степановна взглянула.

— Он и есть. Самый наш инструктор. И никак к нам...

Белокурый молодой человек, с грубоватым, здоровым лицом, перелез через невысокий забор и направился к домику. На нем

была кожаная куртка, картуз, высокие сапоги. В руке держал он яблочную снималку и несколько яблок.

— Катерине Степановне нижайшее! Не желаете ли...— он протянул пару золотистых, уже прозрачнейших яблок.— Последние. Хожу, ревизию делаю. Навожу порядок, черт бы их побрал.

Увидев Леночку, немного запнулся.

Катерина Степановна поблагодарила.

— Это моя невестка. Из Москвы. Знакомьтесь.

— Очень приятно.

Он снял фуражку, поздоровался.

— Народ, знаете ли, мало понимает... Всюду надо следить и самому торчать, чтобы делов не наделали, черт их побери. Стадо в сад запускают, того не понимая, что корова молодой побег враз скусывает, ей дыхнуть, и посадок ободрала. А ведь с меня спросится.

Он вынул из кармана еще несколько яблок.

— Могу еще предложить — коричневое, есть его любители, это, покрасней, скрижапель, оно, собственно, крейц-апфель, а в просторечии искажено в скрижапель, А вот это им позвольте представить — так сказать, яблок из яблок, аркад. Там, в Москве, вряд ли найдете. Прямо скажу — чистейший сахар и аромат. Даже удивляюсь, как на веточке удержалось.

Яблоко было огромное, с красно-золотистыми прожилками; сок капал, когда Леночка откусила его тающее, нежное тело.

— Страна была одна счастливая, Аркадия,— пояснил он.— Откуда и название. Значит, там яблоки эти самые росли.

Леночка вдруг засмеялась.

— Ты чего? — спросила Катерина Степановна.

Та продолжала смеяться.

— Глупость,— от смеха карие ее глаза стали влажны.— Просто глупость. Я подумала, что верно Ева Адаму такое яблоко подарила.

Леонтий Иваныч засмеялся.

— Очень возможно. Лишь у них, знаете ли, сады не сдавались, и окапывать их, обрезать не надо было.

Катерина Степановна не улыбнулась, и спросила, как Александра Игнатьевна.

Он встрепенулся.

— Хорошо, что напомнили. В субботу, к семи, чай пожалуйте пить, мед будет, сдобные булочки какие-то. Александра Игнатьевна непременно наказывала вам передать. Я приглашен, да учительница, да, может, батюшка из Проскурова. А теперь

разрешите откланяться, спешу, очень тороплюсь по делам, время в высшей степени беспокойное...

Подавая руку Леночке, слегка замялся.

— Может, и вы... с Катериной Степановной соберетесь. Александра Игнатьевна рада будет, она, знаете ли, очень простой человек.

Леночка смотрела на него все еще смеющимися, веселыми глазами, протянула руку, и в звуке его голоса, во всем нехитром, но молодом и свежем его лице вновь почувствовала, что она нравится — то, что ее всегда свежило, веселило и бодрило.

— Может быть... да, как Катя скажет.

Он ушел. А Леночка пила с Олей и Катериной Степановной чай, потом гуляла, дыша чудесным воздухом сентября, улыбалась на солнце, и была счастлива, что она с дочерью, на отдыхе, в деревне. Вечером, укладывая спать, долго ласкала Олю. Потом блаженно легла сама, потянулась и поежилась теплым и нежным телом. «Ну, грехов на мне много, грехов, да Бог милостив. Свят, свят, свят, Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея».

Совсем уже засыпая, подумала: «Вот еще Оля... если я замуж-то выйду... и к Николаю на могилку сходить». На мгновение ей стало грустно. Но тотчас же заснула.

II

Оля почти поправилась. Ей позволили сидеть на солнышке, в старом пальтишке — сине-красными клетками. Она туго притянула к волосам гребенку, заложила на завалинке ногу за ногу, и серьезно, очень внимательно читала три книжки, что привезла мама — одну за другой, с равным интересом и уважением: мамин подарок.

Леночка же постоянно была тут — смеялась, болтала, доила корову — все делала весело и вольно. То, что некий Василь Васильевич есть на свете, и сейчас ездит вдали, но ей пишет, о ней думает, действовало, как легкое, тонкое опьянение. Но иногда взглядывала она на Олю, улыбка сдерживалась на лице. «Как серьезна, мала, и как серьезна,— проносилось в голове.— В отца. Лоб такой же, и так же сидит». Это далеко было уж от ясного сентябрьского дня, от смеха, от Василия Васильевича. «Надо ей сказать, ах, забываю все, ведь надо ж»... Но не говорилось. И Леночка себя не торопила.

Через день по приезде, незаметно от Оли, вышла из дому. Все такой же был теплый, золотой свет. В соснах, у дома, как всегда, грачи орали. За дорогой, справа, графские конюшни,

каменные, тяжкие; покоем оцепляют они двор, ныне весь травой заросший — на трех колесах увядает там рассохшаяся бочка. Здесь, ребенком еще, помнит Леночка своры борзых, гончих, доезжачих в черкесках, рога охотников, кавалькады бар — жуткое и занятное тогда зрелище.

Прошла дальше, мимо дома за палисадником, славным розами. Роз теперь не было.

Четкая, легкая тень дерев синеватым плетением бежала по клумбам, тянулась к балкону, к самым голубым пихтам у подъезда. Леночка вздохнула. Вон и церковь белая, с крестом накренившимся, куда хаживала она скромной попадьей. Тут муж служил. В этом домике они жили — все прошлое. Жизнь старая и отошедшая, все же чем-то с нынешней соединенная.

Она перешла мост через пруд,— как и раньше затянут он плесенью, и утки в нем плещутся,— взяла налево слободой, потом в проезд между дворами, где сады, гумна, конопляники. Тут шла работа.

Парнишка навивал омет соломы, золотой и чистой. Строили ригу. Там веяли; там девчонка бежала по огороду с хворостинкой за коровой — все кроя, ровно и неумолчно по-осеннему лопотала молотилка.

За последним скирдником открылось поле, и налево, наискосок, кладбище. Старыми ветлами оно обсажено. Паутинки, Богородицына риза блестят по полю, золотистым сиянием; свет струится в мелкой, глянцевито-серебряной листве ракит. Вдалеке, за полем лес сереет, с золотом берез.

Войдя на кладбище, Леночка перекрестилась. Сдвинутые с мест каменные ковчеги — образы гробов; поникшие кресты; кресты чугунные, тяжкие и грубоватые; две-три свежих могилки, с желтеющим песком, с веткой полузавядшей рябины в огненных гроздьях; корова, лениво жующая — далекое теперь, вновь мерное и бесконечное лопотание молотилки, ровные окрики на лошадей «Ого-го-го!» — под солнцем осени сливались в тишину, бездольность. От всего далеко это место. Вот каменная часовня в глубине, в тени — склеп графский и последний порог прощания с живущим. Леночка хорошо знала эту церковку. Здесь нередко муж служил, и теперь сам он вблизи лежит, недалеко от графа, которого отпевал.

Она подошла. Икона висит еще в углу. Прохладно, сыровато и пустынно. Из плит мох пробился. Березка вытянулась с карниза.

У могилы мужа опустилась Леночка на колени. Слезы сдавили слегка горло.

Страшно было вообразить, что теперь от всего этого худого,

сумрачного человека, некогда любимого, лишь скелет остался, жалкие кости в полусгнившем гробу.

— Господи, прости прегрешения мои,— быстро шептала она, и все крестилась, и кланялась, как маленькая.

Да, забыла его. Да, вела жизнь ветреную, чувственную. Если бы он знал! — Встала, смахнула слезу, оправила трепавшийся локон:

«Надо панихиду, панихиду заказать. Ах, могилка-то как запущена, ни цветка, ни памятки».

И представилось ей — так же и она умрет, веселая, смешливая Леночка — и от ее белых рук, нежной груди, теплой шеи с бьющейся жилкой — такая же останется могилка. Вздрагивающей рукой сорвала несколько ромашек да суховатых иммортелек — букетиком положила в изголовье. Но чувство жуткости, острой тоски не уходило. Как будто важное и хладное племя мертвых владело этой областью, упреком вздымало свои кресты.

Леночка шла назад иначе, в обход прудов, к фруктовым графским садам. «А если он не хочет, он...» И опять он, с длинными волосами, в темной рясе проплывал где-то, пересекая мрачным следом ее иной, простой, счастливый путь. Лишь у ограды сада, где солнце грело теплей, и вдали, в куртке, с кусачкой и садовой пилой приметился Леонтий Иваныч, почувствовала она себя свободной. «Я же ведь девчонкой была, когда за него выходила, ничего не знала и не понимала...».

Фуражка Леонтия Иваныча висела на ветке. Сам он с каплями пота на лбу, со сбившимся хохлом пилил сухой крепкий сук.

— Наше вам! — закричал он.— Прогуливаетесь под ясным солнышком?

Леночка подошла.

— А мы трудимся все, трудимся, черт побери... всюду самому надо, а то чепуха одна выходит... нет, что ни говори, нам еще до культуры далеко.

Леночка улыбнулась, но сдержанно.

Сук, наконец, рухнул. Леонтий Иваныч отбросил его, вынул носовой платок, обтер лоб и стал собирать свои инструменты. Голубые глаза его глядели горячо и наивно.

— Если я садовод, так и сад свой люблю, и за деревом хожу, и его знаю... А мы сплошь да рядом видим лишь одну корысть, это очень далеко-с от порядочности. Вы до дому? Ну, я с вами, мне в ту же сторону.

Он надел куртуз, зашагал рядом, на коротковатых, крепких своих ногах.

— Новое время, новые люди, так ведь надо дело свое любить

и знать. Ведь мы в эпоху живем... так сказать, в историческую эпоху... и с нас спросится. Ведь сейчас жизнь переделывается, а никто шагу ступить не умеет.

— Вот и надо учиться,— равнодушно сказала Леночка.

— Ха! Учиться! Хорошо сказать: учиться! Да учиться-то никто не хочет, всем готовенькое давай, и чтобы пожирней кусочек. Скажем, здесь: нынче сад крестьяне убирали, урожай, то есть. Им условие было — чтобы сад осенью окопать. Что же сделано? Разве это окопка? Так, потыкали лопатами, по поларшинчика вокруг корня, и вся недолга. Что же, я не говорил? Не указывал? Ну, одно дело яблочки собирать, а другое — за яблонями ухаживать. А вы думаете, на зиму они их обернут, соломой-то? Слово вам даю, тут по снегу зайчишки в волю поработают.

— Вы какой-то садовод исступленный.

— Ну, конечно, дамам эта материя не интересна, им, понятно, чего-нибудь насчет чувств, театров...

Леночка рассмеялась.

— Уж и театров...

Она блеснула на него карими своими, опять влажными и повеселевшими глазами.

— Вы молоденький такой, а все о серьезном, об основательном, подумаешь, какой деятель...

Леонтий Иваныч тоже улыбнулся, широкой детской улыбкой.

— Я и сам бы не прочь повеселей быть, да вот что-то не выходит.

— Вам, что... лет небось, девятнадцать?

Он слегка вспыхнул.

— Разве я таким щенком кажусь?

— Ну, двадцать. Эх,— прибавила она серьезней,— вы и жизни-то совсем не знаете, и чуть-чуточку ее понюхали, а уж туда же, как большой...

— Нынче все должны быть большие... Наша эпоха, историческое, так сказать, время... Да. Александра же Игнатьевна вновь подтвердила, чтобы приходили.

Леночка подала ему руку и свернула к себе.

«Жизнь меняется,— думала она, подходя к домику Катерины Степановны.— Это-то уж конечно, и эпоха... Василий Васильич то же самое говорит, но, понятно, этому до него далеко. Да, мальчик смешной... Впрочем, горячий».

Дома Оля ждала уже. Она сидела за книжкой — внимательно взглянула на мать.

— Мамуля, где была?

— Прошлась немного.

Леночка ответила неясно, и яснее не хотела говорить.

Оля взяла ее за руку и поцеловала.

— Уедешь, опять скучать буду...

— Я служу, деточка, ты знаешь.

Оля прижалась к ней головой.

— Мама, возьми меня в Москву... с собой. Я тебе помогать буду, все делать.

Холод и тягость прошли в сердце Леночки. Она тоже ее обняла.

— Может быть, детка... да, конечно. Не сейчас. Сейчас трудно. Ты знаешь, как в Москве трудно... Я в одной комнате живу.

Оля перебирала пальцами бахромку скатерти.

— Я бы тебе помогала. Все бы делала.

Леночка слегка задохнулась, поцеловала ее горячо.

— Там посмотрим, там посмотрим.

Оля молчала. Глаза ее наполнились слезами.

— Нет, уж ты так говоришь... значит, не возьмешь.

— Милая, возьму, как только можно будет — возьму.

Леночка раскраснелась и заволновалась. Синяя жилка сильней билась на теплой ее шее.

— Да, я тебе еще что-то скажу... Ты знаешь, знаешь... я наверно замуж выйду, у тебя будет папа... Ну, вот, тогда мы... квартиру наймем, и переедем все.

Оля подняла на нее глаза.

— Мой папа умер,— тихо сказала она.— Я и могилку его знаю. У меня другого папы нет.

— Да, теперь нет... а будет... Он очень добрый, ты его полюбишь...

Оля отошла, молча стала перекладывать свои книжки. Она имела вид покорный, сдержанный, но отдаленный.

— У меня другого папы нет, мой умер,— повторила она упрямо.

И в тот вечер Леночка уж не могла развлечь ее — ни шутками, ни сказками, ни лаской.

III

В субботу, когда пришло время идти к Александре Игнатьевне, Катерина Степановна усмехнулась своими узкими губами и взглянула на Леночку.

— Мне хлеб надо на завтра ставить. Иди уж одна.

Оля молча шила. Леночка вдруг почувствовала себя виноватой.

— Как же идти, когда звали, собственно, тебя? — она слегка покраснела.

— Ты у нас гостья. И принарядишься, и посмеешься... А в нас кому какой интерес.

— Конечно, мама, иди,— сказала Оля.— Надень новую кофточку. Я тебе брошку заколю, будешь всех красивее...

Оля подняла на нее умные глаза. Сейчас казалась она старше и серьезней.

— А я тете Кате помогать буду.

— Наше дело работа,— заметила Катерина Степановна,— да за ребенком смотреть. А не развлечения.

В ее остроугольной спине, в сухих и жилистых руках с красными пальцами было всегдашнее неодобрение. Леночка чуть не вспылила — и она в Москве немало работает — но удержалась.

«Ладно, пусть, какая ни была, все равно не останусь. Нарочно не останусь, вот еще...» И, как советовала Оля, приоделась и отправилась.

К дому шла широкой липовой аллеей — некогда каталась здесь на пони француженка, любовница графа, скучавшая в деревне. Ныне солнце, краснеющими пеленами, ложилось под ноги. Огненной точкой сиял стеклянный, розовый шар у балкона. Сквозь ветки лип небо казалось высоким и пустынным.

Леночке вдруг вспомнилось — раз, давно, шла она так же по аллее этой, после ссоры с мужем — он не пускал ее в графский дом, куда их пригласили слушать музыканта заезжего, и она отправилась одна. «Все это сон, давнопрошедшее,— пронеслось в душе.— И граф, и муж, и Катерина Степановна, и вся жизнь. Обратят дом в школу, уедет Александра Игнатьевна, вот и совсем кончатся графские роскоши. Француженки! Любовницы! Будет мужичье царство — и пускай!» Ей было горько, не хотела она добра графу этому, хоть давно лежал он в могиле, да и француженка его покоилась, наверно, где-нибудь на родине.

Подходила к большой, каменной террасе. Дикий виноград, красными листьями, обвивал еще ее.

Под голубой сосной молодой человек в гимнастерке пытался сорвать шишку, нагибая ветку.

— Один момент, сударыня, мы эту шишку усовершенствуем. Один момент — говоря короче — однова дыхнуть.

Александра Игнатьевна, дама поджарая и узкогрудая, в митенках, пенсне, в тальмочке, стояла рядом, опираясь на зонтик.

— Это замечательная сосна, ее посадил мой beau-père[1] в день своих именин.

Демократ сорвал, наконец, шишку.

— Надо все оглядеть,— говорил он с восхищением.— Я нарочно на велосипеде из нашего отдела приехал, зная, что у вас тут замечательные экземпляры есть, короче говоря, нам для питомника. Вы представить себе не можете, какие мы питомники через год разведем.

Из балконной двери вышел Леонтий Иваныч.

— Вы, товарищ, весной приезжайте за семенами, весной и питомник свой рассадите. А сейчас это слова одни...

— Удивительное деревцо,— продолжал молодой человек.— Мы его усовершенствуем. Сударыня, я бы очень хотел еще пчельник ваш осмотреть, и оранжерею, как в образцовом, культурном имении... Вы не подумайте, это все лишь для усовершенствования народа, ведь пора же нам, так сказать, человеческой жизнью жить начать. Ведь не век же так будет, как сейчас.

— Ах, уж не знаю. Этого, право, не могу сказать, как вы там с вашим новым правительством и новыми идеями устроитесь.

Увидев Леночку, Александра Игнатьевна улыбнулась и кивнула ей.

— Ну, а что же Катерина Степановна?

Леночка объяснила. Молодой демократ поклонился, восторженно и возбужденно спрятал шишку, взялся за велосипед. Он имел вид человека, коему дня мало, чтобы как следует все улучшить, насадить, усовершенствовать.

Александра Игнатьевна повела Леночку в столовую.

И здесь прелестен был пурпур солнца прощального. Бледно-серебряный самовар клубил. Старинные чашки стояли на подносе нежного фарфора.

— Милочка,— Александра Игнатьевна слегка, томно обняла ее,— я ведь вас вот еще какой помню, девочкой, когда вы с Alice в прятки играли. О, как время идет! Как тягостен его бег!

Леонтий Иваныч потирал озябшие руки.

— Для кого как, товарищ Александра Игнатьевна. Для кого тягостен, для кого нет.

— Голубчик, я знаю, вы начнете сейчас разводить свои идеи, что мы отжившие люди, и тому подобное... Но, во-первых, в доме повешенного не говорят о веревке, и во-вторых, вы ведь верите, что все будет отлично... que l'âge d'or arrive[2]. Я же сомневаюсь. Более, более чем сомневаюсь.

---

[1] отчим *(фр)*.

[2] ...что придет золотой век *(фр.)*.

Леночка молчала, пила чай. Странное чувство овладело ею: да, вот это и знакомое, что некогда — в играх с покойной Alice — казалось таким важным и торжественным, теперь оно ужасает и уже сейчас она, Леночка, не так сидит здесь, как лет десять назад, когда и Леонтия Иваныча не было бы тут, и демократу нечего было *усовершенствовать,* а на том балконе часами заседали гвардейцы, за вином, и всю ночь щелкали киями на биллиарде: все это прошло, как ушли люди, чьи портреты еще висят в зале, на стенах, как уходит все. Там будет музей, здесь библиотека, и по паркету ходят люди в смазных сапогах, и вот эта Александра Игнатьевна как бы из милости ютится тут, чем-то заведуя, что-то устраивая. Ей, конечно, грустно. И, конечно, неважно пахнут гимнастерки, смазные сапоги. Старые портреты смотрят с изумлением. Грустно и радостно. Радостно, грустно. Мертвые уходят.

Подъехал батюшка — молчаливый и подавленный, с реденькой бороденкой. Тоже он жаловался, что его теснят, и это было верно, и весь облик его говорил: нелегко человеку.

— Все понимаю великолепно, и сам ругаюсь, и никого из вас обижать не хочу,— говорил Леонтий Иваныч.— Вы напрасно это, Александра Игнатьевна. Да ведь в толк возьмите — ведь тот-то, товарищ приехавший — ведь всю жизнь под спудом жил, и теперь вдруг... нате вам... голова и закружится — все хочу усовершенствовать. Я сам глупостей не одобряю. Много, очень много вокруг дряни этой самой, но не одна же дрянь, и нельзя тоже глаза закрывать...

— Да, но сколько грубости...

— Хотите, чтобы сразу беленькими все стали.

Спор, конечно, разгорелся и, конечно, ничем не кончился. Чай отпили, перешли в огромную залу, с верхним светом. На рояле Александра Игнатьевна зажгла свечи, вынула ноты. Леночка с Леонтием Иванычем сели на диван в дальнем, полутемном углу.

— Моцарт, Бетховен, это бесспорно,— говорила Александра Игнатьевна, усаживаясь на вращающуюся табуретку.— Это высший мир, Леонтий Иваныч, и никто его у меня не отымет. Les voix des anges, qui chantent[1].

Голоса ангелов зазвучали на древнем, вечном своем наречии. Вдали камин краснел, а середину залы наполнял сумрак, слабыми тенями от огня.

— Эх, мир, конечно, высший, только нам туда далеко,— шепнул Леночке Леонтий Иваныч.— Еще много пожить, милая Елена Александровна, прежде нежели туда добраться.

---

[1] Голоса поющих ангелов *(фр.).*

Он сидел с ней рядом. В полутьме чувствовала она его горячие и наивные глаза. Он вдруг положил ладонь на ее руку и слегка погладил.

— Кого книзу клонит, а кто молод... Жить-то, жить как хочется! Вы ведь тоже молодая и должны понять...

Леночка обернулась.

— Жить!

Да, помирать, конечно, рано. Много сил, много жару... То же смутное, глубокое, важно-грустное, важно-радостное владело ею. О, далек, загадочен путь жизненный. Вольно идти по нем — вольному, как плыть в синеве звездам, что сквозь стеклянный свод залы видны на небе. Бетховен говорил могучим языком. Она была молода, чувствовала, что жива, красива, горяча.

— Как вы тогда говорили: Аркадия, это счастливая страна, где чудесные яблоки растут?

Он глуховато ответил:

— Так. Вы же сказали: верно, Адаму Ева такое яблоко предложила.

Леночка засмеялась.

Кончив, Александра Игнатьевна встала из-за рояля.

— Эгмонта я и сейчас не могу равнодушно слушать. Вспоминаю детство, Рим, где нас водили после обеда на Монте-Пинчио, там оркестр играл... Старый князь Вадбольский давал нам шоколадки, а потом мы с нянюшкой шли в отель, на via Babuina. Итальянцы глазели на нянюшку нашу — она была в русском костюме.

Но из присутствующих никто в Риме не был, разговор не поддержался. С батюшкой и немолодой учительницей села Александра Игнатьевна за преферанс, перенеся на зеленый стол те же две свечи, что светили ей для голосов ангельских. Там, уйдя от жизни и своих печалей, погрузились они в мир валетов, дам и королей — таинственную фантасмагорию призраков, таинственную связь удач и поражений. Это успокаивало и туманило.

— Не хотите ли взглянуть,— сказал Леночке Леонтий Иваныч,— кои тут у вас перемены, как мы барское жилье для народа переделываем?

Леночка встала.

— Да оденьтесь,— отозвалась из-за стола Александра Игнатьевна, поблескивая пенсне своим, уныло качавшимся на худеньком носу.— А то нетоплено... Народ еще не обогрел... народ-богоносец.

Леночка накинула пальто в передней. Леонтий Иваныч взял фонарик.

Пусты, холодны, громадны комнаты в сентябрьскую ночь со

звездами. В прежней биллиардной будет библиотека. В комнате графини — читальня. В кабинете — любимой комнате графа — музей. На стенах таблицы, географические карты; по столам модели, чучела, глобус, скелеты рыб, маленький телескоп.

Бюст Гомера затерялся в шкафу. Из мрака, смутной тишины, то одно, то другое выплывает, входя в бледный круг фонарика, вновь уходя в ничто.

Вспомнилось, как лежал здесь, на смертном ложе, граф — такой важный и далекий уже от всего земного, и такой торжественный, каким в жизни не был никогда. И муж, в белой серебряной ризе служил над ним, ладан широкой, голубой рекой ходил тут. «Ах, ну не надо этого, опять... Не хочу ладана...»

— Нет, здесь мрачно. Пойдем наверх.

В верхних комнатах, антресолях, играла она некогда с Алисой в прятки. Все по той же лестнице, как и тогда поскрипывающей, поднялись они. Стало теплее. Те же низенькие потолки, та же мебель, обитая недорогим кретоном. Тот же образок в углу Алисиной спальни. Неизвестно кем теплящаяся лампадка перед образом. И на скатерти — как душа осиротелых мест — мертвая ссохшаяся бабочка.

— Ах, мы тут много бегали с Алисой, она была особенная и очень славная. Выросла — с родителями разошлась, вышла за эмигранта, голодала, и в Париже умерла. Где-то еще должна быть дверь на чердак. Мы и там прятались.

— Все найти можно, и дверь эту найдем, все найдем.

Тоном человека уверенного и жизненного, Леонтий Иваныч поднял фонарик свой, прошел вперед. Правда, дверь оказалась вблизи. Отомкнули крючок, дверь толкнули — очутились в черной тепловатой, затхлой пустоте. Свет фонарика едва означил балку, стропила, пол, усеянный птичьим пометом. Стая голубей с шумом взлетела, забила крыльями.

Леночка сделала вперед несколько шагов.

— Мы ужасно любили этих голубей. Ну, а если б вечером так, как сейчас, мы бы испугались...

Голуби подняли пыль, один за другим стали вылетать в слуховое окно, в темную ночь. Леночка подошла к стеклянному куполу. Вершиною выходил он над крышей, и внизу, сквозь запыленное стекло, которое протерла она пальцем, виднелась зала, две свечи, трое безмолвных людей, безмолвно, словно призраки, ведших свою игру. Вот одна тень встала, вот вошел в залу кто-то и наверно говорит — но ничего не слышно. «Как в аквариуме рыбки за стеклом».

— Нравится вам за ними смотреть?

Леонтий Иваныч поставил на пол свой фонарик.

— Очень. И вообще очень хорошо, что вы тут, мы вдвоем... что вы...

И не договорил. Леночка что-то поняла, знакомое, горячее. И засмеялась коротким смешком. Он слегка обнял ее сзади, и поцеловал в шею, у теплых волос.

— Ах, вот как, вот как...— она продолжала смеяться, слегка оттолкнув его.— Это уж не совсем...

Она не знала, что хотела сказать, это было и неожиданно, и ожиданно, ей стало весело и неловко, и знакомая ласковость волной прошла по теплому ее, многолюбивому телу.

— Жить хотите, торопитесь,— бормотала она, пробираясь к выходу и уже почти в дверях, полузакрыв глаза, мягко и нежно, чуть побледнев, влажными губами поцеловала его прямо в губы.

— Ну, и будет, будет, и идем,— прошептала, оторвавшись.— Что такое за ребячество...

И опять смеясь, но уж более решительно, спустилась в антресоли, а за ней Леонтий Иваныч, со своим фонариком, с громко бьющимся сердцем.

Через полчаса он провожал ее домой, по парку. Ночной туман белел. Звезды цеплялись за ветки. Была глубокая тишина сентябрьской ночи. Лишь шаги отдавались. Леночка вздрагивала и смеялась, смутное, сильное и ласковое, ток жизненной мощи нес ее, земля казалась легкой. «Это все глупости, чепуха,— проносилось в голове.— Ну, просто шутка...»

А Леонтий Иваныч говорил нежности на своем дубоватом наречии. На его руку удобно было опираться.

— Да ведь я же уеду, все равно, очень скоро... Ведь давно пора. Очень даже пора, ехать, ехать.

Катерина Степановна отворила дверь с видом всепонимающим, покорным, и непоколебимым.

IV

Леночка заснула сперва крепко, даже с улыбкой. «Ну и целовались, глупости какие, мало ли чего не бывало...» Сон взял ее сильно, и горячо, как свою любимую. И из темного объятия не выпускал всю темную часть ночи, пока стыла земля под заморозком. Но посветлело небо; зарозовели стекла, отуманенные за ночь; в чутком, звонком серебре, в хрустале инея выступила дорога, стеклянные оранжереи, парк с огромным кленом, конюшни. Верные стражи — петухи запели. И по мерзлой земле загромыхала телега. Леночка вдруг задышала тяжко, застонала и забилась. Ухватила край простыни и к себе тянула, и сама тянулась, а сердце так напряглось, вот сейчас

оборвется. «Фу, кошмар какой, какой кошмар». Не то она умирала, не то хоронили ее, не то она не хотела лечь в могилу. Лоб холодный, в поту — видно, милый сон, так сладко взявший в ранние часы, ушел. «Николай, ведь это ж я, ну просто я... живая».

Она очнулась уж теперь, вот комната, и Оля дышит ровно и покойно, спит ясным сном. Там дверь к Кате. Нет, *он* был, все-таки, здесь сейчас, что такое произошло, он был... а может, и сейчас тут? В ужасе обернулась — вдруг увидит траурную рясу, замогильный блеск очей. Но ничего не увидела. Только сердце колотилось. «Ровно в годовщину, как раз под годовщину смерти его с Василием сошлась,— вдруг вспомнила.— Нет, не простит теперь, нет, не прощает».

Леночка села, сжала себе виски. «Свят, свят, Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея. Аминь, аминь, скройся!»

Стало немного легче. Все-таки заснуть она уже не могла. Укрывшись до подбородка, лежала тихо, глядела, как Оля спит и почему-то все хотелось не разбудить ее. Да, плохая она мать, несмотря на книжечки и шоколадки. Дочь... Горько, сладко щемило сердце. Может, надо для нее ломать жизнь, может, нет. Она вздохнула, потихоньку взяла зеркальце. Вот отобразилось в нем кругловатое, простонародное лицо с карими глазами, так легко вспыхивающее, так легко подверженное свету, ласке. Яркие губы, столько грешившие. Теплая шея с синей, бьющейся жилкой,— вся та Леночка, что в двадцать восемь лет выглядит еще девушкой, часто ходит в матроске, и в Москве, на службе, за быстроту и расторопность, и за матросский этот воротничок зовут ее *капитаном*. Такая она есть, и разве изменишь? И если бы Николай был жив, что это бы была за жизнь? «Нет, уж видно — как положено, так быть! Ехать, нечего тут сидеть, на прежнем пепелище!»

Скоро завозилась Катерина Степановна, Оля проснулась. Леночка сделала вид, что спит. Встала позже, совсем оправившись. И сказала, что завтра утром должна на станцию. Оля приняла это покойно.

— Вот, смотри, мама, я тебе какую брошечку сделала, это на память,— и показала свою работу — медальон, обмотанный серебристым шелком, в нем маленькая фотография Оли, трехлетней девочкой.— Это из карточки, где мы с папой снимались, помнишь? Чтобы ты меня не забывала.

Леночка обняла ее, опять задохнулась, и слезы застлали глаза.

— Неужели... неужели думаешь, я такая мерзавка... я забуду?

Оля слегка отвернулась.

— Ничего, мамочка, это я так... Я, конечно, знаю...

Вечером Леночка забрала ее к себе в кровать, опять с ней поплакала, ласкала и поклялась, что возьмет в Москву, как только можно будет. Оля лежала рядом тихая, и тоже заплаканная.

— Мамочка,— прошептала она, засыпая,— только ты знай, что я тебя, все равно больше... больше всех, больше жизни люблю.

На другое утро, очень рано, Оля проснулась и стала собирать мать. Делала это покойно и деловито, как взрослая хозяйка. Положила яичек, хлеба, масла. Вынесла небольшой ее саквояжик.

— Ну прощай,— сказала Катерина Степановна.— В Москву свою... Прощай.

Она поцеловала ее так же холодно, как и встречала. От поцелуя оставался след сухой могилы.

— Если Оле что понадобится — напиши.

Оля проводила мать до моста, через пруд. Там простилась. И до самого сворота в тот проулок, что вел к кладбищу, Леночка на нее оглядывалась. Маленькая фигурка махала платочком. Слезы и волнение стояли в сердце Леночки. Она шла быстро, легким шагом, и такое было чувство, что теперь уже ничто не остановит. Впереди Москва, жизнь, неведомое, то, что очаровывает.

Проходя мимо кладбища, она перекрестилась. «Этот-то уж не простит, наверно!» Все равно, все равно. Мертвые уходят.

Через десять минут достигла взгорья с облетевшим лесом. Чуть березы золотели, да винно краснела осина. Отсюда снова обернулась на село, белую церковь, дом графский и парк, розовевшие в заре. За последним кустиком все стало для нее былым, умершим, и впереди двигались поля, деревни и далекий силуэт станционной водокачки.

Солнце било в глаза. Над ним остановились облака, в пурпуре, с золотой каймой снизу. Зеленя укрылись матово, серебристой пеленой. По ним бродили спутанные лошади, проводя темно-зеленые, яхонтовые следы. Свежо, прозрачно, хрупко. Дали синеют. Луга туманятся. В деревнях тонкими струйками дым из труб. Пахнет испеченным хлебом.

Пыль пылила Леночкины ноги; роса обрызгивала серебром, сухой дубовый лист, в перелеске, нежно шуршал. Каждое светлое облачко в лазури, далекий, полевой ветер, золото солнца лишь быстрей гнали резвые Леночкины ноги — по ме́жам, по тропа́м, лесочкам.

Москва, 1921

ИЗ КНИГИ «РАФАЭЛЬ»

РАФАЭЛЬ

Мирен сон и безмятежен даруй ми...
Молитва

I

Радуга вознеслась. Капли еще падали, расплавленным серебром. Под рыже-золотистой тучей, набухавшей, клубившейся, было сине-стальное, и Сабинские горы нежно, призрачно белели на темном фоне. Смутные тени бродили по Кампанье; выхваченный солнцем, ярко светлел кое-где акведук, руина замка. А вблизи все налилось закатным, золотисто-зеленеющим сиянием. В нем блестела мокрая трава. Пар вставал над болотцами.

Переждав дождь в придорожной остерии, Рафаэль медленно ехал верхом на тонконогом рыжем жеребце с мягко-лоснящейся шерстью. Сегодня, в одиночестве, выезжал он на ардеатинскую дорогу; там осматривал найденный саркофаг и две статуи; а теперь огородами, виноградниками пробирался к городским воротам. До захода солнца надеялся еще поглядеть часть аврелиановой стены, где, как слышал, среди кладки попадались замурованные антики.

Уже близки были стены с грузными башнями ворот. Таинственные камыши ручья Альмоне, изливавшегося близ стены, шелестели, погружаясь в сон. Вода зачмокала под копытами варварийца — он закусил удила, осадил задом и заиграл сухими, огненными ножками. Рафаэль натянул поводья; и когда конь снова мирно зашагал, вынул из-под плаща сверток, запечатанный восковой печатью с оттиском летящего Меркурия. Эти стихи занес ему утром арапчонок моны Лаураны, поэтессы, племянницы кардинала — всему Риму известной странностями. Она переводила Пиндара, одевалась в черные плащи — наполовину по-мужски,— бродила иногда в Кампанье, вслух декламируя. Ее считали как бы вещей.

Рафаэль начал:

Ты в нежности приемлешь образ Бога,
Ты в радости взойдешь в его дворцы,
Тебе светлей горит звезда чертога,
Тебе дарованы любви венцы.
Но помни, смертный...

«Что сказал бы об этом Бембо! — подумал он с улыбкой.— Недаром он считает Лаурану безумной, и... посредственной поэтессой, несмотря на всю ее любовь к древности!» Но, дочитав, вздохнул и осторожно спрятал сверток. «Облик Сивиллы, грозящей предсказаниями. Но что предсказывать? Мне, идущему одним путем, всю жизнь — одним путем!»

И, совсем ослабив поводья, лишь иногда придерживая коня, чтобы лучше разглядеть камни, ехал он вдоль стены. Кое-где кусок мрамора попадался в ней — теплой, драгоценной заплатой: торс, ствол колонны. Недалеко от ворот С. Себастиано, за кустом, выросшим в трещинах, рассмотрел он нежное мраморное тело ребенка, охваченное каменным объятьем. Он остановился, слез. Держа коня в поводу, подошел, долго вглядывался, погладил. Под рукой мрамор казался тающим — светлой божественной природы. Точно вечная жизнь, благоуханная и трепетная, в нем заключена. Но зачем он здесь? Видимо, это варварская починка стены Аврелиана, когда хватали первое, попавшееся под руку, чтобы заштопать кладку.

Долго не мог Рафаэль оторваться. Но сова всполохнулась и беззвучно вылетела из расселины. Затрубил военный рожок. Давно угасла радуга, и розовый закат протянул по небу свои шелка. Вершины гор в нем алели. А вблизи уже сгущался сумрак; кой-где туман засинел — над сырыми местами. Пора было возвращаться. И, старательно запомнив место, Рафаэль юношески вспрыгнул в седло. Через несколько минут въезжал уже в ворота Сан Себастиано. За ним был день, полный исканья, чувств, творенья. Нет, что бы ни писала Лаурана, ни одного мгновения, ни вздоха и ни взгляда глаз уж не отдашь.

Копейщики, при въезде, окликнули его, и преградили дорогу. Но он не вез ничего недозволенного. Да и капитан его узнал, раскланялся.

— Поторапливайтесь, маэстро; уже темнеет. В переулках Рима одному небезопасно.

Рафаэль улыбнулся и поблагодарил. О, сколько раз ездил он и ходил ночным темным Римом, наедине с судьбой, любовью, нежностью. Никогда и никто его не тронул. Так и теперь, доверчиво ехал он, среди пустынных садов, в направлении к

древним Порта-Капена. Стрелами темнели кипарисы за невысокой стеной, мелкой листвой шелестели вечнозеленые дубы; кое-где золотистые лимоны свешивались — пахло влагой, лимонами, пригретой за день, благоухающей сейчас землей. Недалеко от базилики Нерея и Ахиллея, справа от стены, обделанная в античной маске, бежала струйка воды. Ее принимала мраморная цистерна. Варвариец потянулся к воде. Рафаэль отпустил поводья, дал напиться. Было тихо. На небе с красными космами облаков, вырезывалась страшная громада Терм Каракаллы. Прямо вдали высился Септизониум. Где-то звонили мягко, одиноко. Высоко, под облаками, как далекие вестники, протянули со слабым клекотом журавли. Вода слабо журчала.

— Ну, друг, вперед! — И, тронув коня, рысью поехал Рафаэль к туманному Палатину. Он обогнул его, выехал к церкви Санта Мария ин Космедин. В узеньких улочках перед Тибром зажигались огоньки. В остериях жарили баранину на вертелах. Девичий смех слышался в закоулках. Башмачки стукали по камням. Высунувшись из окон, яростно ругались через улицу соседки.

Рафаэль перебрался через Тибр, древним мостом у острова, и конь медленно, пофыркивая, пошел в гору среди бесчисленных закоулков Трастевере. В одном из них, где воткнутый в железную скобу факел то склонял красноватое пламя, заливаемое дымом, то горел ровно, золотисто,— Рафаэль слез и постучал у двери. Сверху отворилось окно; женская голова выглянула, и свежий грудной голос крикнул: «А, это вы, мессере! Я сейчас!» И в черном переулке, под звездами, уже вышедшими на небе, юная трастеверинка чрез минуту отворяла ворота, вводила лошадь, обвевала пришедшего смуглотой кос, нежностью, румянцем. По кривой, скрипучей лестнице вновь они поднялись. На одном из поворотов, в темноте, наткнулись на старую бочку из-под вина, засмеялись, он толкнул ее, она присела на край бочки. В небольшое окошечко виден был темно-багровый угасающий закат да лицо Рафаэля, бледное, томно-напряженное, с блестящими глазами.

— Милый, сколько ждала тебя! — И она обняла, полузакрыв глаза. Через минуту вздохнула, шепнула: — Ну, идем, идем.— Встала и повела еще выше, в скромную комнатку с окном на Тибр, с огромною кроватью и Мадонною над ней.

Сияя черными своими древними глазами, она сказала, указывая на Мадонну:

— Ты великий художник. Если ты меня любишь, то напиши Мадонну для меня, а не только для кардиналов и князей.

Рафаэль ответил, что и ее он напишет — в облике Мадонны.

Она зарделась и засмеялась. «Я простая цветочница!» Но ее профиль с выточенными лбом, тонким носом, узлом черных кос был достоин классической камеи.

Начало зеленеть за Тибром, и Венера, светлая утренняя слеза, засеребрилась над Сант-Анджело, когда вниз по скрипучим ступеням спускался Рафаэль. Бледность, ласка были на его лице. Конь дожидался. На дворе собака на него залаяла — Рафаэль свистнул, лай прекратился: никогда животные не обижали его. Пес подошел и покорно, с вежливостью лизнул руку, как покорно, холодеющими устами начертала поцелуй трастеверинка.

По пустынному Риму, Яникулом, к Борго Нуово нес неторопливый конь хозяина на рассвете. Рим небезопасен ночью. Бывает, темные люди ждут у перекрестков. Дозоры ходят. Тибр кофейно-мутен, льется, льется — печаля, радуя...

Покойный конь четко ступает. Невозбранно возвращается Рафаэль.

II

Все легли вовремя в огромном, холодноватом дворце на Борго Нуово. Бледно отблескивали венецианские зеркала с резными амурами; кариатиды сгибали шеи под тяжестью потолка; ткани умолкли, угас переливающийся хрусталь в люстрах. Лишь золотистый паркет слабо иногда потрескивал.

Но наверху, в небольшой комнате, куда вела витая лесенка, горела еще скромная лампа; у стола, заваленного рисунками, картинами, над тетрадью в красном сафьяновом переплете сидел Дезидерио, земляк и ученик Рафаэля. Он слегка горбился; из расстегнутого белого вортника выходила тонкая, полудевичья шея и несла голову некрупную, темноволосую, с нежными задумчивыми глазами. Но уж волненья, Рим, работа — прогоняли с лица простодушный румянец. Ученик был худее и бледнее, чем бы следовало.

Нетвердым почерком Дезидерио писал: «Он не взял меня нынче на раскопки. Я не знаю почему. Впрочем, что ему я — робкий, ничем не замечательный? А хотелось бы с ним быть всегда! Давно полночь минула, его нет. И так каждый вечер. Дни его горят. Ему мало дней. Мало работ, заказов, наблюдений, мало славы и восторга кардиналов, св. Отца. И ночей не щадит он. Редко возвратится ранее рассвета — но всегда юный и всегда очаровательный... Впрочем, иной раз как бы тень, раздумье и мечтательность проходят в нем — он тогда удаляется от всех...»

Отложив перо на минуту, Дезидерио продолжал:

«Наши ученики, от Пинно, первого, до меня, последнего,

боготворят его. Иначе и не может быть. Необычайная прелесть в нем. Вчера Ансельмо сказал: если бы Учитель сошел в Ад, за Эвридикой, то достаточно было бы его взгляда, чтобы свирепый Плутон отпустил возлюбленную. Да, взгляд его чарует. Женщины не могут устоять пред ним. Незачем ему играть на лютне, как Орфею, чтобы они за ним следовали. Поклоняясь красоте божественной, он слаб и к земной. И его влекут как дамы римские, как бесстыдные куртизанки, так и цветочницы и простые трастеверинки. О Боже мой, если бы я обладал гением его... Неужели и я тратил бы ночи на безумства? Впрочем, умолкну: не мне судить или даже понимать Учителя. Он прекрасен. Все, что он делает, безупречно. И быть может, сама жизнь его — каждый его миг — есть хвала, высший фимиам Творцу, наделившему его великими дарами».

В окне обозначилось зеленеющее небо — тонкий рассвет. Лаяли вдали собаки. Петухи запели. Дезидерио потушил лампу, спрятал тетрадь и собирался уже лечь на бедную свою полумонашескую постель, когда внизу, по мостовой, раздалось цоканье подков — знакомый, острый звук. Он вздрогнул. В легком волненье спустился вниз в залу, полную еще опалового сумрака. Лишь в подвесках люстр да в плавном стекле окон начинало бледно струиться и светлеть. Слышно было, как внизу хлопнула дверь, задвинули засов. По лестнице спокойные шаги — и через минуту перед ним Рафаэль.

— Ты еще не спишь?

— Я ожидаю вас, Учитель.

Рафаэль улыбнулся — томной, несколько усталой улыбкой.

— Можно подумать, что ты за мной следишь, или ревнуешь.

Дезидерио смутился.

— Мне не хотелось спать... К тому же... может быть, вам понадобится что-нибудь... Все уж легли.

Рафаэль посмотрел на него внимательней.

— Ты слишком много учишься. Стал худеть. Смотри, как бы я не отправил тебя назад, в Фоссомброне.

— Этого не может быть, Учитель,— тихо дрогнув, ответил Дезидерио.— Вы не сделали бы мне дурного...

Рафаэль покачал головой.

— Вот как! Вот как!

Дезидерио прошел за ним в спальню, подал умыться, помогал раздеться. На прощанье Рафаэль поцеловал его в лоб, и провел рукой по нежной, тепло белеющей шее.

— Иди спать, затворник,— ласково сказал он.— Если бы все мои ученики были как ты, то мастерская моя обратилась бы в монастырь.

Дезидерио покраснел, слегка задохнулся. Затем поцеловал руку мастера и вышел. Вновь — не хотелось идти наверх, вновь он знал, что теперь уж не заснет. И, взяв стул, тихонько, чтобы не разбудить, поставил его у полураскрытой двери, сел. Временами поглядывал в комнату, где Рафаэль, глубоко вздохнув, быстро заснул на низком своем ложе, под парчово-золотистым одеялом. Он лежал на спине, соединив на груди руки, и большой, бледный лоб его, в черных кудрях, ясно выделялся на восточном ковре. Синеватые тени легли под глазами. Он был так недвижен, тих в зачинавшемся зеленовато-золотистом утре, что Дезидерио стало даже жутко — точно в легкой ладье отчаливал Учитель к островам блаженных. Но это не была смерть, лишь сон, ее прообраз, вводящий душу в свои, ему лишь ведомые владения.

Так просидел юноша довольно долго, и когда ушел, солнце подымалось уже за Монте Кавалло. Рафаэль же спал крепко. Он проснулся гораздо позже. Легкие облачка плыли по небу; голубой апрельский предполудень одевал Рим светом и благоуханием.

Темно-зеленая ветвь с золотистыми апельсинами, перевитая лентою с надписью шелком soave[1] — утренний привет поклонницы — лежала на ночном столике художника. На серебряном подносике — записка от Апостолического секретаря; св. Отец ровно в полдень, после выстрела из пушки желал его видеть. «Мы, милостью Божьей Лев X,— думал Рафаэль, одеваясь,— во всем намерены походить на бурно-пламенного нашего предшественника. Значит, опять будут торопить, подгонять...» Он отдернул занавес окна и выглянул: как всегда, скромный ослик, навьюченный поклажей, постукивал копытцами по мостовой; шагал капуцин, босой, с веревкой у пояса; абруццанки в деревянных корсетах, коротких бархатных юбках направлялись к Сан Пиетро — из далеких гор, с благоговением, молитвой, ясною душой. Курица где-то кудахтала. Набегала тень облачка, голубоватою волной, вновь светлело, и веселей швырял камешком в голубя уличный мальчик. О, уйти бы в Кампанью, одному лежать на спине, слушая жаворонков, дыша, следя за тихим бегом облачков! Неохотно собирался Рафаэль к св. Отцу: все коленопреклонения, длинные и медовые речи кардиналов — даже самых изящных и обольстительных,— все это благообразный, медлительный сон, который, правда, нужно же проделывать... а может быть, не так уж и необходимо?

Но не пойти он не мог. И как во многие утра, через полчаса входил, со всеми церемониями, во внутренние покои властелина

---

[1] нежно *(ит)*

Церкви. Голубоватый, дымно-весенний свет наполнял комнату. В окно виден был угол строящегося собора, кусок серебряного, в блеске, Тибра, и далекие пинии холма Яникула.

У самого окна, за небольшим малахитовым столиком, грузно облокотясь на него, сидел Папа. Держа в руке, выхоленной и пухлой, лупу, рассматривал он небольшую книжку. Художник привычно поцеловал эту руку. Папа кивнул ему приветливо.

— А? — Он слегка задыхался от толщины и перевел на него водянистый взгляд бесцветных глаз.— Что ты на это скажешь? Грамматика древнееврейского языка. Смешные люди не только умели писать своими завитушками удивительные псалмы, рассказывать о Ное, Моисее и прочих почтенных старцах, но теперь даже издали правила своего языка... Подумать только! Правила языка, на котором все читается справа налево... а, как это тебе нравится?

— Значит, они достаточно трудолюбивы, Ваше Святейшество.

Папа захохотал и кружевным платочком ослепительной белизны отер влажный лоб.

— Да, трудолюбие, трудолюбие, вещь почтенная. Ну и слава Господу, никто в наших владениях не грешит особенно против этой добродетели. Но ведь издано удивительно, а? — Он опять постучал лупой по пергаменту.— Да, дела просвещения и благословенной красоты радуют, весьма радуют на склоне лет. Я люблю все это — и не стану скрывать: Тацит, изданный впервые в мой понтификат, это, любезнейший Рафаэль, много интересней, чем нелепые схизмы, распространяющиеся на свете. И ты трудишься, да, похвально. А что же разбойник подрядчик? Бембо говорил вчера, что опять он обманул тебя, и уж апрель, а травертин все не прибывает.

Папа вдруг рассердился:

— Да ведь я... знаешь, что я с ним за это сделаю?

Рафаэль вздохнул и покорно, тихо и покойно стал рассказывать о затруднениях с травертином. Папа слушал внимательно. Иногда вставлял слово — оно должно было показать, что и он все знает и понимает не хуже строителя. Рафаэль почтительно делал вид, что это именно так. Папа заметно успокаивался.

— Как всегда, блаженный Санцио, ты умиротворяешь и погружаешь в какое-то сладостное оцепенение. Когда слушаешь тебя, то смолкают тревоги, будто великий музыкант играет на виоле. Итак, ты находишь, что задержка эта временная, и на ближайших днях все будет наверстано. Dominus det tibi fortitudinem[1].— Он перекрестил его.— Над тобою звезда побед. Верю

[1] Да пошлет тебе Господь силу *(лат.)*.

твоим безоблачным речам. Ну живи, работай, не увлекайся чрезмерно прелестницами — ты еще будешь мне нужен чрезвычайно. И не одному мне,— прибавил он, засмеявшись,— искусству, человечеству.

Папа иногда любил, сказав самую обычную вещь, вдруг обрадоваться и сделать вид, будто вышло превосходно, и он сам поражен тонкостью языка своего. Рафаэль это знал, почтительно поклонился.

— Вы оказываете мне великую честь, Ваше Святейшество. Честь, мною не заслуженную.

Папа милостиво кивнул и взялся за лупу.

Выходя, в следующей комнате, Рафаэль чуть не столкнулся с кардиналом Джулио Медичи. Быстро, неслышными шагами пробирался тот к Папе; заметив художника, мгновенно изменил свое лицо — с холодной озабоченности на привет, любезность. Длинный и тонкий его нос над полными губами, казалось, остро вынюхивал. Что-то влажное было в его лице, неприятно лоснящееся и медоточивое. После нескольких слов приветствия он схватил Рафаэля под руку, слегка отвел, чтобы не было слышно второму секретарю, следовавшему за ним, и вполголоса произнес:

— Милейший наш Агостино, изящнейший амфитрион и поклонник возвышенного, приветствует завтра закат солнца на своей вилле. Вам приглашение послано. И надеюсь, Рафаэль, вы не откажетесь?

Джулио блеснул на него большими, темными и тоже влажными глазами, торопливо пожал руку.

— Наверно, мы встретим с вами там восход солнца, как во времена былые с прекрасной Империей...— Он слегка хихикнул.— А теперь спешу, спешу к святому нашему вождю, отцу и столпу христианской Церкви.

Он любезно кивнул, и быстро надел на лицо свое — прежнее, холодно-значительное выражение дипломата.

Рафаэль же, не торопясь, шел далее. Как и вчера, как завтра, посылало солнце голубовато-золотистые ковры свои на землю, одевая комнаты сиянием светлым, трепетным. В этом был благостный привет благословенным местам. Рафаэль чувствовал на себе негу света — как бы ослабевал, растворяясь в ней. Ему хотелось широко дышать, пить этот свет, как легкий и обожествленный нектар.

И незаметно, не спускаясь вниз, к постройкам и подрядчикам, оказался он в комнате della segnatura[1], где со стен взглянули на него видения юности, фрески Парнаса, Диспута, Афинской

---

[1] милой сердцу, волшебной, благословенной *(ит.)*.

школы. В каком сне пригрезились они ему? Вот вновь — сонмы святых, философов, поэтов, дивная в легкости своей архитектура, небесный синклит, рощица Аполлона, и среди светлого хора отвлеченностей — отголоски знакомых, некогда милых лиц. Граф Кастильоне, с длинной бородой, Браманте, герцог Монтефельтро, и сама Империя, имя которой всуе упомянул Джулио,— в облике Сафо перебирает струны лиры, как перебирала их некогда на виа Джулиа. Никого не было в комнате. Ласкалось солнце, да цветные золотисто-радужные пылинки плавали безостановочно. «Этого уже не будет»,— вдруг подумалось ему, и безотчетная стрела пронзила сердце. Как эти вечно уплывающие токи золотого света, уплыла юность, Империя, светлые вдохновения, как уплыла уже вчерашняя трастеверинка, как улетает каждый вздох его и миг. «В далекий путь,— пела со стены лира Сафо.— В далекий путь, где тени светлы и прозрачны рощи».

В этот день стены возводимого Собора не увидели своего строителя: приступ мечтаний и таинственной тоски овладел им, и из Ватикана, неизвестно зачем, он побрел к Санта Мария делла Паче. Там глядел на Сивилл, выведенных его же кистью в капелле Киджи, на летящих ангелов со свитками, и в глазах Сивиллы Фригийской, задумчивой и дивной Империи, читал то же, что слышал в лире Сафо. Мгла, сияние золота, лампад... «Почему ушла от нас внезапно Империя? Что за судьба ее?» — думал он, возвращаясь берегом Тибра. И понять этого нельзя было, как необъяснимо и рождение подобной красоты.

В одиночестве сидел он под платаном, недалеко от вод. Мутные, кофейно-желтые, катились они мимо. Женщина полоскала белье. Ребенок бегал. Сант-Анджело вздымался, со своими башнями, зубцами. К нему лепились домики с лоджиями на косых подпорах. Носились ласточки. Солнце склонялось. Беспредельно голубело небо; безбрежно ветерок набегал. Бесконечно Тибр шумел. Трудно было узнать, правда все это или милый сон, дивный мираж?

III

На другой день с утра зашел Рафаэль к себе в мастерскую, где Пинно и Ансельмо трудились, заканчивая «Преображение», оглядел все, кое-что поправил, но не мог долго задерживаться, направился в Ватикан. Тут ходил по лесам, подмосткам, наблюдал за кладкой, покойно, твердо говорил с подрядчиком — хитрым бородатым генуэзцем, постоянно переходившим на непонятный свой жаргон дженовезе: наконец сел опять на коня

и, в сопутствии учеников, слуг, отправился к Кампо-Ваччино на раскопки. А оттуда должен был заехать к Биббиене посмотреть коллекцию монет, только что купленных; потом распорядиться насчет мраморного младенца в стене Аврелиана, работать дома, ответить заальпийскому художнику — вообще вести тот беспрерывный, рабоче-творческий день, что и была — жизнь его. Нынче чувствовал он себя особенно бодрым, астролегким и молодым. Казалось, мало ему света, римского апрельского солнца, мало улыбок на лицах, цветов и девушек. И ласково, с неотвратимой нежностью взглянул он, у театра Марчелла, на двух быстроногих, тоненьких горожанок, сверкнувших на него огромными глазами. Они вспыхнули и засмеялись под его взором,— к нему полетела красная роза. Он поймал, улыбнулся, кивнул и прикрепил ее к себе на грудь. Варвариец же, испугавшись, рванул и галопом вынес к древнему мутному Тибру, видевшему Ромула, любви царей и императоров.

И, лишь проезжая Кампо-ди-Фиори, вздохнул блаженный Рафаэль, даже закрыл бы взор рукой: посредине, довольно высоко на столбах, громоздилась неуклюжая клетка; три человека в колпаках сидели в ней — это были воры, обокравшие церковь. Завтра повезут их через Рим в шутовских митрах с дьявольскими изображениями к Латеррану; там четвертуют и сожгут. А пока несколько алебардщиков караулят их, народ толпится, слышен говор — в двадцати же шагах мирно торгуют на лотках ленточками, амулетами, жарят на жаровнях рыбок, уличные писцы пишут письма... Нет, мимо, мимо! Ни издевательств, и ни краж, ни казней не желает проезжающий художник — это мелко, горестно, не нужно. Со спокойным, светлым интересом погрузится он у Биббиены в мир статеров, дариков, дидрахм. Может быть, вспоминая «Парнас», прочтут они отрывок божественного Платона, перл типографии Мануция; послушают сонет Кастилионе, выпьют по бокалу сицилианского, отдадут честь куропаткам и фазанам. Голубой день будет над ними безмятежен.

Но сегодняшнего вечера пропустить нельзя. И к семи Рафаэль уже дома,— робкий Дезидерио лишь немного видел его — Учитель снова переоделся, он не может запаздывать, огорчать друга своего, Агостино Киджи, встречающего закат на притибрской вилле.

Все же к закату Рафаэль не поспел. Солнце уже скрылось; гигантский оранжевый веер сиял за Ватиканом, в нем четко чернели пинии по холмам, и глубоким, насыщенным блеском были полны улицы Рима, когда Рафаэль всходил по лестнице. Слуги в богатых ливреях низко кланялись. Благоухали цветы в корзинах. На верхней ступеньке последние лобзанья солнца

залили его пурпуром, кинули алые пятна на простенок, потолок. Легко, в нежно-шуршащем шелке шел Рафаэль, он ощущал аромат роскоши, изящества, милых женщин,— и вступил в залу, где в синеющем полумраке зажигались уже золотые канделябры. Ровное мелодичное журчание голосов — многие уже собрались — неслось оттуда.

И эту залу, и виллу знал Рафаэль — сам он и ученики его трудились тут, накладывая на стены своими фресками светлый покров радости. Летали голуби Венеры, нежная Психея восходила на Олимп — совершать брак с Амуром; небожители в облаках принимали ее, правили свадебный пир, цветы сыпались, разливались благоухания, и бессмертная пляска увеселяла сердца бессмертных. А могучая природа одаряла их цветами, и плодами, бабочками, птицами — все жило и шелестело в дивных фризах.

— Наконец-то, Рафаэль, и вы. Наконец! — говорил хозяин, Агостино Киджи,— высокий, тонконосый, с гривой волос бородатый человек, беря его под руку.— Мы уж подумали, что вы обманете.

Рафаэль мягко поклонился.

— Этого, кажется, со мною еще не было.

Гости шумно и весело его приветствовали.

— Бероальдо собирался уже читать новые сонеты,— ласково проговорила мона Порция, у которой художник почтительно поцеловал руку.— Но поджидали вас.

Рафаэль поклонился и сказал, что, если бы эти сонеты были прочтены дважды, вряд ли остался бы кто-нибудь недоволен.

— Но пойдемте сюда, друг мой,— продолжал Агостино, увлекая его к лоджии,— пока не завладела нами какая-нибудь из Психей, сделайте честь вину, для вас сохраненному!

И Агостино, слегка раздувая тонкие ноздри, вывел его в просторную лоджию, всю разубранную цветами, с видом на Тибр и Рим. Небольшие столики были расставлены у балюстрады. За ними сидели, пили, смеялись. У одного, с большим букетом чайных роз, они сели. Агостино налил из хрустального, граненого графина по бокалу вина.

— Все то же вино,— Рафаэль улыбнулся,— что и боги пили на свадьбе Психеи. Только в венецианском бокале.

И, держа его за тоненькую ножку, прежде чем выпить, вдохнул он нежный аромат.

— Да, любезнейший Рафаэль, не будь я христианином и банкиром его Святейшества, я хотел бы, чтобы после смерти жизнь моя шла в том же олимпийском мире, что вы так чудесно воскресили на стенах наших.

Рафаэль протянул опорожненный бокал.

— Еще вина, дорогой Агостино.

— Охотно, да, ваше здоровье! За ваше чародейное искусство.

Они чокнулись.

— Да, продолжаю, я желал бы жить вечно в воздухе Олимпа. Смерть... ах, не хотел бы я ее, и ни сейчас, и ни когда-либо.

Он слегка вытянул вперед и сжал руки. Глаза его блеснули — почти дико, страстно.

— Если говорить серьезно... *это,* понятно, будет... рано или поздно. Но — дальше, дальше! Вы еще во цвете лет, Рафаэль, а у меня уже седины. Правда, судьбы своей никто не знает... Ах, я хочу еще жить, хочу, художник! — почти вскрикнул он.— О, какие во мне силы! Я хочу бороться, повелевать, ласкать... творить, я хочу, чтобы вокруг меня были люди, как вы, я хочу напитать всю жизнь красотой, и быть вечно в огне, в огне...

Он оперся локтями на колени, сжал голову.

— Вы поймете меня. Вы поймете — ведь не только же торгаш я, и не только рудники, конторы, банки меня занимают... Хотя,— прибавил он, и глаза его заблестело вновь,— и это... о, и это увлекает, и богатство, и могущество.

Рафаэль вздохнул.

— Я люблю жизнь не меньше вашего. И как раз сегодня кажется она мне особенно прелестной... Но... за все последнее время, с какой-то новой, необыкновенной ясностью я чувствую, насколько все мгновенно, как призрачно, Агостино... Я не удивился бы ничему такому, что ранее казалось странным... и далеким.

Агостино улыбнулся.

— Вы цветете! И вы знаете, что ничто горькое вас не заденет.

— Нет,— ответил Рафаэль покойно и как бы задумчиво,— мы ведь ничего не знаем — я лишь повторяю ваши слова. А скажите, будет у вас нынче Лаурана?

— Будет... полоумная женщина. Почему вы спрашиваете?

— Она прислала мне стихи. Я хотел бы поговорить с нею.

В это время в залу, уже ярко сиявшую в сумерках, плавными и неслышными своими шагами вошел кардинал Джулио. Длинный его нос, как всегда, что-то вынюхивал. Смесь сладости и мрака была на лице. Агостино поднялся.

— Простите меня, Рафаэль. Надо встретить эту лису.

Рафаэль остался. Он медленно отпивал душистое вино и смотрел за балюстраду, где кипарисы, лавры, апельсиновые деревья сходили к Тибру аллейками и в беспорядке, фонтан журчал, и среди олеандровых боскетов стояли каменные скамейки; в нише направо белела статуя.

Закат угас. За Тибром простирался Рим — уже тонущая в весенних дымных сумерках громада садов, дворцов, развалин, храмов. Налево Сант-Анджело вздымался — зубчатыми башнями; прямо виднелся купол Санта Мария Ротонда, а направо, над Форумом и Велабром, синел уже туман, прорезываемый черными кипарисами. В городе огоньки зажигались, но на горизонте, призрачно выделяясь на фиолетово-сиреневом небе, переходившем в нежно-оранжевое, розовели Сабинские горы: волнистой, прерывистой линией от Монте Соракто до Монте Дженнаро. Смутный гул доносился из города — но уже смягченный, утишенный — вечер наступал. Звезда бледно замерцала над Авентином.

Рафаэль долго, внимательно любовался видом давно знакомым и всегда новым, потом перевел взор назад, к освещенной зале. Видно было, как Агостино любезно и почтительно беседовал с кардиналом, как приветливо кивала вновь прибывающим мона Порция, как слуги пробегали с подносами, прохаживались гости. Можно было подумать, что по одну сторону дремлет вечность Рима, пустыня Кампаньи, гор, а по другую, светлый и легкий, вьется непрерывный карнавал.

На минуту все стихло в зале. Раздались звуки лютни, и небольшой, но мелодический голос запел:

О, сколь прекрасна жизнь скоропроходящая,
Радугой счастья нас увеселяющая,
Светло улетающая к волнам Летейским[1]

Лютня аккомпанировала мягко и нежно. Нежно-серебряное было и в пении, и в полузаглушенных, но прозрачных звуках инструмента. Когда певица закончила, раздались аплодисменты. Агостино вновь вышел в лоджию, подошел к столику Рафаэля, налил себе вина. Лицо его было взволнованно, несколько побледнело.

— Рафаэль, помните вы божественную Империю? Как она пела!

Рафаэль медленно и утвердительно кивнул.

— Помните, что тогда мы были с вами соперниками? — Рафаэль вновь наклонил голову.

— Что почти уже восемь лет, как оставила она нас?

— Я все помню. Она ушла в день Успения Богородицы, 15 августа 1512 года. Была гроза, страшный ливень. Все оплакивали ее смерть.

— И не находите ли вы, что смерть эта в расцвете красоты, молодости не была вполне обычной?

— Она ушла так же внезапно, и почти сверхъестественно, как и явилась в жизнь, будучи совершенной красотой.

Агостино опять тяжело подпер руками голову.

— Я думаю так же.

И, выпив бокал, бросил его вниз. Со слабым звоном распался дивный венецианский хрусталь.

— Бездна забвения! Но вы, художник, светлой своей кистью увековечили Империю.

Он встал и взял его под руку.

— Идем, однако. Дамы удивляются, почему нет с ними всегдашнего, как сказала нынче Бианка, благоуханного Рафаэля.

— Мона Бианка,— ответил Рафаэль,— синими своими глазами сама напоминает фиалку из окрестностей Пармы.

И, допив вино, покорно направился он за хозяином, и покорно уселся с мадонною Бианкой, синеокой Психеей, в полукружии дам и кавалеров, собиравшихся в большой гостиной слушать Бембо. Исполняя выпавший ему фант, длиннобородый, лысый Бембо кратко, ясно и изящно произнес небольшую речь, в прославление Психеи, вечно прекрасной, женственной души мира, дарующей ласку и очарование. По его словам, потому бессмертные приняли ее в свой сонм, что в ином отношении она выше даже Афродиты — ибо Афродита полдень, свет и свершение, Психея же лишь легкое дуновение, внутренний, как бы эфирный дух любви.

Речь имела успех. Все зааплодировали.

— Чу́дно, чу́дно,— говорили дамы.— Да, недаром мессер Бембо первый наш поэт, и первый латинист Апостолической курии!

Рафаэль поцеловал ручку моны Бианки.

— Синие очи Психеи говорят об эфире небесном, который изливает она на бедных смертных.

Бианка улыбнулась и погрозила пальцем.

В это время шумная и легкая ватага масок ворвалась из боковых дверей — завеяли голубые, черные шелковые плащи, расшитые золотыми звездами; таинственно засияли глаза из-под бархатных полумасочек. Зазвучали скрипки. Вихрем понеслись призраки по зале, плавно и мерно колыхаясь, в странном танце своем, вокруг высокой женщины с голубком в руке, в центре.

— Ну, а знаете ли вы, знаток всего, Рафаэль,— спросила Бианка, слегка хлопнув его по руке веером,— что это значит?

Рафаэль вновь поцеловал ей руку, около локтя,— молочно-бледную, с тонким голубыми прожилками.

— Я знаю лишь одно — что синеющий эфир исходит не только из очей Психеи, но и из божественных ее рук.

— Поэт, поэт.— Она смеялась.— Так знайте, что это хоры звезд, планет и комет, поклоняющихся Венере, сестре своей.

Когда, через несколько времени, Рафаэль встал, чтобы налить себе вина, одна комета пролетела рядом с ним, слегка задев его плащом. В миндалевидную прорезь маски глядели слегка косящие туманные, как бы безумные глаза.

— Но помни, смертный...— прошептал знакомый голос.— Но помни, смертный...

Он подхватил ее под руку и повел к балюстраде, к столику, где стояло еще его вино.

— Что бы ни пророчила ты мне, Лаурана,— он налил,— принимаю! Пью!

Комета схватила его за плечи, нагнулась — длинно заглянула в глаза.

— Ты не можешь быть иным, Рафаэль! Ты — Рафаэль!

Тем же золотистым вином чокнулись они, но теперь, выпив, он бросил бокал. И с таким же мелодичным, слабым стоном тот разбился. Лаурана же, вся в черном, с рассыпающимся хвостом своим, унеслась в залу, где танец продолжался.

Голубая ночь стояла над садами, когда Рафаэль под руку с синеокой Бианкой спускался к Тибру, среди кипарисов, лавров, апельсиновых деревьев. На каменной скамье, недалеко от античного саркофага, над которым склонялось лимонное деревцо, они сели. Вдали светились окна виллы; слышалась музыка; пары неслись в танцах. Бал продолжался. И уже слуги в одной из боковых гостиных готовили алтарь Венеры, где богине предстояло жертвоприношение — молоком, голубками, мадригалами. Бембо и Бероальдо — сонетами, Лаурана — сафическим строфами.

Целуя руки смеявшейся Бианке, Рафаэль говорил:

— Видите ли это лимонное деревцо? Древний миф повествует, что в него обратила Афродита мертвого Адониса. Оплакивая его гибель, она вдруг вскрикнула: «Я хочу, чтобы, как некогда лавр говорил о любви Дафны, так дерево обессмертило бы нашу любовь». И она изливает амброзию на волосы Адониса, омывает тело его водою Идалии, шепчет неведомые слова и покрывает страстными поцелуями. И тогда волосы его твердеют, вытягиваются корнями, тело — гладким стволом; юношеский пушок обращается в листья, белизна становится цветами, руки простираются ветвями. И влюбленный по-прежнему, он осыпает любовницу свою белыми лепестками.

Мона Бианка зааплодировала.

— Браво! Браво! Откуда такие познания в мифологии?

— Но я ведь, на своем веку, писал не одних мадонн, и не одним мадоннам поклонялся.

— Вот я всегда и говорила, что Рафаэль все знает,— тихо и с улыбкой отвечала Бианка.— Все ему близко!

Рафаэль же целовал ее нежно и длительно, находя важные предлоги и для рук, и для молочной шеи с нитью тускло-золотеющего жемчуга, и для губ, и для синих знаменитых глаз мадонны Бианки.

IV

«Сегодня воскресенье,— писал три дня спустя Дезидерио в своей тетрадке,— и утром я слушал мессу в Санта Мария делла Паче. Пусть смеются надо мной другие ученики, называя меня девственницей из Фоссомброне и святой Дезидерией; все равно, даже в этом Риме, шумном и блестящем городе (светлые виноградники, поля и синеющие горы нашей страны все-таки лучше),— даже и здесь я не могу забыть наставлений матушки, говорившей, отправляя меня сюда: помни, Дезидерио, всегда помни о Господе нашем Иисусе; не ложись спать, не прочитав молитвы, соблюдай посты и ходи в церковь. И св. Дева даст тебе силы устоять в омуте, называемом Римом, и сподобит овладеть искусством.

Да, матушка, я так и живу. Здесь считают это отсталым. Здесь царят роскошь и мирская суета, истинно верующих же мало. Но ко всему этому блеску, великолепию не лежит моя душа. Каким был в Фоссомброне, таков я и здесь. Я живу скромно и незаметно, молюсь, не пропускаю месс; сердце мое легко; я издали гляжу на жизнь, катящуюся пестрым, блестящим карнавалом; лишь иногда грусть одевает меня своим покровом. Что же до искусства, то я успеваю мало — не без печали сознаюсь в этом. И хотя Учитель, как справедливо называют его, *божественный* Рафаэль, и снисходителен ко мне, все же я чувствую, что силы мои слабы, кисть неверна, рисунок бледен и невыразителен. Я не могу сравняться даже со средними учениками вроде Ансельмо. Но сама жизнь около Учителя... О, всегда буду я благодарить Небо, давшее мне ближе узнать этого человека! Отстояв мессу, я заходил в капеллу Киджи, где несколько лет назад Учитель написал четырех Сивилл. Глядя на одну из них, Фригийскую,— опершись рукой и телом на полукружие свода, она задумчиво читает скрижаль, несомую ангелом,— я вспомнил Учителя. Ранее я слыхал, будто в Сивилле этой он изобразил свою возлюбленную, некую красавицу и куртизанку Империю, умершую восемь лет назад. Но уже таково обаяние его кисти: грешницу эту он возвел к высшей глубине и задумчивости — и не знаю почему, мне мгновенно представилось, что на этой скрижали она читает судьбу самого Учителя, и уже знает ее. Это меня взволновало. И, возвращаясь домой,

я все время думал о нем. Вот что, между прочим, занимает меня: живя здесь довольно долго, зная все творения художника, видя его самого ежедневно, я не могу с уверенностью сказать, истинный он христианин или нет? О, конечно, в Господа Иисуса он верит, и св. Деву прославлял неоднократно; но нельзя не видеть, что и красоте земной, чувственной предан он чрезвычайно. Не говоря о живых женщинах, он как будто влюбляется и в мраморных богинь, вечно занят древностями, восторгается монетами, греческими торсами, целые утра проводит на раскопках на Кампо Ваччино, откуда, по-моему, и вывез эту лихорадку, правда, не сильную, которая держит его в постели уже второй день.

Мне трудно обнять все это, свести к одному. Для христианина он слишком язычник, для язычника же — слишком полон того света, какой дается христианину...»

Он задумался и отложил перо. Потом захлопнул тетрадь, спрятал ее, вышел из комнаты. Было три часа дня. Дезидерио спустился вниз, в спальню Рафаэля.

Слабым движением руки ставил Рафаэль серебряный колокольчик с ручкой в виде Амура на столик у изголовья. Желтые шелковые занавеси на окнах были спущены; в комнате стоял золотистый полумрак. Пахло розами — большой красно-белый букет лежал на комоде,— духами. Воздух несколько спертый. Увидев вошедшего, Рафаэль улыбнулся.

— Ты всегда где-то здесь, Дизи. Мне кажется, стоит подумать о тебе, и ты явишься.

— Я ведь и на самом деле недалеко... А сейчас только что спустился.

Рафаэль ласково глядел на него темными, бессветными глазами. Лоб его был влажен, пряди черных волос разметались по подушке. Ворот рубашки расстегнут — точеная, длинная шея, как у «Давида» Микель-Анджело, выходила из нее.

— Милый, подыми занавес, отвори окно. Здесь немного душно.

В комнате сразу стало светлее. Ветерок набежал слабой волной, зашелестел листьями роз.

— Как вы себя чувствуете, Учитель?

Рафаэль вздохнул.

— Теперь легче. Лучше дышать. Голова болит, и какие-то все кошмары... Или это я засыпаю, во сне вижу? Подойди, дай руку.

Дезидерио сел рядом с постелью. Рафаэль взял его за руку, погладил.

— Ну, это теперь не сон, а правда. Рука моего славного

Дизи, юного скромника из Фоссомброне. Ансельмо мне недавно сказал, что ты в монахи собираешься. Правда?

— Если вы, Учитель, не прогоните меня, я останусь при вас.

— Зачем же я тебя стану гнать? Нет... это ты... напрасно говоришь. Ну, а если бы меня не стало... Например, я бы умер?

Дезидерио быстро поднял голову.

— Не надо говорить так, Учитель.

— Почему не надо? Разве я не могу умереть?

— Это было бы слишком ужасно и несправедливо.

— Все равно... ну, скажи, что бы ты... сделал?

Дезидерио помолчал.

— Мне трудно даже думать, Учитель.

Несколько времени Рафаэль лежал с закрытыми глазами; потом приоткрыл, слабо повел ими.

— Если, правда, станешь монахом... это пойдет к тебе... помолись. И за меня помолись, Дизи, не забывай меня.

Дезидерио встрепенулся.

— Учитель, вы так странно говорите... Вы меня пугаете. Вам хуже?

— Вот хорошо, что ты окно открыл. Что это, музыка играет? Где-то вдалеке...

— Нет, музыки не слышно...

— Ну, может быть. А быть может, ты не слышишь. Но — хорошо! Как удивительно пахнет этот ветер. Помнишь, Дизи, Монте-Катрия, у нас, на родине? В апреле горный ветерок пахнет там... фиалками.

Он опять повернул голову, закрыл глаза, но руку Дезидерио продолжал держать. Дыхание стало ровней, он как бы вдруг задремал. Слабый сон, похожий на забытье, овладел им. Дезидерио сидел недвижимо, не выпуская руки. Тонкий, нежный профиль Учителя рисовался перед ним; и ему вспомнилось, что совершенно так же, бледным и ушедшим лежал он в то утро, на рассвете, когда Дезидерио его караулил. Но теперь было тяжелей. Смутные, неожиданные слова Учителя взволновали его. Рафаэль вздохнул, перевернулся на другую сторону и вынул руку из руки ученика. Тот встал, тихонько подошел к окну. Небо стало облачнее, подул ветер — Дезидерио решил закрыть окно. Высунувшись на улицу, на мгновение замедлился: окруженный толпою слуг, телохранителей, дворян, на богато разубранном муле ехал кардинал Джулио. Он плавно покачивался на седле, слегка вытягивая вперед голову с длинным тонким носом. По временам направо и налево раздавал благословения —

знамением креста. Двое красивых юношей вели его мула под уздцы. Впереди особые люди расталкивали народ, глазевший с величайшим любопытством. У дверей дворца Рафаэля мул остановился; один из дворян подал бархатную скамеечку, на которую кардинал сошел. Любопытные теснее нахлынули — каждому хотелось взглянуть поближе. Алебардщики опять их отогнали. Двери распахнулись. Привратник кланялся низко. Джулио обернулся, в последний раз благословил толпившихся, и стал подыматься по лестнице.

Через несколько минут он сидел уже в комнате Рафаэля у самой постели, поводил длинным своим носом и однообразно-сладостно журчал. Дезидерио робко жался в уголку.

— Вам нужен покой, любезнейший Рафаэль, огонь творчества и непрестанных работ утомляет вас, и за теперешнюю вашу болезнь все мы, обременявшие вас заказами, несем ответственность.

— Я счастлив трудиться, Ваше Преосвященство,— тихо сказал Рафаэль и полузакрыл глаза.— А эта лихорадка, надеюсь, недолго задержит меня... здесь.

Джулио рассыпался в соболезнованиях и уверениях, что болезнь эта пустая. Но передал, что сам св. Отец справлялся о его здоровье, что вообще все в Ватикане любят и заботятся о нем, в восторге от его работ. Рафаэль слушал молча, глядя вверх, иногда закрывая слабеющие глаза. Кардинал стал рассказывать о домашних придворных делах — как Кастильоне убеждает св. Отца вернуть Урбино прежнему герцогу, как запутывается внешняя политика св. Престола «дерзкими мальчишками Карлом и Франциском», да еще бессмысленные нападки на курию этого Мартинуса Лютеруса, полоумного немецкого монаха, которого, конечно, вовремя надо было сделать архиепископом с хорошими доходами, и тогда он не выдумал бы всей этой пустой истории с индульгенциями. Индульгенции! Странное дело! Конечно, если сидеть в варварской Германии на грубом хлебе, то можно обходиться грошами — но тогда не угодно ли уж учреждать какой-нибудь новый орден Sancta povertade[1] вроде этого... болезненного и полуеретического Франциска Ассизского. Удивляться же, что Апостолическая курия прибегает к разным источникам доходов,— просто неумно, это детское незнание жизни.

— Италия! Империя! — слабо произнес вдруг Рафаэль.

Джулио на мгновение остановился.

— Что хотите вы сказать этим, друг мой?

---

[1] Святой нищеты *(лат.)*.

Рафаэль не ответил. В голове его путалось, и плавные слова Джулио звучали как далекий дождь, шум которого слышен, но невнятен. «Пускай дождь проходит, не хочу дождя...» — медленно плыло в голове. Он вздохнул.

— В Урбино мало бывает дождей. Правда, Дизи?

Кардинал взглянул на него пристальней и подумал, что болезнь серьезна. Он встал и, заявив, что не желает более утомлять, благословил. Затем поднялся к выходу. Его глаза приняли обычное, холодно-водянистое выражение; и ничего благословляющего в них не было.

— Дизи,— произнес Рафаэль вполголоса, когда тот ушел,— он мне надоел.

Через минуту прибавил:

— Все они ничего не понимают. Ничего. В главном, Дизи.

В этот день знатных посетителей больше не было. А незнатным говорили, что художник слаб, и разговоры ему вредны. Так распорядился медик Папы, Джакомо да Брешия, лечащий его. Видимо, был он прав: Рафаэль очень ослабел. Вечером, однако, уснул хорошо. В полночь вдруг хлынул теплый, весенний ливень. Ровный, мягко-глуховатый шум сначала удивил его, он проснулся: «Что это?» И когда ему объяснили, опять замолк. Быть может, самый гул успокаивал. Он опять заснул. И хотя дышал тяжко, все же сон подкрепил его и ободрил. Утром Джакомо нашел, что жар меньше и сердце лучше. Правда, весь день чувствовал он себя легче. Говорил, хотя и тихо; пробовал даже читать. Ему приятно было, что отовсюду спрашивали о его здоровье, присылали букеты цветов. От Бембо получил он античную вазу — подвиги Энея изображались на ней. Кардинал Биббиена подарил маленького белого попугая, который говорил: «Ми-лый Ра-фа-эль! Ми-лый Ра-фа-эль!» Художника он повеселил.

Перед вечером высокий, львиноволосый Агостино Киджи навестил его. Рафаэль улыбнулся, как будто рад был его видеть. Агостино тряхнул своей гривой.

— Ну? Лучше. То-то вот и есть, дорогой наш Рафаэль. Значит, вы напрасно испугали меня.

— Мне приятно, что моя судьба вас заботит.

Он глядел огромными, очень покойными своими глазами в окно, где вечерний, зеркально-золотистый свет втекал легкими струями. Небо было прозрачно, нежно. Оно наполнилось предзакаточным очарованием дня погожего, весеннего, омытого вечерним дождем. Медленно и слабо звонили в церкви.

— Вся жизнь,— сказал Рафаэль,— как вон то облачко, золотая ладья, скользящая в закате. Приходит, уходит.

— Ах вы, художники, поэты, всегда иначе принимаете невзгоды, нежели мы.— Агостино засмеялся.— В вас нет борьбы. Если бы я был болен, я торопил бы своего врача, и мне досадно было бы промедление, отрывающее меня от дел.

Рафаэль приподнялся, оперся на локоть. Взгляд его оживился.

— Да, я знаю это чувство, знаю... И послушайте, Агостино, я ли не брал, не глотал весь этот свет и великолепие... О, разве не отпил я из золотой чаши жизни?

Агостино в это время взял в руки сверток, развернул его и посмотрел. Потом улыбнулся.

— Стихи. Разумеется, от поклонницы.

— Это сонет Луараны. Он давно уж лежит здесь.

— Вот видите, как о вас сказано:

Ты в нежности приемлешь образ Бога,
Ты в радости взойдешь в Его дворцы...

Прочитав еще две строки, Агостино остановился.

— Отчего же вы не продолжаете?

— Ну, там какие-то сумбурные прорицания, совсем во вкусе этой вашей Лаураны.

— «Но помни, смертный...» — произнес Рафаэль.— Все равно, дорогой Агостино, я ведь знаю сонет...

Он замолчал.

Агостино попытался изменить разговор, отвлечь его, но Рафаэль остался задумчивым. Вскоре он вновь устал, ослабел и слегка даже застонал. Ему трудно было дышать.

Когда ушел посетитель, он позвал к себе Дезидерио.

— Дизи, завтра я хочу исповедоваться и причаститься.

Дезидерио сначала молча на него посмотрел, поцеловал ему руку, вышел. У себя в комнате сел к столу и подпер руками голову. «Учитель умирает!» — пронеслось в его душе. Он зарыдал.

V

В среду Рафаэль исповедовался. Был он уже очень слаб, дышал неровно, с хрипом, но еще мог заняться делами земли: раздал имущество свое ученикам, завещал деньги на перекрытие дарохранительницы в Санта Мария Ротонда, где и желал быть погребенным. А затем медленно, но неотвратимо стал погружаться в полусон, преддверие сна вечного. Как и жил, умирал он покойно. Грудь его как бы устала дышать; глаза — устали смотреть, и с замирающим дыханием все прежнее, что знали в имени *Рафаэль,* переходило в край воспоминаний.

Последний вздох его, еле слышимый, слабо-таинственный, раздался в пятницу на Страстной неделе, как в пятницу же на Страстной тридцать семь лет назад пришел он в мир. В этот день произошло несчастье с лоджиями в Ватикане. Тело же Рафаэля было перенесено в залу, где в головах его поставили «Преображение». Все, приходившие проститься, видели это творение, последнюю работу мастерской Рафаэля.

Днем дождь шумел, а к вечеру все успокоилось, небо прояснело. Закат нежно-алый, и шелковеющий, вливался в залу и окроплял бледный и высокий лоб с темными кудрями, огромные глаза, уже умолкшие, губы, столько лобзавшие; руки, торжественно сложенные на груди,— столько творившие и ласкавшие столько! Спаситель возносился над ним на горе Фавор. Ученики, не в силах вынести света Фаворского, закрывали лица руками. А внизу одержимый мальчик корчился в руках мужчины, и женщина на коленях — вновь отзвук Империи — указывала на него пальцем.

Друзья, поэты, дипломаты, кардиналы, сам св. Отец — все перебывали у него. Среди них робко терялся юноша Дезидерио. Он молчал, плакал тайно, у себя в комнате, да по ночам спускался, и подолгу, при свете погребальных свеч, всматривался в Учителя. А ночи непрерывно текли, сменяясь днями, и опять ночами, и вот уж бедный прах Рафаэля с царственной пышностью похоронен, как желал усопший, в Санта Мария Ротонда. Любящие плачут, тоскуют женщины, равнодушные равнодушны. Ученики делят ризы, а дни летят все далее и далее, и такие же чудесно-голубые утра над Римом, так же воздух сияет и золотеет пред закатом, так же улыбаются трастеверинки, так же уплывает все в синеющий туман былого; и в храмах, галереях, Ватиканских станцах — ясные и мелодичные, ритмом и гармонией овеянные — процветают образы Рафаэля. Но дворец его на Борго Нуово пуст. Многие ученики уж разошлись. Собирается на родину и Дезидерио, хоть и тяжко ему оставить в Риме могилу Учителя. Но уж он уговорился с купцами, возвращающимися через Умбрию в Урбино, и они его подвезут.

Накануне отъезда, сидя один в полупустой комнате, перед вечером, Дезидерио писал: «Мы завтра едем. Марко Антонио Бистиччи показал мне мула, на которого я сяду. Я рассматривал седло, уздечку, гладил по спине покорное животное, которому надлежит нести меня на родину, и разные мысли шевелились в голове моей. Я не думал, что *так* буду возвращаться! О, каких надежд был я полон, отправляясь сюда! Мне казалось, что близость Учителя, его советы, указания откроют мне двери великого искусства, к которому стремилась моя душа. Вышло

иначе. Талант не раскрывается во мне или, может быть, и вовсе его не было? Во всяком случае будущее мое очень, очень скромно: вряд ли оно выйдет за пределы родного Фоссомброне, где с усердием и полным прилежанием стану я применять то, чему все же научился у незабвенного Учителя.

Его нет уже! Слезы застилают мне глаза, и горло сжимается, когда вспомню, что никогда уже, *никогда* не увидать мне его стройного, совсем юношеского еще облика, этих темных кудрей, в которых странно было бы видеть седину. Да, он ушел молодым, как молодостью была проникнута его жизнь, его искусство. Отчего покинул он нас так рано? Одни говорят, что причиной тому переутомление; другие, что он злоупотреблял любовью; что сам Рим, древний, ветхий Рим, который он беспокоил раскопками, отомстил ему, послав ему смертельную лихорадку. За эти дни горя, за эти ночи, проведенные у его гроба, я много передумал. Мне кажется, причина иная. Сравнивая его с другими людьми — здесь, в Риме, я довольно насмотрелся,— я всегда думал, что Учитель — особенное существо. Весь он будто бы создан из более нежной и тонкой ткани, нежели мы. Он — изящнее, легче, хрупче всех нас. В этом грубом — все-таки — мире он прошел светлой кометой и надолго загоститься тут не мог.

Я видел, как он причащался, я был с ним до самой его кончины. И я счастлив, что умер он христианином; теперь нет для меня сомнения, что его светлая душа будет принята в сонм бессмертных. Он искренне раскаялся в своих грехах, но и грехи его — не из числа страшных, смертных.

Однако начинает смеркаться. Вот новый месяц, бледный. тонкий, появляется на лиловеющем небе.

Весенняя дымка одевает Рим. Несколько огоньков зажглось.

Пора! Прощай, Учитель! Прощай, Рим!»

Он отложил перо и сидел задумавшись. Потом прибавил: «Незадолго перед смертью Учитель сказал мне, что если я пойду в монахи — то чтобы за него молился. Я молюсь и так. А в монастырь... может быть, и пойду».

Притыкино, 1919

КАРЛ V

I

Предвечерний день стеклянел в жаре зыбком и прозрачном. Сухо и беззвучно было в малолюдной области Эстремадуры. Златовыжженные нивы, темные дубовые леса, да горы, бледно голубеющие на краю небес.

Синие тени ложились на дворе монастыря св. Юста, что под Харандильей — от узорного колодца, от витых колонок портиков. Зной все плавил. Воздух блистал белым. Приникли голуби на черепицах крыш. Павлин в саду, щеголь отчаянный, притих, стоял, не шевеля очкасто-зеленеющим хвостом своим волшебным. Изредка брел худенький монах — как черное виденье.

К стене монастыря, в общей ограде с ним, пристроен был небольшой дом, среди обширных цветников с фонтанами и сада, вниз тянувшегося. Далекий вид — в поля, на вдалеке маячащие горы отсюда открывается. На скамье, вблизи террасы, сидели трое приближенных императора. Испанец, длинный и иссохший мажордом Кихада, давний друг, держался прямо и покойно, как ходил он прямо, не сгибаясь, штурмовать Голетту. Краснощекий молодой Матис, фламандский лекарь, задыхался. И был подавлен скромный Фан Мале.

Матис расстегнул пуговицу на рубашке, на груди, и обдувал белое свое, хорошо выкормленное тело.

— Фу, черт! Из меня вытечет весь жир, я одурею, обращусь в сухарь из ранца у полуголодного солдата.

Кихада выводил концом ножен герб на песке дорожки.

— Надо быть покойней. Все мы терпим.

— Да, тоска, тоска! Безлюдный Юст, палящая Испания! Все выжжено. Безмолвие, огонь, да Господь Бог! Где пиво? Песни? Кабачки Брюсселя? Нет, не в моем, нет, не в моем характере...

Он слегка тронул неподвижного Кихаду за коленку.

— Любезнейший наш мажордом, скажите мне на милость, разве это жизнь?

Кихада оторвался от герба, взглянул сурово.

— Здесь монастырь.

— Ну, знаю. Ну и пусть монахи занимаются спасением души, молитвами и службами. Но мы? Мы не монахи! А живем здесь второй год, лечим декоктами и гиппокрасами Его Величество, не пожелавшее считаться более Величеством и занимающееся, извините меня, ханжеством да гастрономией!.. на что это похоже?

Фан Мале вздохнул.

— Жизнь невеселая. Если бы не Боэций и не Цицерон, то, верно, я совсем увял бы.

Кихаде встал. В черном его камзоле, тщательно застегнутом, в чулках и вычищенных пряжках башмаков, в седеющих усах, острой бородке — призрак рыцаря.

— Не говорите так об императоре. Не вам судить о нем, его душе.

По раскаленному, сине-бледнеющему небу пролетал пустынный голубь. Сел на вязе у ограды. Смутно бормотал фонтан. Тунисские гвоздики в цветниках истаивали и дышали сладким благовонием.

Матис заволновался.

— О, я не осуждаю, как я смею! Но это летаргия, полусон.

— Как, может быть, и всё здесь, в Юсте,— произнес Фан Мале.

Близорукие его глаза, в очках, глядели грустно и испуганно. Оторванный от дома, разлученный со своей семьей, вряд ли мог радоваться неусыпный секретарь и переводчик, библиофил и книгоед с плешинкой, с продырявленным локтем.

Раздался выстрел. Голубь вспыхнул, опаленный смертоносным облачком, и камнем повалился на дорожку. Другие голуби взлетели. Их сизые, кофейные, бледно-серебряные крылья взметнулись тучкой звуков.

— Кто там стреляет?

Мальчик в берете, в курточке, румяный, с живым и бойким блеском глаз, выглянул из-за изгороди. Тяжелый мушкетон дымился у него в руке. Он хотел дать стречка, но увидел, что его заметили, остановился.

— Я отнесу его к столу Его Величества,— сказал он смело.— Дядя, не сердитесь.

— А, Жуан!

Кихада несколько смягчился.

— Впредь не смей стрелять так близко, чуть что не под окнами. Ну, и живо, прочь со своим голубем.

— Инфанту все позволено,— пробормотал Матис и ухмыльнулся.

— Напрасно говорите то, чего не знаете,— прервал Кихада.— Это мой племянник. И не больше.

И, придерживая шпагу, длинный, тощий, неподвластный жару и усталости, как холоду и малодушию, проследовал Кихада на террасу, и оттуда в дом властителя.

— Фу, жердь священная! — Матис почти что с яростью стал обдувать платочком распаленное, со взмокшими висками, круглое лицо свое.— Нет, но вот вы, Фан Мале, человек вы здравомыслящий, ну рассудите сами...

И снова начал лекарь Матис развивать тот взгляд, что может человеку надоесть, может он и устать от управления империей, наконец — годы, но зачем же, все-таки, все бросить и забраться в дикий Юст, как будто нет роскошных вилл в Италии, на юге Франции, как будто женщины — исчадие ада, и как будто бы монахи и попы — вся прелесть жизни, а служения церковные — единственное дело, нас достойное.

— И заметьте, тут и лицемерие! Уединился, так ничем не занимайся из земных занятий. Но ведь нет... ведь постоянно здесь курьеры, нам везут пакеты из Вальядолида, из Севильи... присылают к нашему столу фазанов и дичину, вина, куропаток. Постоянные приемы. И Филипп и Иоанна пишут письма, Газтелю строчит ответы под диктовку... экс-монарха!

Фан Мале согласился.

— Да, он очень странен, очень странен. Сердце человеческое и вообще темно, любезный доктор. Это вы найдете даже у св. Отцов, не говоря уж о философах. В природе человека — двоегласие.

Матис оспаривал. Души здоровые не знают двойственного. Это все бредни и туманы, экзальтация, ни для кого не нужная.

— Испанские попы,— он оглянулся и понизил голос,— все эти де Регла и другие оседлали императора. А какой был ум!

Так заседали, в струисто-раскаленный и блестящий вечер, у порога дома Карла, два фламандца, беседуя о человеке, пред которым преклонялась два года назад Европа. И пока тянулся разговор их, уже успело, дымно-розовея, закатиться солнце, и сильней благоухали милые гвоздики, да форель в бассейнах веселей поплескивала; пронесли дымящееся блюдо в трапезную. Монах с садовой лейкой поливал цветы. Атласно-жемчуговое же небо с пепельно-златыми космами все гасло, нежно засиреневело к северу.

Безмолвен выжженный, пустынный край, с туманно-розовеющими горами. Безмолвен монастырь св. Юста. Безмолвен дом безмолвного отшельника, живущего, молящегося, в нем томящегося.

II

Хотя и подавлял зной золотистый, Карл сидел в огромном своем кресле, обитом черной кожею, в обычном черном одеянии. На груди, на золотой цепочке, сердоликовый крест с медальоном Изабеллы — молодою девушкою. Тонкие ноги в шелковых чулках на мягком пуфе. Сияют бриллианты в пряжках туфель. И в бледно-позлащенном свете чернообойной комнаты, прямо перед собой, на стол устремлены холодноватые и ясные глаза. Большая плешь обняла голову. Полуседая борода прикрывает челюсть нижнюю, далеко выдавшуюся вперед. Карл, как будто тот же Карл, что и в Тунисе, в Мюльберге, в зное бестенном склоняется над картою Европы, над армиями сына, над войсками Франции, над островом коварных англичан.

Спущены опаловые шторы в окнах. Лишь направо, через дверь стеклянную, видна внутренность суровой, бедной церкви: угол алтаря, скамья, паникадило с тусклым блеском хрусталя. Здесь, в полудомашнем храме, слушает он мессы и дневные службы, а когда подагра разыграется, лежит вблизи порога, как смиренный оглашенный.

Но сегодня службы кончены. Предстоит лишь вечер — длинный, душный; медленное бденье жизни потрясенной. И Карл сидит, угрюмый и покойный Карл, ушедший повелитель, полумонах и полуцарь.

Вдруг выстрел. Отпадает карандаш, которым отмечал какую-то дорогу между Гентом и Кале, прислушивается. И рукою тонкой, со слегка распухшими суставами, звонит в серебряную грушу на столе.

Тень вырастает на пороге.

— Кто стрелял?

Недоумение, испуг.

— Узнать и доложить.

Любимые часы властителя — с ангелом, склонившимся над урной — слабо прозвенели семь, когда Кихада появился с резвым мальчиком, теперь притихшим — образ мужества седоволосого с нежною жертвою. И все тот же мушкетон в руках Жуана.

Карл тускло на него взглянул.

— Это ты стреляешь?

— Я... я полагал...

— Я не позволяю этого.

Кихада чуть склонился.

— Мальчик думал поднести к столу Его Величества убитого им голубя.

Карл не ответил. Юный же Жуан переминался с ноги на ногу, дышал неровно. Где-то зазвонили в церкви — однообразно, тонко. Часы потикивали. Свет дымным облаком наполнял комнату. Нежно в нем белела рукоять слоновой кости — разрезального ножа — в раскрытой книге. Казалось, император цепенеет, все глядя на вовсе для него не нужного Жуана. В такие столбняки иной раз погружался он и раньше. Наконец, очнулся.

— Не смей этого делать больше. Накажу. Иди.

Мальчик согнулся, вышел. Кихада продолжает стоять. Карл помолчал.

— Что, он напоминает мать?

— Лишь очень отдаленно, Ваше Величество.

Карл поморщился.

— Сколько раз еще повторять, что я уже не Величество!

Кихада поклонился.

— Мне трудно отучиться. Я всю жизнь служил вам.

— Отучайся. Больше года мы с тобою здесь, и больше года я не император. Я последний раб Христов. Запомни это.

Кихада подошел и опустился на одно колено.

— Если бы вы стали и последним нищим, я не менее благоговел бы перед вами, повелитель.

Карл положил свою худую, но когда-то крепкую ладонь ему на темя. Короткие, сухие волосы Кихады походили на щетинку.

— Встань и иди.

Когда Кихада вышел, Карл направился к бюро черного дерева, с резьбой по перламутру и слоновой кости. Нажав пружинку, отворил. Вынул тетрадку. Развернул и погрузился в чтение, все стоя, длинный, на худых, слегка болезненных своих ногах. Отдельные слова мелькали в рукописи, недоконченные фразы. «Изабелла», «золото купцов Севильи», «надежда на св. Церковь», «Псалом 50». На одной странице трижды попадалась строчка, каждый раз подчеркнутая: «нищета — ничтожество».

Дочитав, Карл окунул в чернильницу гусиное перо, стал выводить: «Молюсь и жду. Все то же. Те же люди, те же речи. Тот же грех, и слабость. Где святое? В улыбке Дон-Жуана все знакомое. Варвара, мать, Регенсбург, весна. Где же ты, Господи? Ничтожный мир. Все еще ты со мною. Прочь. Аминь, аминь».— Остановился, и обтер платочком лоб. «Нынче принимаю. Еретики проклятые! Привез мне устриц и лангуст. А что же попугай? Ведь обещала?»

Слуга, сообщивший, что готово ужинать, застал его опять за столом с картами. Но он их не рассматривал. Сидел, полузакрыв глаза. На зов поднялся, разминая ноги, чуть прихрамывая, сделал несколько шагов; погладил ласково огромнейшего дога,

вошедшего со слугой, покорно у него лизнувшего ладонь. Затем оправил на груди цепочку и проследовал в столовую.

Было уже полутемно. Горели свечи в золоченых канделябрах. Нежно-сиреневая мгла, насыщенная благовонием мирт и лавров, проливалась в окна, слабо поколыхивая пламя свеч. Оно плыло, чуть веемое и текучее, слезясь в туманной зыби золотом.

Матис одернул за рукав Фан Мале.

— Поглядите, как он смотрит на анчоусы! Для пищеварения такие взоры — польза, для души же — вряд ли.

Духовник де Регла, сухонький и твердый старичок в темной сутане, с высохшим лицом, с тонзурою слоновой кости, прочитал молитву. Крепкий Матис помолился тщательно, из опасенья неприятностей: де Регла ненавидел его. Фан Мале скромно кланялся, крестился, издавна приученный к покорности. Кихада, воином, стоял навытяжку. А Карл при звуках несколько слащавого и театрального сопрано своего духовника заметно изменился обликом: действительно, молился. Важное, значительное проступило в нем.

Затем пошел к благословению. Отец де Регла быстро осенил его крестом, ткнул к поцелую изжелта пергаментную ручку и уселся на конце стола. Выглядел так, что ничто здесь ему не нравится. Карл же, опустившись в кресло, подвязав салфетку, снова изменился. Рядом посадил Матиса и потребовал вина.

— Наливай,— сказал он,— пей, не забывай меня. Ты что там смотришь так, Кихада?

— Я только знаю, что вино вряд ли полезно для Его Величества.

Карл жадно отхлебнул.

— Может быть. Надоело. Не мешай.

И проглотив, принялся за угря под кислым соусом; жевал сосредоточенно, сильно выпячивая челюсть нижнюю и слегка чавкая. Вновь затускнели мутным похотением его глаза; он любовался уже куропатками из Гамы, и румяный, маленький окорочок — слава окрестностей — сильнее волновал его сейчас, чем протестанты, и Кале, и Гиз.

— Вот ты лекарь,— обратился он к Матису,— а не можешь сделать так, чтобы вино стало для меня полезно. Значит, ты неважный лекарь.

— Я, Ваше Величество, не волшебник, чтобы красное вино обращать в воду.

— Нет, ты сделай так, чтобы вино было вином, а мне не вредило.

— Кощунственные разговоры,— зашипел де Регла.— Задевают Господа нашего Иисуса...

Карл как бы смутился.

— Отец де Регла, мы, конечно, не имели в виду Господа Иисуса... Впрочем, может быть, это и правда, предмет недостойный...

Фан Мале попытался было вспомнить древних, привести их отношение к вину, как легкому и беззаботному напитку, но опять уже Карл не слушал и глодал ножку цыпленка.

На старом, сумрачном его лице легла покорность — не один раз он взглянул на Реглу, как бы опасаясь огорчить его. «Да, я ем, я грешен и люблю покушать, но я знаю и люблю тебя, боюсь тебя»,— как будто говорил весь его вид.

Ужин затянулся надолго, прошел невесело. Не было обычных философствований. Карл не натравливал Матиса на Фан Мале и не рассуждал о вновь открытых землях, неизвестных племенах. Ел молча. Глядя на него, молчали все. Окончив, поднялся, перекрестился и, слегка согнувшись, вяло двигая ногами, вновь прошел в свой кабинет, где в окна растворенные глядели уже звезды, где вновь горели свечи на столе, где мрачно цепенели темные обои.

И в этом черно-позлащенном гробе начал он вечерний свой прием. Приходил приор с жалобою на крестьян деревни Квакос, обиравших дыни с монастырских огородов. Карл рассердился, стукнул даже палкой. Дама умоляла о поддержке — вдовица капитана, павшего при Сен-Кантене. Вдовице Карл помог, спокойно, холодно на нее глядя и нагнав благоговейный ужас. Третьим и последним принят был курьер Иоанны, юный Эспиноза. Высокий, тонкий, в кружевном жабо, придерживая шпагу, он смотрел на Карла прямо, честно и бездумно. В горбоносом профиле его, в тонких усах, круглых, пустых глазах было одно: вот я, кастилец Эспиноза. Прикажи — и сделаю. Вели — умру.

Карл разломил печати, отпустил его. Читал неторопливо. Несколько москитов заунывно пели и жужжали вкруг свечи. Один из них залетел слишком близко к пламени; вспыхнувши, лопнул. Карл поднял голову. Пламя отблескивало в глазах его. «А, проклятые! А, злые твари! Вон их, вон!»

Вошел де Регла — тоненький, сухой. Карл со слегка дрожащими руками поднялся, прошелся взад-вперед. Затворил окна.

— Нынче гнусные еретики в Толедо, завтра при дворе, а там — у меня в Юсте! Нет, разгневали мы Господа, разгневали, и несем кару праведную. Но какая слабость! Разве не писал я Иоанне: с ними нужно поступать, как с дикими зверями!

И как будто мог он опоздать, Карл торопливо пододвинул кресло, сел, открыв чернильницу, взял свежее перо.

Де Регла же уселся прямо против — маленький, сухой тарантул. И пока Карл медленно и тяжко-думно, как все в жизни делал, выводил готические буквы, духовник быстро, остро перебирал четки, суча как будто бесконечную свою кудель и глазом воспаленным проницая императора.

Свечи потрескивали. Золото плыло, струилось в молчаливой комнате. Перо скрипело. Суровые слова являлись из-под того пера, но некий ток, как будто магнетический, летя чрез Реглу и чрез императора, все наживал, пришпоривал, все гнал.

Ночь. Черно-позлащенный светом гроб. Два околдованных. И скрип пера, и блеск огня из-под пера. В огонь, в огонь, для очищения святой нашей земли.

III

Окончив ужин, лекарь Матис не отправился к постели, в боковую свою комнатку. Обтерев широкое лицо с замаслившимся носом, он прищелкнул языком, слегка подбрыкнул и, как жирный кот, упитанный и хорошо заправленный, прокрался через двор, под звездами, к прачечной монастырской — низкому и глухому подвалу, где, спрятанная в бочке, ожидала его Кармелита, юная поденщица из Квакоса. Ранее он не решался приводить в ограду монастырскую своих любовниц; но теперь, считая Карла как бы ни во что, отважился. Конечно, прав был жизнерадостный фламандец: Карл, хотя и строго распорядился не пускать и близко к монастырским стенам женщин, вряд ли мог сейчас об этом думать. И пока он выводил готические письма с карами еретикам, с огнем и инквизицией, Матис, открыв закупленным ключом дверь прачечной, на низеньком столе, где днем стирали прачки, у открытого окошка, куда глядели звезды, предавался ласкам с пахнущею чесноком и молодостью — Кармелитой.

Карл же, отпустив духовника, ложился спать в комнате рядом с кабинетом. Ночник слабо помигивал. Портреты императора и Изабеллы — Тициана — смутно в полумгле темнели. Длинный и худой, с огромным лысым черепом, склонился Карл у аналоя пред Распятием покойной Изабеллы. Рано отошла прекрасная! Но ежедневно и теперь служились мессы о ее душе; утром и вечером он целовал иссохшее и костенеющее дерево Распятия, огнем пылающее.

— Тебе, Господи, исповедую скверны мои, Твоей благости предаю сердце.

И, с усилием поднявшись,— в правой ноге чувствуя давнишний, мозжащий стон подагры,— медленно прошел к кровати с пологом, где в кисее звенели два москита. Было душно здесь,

и пахло сладковатым. Карл, опускаясь на перины, ложась на спину, вытягивая худое свое тело, каждый раз воображал, что возлегает в гробе, и некий холодок, пьянящее полубеспамятство дохнуло на него и нынче. Москиты все звенели. Дальняя звезда виднелась в приоткрытое окно, мерцая смутно через кисею. Как далеко! Как долго длилась жизнь! Какая слава, мощь! Ах, великий Карл! Счастливый Карл!

Карл улыбнулся, чуть насмешливо, перевернулся. Слабый, смутный сон отвел рукой ласкающей, все мягко спутал, окунул в ту бездну, из которой медленно восстали образы и медленно тянулись над полуусопшим Карлом.

Юноша, дерзостный и своевольный. Щит и меч турнира... «Победитель Карл!» Туман, ненужность, утомление. К чему? К чему победы? Прекраснейшая Изабелла и любовь. Мила любовь, прелестна сердцу. Но Изабелла в одиночестве — есть ведь иные дамы при дворе, тоже прекрасные. Нужны? Нет, но пьянят. Вперед, вперед! В борьбу, отважный Карл. Франциск — рази его. Рим — завоеван. Разве он хотел его разграбить, надругаться? Но разграбили. «Да здравствует великий император Карл!» А смерть посмеивается, и тихонько Изабеллу вдруг уносит. Так, полушутя. К чему? На вечный траур. И вино, и снова дамы при дворе великого владыки, новые утехи, грусти новые. Варвара Бломберг в Регенсбурге, маленький ребенок. Пусть играет при дворе — племянником Кихады. «Монастырь» — вот слово крепкое, покойное. А Франция? А Нидерланды? А Тунис? Лоб мощный медленно раздумывает, молится, идет в поход, разит иноплеменных и обдумывает связи. Дальний путь, упорен Карл, влечет судьба.

А облик грусти неразлучен. Ах, для чего? Года все вьются, из-за дали лет мелькает милый образ. А льстецы все льстят, яства прельщают, женщины манят, копье разит. Германия! В тебе семя заразы. Прочь мерзких протестантов. Тяжкое копье драконоборца в Мюльберге. Тяжелый скок его коня. О, Морицы и Августы, курфюрсты и маркграфы, трепещите! Но коварен Мориц. Гидра все растет. А годы? — все идут. Да, тяжела корона, и многоголова гидра. Мир пустынен. Где ты, мирный мир? Покой и тишина, Господь и небо, тихий свет. Святое католичество.

Давнишний зов. Давнишний призрак — «монастырь». Быть может, что сюда уж не заглянет скучный и пустынный мир? Ах, да, быть может!

Карл слабо застонал. Куда-то надобно ему пройти, по узенькому коридору. И чем он далее идет, тем коридор все уже. Ничего, мы проберемся. Поднимает свой фонарь повыше —

странно, потолок спускается навстречу. А под ногами — пол смешно взбегает кверху. Стены боковые хитро улыбаются, сближаются. Ну, не беда, скорее проскочить в дыру, что там виднеется. Вперед! Он бросился. Фонарь потух. Он кинулся на четвереньках, но уж потолок на нем, уж локти сжаты стенами, еще минута, задохнется... Но — толчок.

И загремела табуретка, что в ногах постели. Закачалась занавеска полога, и скрипнула постель. Карл, с яростно стучавшим сердцем, с резкой болью от подагры в большом пальце, сел на пуховик.

Фан Мале, исправлявший свой латинский перевод в соседней комнате, при тусклой лампочке, поспешно высунул остроугольное лицо в высоком колпаке, скрывшем преждевременную лысину.

— Ваше Величество...

Карл тяжело дышал.

— Кто там?

— Я... секретарь...

Свеча подрагивала у него в руке. Свет ее прыгал, мутнозолотыми пятнами.

— Дай мне воды.

Отпив, отер огромный лоб свой, весь покрытый потом, пожевал нижней губой, далеко вперед выступившей.

Фан Мале, поправляя его постель, задел случайно ногу.

— А-а, какой! Медведь! Какой неловкий!

Раздражение, почти что злоба проступила на лице. Фан Мале очень извинялся. Карл вздохнул, закрыл глаза, перевернулся на другой бок. В тусклом пламени свечи высоко подымался над подушкой лысый лоб... Задумчивость и важность разлились по нем. А Фан Мале ушел.

Он трепетал еще, некое время, по привычке трепета — хотя такие ночи не однажды уже случались. Потом утешился. И отложивши перевод, уселся за письмо к жене своей, в далекий Брюссель. «Ах, как я тоскую без твоих небесных глазок, милых ручек в этом, правда, столь благочестивом, но далеком и печальном Юсте. О, звон здешних колоколен не сравнится никогда со светлым благовестом наших храмов, как не стану сравнивать розы ланит твоих с грубым загаром женщин Испании».

И пока сентиментально разрисовывал фламандец, ночь с небом черно-золотевшим медленно текла, близясь к таинственному часу, когда устанет и Фан Мале, и монахи, и забудется на время лекарь Матис; к тому мгновенью тишины и строгости, когда предутренний петух не запоет еще, когда к последним глубинам сойдет мистерия дня пестрого и шумного.

Карл больше не заснул. Он все лежал — спокойный, важный, не приподымая век. Скорбно и пустынно было в мире. Далеко Господь. Земля во мраке. И во мраке сердце, столько проскитавшееся. Что же ты найдешь в мире туманном и безотзывном? Грех, смерть и грех. Мало ли отдано ему? Мало ли отдается?

Нужно быть воином. Если смерть придет — увидеть и не дрогнуть. Пусть тут стоит. Взором оледеняет. Все это вынести — и открыть глаза. Здравствуй, Судия. Вот я. Но не склоняюсь. Да, я грешник. Это я давил, ломил, хитрил и блудодействовал; я предавал любовь; стремился к одному, творил другое; малого достиг в ничтожной жизни. Правды не восстановил. Христовой церкви не прославил. Это я. Иду к Престолу. Там склоняюсь, как на картине Тициана, я склоняюсь перед Троицей и Голубем, таинственно летящим.

Да, она, конечно, близко. О, тонкая и грозная! В ней цепенеют складки полога, умолк москит, сейчас умолкнет сердце, руки занемеют.

Но поднялся. Сел на постели. Руки холодны — и чуть подрагивают; взор все важен, крепок. Поникает голова.

— Боже мой, Господи, сил! Милостив буди мне, грешному.

Потянулся к образку, висевшему на шее, памяти об Изабелле. Приложился и с трудом двинул рукой, перекрестил большой свой, хладно-запотевший лоб. Потом спустил на землю ноги, медленно нашарил туфли и, накинувши халат, шаркая, задевая в полутьме предметы, вышел в комнату Фан Мале.

Секретарь вскочил — тонок и легок был сон его, и он привычен был к ночным визитам императора.

— Сплю плохо,— произнес Карл глухо.— Зажги лампу.

Фан Мале засветил, спеша, огонь. Смущенный и полуодетый, с благонравной лысинкой, казался он ребенком, жалостным и кротким, рядом с тяжким Карлом.

Взглянувши на исписанный листок бумаги, император улыбнулся.

— Письмо на родину?

— Жене, Ваше Величество.

Карл помолчал.

— Ипполите?

Фан Мале склонил голову.

— Ты ее любишь?

— Если б не любил... то не женился бы.

— И, верно, ей не изменяешь.

Потом нахмурился, и снова раздражение прошло во взоре.

— Сколько там еретиков у вас, во Фландрии!

Фан Мале с грустию склонился. Карл вздохнул.

— Борюсь, сколько могу. Но тщетно. Точно Рок меня преследует.

Взял книгу со стола, раскрыл. Задумался.

— Все жаждали покоя. Все.

Фан Мале, из почтительности, промолчал.

— «Глас мой к Богу,— прочел вслух Карл,— и я буду взывать; глас мой к Богу, и Он услышит меня».

— Так, это хорошо.— Он подал книгу Фан Мале.— Читай мне. Громче. И покойнее.

Фан Мале начал тихо и смущенно, и лишь дальше, в увлечении, волнении, окрепнул его голос, и пот выступил на бровях белесых, покрыл росою носик немудрящий. Сквозь очки бежали малые его глаза вдоль древних, по-латински важных строк, голос же все твердел.

«В день скорби моей ищу Господа; рука моя простерта ночью и не опускается: душа моя отказывается от утешения.

Вспоминаю о Боге и трепещу: помышляю, и изнемогает дух мой.

Ты не даешь мне сомкнуть очей моих; я потрясен и не могу говорить.

Размышляю о днях древних, о летах веков минувших;

Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает:

Неужели навсегда отринул Господь, и не будет более благоволить?

Неужели навсегда перестала милость Его, и пресеклось слово Его в род и род?

Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои?

И сказал я: вот мое горе — изменение десницы Всевышняго».

— Сколько царств победил,— сказал вдруг глухо Карл.— А себя не мог победить.

Фан Мале не понял, остановился, недоуменно на него взглянул.

— Читай, читай.

Перевернул страницу.

«Буду вспоминать о делах Господа; буду вспоминать о чудесах Твоих древних; буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях.

Боже, свят путь Твой. Кто Бог так великий, как Бог наш!

Ты Бог, творящий чудеса; Ты явил могущество свое среди народов;

Ты избавил мышцею народ Твой, сынов Иакова и Иосифа.

Видели Тебя, Боже, воды, видели тебя воды и убоялись и вострепетали бездны.

Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы твои летали.

Глас грома Твоего в круге небесном; молнии освещали вселенную; земля содрогалась и тряслась.

Путь Твой в море, и стезя Твоя в водах великих, и следы Твои неведомы.

Как стадо, вел Ты народ Твой рукою Моисея и Аарона».

IV

Карл не позволил Фан Мале сопровождать его. И секретарь остался. Император же тихонько, слегка скрипнув дверью, вышел на террасу, опустился в кресло. Здесь нередко сиживал он на закате солнца.

Но сейчас было еще сумеречно, темно-зеленым, предрассветным сумраком. Пробили монастырские часы. Цикады стрекотали. С дальних гор тянуло тонким благовонием чабра. Закрыв глаза и полулежа в кресле, Карл медленно вдыхал утренний воздух. Нежным и сладчайшим веянием сходил он ему в душу. Как тихо, как прелестно! Как далеки люди, брани, войны, ковы! Точно все — любовь и ласка.

Карл полуулыбнулся сквозь опущенные веки. Так же нежно-благосклонны были утра в Регенсбурге, когда свечками цвели каштаны, смутно зеленела по холмам весна, и светлый ветер бил в лицо, благоухая нивами и цветом яблонь; когда в высокой башне, с видом майским на приволье дальней Швабии, Варвара Бломберг отдавала ему цвет юности. И пусть проворный маленький Жуан как бы племянником Кихады бродит здесь, стреляет голубей, ворует вишни в садах Квакоса. Пусть он сын греха, но — сладостного. Ни Варвары, и ни Изабеллы больше нет. И быть может, светлый облик Изабеллы, там, средь горних, где благоговейно поместит ее пред Троицею Тициан,— может быть, и он забудет, простит слабость смертному.

Перепел вдали затрепетал своею песнью. Линь всплеснул в бассейне; и лимонные деревья, по краям дорожки, золотистее благоухали. Жемчуг в небе пробегал — по звездам; жемчуг по земле струился — в звуках. Император медленно поднялся. Опираясь несколько на палку, двинулся вперед. Тонкое, серебряное мление разлилось вокруг, как бы туман мерцающий и невесомый. Все жило тихим восторгом и благоговением. Кроткий наполнял собою все, как Агнец утра. Тихий и неуловимый, нежно мир проструивавший.

Карл опустился на колени и припал огромным лбом своим к песку дорожки. Поднялся. В сердце светло и вольно.

— Вперед. Ну что же, Карл, вперед!

Он снова двинулся. Ступал неторопливо, по дорожке, огибая зеркало бассейна с стрелками форелей. Розы и тунисские гвоздики опьяняли. Опьянял и светловейный плеск фонтана, и жемчужные шелка небес проснувшихся. О, так бы все идти, под благостным крылом Видения!

Миновал ограду, через малую калитку вышел. Тихо было здесь, безлюдно. Дальние дубовые леса темнели по холмам; горы розовели; налево уходили скромные поля, обсаженные фиговыми, и миндальными, и шелковичными деревьями. Белела деревушка Квакос; да Уединенная Пустынка Божией Матери вздымалась профилем нехитрым. Так бы уходить, все дальше, дальше, в жизнь ли, в смерть ли, в нежности очарованья, в блеске утра зачинающегося. Идя, любя, взглянуть в глаза, раз навсегда, навечно...

День занимался. Нежно-персиковым, ковром тончайшим, протянуло на востоке по небу. В долине фиолетово-туманело, а по верхам дубов и буков на холмах струилось золото. Оно стекало все полней в равнину и ласково вверх гигантского орешника, куда шел Карл. Сюда вела аллея из монастыря; здесь серебристо, сказочно звенел источник, медленно вскипая, опадая в легких пузырьках, как в кружеве. Над ним орешник, современник самого монастыря иеронимитов, извивал могучий ствол, весь в дуплах, весь изъеденный, корявый, длинными корнями вросший в землю. Император принагнулся. Медленно склонился над водою, зачерпнул ее. Омыл лицо, отпил глоток и сел на камень. Ноги вытянул, вздохнул. Как светло и пустынно! Как благоухает чабром, диким чесноком, далекими и свежими лесами! Резво пролетел витютень, весь уже залитый златом, и уселся на верхушке. Тонкие дымки вьются над Квакосом. Медленно, однообразным звоном, благовестным для полей и гор, звонили в Юсте. Ризы Иисуса все белели над страной, над сердцем Карла.

В монастыре же, между тем, проснулись. Давно оставил Кармелиту Матис; Фан Мале, поднявшись с твердо-одинокого своего ложа, вдруг заметил, что не видно Карла,— и забеспокоился. Явился и Кихада, вымытый, при шпаге и при важности обычной. Показался сам де Регла — сухонький тарантул. При восходе солнца приходил он ежедневно и читал молитвы с Карлом.

— Где же повелитель?

Фан Мале не мог ответить.

— Но, однако, вы же спите рядом?

Фан Мале был сконфужен.

Матис зевнул и обнял худенького эрудита.

— Ну, опять чудит, наверно, ваш властитель. Думаете, он сбежал? Не верю, друг мой, не поверю ни за что. Нет, какая-нибудь штука новая. Не беспокойтесь. Будет снова кушать каплунов, нас с вами сравнивать, да с ним шептаться (он кивнул на удалявшегося Реглу).

— Его Величество плохо себя чувствовал всю ночь.

Матис захохотал.

— А я — отлично. Потому — что я не полоумный. Скучно,— развлекаюсь. И конец.

А уже де Регла все вынюхивал, высматривал, расспрашивал. И сообразив, что Карла нет в монастыре, заметив приоткрытую калитку, быстро вышел в поле.

Увидевши де Реглу — маленькой и беспокойною фигуркой темною он приближается,— Карл приподнялся на травке, где лежал вблизи источника. Вновь как будто нечто виноватое прошло в лице его, и челюсть зажевала в некоем смущении.

Де Регла быстро, крепко и уверенно благословил его.

— Зачем же здесь, Ваше Величество? Одни, в пустынной местности?

Глаза его блестели. Он дышал как будто укоризной.

— Да я просто прогулялся...

— А ведь мы тревожились уже, мы подумали, не случилось ли чего.

Карл не ответил. Он сидел спокойный и задумчивый, в тени орешника; и хоть был покорен, но никто, казалось, не был нужен для него.

А через час, на муле, для него приведенном Кихадою, въезжал обратно в Юст. Монахи ему низко кланялись. Голуби летели стайкой в небе, обещавшем снова пламень. Карл же глядел холодно и безучастно, тем далеким взглядом, что оледенял сердца и ранее. Поднялся на террасу. Вновь пустынная равнина, с дикими лесами, и голубоватыми горами немо на него взглянула.

В комнатах маэстро Торриано заводили часы. Карл все пересмотрел их, и заметил, что одни отстали на минуту. Указал на это Торриано — требовал, чтобы часы шли с точностью полета времени. Тот исправил. И ушел.

Глобус, географические карты, алькарасские ковры, картины, книги — все цепенело на своих местах, привычное к покою. Благоухали милые цветы из окон. Вновь звонили в Юсте — звоном однообразным и печальным. Вновь безмолвны были комнаты властителя. Лишь Тициановы полотна бледно-золотисто исструялись. И на «Троице» таинственно излетал Дух святой в виде Голубя, из нечеловеческих туманов, беспредельно восседали

Бог Отец, Бог Сын, а сбоку на коленях преклонялись Карл и Изабелла, среди сонма праведников.

Солнце подымалось выше. Новый, бело-раскаленный день вставал над Юстом, над Испанией, над императором. День новых служб, церемоний и обедов, сладких яств и длинных разговоров, день приемов и депеш, распоряжений и решений, и молитв, и тягостей, и размышлений. Карл проходил его в молчании. Никто не смел с ним заговаривать сегодня.

Перед ужином он подошел к бюро с резьбою по слоновой кости, отворил его и, взяв тетрадку, стал записывать.

«Ночь в тоске. Неправды и пороки моей жизни. Неудачи со врагами церкви. (Плохой ратник брани католической.) Секретарь ничтожен. Псалом семьдесят шестой. Господь Иисус являлся бестелесно и незримо. Утешение. В сердце голос: «Уходи». Быть может, и ушел бы. Но настигнул Регла. Это ведь довольно страшно.

Я остался. Снова здесь. Несу лавину дней. Дни — как тяжелый путь, в порфире, облачениях, грехе, ненужности. Но такова Воля. Таков путь. Господи, освободи меня. Боже милостивый, приими».

Вечером он принял депутацию купцов Севилья, попытавшихся, но тщетно, оправдаться в деле с галионами.

1922

ИЗ КНИГИ «СТРАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»

СТРАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

I

В сыром мартовском дне дымно синели леса за Окой. Сзади остались сады, купола города. Дорога шла шоколадною лентою, иногда лошадь шлепала в ней и по лужам, иногда попадались с боков небольшие озера — сверх льда. Вот будет тут половодье! Вдалеке монастырь глянул прощально.

В лесу сразу стало сумрачнее, суровей. Проехали лесопилку, дорога чуть в гору, разъезженная, розвальни ползут глубокою колеей и кренят. Бурый меринок Панкрата Ильича, патлатый и шершавый, бодро месит снег. Огромная кобыла Христофорова и Вани выступает важно, поколыхивая серым задом.

— Ну, что, Ваня, как дела?

Ваня повернул юное лицо в ушастой шапке. Карие, спокойные и умные глаза, слегка исподлобья, обратились на Христофорова.

— Ничего, Алексей Иваныч. Доедем.

Христофоров полузакрыл веки и плотнее запахнулся в шубу. Мягкий, слегка влажный от дыхания енот так сонно и привычно пахнул! «Ничего, доедем.— Он сквозь полудремоту улыбнулся.— Крепкий мальчик, коренастый, зря не скажет».

Христофоров сидел в розвальнях на мешках с сеном. Ваня ниже, боком на облучке, а в ногах под дерюжкою крупа, сало, окорок: в Москву на обмен. Ваня кончает реальное, живет у отца, в небольшом, теплом домике над Окой, с садом, яблонями и сливами. Невысокий, слегка сутулый, с вишнями в глазах, нежным румянцем — леонардовский юноша из подмосковных мещан. Христофорова занесло сюда года два назад после долгих, обычных в его жизни скитаний. В городе он давал уроки, помогал на площадке, раз прочел лекцию о литературе. За учение Вани получал и мукой, и пшеном, иногда сахаром. Все такой же был Христофоров, как в дальние, мирные годы; только бородка седее, усы ниже свисают, да реже ширятся, словно бы магнетические — голубые, некогда нежные к нежным московским девицам глаза.

Лесом ехали долго. Казалось, конца ему нет, и все кренят розвальни, бок устает, дебрь кругом, подсед еловый, сумрак... Наконец, за лощиною, поднялись круто в горку — выбрались на шоссе. Гудит проволока, тянется полотно железнодорожное, перелески, поля, сырой мартовский ветер, но к закату чуть прояснило. Вдали, над лесами, откуда приехали, и над городом, ставшим вдруг страшно далеким, забрезжило медное облако. От него лег на дорогу смутный и беспокойный отсвет.

Панкрат Ильич соскочил со своих розвальней. Крепким, несколько развалистым шагом подошел к Ване и Христофорову.

— Отсидел ногу. Прямо чужая, анафема...

Он зажег спичку за ветром, спрятал огонек в лодке ладоней, и, держа цигарку в зубах, наклонился головою вперед. Осветились светлые усы, курчавая бородка, глаза небольшие, серо-выпуклые, загорелые щеки. Втянул в себя с наслаждением. Пыхнул — красно зарделась на ветру крученка.

— Опоздали безо всяких... Ишь, мокреть какую развело? Как же мы домой-то доберемся? А?

Он сплюнул.

— На шоссе горб обсох, слышь, по земле чирябает, мерин весь в дыму. Эх ты, едят тебя мухи с комарями.

Панкрат Ильич шел рядом, едко курил, сладко ругался, было видно, что ругаться ему нужно: так, избыток сил. И от всего его тулупа, валенок на кожаных подошвах, вкусной на ветру цигарки, брани становилось веселее. Он стегал иногда серую кобылу — не по злости, а тоже для поощрения. Вечер же надвигался. Все смутней, сумрачнее, одиноче в талом поле. Но когда совсем стемнело, дрогнули огоньки в деревне. Панкрат Ильич сел в свои розвальни, тронул рысью, через четверть часа ехали уже длинною слободою, через которую шло шоссе, спрашивали баб на крылечках:

— Эй, тетка, пустишь, что ли, ночевать?

II

С одного крыльца, из темноты, ответили:

— Заворачивайте.

Сумрачно отделилась женская фигура, зашлепала к воротам. Они заскрипели. Панкрат Ильич с Ваней тронули лошадей во двор. Христофоров слез, путаясь в стареньком своем еноте, и, слегка придерживая полы шубы, вошел в сени.

— В Москву, что ли? — спросил женский голос, и рука отворила дверь из сеней в самую избу.

— В Москву.

Изба была опрятнее и больше тульских и калужских, в общем, то же, все обычное, знакомое. Лучины, впрочем, Христофоров не видал давно. Теперь она горела чисто, жарко, в железном кольце, и таракан суетливо бежал под нею. Но какая-то пустынность, словно нежилое вдруг почувствовалось. Христофоров вспомнил, что такое же ощущение было и на улице: будто полусонная деревня, и полупустая. Баба оказалась серая, немолодая и худая. Девочка выглядывала с печки. Что-то одинокое и скорбное невидимо разлито в воздухе.

— В Москву, значит, на лошадях...— вздохнула баба.— Дела-а! Хлебушка не разживемся у вас? Хоть по корочке, с Рождества оконятник жрем.

Она взяла со стола кусок зеленоватой мастики — Христофоров хорошо знал этот знаменитый фрукт — горсточка муки, заваренная на сушеном конском щавеле.

Отворилась дверь, Ваня вошел.

— Хозяйка, покажи-ка нам, где лошадей поставить. Да получше бы ворота запереть, а то ведь знаешь, времена какие...

Ваня смотрел спокойно, исподлобья, леонардовскими своими глазами, и не снял ушастой шапки.

— Ваня, я могу помочь вам,— сказал Христофоров.— Отпрячь лошадей, например...

Ваня на него взглянул, чуть улыбнулся.

— Нет уж, Алексей Иваныч, вас не надо. Сами справимся.

И с такою деловитостью, на своих коротковатых ногах вышел с бабою, что Христофорову только осталось сесть на лавку да глядеть на таракана, на лучину, все по-прежнему потрескивавшую, на кудлатую головку девочки. «Ему восемнадцать лет, мне за сорок, и я его учитель, но он смотрит на меня, как на ребенка». Голубые глаза Христофорова расширились, и гипнотически уставились на проходившего мягко по лавке кота. Кот вытянул хвост, изогнулся, поблескивая электрическою шерсткой, тоже воззрился на Христофорова круглыми, зеленоватыми зрачками. А потом ушел, пофыркивая, чем-то недовольный.

Панкрат Ильич и Ваня скоро возвратились. И начался ужин в чужом доме, на изгрызанном столе, в душноватом сумраке полупустой избы.

Бабе с девочкой дали по ломтику сала и хлеба. Они жевали бессмысленно-сладостно. Панкрат Ильич ел много и серьезно, разгорелся, раза два икнул. Потом раскинул свой тулуп, угрюмо улегся на лавке.

— Как ворочаться будем... как доедем...— зевнул.— Царица Небесная... Тетка, что слыхать под Москвой... отбирают шибко?

Баба запела с печки.

— Уж как отбирают, милые мои, уж надысь бабочки говорили, прямо все — их обчищають...

— Экая стерва... Значить, настоящая стерва.

Он шумно выпустил из груди воздух. Лучина давно догорела, и огрызок ее с шипеньем упал в таз с водою. Темнота избы — последнее, что получила человеческого,— слова Панкрата Ильича, не очень утешительные. А потом и он замолк. Лишь бурно закипела его грудь.

Христофоров лежал на спине, на своей вытертой шубе. То ли было душно, новое ли место, только не спалось. Из окошка, рядом, лег свет луны, золотистой пеленой охватив нежные ворсинки меха. Они заиграли в нем радужными оттенками. Все тот же кот, бесшумно, тайным татем, прошел у стены по лавке, и, войдя в полосу луны, вдруг остановился, выщербил свою спину, повернул к окну круглую морду и бессмысленно, но и безвольно загляделся. Его мягкая шерстка затеплилась сухим блеском... Христофоров лежал неподвижно, почти не дышал — не хотелось сгонять мгновенного очарованья. Пусть бы всегда вот так кот стоял, играла луна, и мех зыблился, и в этом обольщении, как в позлащенной раковине, все бы вот смотреть, и жить...

Лунное полотно переползло далее. Кот ушел, открылся новый мир. Полотно накрыло голову Вани на угловой лавке, и взор Христофорова, как взор кота, безвольно, с нежностью уставился на нежный юношеский очерк, на румянец, на закрытые, так знакомо-карие глаза.

Христофоров поднялся, встал, медленно шаркая валенками, вышел в сени. А потом отворил дверь на крылечко, сел. Он был взволнован и растроган. Сейчас, позднею, безнадежной ночью, над умершею деревней дышал свежим и пустынным воздухом. Петухи сонно и печально прокричали.

Залитая лунным светом, улица тянулась вдаль, кое-где белели в ней пятна нерастаявшего снега и чернели тени изб.

— Все очарования прошлого ушли, но они были, были...

И если б Христофоров захотел, из тайного былого, силою лунного воображения он легко, послушно вызвал бы видения своих развеянных любвей, всю смутно расточавшуюся нежность, все легкие, незавершенные, и навсегда ушедшие свои волнения.

Но, освежившись ночным воздухом, он возвратился. Проходя мимо Вани, поправил его руку, чуть пригладил растрепавшиеся волосы и укрыл плечо тулупом. Ваня бормотал сквозь сон. Христофоров снова лег.

III

Выехали на другой день очень рано — Панкрат Ильич хотел захватить морозца. Было совсем пасмурно, когда Ваня отворил ворота, и двое розвальней, одни за другими, выехали на середину слободы. Христофоров забрался с ногами, кутался в шубу. Ваня и Панкрат Ильич шагали рядом. Холодный туман над всем висел. Холодное его безмолвие еще сильней открылось за деревней, когда пошли поля, тонувшие в молочной гуще, а перед глазами только горб шоссе, кое-где с обтаявшей землей, мерзлым навозом, кое-где с тонким, пузырящимся ледком. По нем скользит, прочеркивая снежную полоску, подкова лошади.

Ехали долго, все подъем, прямой и ровный. Ни петуха и ни собаки, ни навстречу никого. Стало светлее. Неожиданно сбоку выступил корпус фабрики. Отворены ворота, ни души. Окна повыбиты. Безмолвная труба, и на одном углу обнажены стропила.

Панкрат указал кнутовищем.

— Пролетариат празднует. Кажный ден воскресенье. Видите, как крышу объедают? Это все у них на продажу, кровельное-то железо. Все сообразят... Тут цельная деревня этим живет.

Он подошел вплотную к Христофорову. Глаза его вдруг свирепо загорелись.

— Я б этих сукиных детей, доведись мне...

Панкрат Ильич был хуторянин, верст за десять от города Вани и Христофорова. Землю у него общество отобрало, но он жил все-таки своим домком, и жил неплохо, по сравнению с другими. Спекулировал, чем мог, иногда, как теперь, ездил в Москву, и сейчас под сеном своих розвальней кое-что вез. Только бы провезти! И весь его тулуп, курчавая бородка, небольшие глазки, крепкие валенки на кожаных подошвах — выражали одно: ну, идти, делать, взялся, так уж сделать,— и сдержанное волнение было в нем.

— Алексей Иваныч! — вдруг вскрикнул Ваня, остановив серую кобылу.— Погляди-ка что!

И он вылез из розвальней, подбежал к краю дороги. Христофоров с усилием разогнул затекшие ноги, перевалился через облучок, и, поддерживая полы шубы, подошел тоже. В слегка разошедшемся тумане, на начавшем отсыревать шоссе ржаво расползалась красноватая лужица. Кой-где были в ней сгустки, прожилки. По сторонам несколько брызг.

— Нехорошо,— сказал Ваня. Ресницы карих его глаз слегка вздрогнули. И поослаб румянец на щеках. Панкрат Ильич потрогал кнутовищем темно-бурую печенку.

— Я б живой не дался.

А потом обернулся к Христофорову и запустил руку в карман.

— У меня для таких есть гостинец.— И вынул небольшой револьвер.— Без этого теперь нельзя.

Сумрачно запахнув тулуп, догнал свои розвальни, рухнул в них, хлестанул мерина и погнал его рысью. Ваня по-прежнему сидел на облучке, серьезный и спокойный, в своей ушастой шапке. После долгого молчания сказал:

— А это хорошо, что у него оружие...

— А вы как, Ваня, скажете, вам жутко?

— Ну, ничего, мало ли, со всяким может быть. Нет, чего ж бояться... Разумеется, запаздывать не надо.

«Вот он всегда уравновешен и покоен». Христофоров слегка про себя улыбнулся, и, как нередко с ним бывало, точно бы отдался уверенности, серьезности сидевшего рядом юноши. Да, это другой народ, другое племя! «Нынче Ваня у меня учится, завтра станет инструктором физической культуры, послезавтра красноармейцем и купцом». Христофорова это не огорчало, скорее радовало. Было приятно, что молодой и уверенный в себе юноша, так не похожий на комсомольца,— все-таки ученик его, и друг, почтительный и внимательный. Ваня всегда осторожно и твердо подчеркивал именно уважение к Христофорову умственное. Было это и в том, как он слушал его — уроки ли, лекции ль? — как говорил о нем. Но всегда Христофорову чувствовалось, что до конца перед ним Ваня не выскажется. И это ему тоже нравилось.

Между тем становилось теплей и светлее. Давно разошелся туман. Солнце, правда, не выглянуло, но легкий, сизо-сиреневый свет все же лег по полям, еще снежным, в проталинах, по бледным, чуть тронутым весною рощам, засиневшим лесам. Ехали той частью Подмосковья, где много небольших березовых лесов и перелесков, хорошо возделанных полей, уютных деревень, сельских церквей.

Христофоров снял шубу и в одном пальто шагал рядом с розвальнями.

Родина засветилась ему давно невиданной теплотою, прелестью. «Боже мой, есть еще весна, будут ручейки, первые в лесу, хорканье вальдшнепа на заре...» Он вздохнул.

А дорога вновь уже шла под гору, к селу. Проехали мимо большого парка, в глубине которого розовел господский дом — к нему вела аллея елочек. На другой стороне дороги, на отлете, церковь в рощице. В селе Панкрат Ильич выбрал чайную с синею вывеской, и подъехал к комяге, где несколько лошадей

с распущенными хомутами, в розвальнях и пошевнях, жевали сено.

Вылезая, Христофоров сказал Ване:

— Нынче воскресенье, не зайти ль нам в церковь?

Ваня улыбнулся карими своими глазами.

— Идите, Алексей Иваныч, я шубу лучше постерегу, да кобыле корму задам.

Солнце совсем приветливо выглянуло из-за облаков. Явно зачернели откосы в селе, ручей побежал, текучая голубизна задрожала над дальней осиновой рощей. Грачи очень развоевались. Христофоров шел, дышал весной, и снова грустно-умиленное наплывало в его душу. Он попал в церковь к Достойной. Медленно перезванивали на колокольне. Бабы и старики, несколько ребят. Дурачок, неизменный при деревенской службе, бурно крестил грудь и, подрагивая, весь подергиваясь, бил поклоны.

Служил священник очень старый, совершенно лысый, как апостол Павел, тем спокойным многолетневыношенным голосом, в котором личное точно теряется. И лишь временами странное как бы всхлипыванье туманило его слова, и глаза увлажнялись. Христофоров сразу вошел в то облегченное и светло-благоговейное настроение, какое давала ему церковь. Чинные возгласы, ризы, медленный ход кадила и скромно-торжественный отзыв хора вели ровной волною. Иногда набегала слеза, и тогда золотой свет свечей дробился, роился сияющим ореолом. Да, вот, все по лицу Руси так же стоят сейчас перед Господом, и так же поет хор, и просиявший голубой столб так же возносится от солнечного пятна на амвоне в высоту купола, где летит таинственно-сладчайший Голубь.

Вероятно, чужому лицо Христофорова, с расширенными синими глазами, вниз свисающими длинными усами, курчавою бородкою, лицо невидящее и отчасти детское, показалось бы несколько полоумным. Но таков уж был он, не другой. Принять его — или над ним посмеяться, дело взгляда.

Когда же он вернулся в чайную, где Ваня и Панкрат Ильич сидели на завалинке, на солнце, и молча курили, Панкрат Ильич сказал, бросая в лужу свой окурок:

— Ну, вовремя вчера заночевали... Прямо вовремя.

— А что такое? — спросил Христофоров.

— А то, что впереди нас ехал мужик курловский, да запоздал, хотел до выселков добраться...

— Ну?

— На дороге лужу позабыли?

— Этого мужика,— спокойно сообщил Ваня,— нынче привезли сюда убитого.

IV

Так как дорога портилась, двигались медленно. Вести доходили все плохие — под Москвой сплошь заставы, провезти ничего нельзя. Надо «потрафлять» проселками, лесами, на глухие деревушки, может, и удастся. И решили ночевать в Дудкинских Двориках, в версте от шоссе, откуда и начать завтра утром объезд.

В Дворики добрались засветло. Остановились у портного, приятеля Панкрата Ильича. Худой, в очках, жилетке и в калошах на босу ногу, похожий на полуобщипанного петуха, он вышел на крылечко своей хаты, приложил руку к глазам, закрываясь от низких лучей солнца.

— А-а, Панкрат Ильич, здравствуй,— запел он тонким, носовым голосом.— Куда, миляга? Не в Москву ль? Али в большевички записываться собрался?

— Насчет большевичков, Антон Прокофьевич, я уж подожду, покеда ты прошение подашь, да в председатели выйдешь, а уж мы, значит, за тобой, в затылок... Это же мои попутчики, люди хорошие.

Отпрягли лошадей, задали корму, в душной, но довольно чистой и гостеприимной избе Антона Прокофьича забурлил самовар на изрезанном ножами столике, Христофоров угощал крутыми яйцами, медленно двигалась баба-хозяйка, и в маленьких окошечках краснел закат.

Спать было еще рано, в избе душно. Закусив, Христофоров предложил Ване пройтись.

Золотисто-огненное облачко стояло над осинником, густо забравшим скат к речке. Ваня с Христофоровым прошли мимо амбарчика, взяли с дороги вправо, по обсохшему откосу, и спустились к той лощине, над которой Дворики стояли. Пахло сыростью, непередаваемой лесной прелестью. Тропинка привела их к завалившейся ветле. Сзади слегка курились Дворики, виднелись избы, погреба, овины. Милый вечер, тихий вечер наступил и замлел.

— Ваня,— сказал Христофоров,— вам, должно быть, показалось странным, что я повел вас гулять.

— Отчего же, Алексей Иваныч,— в избе воздух тяжелый.

— Ну, конечно. Но не одно это. Мне, во-первых, вообще приятно, когда вы со мною...

Ваня улыбнулся.

— И второе — что вам слушать разговоры, грубые слова, брань, когда вот есть природа, красота, весна. Давеча вы не захотели идти со мною в церковь, и напрасно. Ну, теперь тоже, в своем роде, храм, им полюбоваться тоже не мешает.

— Что же вы находите во мне такого интересного? — спросил Ваня.— Вы вот мне даете книги, и меня учите, рассказываете о других странах, другой жизни, водите с собою на прогулки, а ведь я простой мещанский малый, мой отец торговец... Что такого вы во мне заметили?

Христофоров сел на пенек. Кругом была мелкая поросль: осинник, березняк, ниже, к речке, белел еще снег в ивняке и ольхах. Ваня прислонился к куче хвороста. Из-под него выскользнула узенькая ласка, точно змейка, и исчезла. Пахло терпко-горько и очаровательно — свежесрубленным деревом. Христофоров вдруг вытянул шею.

— Тс-сс...

Верхи осин за речкой, подымавшихся по взгорью, дымно розовели. А внизу уже ложился сумрак. В тихом воздухе с легким дыханием близкого снега, но с пронзительной горечью весны, раздалось дальнее таинственное хорканье.

И вот, за тонкой сеткою осин, летя над речкою и низиной, появился и сам тайный обитатель этих мест. Длинноносый вальдшнеп тянул на заре, насвистывал, нахоркивал вечный призыв любви, верное указание весны. Налетев близко, вдруг увидел людей, трепыхнулся, сделал пол-оборота, и на крепких, на упругих крыльях, разрезая длинным носом зарумянившийся воздух, полетел дальше.

Христофоров засмеялся.

— Нас увидел! Что за зоркий глаз! Я прервал вас, Ваня, потому, что очень люблю *это,* весенний вечер, тягу...

Он достал из старенького портсигара на закрутку табаку, стал свертывать его в бумажке между пальцев.

— С тягою связано мое детство, дом, усадьба, мать, отец,— все то, что ушло невозвратимо. Вот я и взволновался. Что же до вас... ну, молодость нередко вызывает в нас участие, сочувствие... А потом... вы знаете, ведь я совсем один. Родители мои давно уж умерли, сестра погибла в революцию, женат я не был. Так что я бобыль. И надо думать, во мне есть какое-то семейственное тяготение — вы, например, кажетесь мне вроде бы племянником. И вот в Москву, Бог даст, доедем, мне бы хотелось повидать кое-кого из прежних... Ведь мы, знаете, становимся теперь уж редкостью...

— Да, вы не совсем такой... обыкновенный,— глухо сказал Ваня.

Христофоров подпер рукой голову.

— Необыкновенного во мне ничего нет, просто я человек, но, правда, мало подходящий к нашим временам.— Он улыбнулся.— Для чего такой я нужен?

— Однако же вы учите меня?

— И очень рад, и очень рад...— Христофоров вдруг взял его за руку, как бы взволнованно.— Вы слушайте меня. Все, что я вам говорю, слушайте. Дурному не научу, а кроме меня, некого вам слушать. И время трудное, и ваша жизнь длинна.

Закат смутно краснел сквозь чащу, и вода журчала. Иногда что-то похрустывало в лесу. Христофоров поднял голову к небу. Оно стояло высоко, бледно-зеленое, медленно пламенея к западу, и холодно-лиловое к востоку. Легким узором едва проступали звезды.

— Вот она,— сказал Христофоров, указал на бледно-золотистую, нежную Вегу.

— Это Вега, Ваня, альфа Лиры, о которой я говорил вам как об одной из самых близких к нам.

— Да, помню.

— Это Вега,— повторил Христофоров.— Голубая звезда Вега, звезда любви, моя звезда.

— Как же так ваша?

— Вы не видите сейчас параллелограмма Лиры, возглавляемого ею. Небо недостаточно еще стемнело. А почему это моя звезда, особый разговор.

Христофоров разговора не продолжал. Да было бы и поздно. Уже вполне темнело.

В Двориках по-ночному лаяла собака. Пора.

У Антона Прокофьича на столе стояла маленькая лампочка, едва освещавшая комнату. Сам он раздевался за перегородкой, по временам высовывал худую голову в очках и с тощею козлиною бородкой.

— Кто смел,— крикнул он, когда Ваня и Христофоров входили,— тот двоих съел.

Панкрат Ильич, с которым, видимо, шел у него оживленный разговор, стелил на полу тулуп.

— То-то вот и съел... они, черти, все нажратые. Кто сыт, тот и съел. А наше мужичье что? Заместо хлеба оконятник. Ткнешь его, он и икнет.

— Ага, сопутнички, пора, пора,— заговорил вновь Антон Прокофьич.— Ну что же, все жительство наше обозревали, все Палестины? Как нашли здешнюю местность?

— Да мы так,— Ваня ответил уклончиво,— просто прошлись.

Панкрат Ильич осклабился.

— Алексей Иваныч, все ли звезды перечли? А то вдруг бы чего не позабыть? Там у вас хозяйство большое!

— Всех не перечтешь, Панкрат Ильич, а закат ясный, чистый, и пожалуй, завтра опять денек выдастся погожий...

— Значит, и совсем по земле поедем.

Из-за перегородки опять высунулась остроугольная тень.

— Про звезды, значит, и ска-ажи на милость...

— Алексей Иваныч у нас самый во всем городе ученый человек,— ответил Панкрат Ильич тоном серьезным и благожелательным.— Оно, конечно, это теперь мало кому нужно, да ведь не век же так будет...

Христофоров с Ваней улеглись на полу, рядом. Огонек задули. Некоторое время все лежали молча. Тикал только маятник дешевеньких часов с гвоздями вместо гири.

Вдруг Панкрат Ильич приподнялся и сел.

— Нет, я этой стервы не вынесу. Это как хочешь, Антон Прокофьич.

За перегородкой скрипнуло.

— Да ведь я что ж, мне целоваться с ними, что ли?

— Посуди сам: у меня тридцать десятин земли. Что я, украл ее? Нет. От отца получил? Тоже нет. Я ее, землю-то, своей мозолью нажил. Я как сукин сын работал, и в Москве, и в Ростове служил, недоедал, недосыпал, все копил. Бывало, даст хозяин к празднику пятерку — прямо в сберегательную. И женился, завел дом, землицу, свиней, птичник, всякую коровку. Овес сеял шведский и шатиловский — сам за семенами ездил. Сеялка, веялка, плуги какие — загляденье.

— В полном обороте хозяйство...— откликнулись из-за перегородки.

— А земля что у меня давала? Почитай, сто пудов с десятины. Я овес разводил, хоть на выставку выставляй. Свиньями с латышом мог померяться, с Башинским...

Панкрат Ильич помолчал, только в темноте слышалось его сопенье.

— Свиней всех перерезали, птицу исполком сожрал, землю раскроили, чтобы каждому бродяге хватило. А что толку? Эта же земля теперь тридцати пудов не дает. А ты бейся. Да того гляди, из собственной избы выставят. Нет, чего тут... Заряжу двустволку, да как ахну разá, вот тогда узнают.

Панкрат Ильич несколько раз вздохнул, бурно, с клокотаньем, перевернулся, почесался, и довольно скоро захрапел.

Христофорову же не спалось. Все эти разговоры он слыхал не раз — не так уж интересно, даже некое уныние они нагоняли. Просто хотелось отдохнуть, тишины, света... он и сам точно не сказал бы чего, только не этой избы, и не храпа и не розвальней, не круп, не меринов...

Ваня дышал ровно, но Христофоров чувствовал, что он не спит. Вдруг Ваня сел. Христофоров слегка пошевелился.

— Вот, не могу заснуть,— прошептал он.— Вы меня растревожили, что ли...

— Чем же я вас растревожил? — тоже шепотом спросил Христофоров.

— Не знаю,— глухо ответил Ваня.— Сам не знаю.

Христофоров тоже сел, взял Ваню за руку.

— Вы точно недовольны мною?

Ваня вздохнул.

— За что мне недовольным быть? Да и я...— Ваня докончил как бы замявшись: — я, Алексей Иваныч, не могу быть недоволен вами, если бы и захотел.

Он помолчал.

— Почему вы это говорили... голубая звезда, звезда любви... Я ничего не понимаю.

— Ах, вот что...

Если бы не было темно в избе, Ваня увидел бы, как расширились, и вперились в бледный квадрат окна глаза Христофорова.

— Это, Ваня, тоже отголосок прежнего.

— Ну, ладно, прежнего... А что же?

Христофоров пожал его руку.

— Вы хотите от меня какой-то исповеди... в душной избе, по дороге в Москву, завтра будем прятать вещи...

Ваня сел поудобнее, и шепнул, не без упрямства:

— Хочу.

— Ну что же, если хотите...— Христофоров помолчал.— Голубая звезда есть звезда-покровительница всей моей жизни. Я случайно это открыл. То есть для меня самого это ясно, а для других... В чистоте, нежности этой звезды слилось все прекраснейшее, женственное, что разлито в мире. Для меня Вега есть облик небесной Девы, неутоленной любви, благостной силы, мучившей и дававшей счастье...

— Значит, вы счастливы не были.

— Иногда, быть может, был... Но...

Голос Христофорова слегка пресекся. Ваня вздохнул.

— Это нам трудно понять, Алексей Иваныч.

И вдруг приложил горячий лоб к руке Христофорова.

— Я два года назад полюбил одну девушку. У нас жила, беженка. Полька. Как я ее любил! Мы цельный год с ней и прожили. А потом она уехала... так все-таки уехала.

Христофоров почувствовал на руке своей горячую влагу. Голова Вани слегка вздрагивала.

— Уж как просил не уезжать... уехала.

Христофоров медленно, ласково гладил другою рукою волосы Вани. В четырехугольнике окна была видна голубоватая звезда.

V

К большому удовольствию Панкрата Ильича, утро принесло мороз. Поднялись совсем затемно. Антон Прокофьич вздул огонь, при фонаре запрягали, при полных звездах, по скрипучему, синему снегу двинулись неведомо куда — по крайней мере, так казалось Христофорову. Что-то таинственное, почти воровское было в этом выезде. То ли разбойники, то ли контрабандисты. Христофоров и улыбался про себя, ощущая под ногой куль с крупою, но и какое-то волнение в нем подымалось. Вечером должна уж быть Москва. На фабрике, вблизи Рогожской, собирались ночевать у сторожа, дяди Панкрата Ильича.

А пока что ехали проселком средь молоденьких березок, их сменяли голые поляны, сплошь в снегу, и мелкий ельник, лишь укрывший бы лисицу. Здесь еще зима. По-зимнему багрово выкатилось солнце, сизый воздух все еще казался колким. И по сторонам дороги чаще попадались синие цепочки — заячьи следы.

Ваня был хмур и неразговорчив. Сидел спиною к Христофорову, похлопывал рукавицами, иногда резко дергал вожжу. Ну да, как будто говорил его вид: вчера расстроился и разболтался, ничего не значит, нынче все по-прежнему... И когда Христофоров спросил, хорошо ли он спал и как себя чувствует, Ваня бегло поднял темно-вишневые свои глаза и угрюмо ответил:

— Отлично.

Так ехали довольно долго. Солнце уж совсем высоко поднялось, слегка пригрело, и кое-где выступили по дороге пятна. За розвальнями оставался то зеркальный, то атласно-шоколадный след. После бесконечных поворотов, спусков и подъемов оказались вдруг у въезда в небольшую деревушку. Она стояла на пригорке. Открывались виды на далекую долину реки Пахромы. Странное чувство появилось у Христофорова: точно Москва близко, и совсем знакомое, родное в пейзаже, но и никогда он не был здесь, так глухо, так заброшено в лесах, проселках, будто страна сказочная, или страна сна: и то, да и не то, и близко, а не попадешь. Это ощущенье в светлый, солнечный день вдруг прошло по его сердцу неожиданною грустью.

Подъехали к избе с краю, решили отдохнуть. Лошадей оставили у крыльца.

В избе было светло, довольно чисто, и довольно людно. Шныряла молодая, ловкая бабенка в клетчатой кофте, с высокими грудями, старуха возилась у горевшей печи, толкались дети, и не совсем понятные мужчины, не то родственники, не то проезжие, допивали чай, шумно разговаривали, потом один, молодой,

встал, взял в углу какой-то куль, в сопровождении бабенки потащил в сени. Приезжих встретили очень приветливо. Христофорову даже показалось, что слишком. Старуха кланялась. Молодая сейчас же предложила чаю, и яичек, появился белый хлеб. Было впечатление, что это постоялый двор.

Чаю выпили охотно. За окном блестел снег в поле. Панкрат Ильич был разговорчив, весел, обтирая светлые усы, поглядывал на молодуху. Так посидели с полчаса. Вдруг, не допив чашки, будто сообразив что-то, Панкрат Ильич быстро вышел в сени. Молодуха следом. Потом раздались голоса, всё громче, дверь шумно вновь отворилась, и Панкрат Ильич, побледнев, блестя глазами, крикнул:

— Овес мой украли!

Все сразу замолчали, потом поднялись, и началась бессмысленная суматоха. Выбежали из избы, вдруг потерявшей все свое гостеприимство. Улица была пустынна. Лошади стояли, снег блестел, куля овса как не бывало. Бросились по избам спрашивать. Одни советовали догонять направо, в поле,— видимо, кто-то проехал и зацепил. Другие — по проселку мимо коноплей.

Панкрат Ильич бросился было наперерез воображаемому врагу, конопляником мимо риг, но, добежав до большой дороги, сразу оглядевшись вдаль во все стороны, будто сообразил, и назад шел уже мрачно, не торопясь.

— Своих рук дело,— вполголоса сказал Христофорову, злобно блестя глазами.— Да, ищи тут! Вон,— он указал бровями на молодого малого, больше других суетившегося,— этот и спер, пока мы чаи распивали. Тут же где-нибудь и спрятали, в скирднике, на сеновале. Эх ты, сукиного сына!

Он яростно плюнул.

Хозяева предлагали обыскать избу и клети. Панкрат Ильич молча, безнадежно полез на чердак, шарил на дворе. Собирался народ. Шептались. Хозяева принимали невинно-оскорбленный вид. Явился комиссар деревни и потребовал документы.

— Сами нивесть кто, а туды же, ищут! — говорили в толпе.— Они сами, может, какие беглые!

Документы оказались в порядке, но Панкрат Ильич сразу что-то сообразил, мигнул Христофорову и Ване, и через минуту все были уже в розвальнях.

— Их бы самих обыскать, сами незнамо что везут...— раздались голоса, но Панкрат Ильич хлестнул своего мерина, а серая кобыла крупной рысью стала догонять его. У крыльца же толпился народ, долетал смех и бранные слова. Когда отъехали подальше, Панкрат Ильич пустил коня шагом, слез и подошел к розвальням спутчиков.

— Ну и сыграли дурака! Это же деревня самая разбойничья, они все тут заодно, мне еще наши говорили: в Куликах не останавливаться... Ах, сукиного сына! Да ведь это ж как раз Кулики и есть. Ну, одурел, прямо одурел!

Панкрат Ильич шел рядом, вертел цигарку, ругался и все разглагольствовал, как бы он обошелся с вором, если бы его поймал. И так бы он его, и этак... Но все это были лишь мечтанья. В многоречии же его, возбуждении, блеске глаз, было подлинное, непогасшее негодование. Христофоров слушал молча. Не то чтобы ему было жаль овса. Но вся история с избой, явно представлявшейся сейчас притоном, смутной тенью легла ему на душу. Да, солнце подымается все выше, пригревает, голубые дали над долиной Пахромы струятся по-весеннему, и кой-где выступают лужи на лугах. Но хорошо бы просто подъезжать к Москве обычной, не встречая по дороге пятен крови. Ну какой контрабандист он, Алексей Иваныч Христофоров? А ведь выходит так.

Ваня молчал упорно, мрачно. Христофоров вглядывался в даль, ему казалось, что вот-вот и заблестит на горизонте купол Христа Спасителя. Панкрат Ильич горячился и сердился. В каждой деревушке приходилось спрашивать о дороге, чтобы не попасть на заградительный отряд. И чем дальше, тем трудней и безнадежнее казалось выбраться из сети, что раскинута вокруг столицы.

Под вечер погода изменилась. Задул ветер, небо в тучах, мрачный, лиловатый отблеск лег на поля, когда подъехали к Николо-Угрешскому монастырю. Как раньше попадались замершие фабрики, так мертвен был и монастырь, хотя для виду там и помещалась детская колония. Поднялись в гору, мимо его мощных стен, ветер ревел в деревьях, дорога почернела. Шли пешком. Кормили вновь в убогой, безответной хате с земляным полом, голодными девочками, качавшими пеструю люльку, и голодной бабой. Скорбь нищеты как-то особенно ударила в этой пустынной, над оврагом, хижине с черным потолком, кислым и затхлым запахом и воем ветра в крыше. Сквозь оконце над темневшим горизонтом вдруг легла кровавая полоса заката и еще новым сумраком отозвалась в душе. «Ну, дальше, дальше, все равно, скорей бы уж...»

И с чувством облегчения и возбуждения уселся Христофоров в розвальни, навсегда бросая неприветливые места. Панкрат Ильич туго стянул поясом тулуп, напялил шапку, вид имел серьезный. Проходя мимо розвальней Христофорова, сказал кратко:

— Мешкать нечего. Ванятка, подгоняй кобылу. Ночевать будем у старика. Больше и нигде.

Сам сердито стеганул мерина, погнал его вниз под горку, по лужам и ухабам распустившейся дороги. Ветер стал бить прямо в лицо. Заря уже угасала, небо становилось все темней, а ветер, сырой, порывистый, не унимался, гремел где-то железным листом, свистел на мосту, рябил лужи и ломал льды на реках. Самый развесенний ветер. Христофоров чувствовал, что теперь надо просто дремать и терпеть, надвигается сумрак и ничего не увидишь, ничего интересного нет, а ночлег уж в Москве... Он там не был давно, кой о ком знал, кой кого уже нет. Что ж, с Москвой много связано, но теперь идет новое, вот частица его даже здесь, на облучке розвальней. И вместо того чтоб дремать, он вдруг спросил, из глубины своей шубы, негромко, приветливо:

— Что же Ваня наш невесел, что головушку повесил?

Ваня обернул свое приятное лицо, слегка обветренное, еще гуще загоревшее от дней дороги, улыбнулся.

— Я не повесил, Алексей Иваныч. Слава Богу, едем, поскорей бы только уж... Темноты заставать не хочется. Здесь, под Москвой, места непокойные.

«А сам какой покойный,— подумал Христофоров.— Вот вам и Россия. Уж чего страшнее время...»

— Ваня, неужели вы вчера совсем не поняли... о голубой звезде?

Ваня удивленно на него взглянул.

— Я так не говорил. Для вас я даже очень понял. Я хотел сказать, что это не для нас. Я ведь простой, Алексей Иваныч, мещанский сын. Люблю так уж люблю, не люблю — кончено.

— Ну, тоже не совсем простой...

Помолчали.

— Вы очень рано взрослый, очень скрытный, очень сам с усам...

— А вот вчера наболтал? — хмуро сказал Ваня.

— Почему вам это неприятно? — спросил Христофоров, тише, с некоторой глухотою в голосе.— Ну, вы сказали о своей любви. Но я ваш друг, ведь я же не болтун, что вы доверили, то и не выйдет...

Ваня вздохнул:

— Конечно. Все-таки, нет. Ослабевать не надо. А вчера я ослабел.

Стало совсем темно. Кобыла шла покорно, следом за Панкратом Ильичом. Ваня не правил. Оба думали о чем-то и молчали.

На одном спуске Панкрат Ильич приостановил мерина, вылез

и подошел к спутникам. В темноте, направо, чуть светился огонек.

— Ну вот, Ванятка, видишь этот дом? Скоро подъедем. Это так тут... Постоялый двор. Только не остановимся. Жулье разное. Местечко паршивое, последнее под Москвой. Дорога вниз спущается, и вроде бы ложочком, и там мост. И так что у нас слышно, в этом-то трактире собираются, присматривают, чем бы поживиться. Ну, вы и поглядывайте...

— Есть,— глухо ответил Ваня.— Знаю.

Панкрат Ильич молча тронул предохранитель браунинга. Пошел к своим розвальням.

Сквозь мглу, черноту ветра огонек стал ярче. Скоро выдвинулся и самый дом — одиноко стоял при дороге, двухэтажный, будто трактир. У фонаря лошадь в пошевнях. В нижнем этаже чайная, сквозь тусклое оконце видно несколько человек.

— Они самые и есть,— шепнул Ваня.

За домом, по откосу, начинался лес, и спускался вдоль дороги ниже. Ветер гудел в нем. И вокруг была глубокая пустыня.

— Ваня, почему вы сказали: знаю?

— А я и правда знал, Алексей Иваныч, мне еще в городе говорили. Я вам не сказал... не хотел тревожить,— прибавил он сдержанно.

Панкрат Ильич пустил мерина полной рысью, Ваня тоже хлестнул кобылу. В темноте розвальни быстро покатили вниз, иной раз шли враскат, стукались разводами о край дороги, кренились, а потом чиркали полозьями по земле и все летели.

— Не беспокойтесь,— шепнул Ваня,— в случае чего, я буду вас оборонять.

Христофоров слегка пожал его руку.

— И у вас револьвер?

Ваня слегка приник к нему, толчки саней как будто бы тесней сливали их, голосом сдавленным и почти страстным он опять шепнул:

— Нет. Финский нож. Ежели на вас — зарежу...

Христофоров поднял воротник шубы, левой рукой крепче держался за развод. Справа он чувствовал напряженное, ставшее нервным и электрическим тело Вани. Ветер свистел, сбруя моталась, чересседельник танцевал, хомут наезжал кобыле на уши, но, увлекаемая меринком, она взволнованно, сама не зная как, неслась вниз все быстрее. Ваня дернул вожжами, она тяжело заскакала. «Да, не выдаст,— проносилось в голове Христофорова.— Да, Ваня молодец...»

Вдруг раздалось ясное цоканье подков мерина. Кобыла чуть

не налетела в темноте на розвальни, тоже перешла на шаг. Переезжали мостик. Он обтаял. Сыро проползали по его настилу. А внизу овраг, и лес, и тьма, и глухо гудят сосны.

«Классическое место нападений,— подумал Христофоров, с неприятным стеснением в груди.— Ну, что ж тут делать... Кажется, еще подъем, но небольшой...» Панкрат Ильич опять стал нахлестывать, и лошади, запаренные, задыхаясь, тяжелой рысью выкатили на изволок. Выемка и овраг остались сзади. Развернулось поле, тьма ровная, но вдалеке, на горизонте зеленели огни, и на небе заструилось зарево. Москва! Вот она наконец. Сумрачно и зловеще мигали, переливались светлые точки. Сколько раз подъезжал он к ней раньше, по железной дороге, и всегда зарево это сияло, но ярче, пышнее. В нем тогда было мягкое, и родимое. «Мать-Москва...» Голубая звезда. Как ужасно далеко! А сейчас злобный дьявольский глаз... Не свет. Не легкость, и не радость. Бесплотно, злодейски полыхает колдовской фейерверк.

Христофоров вздохнул, поднял воротник снова, глубже вдвинул голову в плечи и расположился дремать. Теперь уже все ясно. Начинаются слободки, где живут огородники, опасности нет, все позади, под мостом, в овраге. А через час новый ночлег, новый чужой приют — ну разве мало их он видел?

И Христофоров зевнул, закрыл глаза, отдался мерному покачиванью розвальней.

Его разбудил резкий толчок. Серая кобыла вдруг остановилась, он чуть не упал вперед.

— Панкрат Ильич! — крикнул Ваня.

Христофоров видел, как какая-то фигура сбоку бросилась на Ваню, чьи-то руки слева стали шарить и тащить из-под ног Христофорова. Он поднялся в санях, не снимая шубы, и сдавленным голосом пробормотал:

— Что вы тут... зачем это...

Его ударили по уху. Он покачнулся и упал на боровшихся. Вновь те же руки ловко выбрасывали из розвальней вещи. Вдруг из клубка Вани раздался вопль, и фигура метнулась из саней на дорогу. Ваня за ним, и какой-то силой, ему самому не понятной, выскочил вслед и Христофоров.

— Васька,— завопил голос из-за Вани,— У них орудие, зарезал... голубчик... Пали, черт, Васька, пали...

Христофоров обернулся, нескладно развел и поднял руки в тяжелых рукавах шубы, как бы заслоняя борющихся, и прямо в лицо ему дыхнул жар выстрела. На этот раз что-то горячее и острое толкнуло в грудь, и так же, размахнув руками, он

упал в грязь на спину. Над ним раздались новые выстрелы, стон, борьба, матерная брань Панкрата Ильича, вновь выстрел, топот убегающих ног.

VI

Аким, старичок в валенках, дядя Панкрата Ильича, жил сторожем на заброшенной фабрике под Москвой. Он знал, что будет ночевать племянник. И когда вечером, в десятом часу, раздался стук в ворота, спокойно надел рваную ватную шапчонку, взял фонарь и пошел отворять. Но совсем взволновался, увидев тело тяжелораненого.

— Милицию, сейчас же,— мрачно сказал Панкрат Ильич.— Помрет, хлопот не оберешься.

И вид его, и тон были так крепки, что не приходилось разговаривать. Едва введя их, заперев ворота, Аким отправился на ближайший пост.

Через час все было кончено. Христофоров лежал в большой комнате бывшей квартиры директора, где жил теперь Аким, дышал тяжко, задыхался, но объяснил отчетливо, как все случилось. Милиционеры были все знакомые. Их угостили спиртом, они не очень-то настаивали, зачем Ваня и Панкрат Ильич ехали в Москву. Потом ушли. Началась долгая ночь.

В соседней комнате Аким стелил себе и приезжим. Панкрат Ильич пил бесконечно чай и волновался, без конца рассказывал.

— Меня, значит, сукины дети, вперед выпустили — услышит выстрелы, сам удерет. А Ваняткину кобылу сейчас это под уздцы, и на их с двух боков. Я как услыхал, у меня под сердце и подкатило, ах, думаю, какая сволочь, грабители проклятые, а у самого орудие готово. Остановил мерина, выскочил из саней, бегу, сам об одном только и думаю: Господи Боже ты мой, дай мне только не промахнуться, прямо весь бегу, весь дрожу... Для острастки раза два на воздух саданул, подбегаю, а они волчком катаются, и вот Ванятка сурьезный оказался, так что успел финский нож выхватить, и тому в пах довольно хорошо двинул.

— Все бы одно другой застрелил,— мрачно прервал Ваня.— Меня Алексей Иваныч собою загородил. Вот и хрипит теперь...

Ваня вдруг встал, подошел к окну, уставился в темноту ночи.

— Это бесспорно и без сомнения, что бы застрелил... Потому я еще порядочно далеко был.

Аким почтительно охал. А Панкрат Ильич, весь разгоревшийся от чая и волнения, рассказывал, как выстрелил, наконец, и он, и подбил «стервецу» руку.

— Ну, тот дерака. Который лошадь держал, еще ранее залился, а на последнего уж мы с Ваняткой принасели. Очень просился, отпустите, мол, голубчики... Нет, шалишь, поздно.

За что такое наш серед дороги лежит, кровью плюет? У меня обойма еще свежая была. Я его сначала браунингом по морде учил, так что даже все орудие загвоздал кровью, а потом устал. Что такой за работник я, думаю? Заложил обойму да как ахнул ему около уха...

— Это, конечно, нельзя простить,— с почтением подал Аким.— Разумеется, дело, как следует поучили, теперь иначе нельзя. Взять бы нашу фабрику. Почитай, все ремни срезали. Истинный Господь. Так кусками и режут, вам же, в деревню, на муку выменивают...

Ваня вошел к Христофорову. Свеча на комоде была заставлена ширмочкой, оранжевый сумрак стоял в комнате. Когда-то здесь жили с достатком, прочно. Стоял шкаф и комод, висели портреты, на окнах портьеры. Теперь чужой человек, с полузакрытыми голубыми глазами, длинными слипшимися усами и светлой бородкой лежал на спине, тяжко дышал, иногда кашлял и плевал кровью. Ваня сел у его ног, в мягкое кресло. «Доктора раньше утра не будет...— Он закрыл глаза.— Ну, да что... доктора...»

Аким с Панкратом Ильичом укладывались спать. Тихо было за тяжелыми гардинами, на пустынном дворе пустой фабрики. Ване казалось, что вообще никого нет больше,— он, да Алексей Иваныч. В покорности положил он свою голову на постель, у ног Христофорова. Так было лучше. «Ну, вот, говорил вид его: я перед тобой. Один я здесь, и не уйду».

Христофоров зашевелился. Ваня подал ему стакан теплого чая. Тот отхлебнул.

— Где это я?

Ваня объяснил.

Христофоров взял Ванину руку.

— Хорошо, что ты со мною. Лучше. Веселее.

— Алексей Иваныч,— сдавленно сказал Ваня,— зачем вы... зачем вы тогда... вмешались?

— Не помню. Так, значит, надо было. А ты... жив? Совсем? Ну слава Богу.

Он продолжал держать его руку в своей. Ваня заметил — в первый раз он назвал его на ты.

Христофоров молчал довольно долго.

— Ты молодой... Тебе жить. Совсем молодой.

Ночь шла медленно и тяжело. Христофоров сильно страдал, хрипел, задыхался. По временам бредил и бормотал.

Очень поздно — Ваня думал, что уже перед рассветом, но в действительности до рассвета было далеко — Христофоров вдруг обеими руками потянулся к Ване. Тот над ним наклонился.

— Живи, живи, хорошо живи... меня помни.

Когда поднялись Аким и Панкрат Ильич, Христофоров лежал с правильно сложенными руками и закрытыми глазами. Ваня причесал его своей гребенкой. На лице Вани, побледневшем и осунувшемся, остались сухие размывы слез.

Увидев Христофорова, Панкрат Ильич перекрестился, низко ему поклонился.

— Эх, Алексей Иваныч, милый человек... Ни за понюшку табаку!

Потом обернулся к Акиму:

— Не к нашим временам, нет... Ныне зубы надо волчьи.

А когда старуха взялась обмывать тело, он заметил:

— Ехать же нам надо незамедля. Опять оттепель. Часа пропустить нельзя. Распустит, и домой не доберемся.

— Поезжайте,— сказал Ваня.— Я до похорон останусь, все равно.

Панкрат Ильич посмотрел на него, хотел что-то сказать, но не сказал. И молча пошел запрягать своего мерина.

Пюжет, август 1926

АВДОТЬЯ-СМЕРТЬ

I

Через два дня, как выпал снег, когда в комнатах стало светлее, и вместо тряской, мерзлой земли розвальни заскользили по белеющей прохладе, когда запахло до слез остро снегом и пронзительно-горестно выступили свинцовые дали,— в деревушке Кочках у комиссара Льва Головина появилась баба. Лев, человек огромный, вялый, с грыжей, с большим носом, рыжеватой бородой, привык ничему не удивляться. Он копошился у розвальней, ладя по-новому оглоблю, когда высокая, тощая баба окликнула его.

— Мы самые и есть,— ответил Лев, с усилием, изо всех сил затягивая петлей веревку.— А ты кто же будешь?

— Что ж, милок, или меня не узнал? Еще Матюшкина-то вдова, вашего же, кочкинского? А как я теперь без пропитания, да бабка на руках слепая — разрази ее Господь,— да Мишка несмышленый, жрать-то нечего, прямо как рыбочка бьешься...

Баба мало была похожа на рыбочку, говорила низким, почти мужским голосом, но всхлипывала искренно.

— Ну, вот, я сюда и подалась, и подбежала...

— Та-ак...— Лев равнодушно почесался.— Матюшкина вдова? Да он что ж, у нас жил? Он у нас, почитай, и не жил. Все в городе околачивался.

— Как так околачивался? Забыл ты все, милок, и меня, тетку Авдотью, не признал...

— Тебе чего же надо?

За плечами у Авдотьи висела котомка. Худа она была до чрезвычайности. Опираясь на длинную палку, пристукнув ею, придвинулась шага на два.

— Как чего? Вы-то, небось, барскую землю забрали, а ведь я тоже обчественная, как рыбочка бьюсь, бабка слепая, Мишка несмышленый...

Дело было ясное, несмотря на множество ненужных слов. Она хотела, чтобы ей прирезали земли. Лев это сразу понял,

но сначала сделал вид, что не понимает, а когда долее не понимать стало нельзя, принялся равнодушно объяснять, что хоть и правда взяли землю у господ, но ее стало даже меньше. Лев Головин глубоко был уверен в правде своих слов. Но сразить Авдотью тоже нелегко. На слово она отвечала десятью, бледные ее губы дрожали, мужской голос хрипел свое, она постукивала палкой и плотнее наседала на Льва.

— Тогда уж надо обчеству... как обчество тебе решит, так и быть.

Под *тогда* Лев разумел: если уж ты такая стерва, что от тебя мне не отделаться, так пускай общество отделывается.

И как ни безразличен, медлен, от ноющей грыжи, ни меланхоличен был комиссар Лев Головин, все же ему пришлось под вечер создавать сход и доложить о деле. Никому не было оно в радость. Но Матюшка, правда, некогда жил в Кочках. У него нашлись даже родственники. Авдотья, как приблудный пес, сидела на крыльце и грызла корку.

— Я это, значит, оглоблю лажу,— рассказывал комиссар медленно и грустно,— а она вот как вот... И откуда ее принесло? Из-под земли выскочила! Или уж ее ветром к нам надуло, со снегом, по первопутку?

— Ее надуешь! — сказал кривенький мужичонко Кузька.— Она сама, смотри, какого ходока задает. Я видел. Я с ней говорил. Прямо... Из ноздрей огонь. Что твой скакун.

— Как ее упокойный муж, действительно сказать, был наш кочкинский, то не миновать нам дать ей землицы, что мы на этом сходе и должны привести в действие,— бойко произнес одутловатый человек с шарфом на шее, бывший приказчик, а ныне состоятельный крестьянин Федор Матвеевич, и этим решил дело.

Постановили земли дать на одну душу. Поселить в бывшей господской молочной.

Узнав об этом, Авдотья перекрестилась, низко поклонилась мужикам и, взяв свою палку, огромными шагами зашагала первопутком к станции — за Мишкой и бабкой.

— Видишь, как чешет,— сказал Кузька.— За ней на мерине не угонишься.

Авдотья быстро скрылась во мгле.

II

«Бывшая господская молочная» — значило небольшая изба, с земляным полом, где некогда гудел сепаратор. Рукоятку его вертела тогда Маша Головина, она же наливала фляги Николая

Степановича и отправляла их на станцию. От этого былого, как от романа Маши с Пермяковым, мало что осталось, кроме самой избы. Крестьяне деревушки Кочки давно забрали барских коров, и с огорченьем сами вынуждены были их отдать в совет. Сепаратор продали куда-то. Николай Степанович, столь любивший чинность и порядок, так и умер в очках и старой своей форменной тужурке. И из большого дома, со второго этажа которого был виден пруд, угол липового парка и бугор перед глазами, замыкавший горизонт, Варвара Андреевна не по своей воле переселилась во флигель. Но как раз она и изменилась меньше всех. Хотя владела лишь наделом (считаясь членом кочкинского общества), но так же строго и спокойно принимала комиссара Льва Головина на кухне, говорила ему «ты», и в бобровой шапке, шубке, с палочкой, медленно и властно обходила прежние свои владенья, заглядывала в амбар, половину которого — награду за боевые заслуги — увез летом красноармеец Филька, подкармливала кур и голодных стариков, занимавших часть большого дома, продавала мельнику-соседу коечто из старья, и, как и встарь, обладала непререкаемым авторитетом. Лиза за это время потеряла мужа. Возвратилась на родное пепелище — в прежней девической своей комнатке учила кочкинских детей — все как по-старому.

Когда в один прекрасный день Авдотья со слепой бабкой, с Мишкой, двумя петухами, сундуком и разным жалким скарбом ввалилась в усадьбу, Варвара Андреевна не удивилась. Она вообще была выдержанна, за это же время ее старые, некогда очень красивые глаза привыкли все принимать как должное.

— Еще одна пан-сионерка у нас появилась,— сказала она Лизе, отдавая комиссару ключ от избы.— В молочной будет жить.

Варвара Андреевна произносила «пан-сионерка» с французским выговором, так учили ее некогда в Петербурге, в пансионе мадам Труба. Но мало похожа Авдотья на прежних ее сотоварок.

— Подумать только, что вот и эта Авдотья была молода... Может, любила кого, замуж выходила...

— Ну, это ничего не значит. Знаешь, как у них: нужна работница в дом. А невеста смотрит, какая у жениха стройка.

Варвара Андреевна вообще была скептик. На многое, что волновало или восторгало Лизу, смотрела равнодушно. Лиза так привыкла, что всегда мать для других жила — для отца, для нее, Лизы,— так ей было ясно, что некрупная старушка эта есть образец безупречный, что даже этот холодок был свой, давно привычный. Как привычно, хоть и грустно, было то, что мать безразлична к вере.

Авдотья же не занималась тонкостями, нежностями. Она кипела. Ей все равно, верит или нет слепая бабка. Но огорчало, выводило из себя, что бабка «много жгрет».

— Ах ты, пралик тебя расшиби, волосатик тебя заешь,— кричала она мужским голосом,— да что ж мне на тебя, на старую кобылу, милостынку собирать? Я бегаю, бегаю, прошу у добрых людей, все ножки отбегала, а она жгрет да жгрет, знай лопает, у-у, вредная стерва...

Стерва безответно сидела на завалинке, пялила слезящиеся бельма и ждала, когда дочь даст ей по уху. Ждала не напрасно. Мишку Авдотья трепала за уши, а бабку била кулаком, иногда палкой, прямо по лицу. Бабка стонала — по старости громко кричать не могла. На другой день лицо ее покрывалось зелеными пятнами.

На одну из таких расправ наткнулась случайно Лиза. Как и в детстве при виде жестокостей и надругательств, вся побелела, и сразу почувствовала тошноту.

— Что вы делаете, Авдотья...

Обернувшись, та увидела «молодую барыню» — и сама испугалась: не грозности этой барыни, а того, что она все-таки «барыня».

И отскочила от бабки.

— Да я, милок, я это маленько... только что поучила... У-у, она вредная... вы ее, барыня, не знаете.

— Да ведь она вам мать...

— Только и делает, жгрет с утра до вечера, а уж я и все ноженьки отмотала... Ты чего, паршук, смотришь,— крикнула на Мишку, с любопытством взиравшего, как «учат» бабушку.— Я тебе задницу-то надеру, колесом у меня пойдешь, сукин кот...

— Сама сука...— Мишка осмелел, что рядом Лиза, и, шморгнув носом, стреканул ко флигелю.

Лиза почувствовала, что дальше ничего сказать не может, расплачется,— и, махнув рукой, пошла к себе во флигель.

Варвара Андреевна много спокойнее отнеслась к делу.

— Ты очень жалостливая, и всегда такая была. С ними нужно крепче нервы. Они все такие. А ты думаешь, другие лучше? Они не так чувствуют, как ты...

— Ах, мама... бабка старая, слепая. И с каким ожесточением она ее колотит...

— Ну, кто же говорит! Кто это одобряет! Вот придет ко мне, я ей такой реприманд сделаю...

Авдотья заявилась в тот же день, в сумерки. Клуб пара и холода ворвался в кухню, когда, костлявой рукой резко дернувши

входную дверь, она вошла с мороза. В руках длинная палка. Как всегда, рваный тулуп, глаза белесы, беспокойны.

— Я к вашей милости, матушка-барыня. Там вот это, позади хригеля вашего березочка одна такая... на кой она вам? А я прямо мерзну, силушки моей нет, пол холодный, бабка жалится.

Варвара Андреевна стоит посреди кухни, около плиты, и смотрит, как вскипает каша.

— Нет, нет, березку не позволю. Это баловство. Руби хворост в овраге. Там сколько угодно. Да вот еще что: если ты у меня в усадьбе будешь драться, так смотри...

— Что вы, что вы, милок барыня, какое драться, я и отродясь-то не дралась, я смирная бабочка.

— Если будешь со своей старухой скандалить, так и духа твоего здесь не окажется...

Авдотья продолжает уверять, что она самая тихая бабочка. Но для барыни готова даже не учить свою стерву, а в овраг, что ж, в овраг, конечно, можно сходить порубиться...

Тон Варвары Андреевны действует. Быть может, кажется Авдотье, что если барыня так властно говорит, значит, и власть имеет выставить ее из молочной. Соображает ли о том, что самое Варвару-то Андреевну и Лизу много легче вышвырнуть из флигеля, чем ее из молочной? Как бы то ни было, по остатку ли боязни, в надежде ли на мелкие подачки — их делают на кухне постоянно,— Авдотья удаляется покорно.

Смирно меряет саженными шагами путь домой. Из окна смотрит Лиза, задумчиво, с сумрачным недоумением.

После ужина мать в столовой под висячей лампой раскладывает свой пасьянс. Лиза говорит:

— Знаешь, когда она так шагает, и с этой палкой... ну точно смерть. Прямо скелет, кости гремят, и за плечами коса.

Варвара Андреевна, из-под пенсне, поднимает на нее красивые и строгие глаза:

— Ну какая там смерть. Просто попрошайка. Это тебе все кажется.

III

Николай Степаныч лежал за церковью на кладбище под белым березовым крестом. Зимний вечер трепал тонкую кожицу бересты, наносил сугроб, заметал засохшие цветы и мелкой снежной пылью пел вечную песнь печали и бренности. Лиза иногда заходила к отцу. Пробиралась полузанесенной тропкою, стояла, разгребала цветы, поправляла перекладину, крестилась, и так же истово и медленно шла домой. Нечто монашеское в ней проступало.

Близ ограды парка, из-за поворота вдруг вынырнула как со

дна морского длинная и тощая фигура с палкой и котомкой за плечами.

— А я, милок барыня, в Аленкино добежать, сказывают, мануфактуру привезли, по полтора аршинчика выдают... Я тут одним махом, к обеду домой...

«В Аленкино...— Лиза медленно подходила к дому.— Десять туда, десять обратно, к обеду домой...» И обычная тоскливость, тяжесть встречи легла на сердце.

Авдотья же в это время, на длинных своих ногах, точно бы на ходулях, неслась в горку за речкой, откуда виднелась и церковь, и парк, и двухэтажный «господский» дом. Если бы обернулась, увидела бы и крест Николая Степаныча, но оборачиваться ей некогда, впереди поля, белые и холодные, дальние, с резкой поземкой по насту, летящей и вьющейся ледяными струями,— как они извиваются, то вздувают сугроб вокруг елочки-вешки, то сметают с обледенелой лысины все дочиста! То шагает она по дороге почти что скользкой, то вдруг вязнет чуть не по колено — в малейшем ложочке. А времени небогато, засветло обернуться, да по дороге, в Кунееве, хлебушка раздобыться... хоть горбушку — и самой голодно, да и Мишка все ноет, и бабка...

— О Господи, да убери ты их от меня, окаянных праликов! Заточили, треклятущие!

После «реприманда» Варвары Андреевны Авдотья первое время была потише, но потом приловчилась и била старуху с не меньшим усердием, но тайно, и запирала в избе, пока синяки не сходили. Била за все — за разбитую, по слепоте, чашку, за то, что обмочилась, что дверь не прикрыла. В этом-то исходила некая сила, гнездившаяся в поджаром Авдотьином теле, та сила, что гнала за десятки верст по снегам за аршинчиком ситца, краюшкой хлеба для той же «стервы». Она и сражалась, носилась, выклянчивала — в этом кипении жизнь.

И вот наступило время, когда предназначено было бабке отдохнуть от войны и боя. Авдотья в то время рыскала далеко. Мишка же с любопытством и в одиночестве слушал, как бабка стонала, охала, смешно икала. Пользуясь тем, что нет матери, Мишка босой вылетал из молочной, с криком победы, марш-марш проносился взад-вперед по дороге. Это казалось ему смелым, прекрасным.

Когда в последний раз он вскочил в избу, бабка уже не икала. Мишка потрогал ее за рукав, она не шевелилась. Он испугался, побежал к «барыне».

На другой день Авдотья с утра заявилась к Варваре Андреевне.

— Барыня, дозвольте ту сосенку-то, во-о, над прудом, мужичкам срезать, там аккурат моей гроб выйдет — ох, уж долгая же уродилась, прости Господи...

Авдотья была сумрачна и озабоченна, и опять недовольна, да и правда, выросла же бабка такая «долгая», чуть ли не полсосны под гроб... Да еще захотят ли «мужички», а за попом... Ах, жизнь каторжная!

— Да-а,— говорил под вечер Лев Головин, со всегдашней медленностью и грустью, плотнику Григорию Мягкому, который пилил с Кузькой доски на гроб.— Вот и накрыла бабенка. Теперича она на нас поедет. То ей подводу дай, то дровец наруби, то вот зачнут помирать, тут и гробов не наготовишься.

— Где наготовиться,— мрачно сказал Мягкий.

— Ты погоди, вот придет весна, ты на нее напашешься. Земли ей дай, лошадь скородить дай... ты ей все дай, а она тебе, знай, как домовой кружить будет. Ныне тут, завтра в Аленкине, а там, смотри, до Страхова докинется...

Лев Головин вздохнул.

— И как это она тогда, точно из-под земли выскочила... Или ее ветром надуло?

Голодный поп быстро отпел бабку в нетопленой церкви. Бабка лежала в гробу мерзлая, синяки на лбу и щеке пожелтели, и все худое, костлявое, и очень длинное, что когда-то носило имя Елены, и пело песни, быть может, любило,— на серых суровых полотнищах сошло в глубь земли, рядом с Николаем Степанычем. Лиза бросила ей — первая — горсть земли. И Авдотья завыла: так полагалось в деревне, а может быть, не только что и полагалось...

Мишку весьма занимало, куда прячут бабку, но мешал кашель, начинавшийся с раннего утра. Мишка зяб, дрожал. Вернувшись с похорон, забился на печку, где прежде грелась бабка.

— У-у, дармоед, знай, по лежанкам лазить!

Авдотья гремела посудой, скребла, терла, была в сильном возбуждении, сама как будто бы не знала твердо, плакать ей или ругаться. На всякий случай дала Мишке подзатыльника, чтобы не «лаял». А он лаял здорово, всю ночь. Авдотья даже иногда сквозь сон слышала кашель, и с остервенением переворачивалась — поспать не даст, пралик! Вообще, тяжело как-то и скверно было. Мерещился все холод, и поля, свист ветра, белые змеи метелей... В избе сильно дуло из окон и снизу, с полу.

На другой день Мишка не поднялся. Авдотья было разозлилась, но, увидев, что он весь горячий, кашляет и глаза мутные,

не тронула. Укрыла его бабкиным тулупом, а сама пошла к «барыне» за подмогой.

— Он у тебя босиком по улице носится, вот и дождалась,— сказала строго Варвара Андреевна.— Смотри, чтоб воспаление легких не схватил.

— Да что мне, барыня-милок, что мне со стервецом поделать? Я уж ему и то говорю: запорю, сукин кот, сиди дома, уши оборву...

— Нет, нет, ты, пожалуйста, потише. Здесь не кабак.

Лиза заходила к Мишке несколько раз.

— Как у них ужасно,— говорила потом матери.— Воздух... грязь, какой-то мрак, холод... Я прямо боюсь этой Авдотьи.

— Ты всегда была такая нервная. Ну, а уж теперь, после смерти мужа... Авдотью бояться! Противная баба, больше ничего.

Лиза решила — правда, стыдно так бояться и не любить. Надо за нее молиться. И с этого дня стала она в одинокой своей молитве, поминая ближних и дальних, прибавлять имя Евдокии. Когда мысленно, стоя на коленях, в темноте, называла ее, казалось, что это не совсем та, Евдокия была как-то лучше, благообразнее, чем Авдотья-смерть. И после, раздумывая, Лиза даже стыдилась, что назвала ее смертью. «Господи, вот святые лобызали прокаженных...» И содрогалась. Если представить себе, что надо поцеловать эти белые губы Авдотьи, костяной оскал с запахом гнили, могилы, с фосфорическим блеском глаз полуголодных... Нет, видно, она недостойна!

Мишке давали, что нашлось в старой аптеке: хину, аспирин. Но он непрерывно кашлял. Метался, хрипел, и сама Авдотья вдруг стала понурой, тише мерила ходулями своими землю. Все-таки ухитрялась «добегать» к соседям, за две версты к мельнику, в Козловку к Аксюше Лапочке.

Однажды, в холодный предрождественский день, пробежавши верст шесть, в сумерки возвращалась она домой, таща за плечами, в котомке, кое-что снеди. Привычно полаяли на нее собаки в Кочках, привычно шумели березы по канаве, окружавшей усадьбу. Странным казался лишь слабенький отблеск в окне молочной. «Не спалил бы, пралик...» И она наддала ходу. Костлявой рукой крепко двинула дверь. Мишка лежал на спине, неподвижно, красные его ручки сложены крестообразно, в головах теплится свечка. И Лиза. В руках у нее Псалтырь.

Авдотья не сразу сообразила. Холодная струя ворвалась за ней, она не успела захлопнуть двери, остановилась, смотрела бессмысленно на остренький носик Мишки, на бледную Лизу

с глазами во влажном блеске, и вдруг вопль, хриплый, глухой, поразил смрадный воздух — как стояла, рухнула Авдотья с палкой своей, с котомкой, к холодным ручонкам сына.

— Сокол ты мой ясный, орел золотой, дитя ненаглядное...

IV

Дитя ушло, не много вкусив в жизни. И не велик был гроб, из той же сосны, творенье тех же старческих рук Григория Мягкого. Он лег рядом с бабкой, в нескольких шагах от Николая Степаныча.

— Ну, теперь ей будет послободней,— сказал Лев Головин, возвратившись с кладбища,— двух ртов нету. Это уж куда слободнее!

Но мужичонка Кузька заметил скептически:

— Смотри, дядя Левон, она теперь бобылкой будет, вовсе нас окрутит. То ты за нее подводу в город, по весне ты на нее паши... Нет, нам не отвертеться.

Авдотья, правда, стала теперь посвободнее. Не было двух праликов — и никого на свете больше не было. Незачем волноваться, некого бить, не на кого жаловаться, но и не с кем дома сказать слова.

Встретив как-то Лизу, Авдотья сапнула носом:

— Вот, барыня-милок, и дождалася... Враз и отчистилась...

Дома Лиза, сидя с матерью за обедом, сказала внезапно:

— Все-таки мне очень жаль Авдотью.

Варвара Андреевна повернула к ней свой тонкий профиль, и взглянула темными, красивыми глазами:

— Ведь она сама того хотела. Сколько раз говорила. А старуху, в сущности, заколотила.

— Да, но все-таки...

Лиза осталась при своем.

— Ты всегда, с детства, была мягкосердечна...

Разговор был разговором, канул, как и все, в пучину дней. Дни же набегали, пролетали. Мужики в Кочках хозяйничали, бабы возились с горшками и печками. Лиза учила, Варвара Андреевна наблюдала, Авдотья, как и раньше, все носилась. Казалось иной раз, при виде поджарой бабы с котомкой и палкой, без устали над снегами шагающей, что и правда, сам ветер несет ее...

Наступал Новый год. Ледяное встает солнце в молочно-розовеющем дыму, с востока ветер, обжигающий, как пламенем, снег на буграх блестит чешуйками, режущими глаза, нет сил смотреть, только бы укрыться, отвернуть голову в затишье

поднятого воротника. Но какой скрип саней! Какая музыка шипенья, визгов, свиста!

Она иной бывает в дни метели. Тогда гудят какие-то могучие басы, и ухает, и бьет — на флигель, где ютятся Лиза с матерью, вдруг налетит целая рать бешеная, хлопнет, затрясет крышей, ахнет в трубе, смолкнет на мгновение, чтобы дать место следующей, и к утру так навьет сугроб у сеней, что не отворить двери — откапывают.

В такой день возвращалась Авдотья домой из Аленкина. Вышла сразу же после обеда. Было бело, дымно-молочно, не очень уж холодно — она зашагала своими ходулями, но через час приустала. Забрела в Выселки, к тетке Агафье, погреться, вздохнуть. Агафья дала ей даже чайку. Выпив, та вовсе воспрянула. Хоть и темнело, решила идти.

— Я тут, милок, одним духом... Рощицу пробегу, а уж там все под горку, так ветром домчит.

Рощицей, недавно вырубленной, а теперь заросшей тонкими осинками, орешником, дубками, идти было сносно. Метель бесновалась по верхам, рвала, расшвыривала по всему полю бурые листики, уцелевшие на дубках, свистела в голых ветках, наметала сугробы у штабелей дров на просеке. Но в поле пощады не было. Авдотья все же резво и упрямо шагала под гору, там в двух верстах внизу Кочки. Лесок быстро исчез, и ветер как-то бил с разных сторон. Снег залеплял глаза, иной раз и дыханье захватывало. Вдруг стало по колено, следующий шаг по пояс. Попробовала повернуть. Несколько шагов верных — снова сбилась. Туда, сюда, везде «глыбко». Помучилась, побилась, и решила взять направо, целиком, и до ложочка. А ложочек прямо к Кочкам.

Добралась до куста и обрадовалась — ну, сейчас ложочек, и все ясно. Ухнула за кустом в овраг — так и надо, отлично. Стало как будто тише, но уж очень много снегу...

В этот же вечер, перед сном, стояла на молитве Лиза. Было темно, ревела за окном метель, Лиза клала поклоны, молилась за убитого мужа, за мать, за себя. Поминала и Мишку, и бабку. Дойдя до Евдокии, вдруг увидела: ложбинка, вся занесенная снегом, и белые вихри и змеи, фигура высокая, изможденная, с палкой в руке, котомкою за плечами, отчаянно борется, месит в овраге снег, и в белом, в таком необычном свете Мишка и бабка вдруг появляются, берут под руки, все куда-то идут... Господи, заступи и спаси!

На этот раз напрасно плакался Кузька. Гражданам деревни Кочки не было уж никаких забот, и никаких хлопот с Матюшкиной вдовой Авдотьей.

Париж, 1927

АТЛАНТИДА

Утро, зима, полузамерзшие стекла, вид на Георгия, что за Лавками, на деревья в церковном дворе, переулок, вдаль уходящий далекого, утонувшего города с мило-бессмысленным именем: Ка-лу-га. Дом в переулке, где живет Александр Георгиевич, извозчик, трусцой плетущийся, галки на черных липах, седой полусумрак комнаты, запах тюлений ранца, книжки и синенькие тетрадки, и грузная тяжесть в сердце, таком еще молодом.

Рядом, в столовой, за столиком у окна, вертит колеса и с вертушки мотает на шпульку Александра Карловна — хозяйка, основа и корень. Она иногда улыбается, лицом полным, слегка одутловатым и добродушным — один глаз уходит вправо — и вертя, видит она Воскресенскую, все, что там происходит. У ней чулочная. В задних комнатах, за коридором, пощелкивают машины. Там кисловато и душно, хихикают девушки. Хромая, постукивая каблуком, наведывается туда Александра Карловна, оттуда несут ей мотки, а берут смотанные шпульки.

— Здравствуйте, Александра Карловна.

— Здравствуй, Женя.

Вот она за столом, медленно, священнодействуя, наливает кофе. В комнате посветлело. Впереди в углу фикус, а повыше икона, лампадка.

— Кушай, хороший человек, это тебе здорово. Кушай, Женя, хлеб с маслом, это тебе очень здорово.

Александра Карловна улыбается, лицо ее точно бы смазалось какой-то благодушною мазью.

— Я вас, теперешнюю молодежь, не понимаю. Взять хоть мою Капу. Ей служить надо идти, а она еще спит, теперь все такие смелые, она и хозяина не боится, у нее хозяин жид такой горячий, а она неглижирует, хоть бы ты, Женя, сказал, ты мужчина, умный человек, ты бы ей и сказал: Капа, ты уж очень смелая.

И Александра Карловна, тяжко волоча ногу, обходит стол, стучит в комнатку дочери.

Но Жене некогда уже увещевать: пора. Шинель реального училища, фуражка с золотыми листиками, ранец за плечами, двор снежный, вкусный зимний воздух, и калитка, тротуары занесенные, знакомые дома, знакомые сугробы, и знакомая, такая безысходная, и жгучая тоска. Где свет, солнце и радость? И к чему все? Вечно будут серые дома, заборы, галки и учителя, труды, волнения, вот эти сумрачные утра, острые снежинки...

Розовый корпус в саду, один за другим тянутся ученики, вороны носятся над заснеженными кленами.

В раздевальне Женя сталкивается с Александром Георгиевичем. Тощий, с умным и высоким лбом, карими глазами, узкая, с проседью бородка — весь замотан шарфом, воротник поднят, на ногах огромные калоши — он слаб здоровьем.

— Да, да, да, вот и вы,— улыбается, как всегда, не то загадочно, не то насмешливо,— да, после четвертого урока спуститесь сюда, вы мне нужны.

И вытянувшись, застегнув обе пуговицы фрака синего — лишь он один и делал так,— застукал каблучками в направлении учительской.

Уроки же шли, как и надо. Женя заседал с Капыриным на задней парте. Батюшка обучал истории церкви, немец с рыжими усами читал Минну фон Барнгольм, Козел с курчавою бородкою лениво плел о гугенотах. Капырин, толстозадый юноша с полипами в носу, с вечно засморканным платком, писал любовные послания, сильно сопя.

— Ну-ка, вот это как, Капырин, расскажите-ка, что вы там знаете о католической... как вот это там... реакции.

Козел не очень сильный был оратор. Но Капырина испугал искренно. Он вскочил, высморкался, оправил курточку, всегда морщившую на заду, и, толкнув Женю, громко сказал:

— Подсказывай.

И как всегда бывает, сколь ни скучны, бесконечны кажутся уроки, все-таки проходят и они, и зимний день из окон так же серо, и очаровательно синея, смотрит глазом светлого бесстрастия, во дворе пилят двое мужиков, по белым крышам домиков калужских бродят галки, кресты золотеют в бледном небе, и далеко, за рекой, виден большак на Перемышль, в березках — кажется большак далекой волею, пронизающею сердце.

В назначенное время Женя ждет внизу. Александр Георгиевич, вытянув вперед нос, заложив руку под фалду и постукивая каблучками, таинственно подлетает.

— Вы третьего дня были в театре?

Женя краснеет.

— Был.

— И хорошо, и очень хорошо.

Александр Георгиевич приближает к его лицу карие глаза с оранжевым ободком, и видна каждая морщинка бледно-желтоватого лица, крупная бородавка на щеке. Эти глаза всегда полны не то ласковой, не то угрожающей иронии. Не ясно, будет ли западня, или же просто философия.

— Что же вы видели?

Женя опять краснеет.

— «Зеленый остров».

— И очень хорошо, великолепно! Классическая вещь, равная Эврипиду, возвышает душу молодого человека — серьезного, хорошего ученика, как вы.

Уж и Козел, и немец, и другие мизерабли скромных долин пробрели в классы душно-светлые, чтобы тянуть свою волынку. И Женин класс прошел шеренгой в гимнастический зал, где худенький и ядовитый ротмистр — поляк Стемковский — будет их гонять по параллелям. Улеглась и пыль от них, а Женю все водил взад и вперед Александр Георгиевич, подложив руку под фалду фрака и побалтывая ею.

— Да, да, вы часто ходите в театр. Это отрава, это возбуждает и прельщает. Вот недавно вас застали на пустом уроке с книжкою Золя. Не советую читать. Пакостный писатель. Я вам говорю: пакостный!

Он приблизил к самому Женину лицу карие свои глаза с оранжевым ободком, и расширил их, угрожающе, чтобы наглядно показать, как страшно-пакостен Золя.

— От таких книг юноша впадает в тоску, рассеянность, и может кончить самоубийством. Не гордитесь, что вы хорошо учитесь. Бывали примеры, бывали-с! В младших классах ученик режет ножом парту, вырезая бессмысленные вензеля, далее начинает критиковать наставников, читает дурные книги, и где же он оказывается? И вот он студент, и вот увлечен тлетворными идеями — а там... по Владимирке, позванивая кандалами. Вот он — уж негодяй!

Остановился, разметнул обе фалды, как хвост петуха, наклонился над Женей. Выждал момент, как гипнотизер, вновь успокоился.

И объяснил, что он надеется на Женю, но советует: реже ходить в театр и не читать пакостного Золя.

* * *

В комнате Александры Карловны пахло затхло-сладковатым. В уголке иконы. На старинном трюмо скляночки, два граненых,

разноцветного хрусталя флакона, над постелью шитый башмачок для часов, и портрет лысого, благообразного, с бакенбардами, старомодного человека. Весь его вид говорит: «Вот, я жил прилично, был богат, и честен, кто меня осудит?» — Карл Карлович Кон — «Знаешь, Женя, мы из контористов. Мой отец был такой важный, ну, и такой полный, когда мы выезжали на своих лошадях, с Рождественки, все говорили: вот это едет Карл Карлович со своим семейством».

— Фу-у, и тощища же была в этом семействе! — вставляла Капа.— Мухи мерли! Тетя Мари, тетя Аделя, Сашенька, Дашенька, канашенька...

— Перестань, Капа, ты всегда такая дерзкая!

— Ах, ты, милая моя мать, не сердись, ну прости меня, дуру, не хочешь, ручку тебе поцелую?

— Вот уж ты всегда такая, Капа... то дерзости, то нежности...

Все солидное и корневое в доме шло от Конов — династии московских немцев «контористов», а вернее — коммерсантов. На другой же стене комнаты портрет «Жана» — бледное и умное лицо, в бороде, с отложным воротничком, и острым, неровным взглядом — муж, покойник, тоже немецкого происхождения, из Австрии. «Мой Жан был очень красивый, Женя, ты знаешь, когда мы выезжали на балы, он надевал фрак, и ему это очень шло».

Жан служил биржевым маклером, спекулировал на бумагах, и, как человек азартный, проигрался. Кончилась для Александры Карловны жизнь в Армянском переулке, выезды в карете на балы, где — несмотря на хромоту — все же она и танцевала... Жан сбежал сначала в Вену, но и там не вышло, он вернулся, получил маленькое место на заводе. Александра Карловна покинула любимую Москву. Годы прошли в далеком захолустье. Жан скучал и пил, наконец, умер. И лишь с помощью Женина отца, приятеля покойного по службе, удалось Александре Карловне завести в городе мастерскую.

Тут села она прочно. Уже тенью стал отцовский дом в Москве, тенью и жизнь с Жаном, но навеки пронзил Жан нехитрое ее сердце, и каждую субботу, у всенощной, и в воскресенье за обедней, и ложась спать, молилась Александра Карловна за Жана, плакала и твердо верила, что на том свете они встретятся. Это давало силу сидеть на Воскресенской, вертеть колесо, выпутываться из безденежья, ссориться и мириться с Капой, и вести тот бедно-однообразный оборот, что называется жизнь в городе Калуге. Впрочем, у ней были развлечения: через окно наблюдала переулок с домиком Александра Георгиевича, замечала, кто куда идет, оценивала, одобряла или

осуждала. Заказчицы сообщали и подробности. Из бесконечных разговоров с дамами, не отходя от столика у окна, следила она за политикой, общественностью и эротикою города.

— Капа,— говорила, например, расплываясь в благодушную улыбку,— ты знаешь, сегодня была у меня госпожа Гнездарева, заказала чулки фильдекосовые. И вот у Гржегоржевского жена уехала к родным гостить, а он, представь себе, говорит, что пусть лучше и не возвращается, он нашел себе мещаночку со Спасо-Жировки. То-то я и видала его в пятницу с блондиночкой, на лихаче, самого Каргу нанял...

— Эх ты, моя мамаша, все-то тебе врут твои бабы...

Глаза у Капы живые и бегучие, нервность, порывистость в движениях. Больше всего любит противоречить.

— Ну, Капа, вот уж ты всегда скажешь... Госпожа Гнездарева такая серьезная, такая комильфотная, а ты говоришь врут... И опять ты курить начинаешь, Капа, и как это тебя твой жид в фотографии еще не отучил, ну разве можно, ты же барышня, а куришь, нет, теперь все пошли такие смелые...

— Попробовал бы он учить меня! Да он и не еврей совсем, просто осел, от которого я скоро уйду.

— Да как же, Капа, не жид, когда мне сам господин Реберик говорил — а Реберик такой строгий, такой важный — что жид?..

— Он поляк. Когда время завтракать, ему сестра говорит: «Игнась, Игнась, хцешь яйко?»

— Ну все-такось, Капа, ты не права: спроси хоть госпожу Козловскую. И потом, ты говоришь: уйду. А как же можно не подчиняться, мы должны подчиняться...

Капа пускает матери в лицо клуб дыма.

— Вот и уйду. Если еще снахальничает — уйду.

Александра Карловна совсем рассердилась — что это, правда, Капа и курит, и дерзит, и никого не слушает.

Сидел ли в Капе дух Жана и его породы, но ее нервность, и самостоятельность, и гордость вовсе не шли к благообразно-благодушным Конам.

И вертя колесо, держа в руке кусочек парафина, чрез который пропускала нитку, Александра Карловна недовольно шевелила губами: «И какая теперь молодежь пошла! Все хотят по-своему, все сами знают, все такие смелые...»

По Воскресенской заметал снежок, и надувал сугробы в переулке, ветер звенел в телеграфных проводах, огоньки в сумерках зажигались, и безмолвный город, тихая Калуга, в старину славившаяся холстами и веревками, Мариной Мнишек и, позднее, Шамилем, погружалась в зимнюю, пахучую метель. Все прочно, крепко, ровно — огоньки, да ветер завывает.

* * *

Александр Георгиевич был прав: действительно, Женя читал Золя и отравлялся, и действительно, ходил в театр чаще, чем бы надо. Однако все-таки он не знал: почему стал Женя театралом.

Несколько времени назад приезжал его отец. Останавливался у брата, на Никольской.

Много ездили они в театр, и в маскарады, и в гостинице «Кулон» нередко «намокали». Обо всем этом Женя слыхал, но в его мрачную жизнь, с алгебрами, сочиненьями, утренними сугробами на Воскресенской это не входило. Когда отец собрался уезжать, Женя поехал провожать его.

Было около четырех. В буфете первого класса зимний день клал холодно-серебряный отсвет на запыленные цветы, на длинный ряд приборов с графинами, вазами, пальмами, салфетками. В конце стола сидел отец в серой шубке и дядя в енотах. Отец смеясь целовал руку красивой дамы с огромными, черными глазами. Она была подкрашена. Женя сразу узнал — Стецени-Вардина, звезда театра. И когда подошел, прежний мир удалился, началось иное, ранее неведомое, в этом ином голос отца сказал:

— А это сын мой, Анна Николаевна. Разрешите вам представить.

И в ином мире подняла на него черные, не то греческие, не то венгерские глаза Стецени-Вардина, протянула руку в белой перчатке и сказала ласково:

— Очень приятно.

Через десять минут ушел поезд с отцом, и на паре в дышло, под синей сеткой, укатила в город Вардина, с дядей-енотом.

* * *

— Все-такось, я тебе скажу, Капа, какой Женя смелый человек,— Александра Карловна вертела свое колесо, блаженно улыбалась от сознания, что она такая «хитрая», все понимает,— Александр Георгиевич сделал уже замечание, что часто в театр ходит, а он опять ушел, начальники могут прийти и спросить, где он, как же тогда отвечать?

— А как хочешь, милая мамаша. Женя мне не сват, не брат. Захотел в театр идти — его дело.

Александра Карловна все улыбалась.

— Я, Капа, очень хитрая, все понимаю. Ему нравится одна актриса, знаешь, черная такая, ну, по Воскресенской с Гущиным на паре часто проезжает. Я уже заметила: Гущин ее на своих рысаках катает.

— Венера любит смех весе-ли-е во всех...— запела Капа.— Чтобы ей угодить, веселей надо быть, чтобы жить не тужить, надо больше любить... Тра-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля, траля-ля-ля...

— Ну уж ты, Капа, всегда такая сумасшедшая...

— Милая моя, золотая, алмаз мой чулочный, да как же я тебя люблю...

— Вот ты всегда так, Капа, перестань, Капа, не души меня, а почему у тебя на глазах слезы? Уж ты такая, Капа, такая...— Александра Карловна не могла найти даже слова.— Ты, Капа, неосновательная...

— Может быть, мо-жет быть! У меня отец тоже был неосновательный. Правда, говорили, он однажды влюбился, бросил нас совсем и сбежал в Вену — когда я маленькой была? Значит, настоящий человек, играл, пил, увлекался... Я, может, тоже пьяница...

* * *

Обходится ли старый город русский без Садовой? Или без Дворянской, без Московской?

Разумеется, все это есть и в Калуге. За Садовой, на просторной площади, оцепленной мещанскими домишками, где летом иногда коровы ходят, откуда виден дальний бор за речкой Яченкой,— на площади, сейчас снегами занесенной,— дощато-красный «городской театр». Здесь именно Стецени-Вардина, являясь за таинственной чертою рампы, подымая черные глаза, собой и пением своим — вдруг начинает новый мир, далекий, бедной и убогой жизни.

Здесь в первый раз услышал он Кармен, сидя в мундирчике своем в партере, наискось седого, в крепких усах губернатора. И роза, что бросала Кармен,— навсегда упала в сердце. При выходе он поклонился губернатору, остался ждать. Под фонарем летел белый снежок. Гущинские рысаки подкатывали к артистической. Публика расходилась. Подошел друг Капырин, высморкался, посмотрел бесцветными глазами в мутную от заметюшки даль, и поднял воротник.

— Женька, надо извозчика б'ать. Едем пополам? По г'ивеннику?

В мехах, ротонде, серых ботиках вышла Стецени-Вардина. Женя бы должен был подойти, поздороваться, отстегнуть полость. Но ноги не послушались, и он все собирался поклониться — а уж рысаки промчались.

— К'асивая,— сказал Капырин.— И хо'ошо сложена.

— Я с ней знаком,— глухо ответил Женя.

— В'ешь?

— Ей-Богу.

Приятель шморгнул носом.

— Я бы не упустил такую.

Капырин, сын купца из Мещовска, учился мало, носил маленькую фуражку «прусского» образца, шевеля толстым задом, любил ходить по Никитской за гимназистками. Жене же рассказывал нередко о своих победах — правда, больше над Дуняшками в деревне, соблазняя их одеколоном, и полтинником.

Теперь же сидел в санках и сморкался. Говорил, что хороша Вардина, а Стройнова, в оперетке, еще лучше, и когда высоко подымает ноги, это очень интересно. Женя и смеялся, и сердился — впрочем, более притворно — Стройнову он знал, влюблен в нее не был, но как в могучей и веселой женщине в ней тоже чуял прелесть. Все-таки стыдился, делал вид, что недоволен грубостью Капырина.

— Ну, я тебе завт'а отдам г'ивенник,— крикнул Капырин, спрыгивая на углу.

Женя прошел двориком мимо сарая, поднялся к себе наверх. Дверь, обитую клеенкой, отворила ему Капа. Она была в коричневой шали, с папироской в зубах. Волосы несколько растрепаны, лицо бледное и недовольное.

— Ну, хорошо было в театре?

За перегородкою храпела Александра Карловна. Все Коны, Жаны, тети Мари мирно дремали на стенах. В комнате сладковато-затхлое, теплое золото лампадок.

Капа села на кушетку, вблизи фикуса, где читала книжку.

— Насладились пеньем своей Вардиной?

Женя вздохнул.

— Вардина вовсе не моя.

И прошел к себе. Луна светила теперь чисто, тень Георгия за Лавками падала по переулку. На окнах намерз лед и иней, их сверкающий узор был нестерпимо грустен, леденил. Жене казалось, лучше всего лечь, увидеть во сне Вардину, и никогда не просыпаться.

* * *

Но, разумеется,— проснулся, потащил тюлений ранец в школу и чертил пунктиры Александру Георгиевичу. Тот его теперь не донимал. Только загадочно посматривал, посмеивался, плотней застегивал фрак на все пуговицы и стукал каблучками по паркету.

— Ну-ка, объем пирамиды? Капырин? Не знаете? Два балла. Коханович? Запамятовали? Неполный балл. Курносов?

Так веселился иногда Александр Георгиевич, а потом успокаивался, и мирно, но внушительно чертил на доске всякие мудрости.

Говорили, в молодости был он удивительнейшим математиком, должен был идти далеко, но не поделил чего-то и попал в дыру. Здесь одиноко жил, недалеко от Жени, в собственном одноэтажном домике, наглухо, с книжками, слыл чудаком и отрицал Коперника. Считал, что это все раздуто и реклама.

— Вы должны верить вашим учителям,— говорил Женя, щурясь и подмаргивая бледным своим лицом,— что Коперник прав, иначе вы не будете иметь полного балла, но я вам говорю, что самому Копернику за его глу-по-сти, да, да, да, я бы поставил неполный балл. Не-ет, старичок Птолемей... это работа тонкая, нет, куда там-с. Но вам рано. Вы забудьте, что я говорил. Да, да, — он вдруг строго расширил глаза.— Вы еще ученик.

Выходя после обеда, перед сумерками, на прогулки, Женя проходил мимо его новостроенного, красного кирпича домика. Дверь отворялась прямо с улицы, обитая клеенкой. Вечером, с извозчика, можно было видеть Александра Георгиевича, закутанного в шарф и плед, что-то читавшего при лампе. Пустота, безмолвие!

Как бывает с теми, кто мечтателен, самолюбив и страшно молод, Жене казалось, что, наверно, жизнь его погибнет так же, он вот тоже будет жить где-нибудь в захолустье, в одиночестве, без любви и света. И еще сгущались мрак и раздирательность в душе.

Но раздирательность была и сладкой. Он гулял теперь каждый день, до темноты, и цель его простая, но и тайная: увидеть Вардину. Ведь город невелик, и неужели он ее не встретит? Переулком Александра Георгиевича выходил на Никольскую, длинно и чинно шел по ней, средь небольших домов в садах — купцов и состоятельных мещан. Там в переулочке живет Дитюша, черненькая, сухощавая учительница музыки, к ней иногда Женя и Капа заходили. Дальше дом дяди Михася — назывался он «красавец», лечил дам, ездил по театрам, маскарадам, полупольский «гоноровый пан», любивший «намокать», тот самый... Женя слегка холодел — неужели не могла приехать к нему Анна Николаевна, вот бы он вошел, дядя Михась пьет чай с блюдечка, смешно топорща губы, дуя на него, покручивая ус, а он бы с Анной Николаевной поздоровался спокойно, как знакомый...

В конце Никольской, где гимназия, сворачивает он на Ни-

китскую — тут магазины, оживленье, и по тротуарам шмыгают за барышнями гимназисты. Капырин в крошечной «прусской» фуражке болтает что-то гимназистке, иногда проносятся на рысаках вниз, под гору, Терентьевы или Малинины — меховщики, лесоторговцы. Романтик молчалив. Сам кажется себе загадочным и безнадежным. Если бы она промчалась! Понесла бы лошадь, он бы бросился, телом загородил дорогу — а потом его бы подняли, израненного, и она смотрела б черными глазами, вся в слезах...

Мимо каменных, екатерининских, с аркадами и галереями рядов, площадью он идет к Собору, и действительно, тут обгоняют — седые усы губернатора и худенькая губернаторша, на рысаке, он кланяется, и от женских глаз томность и холодок, но и приятно, что вот отвечают, точно взрослому.

Собор в четырехугольнике Палат, Суда и Семинарии, а дальше, за мостом через глубокий, летом зеленеющий овраг, тот край, у Одигитриевской и Георгия за Верхом, где и живет она. Недалеко тут древний дом Марины Мнишек. Тихо, барственно, дворянские особняки. Здесь, может быть, пред сумерками она вышла бы гулять, одна, мечтать, и обронила бы перчатку, он бы поднял, и догнал, сказал:

— Анна Николаевна, перчатка ваша...

— Ах, это вы... Благодарю. Вот, я рассеянная...

Белый снег. Слегка уже синеет. Галки дико орут над золотым крестом церкви Георгия — не за Лавками, а за Верхом. В тишине, нежности пронзительной, по малотоптанным тропинкам тротуаров — вот он на площади перед театром. Бледный шар зажегся у подъезда. Вечереет. Снег, мгла, Россия.

* * *

Россия, снег, зима. Далекий путь в жарко натопленном вагоне, занесенные поля, дебри лесов, станция Муром, тройка, колокольчики, опять леса, где, кажется, медведю вовсе и нетрудно тоже в сани сесть и прокатиться — рождественское возвращение домой. Ухабы, гиканье, знакомая доха отца, слегка обмерзшая у губ, от дыханья — вечерний, тихий дом (закинутый в глуши завод) — сладкие дни, покойные, печально-нежные, среди своих, родных. Лыжи и сосны, акварель, книги — и не отпускает милый образ. Ну, вот, разметена в парке площадка, и оттуда видны дальние леса — знаменитые, саровские, где Серафим кормил медведей. «В дивном саду близ Се-ви-и-ильи...» Ночью в пустынную залу светит отблеск горящего газа над домною и не спится... «Я пропляшу сегиди-и-илью...» В снегах она, и в

заметенных елях, в хрустком воздухе, в словах, и смехе близких, в полуночном месяце, и в новогоднем скрипе снега, в новогодней остроте, печали-радости.

И с нею в сердце — дальний путь, обратный, тою же Россией, из Нижегородских дебрей по рязанским и московским до самых калужских, до Калуги о тридцати церквах, до большаков на Ферзиково, Перемышль, Мещовск, и до Оки, замерзшей, заморозившей в себе ципулинские пароходы.

Калуга старый город, вековая жизнь, и утра, классы, и Козлы, и Александры Георгиевичи, вся бедность, вся тоска — пронизанная лишь одной, великой сладостью.

* * *

Солнце. С крыш течет. Тротуар у Георгия за Лавками обледенел, снег в переулке Александра Георгиевича стал пестро-шоколадный. Лошади в нем протыкаются.

— Ты что же, Капа? Почему же ты так рано, Капа? Отпустил хозяин? Вот какой у тебя жид любезный, Капа, нынче ведь суббота...

Капа посвистывает.

— Тю-тю-тю, милая мамаша, ну на этот раз уж я сама его и отпустила.

Александра Карловна все вертит свое колесо, на лице благодушная улыбка, озаренная солнцем оттепели.

— Уж ты, Капа, всегда скажешь! Ты всегда такое скажешь...

Капа закуривает папироску.

— «Игнас, Игнас, хцешь яйко?» Он нахал, я его выгнала, да, да, нахал, мерза...— Капа срывается, вдруг убегает к себе в комнатку, папироса летит. Александра Карловна цепенеет. Через минуту дверь приотворяется. Капа, в слезах, высовывает голову.

— Ме-мерза-вец, я от него совсем... ушла.

Дверь снова хлопает, слышно, как Капа валится на постель и плачет.

* * *

В четвертом часу, за обедом, Александра Карловна, взволнованная, и слегка тоже заплаканная, рассказывает Жене о беде.

— Ты понимаешь, Женя, вот ты умный человек. Капа такая горячая, и такая смелая... Мало ли что. Начальника надо слушаться. Вот и ко мне недавно господин Реберик приходит, спрашивает чулки, которые жена заказала, и вдруг ему пока-

залось, что и не того цвета, и не фильдекосовые, а фильдеперсовые, и он так, знаешь, прямо и начинает мне строго выговаривать, и так прямо кричит, а я, знаешь, Женя, все-такось, испугалась, я ему и говорю: «Не волнуйтесь, господин Реберик, успокойтесь, пожалуйста, господин Реберик».

— А по-моему,— мрачно говорит Женя,— Капа права. Грубиянам нельзя покоряться.

— Ну, вот вы теперешние все такие... смелые. А за квартиру чем будешь платить?

Проблеск весны, солнце, раздирательная лазурь неба... Как не томиться, когда семнадцатый год? Когда так хочется жизни, но не понимаешь этого, и жизнь кажется ужасом, а судьба — беспросветной?

Как не посочувствовать тут Капе?

* * *

К Масляной сырой ветер и дождь совсем растопили переулок Александра Георгиевича: где зимой намело сугробы, теперь лошади протыкались по брюхо, а мимо церкви катил такой ручей, что Александра Карловна, от своего колеса, увидела раз сцену, очень ее развеселившую: Александр Георгиевич, в высоких калошах, в шарфе, помогал перепрыгивать через ручей восьмикласснице Кате Крыловой. Катя смеялась и, взявшись за его протянутую руку, ловко прыгнула.

Александра Карловна улыбалась, и в памяти отложила, что вот уже третий раз видит с Катей Александра Георгиевича. Рядом было отложено: Гржегоржевский вовсе разошелся с женой, Вардина совершенно прибрала дурачка Гущина, и его рысаки перешли к ней. Госпожа Гнездарева что-то слишком уж много заказывает себе чулок, и мадам Пинегина утверждает, что дважды видела ее в театре с господином Ребериком. Александра Карловна отлично знала, что Женя по-прежнему слоняется, вздыхает. Что черненькая музыкантша Дитюша, немолодая и сухенькая, влюблена в офицера Шварца, который играет на концертино,— все это было как бы хозяйство города, не могло без нее обойтись, как должен был усатый губернатор знать все помыслы обывателей.

— Все-такось, Капа,— говорила она, вертя колесо,— я очень хитрая. Я, Капа, очень хитрая.

Капа ее успокоила — поступила служить в банк, и ничто не нарушилось в прочной, спокойно-налаженной жизни на Воскресенской — только одно огорчало: «все-такось» невеселая Капа, и плохо спит, иногда по ночам плачет. Александра Кар-

ловна знала причину и тут, но об этом ей говорить не с кем было. Только ложась спать, помолившись за Жана, укладываясь на постели, в сладковато-душной спальне шептала про себя: «Ну, вот уж Капа... уж она всегда такая... смелая... все не как у людей». Точно была Капа виновна, что влюбилась неудачно.

* * *

В прощеное воскресенье Александра Карловна у всех просила отпустить грехи. Женя рассеянно пил чай, в рассеянности, вместо «Бог простит», сказал «благодарю вас». А вечером они с Капой были в гостях у Дитюши, в небольшом флигельке у Никольской, заставленном цветами, этажерочками, карточками. Дитюша играла в четыре руки с ученицею «Эгмонта». Голубоглазый Шварц вздыхал, и сладостно наигрывал на концертино. Потом ужинали, пили водку и наливку, ели пироги, торты, спорили об «убеждениях и идеалах». Капа всем противоречила. Было шумно. Женя выпил, разглагольствовал — казалось ему, что-то замечательное. Иногда видел блестящие, восторженные глаза Капы. Тотчас же она встревала с возраженьями. Нужна ли война, есть ли Бог, прав ли Толстой?..

И правда, недалеко уже было до рассвета, когда уходили от Дитюши. Сумрачно, весенний ветер, лужи, первые удары колокола в церкви на Никольской... Да, великий пост. Как бесконечно возбужденно, счастливо и беспредельно грустно! Семнадцать лет, ум свеж, силы кипят... В нетронутости не жалеет и не может пожалеть этих мгновений юноша. Они запомнятся лишь позже, но и навсегда, как золото восторга.

А нынче ведь — последний день! Завтра не будет уж афиш, по вечерам белые шары не осветят подъезда, черные глаза не взметнут ресниц из-за чудесной рампы.

* * *

Так вот течет, проходит все. Часы, любовь, весна, малая жизнь малых людей, и незаметно, но неудержимо тает снег, вздувается река, трещит, и губернатор едет уж в пролетке, и ципулинские пароходы совершают первый рейс в Серпухов, мимо рыже-зеленеющих холмов Оки, и городской сад нежно одевается апрельской зеленью, с площадки его

видно зеркало Оки, бор, Ромодановское и зеленый пух уходящего в гору большака на Перемышль. Россия, вновь, всегда Россия!

* * *

И как редко ошибалась в наблюдениях Александра Карловна, так и теперь случилось: Гущин продал рысаков, и сам уехал вослед Вардиной, и об Александре Георгиевиче стало известно, что на Красной горке женится он на Кате. Александра Карловна была очень довольна.

— Такой серьезный, Капа, и такой немолодой... И так все у них будет комильфотно...

А Женя столь же сладостно-пронзительно, с мучением, мечтами проводил свою семнадцатую весну. Апрельским светлым днем уезжал на велосипеде за Оку по перемышльскому шоссе, дышал свободой и полями, зеленью, березами, а возвращался, когда Александра Карловна, в черном чепце с лентами, в мантилье, с палочкой в руке переходила улицу в церковь Георгия за Лавками.

В один такой весенний вечер Женя сидел на подоконнике, рассматривал Венеру, нечеловечески-прозрачною слезой стоявшую над переулком. Александра Карловна вернулась ото всенощной. И в некотором волнении вошла в его комнату.

— Ну вот, ты умный человек, Женя, и реальное кончаешь, все-такось объясни мне, я не понимаю: как же я Жана своего узнаю на том свете?

Не отвечать трудно, но и как ответить? Вряд ли Женя успокоил и вполне ее утешил, все-таки он что-то разглагольствовал возвышенно-туманное, а Венера медленно текла, зацепилась за липы церковного дворика, канула, вместо нее вышли другие, незаметно надвигалась ночь, и вечный закон уводил смертных в другой мир, сравнивая губернатора с широкозадым Капыриным, госпожу Гнездареву с Капой и Александру Карловну с Ребериком. По этим же законам звезда юной жизни в нужный день дошла до своего предела: сквозь теплые майские и треволнительные дни настал, наконец, час, когда Женя вернулся уж не «реалистом», а «молодым человеком» — в соломенной шляпе, черненьком костюме и с дипломом. Теми же законами тот самый день был горестен для бедного Капырина: его оставили еще на год, и он обильно, по-ребячески, рыдал на плече у Жени.

Вечером окончившие напились в бору, на берегах Ячменки, а через два дня Капа провожала Женю на вокзал, и много было

слез, и Александра Карловна крестила его, а лихач Карга резво мчал на резинах в зеленеющем июльском вечере.

Сквозь возбуждение, волнение, впереди была жизнь, через нее идти, она готовила и радости, и скорби. Сзади же Воскресенская и Александра Карловна, и колесо, и Капа, и театр, и улицы со впервые озарившим их видением — все погружалось в глубину легких морей.

1926

НИКОЛАЙ КАЛИФОРНИЙСКИЙ

Я отступал сравнительно благополучно. Любимая моя сестра погибла в Харькове, племянник был зарублен в Киеве. Я ушел. Я с «ними» дрался, на моей душе есть тоже кровь. Я близко видел смерть. Она меня не тронула. Что в Ростове болел тифом, это пустяки. Все-таки я уплыл. В Константинополе мне было плохо. Служил десятником разгрузки угля, от тоски завел роман с турчанкой, ночью вплавь пускался по Босфору до калитки ее дома, тоже на Босфор глядевшего. Да не было мне радости и от турчанки: раз, возвращаясь от нее против течения, совсем застыл, чуть что не потонул. А, впрочем, если бы и потонул, то не особенно бы пожалел: не весело у меня было на сердце.

* * *

Потом пробрался я в Далмацию и нанялся работником в имение к одному русскому, Залогину. Он был очень молод, образован, нервен, несколько философ, начинал писать и сам. Отец же, человек богатый, для него купил имение — хозяйничай, работай и другим давай работу. Александр Степанович мало подходил для этого. Нам у него не плохо было жить, но обирали его все, кому не лень.

Далмация — страна дурная. Вспоминал Константинополь, тонко и чудесно все там, минареты и миндаль цветущий, ослы, мрамор, кипарисы и Босфор, и синие глаза турчанки... нет, уж здесь не то. Зимой дожди, весной горы курились, правда, в голубом дыму неплохо, все же это грубый край, и народ, черт знает, какой, воры далматинцы — хуже русских. Завел Залогин себе кур — поворовали, даст взаймы — наверно половины не вернет. Тащили даже лозы с виноградника и ослов наших двух угнали. Домом заправляла некая Марья Михайловна, по сцене Анна Гремова, певица оперы провинциальной — волоокая, мяг-

кости и красоты большой, и полная: сербы и албанцы, далматинцы прямо не могли взглянуть спокойно, ржали. Она мне хорошо на сердце действовала. Погляжу на паву эту ясную, и легче.

Еще у нас работали два офицера бывших армий, один Вася, круглолицый мальчик, кровь с молоком, а другой барон Редигер, молодой тоже и контуженный, нервозный, длиннорукий и руками все размахивал, а когда шел, нога вбок залетала.

Мы жили так себе: не дружно, не враждебно. Я человек замкнутый, особенно разнюниваться не люблю.

— Коренев,— говорила мне Марья Михайловна,— вы слишком горды, оттого вам трудно. А теперь, голубчик мой, все это надо позабыть, всех разбуравило, нечего глядеть букой. Я на сцене получала экие корзины, все цветы, а теперь стирку записываю и рис покупаю. Все-таки опять пробьюсь, и вы обратно в люди выйти можете.

Нет, я не гордился. Да и чем? Что я такого сделал? В юности сочинял стихи и занимался музыкой, потом учился в Политехникуме, собирался поступить в священники, на войне был авиатором, артиллеристом, дрался с красными. Вот и вся жизнь. Теперь работаю в имении с такими же бродягами и завтра, может, с новыми сойдусь, а послезавтра и Далмации, пожалуй, никакой не будет... а что будет? Ну, почем я знаю? Австрия, Тунис, Париж, Канада, Калифорния...

* * *

И конечно, еще встретился с одним, и слово Калифорния не зря с языка прыгнуло, весной к нам поступил товарищ новый — ничего мы про него не знали — звался Николай Калифорнийский.

Хохол, гигант, голова бритая, каторжная точно, борода огромная, одет в куртку, на ногах обмотки и с собою из Америки привез соловья в клетке — Петей назывался соловей.

— Чего вас принесло-то из Америки? — спросил я его раз, как всегда мрачно.

Он на меня взглянул серьезно.

— Как чего, господин, как вы есть, Коренев (голос очень громкий, даже утомляет). Как жил в Америке семнадцать лет и во-от услыхал это, что война у России поднялась, и брат на брата, то и отплыл тотчас. Потому как я в Америке всех убеждал, что не должно быть бедных и богатых, а тут как узнал, что и в России бунт поднялся и кровопролитие, то я, значит, и решил навесть порядок, и чтобы безобразия не делать,

а ежели не захочут, то я и побью коммунистов этих самых, или белых, потому, нужно все по-благородному совершать.

— Ну, что же, и много били?

— Ничего я и не бил, и даже уговаривать не мог, потому — опоздал. У Константинополь доплыли, побачив — нет войны никакой, кончилась, ах, думаю, теперь отвертелись...

Вот это вышло здорово. Нарочно из Америки приплыл, да и то опоздал. Ну, и хорошо сделал, наложили бы... Я с ним и разговаривать больше не стал. Чудак! Мало ли их на свете.

А он и вправду чудаком оказался. Наводить порядки плыл, а когда Анна Гремова попросила курицу зарезать, отказался, мне пришлось это исполнить. Да, после войны курица... Подумаешь!

— Нет, госпожа моя, Марья Михайловна, я живого существа не убиваю, потому я мыстик. Я всегда Бога чувствую, и на его создание руки не поднимаю.

— А как же наводить порядки собирался?

— То дело другое...— Он задумался.— А я, можэ, их не ножом, а как бы вам доложить, то есть духовными разил бы стрелами. Я бы их, можэ, поразил и чрез то ненужной крови моря бы избег...

Так и запалил прямо: духовными стрелами!

«Мыстик», видите ли, Бога всюду чувствует! Я уж забыл, как в церковь ходят, кто такое Бог. Некогда было. Да и кровь на сердце у меня, куда уж там до Бога. А эта дылда все природу свою совершенствует, то занимается гимнастикой, то тяжести таскает, то зарю встречает утреннюю, солнцу кланяется. Просто наш пифагореец далматинский.

— Я про не-его ду-умаю,— говорил барон Редигер, и угловатое его лицо косилось, рука непроизвольно дергалась,— что про-сто бег-лый ка-аторжник.

Вася зевал.

— Пустяки, каторжник. Чепуха. Я в Египте таких сколько хошь видел.

Марью Михайловну он смешил пением до слез. По утрам упражнял голос — в равномерных завываниях — чтобы «улучшать природу». Анна Гремова, по доброте и полнокровию, не сердилась, помирала в тихом хохоте. Он не обиделся бы, если бы заметил. Вообще был очень ясен и покоен, больше всего любил Петю, соловья, и на работу с клеткой выходил, с собою нес водицы, зерен. Когда пел Петя, то не дай Бог непочтительно обойтись,— не послушать, говорить громко.

— Это, господин мой Коренев, грубость души и потемнение мозгового дыханья, ежели вы пением Божьего созданья наслаж-

даться разучились. А я вам доложу, что этакого соловья я выше и иного человека ставлю.

Может быть, и прав он, огрубели мы в войне и зверской жизни. Для меня, например, женщина теперь есть просто женщина — казачка, офицерская жена, турчанка на Босфоре, далматинская поденщица...— я знаю все. А как вот любят женщину — забыл. Всю память отстреляло пулеметами. Ну, а наш черт в Чикаго в русскую певицу опереточную как влюбился, каждый день в театре, а потом и за кулисы к ней, «и вот это, как я, значит, во очи ее черные побачу, то в тех очах мне и любовь моя прочтется, значит, и моя погибель. Бачил, бачил и очей тех вынести не мог, а с ней поговорить не смел — то и уехал из Чикаго».

— Что же вы делали вообще в Америке?

— А то и делал, господин мой слушающий, что работал чистым ремеслом плотницким, и всем доказывал, что нельзя жить богато и роскошно, потому это Богу не пондравится. Но только мало меня слушали, а раз арестовали: ты, говорит, что, коммунист? Нет, мол, я мыстик, так воопче. Дали по шее, отпустили. Я так и перебираюсь с места на место, потому не могу долго высидеть, душа не дозволяет. Поняли? То я и странствую, потому, который завсегда на одном месте, замшиветь может. А хиба мшиветь охота?

* * *

Он продержался и у нас недолго, разумеется. Работал лето, а потом забрал котомку, палку взял, клетку и большой камень. Это, видите ль, чтоб тяжелей было идти, терпение поупражнять, очистить душу.

Залогин был слегка взволнован, теребил бородку.

— Быть может, недовольны мной, Калифорнийский? Тяжела работа? Да, питание... Хотя я сам, вы знаете...

Залогин разводил руками.

— Нет, господин, я очень всем доволен, но как бы сказать — долго не могу сидеть, идти должон.

— Куда же вы идете?

— Пешочком. Мне, признаться, господин Залогин, в Венгрию бы следовало протолкнуться. Я костюм венгерский там намерен раздобыть, потому весь очень уж нарядный, в позументах.

— Ну, а дальше?

— Дальше треба в Португалию, там город Лиссабон, то мне его охота посмотреть, но далее мое намерение в Америку возвратиться. Я тут, по белу свету потолкавшись, то, господин,

вижу, что тоже следует людям доказать, чтоб никаким властям не подчиняться. Так, вопче, чтоб просто жить по-христиански.

— Вот вам и дадут опять в Америке по шее,— я его утешил.

— Можэ быть, а можэ, и я свое проведу, и чтобы жить всем небогато и по-братски.

— А...— Залогин призапнулся,— а в Россию? Ну, на родину?

Калифорнийский поглядел на него холодно, спокойно.

— Родины особой не имею, господин. Весь Божий свет мне родина.

Мы вышли на работу, а Калифорнийский в куртке своей и обмотках, в картузе и с бородой, летевшею под блеском солнца, зашагал в Венгрию. За плечом котомка, в руке палка, в другой клетка, и за пазухой огромный камень.

«Родины особой не имею»,— вспомнил я в тот вечер, ложась спать. Ах, ты... Во тьме поплыли предо мной поля, леса и города, лицо сестры с лорнетом, с мальчиком, держащим ее за руку, с дулами, на них направленными, дым, выстрелы и шашка моя, по которой кровь стекала.

Нет, позабыл. Не помню. Все ушло.

* * *

И мы недолго прожили в Далмации. Залогин прогорел, понятно, с ним и мы все вылетели — кто куда. Вася с бароном в Сербию, Марья Михайловна в Берлин, я в Прагу. Попрощались просто, без чувствительностей. Только Анна Гремова, пожавши руку, мне сказала:

— Будьте проще. Не горячитесь. Легче жить вам будет. Доберетесь до Берлина, и меня не забывайте.

Про себя я улыбнулся. Именно ее не забывать! Как раз недоставало. Много ли я помню о России, матери, семье...

Как бы то ни было, я в Праге долго не застрял — делать там мне было нечего, попал в Германию, на север, в экономию работником. Потом меня устроили в лесничестве, близ города Каммина, в Померании. С год жил один, в лесу, выращивал щенят, обхаживал леса свои — суровые и мрачные, похожие на наши. Сосны, сосны. Буковые рощи нравились, очень уж гладки, причудливы стволы и благородны. Благородное бук дерево... Из чащи можжевельников, высокими кустами здесь разросшихся, иной раз на меня выглядывала серна, взором девичьим, агатовым — скрывалась. Кабаны ходили пить к болотцам. Осенью задувал ветер, и холодная волна била о набережную Каммина, городка древнего, с узкими улочками и старинными домами, с башнею средневековой у ворот. Тот

Орион, что восставал когда-то над моею родиной, в зимние ночи подымался над клокочущею пеной моря, тайными и золотыми письменами. Здесь я существовал печально, море гулом своим, седою гривою напоминало север, тьму, изгнание. Но я спокойней как-то чувствовал себя, чем раньше. Пред рассветом страшные виденья реже навещали меня. Убитую сестру я встретил раз во сне, спокойную и кроткую, как и была при жизни, я не помню ее слов, но понял смысл: «Молись». Но я не знал, как мне молиться, за нее ли, за себя... Я не мог простить ее убийцам, но я чувствовал, что и моя месть ей не радостна.

И я по-прежнему возился с собачатами и ездил продавать их в Каммин древний, для подкормки. А весной, услышав соловья, вдруг вспомнил я Калифорнийского и улыбнулся, но без раздражения. Где этот черт теперь? Добрался ли до Лиссабона, все ли соловьем своим любуется?

Весна немецкая мила — бедностию страны, немецкий соловей ценней, пожалуй, и калифорнийского.

* * *

И все-таки судьба моя так повернулась, что попал я и в Берлин. После отшельничества все здесь представилось нарядным и шикарным. Я встретился с Марьей Михайловной, теперь уж абсолютно Гремовой, в пансионе вблизи Цо. Пансион грязноватый и нелепый, жили в нем актрисы мелкие, танцовщики, два спекулянта, румынская студентка, бывший генерал. В коридоре пахло кислым, и всегда актриса висла в будке телефонной. Мальчишка идиот отворял дверь, бормотал: ein Besuch, une visite[1].

Но Анна Гремова как раз была в ударе. Очень мне обрадовалась.

— Ну, вот, теперь вы проще. Пожили один и будто попритихли, не ершитесь понапрасну. А России, все-таки, нам скоро не увидеть, милый. Нет, хороший, не увидеть. Вот вы посоветуйте мне, куда ехать: предлагают в Данию, или в Бразилию. В Дании кроны, в Буэнос-Айресе пезы. Вот ты что хочешь, тут и делай.

Мы поговорили и о кронах, и о пезах. И решили: ладно, пезы. Едем в Буэнос-Айрес. На радости пошли мы в ресторанчик русский, неподалеку. У стойки бывший гвардии поручик наливал рюмку водки князю, лысому и сморщенному. Прошел граф с дамою высокой, черноокой, видимо, восточной, на руках собачка, вся патлатая, на глазах бельма. Вася в белом кителе подошел к буфету, громко, ровно, как когда-то ротою командовал:

[1] Посещение *(нем.)*, визит *(фр.)*.

— Одна водка, пирожок с мясом, пиво светлое!

И барон Редигер, зацепившись длинными своими, нервными руками за входившего, расплескал сур.

— Виноват-с, извиняюсь...

Мы обедали в небольшой комнате, под звуки оркестра балалаечников в ярко-голубых рубахах. Вокруг беседовали о долларах. Мне нравилось сидеть здесь с Анной Гремовой, но и тоска моя обычная вставала из полузабытых углов сердца.

Встретился я здесь с ротмистром Юховым. Анна Гремова ушла, мы заняли с ним кабинетик маленький, с занавесочкой, напились. Юхов теперь не воевал. Белые, красные, желтые и зеленые были ему безразличны. Он торговал бумагами, долларами, хлопотал визы и надеялся ввезти жмыхи в Данию из России.

— Мы,— кричал он, а лицо багровым стало от вина,— мы, наживающие новый капитал, позиций не уступим. Хочешь ты со мной работать? Я тебя устрою.

Вечером он потащил меня в притон, мы снова пили и смотрели танцы, всяческие безобразия. Юхов пел добровольческие песни. Он меня расстроил. Я вернулся во мраке, с тяжестью, к себе на Линдештрассе, где снимал комнатку у куафера.

* * *

В Берлине пробыл я не так уж долго. Обедал в русском ресторанчике, бывал у Гремовой, мельком здоровался с бароном, Васей. С Юховым удачно спекульнул долларами, купил новый костюм. И Юхов обнадежил, что даст место в некоей фирме, но далеко, в Африку. Мне это безразлично было. Жил бессвязно, пусто. Все что-то мне казалось — я не так живу, и делаю не то. Вряд ли сестра довольна мною.

В одно из воскресений я попал в Шарлоттенбург, в русскую церковь. Мало походило на Россию. Подымаешься по лестницам, выходишь в залу, невысокую, с иконостасом, наскоро поставленным. Как будто бы все наспех, завтра снимется. Но увидишь Русь, всех нас, бродяжных и бесправных. С «Иже херувимы» стал я на колена и заплакал. Вот неловкость-то. Не ожидал... Летал под облаками и в упор отстреливался, и смерть видел, и сам нес смерть...— и когда в последний раз я плакал? Не запомнишь, а вот тут и спасовал.

Потом к священнику ходил, в грехах покаялся, в человечьей крови. Но тот странно к этому отнесся. «Что ж,— сказал,— вы на войне кровь пролили, за правду». Я лучше, я гораздо

легче себя с Анной Гремовой почувствовал, в пансионе подозрительном. Я ей укладываться помогал,— действительно, ведь в Аргентину уезжала!

— Ну, это вы попали так случайно, вы ходите в церковь и другого выберите духовника, монаха, что ли... Да чего там, все искупится в теперешней суровой жизни, все искупится. Вот вы и сумрачные люди... да,— она вдруг засмеялась.— Знаете, я от кого открытку получила, от Калифорнийского. Прочел в газете, что ангажемент у меня, в дирекцию и написал. Из Лиссабона! Парохода ждет в Америку.

И правда, показала мне открытку. Не знаю, почему, но в первый раз Калифорнийский — уж теперь такой далекий и невозвратимый, и смешной, не рассердил меня. Я улыбнулся.

— Пожалуй, ведь достал костюм венгерский? А на что ему он, собственно? Камень в Португалии какой-нибудь нашел, самоновейший... Ходит с клеткой, с соловьем, и полюбил теперь испанку... только не умеет ей сказать об этом.

Анна Гремова укладывала блузку.

— Блаженны чистии сердцем, яко тии Бога узрят,— сказала покойно, принимаясь за наволочки.

* * *

В конце концов я проводил ее — на Гамбург, с Цо. На память подарила она мне икону Николая Чудотворца.

— Вы сирота, пусть от меня вам, как от матери. России все-таки не забывайте. Бог даст, встретимся. Ну, Господь храни.

На волоокимх глазах, подведенных, слеза блеснула. Добрая душа. Нарядная, с букетом, в труппе уезжала русская актриса. Я ей что? Не муж и не влюбленный, разве сын, пожалуй?

Поезд ушел в Гамбург, а оттуда океанский пароход повез ее и труппу странников российских в дальнюю Америку.

А меня Юхов и действительно устроил. Через две недели был я уже в Генуе, откуда пароход мой уходил в Конго — ни более, ни менее. Жил в маленькой гостинице у порта. Из моего окна виднелись крыши, кампанила, и штаны развешанные. Вдали — ершились мачты, реи, и дымили темные гиганты, иногда ревели ревом диким и нечеловеческим — медленно выходило чудище в фарватер голубой и удалялось — в Индию, Австралию, Америку. Я ничего не делал, до отхода парохода бесприютно было в городе. Город шумный и веселый, для меня не очень радостный. Отличны улочки щелями, и белье всегдашнее, и солнце яркое, и крик, и моряки, но не хотелось мне сейчас угара портового, пьянства и разврата чужеземцев, все здесь покупающих. Чудесны горы вокруг и безбрежность моря, но

мне предельно одиноко было в Генуе великолепной, я все ждал, все ждал минуты, когда донесет меня корабль на острова Канарские, оттуда в Конго. А что там? Ничего, но все же жизнь, и я, быть может, выберусь, ведь я же молод, жить хочу, хочу расправиться, любить, быть счастливым, работать...

Перед отъездом я купил французскую газету. Сидел я высоко, у Ботанического сада, на уединенном парапете. Солнце охватило полукружие всей Генуи, алмазами впивалось в стекла, затепляло дома розовые и белило белые. По спокойной глади приходили, уходили в вечность исполины. Их дымок развевался в синеве. В газете я читал: «Авраам Линкольн», вышедший из Лиссабона 18-го, потерпел аварию у берегов Америки на мине, видимо, со времен войны. Из пассажиров многие спаслись». Шло описание. И было сказано, что одного неведомого русского нашли на плававшем буфете. В руке закоченелой русский держал клетку, водруженную на верх буфета. Сам был мертв, но маленькая птичка, соловей, осталась. За нее, как редкость, англичанин внес сто фунтов в пользу семей пострадавших.

Я свернул газету и спустился в порт. Там стало холодней, сыростью потянуло. Поднялся к себе наверх.

Да, не доплыл Калифорнийский. И не будет проповедовать своих безумий, упражняться в пении, солнце приветствовать. Завтра поплыву и я, и милая моя актриса нынче нынче где-то в океане, и вот море предо мной — спокойное и безграничное. Где в нем Россия? Обернулся я назад, к юго-востоку, и увидел стену, уголок горы, кактус и башню на вершине.

На ночь вынул я иконку Николая Чудотворца и смягченным сердцем помолился за упокой новопреставленного Николая и за убиенную сестру, за плавающих, путешествующих и за свою грешную душу, коей предстоит предстать пред Богом.

1942

ДИАНА

ПУХ

Был май, позднее утро. Я шел всегдашнею своей дорогою, мимо прудов. Бывает так, что солнечные часы в Булонском парке, потрясающая зелень газона, тишина вод, легкий шип автомобиля — все слагается удивительно счастливо, и легко вертится в руке любимая тросточка, человек кажется себе порядочным, приличным и испытывает чувство: именно вот он *живет*. Будто бы и праздный — что он делает? Но в нем очень медленное и легкое, медосочащее ощущение жизни. Все хорошо! Вот встретил колясочку с ребенком. Вот идет седенькая дама. По рыхлой аллее проскакал джентльмен с амазонкой. Приветствуем их.

Если спуститься вниз, к воде стеклянной, с белыми и голубыми отраженьями — там идет своя жизнь. Из-под выступившего корня дерева выплыл лебедь, остановился и стал чиститься. Как удивительно гибка, плавна шея его! Он поворачивает ее вполне назад, красным своим клювом перебирает и роется в оперении — под голубым, пухлым от майских облаков небом, на стеклянной воде... Вот одно — ослеп<ительно-белое> — перышко его попало на воду, <по>днялось парусом и медленно поплыло. Я за ним иду. Неясно помню, что было на другом берегу, где остров. Мне кажется, что там цвели какие-то золотистые цветы, но, может быть, это и неправда. Перышко плыло как раз с той скоростью, как и мне идти, над нами небо мая, рядом райская мурава и зелень, золотой мед солнца, и когда я шел, то, видя золотистые цветы на том берегу, вспомнил светлые, когда-то как видения запавшие лужайки с анемонами, прославленными анемонами виллы Дориа Памфили в Риме.

ПОЯВЛЕНИЕ ДИАНЫ

На одном из поворотов тропинки, при начале подъема, неожиданно показалась Диана. Она шла быстрой походкой, в черном шелковом плаще, слегка наклонив вперед тело — как полагается Артемиде-охотнице. Ее шаг совсем не похож на мой. В моем нет смысла, цели. Она стремительна, почти тверда в движениях и, как всегда, некоторую прохладу разливает. Ее плащ завивается, прекрасное лицо довольно бледно и покойно, из-под маленькой шляпы недлинные черные кудри обрамляют небольшую — точеную — голову.

Это ее утренняя прогулка. Почти каждый день, перед завтраком, она обегает легким бегом охотницы булонские рощи. Ей не нужно мечтаний. Она охраняет божественное свое тело, как эллинские девушки упражнялись в палестрах, метали диски. Жизнь ее одинока и непостоянна, но не может она не заботиться о своем теле и не любить его — такою всегда была, за долгие годы, что знаю ее, такая же и теперь.

Улыбка слегка засветила ей губы. Я снял шляпу и поклонился.

ПУТЕШЕСТВИЕ

Взяв лодку, мы поплыли на остров. Стеклянные воды слегка расступались. Пролетели две утки. В легком колыхании влаги заколебался знакомый лебедь. Затем, оглянувшись, медленно и спокойно поплыл. Он был недоволен, что его потревожили. Наша ладья шла небыстро, за кормой, под веслом перевозчика, ниспадали зеркальные капли. Это был не Харон. И наше короткое странствие над прозрачными водами не было горестным, наоборот: мы жили ведь в милом мире, светлее, легче обычного, и впереди остров, где померещились мне недавно золотые цветы. Если уж говорить, то скорее это напоминало бы отплытие на Киферу. Только ласковей солнце, теплей май, зеркальнее воды.

Лодка толкнулась в пристань, и мы сошли. На новой земле мы собирались позавтракать. Это было нетрудно. Диана выбрала столик, залитóй солнцем. Блестели воды, рощи голубовато туманились и сияли. Под благословением неба мы ели индюшку и на десерт розовую клубнику — Диане особенно нравилось это, зубы ее белели, и тонкий румянец проступил на щеках. Я ее знаю. Для здоровья богини после хорошей прогулки нужен хороший завтрак.

Клубника же эта — primaire[1].

---

[1] ранняя *(фр)*.

ЖИЛИЩЕ ДИАНЫ

Я друг праздности. Так как день начался для меня столь блистательно, я решил отдать его весь. Если бы не Диана, я уехал бы в С. Жермен или Шантийи. Но я люблю квартиру Дианы, и сама Диана приятна мне, вот почему я пошел к ней. Лифт, чуть подрагивая, вынес нас из полумрака к свету высокого этажа. Дом Дианы на краю парка. На лестнице тихо, и лишь где-то вглуби, за стенами — ты не знаешь, кто там живет, счастливо или несчастливо, прекрасно ли, безобразно — из таинственной глубины дома медленно и заглушенно девичьи пальцы разыгрывают прелюдии. В прихожей Диана снимает свой плащ. Теперь над ее легким платьем свободно возносится тонкая, длинная шея, несущая закругленную, как бы певучую голову. Изгиб шеи, плавно устремленный несколько вперед от позвонка спины, и составляет метку богини. Эту шею я очень люблю. Как гармония, некие светлые звуки, она действует на меня освежающе. Диане же позволяет носить себя с тою прохладою, некою отдаленностью, которая делает из нее Диану.

Когда я вхожу в эти светлые комнаты, господствующие над парком, затянутые голубыми обоями, с голубыми коврами, голубой мебелью, то сразу и с радостью чувствую, что здесь одинокая жизнь, что эти ковры, комнаты и диваны не утомлены и вообще они в стороне, сюда смотрит лишь, в окна, майское небо, светло-дрожащими массами ложится солнечный свет, да вот сейчас из отворенного в гостиной окна дальний ветерок прошелестел страницею недочитанного романа.

— Вы можете читать, спать, вообще делать, что вам угодно,— сказала Диана.— А мне надо навести у себя некоторые порядки.

Какая радость — сидеть майским днем у распахнутого окна! Как надо ценить и любить свет, обнимающий золотым и теплым ваши колени. Разумеется, от него выцветет этот штоф, побледнеет мягкий ковер. Но это такой удивительный Божий дар. Такая надежда.

Вдали, в бесконечном его сиянии, плывут, мрея, голубоватые холмы Медона и Сен-Клу, блистают крыши, тонкой стрелкой колоколенка.

Мы начинаем незаметное наше бытие — я и Диана. Я просто сижу у окна и смотрю, как в полосу света втекают мириады пылинок, сплетаются, расплетаются, проходят свою чреду, уходят в тень — иной, невидимый мир. Вижу, как бьется в запястье моем жилка. Закрою глаза, и цветные круги потекут в теплой,

оранжевой полумгле. Из комнаты же Дианы доносится до меня обычная, будничная жизнь. Отворила комод, материи зашелестели, стул передвинула. Прошла в ванну и открыла кран. Все это вместе, да и звуки с улицы — рожок автомобиля, пение бродячего слепого — всегдашняя и бесконечная симфония.

— Вот видите,— говорит Диана, выходя.— Вы думаете, что я богатая. Я просто за собой слежу. Это платье мне перекрасили, я из него сделаю прелесть. Что это там, поет?

Мы высунулись из окна. Шея Дианы высоко и далеко выдвинула ее точеную голову с темными глазами, темными волосами, четко разобранными на прямой пробор. Еще новый мир нам открылся: высота. Проходящие внизу кажутся кружочками, выбрасывающими то вперед, то назад лапки. Вот видна лысина и протянутая рука с каскеткою. Рядом ребенок.

— Бросим артисту,— сказала Диана.

Я завернул франк в бумажку и кинул. Голые, нежные руки Дианы были совсем пред моими глазами. Солнце их обнимало, золотом зажигало пушок, и розовей были жилки.

ОДИНОЧЕСТВО

Диана ушла по делам и за покупками. Я сказал, что мне хотелось бы побыть одному, если она позволит.

С высоты своего окна я видел, как она вышла из подъезда на залитую солнцем улицу и обратилась из богини в такой же черный кружочек, выставляющий лапку вперед, лапку назад. Вот она уже на углу, подняла голову и помахала платочком, а потом вовсе исчезла, ее просто уже нет, она погрузилась в Париж, как вот эта золотая пылинка сейчас видна, а вошла в полосу тени — пропала. Тайна человека в столице похожа на тайну письма, опущенного в ящик. Из тысячи направлений письмо и человек все-таки выберут себе путь какой надо.

А для меня — одиночество. И вот я обошел все жилище исчезнувшей Дианы. Как пустынно и сладостно! Легкие ковры света по-прежнему ложатся и в столовой, и в гостиной. В спальне несколько сумрачней. На спинке карельской березы кровати висят чулки. На туалетном столике пудреницы и косметики, флаконы, баночки. В углу на столике матерчатая кукла — беспомощно свисают ее руки. Запах духов и та прохлада и зеркальное изящество, что есть в самой Диане. Диана была замужем, но не похожа на замужнюю. Она девически стройна, вечная девушка, никаких детей и никакой привязанности. Нет даже кошки. «Я холостая,— говорила она мне.— Родилась

холостой, холостой и умру». Я думаю, что временами у нее сменяются друзья, к которым все-таки она довольно равнодушна, но меня это не касается, как я не знаю, есть ли жених у той барышни, что вновь разыгрывает за стеной свои вариации, как и Диана ничего не знает о моей душе.

В ванной висели мохнатые простыни и капоты, пахло влагою и миндальным мылом. Здесь ежедневно Диана встает из вод, как бы рождается вновь, свежая и безупречная, и отдается заботам о скоротечной своей красоте. Надо надеяться, что она возвратится из странствия по запутанным улицам города, и уже завтра вновь вода приподымется под грузом ее ладного тела.

Вернувшись в гостиную, я ложусь на диван и жалюзи не спускаю. Пусть милый свет, лучший друг мой, ласкает мне ноги. Глаза же закрываю платком, и вот я уже на границе еще бытия, столько знакомого и столько всегда неизвестного — сон ожидает меня, тоже мой друг, иногда и целитель. Счастлив, кто ждет его с чувством крепкого, благодатного дня! И да будет Господь милостив к удрученным.

Нынче мое сердце легко. Майский свет, блеск, красота Дианы освежили его, и все-таки, ложась, ощущаю оттенок грусти, некую тень, точно бы ухожу. Вот и закрыл глаза. Заструились прозрачные капли, цветные круги, в теплой, оранжевой полумгле.

Итак, здравствуй, сон. Будь ко мне благосклонен. Когда час наступает, возврати к живым, к жизни — я ее довольно знаю, но не разлюбил.

СНОВА ДИАНА

Как бы то ни было, из всех улиц и закоулков Парижа Диана избрала для возвращения именно свою улицу, дом и квартиру. Своим ключом отперла свою дверь и появилась с покупками и пакетами, как раз когда солнце ушло из моей комнаты и апельсинным теплом вечер склонился — минута, когда вдруг ясно становится: да, ушел день золотой, светло-неповторимый!

Увидев, что я все еще лежу, Диана вздохнула.

— Вероятно, вы даже воды не поставили согреть к чаю?

Диана нередко упрекает меня в лени, в неумении жить. Она считает, что надо очень хорошо одеваться и мало есть. Быть деятельным и много работать, много иметь денег.

Чтобы несколько заслужить перед нею, я пошел на кухню, поставил воду на газ. Затем пытался хозяйничать и в столовой, но неблестяще: ибо неизвестно было, где что стоит.

— Нет, давайте лучше я,— сказала Диана.— Не барское это дело.

— Сами вы барыня.

— Это как придется. Нынче купила разных вкусностей к чаю, а ужинать вряд ли буду...

Я знаю поверхность Дианиной жизни. Иногда она ездит обедать в лучшие рестораны. Иногда же сидит дома на кашках, должает по мелочам, продает старые платья.

Сейчас закинув назад свои летящие рукава и обнажив нежные, холодноватые руки, Диана взялась за хозяйство. Ее движения быстры и стройны. Она ловко расставила все на столе, бесшумно прошла раза два в кухню, и высокая, знаменитая шея ее с головою богини господствовала неоспоримо и над квартирою, и надо мною, и была светлым звуком во всем тепло-оранжевом вечере.

Мы пили очень крепкий, душистый чай с удивительными пирожками и кексами.

— Я живу кое-как,— говорила Диана.— А люблю роскошь. Дорогие меха, камни... Ах, камушки! — Она вздохнула.— Вчера проходила по Place Vendôme[1], прямо сердце остановилось, какие изумруды у ювелиров. Хоть бы американец какой-нибудь в меня влюбился!

И тут начался любимый ее разговор — ей бы хотелось свою машину. И самой править. Объездить все Луары, Гаронны и Пиренеи, жить в Париже, а когда захочешь, уезжать и в деревню.

— Вы бы одна ездили?

— Могла бы вас взять. Но я думаю,— она засмеялась прохладным смехом,— что с вас сейчас же слетела бы шляпа.

— Хорошо, поезжайте одна, только машины-то у вас никогда не будет.

Диана вздохнула.

— Может быть, вы и правы. Но надо надеяться. Вот и сегодня как раз у меня свидание насчет синемá. Слушайте, с моею наружностью,— Диана вытянула шею и, увидев себя в зеркале, сделала полоборота головой, как бы оценивая свои силы,— с моею внешностью я могу пойти далеко. Синематографическая звезда! Разве же это плохо? Да ведь и режиссер...

Она кивнула себе в зеркале, и это значило, что все уж кончено, режиссер завоеван.

В окне уголок неба уже нежно сиреневел. Вечер надвинулся, и в столовой смеркалось. Диана встала, подошла к окну.

---

[1] Вандомская площадь *(фр.)*.

— Все эти мечтания и надежды,— сказала она вдруг глуховато.— А действительность, жизнь... Главное, годы уходят.

Она помолчала, потом обернула ко мне бледное свое лицо.

— Вам вот так нравится, что у меня никого нет в квартире, и одиночество... Но ведь вы гость случайный. Поймите, однако, что иногда это вот одиночество меня убивает. Я всегда одна. И... знаете еще что. Вы понимаете... Есть люди мне симпатичные, там, приятные... но одного нет — *любимого.*

Вот как сказала Артемида! Вот она, Девушка-Луна, прохладная кровь!

Я подошел, взял ее за руку, поцеловал. Диана улыбнулась, и в ее глазах, как дальний ветерок, слегка мелькнула грусть. Нежаркими губами, братски и союзнически приложилась она к моему лбу.

ПОЛЕТ

В зеленоватой майской полумгле автомобиль несся вблизи Трокадеро. Теплый воздух шелками полоскал лица, рукава черного Дианина плаща все вылетали и вились. Мягко дрожало стекло. В нем, в сумасшедшем, обратном облике клубился Париж. Также видал я по временам в серебре отражения бледное и прекрасное лицо Дианы. Вот она поднесла к губам палочку, и они сильнее замалиновели.

— Мы провели с вами целый день,— сказала Диана.— Совершенно одни... Париж хорош своей пустынностью. Да вот сейчас все движется, шумит, а мы вдвоем, и никому до нас нет дела.

Под весенне-зеленеющими сводами каштанов сумрак наплывал. Огни нежно светились, и бесшумные машины, так же полоумные, как наша, пролетали взад — вперед. Довольно было бы маленькой ошибки — лишь кровавый след остался бы от нас.

На площади мы остановились. Кончился мой день с Дианой. Я попрощался, запахнул дверцу. Чрез минуту ничего уж не осталось: авеню Монтэнь замыло, поглотило, среди золота своих огней, недвижных и текучих, то, что называли мы Дианой.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О СЕБЕ И ДИАНЕ

Ясно, что сейчас она, такая же бледная, в том же плаще, полулежит в том же купе и несется к иным берегам. Ей мерещится слава и роскошь. И у дверей ее — меланхолия.

Я же стою у реки. Красные, синие, золотые огни. Цепями и разноцветными струями их отраженья в воде. Золотые жуки бегут по набережной той стороны, и в темно-сиреневом небе вспыхивает словом и бесконечными переливами звезд, легко-златистых, таинственных, башня Эйфеля. Вот уж и новый мир. Мой день ушел. От Дианы лишь тонкий след, дальний отзвук. Но жизнь продолжается. Сумрак, река, зыбь отражений, дьявольская красота Эйфелева струенья — и твердь небесная, престол Господа.

1926



ПРИЛОЖЕНИЯ

Борис Зайцев

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ И РАЗМЫШЛЕНИЙ

Мы входили в жизнь на рубеже: позади великое, уже прославленное — скоро назовут его Золотым веком русского искусства, на Западе даже сравнят с расцветом эллинским и с итальянским ренессансом.

Тогда, в юности нашей, таких определений еще не было, но чувствовалось, что за нами, в дали почти легендарной, легендарные же и облики нашей литературы (Толстой был еще жив, но уже стал легендой. Помню, как студентом в Москве я боялся Толстого: никогда его не видал, а если бы встретил случайно, просто бы обмер со страху).

Да, позади, чуть не с детских лет снеговые вершины. А вот что впереди? И сами мы, каково будущее, каковы судьбы? Вот этот новый, двадцатый, туманный век, о ком нам ничего не было известно — да и слава Богу, что неизвестно (вступали в него многие из нас с детской верой в спокойный и разумный, чуть ли не «по Боклю» прогресс. Лишь немногие, Владимир Соловьев, может быть, первый, чувствовали не совсем «по прогрессу»: что-то более страшное и трагическое.

* * *

Девяностые годы — некоторый и жизненный, и литературный застой в России. В литературе прежнее будто изжито, новое еще не появилось. Тут и прошло над словесностью нашей дуновение Запада. Дуновение освежительное — или возбуждающее. Угрозой нашей литературе конца века было эпигонство и провинциализм. В них сильно увязали в 90-х годах. Остаться

раз навсегда с Надсоном, Апухтиным, Баранцевичем, при разных идейных дамах, наполнявших собою толстые и «честные» журналы, при гражданской скорби и «огоньках», «маяках, брезжущих впереди», опасность, конечно, немалая. Положение для молодого пишущего, для начинающего в особенности, острое: повторять зады невесело, а напряжение велико, разрядиться надо. Вот именно и назревало электричество подспудное, ища выхода.

Отдельные голоса появились еще в девяностых годах: Мережковский, Гиппиус, Волынский.

Нечто шло с Запада, но почва, очевидно, и в России созревала. В Европе в это время прочен был уже Ибсен, укреплялся Метерлинк, сильно владели и более ранние: Бодлер, Верлен. Выдвинулся Оскар Уайльд, позже Верхарн. Все это как-то отзывалось в молодых слоях России, возбуждало, подталкивало — и отдаляло от провинции.

На Западе символизм давал пищу уставшим от будничности, здравого смысла, прописей позитивизма.

Наверно, что-то подобное было и в русской настроенности: жажда духовного, порыв души. Ведь почти одновременно с новым литературным движением явилось и религиозно-философское. Его родоначальник Вл. Соловьев — один из путеводных русских обликов. Под его крылом началось религиозное одушевление интеллигенции. Выразилось оно плодотворно — у ряда христианских философов и богословов России. (Булгаков прямо признавал, что путь его был дан Соловьевым.) Да и многие из нас тогдашних, никакие не философы и богословы, зачитывались Соловьевым, он внедрял свет некий в наши души — этого не забудешь! Читали и разные сборники. «Проблемы идеализма», «Вехи», где веяло новым христианским духом. Булгаков, Бердяев, Франк... И совсем по-другому, по-новому писали. Это уже не Михайловский или Скабический!

В литературе изящной шло несколько иначе: перелом начался с «декадентства» — усиленный, обостренный индивидуализм, во многом отзвук западных тогдашних течений, самозамкнутое нечто, высокомерное, нерелигиозное, скорее исходившее от преклонения перед самим собой — отсюда и эта «башня из слоновой кости», столь подходящая к тогдашнему Западу, но для России наносная. Ранний Гюисманс очень бы подходил к наряду Брюсова. Вот Брюсов и выступил во главе всего этого. (Как ни странно, прибежищем слоновых башен оказалась Москва, именно простодушная и жирная Москва. Журнал «Весы» — и там главноуправляющий Валерий Брюсов, одна из самых тягостных фигур Серебряного века.) Человек властный, безмерно честолюбивый и упорный, все ставивший на свою славу. Отчасти и

прославился. Эллис в «Весах» этих сравнивал своего редактора с Данте.

В «Весах» печатался и Бальмонт, но Бальмонт, хотя тоже был крайний индивидуалист, все же совсем другого склада. Тоже, конечно, самопреклонение, отсутствие чувства Бога и малости своей пред Ним, однако солнечность некая в нем жила, свет и природная музыкальность. Пусть он ею злоупотреблял — рядом с подземельем Брюсова это порыв, увлечение и самозабвение, под знаком «солнечного луча». Бальмонта тех дней можно было считать язычником, но светопоклонником. (Брюсов прямо говорил: «Но последний пар вселенной. Сумрак. Сумрак — за меня!») Бальмонт был наряден, пестр, не по-русски шантеклер, но были в нем и настоящие русские черты, в его душе, и сам он бывал трогателен (в хорошие минуты). Помню, пришел раз к нам, юным, на Арбате, вечером, на закате солнца, стал читать стихи из кн<иги> «Только любовь» — прозрачно, нежно, у него самого глаза влажны и мы все тронуты — вот, прошло более полувека, а помнится. Да, глаза были влажны у всех — взволнованность поэзией.

В самом начале века Мережковские основали в Петербурге журнал «Новый Путь». Фиолетовые книжки, «новая литература» — это шире декадентов. Пожалуй, «Н. П.» надо считать первым пристанищем символизма в России, как «Весы» — пристанищем декадентства. «Новый Путь» недолго просуществовал. Его заменили «Вопросы Жизни», там же, в Петербурге. Журнал, сходный по духу, но скорее неохристианский. Тут преобладали Булгаков, Бердяев. Туда ездили мы с женой из Москвы — в обоих журналах печатались и мои ранние вещицы.

Эти путешествия очень были живительны, открывали Петербург высокой марки, нас, юных, вводили в мир и современный, и культурнейший.

У «Вопросов Жизни» была огромная квартира, мы там и останавливались у Георгия Чулкова, приятеля нашего — он был вроде редактора и проповедовал «мистический анархизм» (позже вполне стал православным).

Во всем этом была молодость, увлечение, все вокруг кипело и втягивало в кипение свое. Сколько новых людей, встреч и знакомств! Ремизов с Серафимой Павловной, худенький, в очках, печатал тогда в «В. Ж.» первый свой роман «Пруд» (был и секретарем редакции, жил в той же квартире, где Чулков с Надеждой Григорьевной). Помню в комнатах Ремизова Мережковского, у него на коленях маленькая девочка — Наташа Ремизова. Мережковский с ребенком! Картина. Бердяев сказал бы: «Дурная бесконечность». И самого Бердяева хорошо помню,

постоянно бывал — великолепный и живописный, нарядно одетый, с галстуком бабочкой, красавицей женой Лидией Юдифовной.

Гиппиус, Вячеслав Иванов, сумрачный (замечательный поэт) Сологуб, Кузмин подкрашенный, Городецкий, похожий на молодого лося, ресторан «Вена», где встречались писатели, модное тогда издательство «Шиповник» с Гржебиным во главе. И Блок. Но о Блоке и Белом — особо.

* * *

Мережковского вполне можно считать одним из начинателей символизма. Быть может, в этом странном, полупризрачном человеке было слишком много от схемы («бездна вверху, бездна внизу»), от суховатых противопоставлений («Христос» — «Антихрист»), для художества черта неудобная, отдаляющая от непосредственности. Но и как вообще ждать непосредственности от Мережковского!

Облик же редкостный, даже таинственно появившийся в нашей литературе — об руку с тоже неповторимой Зинаидою Гиппиус. Облик бескровный и как бы невесомый, ни на кого не похожий. Романы его лишены живой ткани, это скорей упражнения на тему, все же — нечто совсем особенное по холодному блеску, огромности замыслов. Конечно, не романист-художник, но существо удивительное, дух не дух, философ не философ, богослов не богослов — закваска же некая в литературе того времени несомненная.

Помню действие на мою студенческую голову «Леонардо да Винчи» или «Толстого и Достоевского» — все тогда было по-новому, необыкновенному.

Одинок, пламенно-холоден, очень известен, мало кем любим. Из символистов как будто наиболее близок к христианству, но... если начать искать любви...— где найдешь ее у него? (В ранней юности, чуть ли не гимназистом, он пошел к Достоевскому. Тот сказал: «Страдать надо, молодой человек, тогда писать будете». Это Мережковскому мало подходило. Но самого Достоевского, выросши, превознес он чрезвычайно. Пожалуй, даже «открыл» его России.)

Белый и Блок уже другого поколения. Эти вышли из Соловьева — мои сверстники. Этих ближе я знал, как ровесников, а Белый почти даже сосед: наш, арбатский. В юном Андрее Белом (Борисе Бугаеве) много было шарма и той необычайности, которую он пронес через всю жизнь — помню небесно-голубые его глаза, помню полет его (он всегда как-то не шел, а будто

летел по тротуару Арбата, мимо нашего Спасо-Песковского). В 1902—04 гг. был под обаянием Соловьева. Соловьев являлся ему в «Симфониях» как бы ангелом некиим, проносившимся над Москвой «в крылатке», на фоне мистических зорь. Белый был во всегдашнем воодушевлении, ждал некоего «пришествия» и «преображения мира» (все это не выходя из поэзии и философии символизма).

Вот тут, думается, находился главный нерв символизма русского в его расцвете: не только литературное движение, но некое мировоззрение, нечто вроде религии, даже особый склад жизни, чувствований, поведения — в надежде пережить «преображение мира» (Ходасевич, напр., считал, что даже в любви, в эротической жизни символизм вносит психический сдвиг).

Одним словом, не только «новая словесность», но и новый мир. Этим, думаю, и отличался символизм русский от западно-европейского — чисто литературного.

Молодой Блок вошел в литературу именно под этим флагом. Только несколько в другом варианте: его религиозное устремление — Прекрасная Дама, сверхчувственный облик Женственности, как бы Беатриче Дантовская, а отчасти и отголосок средневековья западного с культом Мадонны.

Блок и сам, того времени, со своей открытой шеей, выходящей из белых отложных воротничков, правильной, слегка курчавой головой, прозрачными глазами, медленным и «загадочным» голосом, мог сойти за трубадура при провансальском дворе короля Ренэ. Насколько Белый был нервен, подвижен и суетлив, настолько Блок медлен, холодноват и спокоен. В Белом смешение философии, поэзии, математики, фантастичности, страсть к спорам, ораторский дар (хаотический, конечно) — Блок только лирик, в странном соединении недвижности (чтобы не сказать стереоскопичности), с опьяненностью, стихийным напевом. Магическая сила стиха — вот его главное (проза Блока малоинтересна).

Оба они, как и Вячеслав Иванов,— следующая ступень за декадентством. Вячеслав Иванов прозревал даже, предвидел и проповедовал некую «соборность», «орхестры», выход из индивидуализма декадентского. («Соборность»-то пришла потом, но такая, от которой ему же и пришлось бежать.)

У Вячеслава Иванова, человека великой эрудиции, всегда воспламененного, из всех, с кем приходилось встречаться, самого интересного и значительного собеседника — под ногами была некая почва, больше, чем у Блока и Белого, больше и воплощенности. Но при всем том огромная книжность. И «соборность» его тоже книжная. Все же типично, что внутреннюю свою жизнь

он закончил в христианстве. Корни его были русские, эрудиция эллинско-классическая. Последнюю часть жизни он прожил в Италии. Христианство овладело им в облике католицизма. Я видел его последний раз в Риме в 1949 г., за три месяца до его кончины. Это был прочный католик, но и прочный русский.

Думаю, судьба русского символизма полней всего выразилась в судьбах Блока и Белого. Мережковский так до конца и остался спокойным литератором-профессионалом, «теоретически» принявшим христианство. (Церковным он никогда не был, но Евангелие читал ежедневно.)

Блок и Белый заплатили судьбой своей за символистические опыты и видения.

* * *

Издали, как бы с другого берега, ясней видишь эту полосу литературы нашей. Полоса выдающаяся, большой остроты и оживления, много новых дарований, особенно в лирической поэзии, и — как бы блестящий и прощальный фейерверк перед началом катастроф. Серебряный век! — это по сравнению с золотым литературы нашей, девятнадцатым. Бердяев называл этот Серебряный даже Ренессансом русским. Ренессанс-то ренессанс, несомненно выведший из захолустья, эпигонства и провинциализма конца 19-го века. Но — и отравленный.

Наибольше «удался» ренессанс этот в религиозно-философской области. Тут хоть и были «уклончики» (и у Булгакова, и у Бердяева), все же оба, первый особенно — всегда стояли на твердой почве: истины Христа и Церкви. Могли быть отдельные и упреки им, в общем, однако, дух освежения и обновления и от них, и от их соратников (Вышеславцев, Франк и др.) несомненно шел. Мало того, что в русской интеллигенции они зажгли и расшевелили нечто духовное (Соловьев в еще большей степени, он глава этому всему) — их творчество в значительной степени выдвинуло Православие в Европу, в мир.

Судьба литературного Серебряного века была печальнее — в частности, символизма, еще более в частности,— Блока и Белого.

Да, были какие-то «мистические зори», предчувствия, поклонения Прекрасной Даме. Но все это оказалось «на песке». (Построен был дом «на земле без основания. И хлынула на него река, и тотчас он развалился».) Настоящего фундамента не нашлось. Во что, собственно, верили эти люди? Вот Брюсов прямо говорил: ни в что. Бальмонт хоть солнце обожал, Блок же и Белый питались просто миражами. Больше того: Белый

сам чувствовал, что в нем есть нечто от лже-учителя, лже-пророка, и сам мучился этим.

Проповедуя скорый конец,
Я предстал словно новый
Христос,
Возложивши терновый венец,
Разукрашенный пламенем роз.
. . . .
Хохотали они надо мной,
Над безумно-смешным
лже-христом...
. . . .
Потащили в смирительный дом,
Погоняя пинками меня.

Почти так оно и оказалось в его жизни. Перед началом войны (14 г.) Белый чуть и действительно не сошел с ума. На могиле Ницше в Лейпциге он пережил необычайное видение: «Я почувствовал: невероятное солнце в меня опускалось: я мог бы сказать в этот миг, что я свет всему миру. Я знал, что не «я» в себе — свет, но Христос во мне — свет всему миру».

Все это было ложным, болезненным. «Прелестью», как говорится в православии. И кончилось тяжкой болезнью, к счастью, не совсем убившей это необыкновенное существо.

Бывал «свет фаворский» подлинный, бывал и обманный. Апостолы Петр и Иоанн вынесли свет этот на горе Фавор, вынес подобное и ап. Павел на пути в Дамаск (хотя три дня был после видения слеп). Но Белый никак не был подготовлен и никак не избран. Никакого апостола христианства из него не получилось, он стал антропософом, потом проклял Штейнера, главу антропософов, кидался в Берлине 20-х гг. из стороны в сторону, вел несчастно-туманную жизнь — вплоть до танцулек берлинских — вернулся потом в Россию, пробовал обниматься с большевиками, но и из этого ничего не вышло. «Хохотали они надо мной...» — эти тоже хохотали. Для них он был просто скоморох.

А некоторые стихи его и сейчас пронзают. В них есть нечто от неумирающего обаяния — может быть, стон над собственной жизнью? Не знаю. Я Андрея Белого знал лично, иногда мы лобызались, иногда он меня ненавидел. И все это прошло. Остался только пронзительный — для меня даже более пронзительный, чем блоковский, звон стихов.

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел.

Думой века измерил,
А жизнь прожить не сумел.
Не смейтесь над мертвым поэтом,
Снесите ему венок.
На кресте и зимой и летом
Мой фарфоровый бьется венок.

* * *

Блоковская Прекрасная Дама угасла довольно скоро. Конечно, это было тоже не настоящее, наваждение, «прелесть». Появились какие-то болотные чертенята, потом вместо Прекрасной Дамы просто уж «Незнакомка»: «Шляпа с траурными перьями» и, конечно, вино («Я знаю: истина в вине»). И — уж разные «незнакомки», вплоть до Невского проспекта.

Менее всего собираюсь я поучать или укорять. У меня, слава Богу, остался в памяти главнейше Блок молодой, действительно облик поэта, романтического юноши, отмеченного особым знаком. Над всей жизнью же и судьбой Блока лежит глубокая печаль. Помимо очарования некоторых его стихов, весь дух его поэзии, смутный, опьяняющий и не дающий настоящего питания, отвечал смутной предвоенно-предреволюционной эпохе. Именно смутной. (По себе помню тоску, растерянность последних предвоенных лет.)

Многие чувствовали, как он, отсюда, помимо его дара — его и слава (слава в «публике» есть соответствие ее чувствам и вкусам. Лишь гиганты, как Толстой, Достоевский, могут идти наперекор и в конце победить, подчинить себе).

Тоска Блока была так же безысходна, как и у Белого. Конечно, хотелось найти что-то, опереться, поверить. Но вот болотные чертенята, незнакомки, вино... Потом вдруг революция. Не это ли? Помню вечер в Москве, у знакомых, в 18 году: показали только что полученную из Петербурга газету, там целиком напечатано «Двенадцать». Каким погребом, склепом пахнуло! Идет какая-то ватага вооруженных солдат, громил, кажется, и матросов — их двенадцать, как Апостолов!

Кто ведет их? «В белом венчике из роз впереди Иисус Христос».

Сумрачный был вечер, горький, так в душе и остался. В судьбе Блока, думаю, роковая вещь эти «Двенадцать,». (Тяжко сказать: в его записях есть страшные, кощунственные слова о Спасителе, Апостолах...)

Страшным обернулась для него и революция, с которой он попробовал сблизиться. Все это развалилось, конечно, как и Прекрасная Дама, как Незнакомка.

Весной 1920 года Блок был в Москве. Под грохот взрывов на артиллерийских складах он шел с моей женой к Политехническому Музею, где должен был читать. (Меня в Москве не было.)

— Вы, наверно, ненавидите меня за «Двенадцать»...

Жена ответила уклончиво. Он понял, разумеется. (Не ненависть, а горечь.)

— Я никогда не читаю теперь «Двенадцать»...

Ему и жить оставалось недолго. На последнем его выступлении в Москве, весной 21 года, у нас в Союзе Писателей он был уже полумертвым. Помнится, читал «Скифов» и лирические стихотворения.

. . . .

Кончая о Блоке, хочется почему-то вспомнить об одном письме его.

Знакомы мы были давно, и поэзию его я давно ценил. В нашем юном журнальчике «Зори» мы печатали в 1906 г. его стихи, тогда почти еще начинающего поэта (и в одной статейке у нас было сказано, что «Блок выше «Анны Карениной»,— это типично для Серебряного века).

Позже встречались и в Петербурге, в «Шиповнике», у Чулкова, у самого Блока. Но близкого знакомства никогда не было. Были внешние доброжелательные отношения. И вот, уже в начале революции, я послал ему из деревни последнюю свою книгу в России «Голубую звезду». Он ответил письмом, и тогда пронзившим меня: столь полно было оно печали. Приблизительно так он писал: «Давно знаем друг друга, но все на расстоянии. Хорошо бы сойтись ближе, да теперь уже поздно». Я не знал еще тогда о его новом устремлении (к революции). Но что он хотел сказать этим «поздно»? Конец скорый почувствовал? Вернее всего, да. Но, в сущности, если бы и не конец, сойтись ближе мы и не могли бы. Слишком шли в разные стороны, и чем дальше, тем больше.

В августе 21 г., в полном распаде духовном и физическом, он скончался. Наш Союз отслужил по нем панихиду в церкви Николы на Песках, у Арбата. Об упокоении раба Божия Александра.

* * *

Все это давно прошло. И Серебряный век, и его люди. Просто даже в живых никого не осталось — идешь, как по кладбищу.

Но может быть, так вот, с другой планеты, ясней видишь и чужие жизни, и свою, и разные писания наши.

Раздумываешь и о том, что это был за Серебряный век? Чем от других отличался, от Золотого, например?

Да, от золотого весьма отличался. Не только размерами даров отпущенных — куда же равняться ему с великанами 19-го века! И не тем только, что особенно напирал он на поэзию, стихотворство (действительно, этот Серебряный сильней всего выразился в стихах. Романы Андрея Белого, Сологуба читать сейчас трудно, они обветшали из-за искусственности, из-за отсутствия живого дыхания в них. Проза Кузмина — сплошь стилизация, т. е. опять искусственность).

Живое дыхание! Вот это надо иметь в себе, этого не позаимствуешь. Этим Золотой век русский, девятнадцатый, в литературе был полон, оно и сделало его незабываемым и поразило так Западную Европу, чей 19-й век был совсем другой.

«И в Духа Святого, Господа Животворящего...» Духом этим наполнен был русский девятнадцатый век (даже когда бунтовал).

Золотой век нашей литературы был веком христианского духа, добра, жалости, сострадания, совести и покаяния — это и животворило его. Ведь уж самый, кажется, язычески-жизнелюбивый Пушкин, ведь и тот сказал:

И долго буду тем любезен я
народу,
Что чувства добрые я лирой
пробуждал.
Что в мой жестокий век
восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

А еще в другом повороте:

И с отвращением читая жизнь
мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько
слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Над этими стихами плакал предсмертный Толстой, только считал, что для себя должен поставить не «печальных», а «позорных». Что говорить о Гоголе, о том же Толстом, Достоевском. «Страдать надо, молодой человек, чтобы писать»,— говорил он, он, в ком всегда сидела тема «Жития великого грешника», и страстность покаяния которого могла сравниться только с толстовской и некрасовской.

Тургенев, Чехов — несколько иной поворот, но все в том же мире. Любовь и человечность, сострадательность и защита

слабых, все обаятельные народные облики «Записок охотника», все Лукерьи и Лизы Калитины, а позже, у Чехова: «Мы отдохнем, мы отдохнем, мы увидим все небо в алмазах» — это вот и значит, что оба «пошли» на зов Отца, хоть и старались говорить «не пойду».

Чувство Бога и сочувствие человеку животворит весь наш девятнадцатый век, на который по Тайне Промысла выпали величайшие дарования литературы нашей (кроме Чехова, все великие русские писатели родились между 1799—1828 гг. Кстати: похоже и в итальянском Ренессансе: величайшие его художники родились между 1452—1483 гг.— тоже тридцать лет).

Наш Золотой век — урожай гениальности. Серебряный — урожай талантов. Дал немало дарований и примечательных фигур. Пришел вовремя, в смысле обновления и освежения, век известной утонченности, изощренности словесной и более тонкого понимания некоторых поэтов Золотого века, недостаточно еще оцененных (Тютчева, Баратынского, Фета). Внес столичность в нашу литературу, это не Замоскворечье и не Полтава, и не гражданские стихи Мельшина. Русская «новая литература» начала века — будь это декадентство, символизм или импрессионизм — дала известные духовные устремления, дала и замечательные лирические цветы, многое погребла, что нужно было похоронить, сама же, в общем, была литературой эпохи переходной и предгрозовой (Блок и Белый острей других чуяли близость трагедии).

Зерно было брошено этой блестящей полосой, но на почву каменистую, «и как не имело корня, засохло».

Вот чего мало было в этой литературе: любви и веры в Истину. Это и сушило. Слишком много все мы были заняты собой. Несмотря ни на какие «соборности», башня из слоновой кости укрывала литературу начала века, очень изысканную, но и во многом тепличную.

Никак нельзя требовать, чтобы писатели «ходили в народ» или обучались у токарного станка, а в поэмах своих восхищались перевыполнением плана. Все-таки: литература моего поколения слишком уж была уединенной. Пушкин, Гоголь и Тургенев, и Толстой, и Достоевский, Чехов — народ знали, равно и Некрасов. Некоторые выстрадали его даже. Серебряный век весь проходил в столицах, гостиных, в богемстве и анархии. Воздуха полей, лесов России, вообще свежего воздуха — в прямом и религиозно-мистическом смысле — мало было в нем.

Вижу Толстого, Чехова «на голоде» где-нибудь в деревне. Могу ли увидеть там Андрея Белого? Тургенев знал всех своих «Певцов» и «Касьянов с Красивой Мечи», знал и природу, пение всякой птицы. Мережковский мог видеть «народ»

из окна международного вагона, а сороку вряд ли отличил бы от вороны.

И где нашел бы я рыдательность и покаяние Некрасова в этом Серебряном веке? Представить себе Брюсова, пишущего «Рыцаря на час» или «Власа»! А сомнения, муки душевные и торжество веры у Достоевского? («Братья Карамазовы».) Кто из современников моих сжигал так себя? Великой ценой достигается величие, а не разговорами на «башне» Вячеслава Иванова или в гостиной Мережковских. Толстой на склоне лет испытывал «адские муки совести», не мог простить себе грехов юности, недостатка любви своей к святой тетушке Ергольской — да мало ли еще чего.

В ответ из Серебряного века — правда из нижнего его этажа — раздается жалкий голос: «Я гений Игорь Северянин» — вот этот бедный «гений», действительно, свихнулся от восторгов барышень, вообразил себя Бог знает чем и канул в сумрачную вечность.

* * *

Война, революция резко оборвали литературу Серебряного века. Все это — страшные дела, но давно мне казалось — и теперь кажется,— что горе, несчастия, ужасы, свалившиеся на нас, во многом были возмездием именно за нашу «башню из слоновой кости» (несмотря на пресловутые соборности). Что-то мы заслужили, чем-то согрешили. (Объяснить до конца, конечно, нельзя. Чем виноваты тысячи, погибшие при «раскулачивании», целые народы, выселенные Бог знает куда,— ну, одним словом, бесчисленные жертвы. Это тайна. Почему-то именно Россия избрана Голгофой новой.)

Серебряный век давно, давно закончен, со всеми достоинствами его и недостатками. Это был плод утонченной культуры, культуры верхушки, висевшей над бездной. Революция все это смела. Никогда революции сами по себе не давали литературы, искусства, поэзии, сколько бы ни кричали о новой «революционной» литературе. Сейчас революция в России как будто кончилась. Начинается нечто другое, и судьбы будущей литературы нашей неведомы. Мы, старшее поколение, конечно, ничего не увидим. Но надо верить, что дух России, творчество нашей страны не умерло и не умрет.

В 1921 г. Замятин сказал: «Боюсь, что у русской литературы одно только будущее: ее прошлое». По-моему, надо несколько изменить: русское будущее в литературе должно питаться духом русского прошлого, духом Золотого века. Нельзя приказать

ему питаться. Можно только желать: не повторения и не эпигонства, а именно произрастания в воздухе великой литературы.

Как бы внезапным подтверждением этого явился в России — правда, запретный еще там (но он дойдет, дойдет!) — роман, покоривший мир.

Пастернак сам прошел школу Серебряного века, немолод уже, но горяч, жив и почти юношески восторжен. Написал произведение свое, далеко не совершенное формально, питаясь теми же истоками, той же водой живой, что и Золотой век. И так же своевольно, по внутреннему тяготению, а не по указке. И стихи его теперешние — не Серебряный век. Питание всего этого, настоящего по природе своей, не миражного, есть: христианская любовь, чувство братства, человечности и сострадания.

Вот это-то — да приидет в писания новых поколений русских, освобожденных от указки и дубинки. Золотой век неповторим. Но да питается родина наша и в писании своем и в усвоении писания высоким духом Золотого века.

1959

БОРИС ЗАЙЦЕВ

МОСКВА СЕГОДНЯШНЯЯ

Март двадцать второго года — тяжелая болезнь, едва не уложившая. Бритая голова, аппетит, выздоровление,— апрель. Май — пыль на московских улицах, бесконечные обивания порогов в комиссариатах, накопление «валюты» для отъезда (гонорар из Дальневосточной республики: золотой империал, фунт чаю, материя жене на юбку). Помог и Хувер, продовольственной посылкой. Ее продали, кажется, миллионов за девяносто. И так далее. Скопилась сумма могучая — на билеты до Берлина и там прожить с неделю. Но в Берлине Зиновий Исаевич Гржебин, старый и верный издатель. В доме на Лютцовштрассе разводит литературные пары, собираясь затопить Россию книгами. Так что для следующей недели можно рассчитывать на эту самую Лютцовштрассе.

И вот последние дни — самые острые: прощание с родными, близкими, друзьями. (Приезжала из деревни мать. Трудно передать чувство, когда в последний раз махнула старческой рукою из пролетки, скрывшейся за углом.) Стараемся держаться крепко, бодро: уезжаем на год, самое большее на полтора. Дела в России идут лучше, нэп приведет все к «естественному» состоянию, одолеют свобода и здравый смысл, мы и вернемся: подлечимся, побываем в Италии, да и домой. Самой умной из нас оказалась девочка, дочь.

— Нет, скоро мы не вернемся!

Разгромленная комната, где я умирал, чемоданы, извозчики, медленная езда через всю Москву, на Виндавский вокзал... В этот день судят эсеров. Толпа перед бывшим Дворянским Собранием. Манифестации ходят по улицам — требуют кровушки. Печально покидаем мы Москву.

Артельщики в белых передниках, вагон, третий звонок. Медленно мы отплываем. Друзья идут по платформе, лица взволнованы, машут платками. На другой день, на границе, бросила девочка анютины глазки на родную землю уж в последний раз.

* * *

Кончилась Москва настоящая, началась воображаемая. Сперва виделась она из Берлина, потом с генуэзского побережья, из Рима, Флоренции и вот восемь лет — из Парижа.

Москва берлинская почти как и не воображаемая. Кажется, сел «ам Цо» в поезд и на другой день дома. Постоянно «оттуда» приезжал кто-нибудь. Люди, собрания, кафе Леон — все, как бы продолжение Дома Герцена и Союза Писателей.

В Италии Москва подзанавесилась. Читали мы в Риме лекции, гуляли по Капитолию, собирали камушки на пляже Кави — и голубой воздух страны, вся неизбывная ее прелесть вдруг отодвинули родное: положили первый, пусть спиритуальный, но рубеж.

Он еще был не ясен. И охвачен такой радугою итальянской, такой радостью красоты, природы, странствия, что не очень глаз всматривался. Сердце жило настоящим — как в Италии ведь всегда: счастьем того, что живешь.

Лишь Париж показал, что такое преграда, что такое «изгнание». Москва сузилась! И отдалилась на тысячи километров. Не совсем зря, не как туристы на руинах или купальщики под солнцем мы засели здесь. Что-то иное началось.

Началась эмиграция: длительное, как бы законное существование вне родины.

* * *

Мы жили без Москвы, Москва без нас. Она нам более нужна, чем мы ей. Меняемся ли мы? Наверно. И она меняется, и вместо города нашей юности возникает другой. Другое племя появляется, другие слои выдвинулись и задают тон. Наши сверстники, близкие и друзья вымирают. Понемногу мы теряем с ними связь: писать опасно.

Меняется самый пейзаж города. Златоглавая Москва, златоверхая раздражает кое-кого. Некогда называл я Арбат «Улицей св. Николая». Ни одной из церквей св. Николая (а их было три) не осталось теперь: их сносят. Нет и церкви Бориса и Глеба (у Воздвиженки). Нет Красных ворот. Что говорить — нет Христа Спасителя — светлый его купол плыл над Москвой

чуть не за тридцать верст. Золотой, текучий шлем Москвы — черта ее пейзажа.

Купол, действительно, жил, двигался! Идя по Пречистенскому, по Остоженке, можно было всегда в мощной его луковице видеть некоторое струение: он отражал и движение облаков, и экипажей, трамваев, людей — вечно, с таинственною непрерывностью переливались они в нем. Он сиял при закате, отливал розовым на рассвете, в нежных тучках — еще было у него свойство: как-то присутствовать в жизни Москвы.

Мы его помним, любим (я люблю именно купол, самый храм холоден и параден). Но являются те, кто вообще никогда его не увидит и знать не будет. И сейчас уже много в Москве молодежи, вполне выросшей в революции, другого ничего не знавшей и теперешнее любящей. Не надо закрывать глаза: в той жизни мы были господами, красота и поэзия были для нас. Теперь тоже есть избранные, тоже обойденные. Избранные и верящие (их достаточно!) отлично утверждают, защищают — и гораздо лучше нас — свой строй.

Их жизнь гораздо интереснее, чем была раньше. Клубы, собрания, ячейки, подъячейки, ударники, бригады, безбожники, радио — все это бесконечно занятнее прежнего прозябания мастеровщины. Как безумно-уныло жили в прежнее время рабочие! А крестьяне?

«Вековой сон» нарушен — слишком поздно, трагически, дико смыта культура и верхушки — это другой вопрос. Но таков уж наш «безудерж», путь России.

* * *

Что такое Москва нынешняя, та, которую представляю себе с улицы Клод Лоррэн?

Прежде всего — столица, с правительством, канцеляриями, чиновниками, войском, полицией — т. е. самое скучное, что можно себе представить. Отчасти такою Москва уж была, в семнадцатом веке.

Другой стиль, но смысл близкий: политика. Хитрая была Московия, затхлая, жестокая... и довольно бездарная. Петр освободил Москву. Это позволило ей в девятнадцатом веке обратиться в град промышленности и искусств, в некий город вольного дыхания: купцы, заводчики, благотворители, земцы и думцы, писатели, художники, актеры, адвокаты — очень мало власти. Власть ушла в Петербург.

Сейчас Москва снова правит — вместо «приказов» — комиссариаты: Сталины, Молотовы, Кагановичи в шубах боярских

не ходят. Но дух «русской Флоренции» отошел. Москва посерела и погрубела. Кремль еще стоит (но без Чудова монастыря. Нету и Иверской). В сущности, златоглавый Кремль с древними соборами, с башнями и стенами, вызывающими в памяти итальянские «кастелло» ренессанса,— вовсе не идет к современной Москве. Не удивлюсь, если доберутся и до Ивана Великого, до Успенского собора. Не одна златоглавость Москвы должна раздражать: вся ее пестрота и лоскутность, яркая азиатчина на православный образец, запутанность, кольцеобразность, вообще **органичность**, вот что для «власти» отвратительно. Хорошо бы выпрямить, поправить, переделать по плану.

В этом полуазиатском, полукоммунистическом городе люди живут семьями в одной комнате, одеваются нищенски, едят мясо три-четыре раза в месяц, платят восемнадцать рублей за фунт масла, десять рублей извозчику (с Большой Никитской в Денежный). Жалованья получают рублей шестьдесят-восемьдесят в месяц.

Впрочем, если служат в ГПУ, то значительно все проще, лучше. На Тверской, как и в прежние времена, Елисеев. Витрины его гастрономические поражали и раньше. Дамы в соболях покупали тут балыки и икру, ананасы, устрицы (считавшиеся в Москве чуть не жупелом). Теперь все это так же легко покупают дамы из ГПУ — но простые смертные и войти не могут: лишь глазеют с улицы, перед витриною.

Масса студентов в Москве, как и раньше. Исчезли козихинские «интеллигенты» в синих шинелях, бегущие на лекции Чупрова и Мануилова. Нет ни философов, ни мистиков, ни гуманитарных людей. Все техники. Интерес только к технике. Книги читаются преимущественно технические, мысль одна: догнать, обогнать... и непременно Америку. Европа пустяк. А вот Америку бы уложить — дело стоящее.

Странным образом в той же «индустриализованной» Москве все так же, как и в наши времена, идет в Художественном театре «Лес» Островского и Чехова «Вишневый сад». Публика простая, но — полно, слушают превосходно. И если кроме технических книг что спрашивают, то классиков. Тургенева много читают, в России и Москве — больше, чем в эмиграции.

* * *

Недавно во французском журнале попалась мне фотография одной из площадей Москвы. Посреди некий памятник, слева огромный дом типа новых берлинских. Подпись: «Дом Ленина и обелиск свободы» (приблизительно так).

Сколько ни всматривался... не узнал места. Может быть, это бывший Университет Шанявского? Пожалуй. А возможно, что-то другое...

Москва, что ныне существует, уж не совпадает (очень резко!) с той, что в нашем сердце.

Кто из поэтов, от царя Соломона, не ощущал горестной тщеты земного? Рим много дает в этом смысле. Но Рим и другому учит. Бесконечны смены и нет неподвижного. От языческого к христианскому и от барокко к Муссолини — все меняется в вечном городе, но и все живо, пока жив народ, пока дуновение некое идет из него. Рим знал эпохи полного паралича, знал строительство, знал перестройки. Может быть, темп был иной (убыстряется время!). Но над всем тысячелетним его бытием, со всеми разгромами варваров и провалами витал дух Латинства: он-то и пронес Город. Рим и сейчас живой, как жил два тысячелетия назад.

Наш «третий Рим»... каковы судьбы его? Если верить, что это «роковой» город, как верить, что и народ, его создавший, народ не случайный, что-то вкладывающий в мир первостепенное,— то Москве не сгинуть ни от каких варваров. Из самих варварств этих, как из средневековья после гуннов, лангобардов, готтов, может расцвести новая культура — с прежней, нашей, мало сходственная, но и нынешнее уродство переросшая. Если дыхание народа русского живо и длительно, то не обратиться никогда Москве в закрытый распределитель чинов ГПУ.

Что мы увидим из этого в нашей жизни? Это другой вопрос. И решается он возрастом, здоровьем и упрямством. («Не умру, пока не увижу новой жизни».) А пока можно только спокойно, не вдаваясь в меланхолию, следить воображением за текучестью, вечным движением нашего города — подобным золотому струению в его бывшем куполе.

1932

БОРИС ЗАЙЦЕВ

ИЗГНАНИЕ

На русской литературе революция отозвалась сильно. Почти вся действующая армия писательская оказалась за рубежом. Одни бежали, других — преимущественно философов, историков, критиков — Троцкий выслал в 1922 году (и они бы должны собирать на памятник ему — одного, Шпетта, забыли, он вскоре и погиб на родине).

Ушедшие же добрались, так ли, иначе, до Запада. Запад пришельцев принял и дал возможность остаться тем, чем они были, складываясь сообразно облику своему в повороте судьбы нелегком, но дававшем писанию свободу.

Приблизительно, тут оказалось два пласта литературных: немолодые, уже известные в России дореволюционной, и следующее поколение — из них много поэтов — едва оперившееся, или еще оперяющееся в новой, необычной жизни. Так ли, иначе, все это была Россия, некие выжимки ее духовные.

Все разместились — по разным странам, сперва Европа (Париж, Берлин), потом Америка. Появились свои журналы, газеты, книги, издательства. Не имевшая прямого отношения к литературе, но бросавшая на нее высокий свой отсвет, появилась и стала быстро расти эмигрантская Церковь Православная, новые храмы, новое христианское просвещение.

Первое время и вообще в эмиграции, и в литературной ее части очень распространено было чувство: «Все это ненадолго. Скоро вернемся». Но жизнь другое показывала и медленным, тяжелым ходом своим говорила: «Нет, не скоро. И вернее всего, не видать вам России. Устраивайтесь тут как хотите. Духа же не угашайте» — последнее добавлялось уже как бы свыше, для укрепления и подбодрения.

Разумеется, общей указки нашему брату, наставления, о чем писать и как писать, никто и не думал давать, да и начальства такого не было, а если бы было, ему не подчинились бы. Но само собою, что нельзя же *здесь* прославлять деспотию, быть несвободным, подчиняться дирижеру.

Вот и поплыли литературные корабли. Главные силы их осели, спустя некоторое время, в Париже. (Центр берлинский быстро перекочевал в Париж. Прага дольше держалась, но с появлением в Чехословакии гитлеровских немцев тоже затихла.)

С чем прибыли, то и распространяли эмигрантские писатели: главное в этом было — Россия. Некогда Данте в какой-нибудь Равенне подолгу смотрел в сторону родной Флоренции, где садилось солнце и куда путь ему был заказан: Igne comburatur sic quod moriatur. (Мережковский некогда говорил, что патрон всей эмиграции литературной именно Данте.)

Полемика политическая — дело публицистов. Неполитические писатели продолжали свое, чисто-литературное дело. Конечно, очень сильна оказалась — особенно у старших — струя воспоминательная. Не то, чтобы все прошлое было прекрасно, но над ним веет забвением, услаждающим и украшающим. Чтó было и чтó ушло, становится для пишущего (да и читающего) трогательным особенно. (Тем более, что у многих это связывалось с молодостью, вступлением в жизнь, которая оказалась совсем не такой, как предполагали.)

В прозе художественной, да и стихах того времени очень мало обличения, противоборства. Мирное и поэтическое в прошлом гораздо более привлекало, чем война, кровь, насилие, страдания. (Но были и «крики души».)

Не называя имен, можно все же сказать, что в огромной части писаний эмигрантских за спиной стояла великая русская классическая литература. Русский «дух духовности» и гуманизма жив в ней, да и как не жить, если все на нем были воспитаны и им пропитаны?

По формам более процветали рассказ, повесть, лирика, или тяготение к древности русской. Были писатели разных пристрастий, реже других являлся роман. Он все-таки был, и странным образом сильней развился у более молодого крыла, менее «русского» специфически, скорее «европейского», но проникнутого духом эмигрантским. У читающих этот отдел имел большой успех. Роман даже исторический, и не из русской жизни. Была и линия мистико-историческая (у старших). Тут больше значила идейная сторона, а не изобразительная. Отзвук символизма русского начала века перекочевал и сюда.

Все же основным являлась плоть прежней жизни, овеянная

ли лиризмом — даже у писателей не сентиментальных, или с оттенком автобиографичности. Особенного успеха на Западе эта литература иметь не могла, частью из-за трудности перевода *настоящего* русского писателя, частью по отсутствию «захватывающего» сюжета. Все же, в начале эмиграции в особенности, интерес к восточным пришельцам был, у культурной и не крайне левой части французской литературы и интеллигенции.

Наиболее ярко выступило это в присуждении Нобелевской премии русскому, Бунину, в 1933 году. Был и советский кандидат, Горький, с именем всемирным, чего у Бунина не было. Но Шведская Академия предпочла бесподданного эмигранта.

В эмиграции русской это присуждение встречено было восторженно. Как бы «последние да будут первыми». (Среди многих приветствий было и веселое: поздравлял человек вроде рабочего, просил помочь и желал Бунину *каждый год* получать премию. Другая немолодая женщина заплакала: «И о нас, беженцах, вспомнили».) В самой же эмиграции, интеллигентской, собрания, чествования, превозношения.

Все это касалось круга писателей старших. Младшие — в большинстве, пожалуй, стихотворцы — стояли несколько особняком. Монпарнасс, знаменитое тогда кафе «Ротонда» (и другие, против него), русская богема, богема французская, не только пишущие, но и художники, Модильяни и Сутины, легион полуизвестных, французских, неизвестных русских — другой мир.

Отношения между старшими русскими и младшими были неблестящие. Одна сторона мало замечала другую, мало ей интересовалась, младшая чувствовала себя полуобойденной, с самолюбием несколько уязвленным. Поводы к этому отчасти и были. Никто никого гением не считал, но были в обоих слоях такие, кто недовольства не скрывал.

Журналы, газеты эмиграции мало печатали молодых, смену из «Ротонды». Смена издавала свои книжечки, а позднее и свой журнал толстый.

Так тянулось до последней войны, все перебуравившей, разметавшей, да и время уносило одного за другим этих трудников нашего занятия. Была горсть, осталась после войны полугорсть, а теперь четверть, и скоро все станем воспоминанием.

Но ничего это не значит. «Жили, были» — всеобщая участь. Кому назначено судьбой делать свое что-то, да делает, и здесь, кто как умел, в меру данного ему, делал, а теперь большинство успокоилось навеки, а оставшиеся могут лишь вздохнуть, но тоже ждать часа своего, не выпуская из рук вожжей, коими править тебе дано в краткой жизни до последнего издыхания.
<1971>

ЮЛИЙ АЙХЕНВАЛЬД

БОРИС ЗАЙЦЕВ

На горизонте русской литературы тихо горит чистая звезда Бориса Зайцева. У нее есть свой особый, с другими не сливающийся свет, и от нее идет много благородных утешений. Зайцев нежен и хрупок, но в то же время не сходит с реалистической почвы, ни о чем не стесняется говорить, все называет по имени; он часто приникает к земле, к низменности,— однако сам остается не запятнан, как солнечный луч. Он душою своей возносится над «миром тесноты и тьмы», поднимается к Филону-философу, к предвечному божеству гностиков, но не гнушается и тем, что внизу. Это удивительное сочетание натурализма и поэтичности, эта наивная небрезгливость уверенного в себе хрустального писателя вызывает и в душе читающего то очищение, то аристотелевское «катарзис», от которого бесконечно далеки многие произведения современного слова. Чистый, насквозь пронизанный солнцем, верный сын его, Зайцев и сам пронизывает жизнь светом тихим, светом славы; он чувствует святость природы и человека, и это именно составляет его охрану, его палладиум в жизненных скитаниях, сквозь гущу грубой обыденности.

Он очень знает скорбь и горе; в «Спокойствии», например, неотразимо сильное и растрогивающее впечатление производит образ мальчика Жени, умирающего, не спасенного отцом-доктором. Был прекрасен этот Женя и благороден, «говорил литературно и с весом». Отец его, воплощенное и замкнутое в себе страдание, вдовец, так, внешне холодно, рассказывал о последних часах Евгения, своего единственного ребенка, единственного смысла своей угрюмой жизни: «Сегодня Евгений говорил мне: «Папа, я боюсь, как бы мне не умереть»... А потом Евгений

обнял меня и говорит: «Папа, теперь я смерть вижу. Она вон там... Папочка,— говорит,— у меня холодают ножки. Погрей мне ножки, не давай меня смерти. Очень,— говорит,— прошу тебя: не давай!» Так. Вот он мне и сказал это». Женя умер, но отец его остался жив и, обыкновенно серый и сдержанный, теперь просветлел, и слезы пошли по его лицу. Это и характерно для Зайцева: он чувствует страшное, и страшны его спокойные слова: «диагноз оказался простой — чахотка»; но мир посылает ему свои целительные волны, дает великое «спокойствие», не отдает его, как Женю, смерти, нравственной смерти и холоду. И один из самых страдающих героев, побеждая свое страдание, поднимаясь над болью своею, говорит: «Цветут ли человеческие души,— ты даешь им аромат; гибнут ли — ты влагаешь восторг. Вечный дух любви — ты победитель». Именно победительность духа любви слышится на страницах Зайцева, и когда стоишь вместе с ним, в его излюбленной Италии, на берегу Адриатики, то хочется провозгласить какую-то мировую здравицу, хочется «зачерпнуть адриатической воды и плеснуть ею к месяцу: в честь любви, друга, погибшего за нее на этих берегах, женщины, ушедшей с ним; в честь иного далекого сердца, иной страны». Смерть и гибель, наши катастрофы и кровь — это не касается нас, это не доходит до самой глубины, до самой средины нашего существа; это не мы умираем, это не мы страдаем, это не нас убивают; все это разбивается о то благостное и великое «спокойствие», о ту сокровенную безмятежность, о то возвышенное, во что облекает нашу душу непобедимый дух любви. И погибая, мы не испытываем ужаса гибели, и на устах наших — молитва миру; и уходя из жизни, мы, изгнанники потерянного рая, благословляем его, славословим эту жизнь, слагаем ей проникновенные хоралы и говорим ей, что она благодатна и прекрасна,— несмотря на смерть Жени с холодеющими ножками, несмотря на измену любимой женщины и всюду проливаемую кровь. Пусть изменила эта Лина, красавица пышная,— но в душу у того, кто ее любит, кого она разлюбила, воцаряется только «кроткая усталость» и покорность. Да будет благословенна любовь — за то, что она дала, за то, что она отняла, за свое прошлое и за свое настоящее; да будут благословенны все эти женщины! В чем их упрекать, за что ненавидеть? Их только можно любить «медленной, глубокой» любовью, с их белыми руками, с их жемчугом журчащим. Лину «зовет жизнь, она будет взята, она пройдет свой путь страсти, любви, наслаждения». Будет сидеть у ее ложа и страдать тот, кому она изменила,— но в этом есть свое счастье, свое «спокойствие».

Метерлинк учит нас, что мы ни в чем не виноваты, что к нашим преступлениям непричастно самое ядро нашей души: мы прирожденно чисты, мы — святые; все дурное, что мы делаем, это лишь дурной сон, тяжелый кошмар, и сестра Беатриса совсем не грешила там, в миру, вне стен монастыря,— это ей лишь казалось; на самом же деле, когда она ушла, в монастыре заняла ее место, приняла ее облик Мадонна, которая не только Богоматерь, но и сестра сестры Беатрисы, душа сестры Беатрисы. Наша душа — Мадонна, и Мадонна — это наша душа. От века невинная, своей незыблемой невинности обреченная, она, как нагая и наготы своей не стыдящаяся Монна Ванна, одета в самое себя, в покровы своей природы,— белая невеста; и оттого она с улыбкой проходит среди наших пороков и преступлений; она их не знала, не знает,— она ни в чем не виновата, и, таким образом, в основе своего духа, хотим ли мы этого или нет,— мы невинны. Так учит Метерлинк. Зайцев же, независимо, своими путями придя к тому же исповеданию, верит не только в конечную святость человека и благородную «верность» его, но и в его неминуемую счастливость, в его неизбежное спокойствие. Мы недосягаемы для отчаяния, и тщетны все усилия жизни вызвать его. За несколько дней до смерти, слабыми пальцами трогая цветы сирени, горько улыбается человек и вспоминает, что «никогда не мог найти в сирени пяти лепестков — счастья»; но потом он стал думать о Боге, о любимых женщинах и целует сирень, бледно-фиолетовую, с капельками росы. И когда он умирал и в своих объятиях держала его жена («жена моя, Надежда, верная жена»), он вдруг сказал, в небольшой перерыв между муками:

Te spectem suprema mihi cum venerit hora,
Te teneam moriens deficiente manu —[1]

и поцеловал жене руку. И взглянув ей в лицо, произнес: так. Утром он умер. Последнее человеческое слово: так. Мы утверждаем, и это тем более, что мы никогда не закончены, не ограничены и нам принадлежит весь мир, а он — неисчерпаемая житница утешений. Герой Зайцева далек от своей родной России, он в Италии: «эта страна — чужая, но как он близок ей!» «Да, я в чужой, но и в своей стране, потому что все страны — одного хозяина, и везде он является моему сердцу. И здесь я его чувствую». Все страны — одного хозяина, и везде человек дома. Поэтому именно входит мир в его растроганное сердце,

---

[1] Тебя я вижу, когда наступает мой последний час, и, умирающий, держу слабеющей рукою *(лат.)* — *Примеч. ред.*

и, когда перед ним расстилается город и «русская, светло-осенняя даль», он переживает светлое, «просторное» настроение и думает: «Там живут тысячи людей, и я живу, плету с другими бедную свою нить... Он стоял. Тихо было в сердце... Уйти в мир бескрайный, светлый, скорбный; в безвестность, бедность, одинокую жизнь. И, зная час свой, принять его с улыбкой — незримая свеча в глубине сердца. Жизнь, смерть — привет. Любовь — благословенье».

В таком же духе пантеистического примирения — заключительные строки «Лета». Скосили траву на деревенском кладбище, на могилах. «Зачем же пропадать траве, выросшей хотя бы на наших ближних? Но прибавлю, что кладбищенский покос не показался мне ни странным, ни кощунственным. Напротив, в той простоте, с какой скосили сено в этом таинственном для нас месте, в этой простоте была, быть может, вера: и, во всяком случае, очень покойное, доверчивое отношение к Богу и природе. Мне припомнились наши разговоры о том, что лучше быть погребенным в Новодевичьем монастыре, чем здесь. Сейчас, не оспаривая своих собственных желаний, я подумал, что земля одинаково примет нас, величественно и простодушно, будем ли мы лежать в Москве, здесь или в далекой степи. Ибо один, и безмерно велик, жив, свят и могуществен мир Бога живого».

Так блюдет Зайцев человеческое достоинство и достойную тишину, и самый мир для него тоже пребывает в тишине, ожидающей Слова.

* * *

«В бурях земных противоречий» странствуют у Зайцева мужчины и женщины. «Непрестанно гонит их вперед воля Великого Владыки; тысячи раз придут они, тысячи раз уйдут». Иные из них (как в рассказе «Путники») будто астральны, будто отрешены от всякой земной тяжести и сотканы из легчайшей материи сновидений. Неслышной поступью передвигаются они, живые тени, едва очерченные силуэты на исчезающем свитке мировой скоротечности, смутные эфемеры бытия,— и в какой-то «дальний край» направляют свои легкие шаги. Люди — прохожие; люди — переселенцы; и путь свой держат они по вечным звездам. Странные и странники, «усталые путники, кочующие и ночующие», они реющими призраками растворяются в маревах мира. Но такие воздушные и бесплотные, они тем не менее реально страдают: силуэтам больно. Вот это сочетание нашей силуэтности и нашей скорбной незадачливости образует внутренний фон тех судеб, которые переживают герои Зайцева. И

жалко у него даже тех, кто свою боль как будто заслужил (если только вообще может быть заслуженная боль). Например, Похитонов из «Пощады», в терминах спорта определяя свою участь, говорит о себе: «лечу за пределы площадки»,— той жизненной площадки, на которой нами, беспомощными, кто-то играет в теннис. Человек заслуживает пощады. Не только Бог простит, но и мы друг другу прощаем. У нас есть право на эту взаимную снисходительность. Ибо пусть мы виноваты, но зато же мы и наказаны — и часто даже сверх вины и сверх меры. Если у кого и без особенных катастроф и потрясений струится жизнь, то уже во всяком случае к каждому, в конце концов, или в средине, или почти в самом начале, приходит та «иррациональная величина», с которой зайцевский герой, математик, сравнивает смерть. И этой величины вполне достаточно, чтобы сделать из нее кару за любое преступление. И потому, если в уютной усадьбе Ланиных так много любви, молодости и музыки, если там царит овеществленная в статуе Венера, «устроительница величайших кавардаков», то не надо сетовать на себя за эту причастность к счастью, не надо совеститься ее и признавать ее грехом, так как от этой упоенной любви очень близок переход к смерти, и влюбленная девушка Наташа недаром говорит: «По-моему, если любишь, надо умирать», и от венериных кавардаков создаются трагедии.

Есть, есть прирожденная святость сердца, первоначальная чистота души. А та земная пыль и нечисть, которая на белые обители духа налетает в изобилии от трудных жизненных дорог, да не будет нам поставлена в вину! «Господь смилуется над нами и простит». К тому же, если Юпитер сердится на нас, то мы не без основания думаем, что он виноват; он тоже виноват. Не только Юпитер нас прощает, но и нам есть за что простить Юпитеру. Чувство ответственности, ощущение вменяемости, конечно, сопутствуют нам; но в то же время нельзя отрешиться от мысли, что «все мы — точки гигантской ткани; кто-то ее прядет, и мы образуем узоры, складываемся так, вот этак, набегаем друг на друга, перекрещиваемся». Может быть, эти слова Евгения из «Усадьбы Ланиных» соответствуют не столько объективной сути миропорядка, сколько общей созерцательности самого Зайцева; может быть, человек действеннее и самостоятельнее, чем типичные пассивные герои нашего писателя; но едва ли и самый энергичный деятель не чувствует себя в иные моменты этой зайцевской «точкой гигантской ткани» и не перелагает ответственности с себя на Ткача... Как раз эти моменты и подслушивает в человеческой душе Борис Зайцев.

Жизнь, «настоящая вечная жизнь» нередко рисуется ему как

облака, которые плывут и тают. Жизнь в том и состоит, что она проходит. Ее сущность — отсутствие сущности. Ее не уловишь, не задержишь, не обратишь ни во что прочное. «Так истает и уйдет в конце концов вся жизнь. Вся она обратится в облачко, сольется с голубым эфиром, из которого и возникла». Неизвестно куда, неизвестно зачем по миру идут вечные странники, под облаками, которые тоже куда-то идут, прообразы человеческих дней, и на горизонтах вечности образы людей, бренные силуэты, маячат, проходят, исчезают, и вслед за отошедшими быстро умолкает скудный лепет наших эпитафий.

Но пусть неведом и невидим для нас таинственный смысл нашей призрачной жизни, сердце все-таки верит в него и верит в значительность и реальность каждой человеческой тени.

Вот умер лишний как будто бы, ненужный человек, с бездомной душою. Но слова, которыми Зайцев сопровождает его смерть, внутренним светом освещают и его жизнь. «Он ушел от нас навсегда. Его смерть мы приняли. Мы не могли бы сказать, каково было значение, смысл жизни этого человека, столь мало сделавшего на своем веку, столь как будто ненужного. И тот, кто уверен про себя, что он необходим человечеству, тот, кто знает, что он очень умно и значительно прожил свою жизнь,— пусть тот и укорит отошедшего».

Подобные ноты смирения и спокойствия, примирения с миром и человеком, светлые и печальные, так характерны для Зайцева. И соответствует им внешняя форма его рассказов — легкая, сквозистая, глубоко искренняя, в позднейших произведениях — невозмутимая, законченная и простая, как светлые примитивы. Часто его фраза не отделана, не округлена и так выразительна в своей естественной неправильности, в своей жизненной бессвязности. Отдельные эпитеты Зайцева спорны; но даже в его вычурах, в словах, ему одному принадлежащих («запрозрачнело», «влажнела», «светло-летящий голубь», «смотреть длинно»), не чувствуется литературы,— это не манерно, не придумано, это сказалось само собою; и всегда он как-то так скажет, по-особому, что непременно взволнует: «легкие стада детей чище и изящнее», «светло опустошенная», «зеленая звезда отроческой любви», «над горизонтом мерцали плеяды, таинственные группы небесных дев». И порою в этих немногих словах дается большая психология, видны человеческие дали; по одному признаку, по нескольким штрихам воспроизводится вся душа и вся ее обида: незадачливый, бесталанный актер говорит о себе: «Человеку сорок два, он один, как карандаш, живет в отеле, в меблированных комнатах»; или характеризует себя Марианна: «Вы целуете меня, как девочку (она засмеялась), а мне уже за тридцать.

Я старая женщина, *желтая*, замученная»,— и вот перед вами нарисовался весь облик страдания и женской жизни. Или — Мари с большими темными глазами на бледном лице: «часто производила она впечатление, будто у ней жар». Или про слова любимой женщины говорит герой: «Если бы я мог собрать их, как слезы или драгоценности, я бы их зашил в ладанку и носил на груди, вечно». Марианна вытянула по столу светлую руку, и казалось, что рука у нее «сквозная» и что вся она вообще устроена «облегченней, светлей» других. Именно таким облегченным является и сам писатель, сам создатель Марианны — Борис Зайцев. Под его пером исчезает обрюзглость быта и давление вещей. Легче весит жизнь, когда он кладет ее на свои писательские весы. От этого не уменьшается ее внутренняя вескость, ее интимная серьезность, но прозрачнее, светлее, воздушнее становится весь ее облик и вид. И так понятно, что полюбился Зайцеву образ божественного Рафаэля, блаженного умиротворителя Санцио, чей дух и чья плоть, чье христианство и чье язычество соединились в одну почти невесомую сущность. Светится автор «Рафаэля» внутренним светом своего идеализма, у него легкая душа, у него — художническое простодушие, и это позволяет ему жить во имя прекрасного, тонко замечать солнце, сердце и всю природу — «бледно-персиковые ковры», которые проводит по морю рассвет, и «черные складки ночи», в которых бродят губящие и гибнущие люди, и «кристальное благовоние, воздух, как бы сгустившийся в дивный зимний напиток».

Однотонен Зайцев, иногда — малокровен, и нет фабулы в его рассказах, нет «содержания», но там и здесь разлиты по ним «сладостные и очаровательные капли поэзии», но есть в них тихая и подлинная поэзия, переливы настроений, неуловимая отрада и красота. Он любит звезды, «золотую славу мира», звезды, которые «никогда не надоедают»; он о луне, будто Франциск Ассизский, говорит: «сестра-луна», и влечет его «голубая Вега, давно любимая звезда», как и все голубое, лазурное, синее, подобное той морской синеве, на которой — «как обрывки мечтаний, паруса рыбацких судов». У него пленительные чертоги сердца; он — псалмопевец человеческой души, Давид, выступивший со своею арфой против гиганта злобной мировой действительности. Ужасу и драме он, в светлых ризах, противопоставил себя, свою лучезарность и тихость. Это не прекраснодушие, это именно — «спокойствие», уверенность в святости и счастливости человека. Правда, не чувствуется, чтобы спокойствие это и благостная умиротворенность достались ему трудно, куплены были тяжелой ценою пережитого глубокого

трагизма. Все, что от Веги, от голубого, хорошо у Зайцева; но, быть может, он слишком скоро приходит в обитель примирения, он слишком скоро «утопает в сиянье голубого дня», он мирится раньше, чем его читатель. И недаром (в «Изгнании», в «Дальнем крае») без страсти и потрясения совершается у него бесшумный исход от жизни суетной или мятежной к мудрости Евангелия.

* * *

Прекрасное дитя вдохновения, искренних и простых помыслов — «Сны» Бориса Зайцева. В своем обычном стиле, внутренне сочетающем объективность и лирику, самый неприкрашенный реализм и душевную романтику, юмор и глубокий восторг перед природой и любовью, в тонах своего неизменного «спокойствия», изображает автор швейцара Никандра, который отворяет и затворяет двери, пропуская в них обрывки чужих жизней — как ему кажется, светлых, чистых, счастливых. Раб дверей, на страже у них, он сам не живет, а пребывает где-то внизу, в грубости и грязи, и гнетущая тоска проникает в его смутное сердце. Он пробует залить ее вином, но это ему не удается; пробует утопить ее вместе с собою в реке,— но и это не удалось. Как луч из мира иного, того мира, в который Никандр только отворяет двери, сияет ему женщина Мариэтт, пахнущая духами,— у нее темные глаза, «напитанные счастьем», черные завитки волос, «белая рука с длинным ногтем на мизинце и на шее алмазная стрела, пронзающая». Эта стрела из обители прекрасного пронзила Никандра. Сказать, что он влюбился в Мариэтт, было бы пошло, и это было бы не то. Произошло какое-то «касание мирам иным». Когда приближается к швейцару Мариэтт, он уже чувствует себя не швейцаром Никандром, он преображает все — и себя, и мир, потому что и она преображает и властвует. Он стоит перед ней и прибивает гардины. «Крюки вбиты неправильно,— говорит он глухо.— Немного не приходится». Мариэтт смотрит: «Придется». Мариэтт говорит не зря. Она бледна и думает о другом, но наверно знает, что придутся какие-то бедные крюки, которые так далеко от ее молодой жизни, блистательной, победоносной. Конечно, придутся! Как он мог думать иначе? Ударил несколько раз молотком сбоку, погнул, портьера повисла мягко и покорно».

Эта чудная нежность и тонкость изображения, это понимание Никандра с его, самому ему непонятной, тоскою по черным глазам Мариэтт, по ее рукам, которые, «две легкие птицы», лягут на плечи кого-то «счастливейшего»,— это производит в рассказе Зайцева впечатление волшебства, сказочного сна, и

точно видишь перед собою тот солнечный ореол, который в благословенной игре своей озарил вместе, сблизил в великом равенстве своего золота далеких друг от друга Никандра и Мариэтт. Кто молится ей, Зайцев или Никандр, кто говорит эти слова: «Мариэтт, Мариэтт! Вы не знаете пьяных ночей, грубой сволочи, кабаков, участков, боли дикой. Вы цветете в тишине, вы гиацинт за стеклом, ваши стройные ноги попирают землю легко: как триумфаторы прекрасного. Вот вы мелькнули в прихожей, блеснули, и поплыла ваша прелесть дальше, навстречу весне, природе, чудесному, чего вы на земле являетесь носительницей»? Это, несомненно, говорят общечеловеческие уста, это говорит в Никандре его возможное, тот потенциальный поэт, который не заглушен в нем его безобразной долей, его службой у дверей, в преддверии жизни, и которого подслушал в нем чуткий Зайцев. Пусть, когда Мариэтт уехала в Париж, туда, к Люксембургскому саду, где шумят каштаны и играют дети, пусть Никандр после этого кошмарно «гулял» с проституткой и оскорбил, осквернил свои чистые миры — все равно в глубине его души, как в глубине реки, жила она, Мариэтт, светлая, благоухающая, с руками легкими, как птицы, и вместе с нею жило счастье. Правда, она может, Мариэтт, уйти из этой глубины, и суетный ветер жизни умчит навсегда ее счастливый образ,— но той поэзии, которая есть в Никандре, не сотрет никакая сила.

* * *

Увлекает в ранних рассказах Зайцева своеобразное отношение к природе, глубокое уменье расщеплять жизнь на тонкие волокна, почти неуловимые и, однако, несомненные. Точно автор, пристально вглядевшись в космическое целое, заметил в нем такие детали, услышал в нем такие тоны, которые для глаза менее зоркого, для слуха менее чуткого смыкались раньше в одно целое. То, что для остальных слитно, для Зайцева раздельно, и оттого мир, казалось бы исчерпанный, развернул перед ним новые непочатые области. Мы слишком субъективны и антропоцентричны в своей оценке реальности; великое и важное для нас, может быть, не таково в общем строе существования; и наоборот, мелкое значительно. Мир полон событий — не тех ярких и громких, которые только и выводят нас из сонного равнодушия, чувствительно задевают нас: нет, важно все, что происходит, оттого что все космично, и есть голоса в тишине. Вселенная говорит, и, приникнув к ее сердцу, которое бьется везде, поэт слушает ее несмолкающую речь. В жизни титана-мира

полно смысла каждое движение. И если доносятся к вам сумеречные отблески и отзвуки белых полей или воют волки, то это не безразлично ни для природы, ни для души: это — факт, мимо которого вы не пройдете, коль скоро своим проводником по жизни вы избрали Бориса Зайцева, поэта мировых подробностей. Таких фактов в его первой книжке очень много, и даже трудно иногда следить за их перечислением. Бесконечно малые явления в бытии мирового тела и мирового духа намечены в коротких фразах, выразительных и свежих; но одна следует за другою без видимой необходимости, которая бы определяла их число, предуказывала им конец. Однако в результате этого сцепления тончайших замечаний отдельные звенья жизненных фактов примыкают друг к другу и в кругообороте своего внутреннего движения опять возвращаются к Целому, образуют великое Одно. Есть у Зайцева это стремление восполнять единоличное; по-видимому, он накопляет отрывки, дроби,— но нет, его не удовлетворяет одна только enumeratio simplex, его влечет к синтезу, и потому отдельные бабы, которые оплакивают своих солдат, гонимых на бойню, образуют целый «бабий мир», и не просто мужики тащат пасхи в церковь, а это «громаднейшее всемужицкое тело копошится по стране». Впрочем, синтез Зайцева состоит не только в этом возведении единичного на степень категории, в этом обобщении частностей, но и, главное, в том сосредоточенном лиризме, который он целомудренно старается сдержать и который все-таки дышит в его строках.

Связанность мировых фактов приводит к тому, что сближается далекое, сходится разное,— тем более что все жизненные нити встречаются в многострунном сердце поэта, как в центре, идеально объединяющем вселенную. Вот, например, волки устало и болезненно заводят мистическую песнь своей злобы и голода, дикую жалобу тоски и боли, и тогда на полустанке у угольных копей слышит ее молодая барыня-инженерша, и кажется молодой барыне, что это поют ей отходную. Кто поет? Мир. Не думайте, что ему нет дела до одинокой женщины, заброшенной в снежную степь. Ему до всего и до всех есть дело. И это знает чуткий поэт. «Небо стоит над нами, над городом и надо всем миром. Что оно стоит там, что слушает наш разговор? Дальше глубокое небо, в котором тонем все мы; но молчит и слушает нас». Мы тонем в мире, но мир слушает нас.

Что же такое он сам? Когда в пучине бесконечной мглы происходит озлобленная борьба охотника со зверем в безлюдном поле, и побеждает его охотник, и потом вспоминает о своей победе над «ненужным» волком и о предсмертном сверканье его ненавидящих глаз, то нет ничего удивительного в том, что

вы увидите мир как «неподвижное лицо Вечной Ночи, с грубо-вырубленными, сделанными как из камня огромными глазами», из которых смотрит «спокойное, величавое и равнодушное отчаяние». Именно на охоте возникает это чувство связанности с миром, с его каменным Сфинксом, ибо никто больше охотника, выступающего против живых и животных, не сливается в одно с природой. И здесь все так странно, так страшно: почему в убитого зверя, привезенного домой, угрюмо и молчаливо всматривается старуха Аграфена, которая прожила на свете уже около восьмидесяти лет? Что родственного, что враждебного чует она между собою и поверженным сыном леса?

Тютчевская ночь, Вечная Ночь, хорошо известна Зайцеву; но сам он не темный, и еще более любо и дорого ему — солнце. Нельзя передать, как он чувствует, как глубоко следит за его лучами, вызывающими жизнь в земле и на земле. Мы привыкли к солнцу,— Зайцев не может привыкнуть к нему; он безустанно, с прежним, неубывающим восторгом любуется на это ежедневное космическое чудо. Солнце для него — «золотой приятель», который напояет липы и ласкает «теплое, прозрачно-персиковое тело» молодой женщины. Тешит его даже «золотой зайчик», отражающийся от пряжки женского пояса. Золотое вино солнца, благодатный напиток всего живого, опьяняет автора, и, например, его рассказ «Миф» так полон солнца, что самые страницы его будто лучезарны и горячи. Какой ослепительный свет, какая упоительная нега!

Солнце еще не кончило своей благословенной работы. Когда же она кончится, когда сфинкс ночи будет победным светилом низринут в бездну хаоса, тогда мы не станем бесплотными духами, а будет у нас «роскошное, плывучее и нежное тело», и оно «будет как-то мягко кипеть, пениться и вместо смерти таять, а может и таять не будет, и умирать не будет». Пока же оно умирает, и погасают дети солнца. Но, быть может, именно потому, что Зайцев — солнцепоклонник, он и смерть рисует в тихом озарении, и рассказ о смерти, кроткий и светлейший, так и называется: «Тихие зори». Вот глава из него,— выпишем ее: в ней пять строк. «Верно: Алексей так больше и не встал. Что-то сдвинулось в нем навсегда в ту ночь; какая-то упорная сила с тех пор безостановочно, почти вежливо вела его к концу. Конечно, его лечили; конечно, боролись, но было ясно, что все должны молчать». Немому красноречию смерти подобает человеческое молчание. Но у Зайцева в молчании — молитва. Образ умершего Алексея растаял в белом, светлом, растворился в природе, и мы видим белые соборы, перламутровые облака, и вот девушки в белых платьях, «белый лет»

танцующих гимназисток,— «как будто белые голубицы кружат над их душами, и сами души курятся — белесым, весенним дымом», и Зайцев, любовник белого, нежный любовник тишины, русский Роденбах, испытывает какое-то счастье горя; он сам говорит о «благословении горя», но ведь благословение и есть счастье. Душа поэта отдается белому, прощает призрачной смерти и зажигает «свечу любви». «И снова время. Его набралось уже год со смерти Алексея, оно возводит свой прозрачный, хрустальный курган в моей душе». Здесь пленительно не только самое выражение «прозрачный, хрустальный курган», но и победа, одержанная над смертью. Мир примирил с утратой одного человеческого существа, потому что и утрачено оно только в грубом смысле, на поверхностный взгляд, требующий ощутительного присутствия; на самом же деле «тебя нет, хотя ты идешь и видишь». Чтó раз обласкало солнце своим лучом, то может перейти в зеленое, в белое, в какую-нибудь краску и ласковость природы, но не исчезнет никогда. Вот сидит ребенок с няней, летом, когда «свято пахнет травой» и «кто-то, могучий и безымянный, залил все прозрачной зеленью»; и няня и ребенок — «не они ли в той зелени, и то зеленое не в них ли?».

Неподвижное лицо Вечной Ночи, ее затаенная вражда, ее холодная десница Каменного Гостя, и солнце, солнце — между этим ужасом и этой радостью проходит творчество Зайцева. Он говорит в одном месте: «Под тихой церковью была бездонная, черная тьма», и слова эти как бы характеризуют самого писателя. Белая церковь духа, чарующая своей «русской незаметностью», хрустальный, прозрачный курган идеализма и художественного пантеизма,— в то же время тонкое внимание ко всему темному и трагическому и смелый натурализм, который отмечает, что «постояльцы смрадно спят, клокоча горлом» и что «волосатые тела накаляются изнутри жаром съеденного за день; кулебяки, гусь с капустой переходят в темно-пламенные желания». Для автора очень существен своеобразный утонченный материализм,— мы видели только что: у него самые души курятся белесым дымом; он не отличает материи от духа,— дух материален, но зато материя духовна, материя легка, и не нужно больше чем minimum вещности, и так хорошо в Рафаэлевом «светлом хоре отвлеченностей». В рассказе «Черные ветры» он описывает вакханалию черной сотни; и знаменательно, что для него последняя тоже сливается с общекосмическим или, лучше, хаотическим началом зла. «Черное» — это для Зайцева не только слово; он черноту ощущает, ею страдает, и черные ветры черносотенных убийств и насилий веют для него от той самой Ночи, которая в спокойном, застывшем отчаянии смотрела на

борьбу человека с волком и которая смотрит на борьбу человека с человеком. «Глухая, страшная ночь чернеет вокруг нас и над нами, и все равно, смотреть ли вверх, вниз или еще куда. Все вокруг одинаково непонятно и враждебно нам».

У Зайцева — и человек, и мир, слитые в единой жизни. При этом показано, как мир входит в человека, как стихия пробирается в единичный мозг, раскалывается на отдельные личности. Вот нищий старик. Он не отделен от мира, не фигура мирового пейзажа: он — самый пейзаж, в него вошла родная страна: «*в нем* длинные дороги, размокшие избенки, многолетняя жизнь». Особенно слышится запах земли, запах чернозема, который «глубок-глубок, как бабушкина простая всегдашняя дума». Зайцев вообще чувствует землю, и ему больно, что люди бороздят «лицо праматери», думая свои грузные думы. И вот на полях являются правильные куски, «четырехугольные, узкие и квадратные, точно ломти чернейшего хлеба». Но как не бороздить и как не быть хлебу? Солнцу повинуется пахарь; будем все слушаться солнца.

Зайцев переживает проникновение человека единой жизнью, великим Всем. И оттого пусть рассказы его покажутся однообразными по своей манере, трудными; пусть не сразу входят они в сознание,— но уже оттуда они не выйдут. Останутся они в душе не как отчетливый сюжет, не как рисунок, а как неизгладимое настроение, от которого усиливается наше сопричастие миру.

* * *

Необычайно любовное, ликующее и тесное — теснее нельзя — приближение к природе и человеку — простому, маленькому, незаметному человеку, которого хочется благословлять уже за то, что он живет и дышит: вот что у Зайцева. В наши хмурые дни он поет и пьет солнце, и на сеть лучей похожи его рассказы. Юной радостью бытия, тихим восторгом счастья наполняет он, переполняет чашу своего дарования. Опьяненный солнцем, он вливает его в наши утомленные души. Как не полюбить вместе с автором полковника Розова, который, впрочем, даже не полковник, а только капитан в отставке и который только и делает, что копается в грядках, охотится, пускает змея с мальчишками? В огромном мире какое крошечное место занимает добрый старичок, но Зайцев его заметил и так обласкал. Это — потому, что для него нет малого, и какие-то связи, золотые солнечные паутины ткет он и проводит между частью и целым, между полковником Розычем и космосом. Вот Ока

легла «вольным зеркальным телом, как величавая молодка. И от нее ветер уже не тот — древний, спокойный, великий ветер» — так сказал Зайцев, и сразу раздвинулись от Оки перспективы в мир, в пространство, в вечность. Вот сидит толстый сыровар, и хохочешь над его лысиной, и «вдруг поднимаешь глаза выше, не так особенно, а выше, и увидишь его звезду». «Даже странно подумать: от нас, от убогой избенки полковника, этих бедненьких редисок... вверх идет бездонное»,— звезды продолжают землю с ее Розычами и редисками. От нас идет бездонное: это глубоко чувствует Зайцев, и оттого он молится космосу, молится солнцу. Вот оно взошло: «точно шелковые одежды веют в ушах, и кажется, побежишь сейчас прямо, навстречу, и всего беспредельно пронзят эти ласкающие лучи, волосы заструятся по ветру, назад, будто от светлого плывучего тока. О, взять арфы и стать на колена и долго, в исступлении петь на восток», — откуда восходит солнце, то солнце, которое стелет под ноги людям свои «голубовато-золотистые ковры». В наше старое и усталое время Зайцев смеет, умеет восторженно идти навстречу вечно молодому солнцу с игрою всех его многообразных освещений.

* * *

Нежной и целомудренной мелодией звенит у Бориса Зайцева его «Сестра» — веет «ласковый ветерок любви и дружбы», грустит обиженное сердце оттого, что уходит жизнь; но сильнее грусти и смерти любовь, и, когда молодая мать склоняется над своею девочкой, такое чувство наполняет, переполняет ее кроткую и простившую душу, что этого нельзя сказать словами,— нужно молчание и молитва. Оттого, когда эта женщина, эта Маша, сразу всем ставшая сестрою, свешивает свою белую руку, брат целует ее в ладонь,— «благоговейно, будто прикладывается к золотой ризе». Она, Маша, «очень устала в жизни», и самая жизнь куда-то уплыла, все передвинулось, и все неуклонно движется к смерти, которая, верно, в такую непробудную ночь «тихо разгуливает по всем нашим службам и старым «личардам», и около тети Агнии она гуляет и все тянется дать ей свою чашу: темную чашу гибели».

Вообще, трудно передавать содержание зайцевских рассказов,— да его и нет, этого обыденного «содержания», а есть человеческая музыка, и хочется только читать и выписывать все эти ласкающие слова. «Вот ты мне и скажи: так, родились мы с тобой, жили сестрой и братом, и любили друг друга, и люди мы ничего себе,— а, однако, главным образом, страдаем...

и умрем, над нами все будет такая же ночь, да могила еще сверху. Как ты думаешь, к чему все это? Так себе, зря или не зря?»... Беспомощные, робкие дети мира, они прижимаются друг к другу, и брат хотел бы ответить сестре,— но какой брат знает наверное ответ на эти вопросы, кто может обещать и сказать что-нибудь — утешающее или безутешное? И они сидят в недоумении и тоске, но потом чувствуют себя правыми перед жизнью и смертью, потому что они любили: «это ничего, что нам плохо, право, это ничего». «Ну, пусть, пусть мы умрем все, но мы так любили, так любили». И в душе, в усталой, но любовной душе зарождается человеческий псалом: «Да будет. Нам дано жить в тоске и скорби, но дано и быть твердыми, с честью и мужеством пронести свой дух сквозь эту юдоль, неугасимым пламенем и с спокойной печалью умереть; отойти в вечную обитель ясности. Это непреложно, и это дает сердцу мир и твердость. И тишина теперь, не есть ли она отображение той вечной тишины, что ждет нас? Боже, Боже, пусть будет всегда так в нашем усталом сердце».

* * *

«Аграфена», глубокая повесть Зайцева,— своего рода «Жизнь человека», жизнь женщины, испытавшей «многие скорби», обычные женские скорби: в любви, замужестве, материнстве. От ее юности, когда на «дальней заре своей жизни, семнадцати лет, стояла Груша в поле ранней весной», и до старости, до смертного часа следит за нею автор и рассказывает о ней в свойственном ему стиле углубления и лирической возвышенности. Он так передает эпопею своей простой героини, что каждая обыденная страница ее существования принимает мистическое озарение, и невольно возникает у читателя мысль, что вся жизнь есть нечто священное, что мы не столько живем, сколько богослужение совершаем. И крупное, и деталь Зайцев неуклонно вплетает в универсальное целое, и при таком мировоззрении из мира исчезает мелкое: все важно, все значительно, все свято. Когда Аграфена встретилась с кучером Петькой, она из огненной чаши пила, долго, жадно. И на сеновале, когда приходил он к ней, были «пламень объятий, любовная борьба, торжественное, буйное богослуженье: на алтаре жизни». Это впечатление космичности еще усиливается тем, что автор биографию или, лучше, житие Аграфены соединяет с событиями природы; не безразлично для нашей судьбы, краснеет ли май, юный отрок года, «пролетая в огненных зарях, росах», подошли ли Святки, «белотихие, точно приплыли по безбрежным снегам», день ли сияет,

или «великие панихиды ночи простираются завыванием ветров, свистом метели и безмерным мраком», или заходящее солнце «прощально золотит дубовый венок — лавры смерти».

Хотя вся повесть написана в таком повышенном тоне молитвословия («Он пришел, пришел черный Аграфенин день... пусть будет рассказано об этом»),— но чарами своего таланта, одновременно и сильного, и нежного, Зайцев сумел спасти свой рассказ от однообразия и утомительности. Такая чистота проникает его страницы, такой лиризм обвевает его, что нельзя противиться идущему отсюда светлому настроению пантеистической примиренности и религиозной тишины. Звучит у Зайцева акафист человеческой душе, например этой тете Люце, которая возносит к небу свои «многоопытные молитвы» — многоопытные от частого общения с Богом, от частой потребности возносить Ему свои молитвы и скорби.

Не все эпитеты у автора сразу естественны, сразу понятны (морщины — «как мудрые овраги»), но он умеет называть вещи; они все для него живы, как эта луна, «предводительница звездных караванов», и своим сердцем приникает он к их сердцам. «О ты, родина! О, широкие твои сени — придорожные березы, синеющие дали верст, ласковый и утомительный привет безбрежных нив! Ты, безмерная, к тебе припадает усталый и загнанный, и своих бедных сынов, бездомных Антонов Странников ты берешь на мощную грудь, обнимаешь руками многоверстными и поишь извечной силой. Прими благословения на вечные времена, хвала тебе, Великая Мать».

Как жизнь Аграфены, так и смерть ее была внутренне благолепна и священна. «Монахиня подала ей руку, она взяла ее, медленно-медленно затянулось все туманными завесами, как бы сменялись великие картины, бренные на вечные, и чей-то голос сказал: «Вот идет та, которую называли бедным именем Аграфены, вкусить причастия вечной жизни».

Таковы эти звуки торжественные, не строки, а больше оратория: свою Аграфену, как и дочь ее, утопившуюся девушку Анну, которая, «как всегдашняя Офелия, сидит у пруда», Зайцев точно не пером написал, а сыграл на органе, в храме готическом.

Ибо каждый человек достоин этого; не только святые, но и все имеют право на нимб; каждый человек — мистерия, и все мы, бедные Никандры и Аграфены, должны помнить это и в этом черпать утешение во многих скорбях своих.

* * *

На коротком протяжении, в форме какого-то лирического протокола, с удивительной сжатостью, в глубоком тоне мудрости

дает Зайцев в «Елисейских полях» нечто поистине чарующее. Рассказанная им человеческая биография неотразимо действует на всякого, потому что, в иных комбинациях, с другими признаками, она может быть отнесена ко всякому. В ней сквозь местные подробности светит вечное содержание. В ней сказывается присущее автору чувство Москвы, но далеко за Москву уносятся мысль и чувство читателя. Эти переезды героя с квартиры на квартиру, с Тверской на Кисловку и с Кисловки на Арбат, эти обиды и поздний лавровый венок, положенный в гробу, эта обманувшая любовь на печальном закате и даже то, что он, обманутый, поседевший, не был талантлив, а был посредствен,— все это растрогивает и глубоко проникает в душу. Трудно даже объяснить, что в художественной эпитафии «Елисейских полей» так волнует и потрясает, но зато и трудно не отдаться ее необыкновенным чарам. Меняют жилища, переезжают с Молчановки на Собачью площадку, пишут книги, ищут славы, любви, находят горечь, равнодушие, и, наконец, с какого-нибудь Сивцева Вражка уж навсегда, как в последнюю обитель, переходят в Елисейские поля: такими чертами набрасывает писатель жизнь человека, и свой эскиз, нет, свою законченную поэму, человеческую мистерию он завершает изумительным аккордом: «Вероятно, царство теней, к которому всю жизнь летел он, было теперь для него раскрыто. И он оставлял нас — всех, кто, быть может, знал его и любил,— лететь, как и он, сквозь тусклые дни, к этой туманной и зыбкой стране». От этих обобщающих слов является чувство родственности с тем, о ком поведал Зайцев, чувство единой людской участи, и в тусклые дни, в наши бедные происшествия входит что-то важное, торжественное, единственно серьезное. Покрывая все шумы жизни, звучит орган. И вообще каким-то органистом во храме нашей словесности является Борис Зайцев.

* * *

В дымке ненавязчивой меланхолии движутся тени и силуэты Зайцева. Дыхание «земной печали», светлой печали испаряется от его страниц, и как бы ложится на них голубой свет месяца — «небесного меланхолика: бледный, тонкий, он напоминал агнца». И на этом фоне — Россия, Москва, ему любезная, столько раз им тепло и ласково воспетая, Москва в «тихом мрении куполов золотых», улица святого Николая — Арбат, русская деревня, «благоухание, данное Господом Богом мужицким полям», лес с брусникой и черникой, лес, навевающий воспоминания об Ивиковых журавлях: «Милый, бедный Ивик!

Он шел по такой же тропинке, среди леса, он был чист сердцем и невинен». Ранняя весна, когда по бледно-зеленому мартовскому небу, в часы заката, ложатся «пряди розоватых облаков, всегда говорящих о неизъяснимо прекрасном»; тянет с поезда, из вагона, где собралась «простенькая, ситцевая Россия»,— в лес; если бы пойти в него, «он был бы полон весеннего шума вод; малые ручьи шуршали бы мягко, а вдали, как чудесный аккомпанемент басов, гудели бы голоса *великих вод*». И все это весеннее, но вечернее образует «меланхолически уходящий пир природы».

В тонах этой меланхолии, еще более просветленной юмором и тою важной, серьезной и спокойной интонацией, с которой Зайцев, и нарочно и естественно, говорит о малом и смешном, он без тяжелой тщательности вырисовывает свои фигуры — легко, сквозисто, не нажимая пера: поистине тонкие намеки делает он в своем светлом творчестве. Читатель их понимает, принимает; ясно, например, что значит выражение: «детские воспоминания, образы, делающие человека *влажнее* и добрей». Психологически-музыкальный, осторожный в своих словесных прикосновениях, Борис Зайцев скорее недоговорит, чем скажет лишнее. Впрочем, есть у него и исключения из этого прекрасного правила: так, в конце рассказа «Маша» молодой женщине Лизе, чья не удалась жизнь, любовь и замужество, не следовало бы в повествовании об этой неудаче идти дальше желанно-неопределенных, читательской догадке простор оставляющих слов: «нам с Александром Иванычем не удалось... не вышла наша жизнь». И в этом же рассказе (как и в «Петербургской даме») есть у автора другого рода длиннота, так сказать, длительная длиннота: там две героини, и Маша нисколько не центральнее Лизы; в фокусе — одинаково обе, и удвоена, и повторена одна и та же, по существу, элегия женской судьбы, по двум параллельным колеям поведен один и тот же, по существу, жизненный кортеж; а петербургская дама в восприятии читателя сливается с петербургской барышней, Маргарита — с Лизой, и один образ повторяет другой,— во всяком случае, в Лизе предваряется Маргарита. Может быть, в этом сказалась общая замедленность писательской поступи у Зайцева, ровное настроение его духа как беллетриста, совсем не порывистый темп его души. Хотя он, как мы только что видели, вовсе не многословен, он в то же время не спешит и часто останавливается. Показательна в этом отношении одна внешняя деталь у него: знак остановки, знак препинания, запятую он ставит там, где грамматика на это его не уполномочивает. Зачем, например, отдыхать писателю и читателю, зачем медлить обоим перед столь маленьким и не-

трудным мостиком, как «и», в сочетаниях: «было солнечно, и тепло», «прекрасная жизнь, и любовь», «милый, и грустный звук», «пахло духами из комода, и липовым цветом», «она все приняла, и поняла», «славный, и кроткий русский вечер»? На таких коротких расстояниях запятые как будто неуместны; но всякий почувствует, однако, что ими осуществляемые паузы — не пустоты, которых боится природа и искусство, а наполнены они каким-то душевным содержанием, имеют свой психологический смысл.

Медлительность писательских реакций и нестрастность акварельной души, разумеется, нисколько не обрекают автора на равнодушие. Он внимателен и ласков к своим героям — хотя бы к этому представителю любимой зайцевской московской богемы, художнику Шалдееву с золотисто-козлиной бородой: получив три рубля взаймы, он с этой «трехрублевкой у сердца, с душой, полной туманных бредов, зашагал по Бронным. Земля казалась ему недостаточно почтительной, и слишком грубой для поступи его, преемника великого Веласкеза». Борис Зайцев умеет и презирать, легкими касаниями своими губить (это испытал на себе его пошлый студент Фомин из «Кассандры»),— но больше всего знает он чуткую, хоть и не громко выражаемую приветливость к людям и понимает их тонкие, иногда застенчивые боли. Он видит, как в темноте холодными тяжелыми слезами плачет г-жа Переверзева, «смуглая сорокалетняя дева», честная, целомудренная, суровая, «безусловная», но при всех этих «честных качествах и достоинствах» жизнью забытая и пренебреженная. А студент Матушин, такой добродушный и простой! Он и умер просто, заразившись тифом на голоде в деревне. Перед смертью написал он два письма и, кончив второе, вдруг заплакал. Затем сдержанно проговорил: «Вот и смерть пришла. Двадцать шесть лет. Стало быть, Москвы не увижу». А потом в полубреду, сводя последние счеты с жизнью, стал записывать на бумажке свои долги, свои студенческие долги: «Богемия... за биллиард шесть, Ефимову три, в пивной Алексею десять»... Необидную жалость к человеческому сердцу, к историям его любви, надежд и разочарований соединяет Зайцев с даром философских раздумий, и для него характерно, что, относясь ко всякому из своих героев очень серьезно, он от мелочей их конкретной жизни, от любого пункта ее, невольно и неискусственно переходит к обобщению, к синтезирующей мысли, так что бедные подробности существования сразу загораются важным и глубоким светом. Так, мельком набросанная история одной усадьбы, недалеко от которой находится древний курган, неодолимо настраивает автора на элегически-философ-

ский лад, и от этой крохотной точки русской земли раскрываются горизонты во всю даль, во все стороны жизни и мироздания; и мы не без волнения читаем эти старые и вечно новые размышления: «Ныне усадьба населена. В ней есть старые, средние, молодые и крошечные люди. Старые знают, что уж никуда отсюда не уйти; средние свыкаются с монотонной, уединенной жизнью; молодые рвутся в столицу; крошечные блаженствуют среди садов, грибов, лошадей. Но судьба всех, живущих здесь, в конечном счете еще неясна. Их летопись не записана. Смутным августовским вечером, в сумерках, при желтеющем жнивье и светло-зеленых зеленях, глядя на вечный, таинственный круговорот вселенной, проходя в полях по давно знакомой меже, человек может вспомнить дикого скифа, успокоившегося в кургане; мысленно взглянуть на русских монахов, гнездившихся в лощине; с улыбкой — и насмешливой, и сочувственной,— окинуть взором толпу чудаков, именуемых русскими помещиками... Легкий ветер времени, тоже как бы с улыбкой, играет всем этим, завевая былое легендой. Философ же давно свыкся с мыслью о разлуке с земным. Давно привык видеть пустынную, и светлую вечность. Все же безмерно жаль земного! Жаль неповторимых черт, милых сердцу, жаль своей жизни и того, что в ней любил. Возвратясь в свою комнату, взглянув на дорогие портреты, дорогие книги, тоже с усмешкой подумаешь, что, быть может, через тридцать лет твоим Пушкиным будут подтапливать плиту, а страницы Данте и Соловьева уйдут на кручение цигарок. Тогда летописец скажет слово и о твоей жизни. Какое это будет слово? Кто знает?»

«Легкий ветер времени», сметая все, неприкосновенными оставляет некоторые слова. Пролетая над Россией, он, несомненно, среди других, более мощных и жгучих слов пощадит и прекрасные, в своей тихости печальные, хрустальные, лирические слова Бориса Зайцева.

ПРИМЕЧАНИЯ

Второй том Собрания Б. К. Зайцева составили произведения, созданные писателем с 1915 по 1926 г. В это десятилетие о нем уже пишут как о выдающемся мастере, авторе таких шедевров, как «Голубая звезда», «Улица св. Николая», «Авдотья-смерть», «Преподобный Сергий Радонежский» (эта житийная повесть публикуется в дополнительном томе избранной духовной прозы Зайцева). Трагедийное время большевистского переворота и гражданской войны вошло в его книги усилением мотивов смерти и бо́льшей обращенностью к Богу, к церкви как миротворящей силе, утишающей боли и горести, несущей свет надежды и противостоящей сатанинскому разгулу людских страстей.

Мать и Катя

Впервые в сборнике Книгоизд-ва писателей в Москве «Слово». М., 1915. Сб. 4. Печ. по изд.: Зайцев Б. Избранные рассказы. 1904—1927. Белград, 1929.

С. 41. *Фауст, Маргарита, Марта, Мефистофель* — персонажи трагедии «Фауст» Иоганна Вольфганга Гете (1749—1832).

...любителя рубенсовских изобилий...— Питер Пауль Рубенс (1577—1640) — великий фламандский живописец, певец страстного жизнелюбия.

С 57. *...читал покойного Владимира Соловьева.*— Владимир Сергеевич Соловьев (1853—1900) — выдающийся русский философ, поэт, публицист, оказавший огромное влияние на литературу, искусство и философию Серебряного века; один из основателей символизма в русской поэзии.

...тот самый, что написал роман «Вольтерьянец».— Всеволод Сергеевич Соловьев (1849—1903) — популярный исторический беллетрист; старший сын великого историка С. М. Соловьева, брат философа и поэта. «Вольтерьянец» — второй роман его знаменитой пенталогии «Хроника четырех поколений».

Кассандра

Журнал науки, политики, литературы «Вестник Европы». Пг., 1915. Март. Печ. по изд.: Собр. соч. Кн. 5. Берлин; Пб.; М., 1923.

С. 73. *У нас и Репина знают, и Клевера, и Маковского.*— Илья Ефимович Репин (1844—1930) — великий живописец-реалист, входивший в группу передвижников. Юлий Юлиевич Клéвер (1850—1924) — живописец-пейзажист. Братья Маковские Константин Егорович (1839—1915) и Владимир Егорович (1846—1920) — выдающиеся живописцы-передвижники.

С. 79. *Напророчила унылая Кассандра!* — В греческой мифологии дочь царя Приама Кассандра наделена была даром провидения, но предсказаниям ее никто не верил. Не поверили, в частности, и троянцы ее предвещанию не вводить в Трою деревянного коня, что привело их к гибели.

С. 82. *«Синий журнал»* — популярный иллюстрированный литературно-художественный еженедельник, издававшийся в Петербурге с 1910 по 1918 г.

...великого Веласкеца.— Родригес де Сильва Веласкес (1599— 1660) — испанский живописец.

С. 88. *...что осталось бы от разных Дуччио и Чимабуэ.*— Дуччо ди Буонинсенье (ок. 1255—1319) и Чимабуэ (наст. имя — Ченни ди Пепо; ок. 1240—1302) — итальянские живописцы эпохи Проторенессанса.

Петербургская дама

Ежемесячное литературно-политическое издание «Русская мысль». М.; Пг., 1915. № 5. Печ. по изд.: Собр. соч. Кн. 5. Берлин; Пб.; М., 1923.

С. 93. *...занималась босоножеством...*— Имеются в виду занятия в школе танца Айседоры Дункан (1878—1927).

С. 99. *Гофманеталь* Гуго (1874—1929) — австрийский поэт-символист.

С. 108. *...из-за преимуществ Собинова пред Смирновым...* — Л. В. Собинов (1872—1934) и Д. А. Смирнов (1882—1934) — знаменитые теноры, солисты Большого театра в Москве.

...у него над кроватью Милюков висит...— Павел Николаевич Милюков (1859—1943) — историк, политический деятель, лидер партии кадетов; в эмиграции — главный редактор ведущей русской газеты в Париже «Последние новости», в которой до осени 1927 г. активно работал Б. К. Зайцев.

Бездомный

Зайцев Б. Земная печаль: Рассказы. М., 1916. Т. 6. Печ. по изд.: Собр. соч. Кн. 5. Берлин; Пб.; М., 1923.

С. 115. *Читал Ленотра...* — Андре Ленотр (1613—1700) — французский архитектор, мастер садово-паркового искусства, устроитель парков Версаля, Сен-Клу, Фонтенбло и др.

...лиможские эмали в Клюни.— Во французском городе-музее Клюни богато представлены изделия из меди с росписью непрозрачной эмалью, изготовлявшиеся в Лиможе.

Богиня

Книгоизд-во писателей в Москве, 1916. Т. 6. Печ. по изд.: Собр. соч. Кн. 5. Берлин; Пб; М., 1923.

С. 124. *...читала стихи Сафо ..*— (Сапфо; 7—6 вв. до н. э.) — древнегреческая поэтесса, основавшая на о. Лесбос кружок знатных девушек, которых обучала музыке, танцам и стихосложению (сочинению песен).

Маша

Слово. М., 1916. Сб. 5. Печ по изд· Собр. соч. Кн. 5. Берлин; Пб; М, 1923.

С. 131. *...ознакомиться со священными предметами, как-то: потиром, лжицей, дискосом.* — Потир — литургическая чаша на высокой ножке для освящения вина к ритуалу причастия. Лжица — ложечка для раздачи святого причастия. Дискос — блюдо для просфор (круглого хлебца для причастия).

С. 132. *...старый сборник «Знания»...*— Книгоиздательское товарищество в Петербурге «Знание» (1898—1913) с 1914 г. выпускало одноименные сборники (их вышло около 40); в числе авторов — в основном примыкавшие к кружку «Среда»: А. П. Чехов, М. Горький, И. А. Бунин, А. И. Куприн, В. В. Вересаев и др.

С. 133. *...в таких трудных словах, как проскомидия, литургия оглашенных.* — Проскомидия — обряд приготовления Святых Даров для причастия. Литургия (обедня) — центральное богослужение православной церкви, во время которого исполняются молитвословия для чтения и пения. Эти богослужения разделяются на литургию верных и литургию оглашенных, т. е. готовящихся к крещению и кающихся в грехах, отлученных от причащения. Литургии (у католиков — мессы) создавались многими великими композиторами, среди них — П. И Чайковский, С. В. Рахманинов и др

С. 135. *Благочинный* — священник, наделенный властными полномочиями по отношению к нескольким церквам, приходам и причтам; глава церковного управления (благочиния).

С. 146. *...несколько басок...* — Баска — кофта со сборкой.

С. 148. *...критикуя Куропаткина...*— Александр Николаевич Куропаткин (1848—1925) — генерал от инфантерии, в 1898—1904 гг. военный министр; в русско-японскую войну неудачно командовал войсками в Маньчжурии, где потерпел поражение под Ляояном и Мукденом.

С. 151. *...позавидовал бы Веронез.*— Паоло Веронезе (наст. имя Кальяри, 1528—1588) — итальянский живописец эпохи Возрождения, создававший праздничные картины, изысканные росписи и панно.

...читал «Новое время» ..— В годы между двумя революциями «Новое время» А. С. Суворина — одна из самых популярных газет (ее тираж был для того времени гигантским — до ста тысяч экземпляров).

...не одобрял Коковцова...— Владимир Николаевич Коковцов (1853—1943) — государственный деятель, министр финансов Российской империи, сторонник реформ П. А. Столыпина (1862—1911). С 1918 г. — в эмиграции; автор двухтомных мемуаров «Из моего прошлого. Воспоминания 1911—1919» (Париж, 1933).

С. 152. *...дал ей несколько нумеров «Jllustration»...*— Французский иллюстрированный журнал «Jllustration» издавался с 1843 г.

С. 154. *Я сбываю их Елисееву..*— то есть в Елисеевский продовольственный магазин — в начале века самый большой в Москве. Его открыл в 1911 г. владелец петербургской фирмы по торговле винами и колониальными товарами Г. Г. Елисеев. Здание — архитектурный памятник XVIII в. (архитектор М. Ф. Казаков), перестроенный в 1898—1901 гг. архитектором Г. В. Барановским.

С. 161. *..разбирать белье у Колесникова и Альшванга.*— Имеются в виду лучшие в Москве магазины готового платья А. Колесникова и братьев А. и Я. Альшвангов.

Земная печаль

Вестник Европы. Пг., 1915. Дек. Печ. по изд.: Собр. соч. Кн. 5. Берлин; Пб; М, 1923.

С. 176. *...он бросался на шею Андреевым-Бурлакам, обнимая Глам-Мещерских...*— Василий Николаевич Андреев-Бурлак (1843—1888) — актер, один из создателей первого московского частного театра (театр Бренко, или Пушкинский, 1880). Александра Яковлевна Глама-Мещерская (наст. фам. Барышева; 1859—1942) — актриса; автор книги «Воспоминания» (1937).

Путники

Слово. М., 1917. Сб 7. Печ по изд: Зайцев Б. Река времени. Нью-Йорк: Русская книга, 1968.

С. 184 *...книга Паскаля: «Мысли».*— Книга философской афористики «Мысли» французского математика, физика, религиозного философа и писателя Блеза Паскаля (1623—1662) вошла в число шедевров мировой литературы.

...называл ее Иосафатовой долиной.— Иосафатова долина расположена между Иерусалимом и Масличной горой; некогда здесь был погребен иудейский царь Иосафат. Пророк Иоиль считал долину местом последнего Страшного Суда Божия над народами.

С. 193. *...на стенах Клевер и Маковский...*— См. примеч. к с. 73.

Он читал Ренана.— Жозеф Эрнест Ренан (1813—1892) — французский писатель, автор знаменитой восьмитомной «Истории происхождения христианства», переведенной на многие языки и популярной в России.

С. 195. *Ту прекрасную Елену, которую считали Премудростью в облике женщины.*— В преданиях сект «симониан» и «елениан» финикийская блудница Елена, ставшая спутницей Симона мага (Симона волхва). Симон считал себя предвечным верховным богом, а преобразившуюся Елену — премудростью (Софией), «космической праматерью, породившей ангелов, архангелов и власти» (С. С. Аверинцев).

С. 202. *Я пойду к Тихону Задонскому*— Знаменитый епископ и духовный писатель Тихон Задонский (в миру Тимофей; 1724—1783) похоронен в Задонском Богородицком монастыре Воронежской епархии, который стал одним из центров христианского паломничества. Сочинения Тихона Задонского были изданы в 15 частях в 1825—1826 гг. Из этого собрания много раз переиздавались

«Проповеди краткие», «Наставления монашествующим», «Наставление христианское», «Правила монашеского жития» и др.

Осенний свет

Альманах «Творчество». М.; Пг., 1918. № 2. Печ. по изд.: Зайцев Б. Путники. Париж: Русская земля, 1921 (републикация с изд.: Путники. Рассказы 1916—1918 гг. М.: Книгоизд-во писателей в Москве, 1919).

С. 241. ...*«бегством Карла Смелого после битвы при Нанси».*— Герцог Бургундии Карл Смелый (1433—1477), возглавивший мятеж феодалов против французского короля Людовика XI, в Бургундских войнах погиб в битве при Нанси.

Голубая звезда

Слово. М., 1918. Сб. 8. Этому изданию предшествовала публикация отрывка из повести 26 февраля (11 марта) 1918 г. в московской политико-литературной (первой писательской) газете «Понедельник». Прототипом главного героя повести Алексея Петровича Христофорова послужил поэт, прозаик, драматург Иван Алексеевич Новиков (1877—1959), с которым дружил Зайцев. «Голубую звезду» писатель (и с ним были согласны критики) не без оснований числил в ряду самых дорогих его сердцу произведений. В письме О. П. Вороновой он сообщал: «Из ранней полосы, думаю, главное — роман «Дальний край» (Москва, 1913) и большая повесть «Голубая звезда». И. И. Тхоржевский (1876—1951), автор монографии «Русская литература» (Париж, 1946), подводя итоги развития культуры в России до зарубежного 1922 г., когда началась история русского эмигрантского рассеяния, писал: «Лучшее из написанного за этот период, до разлуки с родиной,— повесть Зайцева «Голубая звезда». А вот в каком ряду упоминает эту повесть К. Г. Паустовский: «Чтобы немного прийти в себя, я перечитывал прозрачные, прогретые немеркнущим светом любимые книги: «Вешние воды» Тургенева, «Голубую звезду» Бориса Зайцева, «Тристана и Изольду», «Манон Леско». Книги эти действительно сияли в сумраке киевских вечеров, как нетленные звезды» (Паустовский К. Собр. соч.: В 9 т. Т. 4. М.: Художественная литература, 1982. С. 631). Этой повестью Зайцев открыл свою итоговую и последнюю прижизненную книгу «Река времен» (Нью-Йорк: Русская книга, 1968), по тексту которой она воспроизводится в нашем Собрании.

С. 223. *В густой зелени горела золотая глава монастыря.*— Речь идет о Саввино-Сторожевском монастыре в Звенигороде, основанном в 1398—1399 гг. преподобным Саввой (ум. в 1406).

С. 228. ...*в снимке боттичеллиевской Весны...*— Сандро Боттичелли (наст имя Алессандро ди Мариано; 1445—1510) — итальянский живописец эпохи Раннего Возрождения; картина-аллегория «Весна» — один из шедевров великого итальянца.

...*мог поговорить о Шатобриане.*— Франсуа Рене де Шатобриан (1768—1848) — французский писатель-романтик, автор книги «Гений христианства»,

проповедующей христианское подвижничество, поэмы в прозе «Мученики», мемуаров «Замогильные записки».

С. 232. *...и древний собор его белеет.*— Имеется в виду памятник русского церковного зодчества XIV в. Успенский собор на «Городке».

С. 235. *...вошла в храм Рождества Богородицы...*— Рождественский собор, построенный в 1404—1407 гг.; входил в ансамбль Саввино-Сторожевского монастыря.

С. 238. *...у камина — увражи..* — Увра́ж (фр. ouvrage — труд, произведение) — роскошное иллюстрированное издание (альбом) большого формата, состоящее чаще всего из гравюр.

С. 240. *...влюбляется дон Алонзо-Кихада дель Ретизанов.*— Здесь иронически используется одна из фамилий Дон Кихота Ламанчского, героя романа Сервантеса.

С. 242. *Здравствуйте, святой Антоний.*— Имеется в виду Антоний Великий (ок. 250—356), основатель христианского отшельничества.

Ну, вы тогда царица Савская.— Легендарная царица Сабейского (Савского) царства в Южной Аравии, совершившая путешествие к царю Соломону, чтобы испытать его мудрость своими загадками. По некоторым преданиям, у нее были козлиные ноги. Ей также приписывают попытку искушения отшельника Антония. Эта легенда стала темой драмы Флобера «Искушение святого Антония», переведенной Зайцевым в 1907 г. на русский язык.

.. *к Иверской хожу.*— То есть в часовню с чудотворной иконой Иверской Божией Матери у Воскресенских ворот Красной площади. В 30-е гг. часовня была уничтожена (ныне восстановлена).

С. 247. *Как далекий, голубоватый призрак, провела Вега свою Лиру.*— «Героиня» многих произведений Зайцева Вега — одна из самых ярких звезд Северного полушария и главная (альфа) в созвездии Лиры. Вега вместе с Денебом и Альтаиром образуют так называемый «большой летний треугольник», хорошо видный в ночном летнем небе.

. *многие великие люди были даже безобразны, например Сократ* — Древнегреческого философа Сократа (ок. 470—399 до н. э) более всего, по свидетельству его современников, «безобразила» огромная лысина.

. *.Абель в двадцать шесть лет открыл ряды, обессмертившие его имя..*— Нильс Хенрик Абель (1802—1829) — великий норвежский математик, автор первого исследования по интегральным уравнениям и трудов по теории чисел и рядов.

С. 249. *...взяла абонемент на Кусевицкого...*— Сергей Александрович Кусевицкий (1874—1951) — дирижер и контрабасист; основатель Московского симфонического оркестра (1908) и Российского музыкального издательства. В эмиграции — организатор в Париже «Симфонических концертов Кусевицкого» (1921—1928); четверть века (с 1924 г.) возглавлял Бостонский симфонический оркестр

С. 251. *...выступала в «Орфее и Эвридике».*— «Орфей и Эвридика» — опера Кристофа Виллибальда Глюка (1714—1787), известного реформатора в европейском оперном искусстве эпохи Просвещения.

С. 254. *...к сорока годам станут теософками...*— Теософия — мистическая доктрина Е. П. Блаватской (1831—1891), основавшей в 1875 г. в Нью-Йорке первое Теософическое общество; немало ее последователей было и в России, объединившихся в 1910-е гг. вокруг журнала «Вопросы теософии».

«Невольно к этим грустным берегам».— Из монолога Князя в драме А. С. Пушкина «Русалка».

Я тогда же сказал Максиму Ковалевскому...— Максим Максимович Ковалевский (1851—1916) — историк, юрист, социолог, издатель журнала «Вестник Европы» (в 1909—1916 гг), в котором в эти годы публиковались рассказы Зайцева («Изгнание», «Вечерний час», «Грех», «Кассандра», «Земная печаль»)

С. 255. *...завтракали у Габриэля Тарда.*— Габриэль Тард (1843—1904) — французский социолог и криминалист.

Брандес Георг (1842—1927) — датский литературный критик-реалист; автор книги «Главные течения в европейской литературе XIX в».

...рассказывала соседке о лунной манвантаре и солнечных питрисах. Она приводила точные выражения Анны Безант.— В теософских брошюрах, переведенных на русский язык и популярных в России, английская писательница и проповедница Анни Безант (1847—1933), как и ее сподвижница Е. П. Блаватская, пользуется космологическими, сложно толкуемыми терминами «лунная манвантара» и «солнечные питрисы».

С. 256. *...материал по истории хозяйства при Меровингах...*— Первая королевская династия Меровингов правила во Франкском государстве с конца V в. до 751 г.

...поддерживал Бюхера против Эдуарда Мейера...— Карл Бюхер (1847—1930) — немецкий экономист, автор книги «Возникновение народного хозяйства». Эдуард Мейер (1855—1930) — немецкий историк Древнего мира, автор пятитомной «Истории древности».

...покойный Николай Константинович Михайловский прямо указал мне...— Герой повести в своих рассуждениях опирается на вызвавшую широкую полемику статью «Жестокий талант» (1882) Н. К. Михайловского (1842—1904), известного критика, публициста и социолога, соредактора журналов «Отечественные записки» и «Русское богатство».

...Макс Нордау был совершенно прав, утверждая ..— Макс Нордау (наст. фам. Зидфельд; 1849—1923) — немецкий писатель-врач, автор знаменитой книги эссе «Парадоксы» (1885) и вызвавшего долгую полемику сборника статей «Вырождение» (1892—1893), в которой подверг критике наиболее популярные произведения европейской литературы с точки зрения .. психиатрии.

С. 259. *...nature morte Сапунова, вариант красных цветов.*— Николай Николаевич Сапунов (1880—1912) — живописец и театральный художник, создатель декоративных натюрмортов («Пионы» и др.).

С. 260. *Проходя мимо большого бехштейновского рояля...*— Имеется в виду рояль знаменитого берлинского фортепианного фабриканта Фридриха Вильгельма Карла Бехштейна (1826—1900).

С. 262. *Мюр и Мерилиз сиял...*— «Мюр и Мерилиз» — фирменный магазин

английского торгового дома в Москве на ул. Петровка; с 1922 г. — Центральный универмаг (ЦУМ).

С. 263. *У Сиу пили шоколад...*— Имеется в виду один из магазинов кондитерской фабрики товарищества «Сиу и К°», основанной в 1855 г. французами в Москве (с 1924 г. — фабрика «Большевик» на Ленинградском пр.)

С. 264. *...прокрадывалась сюда Коппелия* — Коппелия — персонаж одноименного балета французского композитора Лео Делиба (1836—1891) по новелле Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик, или Мышиный король».

«Как бы разыгранный Фрейшиц перстами робких учениц».— Неточная цитата из третьей главы «Евгения Онегина» А. С. Пушкина. «Фрейшиц» («Der Freischütz») — опера немецкого композитора Карла Марии фон Вебера (1786—1826) «Вольный стрелок» (1826).

С. 268. *«Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому внити в Царствие Небесное».*— Неточная цитата из Библии (Евангелие от Матфея, гл. 19, ст. 23; Евангелие от Марка, гл. 10, ст. 25)

С. 270. *...к роскошному особняку, где... жили картины* — В Б. Знаменском пер., 8 — особняк Сергея Ивановича Щукина (1854—1936), собравшего уникальную коллекцию картин западноевропейских (главным образом французских) художников. Коллекция уехавшего в эмиграцию Щукина стала основой открытого в 1918 г. 1-го Музея новой западной живописи (теперь он в составе Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина на Волхонке).

С. 271. *...человек в блузе, с длинными волосами á la Теофиль Готье...*— Французский поэт-романтик, прозаик и критик Теофиль Готье (1811—1872) был эпикурейским жизнелюбом, высмеивающим всякую серость; свою склонность к фантастически-необычному подчеркивал даже своим обликом; одевался не как все, носил прическу не как у всех.

...яркоцветного Матисса.. желтую пестроту Ван Гога, примитив Гогена... перед арлекином Сезанна...— Анри Матисс (1869—1954) — французский живописец, график и скульптор, находившийся под глубоким влиянием импрессионизма. Винсент Ван Гог (1853—1890) — голландский живописец-постимпрессионист. Поль Сезанн (1839—1906) — французский живописец-постимпрессионист; в повести упоминается его фигурная композиция «Пьеро и Арлекин» из коллекции Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

...как, например, господина Моне...— Клод Оскар Моне (1840—1926) — французский живописец, один из основателей импрессионизма.

...попали они в комнату Пикассо...— Пабло Пикассо (1881—1973) — французский художник, один из основателей кубизма (вместе с Ж. Браком).

С. 273. *..разбирая вещицу Скрябина...*— Александр Николаевич Скрябин (1871/72—1915) — композитор и пианист; создатель новаторской музыки XX в.

Это Шопен? — Фридерик Шопен (1810—1849) — польский композитор и пианист, опоэтизировавший многие жанры фортепьянной музыки.

С. 274. *...то к Эйнем.*— Имеется в виду кондитерская французской торговой

фирмы Ф.-Т.-К. Эйнема, основавшего в 1867 г. в Москве кондитерскую фабрику (ныне «Красный Октябрь»).

С. 275. *Его прообраз можно найти в римских Сатурналиях...*— Карнавальные празднества — Сатурналии начинались у древних римлян 17 декабря и продолжались 5—7 дней; они посвящались Сатурну, одному из древнейших римских богов, который научил своих подданных земледелию и виноградарству.

С. 276. *...нынче святки...*— Святые дни (святки) — это 12 дней, с 25 декабря (7 января) по 6 (19) января, установленные православной церковью в память рождения и крещения Иисуса Христа.

С. 280. *...воспроизводя Венецию галантного века.*— Принято считать, что галантный век начал свое величественное шествие по Европе с абсолютистской Франции XVII в., ставшей законодательницей мод, манер, этикета, светскости, всего того, что вбирает в себя понятие «галантность» (см.: Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Галантный век. М.: Республика, 1994. С. 46—49). Однако в живописи галантный век родился в Венеции: это был век «венецианской школы», век Тициана, которому Зайцев посвятил самые поэтические страницы книги «Италия» (1923):

«Сиятельная Венеция! Город давнего великолепия, слав отшумевших, вкушенных наслаждений, сыгранных торжеств. Светлым маревом ты возносся над тиарами дожей, над парчей, жемчугами, пышностью Веронеза и величием Тициана.

Золотой мед с золотистых цветов собирали художники Венеции. Только и знали: негу глаза, переливы шелков, блеск камней, теплоту тела светлого, радость и пестроблестящий наряд бытия. Если и души звучали — Джорджионе,— то во мгле жаркой, златонасыщенной. И меланхолия Джорджионе вся в раме Венеции, в ее тонах, ее плывучести. Тициан непоколебим. Никакой гром не смутит его Зевесову голову, Зевесово изобилие и плодородие. Как стихийный сеятель, великан *живого*, он проходит в жизни и развеивает свет свой и свою улыбку, ясную и полновесную Ни смерти нет, ни драмы, ни элегии. Легендарный он старик со светлыми, *прохладными* в прозрачности глазами. Веронез расстилает шелка — бледно-зеленеющие, и синеющие, персиковые, жемчуговые. И лишь Тинторетто закипает. Лишь его дух бурливый не вполне вошел в золотой дым Венеции Кажется, чрезмерно умны дожи бородатые, и сенаторы его портретов < >

Кто бы ни писал Венецию, скромные, мощные, бурные, золотые, точные — никто не мог не писать празднеств ее и нарядов. В нарядах родилась Венеция, в нарядах смертный час свой встретит. Бедный, богатый ли, роскошь, простота — все здесь не любят, думается, *будничного*. Все живет светом, блеском; изяществом, лаской любви, песней, мгновением. <...>

Сиять, лучиться, таять в свете! Вот дыхание Венеции. Блистать — и насладиться лучезарностью».

С. 298. *..вторил возгласом ектении*— Ектенья (греч.— усердие) — молитва — прошение, молитва — обращение к Богу с просьбой о помощи, читаемая священником или дьяконом от имени верующих.

С. 298. *...монашка, в черном клобуке, читала у аналоя...*— Клобук — головной убор монашествующих; в православной церкви клобук имеет цилиндрическую форму со спадающей на плечи тканью. Белые клобуки носят митрополиты и патриархи. Аналой (налой) — в православном храме стол, на который во время богослужений кладутся Евангелие, крест и иконы для поклонения верующих.

С. 300. *Император Адриан любил одного юношу, Антиноя.*— Любимец римского императора Адриана (76—138) Антиной утонул в 130 г. в Ниле (есть версия, что это была жертвенная смерть). В честь погибшего юноши идеальной красоты римляне соорудили храм, изваяли статуи, отчеканили монеты и основали город Антинополь.

С. 303. *..разыгрывала Баха, Генделя.*— Иоганн Себастьян Бах (1685—1750) — великий немецкий композитор и органист; непревзойденный мастер полифонии (многоголосия). Георг Фридрих Гендель (1685—1759) — немецкий композитор и органист; мастер монументальной оратории на библейские сюжеты.

...читать Стендаля.— Стендаль (наст. имя Анри Бейль; 1783—1842) — французский писатель; автор знаменитых романов «Красное и черное», «Пармская обитель», «Люсьен Левен».

С. 304. *...выдерживала некую епитимию.*— Епитимия (греч. — наказание) — церковное наказание верующих за прегрешения. Епитимия заключалась в чтении молитв, более суровом посте, отбивании поклонов перед иконой или крестом.

Ах ты мой Анатоль Франс! — Анатоль Франс (наст. имя Анатоль Франсуа Тибо; 1844—1922) — французский писатель; выдающийся стилист. М. Горький о нем писал: «Анатоль Франс для меня владыка мысли, он родил, воспитывал ее, умел эффектно одеть словом, элегантно и грациозно выводил в свет...»

С. 305. *...запоздалыми учениками Ронсара..*— Пьер де Ронсар (1524—1585) — французский «принц поэтов», оказавший сильнейшее воздействие на развитие европейской поэзии XVI в.; вождь «Плеяды», знаменитой французской поэтической школы эпохи Возрождения.

Теофиль де Вио (1590—1626) — французский поэт; автор сборника «Сатирический Парнас», за который был приговорен к сожжению, замененному изгнанием из Франции.

С. 309. *...слушала изумительные мефимоны...*— Мефимоны (ефимоны; от греч. — припев) — богослужения Великого повечерия, которые проводятся в дни Великого поста (Великой четыредесятницы), во время строгого воздержания перед праздником Пасхи.

...канон Андрея Критского...— Имеется в виду «Великий покаянный канон» проповедника и гимнолога Андрея Критского (ум. в 720 или ок. 726). «Великий покаянный канон», содержащий около 250 тропарей (песнопений), читается во время Великого поста.

...под душной епитрахилью...— В священническом облачении епитрахиль — широкая лента, надеваемая на шею.

С. 311. *...четверг Страстной недели, знаменитый день Двенадцати Евангелий...*— Последняя неделя Великого поста перед Пасхой называется Страстной в память страданий и смерти Иисуса Христа. Каждый день Страстной недели именуется Великим. В Великий четверг проводятся чтения Двенадцати Евангелий.

От памятника Александру II..— В 1898 г. в Кремле была установлена статуя Александра II (1818—1881) работы скульптора Александра Михайловича Опекушина (1838—1923), которую в 1918 г. варварски уничтожили. Опекушин также автор памятника А. С. Пушкину в Москве (1880), М. Ю. Лермонтову в Пятигорске (1889), Екатерине II в Петербурге (1873).

С. 312. *Белел еще Воспитательный дом...*— Воспитательный дом (1764—1917) — приют для незаконнорожденных и беднящких детей. Это здание на Москворецкой набережной, между Китайским и Устьинским пр., сооружено по проекту архитектора К. И. Бланка при участии М. Ф. Казакова. С 1938 г. здесь размещена Военная академия им. Дзержинского.

...золотели купола в Кадашах— В Кадашевской слободе Замоскворечья до наших дней сохранился памятник архитектуры XVII в. — церковь Воскресения в Кадашах.

С. 314. *...мечтаю о настоящей Фиваиде...* — Фиванда — область вокруг древнеегипетского города Фивы в верховьях Нила, райский зеленый оазис посреди пустыни.

Призраки

Сборник московских писателей «Ветвь». М.: Северные дни, 1917. Печ. по изд.: Путники. Париж: Русская земля, 1921. Стихотворение в прозе посвящено племяннику Зайцева Юрию Михайловичу Буйневичу (1894—1917), молодому офицеру Измайловского гвардейского полка, зверски убитому в первый день Февральской революции.

Улица св. Николая

Сборник литературы и искусства «Шиповник» / Под ред. Ф. А. Степуна. М.: Шиповник, 1922. № 1. Печ. по изд.: Река времен. Нью-Йорк, 1968. Зайцев не успел включить рассказ-поэму в гржебинское собрание сочинений 1922 г., но он издал его в следующем году в Берлине в своей книге «Улица св. Николая. Рассказы 1918—1921 годов», в которую вошли все вещи, не попавшие в собрание: «Уединение», «Белый свет», «Душа», «Новый день». В 1987 г. напечатан вместе с очерком «Похвала книге» в журнале «Огонек», № 51 (публикация Е. В. Воропаевой и А. В. Храбровицкого). Кстати, в этом же году О. Н. Михайлов опубликовал в еженедельнике «Литературная Россия» (14 авг., № 33) мемуарный очерк Зайцева «Леонид Андреев». Эти публикации — первые, открывшие российскому читателю имя Бориса Зайцева. А пора его книг в России началась только через два года, в 1989-м, когда в набор ушли сразу шесть — приметный эпизод в истории книгоиздания! — однотомников «крамольного» писателя. Назовем их: «Голубая звезда», сост. А. Д. Романенко (М.:

Моск. рабочий), «Голубая звезда», сост. О. Н. Михайлов (Тула); «Улица св. Николая», сост. О. Н. Михайлов (М.: Худож. лит.); «Осенний свет», сост. Т. Ф. Прокопов (М.: Сов. писатель); «Дальний край», сост. Т. Ф. Прокопов (М.: Современник); «Земная печаль», сост. Л. А. Иезуитова (Лениздат).

С. 319. *...окна разные Эйнемов, Реттере, Филипповых...*— Названы владельцы знаменитых магазинов: кондитерского на Мясницкой (Ф.-Т.-К. Эйнема), кофейного на Лубянке (Ж. Л. Ретере) и хлебобулочных изделий на Тверской (фирмы «Филиппов Иван и наследники»).

...горит Орион семизвездием...— В созвездие и пояс Ориона входят пять звезд, из них две — Ригель и Бетельгейзе — яркие и хорошо видные в средней полосе России в осенне-зимний период.

...поэт золотовласый...— Константин Дмитриевич Бальмонт (1867—1942), один из корифеев русского символизма. «Бурному литературному кипению предвоенному,— писал Зайцев о Бальмонте в книге «Далекое»,— многими чертами своими соответствовал — новизной, блеском, задором, певучестью». В начале 1900-х гг. Бальмонт и Зайцев оказались соседями по Арбату и подружились. «Мы с женой,— вспоминал Борис Константинович,— жили в Спасопесковском, вблизи Арбата, Бальмонт в Толстовском переулке, под прямым углом к нашему Спасопесковскому. Совсем близко <...> В это время бывал уже у нас запросто. Ему нравилась, видимо, шумная и веселая молодежь, толпившаяся вокруг жены моей,— нравилось, конечно, и то, что его особенно ценила женская половина (после «Будем как солнце» появился разряд барышень и юных дам «бальмонтистою» — разные Зиночки, Любы, Катеньки беспрестанно толклись у нас, восхищались Бальмонтом. Он, конечно, распускал паруса и блаженно плыл по ветру)» («Далекое»).

...поэт бирюзоглазый...— Андрей Белый (наст. имя Борис Николаевич Бугаев; 1880—1934) — выдающийся прозаик, поэт, критик, литературовед, мемуарист Серебряного века; один из вождей и крупнейший теоретик русского символизма (см. его книги «Символизм», «Луг зеленый», «Арабески»), автор трехтомных мемуаров: «На рубеже двух столетий», «Начало века», «Между двух революций». О своих встречах с А. Белым Зайцев рассказал в книге «Далекое». «На московском Арбате, где мы тогда с женой жили,— писал он,— вижу его уже студентом, в тужурке серой с золотыми пуговицами и фуражке с синим околышем. Особенно глаза его запомнились — не просто голубые, а лазурно-эмалевые, «небесного» цвета («Золото в лазури»!), с густейшими великолепными ресницами, как опахала оттеняли они их. Худенький, тонкий, с большим лбом и вылетающим вперед подбородком, всегда закидывая немного назад голову, по Арбату он тоже будто не ходил, а «летал». Подлинно «Котик Летаев», в ореоле нежных светлых кудрей. Котик выхоленный, барской породы. Он только еще начинал писать». «Золото в лазури» (1904) — первый сборник стихов и лирических отрывков в прозе А. Белого. «Котик Летаев» (1916) — его автобиографический роман.

С. 320. *Маркизы магазинов никнут...*— Маркиза — навес над окном, балконом, входом в подъезд.

С. 320. *...в церквах Арбата — Никола Плотник, Никола на Песках и Никола Явленный...*— Эти арбатские церкви — памятники русского зодчества XVIII в.— были уничтожены в 1920—1930 гг.

С. 321. *Веселый рыцарь, Дон Жуан и декадент, он же издатель и спирит...*— Таким знали в начале века Сергея Алексеевича Соколова (псевдоним — Сергей Кречетов; 1878—1936) — поэта, владельца издательства «Гриф», редактора журналов «Золотое руно» и «Перевал», в которых печатался Зайцев.

С. 323. *...гнезда дворянские, видевшие Герценов и Хомяковых...*— Писатель, философ, мемуарист, издатель Александр Иванович Герцен (1812—1870) в 1830 и 1843—1846 гг. жил на Арбате (в пер. Снвцев Вражек). Здесь у него бывали В Г. Белинский, Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, П. В. Анненков, артисты М. С. Щепкин и П. М. Садовский, историк Т. Н. Грановский и др. В доме на Собачьей площадке (в районе улиц Арбат и Б. Молчановка) жил Алексей Степанович Хомяков (1804—1860) — поэт, философ, вождь славянофилов. В его доме встречались братья И. С. и К. С. Аксаковы, Н. В. Гоголь, П. Я Чаадаев, А. И. Герцен, Н. М. Языков, братья И. В. и П. В. Кнреевские и др.

С. 324, *...У памятника Скобелеву...*— Уничтоженный в 1918 г. памятник прославленному русскому полководцу Михаилу Дмитриевичу Скобелеву (1843—1882) был воздвигнут в 1912 г. на Тверской площади (до 1918 г. называлась Скобелевской, затем — Советской).

С. 328. *«Приидите ко Мне вси труждающиеся и обремененные, и Аз упокою Вы».*— Из Библии (Евангелие от Матфея, гл. 11, ст. 28).

...и снова, как Рахиль древняя...— Библейский пророк Иеремия, а вслед за ним евангелист Матфей называли вторую жену патриарха Иакова Рахиль праматерью израильтян.

«Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение».— Начальная фраза Великого славословия, которое поется как торжественное утреннее молитвословие в праздничные дни: по воскресеньям, в Сретение Господне, в великопостные дни, в храмовые праздники и т. д.

С 329. *...пулями пробитый бём...*— Бём — бемское (богемское) стекло, отличающееся особой прочностью; изготовлялось в Богемии (Чехия).

Уединение

Сборник художественно-литературный, научный и философский «Феникс». М: Костры, 1922, № 1; одновременно — в альманахе «Медный всадник». Берлин: Медный всадник, 1922. Рассказ-поэма посвящен Павлу Павловичу Муратову (1881—1950), прозаику, искусствоведу, переводчику, давнему другу, с которым Зайцев много раз совершал путешествия по Италии; оба затем создали о ней поэтичные книги, изданные З. И Гржебиным: в Берлине — «Италия» Зайцева (1922), в Лейпциге — трехтомник Муратова «Образы Италии» (3-е изд, 1924) с посвящением Зайцеву: «в воспоминанье о счастливых днях».

С. 330 *Прозвенит.. бледно-серебряным стихом Петрарки.*— Франческо Петрарка (1304—1374) — великий итальянский поэт из числа первых гуманистов, идеализировавших античный мир и положивших начало эпохе Возрождения,

автор знаменитой «Книги песен» («Канцоньере»), состоящей из 317 сонетов, 29 канцон, а также баллад, секстин и мадригалов, которые разделены на две части· «На жизнь Мадонны Лауры» и «На смерть Мадонны Лауры». Лаура — возлюбленная Петрарки, идеализированная им.

...побудь в своей киновии придорожной — Киновия (общежитие) — одна из форм монашеской жизни (наряду с одиноким анахоретством и совместным проживанием в кельях, скитах, лаврах).

С. 331. *...воспитанные на Платонах Каратаевых и Живых Мощах?* — Платон Каратаев — персонаж из «Войны и мира» Л. Н. Толстого, который был «олицетворением всего русского, доброго и круглого» (у Толстого круглое — идеал совершенства и внутренней гармонии) Живые Мощи — нетленные тела святых; так назвал И. С. Тургенев один из рассказов в сборнике «Записки охотника» (1847—1852).

С. 335. .. *точно бы родник Ютурны в Риме* — Животворный ручей римской нимфы Ютурны; в ее честь праздновались ютурналии, ей был посвящен храм в Риме.

...как на форуме Траяна.— Несохранившийся форум лучшего римского императора Траяна (53—117) — величественный беломраморный ансамбль, выстроенный Аполлодором из Дамаска. Вот как описывается через триста лет первое посещение этого форума императором Константином II: «Когда император пришел на форум Траяна, это единственное в мире сооружение, достойное удивления богов, он остолбенел от изумления, обводя взором гигантские творения, которые словами описать невозможно и которые никогда не будут еще раз созданы смертными» (цит. по: Федорова Е. В. Знаменитые города Италии Памятники истории и культуры. М., 1985. С. 58).

Белый свет

Литературно-художественный альманах «Костры». М, 1922, № 2 (с подзаголовком «Будни», снятым впоследствии). В 1923 г. включен в сборник «Белый свет» — последнюю книгу, подготовленную Зайцевым в Москве, но к выходу в свет запрещенную; она вышла в том же году под названием «Улица св. Николая» в берлинском книгоиздательстве «Слово». Печ по изд: Река времен Нью-Йорк, 1968.

С. 337. *...ясноокая Паллада.*— Паллада — один из эпитетов Афины, древнегреческой богини мудрости и справедливой войны По одной из легенд изображение Афины — палладий — упало с неба (отсюда Афина Паллада)

С. 339. *Отдых Пречистой на пути с Иосифом в Египет* — Очевидно, имеется в виду одна из многих гравюрных репродукций с несохранившейся картины основоположника французского классицизма Никола Пуссена (1594—1665) «Отдых на пути в Египет, со слоном» Картины Пуссена воспевали доблесть, благородство, поэзию высоких чувств; высоконравственные примеры он находил в библейских сюжетах, в поэтических творениях античности.

С 340. *.дубы оракула в Додоне...*— В греческой мифологии Додона —

святилище Зевса в Эпире, которое он назвал именем океаниды, своей возлюбленной. В центре святилища рос дуб (по другим версиям — бук), шелест листвы которого жрецы Додоны называли вещим голосом богов.

...снега Парнаса, мед гиметский, Ликабета холм над Афинами...— В греческой мифологии Парнас — высокогорный массив в Фокиде, ставший обителью могущественного бога — покровителя искусств Аполлона и его муз. Мед гиметтский — чудодейственный мед, собранный в горах Гиметта, близ Афин Ликабетт (Ликавит) — самый высокий (около 275 м) известняковый холм на северо-востоке Афин; второй по высоте афинский холм — знаменитый Акрополь (около 125 м).

Мраморы Элевзина!.. Нереиды... гробницы Аттические— Элевзин (Элевсин) — город со знаменитым культовым святилищем Деметры, сооруженным в V в до н. э Деметра — греческая богиня земледелия и плодородия (у римлян — Церера) Нереиды — в греческой мифологии морские божества, помогающие людям в бедствиях. Аттика со столицей Афины — полуостров на юго-востоке Греции, средоточие памятников древней эллинской культуры.

Душа

Литературно-художественный альманах «Пересвет». М., 1921, № 1 (с посвящением: «Ивану Новикову»). Печ. по изд.: Река времен. Нью-Йорк, 1968. Эпиграф — начальная строка стихотворения А. Белого «Прошлому» (1907).

С. 345. *...смущает Микель-Анджелова «Ночь», повешенная над диваном*. — Очевидно, имеется в виду фотография одной из скульптур капеллы Медичи во Флоренции — гениального творения Микеланджело Буонарроти (1475—1564), которому Зайцев посвятил восторженные страницы книги «Италия» (в очерках «Рим» и «Флоренция»). Восхищение современников шедевром Микеланджело «Ночь», символизирующей старение и уход в небытие всего прекрасного, выразил Джорджо Вазари (1511—1574): «А что же смогу я сказать о Ночи, статуе не то что редкостной, но и единственной? Кто и когда, в каком веке видел когда-либо статуи древние или новые, созданные с подобным искусством? Перед нами не только спокойствие спящей, но и печаль и уныние того, кто потерял нечто почитаемое и великое. И веришь, что эта Ночь затмевает всех, когда-либо помышлявших в скульптуре и в рисунке, не говорю уже о том, чтобы его превзойти, но хотя бы с ним сравниться» (Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих: В 5 т. Т: 5. М., 1971. С. 251).

...читая Ариосто...— Лудовик Ариосто (1474—1533) — итальянский поэт эпохи Возрождения; прославился героической рыцарской поэмой «Неистовый Роланд».

Новый день

Журнал политики и культуры «Воля России». Прага, 1923, 15 марта, № 5. Печ. по изд.: Река времен. Нью-Йорк, 1968. Эпиграф — из первого варианта стихотворения А. С. Пушкина «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет

шумный день...»; 1828), полностью напечатанного в посмертном издании 1838 г. и много раз переиздававшегося в этой редакции.

С. 352. .. *Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея* — В иудаистской и христианской традициях Саваоф — одно из имен Бога; прославляется в псалмах как «миродержец», «вседержитель», «владыка сил (воинств) небесных», т. е. солнца, луны и звезд (см.: Библия, Псалтырь).

С. 360. *Эгмонта я и сейчас не могу равнодушно слушать.* — «Эгмонт» — увертюра Людвига ван Бетховена (1770—1827) к одноименной трагедии Гете.

Рафаэль

Альманах «Литературная мысль». Пг.: Мысль, 1922, № 1. Печ. по изд: Зайцев Б. Тихие зори. Мюнхен. Т-во зарубежных писателей, 1961. Новелла повествует о великом итальянском живописце и архитекторе эпохи Возрождения Рафаэле Санти (1483—1520). В эпиграфе — слова из 3-й «Молитвы на сон грядущий» (см.: Молитвослов с акафистами. 3-е изд. Пг., 1915. С. 23). В мемуарном очерке «Борис Зайцев» Ю. К. Терапиано отметил: «Главное в «Рафаэле» — это религиозная основа любой жизни, которая присутствует и в жизни Рафаэля, несмотря на то, что сам художник мог быть безразличен к религии. Но он зато умел хорошо видеть метафизическую природу искусства, а его смирение перед нею — признак настоящего гения» (цит. по: Терапиано Ю. Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924—1974). Париж; Нью-Йорк, 1987. С. 286).

С. 365. *...выезжал он на ардеатинскую дорогу.* — Ардеатинская дорога в окрестностях Рима ведет к древнейшим подземным кладбищам римской христианской общины — катакомбам Домициллы, женщинам из императорского рода Флавиев.

...поглядеть часть аврелиановой стены... — Стена Аврелиана, римского императора (214—275) — мощное оборонительное бетонно-кирпичное сооружение протяженностью около 19 километров, с неприступными зубчатыми башнями; возведено в III в. для защиты от участившихся набегов варваров.

С. 366. *«Что сказал бы об этом Бембо!»* — Пьетро Бембо (1470—1547) — итальянский писатель и историк; с 1539 г. — епископ.

Облик Сивиллы, грозящей предсказаниями. — В греческой мифологии сивиллы (сибиллы) — пророчицы, предрекающие чаще всего беды.

С. 367. *...страшная громада Терм Каракаллы.* — Среди тысячи древних римских бань Термы Каракаллы (212—216) — самые грандиозные: их площадь около 12 гектаров. Этот шедевр архитектурного строительства состоял из огромных залов для отдыха, зданий для библиотек, спортплощадок, парков, лавок со съестным; Термы могли одновременно принять более полутора тысяч человек.

...вдали высился Септизониум. — Древнеримский Септизоний — одно из самых великолепных зданий античности; построил его император Септимий Север (146—211).

...к туманному Палатину.— Рим расположен на семи холмах, один из которых — Палатин, где некогда Ромул построил свою хижину, положившую начало Вечному городу. Впоследствии на Палатине выстроили свои дворцы императоры Рима.

С. 368. *...Дезидерио, земляк и ученик Рафаэля.*— Дезидерио — персонаж вымышленный; лишь отдельными чертами напоминает он земляка и ученика Рафаэля — Джулио Романо (наст. фам. Пиппи; 1492—1546).

С. 369. *...если бы Учитель сошел в Ад, за Эвридикой...*— Мифическая Эвридика — жена фракийского певца Орфея, умершая от укуса змеи. Орфей спустился за нею в ад, где покоренный его пением бог подземного царства Аид позволил ему взять на землю Эвридику, но с условием, что он не взглянет на нее, пока не выйдет из царства теней. Орфей запрет нарушил и навсегда лишился Эвридики.

С. 370. *...направлялись к Сан-Пиетро...*— Самая большая церковь в мире Базилика ди Сан-Пьетро ин Ватикано (собор. Св. Петра) строилась и перестраивалась со времен императора Константина Великого (ок 285—337) До своей смерти в 1514 г. руководил строительством базилики Донато Браманте; затем его сменил Рафаэль. В росписи собора активно участвовал и Микеланджело.

С. 371. *...Тацит, изданный впервые в мой понтификат...*— Дошедшие до наших дней труды великого римского историка Тацита (ок. 58—ок. 117) «Анналы», «История» и др впервые полностью были изданы во времена Рафаэля, в период правления (понтификат) папы Льва X (1475—1521)

...чем нелепые схизмы...— Схизма — раскол (греч.). Римская католическая церковь пережила в 1318—1417 гг. великий раскол, когда у власти одновременно находились несколько пап.

С. 372. *Милейший наш Агостино, изящнейший амфитрион...*— Агостино Киджи (Великолепный; 1468—1520) — банкир и меценат, покровительствовавший Рафаэлю. Амфитрион — мифический царь Фив, славившийся гостеприимством и ставший героем многих произведений мировой литературы от Плавта (ум. ок. 184 г. до н. э) до Мольера (1622—1673), Жироду (1882—1944) и Камю (1913—1960)

..как во времена былые с прекрасной Империей. — Империя — прекрасная куртизанка, возлюбленная Агостино, запечатленная Рафаэлем на фресках и алтарных образах.

.. в комнате della segnatura, где со стен взглянули на него видения юности, фрески Парнаса, Диспута, Афинской школы.— О величайших творениях Рафаэля в Ватикане — его цикле станц Делла Сеньятура (росписей парадного зала дворца) Зайцев, раскрывая их глубокий философский смысл, рассказывает в книге «Италия»: «Из них главнейшая, давняя соперница Сикстинской,— станца della segnatura: это комната в папских покоях, где раньше помещалась личная библиотека Юлия II... Рафаэль в этой светлой, тихой комнате, выложенной мозаикой, отделанной роскошными панелями, написал три фрески — «Афинскую школу», «Парнас» и «Disputa». Хотя «Disputa» значит как будто «спор», «диспут»,

но ее правильнее назвать «Триумф церкви». Никакой борьбы, напряжения нет. В небесах восседает Бог Отец, Христос, Мария Дева и Иоанн Креститель среди Учеников и Евангелистов. Снизу же Собор пап, епископов, учителей церкви, размышляя о догматах и обсуждая их, устремляется душою ввысь к их Истоку. В «Парнасе» Аполлон, на холме, под лаврами издает смычком божественные звуки, поэты же и поэтессы окружают его, слушают, и нежный отблеск зари золотит их. И наконец в «Афинской школе» в фантастическом, легко-гигантском храме Ап<остолы> Петр и Павел как бы объявляют истину Собору мудрецов языческих. Здесь также нету речи о борьбе, о споре. Все покойно, ясно, дух великой гармонии все проникает: и величественно шествующих Апостолов, и дальнюю, божественную перспективу храма, и мудрецов, размышляющих на переднем плане. Во всех трех фресках Бог открыто, или скрыто наполняет все собою — будет ли то Бог Отец «Disputa», или языческий Аполлон, или само Веяние Господа, как в «Афинской школе». Это Бог света и мира. Ему некого и не за что карать, не на кого гневаться, ибо и так все Ему послушно; все полно к Нему благоговения и радости, Он проходит в легком Ветерке мудрости, поэзии и музыки. Все Он уравновешивает; всему дает стройность и прозрачность. Мир Ему мил, Он и не думает о дьявольском. Кажется, Рафаэлю был чужд дантовский Ад, средневековые ужасы, химеры готики Его корни — христианство и античность, особенно античность, платонизм; но и любовь к земной прелести, просветленная христианством» (Зайцев Б. Собр. соч. Кн. 7. Италия. Берлин; Пб.; М: Изд-во З. И. Гржебина, 1923. С. 113—114).

С. 373. *Граф Кастильоне, с длинной бородой, Браманте, герцог Монтефельтро.* .— Бальдассарре Кастильоне (1478—1529) — итальянский поэт-гуманист; автор знаменитого трактата в диалогах «Придворный», ставшего кодексом идеального царедворца. В 1516 г. Рафаэль создал портрет писателя. Браманте (наст. имя Паскуччо д'Антонио; 1444—1514) — живописец, главный архитектор в Ватикане; в содружестве с Рафаэлем осуществлял свой план постройки базилики Св. Петра. Гвидобальдо Монтефельтро Урбинский (1472—1508) — знаменитый итальянский меценат, герой книги Кастильоне «Придворный».

...заканчивая «Преображение»...— Свою последнюю работу «Преображение» для алтаря собора в Нарбонне Рафаэль завершить не успел, это сделали в 1522 г. Джулио Романо с другими учениками Рафаэля.

С. 379. *Бероальдо* Филиппо (1472—1518) — итальянский поэт, ведавший ватиканской библиотекой.

С. 381. *..как у «Давида» Микель-Анджело.* — Гениальная скульптура Микеланджело «Давид» была им создана в 1501—1504 гг.

С. 383. *...«дерзкими мальчишками Карлом и Франциском»...*— Имеются в виду император Священной Римской империи Карл V (1500—1558) и французский король Франциск I (1494—1547), беспрестанно ведшие Итальянские войны (за право владеть Италией).

...нападки на курию этого Мартинуса Лютеруса...— Мартин Лютер (1483—1546) — деятель Реформации в Германии, выступивший в 1517 г. с 95 тезисами против индульгенций и тем самым посягнувший на основополагающие дог-

маты католицизма; основатель лютеранства, крупнейшего протестантского движения.

С. 384. *...подвиги Энея...*— В греческо-римской мифологии Эней — сын Афродиты; о его жизни и подвигах рассказывается в «Илиаде» Гомера (здесь он самый отважный воин Трои вместе с Гектором), ему посвящены живописные полотна Рубенса, Тинторетто, Пуссена.

Кардинал Биббиена (наст. имя Бернардо Довицци; 1470—1520) — кардинал, поэт и драматург.

Карл V

Сборник «Северные дни». М., 1922, № 2. Печ. по изд.: Зайцев Б. Рафаэль Новеллы. Берлин: Нева, 1924. Новелла повествует о переломном моменте в судьбе императора Священной Римской империи Карла V, короля Испании (под именем Карлоса I) из династии Габсбургов. Всю свою жизнь правоверный католик-венценосец посвятил борьбе за создание «всемирной христианской монархии», во имя этого вел более полувека войны с Францией и Османской империей, боролся с немецкими князьями-протестантами, но ничего не добился Заключив, наконец, Аугсбургский религиозный мир в 1555 г., Карл V отрекся и от испанской короны, передав ее сыну Филиппу II, и от императорского престола (в пользу брата Фердинанда I). Дни закончил в испанском монастыре св Юста.

С. 388. *...в малолюдной области Эстремадуры.*— Эстремадура — автономия на западе Испании, в бассейне рек Гвадиана и Тахо.

.. *штурмовать Голетту*— Гавань в Тунисском заливе Голетта была штурмом захвачена Карлом V в 1835 г. во время войны с Османской империей.

С. 389. *...если бы не Боэций и не Цицерон...*— Аниций Манлий Северин Боэций (ок. 480—524) — римский философ; автор трактата «Утешение философское», написанного в ожидании казни за участие в заговоре против короля остготов Теодориха (454—526). Марк Туллий Цицерон (106—43 до н. э.) — политический деятель древнего Рима, знаменитый оратор и писатель; из его многочисленных сочинений до нас дошли 59 речей, 19 трактатов и более 800 писем.

С. 390. *И Филипп и Иоанна пишут письма...*— Филипп (будущий король Испании Филипп II) и Иоанна — дети Карла V.

С. 393. *Гиз* Франсуа (1519—1563) — французский герцог, прославившийся успешной обороной Меца от войск Карла V в 1555 г., а также взятием у англичан города-порта Кале в 1558 г.

С. 395. *Портреты императора и Изабеллы — Тициана...*— В числе шедевров Тициана — портреты «Карла V с собакой», «Карл V» (героический конный образ в рыцарских доспехах), «Карл V в сражении при Мюльберге», «Карл V с семейством и ангелами» и др. Кроме того, Тициан написал в Венеции алтарный образ Троицы, где изображены облаченными в саван и молящимися в окружении святых император Карл и императрица Изабелла. В «Жизнеопи-

саниях» Дж. Вазари (т. 5, с. 378) находим подтверждение достоверности рассказанного Зайцевым: «Император говорил Тициану, что он хотел поместить эту картину в том монастыре, где он впоследствии окончил свой жизненный путь», то есть в монастыре св. Юста.

С. 396. *Франциск — рази его.*— Франциск I (1494—1547) — французский король из династии Валуа; в 1515 г. при Мариньяно одержал победу над Карлом V, но через десять лет попал к нему в плен, где Тициан по заказу императора создал портрет поверженного короля.

А Франция? А Нидерланды? А Тунис? — Перечислены военные походы Карла V.

С. 401. *...монастыря иеронимитов...*— Иеронимиты — монашеские ордена последователей блаженного Иеронима (между 340 и 350—420), одного из великих учителей католической церкви, автора многих богословских сочинений.

Атлантида

Ежемесячный литературно-художественный журнал «Перезвоны». Рига, 1926, № 13, 14. Печ по изд.: Странное путешествие. Париж, 1927.

С. 435. *...вид на Георгия, что за Лавками...*— Несохранившаяся в Калуге церковь св. Георгия Победоносца находилась на Воскресенской улице, за торговыми рядами («за Лавками»).

С. 436. *...читал Минну фон Барнгольм...*— Комедия немецкого писателя-просветителя Готхольда Эфраима Лессинга (1729—1781) «Минна фон Барнхельм, или Солдатское счастье» стала в литературе Германии первым произведением, вырвавшимся из узилищ эстетики классицизма.

С. 437. *..равная Эврипиду..* — Еврипид (ок. 480—406 до н. э) — древнегреческий поэт-драматург, оказавший вместе с великими афинскими трагиками Эсхилом и Софоклом огромное воздействие на всю европейскую драматургию.

...вас застали на пустом уроке с книжкою Золя.— Эмиль Золя (1840—1902) — великий французский прозаик; автор знаменитых натуралистических романов, составивших 20-томную серию «Ругон-Маккары»; из-за фривольных сцен его книги не рекомендовалось читать юным гимназистам.

С. 439. *...тихая Калуга, в старину славившаяся... Мариной Мнишек и, позднее, Шамилем...*— Марина Мнишек (ок. 1558—ок. 1614) — дочь польского магната, авантюристка, ставшая женой первого и второго Лжедмитриев. Лжедмитрий II из Тушина, где стоял лагерем в надежде захватить Москву, бежал в 1609 г. в Калугу, где и нашел свою смерть. Марина Мнишек родила здесь и в этот же год нового «царевича» Ивана; опытную интриганку и ее сына казнили в Москве в 1614 г. Шамиль (1797—1871) — имам Дагестана и Чечни, возглавивший освободительную войну горцев против царизма и местных феодалов; в 1859 г. был пленен и выслан в Калугу.

С. 441. *Здесь в первый раз услышал он Кармен...*— «Кармен» — опера французского композитора Жоржа Бизе (1838—1875), ставшая вершиной реалистического оперного искусства.

С. 443. *...отрицая Коперника...*— Николай Коперник (1473—1543) — польский астроном, первым доказавший, что планеты, в том числе и Земля, обращаются вокруг Солнца, а не наоборот («Об обращении небесных сфер», 1543).

...старичок Птолемей...— Клавдий Птолемей (ок. 90—ок. 160) — древнегреческий ученый, создавший математическую теорию движения планет вокруг неподвижной Земли (его книга «Альгамест» — самая древняя астрономическая энциклопедия).

С. 444. *...у Одигитриевской и Георгия за Верхом...*— Калужские памятники XVII—XVIII вв. Одигитриевская (одигитрия — греч. путеводительница) церковь во имя Смоленской иконы Богоматери и церковь св. Георгия за Верхом.

С. 446. *К Масляной...*— Масленая неделя — Масленица предшествует Великому посту. Все дни этой праздничной недели имеют свои названия: понедельник — встреча, вторник — заигрыши, среда — лакомка, четверг — разгул, пятница — тещины вечерни, суббота — золовкины посиделки, воскресенье — проводы, прощанья, целовальник, прощеный день. Канун Масленицы — Вселенская суббота, или большая родительская, в которую православные поминают усопших родителей.

С. 447. *...ципулинские пароходы...*— Иван Кузьмич Ципулин — владелец пароходной компании и городской голова Калуги с 1887 по 1901 г.

Николай Калифорнийский

Газета «Руль». Берлин, 1924, 2 и 4 марта, № 986, 987. Печ. по изд.: Странное путешествие. Париж, 1927.

С. 452. *...наш пифагореец...*— то есть последователь Пифагора Самосского (VI в. до н. э), который вошел в историю не только как великий древнегреческий философ, математик, религиозный и политический деятель, но и как автор сложной системы культовых запретов — «пифагорейского образа жизни».

С. 457. *Кампанила* — в итальянской архитектуре средних веков и Возрождения — колокольня в виде четырехгранной башни.

Диана

Газета «Последние новости». Париж, 1927, 17 апр , № 2216 и одновременно в сборнике «Странное путешествие» (печ. по этому изд).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Серебряный век

Орган русских секций французской конфедерации тружеников христиан «Русская мысль». Париж, 1959, 5, 7 мая, № 1364, 1365. Печ. по этому изд.

С. 469. *...чуть ли не «по Боклю» прогресс.*— Генри Томас Бокль (1821—1862) — английский историк и социолог, представитель географической школы в социологии; автор труда «История цивилизации в Англии».

С. 470. *...с Надсоном, Апухтиным, Баранцевичем...*— Названы певцы печали и безысходности: Семен Яковлевич Надсон (1862—1887) — поэт-лирик; Алексей

Николаевич Апухтин (1840—1893) — поэт-лирик, автор известных романсов «Ночи безумные», «Забыть так скоро», «День ли царит» и др , положенных на музыку П. И. Чайковским; Казимир Станиславович Баранцевич (1851—1927) — прозаик и драматург.

.. появились еще в девяностых годах: Мережковский, Гиппиус, Волынский — Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865—1941) — поэт, прозаик, драматург, религиозный философ, критик; первый сборник его стихов вышел в 1888 г., а в 1893 г. — литературно-критическая книга «О причинах упадка и о новых течениях современной литературы», положившая начало теоретическому осмыслению русского символизма. Его жена Зинаида Николаевна Гиппиус (1869—1945) — поэт, прозаик, критик. Аким Львович Волынский (наст. имя Хаим Лейбович Флексер; 1861—1926) — критик, историк и теоретик искусства; в 90-е гг.— автор получившего широкую известность цикла статей «Русские критики», в котором подверглось переоценке эстетическое наследие революционеров-демократов Белинского, Добролюбова, Чернышевского.

.. прочен был уже Ибсен, укреплялся Метерлинк.. — Генрик Ибсен (1828—1906) — классик норвежской драматургии, близкий к символистскому и неоромантическому искусству рубежа веков. Морис Метерлинк (1862—1942) — бельгийский драматург; в 1896 г. издал книгу эссе «Сокровище смиренных», которая стала авторитетным манифестом европейского символизма.

...владели и более ранние: Бодлер, Верлен.— Шарль Бодлер (1821—1867) — французский поэт-романтик; как и Зайцев, увлекся «Божественной комедией» Данте и под ее влиянием создал свою главную книгу «Цветы зла»; автор «Маленьких поэм в прозе». Поль Верлен (1844—1896) — французский поэт-романтик («интимнейший поэт», по определению Брюсова); автор исследования «Поэтическое искусство», ставшего программным для символистов.

Выдвинулся Оскар Уайльд, позже Верхарн.— Оскар Уайльд (1854—1900) — английский прозаик, драматург, поэт, испытавший влияние французского символизма. Эмиль Верхарн (1855—1916) — бельгийский поэт, драматург, критик, новатор поэтической формы, его стихи увлеченно переводили Брюсов, Блок, Волошин.

Булгаков прямо признавал...— Сергей Николаевич Булгаков (1871—1944) — философ, богослов, экономист, публицист, литератор; в 1918 г. принял священнический сан; в 1923-м отправлен в изгнание.

«Проблемы идеализма», «Вехи»...— Философские сборники «Проблемы идеализма» (1902) и «Вехи» (1909) вызвали острую, долго продолжавшуюся полемику. В них подверглись резкой критике материализм и атеизм Белинского, Чернышевского, Плеханова и марксистская идеология. Авторами статей выступили Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, П. Б. Струве, С. Л. Франк и другие, высланные в 1922 г. в изгнание.

Это уже не Михайловский или Скабичевский! — Николай Константинович Михайловский (1842—1904) — социолог, критик, публицист народнического толка. Александр Михайлович Скабичевский (1838—1910) — критик, историк

литературы; его народнические нападки на Чехова и Горького получили скандальную известность.

..*«башня из слоновой кости», столь подходящая к тогдашнему Западу, но для России наносная* — Выражение *«башня из слоновой кости»* стало символическим обозначением бегства творца от суетности мира. Первым в обиход его ввел Шарль Огюстен Сент-Бёв (1804—1869) в стихотворном послании к французскому критику Абелю Франсуа Вильмену (1790—1870); «башней» называли петербургский салон Вяч. Иванова, объединявший литературную элиту Серебряного века.

Ранний Гюисманс очень бы подходил к наряду Брюсова — Жорж Шарль Мари Гюисманс (1848—1907) — французский прозаик, пришедший в своем творчестве к декадентству; как критик поддерживал импрессионистов.

Журнал «Весы» — литературный и критико-библиографический ежемесячник символистов, выходивший в 1904—1909 гг. в издательстве «Скорпион» под руководством Брюсова.

С. 471. *Эллис* (наст. имя и фам. Лев Львович Кобылинский; 1879—1947) — поэт и критик; теоретик символизма, один из основателей кружка «Аргонавты» (1903) и московского издательства «Мусагет» (1910—1917), редактировавшегося А. Белым.

.. *Мережковские основали в Петербурге журнал «Новый Путь».*— Журнал символистов «Новый путь» издавался с 1902 по 1904 г; его редактировали помимо Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус также П. П. Перцов (он более других основателей вложил в него своих капиталов), Д. В. Философов, Г. И. Чулков и др. После закрытия «Нового пути» его заменил журнал «Вопросы жизни», выходивший в течение 1905 г. под редакцией С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева и др. В этих журналах Зайцев напечатал рассказы «Скопцы», «Тихие зори», «Деревня», «Океан», «Хлеб, люди и земля», «Священник Кронид».

...*останавливались у Георгия Чулкова* ..— Георгий Иванович Чулков (1879—1939) — поэт, прозаик, литературовед, издатель альманахов «Факелы» (1906—1908), «Белые ночи» (1907), газеты «Народоправство» (1917). В «Факелах» напечатан рассказ Зайцева «Гость», а в газете — очерки «Мы, военные..», «Наш язык» и «Открытое письмо Луначарскому».

Ремизов с Серафимой Павловной ..— Алексей Михайлович Ремизов (1877—1957) — выдающийся прозаик Серебряного века и русского зарубежья. С. П. Ремизова-Довгелло (1876—1943) — жена А. М. Ремизова.

С. 472. ...*модное тогда издательство «Шиповник» с Гржебиным во главе.*— Книгоиздательство «Шиповник» (1906—1918) основано в Петербурге художником-карикатуристом З. И. Гржебиным (1869—1929) и С. Ю. Копельманом (1881—1944). С 1907 г. под редакцией Л. Н. Андреева и Зайцева стали выходить литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник», соперничавшие с горьковскими сборниками «Знание». В альманахах Зайцев опубликовал 9 рассказов и повестей (среди них — «Полковник Розов», «Аграфена», «Заря», «Сны»), три пьесы («Верность», «Усадьба Ланиных», «Пощада») и роман «Дальний край».

С. 473. *Соловьев являлся ему в «Симфониях»...*— Под влиянием поэзии и особенно религиозно-философских трудов Вл. С. Соловьева (в частности, его учения о Вечной Женственности, спасающей мир) А. Белый в 1900—1908 гг написал повести «Северная симфония (1-я, героическая)», «Симфония (2-я, драматическая)», «Возврат», «Кубок метелей (4-я симфония)». Во второй симфонии покойный философ то и дело является автору в снах и видениях-предвестиях.

Ходасевич, например, считал. — Владислав Фелицианович Ходасевич (1886—1939) — выдающийся поэт, прозаик, критик, мемуарист Серебряного века и русского зарубежья. Приязненное знакомство с ним Зайцева началась в годы их студенчества и продолжалось затем вплоть до кончины Ходасевича В его книге воспоминаний «Некрополь» (1939), которую Зайцев внимательно прочитал, говорится: «Символисты не хотели отделять писателя от человека, литературную биографию от личной. Символизм не хотел быть только художественной школой, литературным течением Все время он порывался стать жизненно-творческим методом... Отсюда: лихорадочная погоня за эмоциями <...> Достаточно было быть влюбленным — и человек становился обеспечен всеми предметами первой лирической необходимости· Страстью, Отчаянием, Ликованием, Безумием, Пороком, Грехом, Ненавистью и т. п» (Ходасевич В. Собр. соч : В 4 т. Т. 4. М : Согласие, 1997. С. 7—11).

С. 474 *Я видел его* <Вяч., Иванова> *в последний раз в Риме в 1949 г* — Эта встреча произошла, вспоминал Зайцев в 1963 г, «в Страстную Пятницу, в день смерти Рафаэля», то есть 6 апреля 1949 г., за три месяца с небольшим до кончины Иванова — он умер 16 июля (а не в июне, как указывает биографический словарь «Русские писатели 1800—1917». М, 1922 Т 2 С 372). В день встречи Иванов увлеченно прочитал Зайцеву фрагмент своей незавершенной стихотворной «Повести о Светомире царевиче», над которой работал с 1930-х гг до последнего дня жизни.

Бердяев называл этот серебряный даже Ренессансом русским.— См. в кн.: Бердяев Н. А. Самопознание Гл. VI. Русский культурный ренессанс начала XX века. Встречи с людьми. М.; Харьков, 1998. С. 384—414).

...дух освежения и обновления.. и от их соратников (Вышеславцев, Франк и др) ..— Борис Петрович Вышеславцев (1877—1954) — философ, автор трудов по этике, социальной философии, религии, философской антропологии; наиболее известны его книги «Сердце в христианской и индийской мистике» (1929) и «Этика преображенного эроса» (1931). Выслан из России в 1922 г. Семен Людвигович Франк (1877—1950) — философ; первые работы опубликовал в сб. «Проблемы идеализма» (1902) и «Вехи» (1909), вызвавших бурную полемику и послуживших впоследствии одной из причин его высылки из России в 1922 г. (как и других соучастников «крамольных» сборников). Автор многих книг, в том числе «Русское мировоззрение» (1930), «Свет во тьме. Опыт христианской этики и социологии» (1949), «Этюды о Пушкине» (1957), «Духовные основы общества» (1992).

С. 475. *Проповедуя скорый конец* ..— Из поэмы А. Белого «Христос воскрес» (1918).

С. 475. *...на могиле Ницше в Лейпциге он пережил необычайное видение...*— Этот эпизод Зайцев взял из «Записок чудака» А. Белого, двухтомного пролога к задуманной, но неосуществленной эпопее. Герой пролога Леонид Ледяной рассказывает:

«Около Лейпцига я посетил и того, что пришел ко мне радостный вестью о солнце (в полях, в годы юности): Фридриха Ницше.

— Не «я», а Христос во мне «Я»...

Это знание есть математика новой души: в ней запутался Ницше.

Когда относил я цветы на могилу его и припал, лобызая холодные камни, почувствовал явственно: *конус истории от меня отвалился;* я стал Ecce Homo; но тут же почувствовал: невероятное Солнце в меня опускалось; я мог бы сказать в этот миг, что я — *свет всему миру;* я знал, что не «Я» в себе — Свет, но Христос во мне — Свет всему миру.<...>

Переживание на могиле у Ницше во мне отразились приступами невероятной болезни: под Базелем, в Дорнахе, я безропотно их выносил» (Белый А. Записки чудака. Т. 1. М.; Берлин: Геликон, 1922. С. 61).

Этот эпизод многие, его упоминающие (как и Зайцев, К. В. Мочульский в книге «Андрей Белый» и др.), считают реальным фактом из жизни Белого, не считаясь с его предупреждением в предисловии к «Запискам чудака»: «Герой пролога «Я»; этот «Я», или это «Я» не имеет же никакого касания к «Я» автора; автор «пролога» Андрей Белый; герой пролога — Леонид Ледяной; этим все сказано: Леонид Ледяной — не Андрей Белый» (там же, с. 10).

...потом проклял Штейнера...— А. Белый пережил пик увлечения антропософией немецкого мистика Рудольфа Штейнера (1861—1925) в 1912—1916 гг., а к 1923 г., перед возвращением из эмигрантского Берлина на родину, разочаровался в своем кумире настолько, что называл его «дьяволом». По словам Ф. Степуна, Белый «с ненавистью отошел от Штейнера» (см очерк «Андрей Белый и Рудольф Штейнер» в кн: Степун Ф. Встречи. Мюнхен, 1962; Нью-Йорк, 1968).

Золотому блеску верил...— Из стихотворения Белого «Друзьям» (1907), прочитанного ему по его просьбе в последние часы жизни. «Слушая в последний раз эти пророческие стихи,— писал Ходасевич,— он, вероятно, так и не вспомнил, что некогда они были посвящены Нине Петровской» (в которую Белый был в 1902—1904 гг. пылко влюблен). Кумир литературной богемы начала века Н. И. Петровская (1884—1928) — прозаик, критик, переводчица; она — прототип героини романа Брюсова «Огненный ангел».

С. 476. *«Шляпа с траурными перьями» и, конечно, вино («Я знаю: истина в вине»).*— Цитаты из стихотворения А. Блока «Незнакомка» («По вечерам над ресторанами...», 1907).

С. 478. *И долго буду тем любезен я народу...*— Из стихотворения А. С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (1836).

И с отвращением читая жизнь мою...— Из стихотворения А. С. Пушкина «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день...», 1828).

С. 478. *...в ком всегда сидела тема «Жития великого грешника»...*— «Житие великого грешника» — неосуществленный замысел эпопеи-притчи Ф. М. Достоевского.

С. 479. *...у Чехова: «Мы отдохнем...»* — Цитата из монолога Сони, заключающего пьесу А. П. Чехова «Дядя Ваня» (1897).

...гражданские стихи Мельшина.— Л. Мельшин — псевдоним поэта-народовольца Петра Филлипповича Якубовича (1860—1911), проведшего на каторге восемь лет и написавшего там свою главную книгу «В мире отверженных. Записки бывшего каторжника».

С. 480. *...к святой тетушке Ергольской...*— Татьяна Александровна Ергольская (1792—1874) — троюродная тетка Л. Н. Толстого, заменившая ему рано скончавшуюся мать. Зайцев написал о ней очерк «Тетушка Ергольская и Толстой» (газета «Русская мысль». Париж, 1958, 25 окт., № 1282).

...раздается жалкий голос: «Я гений Игорь Северянин»...— Зайцеву была чужда поэзия Игоря Северянина (наст. фам. Лотарев Игорь Васильевич; 1887—1941) — выдающегося поэта Серебряного века, блистательно заявившего о себе первой же книгой «Громокипящий кубок» (с восторженным предисловием Ф. Сологуба; 1913), которая за два года выдержала семь (!) переизданий. В сборнике в числе лучших — его стихотворение «Эпилог», начинающееся эпатажными строками:

Я, гений Игорь Северянин,
Своей победой упоен:
Я повсеградно оэкранен!
Я повсесердно утвержден!
....
Я покорил литературу!
Взорлил, гремящий, на престол!

В 1921 г. Замятин сказал: «боюсь, что у русской литературы одно только будущее: ее прошлое».— Цитата из статьи «Я боюсь» (журнал «Дом искусств». СПб., 1921, № 1) Евгения Ивановичв Замятина (1884—1937), выдающегося прозаика и критика, окончившего дни в эмиграции. Хранительницей семейного архива Замятиных стала Н. Б. Зайцева-Соллогуб.

С. 493. *...роман, покоривший мир.*— Речь идет о романе Бориса Леонидовича Пастернака (1890—1960) «Доктор Живаго» (1956), удостоенном в 1958 г. Нобелевской премии.

Москва сегодняшняя

Орган русской национальной мысли «Возрождение». Париж, 1932, 14 янв. № 2417. Печ. по этому изд.

С. 482. *Помог и Хувер...*— Имеется в виду Герберт Кларк Гувер (1874—1964) — 31-й президент США, который в 1919—1923 гг. был во главе «АРА» (ARA — сокращенное от англ. American Relief Administration — «Американская

администрация помощи»), созданной для оказания помощи странам Европы, пострадавшим в первой мировой войне. В связи с голодом в Поволжье «АРА» получила согласие РСФСР распространить свою деятельность и на территории России.

...на Виндавский вокзал...— Ныне Рижский вокзал в Москве.

С. 485. *...на лекции Чупрова и Мануилова.*— Александр Иванович Чупров и Александр Аполлонович Мануилов — экономисты, профессора Московского университета, лекции которых пользовались огромной популярностью у студентов.

С. 486. *Наш «третий Рим»...*— После «вечного города» Рима, столицы великой империи античности и Священной империи средневековья, вторым Римом русские называли столицу Византии Константинополь, а третьим стала Москва с XVI в. В основе этого титулования — христианско-православная преемственность «царства небесного на земле» (от римских пастырей к византийским патриархам), а после падения Византии в 1453 г. (как Божья кара за отпадение от веры) хранительницей заветов православия стала Москва.

Изгнание

Вступительная статья к сб: Русская литература в эмиграции / Под ред. Н. П. Полторацкого. Питтсбург: Отдел славянских языков и литератур Питтсбургского университета, 1972. Печ. по этому изд.

С. 487. *...других — преимущественно философов, историков, критиков — Троцкий выслал в 1922 году...*— Большинство изгнанников (в их числе и Зайцев) считали Л. Троцкого инициатором и виновником групповой высылки из России деятелей науки и культуры, неугодных большевистской власти. Однако документы, рассекреченные в последние годы, называют другого автора «гуманных» репрессий (гуманных по сравнению с массовыми расстрелами 1917—1921 гг.). Им был Ленин. Из нескольких опубликованных свидетельств приведем его секретное письмо от 19 мая 1922 г.:

«Т. Дзержинский! К вопросу о высылке за границу писателей и профессоров, помогающих контрреволюции.

Надо это подготовить тщательнее. Без подготовки мы наглупим. Прошу обсудить такие меры подготовки.

Собрать совещание Мессинга, Манцева и еще кое-кого в Москве.

Обязать членов Политбюро уделять 2—3 часа в неделю на просмотр ряда изданий и книг, проверяя исполнение, требуя письменных отзывов и добиваясь присылки в Москву без проволочки всех некоммунистических изданий. Добавить отзывы ряда литераторов-коммунистов (Стеклова, Ольминского, Скворцова, Бухарина и т д).

Собрать систематические сведения о политическом стаже и литературной деятельности профессоров и писателей. Поручить все это толковому, образованному и аккуратному человеку в ГПУ» (В. И. Ленин и ВЧК. М., 1987. С. 540).

Аккуратные гэпэушники вместе с сотнями помощников провели свою черную

работу и составили списки крамольных уже к августу 1922 г. Наутро после отправки парохода (названного «философским») в Германию «Правда» известила: «По постановлению Государственного Политического Управления наиболее контрреволюционные элементы из среды профессоров, врачей, агрономов, литераторов высланы в северные губернии, часть за границу... Высылка контрреволюционных элементов из буржуазной интеллигенции является первым предостережением Советской власти к этим слоям...» (Первое предостережение // Правда. 1922. 31 авг.).

...одного, Шпетта, забыли, он вскоре и погиб на родине.— Изгнанники первой волны считали загадочным, что среди них не оказался выдающийся философ, историк, психолог и искусствовед, академик, полиглот, владеющий семнадцатью языками, Густав Густавович Шпет (1879—1938?). Однако «забытого» впереди поджидала более страшная участь: в 1935 г. он был безвинно взят в казематы Лубянки, после чего без суда и следствия отправлен в Сибирь, а через два года расстрелян.

...появились свои журналы, газеты, книги, издательства— Интересные данные приводит Глеб Струве в книге «Русская литература в изгнании» (Париж, 1984. С. 21): «В одном 1920 году .. возникло 138 новых русских газет, в 1921 году — 112, в 1922-м — 109. К концу 1923 года из ранее возникших прекратилось 180, но свыше 100 продолжало выходить». Среди них самыми авторитетными были: газеты «Последние новости» (Париж), «Возрождение» (Париж), «Дни» (Берлин, Париж), «Новое русское слово» (Нью-Йорк), «Руль» (Берлин), «За свободу» (Варшава), «Сегодня» (Рига) и журналы «Современные записки» (Париж), «Воля России» (Прага), «Числа» (Париж). С большинством этих изданий сотрудничал Зайцев: он печатался в 22 газетах и 43 журналах. Но были среди них для него главные. Это газета А. Ф. Керенского «Дни» (30 его публикаций), «Последние новости» (39 публ.) «Возрождение» (более 220 публ.), «Русская мысль» (187 публ.), «Новое русское слово» (26 публ), журналы «Современные записки» (40 публ.) и «Новая жизнь» (25 публ.). Около семисот названий произведений писателя-труженика зафиксировал Рене Герра в своей библиографии (Париж, 1982).

С. 489. *...знаменитое тогда кафе «Ротонда»...*— В 1910—1920-е гг. «Ротонда» была самым популярным центром литературно-художественной богемы Парижа, где первенствовали русские эмигранты. И. Д. Сургучев написал о кафе-салоне роман «Ротонда» (1928).

...Модильяни и Сутины...— Завсегдатаи «Ротонды» — итальянский живописец и скульптор Амедео Модильяни (1884—1920) и художник Хаим Сутин (1894—1943), о котором И. Г. Эренбург, встретившийся с ним в этом кафе, написал: «Можно ли было себе представить, что о работах этого тщедушного подростка, уроженца белорусского местечка Смиловичи, будут мечтать музеи всего мира?» (Эренбург И. Г. Люди, годы, жизнь: В 3 т. Т. 1. М., 1990 С. 159).

.. а позднее и свой журнал толстый.— Таким изданием стал журнал «Числа» (1930—1934), редактировавшийся поэтом и критиком Николаем Авдеевичем

Оцупом (1894—1958). Как вспоминает Юрий Константинович Терапиано (1892—1980), «вплоть до своего последнего, десятого, выпуска журнал в течение первой половины 30-х годов играл большую роль в жизни младшего зарубежного литературного поколения не только в Париже, но и в других странах эмигрантского рассеяния» (Терапиано Ю. Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924—1974). Эссе, воспоминания, статьи. Париж; Нью-Йорк: Альбатрос — Третья волна, 1987. С. 127). «Числа» печатали и «стариков», например Зайцева: он опубликовал в № 5 свой перевод восьмой песни «Ада» из «Божественной комедии» Данте и принял участие в анкете «Что вы думаете о Ленине?». Вот его ответ: «Охотно дал бы «Числам» ответ на любую тему, кроме предложенной. Ленин настолько мне мерзок, что ни думать о нем, ни о нем писать — никак не могу. Бор. Зайцев» (1932, № 6).

Юлий Айхенвальд. Борис Зайцев.

Печ. по изд.: Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. М.: Республика, 1995.

Юлий Исаевич Айхенвальд (1872—1928) — критик-импрессионист, автор лирических эссе, составивших его главные книги: «Силуэты русских писателей». Вып. 1—3 (1906—1910), «Пушкин» (1908), «Этюды о западных писателях» (1910), «Поэты и поэтессы» (1922) и др. В его переводе вышло полное собрание сочинений Артура Шопенгауэра (т. 1—4, 1901—1910). В 1922-м выслан за границу. На трагическую гибель Айхенвальда в Берлине («бессмысленный трамвай раздробил ему череп») Зайцев отозвался очерком, опубликованным 22 декабря 1922 г. в парижской газете «Возрождение» и вошедшим затем в его книгу мемуаров «Москва» (Париж, 1939). «Все его писания,— отмечал он главное в манере критика,— шли из крови, пульсаций, из текучей стихии. Можно было соглашаться или не соглашаться, одобрять или не одобрять его манеру, но это был художник литературной критики и, за последние десятилетия, вообще первый русский критик». Зайцев считал статью Айхенвальда о своем творчестве лучшей из всего о нем написанного. Высоко ценил литературно-критическую деятельность Айхенвальда И. А. Бунин. Вот запись из «Грасского дневника» Г. Н. Кузнецовой: «20 декабря <1928 г.> Прочли в газетах о трагической смерти критика Айхенвальда. И. А. (Бунин.— *Т. П.*) расстроился так, как редко я видела. Весь как-то ослабел, лег, стал говорить:

— Вот и последний... Для кого теперь писать? Младое незнакомое племя... что мне с ним? Есть какие-то спутники в жизни — он был таким. Я с ним знаком с 25 лет. Он написал мне когда-то первый. Ах, как страшна жизнь!» (Литературное наследство. Т. 84: Иван Бунин. В 2 книгах. Кн. 2. М.: Наука, 1973. С. 260—261).

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Из книги «Земная печаль»

Из книги «Путники»

Из книги «Улица св. Николая»

Из книги «Рафаэль»

Из книги «Странное путешествие»

ПРИЛОЖЕНИЯ

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ

Собрание сочинений

Том 2

УЛИЦА СВ. НИКОЛАЯ

Повести. Рассказы

Редактор В. П. Шагалова
Художественный редактор Г. Л. Шацкий
Технический редактор И. И. Павлова
Корректоры Н. Д. Бучарова, А. З. Лазуткина

Лицензия на издательскую деятельность ЛР № 010058 от 23.10.96.

Подписано в печать 19.04.99. Формат 84×108/32. Бумага офсет. На вкл. — мелов. Гарнитура Таймс. Печать высокая. Усл. п. л. 28,67 (в т. ч. вкл. 0,11). Уч.-изд. л. 34,24 (в т. ч. вкл. 0,03). Тираж 5000 экз. С.— 09. Зак. № 633. Изд. инд. ЛХ-151

Издательство «Русская книга» Комитета Российской Федерации по печати.
123557, Москва, Б. Тишинский пер., 38.

Издательско-полиграфическое предприятие «Правда Севера».
163002, Архангельск, Новгородский пр., 32.

